

А. Ф. ФЕДОРОВ



**ПОДПОЛЬНЫЙ
ОБКОМ
ДЕЙСТВУЕТ**

•



-
-
-



Дважды Герой Советского Союза

Алексей Федорович Федоров

ПОДПОЛЬНЫЙ ОБКОМ ДЕЙСТВУЕТ

Литературная запись Евг. Босняцкого

Книга первая

КОММУНИСТЫ УХОДЯТ В ПОДПОЛЬЕ

ОТ АВТОРА

Четыре года войны с фашистской Германией были и самыми трудными и самыми значительными годами моей жизни. Да не только моей. Большинство граждан нашей страны могут сказать то же самое.

Пережить, увидеть, передумать пришлось очень много. Дневника я не вел. Жаль, конечно. Однако память у меня хорошая, а то, что не запомнилось, по всей вероятности, или не очень важно, или плохо мне известно. Я же решил написать лишь о том, что видел сам или, по крайней мере, совершенно достоверно знаю.

За время войны со мной произошло много перемен: секретарь Черниговского областного комитета коммунистической партии (большевиков) Украины, я на оккупированной врагом территории стал секретарем того же Черниговского, но уже подпольного обкома, впоследствии и Волынского обкома; стал я и командиром одного из крупнейших на Украине партизанских соединений.

Черниговский и Волынский обкомы объединяли несколько тысяч коммунистов и комсомольцев, оставшихся по тем или иным причинам в тылу врага, сотни коммунистических и комсомольских ячеек, десятки партизанских отрядов и групп сопротивления. Это была очень серьезная сила.

Одно лишь соединение, которым я командовал, уничтожило свыше 25 тысяч немецких захватчиков и их пособников; пустило под откос 683 эшелона с живой силой врага и техникой: танками, самолетами, автомобилями, артиллерийскими орудиями; 8 бронепоездов со всей прислугой тоже полетели в воздух. Подрывники нашего соединения взорвали 47 железнодорожных мостов, 35 тысяч метров железнодорожного полотна, 26 нефтебаз и складов с горючим, 39 складов с боеприпасами и обмундированием; на минах, поставленных нашими партизанами, подорвалось 12 танков и 87 автомашин. Это далеко не полный перечень ущерба, который понес враг в результате действий нашего соединения. Правительство очень высоко оценило эту деятельность: достаточно оказать, что 19 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза, несколько тысяч человек награждены орденами.

Оказывая вооруженное сопротивление оккупантам, вступая с ними в неравную борьбу, коммунисты-подпольщики и партизаны поднимали дух народа, показывали народу, что партия и советская власть на Украине живы, что недалек тот день, когда над Украиной снова засияет солнце нашей Конституции.

Может быть, и не очень стройно, не очень красочно, но с большевистской искренностью я постараюсь рассказать, как подпольщики

и партизаны Черниговщины и Волыни боролись за свободу и независимость нашей Родины.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

БОМБЫ ПАДАЮТ НА ЧЕРНИГОВ

Было воскресенье, когда я вернулся из поездки на большое строительство, километров за двести от Чернигова.

В пути нас застиг ливень. Дорога раскисла, машина забуксовала, а потом и совсем застряла. Тут еще обнаружилось, что мы забыли купить папирос. Нам казалось, что мы испытываем большие мучения: как же застряли в поле, под дождем, всю ночь придется провести без сна да еще не курить.

Ночью мы несколько раз пытались вытолкнуть машину из грязи. Все промокли и перепачкались. Домой я попал только к десяти часам утра. Хотелось спать, есть. Вспоминались впечатления поездки: встречи со строителями, культурные общезития, спелая урожайная пшеница, стенами стоявшая вдоль дороги, и рядом — поля, заросшие мелким кустарником каучуконосом, «кок-сагызом», который мы только начали культивировать на Черниговщине и которым мы так гордились...

Я принялся стягивать мокрые сапоги, мечтая растянуться на диване, когда со двора вбежала жена.

— Наконец-то! — крикнула она. — Тебя уж раз десять вызывали. Дежурный по обкому. Первый раз позвонил в семь утра и все звонит, звонит...

Она не успела договорить, как уже раздался звонок. Я взял трубку.

— Алексей Федорович, видите ли, Алексей Федорович... — дежурный явно волновался, повторял мое имя, отчество, а потом стал без числа сыпать вводные словечки: «значит», «вот». С трудом я его понял. Он никак не мог произнести слово «война».

Я опять натянул мокрый сапог, взял с тарелки кусок пирога, прямо из кувшина отпил несколько глотков молока. Вероятно, вид мой был не совсем обычный. Жена с тревогой смотрела на меня. Я рассказал ей, что произошло, попрощался, вышел из дому и направился в обком.

Домой больше я так и не попал до конца войны.

Придя в обком, я стал звонить в Киев, к секретарю ЦК КП(б)У Никите Сергеевичу Хрущеву. В голове теснились мысли. «Война с фашистами... Конечно, рано или поздно она должна была начаться... Спокойствие! Организованность! Прорвутся ли их самолеты к Чернигову?.. Ах, какой урожай, какой замечательный урожай, — вспоминал я пшеницу по сторонам от дороги. — Как его теперь убрать?..»

— Никита Сергеевич, это вы? Я, Чернигов, Федоров...

Никита Сергеевич говорил спокойно, несколько тише, чем обычно. Он рассказал мне, что немцы бомбили Житомир, Киев, что кое-где наши передовые посты смяты.

После этого товарищ Хрущев перешел к практическим указаниям.

Через полчаса у меня в кабинете собрались члены бюро обкома.

В двенадцать часов по радио выступил товарищ Молотов.

В течение дня я участвовал в нескольких митингах.

Рано утром 23 июня над Черниговом появились вражеские разведывательные самолеты.

* * *

Первые дни войны были особенно напряженными. И в области и в городе спешно проходила мобилизация, в Чернигове формировались части. Из районов на машинах, на поездах, на подводах, а то и просто пешком прибывали тысячи людей.

Работали все самоотверженно. Около полутора ста тысяч колхозников, рабочих, служащих, домашних хозяек вышло на строительство оборонительных сооружений. Кроме этой проводившейся по плану работы, люди в каждом дворе устраивали бомбоубежища, копали щели, засыпали песком чердаки.

Я много ездил, бывал на заводах, которые, на ходу перестраиваясь, переходили на военное производство; ежедневно посещал райвоенкоматы. Говорить, разъяснять, агитировать приходилось ежечасно: к вечеру, как правило, срывал голос.

Но и по вечерам и ночам происходили совещания, встречи с командирами частей, директорами предприятий, секретарями райкомов. Спал я не больше трех часов в сутки и то урывками. С женой и детьми я не виделся по нескольку дней.

Мне не удалось побыть с семьей и в день ее отъезда из Чернигова. Я приехал на вокзал чуть не за минуту до отхода поезда и пока прощался с женой и детьми, говорил напутственные слова, поезд тронулся — пришлось соскочить на ходу.

Главное чувство, которое владело всеми нами, было чувство ответственности.

Мы рассуждали так: мы — коммунисты, да еще руководящие работники, следовательно, мы отвечаем за людей, за народное имущество, за свободу народа. Вот почему только работа давала нам удовлетворение. Отдыхать было совестно. Один очень хороший, искренний человек сказал, что ему стыдно ложиться в постель и спать.

Над Черниговом все чаще появлялись вражеские разведчики. Бомбардировке в первую очередь подвергся железнодорожный узел. Это было в ночь на 27 июня. Через полчаса после налета я уже был на месте. Я увидел первые жертвы фашистов: двух убитых женщин, ребенка, растерзанного взрывом. Я старался быть спокойным, но меня охватил озноб. Происшедшее еще не укладывалось в сознании. Казалось, что это какая-то ужасная ошибка, несчастный случай. Надо только принять меры, и ничего подобного не повторится.

28 июня в Чернигов приехали секретарь ЦК ВКП(б) товарищ Маленков и Маршал Советского Союза Буденный. Совещание — вернее, беседа с ними заняло более Трех часов. Мы ездили по городу, осматривали военные объекты, а когда вернулись в обком, товарища Маленкова вызвал по телефону товарищ Сталин. В тот же вечер представители Ставки выехали.

Я рассказываю об этой встрече потому, что подействовала она и на меня и на других товарищей, которые приняли участие в беседе, вдохновляюще и отрезвляюще. Постепенно становилось ясно, что война — это работа, систематическая, планомерная и тщательно продуманная, работа невиданного еще размаха и напряжения.

* * *

До выступления товарища Сталина по радио 3 июля 1941 года у нас в области никто не готовил большевистского подполья, не работал над созданием партизанских отрядов. Не думал об этом, признаюсь, и я.

Немцы развивали наступление. Западная часть Украины стала ареной боев. И хотя над Черниговом уже десятки раз появлялись немецкие самолеты и города области многократно подвергались бомбардировкам, нам, руководящим работникам Черниговщины, казалась невероятной возможность вторжения немцев сюда, в глубь Украины.

4 июля, выступая перед рабочими Черниговского депо, я говорил, что к нашему городу фашисты не прорвутся, что можно спокойно работать. И в это я искренне верил.

Вернувшись с митинга железнодорожников в обком, я узнал, что из Киева приехал секретарь ЦК КП(б)У — товарищ Коротченко. Он пробыл в Чернигове недолго, всего сутки. Наметил вместе с областными организациями план первоочередной эвакуации людей, промышленного оборудования, ценностей. Перед отъездом он посоветовал взять на учет партизан гражданской войны.

— Их опыт, товарищ Федоров, может пригодиться?

Вечером я получил телеграфный вызов из ЦК КП(б)У и, не

задерживаясь, выехал на автомобиле в Киев.

Никита Сергеевич принял меня в ту же ночь. Он обрисовал положение на фронтах, оказал, что мы должны смотреть фактам прямо в лицо. Нельзя недооценивать немецкое наступление, нельзя допускать, чтобы продвижение вражеской армии в глубь страны застало нас неподготовленными.

Никита Сергеевич предложил немедленно начать подготовку большевистского подполья и заблаговременно организовать в каждом районе партизанский отряд.

— Как только вернетесь в Чернигов, без промедления приступайте к отбору людей, закладываете в лесах базы для партизан, займитесь военным обучением подобранных людей. Подробно вас проинструктирует товарищ Бурмистренко.

Михаил Алексеевич Бурмистренко рассказал мне, как подбирать кадры для подпольной работы, что должны представлять собой партизанские отряды, как их формировать, познакомил меня с шифрами.

Меня поразило, что в ЦК уже продумана вся система: организации подполья.

— Помните, — напутствовал меня товарищ Бурмистренко, — на партийную работу в подполье следует направлять исключительно проверенных людей, смелых, выдержанных, самоотверженных. Разъясняйте людям всю меру опасности, какая их ожидает. Пусть продумают, смогут ли они найти в себе достаточно мужества. Если не могут, пусть не идут... Кого вы рекомендуете секретарем подпольного Черниговского обкома?.. Вы думали над этим?

Не знаю, побледнел я при этом вопросе или покраснел, помню только, что сердце у меня забилось учащенно.

— Прошу оставить в подполье меня, — оказал я.

Товарищ Бурмистренко ответил не сразу. Посмотрев испытующе, он повторил:

— Вы думали над этим?

— Да!

— Сейчас я не могу дать вам окончательного ответа, — сказал он. — Во всяком случае, по приезде в Чернигов подготовьте еще одну кандидатуру. О вашем желании я доложу Никите Сергеевичу.

Я продолжал настаивать, говорил, что другого кандидата придется снова посылать в Киев за инструкциями; на это уйдет время. Я же получил инструкции, могу приступать к организации...

Товарищ Бурмистренко перебил меня:

— Поезжайте, делайте, что вам приказано; решение ЦК будет сообщено вам по телефону.

Через несколько дней, уже в Чернигове, я узнал, что просьба моя удовлетворена: ЦК КП(б)У рекомендует Черниговскому обкому избрать меня секретарем.

* * *

Понимал ли я тогда, на что иду, какие лишения придется пережить? Я человек немолодой, давно отвык от физического труда. Я ведь и спортом в последние годы не занимался, верхом на коне не ездил больше двенадцати лет.

На пути из Киева, в машине, я стал обдумывать свое решение. Обдумывать, но не колебаться. Я чувствовал, что гожусь для подпольной деятельности и на этой работе буду полезен больше, чем где-либо.

По прибытии в Чернигов я собрал бюро обкома. Мое сообщение об организации подполья застало товарищей врасплох.

Создавать подполье! Даже слова эти казались книжными, неживыми. «Большевистское подполье» — это ведь из истории партии. И вот мы, люди, хоть и не очень молодые, но советской формации, должны готовиться к переходу на нелегальное положение.

Когда я спросил: «Ну, что ж, товарищи, кто из вас изъявляет согласие?» — в кабинете стало так тихо, что я услышал разговор на улице, хотя окна были закрыты.

Меня удивило, что первым поднял руку Николай Никитич Попудренко. Удивило потому, что он был известен у нас как нежный семьянин. В поездке ли, в обкоме ли, он при случае непременно ввернет слово о жене, сыне, пасынке, дочке. Попудренко, третий секретарь обкома, был отличным партийным работником, очень честным, прямолинейным и принципиальным. Впоследствии, в подпольной деятельности, а особенно в партизанском соединении он показал себя решительным, безгранично, иногда даже безрассудно храбрым. Но об этом позже.

Вслед за Попудренко подняли руки и другие. Все члены бюро обкома решили остаться на Черниговщине. На том же заседании был намечен подпольный обком КП(б)У в составе семи человек.

Намечены были и дублеры на случай, если кто провалится; такая возможность тоже учитывалась. Затем распределили обязанности, обсудили предварительный план действий.

Скоро все освоились с новым положением. Теперь в области было два обкома партии: легальный и подпольный. Об этом втором никто, кроме его членов, не знал. Через несколько дней таким же порядком был создан и

подпольный обком ЛКСМУ. Во главе его стали товарищи Бойко и Красин.

Формально я оставался секретарем и легального и подпольного обкомов. Но с этого дня почти все свои легальные дела передал товарищам и занялся подготовкой к новой, неизвестной жизни.

* * *

Центральный Комитет партии требовал от нас, от обкома, серьезной подготовки. Мы должны были предусмотреть все, вплоть до быта будущих партизан.

...Будущие партизанские командиры уже посещали специальные семинары, где их учили взрывать мосты, сжигать танки, похищать из немецких штабов документы; они уже расстались со своими семьями, а партийцы-подпольщики расстались со своими старыми фамилиями; приучались не оборачиваться, когда их кто-нибудь окликнет довоенным именем.

Всю вторую половину июля и часть августа подпольный обком был занят подготовкой к деятельности в нелегальном положении и формированием отрядов.

Мы распределили между собой обязанности: на мне лежала организация подпольных райкомов партии и комсомола. Помимо этого я занимался эвакуацией населения и богатств области.

Николаю Никитичу Попудренко поручили подготовку подрывников. Петрик занялся подбором литературы, организацией полиграфической базы, достал и паковал бумагу: он был секретарем по агитации и пропаганде. Новиков, Яременко и Рудько подбирали и проверяли кадры для низовых сельских и заводских подпольных ячеек. Капранов готовил продовольственные базы.

В обком мы вызывали из районов по 10–15 человек в день. Почти всех их я знал и раньше, встречался на работе. Впрочем, это не совсем правильно. Кое в ком я ошибся. Война заставила пересмотреть сложившиеся ранее представления о тех или иных людях и нередко изменить эти представления.

Я вызывал товарищей по одному. Разговор начинался довольно однообразно. Впрочем, однообразно для меня — я разговаривал со многими, а для каждого вновь прибывшего неожиданность была полная.

— Здравствуйте, садитесь, товарищ. Вы знаете, зачем вас вызвали?

— Нет.

— Думали вы о возможности оккупации вашего района немцами? Что вы намерены предпринять, если возникнет такая угроза? Как вы посмотрите, если мы поручим вам остаться в подполье руководить

районным комитетом?

Большей частью наступала продолжительная пауза. Я говорил:

— Подумайте, взвесьте, я подожду.

Если товарищ сразу соглашался, я объяснял, какие опасности его ожидают.

— Имейте в виду, вас могут предать, схватить врасплох. У вас будет другая фамилия, другие документы. Но при обыске могут обнаружить зашифрованные директивы, списки организации. Вас станут пытаться. Хватит у вас воли вынести все и погибнуть за наш народ, за дело партии?

Кое-кто отступал. И как только я замечал, что человек киснет, я отправлял его обратно. Зачем он мне — какой же это будет подпольщик?..

А попади он в лапы эсэсовцев... Человек-то он честный, но когда начнут калеными шомполами по спине вытягивать, такой товарищ вряд ли выдержит.

Поэтому ранняя, так сказать, диагностика трусости очень важна. При отборе людей вот этой самой ранней диагностикой я и занимался. С точки зрения политической вызываемые люди были проверены раньше. Меня главным образом интересовала твердость, стойкость характера.

И уж очень огорчительно было, когда хороший человек и работник оказывался зараженным этой ужасной бактерией трусости. Был один секретарь райкома. В него я верил: этот не подведет.

Вызываю, беседую... что с человеком сделалось!

И сам-то он болен, и вся семья-то у него больна, и не справиться ему, и память-то у него слабая.

Подконец прямо признался:

— Боюсь! Жить еще хочу!

Был в Чернигове председатель облсуда. Солидный мужчина лет тридцати пяти, очень самоуверенный и речистый. Мы его наметали на подпольную работу. Сперва он заерзал на стуле, но потом ничего, взял себя в руки, вынул блокнот, пишет. Под конец беседы жмет мне руку и прямо-таки с энтузиазмом произносит:

— Можете на меня положиться, Алексей Федорович. Я в первую минуту от неожиданности дрогнул, но теперь осознал... Повелевает долг! Родина зовет!

А в последнюю минуту сбежал. Он, конечно, очень нас подвел. Подбирать нового на его место было поздно.

Большинство же товарищей мужественно и просто принимали решение остаться в подполье. На мой вопрос: «Думали вы о возможности оккупации вашего района немцами?» — они отвечали: «Да, думал!»

И когда такой товарищ узнавал, что в немецком тылу будут и областной комитет коммунистической партии, и районные комитеты, и местные ячейки, и комсомольские организации, наконец, что партизанское движение будет руководиться партией, — то крепко жал мне руку, говорил:

— Как хорошо, Алексей Федорович! Значит, продолжаем вместе работать. Украину не бросаем? А я не знал, как быть... Значит, семью теперь я отправлю, а сам в полное распоряжение партии!

И я понимал, что руку товарищ жмет мне как представителю партии.

За месяц было отобрано и направлено на подпольную работу в районы свыше 900 человек.

* * *

В районах активно готовились к подполью и к партизанским действиям. Обком получал об этой подготовке ежедневные телефонные и телеграфные донесения наряду со сводками об эвакуации промышленности и об уборке хлебов. Разумеется, донесения о подготовке подполья передавались секретно.

К середине июля стало ясно, что лучше других дело ведет секретарь Холменского райкома партии товарищ Курочка. Он пожелал сам остаться в подполье и очень ревностно относился ко всему, что касалось подготовки к этой Новой, никому не известной работе.

В его районе действовал истребительный батальон, укомплектованный добровольцами. Товарищ Курочка правильно решил, что бойцы-истребители, которые уже накопили известный опыт борьбы с врагом в лесах, в условиях, близких к партизанским, могут составить костяк отряда. Все двести сорок бойцов истребительного батальона согласились остаться в тылу врага, записались в партизанские отряды.

Целиком вошли в состав будущего отряда первичные организации Холменского райкома партии, райисполкома, НКВД. В отряде уже начались занятия по стрельбе, гранатометанию, по тактике партизанской борьбы. В механической мастерской спиртозавода учебный пулемет Осоавиахима переделали на боевой. Между прочим, это было сделано почти со всеми учебными пулеметами, имевшимися в области; конечно, результат был не очень значительным — всего 30–40 пулеметов, но и они уничтожили немало врагов и сохранили жизнь десяткам, а может быть, и сотням наших партизан.

За пятнадцать дней до оккупации Холменского района истребительный батальон и все добровольцы, что присоединились к нему, ушли в леса, чтобы пропустить мимо себя фронт.

В Корюковском районе, где первым секретарем райкома был товарищ

Коротков, члены районного актива сразу после обращения по радио к народу товарища Сталина, еще до вызова их в обком, разъехались по селам, чтобы подготовить коммунистов и передовых колхозников к возможности немецкой оккупации и партизанской борьбы с врагом. Было создано заблаговременно одиннадцать подпольных коммунистических ячеек. Всех, кто согласился остаться в тылу врага, подробно инструктировали.

В Носовском районе секретарь райкома товарищ Стратилат, впоследствии один из талантливых партизанских командиров, принял задолго до оккупации очень интересное решение: райком вызвал всех недавно прибывших в район, а также молодых коммунистов. Те из них, кто согласился остаться в подполье и годился для этого, были посланы в села и местечки, где их не знали. Там товарищи заняли второстепенные должности в сельских советах, в колхозах, в больницах и т. п. Люди эти организовали явочные квартиры, сколотили вокруг себя актив сопротивления.

Из Остерского района сообщали, что уже заложена база для партизан на сто человек. В базе спрятано продовольствие, рассчитанное примерно на восемь месяцев, оружие, боеприпасы и многое другое. В районе организованы два отряда: один — в пятнадцать, другой в двадцать, человек, и проведено общерайонное собрание будущих подпольщиков-коммунистов.

Не было ни одного района, откуда не поступали бы такие или подобные сведения.

* * *

Маленький, полный и чрезвычайно добродушный человек — Василий Логвинович Капранов, бывший заместитель председателя Черниговского облисполкома, а теперь член подпольного обкома, готовил партизанские базы.

Деятельность его была окружена глубокой тайной.

Он получал на складах десятки тонн муки, ящики консервов, бочки спирта. Подходили машины, грузчики укладывали на них тяжелые мешки, счетоводы выписывали накладные, но только один Капранов знал, для чего это предназначается.

Машина останавливалась в поле, на опушке леса, разгружалась, шофер поворачивал обратно... Когда пустой грузовик отъезжал на порядочное расстояние, из леса появлялась подвода, и какие-то люди перегружали на нее привезенное. Крестьянская лошадка сперва тащила по проселку, а потом сворачивала в лес. Люди, которые сопровождали подводу, закидывали ветками и травой следы колес. Но чаще и подвод не было: от дороги все грузы тащили на себе.

Тут работали будущие партизаны. Они принимали самые разнообразные грузы: сахар, галеты, патроны, пулеметы, валенки, типографские шрифты.

До этого доверенные люди Капанова[1] проделали большую работу: выкопали глубокие траншеи, укрепили их стены...

Только члены подпольного обкома — и то не все — знали расположение капрановских кладовых. Потом, когда товарищи отправились на места, каждому сказали, где расположена ближайшая к нему база.

Несколько раз я выезжал с Василием Логвиновичем за сотни километров от Чернигова, куда-нибудь в чащу, и он показывал:

— Вот, Алексей Федорович, по-моему, здесь можно. Ближайшее село в десяти километрах, скот тут не пасется.

— А что за человек лесник?

— Проверен, свой парень, остается с нами.

Приходили товарищи с щупами и бурами — разведывали, глубоко ли подпочвенная вода. Ведь времени у нас было в обрез. Стали бы рыть наобум, потом оказалось бы — заливает, надо искать новое место и опять копать... Нет, Капанов был золотой человек, дело он вел наверняка.

Стандартная база выглядела так: траншея метра три глубиной, площадью от тридцати до сорока квадратных метров. Стены укреплены толстыми бревнами по всем саперным правилам. И уж, конечно, лес для бревен спилен не тут, возле базы, а, по крайней мере, шагов за триста. Пол утрамбован, да еще закидан ветвями: от сырости. Землю вывозили подальше, незаметно рассыпали, сбрасывали в речки или овраги.

Такая база — по существу весьма капитальный подземный склад закрывалась накатом бревен, засыпалась землей в уровень со всей остальной поверхностью. Затем это место покрывали дерном или мхом, засаживали кустами и маленькими деревцами.

Капанов неоднократно приводил меня к замаскированным базам, и я ни разу не мог ни одной обнаружить. Он указывал мне зарубки, разные приметы, которые я должен был запомнить.

Так люди Капанова заложили девять баз. И сделали они это хорошо, лишь одну и то случайно обнаружили впоследствии фашисты.

Всего же по области районными отрядами было заложено около двухсот баз.

Если бы эта работа не была проделана, партизанским отрядам, особенно в первый, организационный период, пришлось бы худо. Базы решили судьбу многих отрядов. Население не всегда могло нас кормить, а у врага мы стали отбирать продовольствие уже после того, как вооружились

за его счет.

* * *

18 июля обком получил новую директиву — помимо районных партизанских отрядов организовать областной отряд из 150–200 человек с подразделениями конников, подрывников, пехотинцев.

Началась запись добровольцев. Уже через несколько дней 186 человек, отобранных и проверенных, собрались в зале горсовета, чтобы получить последние инструкции.

Тут были представители самых разнообразных слоев: партийные работники, инженеры, служащие, рабочие, колхозники, актеры, музыканты, повара... Они и одеты были по-разному, в соответствии с тем, как жили и кем были. Рассказывать об отдельных лицах я сейчас не стану. Со многими я встретился в тылу у немцев, со многими прошел вместе по опаленной битвами украинской земле тысячи километров...

Итак, люди подобраны, базы заложены. Как будто к приему незваных «гостей» готовы. Но поняли ли наши подпольщики, что главное — в поддержке народа, что наше святое дело, когда враг будет здесь хозяйничать, быть с народом, поднимать его на борьбу? Ведь мы — коммунисты, организаторы, мы только костяк. Вот что ни на минуту нельзя забывать. И тогда никакая вражеская сила нас не сломит.

Утром 8 августа первая группа областного партизанского отряда ушла из Чернигова к месту своей дислокации. День был теплый, парило, ждали дождя.

Семьдесят человек, кто в ватниках, кто в драповых пальто, кто в кожанке, кто в шубе, уходили в лес.

Я провожал товарищей. Шли они пока всего лишь на практику, привыкать. Да именно так и была определена их задача. Пусть и командиры, и рядовые представят себе, что они уже партизаны. Пусть учатся прятаться, стрелять, невидимо подползать к «вражеским объектам».

Когда товарищи скрылись за поворотом, я долго смотрел им вслед.

10 августа уже весь областной отряд прибыл на место назначения — в урочище Гулино, Корюковского района, у реки Сновь. Этот участок был избран потому, что, по нашим расчетам, там не должно было произойти больших боев: партизаны смогут пропустить мимо себя фронт и остаться незамеченными.

Привлекли нас и природные условия. В густом кустарнике, покрывающем почти все побережье реки Сновь, можно укрыть целую армию. А в двух-трех сотнях метров от берега начинается лес.

На следующий день я навестил товарищей.

Командир группы капитан Кузнецов, бывший работник Осоавиахима, и комиссар товарищ Демченко, заведующий военным отделом обкома, уже роздали будущим партизанам оружие, регулярно занимались военным обучением: стрельба по цели, чистка винтовок, Устав строевой службы, Устав гарнизонной службы... Типичный лагерь Осоавиахима. Еды сколько угодно, опасности пока никакой... как будто и войны нет.

В Чернигове товарищам был дан наказ: не общаться с населением, не обнаруживать себя, но партизаны, очевидно, посчитали, что эта директива условна, и стали ходить в села за молоком, а кое-кто из молодежи погулять с девчатами.

По вечерам в лагере пели, плясали под гармошку. Что ж, природа чудесная. Тепло. Когда б не винтовки в козлах — просто дом отдыха.

В двенадцатом часу люди группами повалили в казармы: большой, хорошо оборудованный дом лесничества. Начальство расположилось там на кроватях, а рядовые на хорошо просушенном, душистом сене.

Но как только народ улегся, а кое-кто уснул, по моему приказу был дан сигнал «тревога». Я заставил заспанных людей выстроиться в шеренгу, приказал немедленно покинуть казарму и никогда больше не возвращаться в нее. Располагаться, сказал я им, надо в кустарнике, в шалашах и, пока нет вражеских войск, прятаться от населения.

— Сумейте жить так, чтобы никто не знал о вашем существовании!

Кто-то подошел ко мне и начал горячо уговаривать:

— Там же болота, люди простудятся.

Но когда в небе заурчали немецкие самолеты и стали бросать осветительные ракеты, народ примолк, съежился...

Немцы летели бомбить Чернигов.

* * *

Самое скверное настроение, в каком я находился когда-либо в жизни, было у меня в дни 23–29 августа 1941 года.

Я ездил в Военный Совет Центрального фронта. На обратном пути в Чернигов мне повстречалась колонна легковых машин, я остановил головную и спросил сидящих в ней: «Кто, куда?» Проверили взаимно документы. Оказалось, что едут руководители Гомельской области и с ними секретарь ЦК КПб) Белоруссии товарищ Эдинов.

— Наши оставили Гомель, — сказал мне товарищ Эдинов. — Немцы движутся на Чернигов.

В обком я приехал очень усталым, голодным. Мне принесли в кабинет тарелку борща, я устроился у окна, поставил тарелку на подоконник.

Завыла сирена. В последнее время тревоги объявлялись раз по

двадцать в день. Я уже привык к ним и часто не уходил в убежище. Интенсивных бомбежек еще не было.

Продолжая есть, я смотрел в окно. Мне была видна значительная часть города. Глядя вверх, крыш, я заметил вдали несколько самолетов. Из-за туч вынырнула еще одна черная стая, а через минуту немцы были над городом. Я видел, как сыплются бомбы, даже точно определил: первым взлетел на воздух театр, за ним здание областной милиции, почтамт... А я машинально продолжал есть. Бомбардировщики проплыли над зданием обкома. Взрывы, трескотня пулеметов, огонь зениток слились в ужасный гул... Люди металась по улицам. Кто-то страшно кричал, нельзя было понять — женский это или мужской голос.

Я вышел из кабинета и отправился в убежище. Мною овладело оцепенение. Ко мне подходили товарищи по обкому, я машинально отвечал на их вопросы. Было такое чувство, будто на плечи легла невероятная тяжесть.

В затемненном коридоре меня остановил какой-то незнакомый человек.

— Я здесь с утра, товарищ Федоров. Приехал из района...

— Слушаю вас.

— Я исключен, из партии, подал апелляцию в обком... Идет война, товарищ Федоров, как же мне вне партии?..

— Но вы слышали, объявлена воздушная тревога. Чтобы разобраться в вашем деле, мне нужно вызвать товарищей, просмотреть документы. А товарищи в убежище... Прошу зайти завтра.

— Завтра будет поздно. Немцы подходят к нашему району...

В это время бомба разорвалась так близко, что под нами пол заходил.

На приезжего это не произвело особого впечатления. Я ускорил шаг. Он продолжал идти рядом со мной.

— Поймите, товарищ, — сказал я, — в такой обстановке невозможно.

— Да, да, — согласился он печально и протянул мне руку.

Лицо его я не запомнил. Но рукопожатие его было хорошим. Я искренно пожалел, что не смог ничего сделать.

Впервые я провел всю ночь в убежище. Немцы прилетали двенадцать раз. Сидеть и пассивно пережидать, ничего не видя и не зная, — занятие унизительное.

Утром, хотя тревога не прекращалась, я вернулся в обком.

Черные клубы дыма висели над крышами домов, языки пламени рвались к небу. Куда ни глянешь — всюду горит. Пожарные пытались заливать пламя. Но что можно было сделать, когда ежеминутно возникали

все новые и новые очаги и все в большем количестве! Люди уже не в силах были бороться с огнем.

К этому времени в Чернигове осталось всего несколько сот человек почти все население эвакуировалось.

Немецкое командование не могло не знать, что в городе нет ни воинских частей, ни военных объектов Германские летчики уничтожали каждое сколько-нибудь заметное здание, гонялись за каждым человеком, попадавшим в поле их зрения. Немецкие летчики действовали по звериной программе фашизма.

В перерыве между налетами я решил объехать город.

Мы поехали по улице Шевченко. Пламя вырывалось из окон каждого третьего или четвертого дома. Навстречу нам скакала хромая лошадь. Шоферу пришлось свернуть на тротуар, иначе обезумевшее животное налетело бы на машину.

Позади нас, метрах в пятнадцати, не больше, рухнула стена. Горящие балки завалили лошадь.

На широком тротуаре ползал на четвереньках какой-то человек в шляпе и очках. Я окликнул его. Он не ответил. Шофер остановил машину, я еще раз позвал.

— Товарищ!

Тогда он поднялся с четверенек, посмотрел на меня мутными глазами и побежал в ворота какого-то дома. Гнаться за ним было бессмысленно.

Мы выехали на площадь Куйбышева. Большая часть домов горела, некоторые уже завалились, даже посредине площади обдавало жаром.

На площади, в центре, стоял, растопырив руки, высокий плотный мужчина. Лицо его было черно от копоти. Я окликнул его.

Он не замечал нас. Я снова его позвал: никакого впечатления. Шофер подвел машину к нему вплотную. Я взял товарища за руку. Он послушно влез в машину, однако еще долго не отвечал на вопросы.

Потом, когда я ему рассказал, как мы его подобрали, он пожал плечами:

— Ничего не помню.

Объехали еще несколько улиц. Когда были у городского сквера, «хейнкели» снова появились над городом. Один из них дал по нашей машине пулеметную очередь. Пули прожужжали над головой.

Мы подобрали еще двух человек. Одного из них пришлось связать: он лишился рассудка.

Ездили мы около часа. За это время над городом разгрузились две группы бомбардировщиков. Повернули обратно к обкому. Я боялся, что

увидю одни развалины. Нет, обком каким-то чудом уцелел. В радиусе двухсот метров не осталось ни одного неповрежденного дома, а в обкоме только стекла вылетели, да и то не все.

В тот вечер было принято решение эвакуироваться. Обком партии, обком комсомола и облисполком должны были выехать в районное село Лукашевку, за 15 километров. Остаться здесь не было уже никакого смысла: Чернигов был изолирован от внешнего мира; вышла из строя электростанция, прервалась телефонная и телеграфная связь. Жителей в городе почти не было, заводы и учреждения были также эвакуированы.

С тяжелым чувством покидали мы город, опустевший, разрушенный.

Когда я проезжал мимо своего дома, с удивлением обнаружил, что он цел. Хотел было я остановить машину, взять какие-нибудь вещи, хоть запасную пару белья, сапоги... Но махнул рукой. Впрочем, об этом довольно скоро пожалел.

На мне было кожаное пальто, гимнастерка, форменные брюки, яловые сапоги... На ремне висел планшет. Вот и все имущество.

* * *

26 августа уже из Лукашевки на двух машинах, легковой и грузовой, выехали в Холменский район еще двадцать шесть партизан и часть подпольного обкома во главе с товарищем Попудренко. Было решено, что я еще на некоторое время задержусь.

Прощаясь, я обнялся и расцеловался с каждым по очереди.

— Закончу дела по эвакуации населения и промышленности, провожу Красную Армию до границ Черниговщины и тогда пойду назад, к вам. Будьте уверены — я вас найду!

На следующий день стало известно, что и Холменский и Корюковский районы уже оккупированы немцами. Группу Попудренко переправили через линию фронта бойцы 18-й дивизии, находившейся на этом участке.

Не знал я тогда, что немало еще придется мне пережить, прежде чем снова встречу со своими товарищами.

* * *

Расскажу немного о своем детстве и юности. Я был подкидышем. Меня взял на воспитание, спасибо ему, днепровский лоцман — паромщик Максим Трофимович Костыря.

Все знали, что я подкидыш, и ребяташки, разумеется, дразнили, хотя и побаивались: кулаки у меня здоровые. И не будь революции, я натерпелся бы немало в юности: на таких, как я, незаконнорожденных, ни одна порядочная девушка не глядела, замуж бы не пошла.

Жил я на окраине Екатеринослава, ныне Днепропетровска, в селении

Лоцманская Каменка. Там меня и сейчас помнят. Спросите людей моего возраста:

— Заведенского помните?

— Как же, — ответят, — знаем!

«Заведенский» — это значит из «заведения», подкидыш.

Учился я в «министерском» двухклассном училище, Старался. Много баловался, но и к знанию тянулся. Может быть, потому, что и в раннем детстве понимал: жить мне придется трудно.

Уже в двенадцать лет я начал работать. Был у местного богатея подпаском. К четырнадцати годам оставил своего приемного отца и начал самостоятельную жизнь. Был пастухом, коногоном, работал у подрядчика на стройке. Так до девятнадцати лет.

В начале 1920 года я работал при бывшей земской больнице, делал все, что прикажут: двор подметал, дрова колол, печи растапливал, мертвых выносил. Попадали в больницу и красноармейцы; вероятно, не без их влияния мне пришла мысль вступить добровольно в Красную Армию. Лет мне было немало, мог бы и сам осознать, что Красная Армия — мое родное место. Однако это было не так. Меня больше прельщала материальная сторона: одежда-обува, хорошие харчи.

Окончил я кавалерийскую шестимесячную школу, дали мне звание помкомвзвода, направили в 54-й кавалерийский полк 9-й Кубанской кавдивизии. Был я в то время лихим парнем. На коне держался хорошо, но кубанских казаков лихостью не удивишь. Это все были бородачи, прошедшие и немецкую и гражданскую войны. Быть в их среде начальником, хоть и маленьким, я еще не мог, поэтому стал адъютантом у командира эскадрона.

Я принимал участие в нескольких боях. Сперва наша часть отступала, затем пошла в наступление. В моей личной судьбе ничего примечательного за то время не произошло. Разве лишь, что стал ярым кавалеристом, влюбился в лошадей, в клинок, в шпоры. И решил я тогда для себя, что быть кавалеристом — мой удел и мое призвание.

Однакож кадровым командиром я не стал: случилось, что во время похода на банду Тютюнника я простудился, слег в больницу с воспалением легких. Потом осложнение, в общем провалялся больше полугода. По выздоровлении военкомат направил меня в железнодорожный полк командиром взвода.

Там я служил, боролся с бандитами до 1924 года. А в 1924 году меня демобилизовали, и на этом моя военная карьера оборвалась.

Было мне 23 года. А у меня — ни профессии, ни даже сколько-нибудь

определенных целей. Но я знал, и твердо знал, что в жизни не пропаду. Был я физически крепок, армия воспитала во мне волю.

Очень хотелось мне учиться. Но в институт или техникум я поступить не мог. Не хватало знаний. Решил работать и учиться одновременно.

Мне удалось поступить помощником крепильщика на строительство тоннеля железной дороги Мерефа — Херсон. Говорю, удалось, потому что в то время еще была сильная безработица.

Здесь, на строительстве тоннеля, я получил настоящую рабочую закалку и большевистское воспитание.

Работа досталась тяжелая: в сырости, в темноте. Но я любил труд, любил людей, в совершенстве владеющих мастерством.

На квартиру я стал в селении Мандриковка, неподалеку от строительства. Вскоре там и женился. Надо было обжиться, кое-чем обзаводиться для дома, так что работал я в полную силу.

Какие у меня тогда были мечты и стремления? Человек я был уже взрослый, женатый, вскоре и дочка родилась. Скажи мне тогда: вот, Алексей, подумай — не стать ли тебе партийным работником: секретарем райкома, а потом, глядишь, и секретарем обкома? Я бы пожал плечами, рассмеялся. Я в то время не был даже комсомольцем.

Хотя и сам я тянулся к знанию, но советская власть и партия еще больше, чем я, хотели, чтобы люди, подобные мне, учились и росли.

У меня мечты были скромные: стать горным мастером. Поэтому я старательно приглядывался к старшим, более опытным товарищам и не отказывался ни от какой работы.

Стахановского движения не было, конечно, еще и в помине, даже ударничество появилось позже. Если, к примеру, рабочий сильно перевыполнял норму, кое-кто из стариков говорил: «Не сбивай расценок». Это мне уже тогда не нравилось. А профсоюзные работники иногда резко противопоставляли себя администрации: «За план пусть отвечает администрация...»

Нет, это мне было не по душе.

Образцом для меня были те рабочие, которые трудились не за страх, а за совесть.

Особенно, помню, нравились мне два сменных мастера — братья Григорьян — Артем и Иосиф. Простые в обращении, они всегда помогали советом и молодому и старому, а если надо — и денег одолжат. Они были замечательными мастерами, охотно делились своими знаниями. Это были веселые люди, любившие поплясать, провести свободное время в компании. От чарки не отказывались, но меру знали. Мне нравилось, как

они одевались хорошо, без щегольства.

Самым же близким другом и наставником был работавший со мной в одной смене Иван Иванович Бобров, как и я, крепильщик, но разрядом выше. Бобров был коммунистом, вел большую общественную работу, в рабочкоме заведывал производственным сектором.

Бобров-то и приучил меня регулярно читать газеты, добился того, что чтение стало для меня насущной потребностью, привил мне вкус и к политической литературе. Он брал меня на заседания в рабочком, втягивал в обсуждение производственных вопросов и первый заговорил со мной о вступлении в партию.

В Мандриковке построили тем временем клуб. И если раньше мы проводили вечера по домам, ходили в гости или группами шатались по селянской улице, то теперь появились у нас новые интересы. В клубе библиотека, кружки: драматический, музыкальный.

В моей биографии для советского человека нет ничего особенно нового. Могу определить все в нескольких словах: меня воспитывала, тянула вперед партия, советская власть, мой кругозор, мои интересы развивались вместе с культурным ростом страны.

Через год я стал членом рабочкома и клубным активистом. 27 июня 1926 года вступил в кандидаты партии. А ровно через год, 27 июня 1927 года, я стал членом партии.

К концу 1927 года, когда мы закончили тоннель, я работал горным мастером, получал по десятому разряду — вообще серьезный двадцатилетний человек. По общественной линии я ведал делами клуба, председательствовал в культкомиссии рабочкома и был избран членом бюро парторганизации.

Затем меня пригласили в Москву, в наркомат, и предложили поехать на Кавказ строить РионГЭС; там было немало скальных работ, и предполагалось пробить несколько тоннелей. Там я тоже работал мастером, а потом вернулся на Украину...

К тридцати годам, после того, как я вернулся на Украину и поработал в Днепропетровске на строительстве, мне удалось, наконец, осуществить свое давнишнее стремление к учению. Я поступил на третий курс Черниговского строительного техникума. Через год я окончил его, получил диплом и уже начал подумывать: не двинуться ли дальше, в институт? Но тут судьба моя резко изменилась. Меня вызвали в горком партии и сказали:

- Такие люди, как ты, нужны для работы в сельских районах.
- А что это за «такие люди»?
- Пролетарского происхождения, воспитанные на производстве,

преданные партии. В сельских районах нам таких людей не хватает.

И меня направили в Черниговскую область, Корюковский район, председателем райпрофсовета.

Потом меня избрали председателем контрольной комиссии в Понорницком районе той же области. Немного позднее избрали вторым секретарем райкома.

Партия продолжала за мной следить, помогала мне расти. На курсах подготовки секретарей при ЦК КП(б)У в Киеве, а затем на курсах при ЦК ВКП(б) в Москве я получил недостававшие мне теоретические знания.

В начале 1938 года меня избрали первым секретарем Черниговского обкома КП(б)У.

Я кадровый работник партии. Это значит, что все свое время, все свои помыслы, все свои силы отдаю партии. И куда бы меня ни послали, что бы мне партия ни приказала — я безоговорочно выполню любое ее указание.

И, осматриваясь сейчас вокруг, приглядываясь к товарищам, которые со мной в одном строю, я вижу: огромное большинство их — выходцы из народа. У них разные биографии, но интересы и цели одни. Эти цели определены программой партии большевиков.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ТРУДНЫЕ ДНИ

Наши войска отходили с боями. Все районы Черниговщины, кроме Яблунковского, были оккупированы врагом. В Яблунковке, небольшом зеленом, уютном местечке, скопились сотни машин, десятки воинских частей, подводы с беженцами, группы неведомых людей. Немецкие бомбардировщики появлялись над головой днем и ночью. Они пикировали на скопление машин, поджигали села, расстреливали на бреющем полете толпы бредущих по проселкам людей, стада коров...

В этом местечке в последний раз 15 сентября собрались на совещание представители партийных, советских, комсомольских и других общественных организаций Черниговской области. Нас было человек тридцать.

Собрание происходило в райкоме партии. Окна были плотно завешаны. На столе горела керосиновая лампа без стекла. С улицы доносились шум телег, перебранка возчиков, гудение автомобильных моторов...

Дом вздрагивал от взрывов авиабомб и артиллерийских снарядов.

Лампа густо коптила. Я всматривался в лица собравшихся, ждал, пока наступит тишина, относительная, конечно. Совсем тихо и спокойно сидеть никто не мог. Почти каждого я знал лично, но многих не узнавал —

небритые, с воспаленными от усталости и волнения глазами.

Я постучал по столу, призывая к вниманию. Сказал примерно следующее:

— На повестке дня один вопрос. Всем ясно, какой. Завтра наша армия оставляет последний район Черниговской области. А мы — черниговцы, товарищи! На Черниговщине дрались против немца прославленные отряды Щорса... Вас, я думаю, агитировать не приходится. Решение принято. Все мы завтра переходим на нелегальное положение. Каждый знает свои обязанности, свое место, свое новое имя, свою партийную кличку... Настал решительный час, товарищи!..

Меня прервал чей-то визгливый голос из темного угла:

— Нет, товарищ Федоров, неправильно!

— Что неправильно? Выйдите сюда, к свету!

Но говоривший предпочел продолжать «прения» из темного угла. Захлебываясь и запинаясь, он торопливо говорил:

— Это еще вопрос, где я буду полезнее. Конечно, решение, но я не понимаю, почему. Мы не так вооружены. Руководящие партийные и советские кадры области могут быть уничтожены поодиночке в результате глупой случайности. Вы как секретарь обкома должны заботиться о сохранении...

Мне стоило больших усилий овладеть собой. Даже сейчас, через пять лет, когда вспоминаю этот гнусенький голосок из темноты, во мне закипает бешенство.

Я стукнул по столу кулаком, постарался сказать тихо и внушительно, а как получилось — не знаю:

— Слушайте вы, прекратите! За руководящие кадры не распинайтесь! Попрошу сюда к столу. И говорите только о себе. Чего вы хотите?

Он подошел, а точнее сказать, подполз, цепляясь за спинки стульев, а когда достиг стола, оперся на него ладонями. Он ни разу не взглянул мне в лицо. Это был Рохленко, бывший председатель облпотребсоюза и... будущий пастух. Он докатился до того, что симулировал душевную болезнь, обманул врачей, получил белый билет и где-то возле Орска пас коров.

Но это случилось позднее. Тогда же, на совещании, он, глядя из-под бровей, сказал:

— Я готов защищать Родину до последней капли крови. Но прошу направить меня в армию. Я не хочу бессмысленно погибнуть, как собака... Я не хочу, я не могу...

«Я не хочу, я не могу...» — так и остались в моей памяти его

дрожащий голос, небритая, искаженная физиономия. А позднее мне рассказали, что в откровенной беседе он выступил со своей собственной программой. Он сказал: «В этой войне главное — выжить!»

Что ж, он, кажется, выжил.

Оглядываясь назад, спокойно взвешивая все, что видел за время войны, теперь понимаешь: отбор людей в тот начальный период не мог протекать без таких, мягко выражаясь, досадных ошибок.

...После того как «высказался» Рохленко, мы быстро договорились с товарищами, как пробираться к местам назначения.

Разбились по группам. Со мной остались товарищи Петрик, Капранов, Компанец, секретарь Житомирского обкома КП(б)У Сыромятников и Рудько.

* * *

16 сентября утром немцы начали минометный обстрел Яблуновки.

С этого момента Черниговский обком партии стал подпольным обкомом. Но существовал ли он тогда вообще? Предполагается, что коли есть областной комитет, стало быть, имеются и районные и низовые организации. В том, что они существуют, я не сомневался. Однако где они? Как с ними связаться, как ими руководить? Эти вопросы очень меня беспокоили.

Вся стройная система легальной партийной организации области разрушена. А сами мы, руководящая верхушка, представляем собой небольшую группу плохо вооруженных людей, без определенного места, без средств транспорта и связи.

Но вера в силу партии, в силу сопротивления народа была моральной опорой для каждого из нас.

Цель была ясная: пробраться в северные лесные районы, туда, где наши базы, где Попудренко с областным партизанским отрядом. А уж оттуда можно наладить связь с райкомами и ячейками. Цель ясная, но как ее достичь?

Вечером мы решили, что пойдем в селение Бубновщина. Там переобмундируемся, т. е. раздобудем одежонку попроще: мы собирались выдавать себя за бежавших из плена красноармейцев.

Но утром выяснилось, что Бубновщина занята противником. В последний раз мы уселись в нашу обкомовскую легковую машину и поехали в Пирятин районный городок Полтавской области.

Пирятин был окружен. Немцы взяли в клещи город и большую часть района. Две или три наши дивизии держали круговую оборону и старались пробить кольцо врага.

О том, что такое немецкое окружение того времени, написано много. Я не был ни офицером, ни солдатом окруженной воинской группировки, не мне судить о достоинствах и недостатках Пирятинской операции. Буду Поэтому рассказывать только о том, что происходило с нашей небольшой группой.

В день приезда в Пирятин немцы так фундаментально бомбили город, что нам пришлось несколько часов просидеть в щели. Душевное состояние наше было ужасным. Но замечу, что и в тот день мы не разучились смеяться.

Когда мы бежали от своей машины к щели, один из наших товарищей, серьезный человек, увидев низко плывущий немецкий самолет, внезапно выхватил из-за пояса ручную гранату и замахнулся... Пришлось схватить товарища за руку. Он, в самом деле, намеревался метнуть гранату в самолет. Тут же он опомнился и вместе с нами посмеялся.

Остаться в Пирятине не было никакого смысла. Мы решили уходить из города, пробираться на свою Черниговскую землю.

Комфортабельный «бюик» был нам теперь ни к чему. Мы попытались сдать его кому-либо из офицеров, но желающих получить эту городскую красивую, но непрактичную машину не нашлось. В ее баке не осталось ни капли бензина.

У нас была в запасе четверть спирта. Я полил спиртом сиденье машины, мотор, остатки вылил на крышу, поднес горящую спичку — высокое голубое пламя разметалось по ветру.

Капранов, Рудько, Компанец, Петрик, Бобырь, Рогинец, Сыромятников и я пошли по дороге к загородному лесу.

* * *

Немцы хоть и окружили Пирятинский район, но непрерывной линии фронта не создали. Немецкое командование действовало тогда световыми и шумовыми эффектами, а также внезапными наскоками, обилием бестолкового и бесцельного огня.

Профессиональных военных среди нас не было; разбирались мы в том, что происходит, не очень-то хорошо.

Запомнилось в тот день обилие самых разнообразных встреч, лиц как знакомых, так и незнакомых. И все друг друга расспрашивали. Один спрашивает, где такое-то село, другой спрашивает, не встречалась ли нам рота саперов, третий просит курить и потихоньку наводит разговор, кто мы, что тут делаем?

Движение на опушке леса, где мы расположились, было, как в погожий день на улице Горького в Москве. Правда, менее упорядоченное, шуму же

несомненно больше.

Над головами свистели снаряды, и слева и справа трещали пулеметы. Откуда ни возьмись, появился Рохленко. Подошел довольно развязно, руки, однако, не совал.

— А, — говорит, — товарищ Федоров! Вижу, и вы покинули Черниговскую область! Что ж, будем двигаться вместе?

Пришлось резко оборвать его. Впрочем, на Рохленко не так подействовала брань, как наше твердое решение пробираться в немецкие тылы. Он расстался с нами немедленно.

Были и приятные встречи. Самая приятная — с Владимиром Николаевичем Дружининым.

Кто-то из товарищей, кажется, Капранов, сказал:

— Смотрите, Дружинин!

Я его окликнул. Мы обнялись, потом вместе позавтракали остатками консервов, выпили по чарке. Мы не виделись уже год. До того были большими друзьями. Подружились еще в 1933 году, когда я работал в Понорницком районе. Он тогда заведывал орготделом соседнего, Новгород-Северского райкома. Привлекала меня в нем удивительная способность никогда не унывать. Он делал все и всегда весело, с шутками и прибаутками; энергичный, жизнелюбивый человек, к тому же превосходный организатор, Владимир Николаевич легко и непринужденно разговаривал с людьми из разных слоев — с рабочими, крестьянами, интеллигентами.

С 1938 года по 1940 год он работал вместе со мной в Черниговском обкоме, был заворгом. Перед войной Дружинин уехал в Тернопольскую область, там его избрали вторым секретарем обкома.

И вот судьба вновь столкнула нас. Владимир Николаевич в шинели, с двумя «шпалами»: батальонный комиссар, участвовал в боях. Мы стали уговаривать его присоединиться к нам, уйти с нами в подполье, в партизаны.

Предложение пришлось ему по вкусу. Его часть уже выбралась из окружения, штаб дивизии, куда он был послан для связи, «передислоцировался» при помощи самолетов.

Остался Дружинин сам себе командир — докладывать некому.

— Ладно, товарищ Федоров, перехожу под ваше командование. Будем в тылу сколачивать партизанскую дивизию.

И верно, мы вместе сколачивали наше соединение. Он — комиссаром, я командиром. Но это произошло нескоро. А тогда он так же внезапно исчез, как и появился.

У кого-то нашлась карта района. Разобравшись в ней, своими силами разведав обстановку, мы приняли решение двигаться всей группой к селу Куреньки обходным путем на Чернигов.

Когда стемнело, отправились. Шли по дороге. Погода мерзкая: холодный дождь, бестолковый, порывистый ветер. Темнота непроглядная. Только небо окрашено заревом: горел город, горели села. Бои шли и позади, и впереди, и по сторонам. То и дело возникала перестрелка, но кто стрелял, почему, не знали.

Какие-то люди, и штатские и военные, брели вместе с нами и навстречу нам. Мы часто натыкались на трупы человеческие, лошадиные, шагали через них. Какие-то машины, без фар, обгоняли нас.

Вскоре выяснилось, что в Куреньки идти бессмысленно: туда ворвались немецкие танки. Но идти куда-то надо было, и мы шли.

Тяжелые, плохо сшитые яловые сапоги натирали мне пятки. То ли портянки неумело намотаны, то ли задник слишком груб, но трут, черт бы их взял, и уж говорить ни о чем не можешь и думаешь только о том, как бы переобуться.

Но обнаруживать свою немощь перед товарищами было неловко. Тем более, что кое-кто уже начал сдавать. Большой, рыхлый Сыромятников заговорил о своем сердце: оно, мол, дает перебои.

— Ну, чего там перебои, — подбадривал я его. — Ты, товарищ Сыромятников, плюнь на сердце! И вообще, имей в виду: сердце — это тыловой орган, на войну его брать не рекомендуется.

Так я подбадривал Сыромятникова. Но когда он сказал, что не может побороть одышки, попросил устроить привал, я, признаться, обрадовался случаю:

— Ну, что ж, други, надо Сыромятникова уважить. Порок сердца у человека. Давайте посидим.

Сели мы у канавки. Я сразу же стянул сапоги, стал наново перематывать портянки: на пятках волдыри, а кое-где натерто до крови. Вырезал себе палку, довольно капитальную. Говорю:

— Дополнительное оружие. Если по немецкой каске долбануть, так, пожалуй, и голове достанется!

Но шутки шутками, а ноги болят. Сидим так на краю канавки, перебрасываемся словами.

Потом опять пошли в темноту месить грязь. На рассвете увидели, что вместе с нами движется довольно большая воинская часть. Немало идет и гражданского народа, но одни мужчины — женщин и детей не видно. У гражданских лиц, вроде нас: или кобура висит или карман от пистолета

оттопыривается.

Слева от дороги, метрах в трехстах, — лес.

Леса в Полтавщине небольшие и негустые. Но все-таки днем лучше идти лесом, нежели полем, да еще дорогой. Это соображение пришло в голову, видимо, сразу многим. Кто-то направил к лесу разведку. Выяснилось, что там незначительные группы немцев. А нас на дороге, и военных и штатских, никак не меньше тысячи.

Офицеры собрались, посоветовались и решили выбить немцев из леса. Была дана команда рассыпаться в цепь.

Наша группа тоже рассыпалась.

Немцы попытались отбить нашу атаку минометным и автоматным огнем, но перевес был явно не на их стороне. Лес мы взяли. Как он ни мал, а все же: деревья, кусты... В цепи ближайшим ко мне был Рудько. Его я нашел, а Дружинин, Капранов, Компанец и другие — исчезли бесследно.

С дороги мы ушли вовремя. Через полчаса там появились немецкие мотоциклисты, за ними последовали танкетки — штук тридцать. Столкновение с ними не сулило нам ничего хорошего.

* * *

Павел Рудько был много моложе меня, здоровее, ловчее. Когда надо было прыгнуть с кочки на кочку, я долго медлил, будто перед купаньем в холодной реке, прыгал тяжело, и натертым моим пяткам было мучительно больно. Рудько же прыгал, как коза, легко, улыбаясь. Но привалам он все-таки радовался больше меня.

Любил Рудько поговорить! Стоило нам где-нибудь присесть, Рудько начинал:

— Какой ужас! Вы обратили внимание, Алексей Федорович, у дубового пня лежал труп колхозника? Рука у него застыла со сжатым кулаком, глаза открыты, кажется, что он произносит страстную речь, обращается к народу...

Помолчит с минуту Рудько, посмотрит вокруг.

— Вот, — говорит, — птичка. Обыкновенный воробышек, щебечет. Ему и горя мало. Чирик-чик-чик. А пока он эту свою простую песенку спел, сотни, да что сотни, тысячи людей погибли под градом пуль!

— Слушай, Рудько, брось, помолчи!

— А что, разве я не прав, Алексей Федорович? У меня душа болит, Алексей Федорович, не могу я.

Один раз идем мы, шагах в двухстах — домик, лесник там жил, что ли... На крыльце стоит крестьянин в свитке. И вдруг крестьянин этот прижимает к животу автомат.

Мы сообразили, что это переодетый немец. Залегли. Тогда немцы открыли минометный огонь. Кладут мины в шахматном порядке, примерно по той линии, где скрываемся мы. Рудько видит, что еще полминуты, и его может срезать осколок.

— Алексей Федорович, — говорит он. — Алексей Федорович, дайте мне пистолет, дайте из человеколюбия. Разрешите, я застрелюсь!

Пистолета я ему не дал. Мы отползли назад, сделали круг и оказались в том месте, где мины ложились раньше. Все обошлось благополучно.

— Видишь, — говорю я Павлу Рудько, — жив, здоров!

— Да, Алексей Федорович, на этот раз повезло. Но что будет через полчаса? Что будет завтра? И чего стоит наша жизнь, когда нам, подобно червям, приходится ползать на животах? Разве для того я кончал университет?!

Так вел себя Рудько.

Я и сам чувствовал себя ох как плохо. Умопомрачительно хотелось спать, хотелось есть. Кроме того, меня мучили ноги. «Пусть бы, — думаю, скорее натерлись настоящие толстые мозоли». Надоело мне и мое кожаное пальто, во время ходьбы оно бьет по коленям. И кто сказал, что кожа не промокает? Она не только промокает, она вбирает в себя влагу и становится тяжелой, как вериги.

Но я никому не говорил о своих страданиях.

* * *

В этом лесу я встретился с полковником. Так как это был самый значительный воинский начальник, я подошел к нему, стал держать с ним совет. Знакомились не без осторожности. Сперва общие фразы. Дескать, знаете, дела неважные, линии фронта нет. Где наши части, где немцы — не разберешь...

— А вы, собственно, кто такой? — начальственно спрашивает полковник и оглядывает меня с ног до головы.

— Как вам сказать... давайте, товарищ полковник, отойдем в сторону, взаимно проверимся.

Он оказался начальником артиллерии одного соединения. Фамилия Григорьев. Документы это подтвердили. Да и внешний вид, манеры, речь — все в нем обличало опытного кадрового командира. Я решил: «Вот человек, который партизанам очень пригодится». И уже без обиняков предложил:

— Как вы думаете, товарищ Григорьев, не организовать ли нам небольшой партизанский отряд?

Полковник ответил не сразу, задумался, походил.

— Да, — сказал он минуты через две. — Эта мысль уже приходила мне в голову. Вы — депутат Верховного Совета СССР и УССР, секретарь обкома партии — вполне можете стать комиссаром, а я возьму на себя командование!

Мы походили по лесу, собирая народ. К нам пришло несколько десятков человек, большей частью красноармейцев. Выстроились; по порядку номеров рассчитались. Выяснилось, что нас девяносто шесть человек. Подсчитали наше имущество: восемьдесят три винтовки, два ручных пулемета, сорок шесть ручных гранат, двенадцать автоматов ППД, двадцать три пистолета, сорок банок мясных консервов и четыре с половиной буханки хлеба.

Полковник объявил перед строем, что мы — партизанский отряд.

— Кто отказывается действовать с нами — два шага вперед.

Никто не отказался. Тогда полковник распределил обязанности, назначил людей в разведку, в хозяйственную часть, разбил отряд на два взвода, отобрал офицеров в штаб.

* * *

По дороге Куреньки — Харьковцы двигались почти непрерывно немецкие части: танки группами и одиночками, пехота на автомобилях, мотоциклисты, продовольственные обозы. На совещании командиров, где присутствовали, кроме полковника, еще два лейтенанта, было решено, что лес пора покидать. Немцы скоро его будут прочесывать.

По ту сторону дороги, метрах в двухстах, начинался другой лес. В отряде обнаружился местный человек, бывший тракторист. Он сказал, что из того леса удобнее пробираться в немецкие тылы. Не помню, какие были еще соображения, во всяком случае уходить надо было не медля.

— Будем переходить дорогу небольшими группами, — приказал полковник. — Дайте мне, товарищ комиссар, ваш автомат. Я с этим трактористом пойду на ту сторону первым, определю, что и как, потом вернусь. Думаю, что на эту разведку мне потребуется не больше двух часов.

Я послушно отдал полковнику автомат, пожелал всего хорошего, потом приказал всем бойцам рассредоточиться по кустам и отдыхать. Все мы ужасно устали, не спали предыдущую ночь, да и прошлые ночи только дремали. Честно разделили остатки еды, спрятали для полковника и его спутника их долю и стали ждать.

Я уснул. Дежурный растолкал меня часа через три.

— Что, вернулся полковник? — спросил я.

— Нет, товарищ комиссар, полковника не видать. А с западной

стороны начинают сильно постреливать. Пора бы отсюда уходить.

— Придется подождать командира. Приказ слышали?

Ждем еще час — нет полковника. Дорогу он перешел благополучно, это видели.

Исчезновение полковника[2] произвело удручающее впечатление на всех. Мое настроение было тем более безотрадным, что я остался без автомата.

Кто-то зажег в лесу костер, проезжавшие немцы увидели дым и открыли пулеметный и минометный огонь по лесу. Мы уползали подальше, вглубь. Рудько куда-то пропал. Я забеспокоился.

— Рудько! — крикнул я, подделываясь под крестьянский говор. — Где ты коня дел?!

Немцы дали по моему голосу несколько длинных очередей.

Я отполз еще на несколько метров, стал опять кричать «Рудько!» и опять привлек на себя огонь немцев. Бойцы стали роптать. И они были правы. Чего это ради я их выдаю своим криком?

Пришлось примириться с тем, что потерял товарища. Позднее выяснилось, что он попросту сбежал.

Отряд наш распался. Осталось всего семь человек. Никаких клятв мы не произносили, партизанами себя не именовали, но держались друг друга крепко.

Так, всемером, мы скитались по лесам Чернушского района, Полтавской области, дней пять или шесть. Голодали. Питались кислицей, кореньями, а один раз повезло: пастухи принесли нам чугунок вареной картошки и полбуханки хлеба. Это было настоящим пиршеством, Но мы не насытились, а только разожгли аппетит.

* * *

Как-то вечером, когда стемнело, мы решили войти в село. Широкая грязная улица. Дома далеко друг от друга; их разделяют сады. Еще не поздний час, но нигде ни души. Гнетущая, отвратительная тишина. Конечно, в хатах есть народ. Обычно пройдишь-ка вечером по селянской улице — собаки забрешут со всех сторон, под ноги будут кидаться. А тут идем семеро, и нигде ни звука.

Мы идем так: впереди я, следом за мной лейтенант и остальные пятеро гуськом, с интервалом шага в два. Может, и надо бы немного рассредоточиться, но каждый хочет слышать дыхание идущего впереди.

У меня ноги по-прежнему нестерпимо болят. Опираюсь на палку. Кожаное пальто тяжелое, жарко в нем. Кто же в сентябре ходит в пальто на меху? Но впереди зима, взять будет негде.

Идем молча. Я — ведущий, а куда веду? «Хоть бы, — думаю, — встретить бабу или старика». И только так подумал, вижу на крыльце хаты силуэт человека. Стоит человек неподвижно.

Я уж рот раскрыл, чтобы его окликнуть, а он поворачивается, и теперь на фоне светлого тополевого ствола видны очертания автомата, висящего на пузе, и каски.

Немец!

Это был первый живой немец, которого я увидел так близко.

Не отдавая себе отчета, по всей вероятности, от страха, я выхватил из кармана пистолет и выстрелил в него. Не знаю, убил или нет. Пригнувшись, я бросился в сторону, за хату, к огородам. Крикнул ребятам:

— Немцы!

И в ту же секунду началась пальба, застрочил автомат, потом другой, третий, взвилась осветительная ракета. Я мчался что есть духу по огородным кочкам, спотыкался, падал, поднимался и опять бежал. Под ногами треснула какая-то доска, и я провалился в яму. Кое-как выбрался и бегу дальше. Плетень, да высокий, с кольями. Перемахнул его с ходу; штаны зацепились за кол и разорвались чуть не пополам.

— Хальт!

Дал в сторону «хальта» два выстрела и качусь дальше, по косоугору к речке... Тут опять ракеты и пули. Колено почему-то страшно заболело. Думаю: «Ранили, сволочи», но бежать могу. И со всего размаху — бултых в реку.

Она встретилась на пути совершенно неожиданно. Мы ее днем перешли; здесь она, оказывается, делает изгиб. Плыву я к противоположному берегу. Пальто мое раздулось поверху, фуражку сорвало и понесло.

— Хальт, хальт, хальт! — несло теперь и слева и справа.

Два фрица заметили меня и чешут из автоматов по реке. А тут еще эти проклятые ракеты. Как взовьется, — я голову в воду. Но долго ли под водой просидишь? Ракета висит дольше... Река эта, под названием Много, не очень широка, но глубина порядочная. Плыть в пальто и сапогах ужасно трудно. Подплыв к противоположному берегу, я не вылез, а пошел водой, в тени кустов. Голову держу над самой поверхностью реки. Один сапог сам снялся: завяз в глинистом дне. Другой я скинул. Хотел сбросить и пальто, но мелькнула хорошая мысль: воткнул палку в глину (она так и осталась в руке, просто забыл кинуть), повесил на нее пальто; планшет с картами и бумагами сунул в грязь и еще ногой для верности затоптал. А сам ползком, ползком, по-пластунски, к кустам.

Трудно мне было по-пластунски ползти. Живот мешает. Локти сразу заныли. Колено продолжало нестерпимо болеть... Потрогал: крови нет. Стало быть, не ранен.

Уселся я под кустом, ноги поджал, дышу. А стрельба идет по моему пальто. Как ракета взовьется, так немцы его дырявят. Минуту спустя оно упало в реку и поплыло.

Сижу под кустом и, верите ли, рассмеялся. Представил себя со стороны: толстый человек, с орденом на гимнастерке, без сапог, без пальто, без фуражки, весь мокрый, скорчился в три погибели.

Когда выстрелы стихли, я выбрался из-под куста и быстро пошел по полю. Но оказалось, что это вовсе не поле, а срезанный камыш. Вот когда я пожалел о сапогах! Портянки и носки уже через сотню шагов разодрались вдрызг, и ноги, чувствую, поколол и порезал. Но что делать? Иду. Сколько прошел — километр, два? Вижу силуэты каких-то хатенок, а чуть левее скирда пшеницы. Я — к ней. Рядом со скирдой приклад — маленькая скирда. Между ними я и устроился. Соломы надергал, кое-как укрылся, ноги мои, наверное, торчали. Я сразу же уснул, можно сказать, без памяти упал.

Очнулся я только часа через четыре. Сжался в комок, как в детстве, когда вставать не хочется. Лежу, дрожу от холода, в одной руке пистолет сжимаю, а другой занозы из ног вытягиваю. В карманах у меня были запасные патроны. Я пистолет перезарядил. И все лежу, не решаясь даже выглянуть из-за снопа. Ну, конечно, вспоминаю, как драпал от немцев. Ведь трусость я всегда осуждал...

Долго я корил себя, а потом стал раздумывать, что делать дальше.

Тут в шагах пятистах от меня хаты, а в хатах колхозники. Как-то они отнесутся к моему появлению?

Я партийный работник — человек массовый, человек для людей. Одиночества я никогда не знал, не искал и не нуждался в нем. Я это говорю к тому, что прятаться в одиночку лишь для того, чтобы сохранить себе жизнь, я не мог. Сама мысль об этом была для меня невыносима.

Но в тот момент я, признаться, растерялся. А тут еще физическая немощ, ноги опухли, кровоточат... уверенности в себе нет.

Пропел петух. «Так, — думаю, — дело к утру». И вдруг рядом что-то зашуршало, зашевелилось, сноп, которым я прикрывался, дрогнул и упал...

Я стою на коленях; вцепился в пистолет, держу его перед собой... Уже светлеет, и никого нет. Только куры: ко-ко-ко. Вот ведь какая гадость, как напугали!

* * *

За всю войну я не был так близок к гибели, как в те дни. Внешне я выглядел так, что мог вызвать и жалость и смех. Говорю об этом не стесняясь, думаю, что всякий, кто вот так же, вроде меня, начинал войну, в душе признает, что и у него был момент физического упадка.

Но вернемся к тому, что происходило со мной. Повторяю: никогда я не был так близок к гибели. Я поддался усталости. Ведь подумать только — я спал чуть ли не четыре часа в этой скирде пшеницы, меня ничего не стоило взять сонного. А в карманах моей гимнастерки были такие документы: партийный билет, удостоверение секретаря обкома, удостоверение члена ЦК КП(б)У, орденская книжка, депутатские билеты Верховного Совета СССР и УССР.

Итак, на рассвете, когда меня потревожили куры, поблизости не оказалось ни одного живого человека.

Я поднялся и только собрался шагнуть, как начался минометный обстрел поля; совсем недалеко, метрах в трехстах, завязалась и автоматная перестрелка. Кто с кем дрался — не знаю. Но я уже привык остерегаться всего. Да и глупо было бы с моим жалким пистолетом ввязываться в эту потасовку.

Я снова лег, зарылся в скирду. А куры вовсю работали, копались возле меня, кудахтали, петухи гордо и независимо кукарекали. Я уже чувствовал к ним ненависть. Мне была известна немецкая страсть к «куркам» и «яйкам». Придут, станут охотиться за белым мясом — и наткнутся.

Ужасно захотелось покурить. Но я так продрог, что не мог пошевелиться... Папиросы, правда, намокли, спички тоже.

Стрельба вскоре прекратилась. Я услышал чьи-то шаркающие шаги и кашель, определенно старушечий. Никто не разговаривал, значит, старушка появилась в моей зоне без спутников.

Она стала звать кур, что-то шептала, ворчала.

Я вытянул занемевшие ноги, решительно повернулся, отбросил от себя солому и вскочил.

— Чур, чур, чур! — закричала старушка и замахала руками.

Увидеть такого дядю было, наверное, страшно — босой, небритый, мокрый, в голове овсюги.

Она перекрестилась и оцепенела. Я тоже с полминуты молчал, привыкал к свету: утро выдалось солнечное.

— Слышь, бабуся, — сказал я как мог спокойнее, — не бойся. Я не кусаюсь. Немцы далеко?

— Та ни, вон село. Воны в сели хлиб да животину грабуют.

— А у тебя, старая, нет чего перекусить? Может, хлеба кусок? Или

молока крынка?

Говоря с ней, я оглядывался по сторонам; то, что в темноте принимал за хаты, оказалось будками для кур. Сюда, на поле, колхоз вывозил птицу для борьбы с вредителями и построил довольно просторные курятники. Старуха, видимо, была птичницей.

— Так как же, бабуся, есть у тебя перекусить чего-нибудь для русского солдата?

— Ничего немає, милый... хйба ж можно так людей пугать?

— В том лесу тоже немцы? — и я показал на опушку, что начиналась метрах в четырехстах от моей скирды.

— Всюду нимцы, везде, — сказала она.

Из-за курятника появился еще один человек. Старик, дряхлый, с длинной зеленоватой бородой. Вокруг шеи у него был повязан башлык.

— Вот, диду, хлопец, — сказала старуха. — Есть просит.

Старик исподлобья глянул на меня, ничего не сказал и начал развязывать башлык — долго он его разматывал. Затем вытащил большой ломоть хлеба, шмат сала и так же молча протянул мне, сам же сел на землю. Пока я уплетал, старики, не отрываясь, глядели на меня.

— Слышь, хлопец, — прервал, наконец, свое молчание старик, — тут шагах, мабуть, в сотне убитый солдат лежит. Шинель на нем, дуже добра шинель. Чем так дрожать, пойдй сыми.

Продолжая жевать, я отрицательно покачал головой.

Старик вопросительно взглянул на меня:

— Не нравится? Э-эх!

Он встал и пошел за ту скирду, где я пролежал ночь и утро. Вернувшись, он притащил грязную и поразительно драную шинелишку.

— Не хочешь с мертвого, може, моей не побрезгуешь? Бери, хлопец, спасай жизнь.

Шинель была разодрана чуть не до ворота. Я наступил на полу, разорвал ее до конца. Одну половину накинуд на плечи, другую разделил еще надвое, обмотал кусками ноги.

Старики следили за моими действиями без слов. Я тоже не пытался продолжать разговор. Куда уж мне: зуб на зуб не попадал, руки, ноги — все дрожало. Одежда после вчерашнего купанья еще не обсохла.

Обмундировавшись таким образом, я поднялся, простился со стариками и поплелся к лесу.

— Эй, хлопец! — кликнул меня старик.

Я обернулся.

— Дай те бог!.. Оружье-то у тебя есть?

Я утвердительно кивнул.

— Ну, так раньше, чем помрешь, може, хоть одного нимця приголубишь. Ну, чего стал? Давай-давай, хоть не зря помирай!

На опушке леса маячили какие-то человеческие фигуры. Думалось, что то русские люди. Очень бы хотелось снова встретиться с лейтенантом, со всей группой, что вчера потерял. Справа, метрах в пятистах, располагалось небольшое село.

* * *

По полю от села бежала девочка, босая, в одном платье. Она бежала во весь дух и кричала:

— А-а, а-а-а!

Увидев меня, она резко остановилась шагах в пяти и перестала кричать. Я тоже остановился. Это была маленькая, белобрысая крестьянская девочка лет девяти. Она глядела на меня широко раскрытыми глазами.

Я шагнул к ней, протянул руку, хотел потрепать по головке. Она отступила на шаг, губы ее дрогнули.

— Солдатику! — проговорила она, с трудом преодолевая одышку. — Идемозе мноюз, ой, солдатику, идемо швыдше! — она вцепилась в мою руку и потащила к селу. — Нимцы мамку топчут, нимцы мамку тянуть. Ой, дядю, ну, пойдём, швыдше!

Быстро идти я не мог, а девочка хотела, чтобы мы бежали, она продолжала говорить: «Спасите маму».

Пройдя шагов пятнадцать, я сообразил, что нельзя мне с ней идти, не имею права поддаваться чувству. Я остановился.

— Ну, чего? — крикнула на меня девочка и дернула мою руку. Потом посмотрела мне в глаза, щеки ее судорожно задергались, она бросила мою руку, побежала обратно к лесу и опять закричала:

— А-а, а-а-а! — в голосе ее была такая тоска, такое отчаянье, что я рванулса за ней, крикнул:

— Стой, стой, девочка, идем к маме!

Но она не оборачивалась. Она бежала так быстро, что мне, с моими изодранными ногами, нечего было и думать ее догонять. Она кричала без передышки, и голосок ее я еще слышал минуты три... Он звучал в моих ушах и на следующий день и через неделю. Я его слышу и сейчас:

— Солдатику, идемо зи мноюз!

* * *

На опушке леса, в кустарниках, я увидел трех красноармейцев. У всех троих за плечами висели большие, туго набитые мешки. Вид порядком

помятый, но шинели целые, хотя грязные, и сапоги, видать, крепкие.

Все трое оказались шоферами. Коротко рассказали они историю своего окружения. Я назвался комиссаром полка. Не знаю, поверили шоферы, или им было все равно, но в компанию приняли и «зачислили на довольствие».

— Пойдем, комиссар, будем совет держать, — сказал один из них, грубый малый с отечным лицом и мрачным взглядом.

Сказав так, он подмигнул своим приятелям. Они, а за ними и я направились к большой скирде; в ней кто-то сделал просторное углубление род пещеры. Мы влезли туда и свободно разместились.

Шофер с мрачным взглядом развязал свой мешок, вытащил две банки консервов, флягу с водкой, краюху хлеба. Не спеша, нарезал хлеб, одним ловким движением вскрыл банку, разложил мясо на кусках хлеба, а в банку налил водки и первому протянул мне.

Потом, по очереди, выпили все. Закусили. Один из шоферов, черноволосый, подвижный, по внешнему виду еврей, сказал мрачному:

— Что, Степан, так и будем здесь, в скирдах, отсиживаться?

Степан бросил на него быстрый взгляд и ничего не ответил.

Третий шофер, рябой парнишка с вятским говором, хлопнул мрачного по плечу:

— Давай, Степа, будем через фронт пробиваться, к своим. Комиссар в наше подразделение явился, по всем видам — крепкий мужик, его возьмем.

Степан уперся теперь взглядом в меня, протянул длинную, волосатую руку к ордену на моей груди, потрогал.

— Вот, комиссара нам как раз и не хватало, — он, видимо, быстро хмелел. — Ну, чего, дура, нацепил? — сказал он, таращась на орден. — Сыми, а то я сыму!

— Поди, не сымешь, — сказал рябой. — Не бузуй, Степан, давай дело говорить!

— Дело? Какое наше дело? Наше дело — хана! — проворчал мрачный. Он вновь налил себе водки, выпил, утерся ладонью и продолжал так же, не спеша: — Наше дело простое: возьмем под белы руки комиссара, сведем в ближайшее село к коменданту, а там пусть разбирают, кого в лагерь, кого на виселицу. С комиссаром нам и у немца больше доверия! — Заметив, что я полез за пазуху, он схватил мою руку. — Стой, браток, не пугай, подрачься успеем. Эта штука и у меня имеется... кидай свою бляху в сено. А вот тебе и документ.

С этими словами он вытащил из кармана несколько немецких листовок «пропусков». Напрягшись, я высвободил руку из его цепких пальцев, достал пистолет... Сидевший справа от меня рябой внезапным ударом

выбил у меня оружие. Я хотел кинуться на него, но тот сам с быстротой кошки прыгнул на Степана.

— Что, сволочь, проданся!..

Черноволосый бросился к нему на помощь, вдвоем они прижали своего спутника к земле.

— погоди, братки, братишки! — кричал Степан, он отбивался и кулаками и ногами, кусался, но вдруг как-то неестественно захрипел, стал колотить каблуками землю.

Минуту спустя все было кончено. Я вылез на волю, глубоко вздохнул. И сразу вслед за мной вылезли, захватив свои мешки, и черноволосый с рябой. Рябой, глядя в сторону, ни к кому не обращаясь, сказал:

— Собаке — собачья и смерть!

Вытерев руками пот с лица, он обратился ко мне:

— К чему, товарищ комиссар, понапрасну стрелять, шум поднимать. Иногда хорошо втихую...

Больше об этом случае не говорили. Пошли в глубь леса, и каждый думал о своем. Я думал о том, что эти два красноармейца дали мне урок решительности и необходимой жестокости.

* * *

В мешке черноволосого нашелся плащ. Короткий, старый, но я его с наслаждением натянул. Он кое-как защищал от ветра и дождя. Дали мне ребята и потрепанную пилотку. Теперь я действительно стал походить на бежавшего из плена.

Выяснилось, что мы компания непрочная. Рябой парень во что бы то ни стало решил перебираться через линию фронта. Он искал попутчиков. Мои намерения оставались неизменными: я шел в Черниговскую область. Черноволосый — его звали Яков Зуссерман — стремился на родину, в город Нежин. Город этот тоже в Черниговской области, до поры нам с Яковым было по пути.

В лесу бродило много людей. Вероятно, большинство такие же, как мы, скитальцы. Часто бывало: идет какой-то человек, явно видит нас и направляется к нам. Мы уже ему кричим:

— Свои, давай, друг, сюда!

Но он вдруг сворачивает в сторону, пускается бежать. Одиночки особенно боялись. Да это и понятно: кто знает, что за люди...

Заночевали мы на лужайке, в стоге сена. Спали по очереди. На утро я с удовольствием отметил, что ногам моим немного лучше.

Когда перекусили, приняли твердое решение: быть настойчивее в поисках людей, сколачивать группу, если не партизан, то хотя бы

единомышленников. Больше народу — больше силы.

Пока мы совещались, смотрю, невдалеке пробегает мальчишка. Окликнули его. Он довольно смело подошел.

— Не видал, хлопец, тут партизан?

— А що це таке партизаны?

Хитрит мальчик. Кстати, на плече у него висят два огромных армейских башмака.

— Где взял? — спрашивает рябой. — Дал бы нашему командиру, видишь, человек разут.

Парнишка без сожаления снял с плеча башмаки. Оба они оказались на левую ногу, но влезли. А так как башмаки были просторными, то я еще обмотал ноги остатками шинели. Поблагодарил парнишку, спросил:

— Ну, а як же насчет партизан, не видел?

— Да тут, за балкой, какие-то дядьки, а що за народ, хйба я знаю. Идите вон туда, — он показал нам направление, и мы двинулись.

Теперь я стал кум королю. Ноги в тепле. Кто бывал солдатом, понимает, как это важно. Правда, я часто спотыкался, но все же повеселел.

А еще больше я повеселел, когда в группе, что устроилась за оврагом, нашел знакомых — двух красноармейцев из нашего отрядика, с которым расстался два дня назад.

Они рассказали, что из шести человек в ночной перестрелке был ранен и схвачен только один. Другим удалось скрыться. Меня считали погибшим. лейтенант с кем-то из товарищей отправился утром на разведку, да так и не вернулся...

Всего сидело у костра, возле оврага, семь человек. Двое стремились на родину, в Киевскую и Житомирскую области, остальные непременно хотели перейти через линию фронта; к ним присоединился и вятский шофер.

Никто в этой группе у костра друг друга как следует не знал. Настроение у всех было, конечно, далеко не веселое. Но могут ли русские люди, собравшись у костра, молчать? И мы разговаривали.

— Эх, страна-то у нас большая, — сказал огромный детина в шинели. Он лежал на спине и смотрел в небо. — Страна-то наша выдержит, в этом сомневаться не приходится. Только вот вопрос...

В чем вопрос, он так и не сказал.

Из таких неопределенных восклицаний, реплик и состояла, в сущности, наша беседа. Мы то и дело прислушивались к отдаленным выстрелам, к шороху листьев. Мы и друг друга остерегались; я часто ловил на себе внимательные, оценивающие взгляды.

— Ну и дела! — воскликнул маленький красноармеец, перетянутый поясом до отказа. — Ваську Седых осколком уничтожило, а меня миновало, жить приходится. — Кто мы есть, ребята, без армии? Кто мы по отдельности? Песни про родину мы петь умеем: «Широка страна моя родная», — а как остался сам-на-сам, так страна вся в пузе помещается.

— Это как для кого, — возразил детина, глядевший на небо. И не выдержал, поднялся: — Что ты языком треплешь? И что ты о стране да о родине знаешь? Дал бы я тебе сейчас разочек... чтобы в понятие вошел! — он стал сворачивать папиросу, хотел, видно, собраться с мыслями. — Вот я лежал сейчас и думал, как ты скажешь, о чем?

— Известно, о чем, — ответил маленький красноармеец, — о бабе, о детях, о своем паршивом положении, да о том, когда-то снова пообедать придется.

— Дурак ты и есть. Вот нас здесь десять. А проверь каждого, и выйдет, что о материальной своей нужде человек не думает, а, наоборот, от этого отмахивается. Вот я думал сейчас об Уралмаше, есть такой завод у нас в Свердловске: сколько на нем танков можно выпускать... А ты о чем размышляешь? — обратился он неожиданно к соседу справа.

Тот сидел разувшись, грел у огня нарывающий палец. Это был человек с серым, очень утомленным лицом и бесцветными от усталости глазами.

— Я-то? А я не размышляю, уважаемый товарищ. Я мечтаю. Я вообще-то мечтатель. У меня мысли, как бы это Германию приспособить к делу, а то они, то есть немцы, только человечество истребляют. Вот нога у меня полегчает, я сапог кое-как натяну, винтовку на плечо — и пошел. И, сколько ни буду идти, как ни придется петлять, да кружить, до Берлина дойду! Когда схватим Гитлера за глотку, тогда и будем толковать... — он закашлялся, видно было, что и говорить ему трудно, так он устал.

— Да ты, друг, до Берлина-то семь раз помрешь! — крикнул ему маленький красноармеец.

— Помереть-то я не помру, а погибнуть в бою, может, и придется. Только и перед тем, гибельным своим боем, я и мечтать буду и планы строить буду...

Хоть сказал он все это тихим, спокойным голосом, нельзя было ему не поверить, такая убежденность была в его лице.

— Верно, друг, верно! — радостно, даже весь просветлев, вскричал какой-то человек с другой стороны костра. — У нас, у таких, как мы с вами, людей, я хочу сказать советских людей, нет жизни без мыслей о будущем. Я техник, работал на Днепрогэсе. Я там и учился, на строительстве еще. И вот лежу этой ночью, укрывшись листьями. От холода зубами ляскаю, а

сам думаю, как будем после немцев восстанавливаться? Ведь ясно, что они все взорвут, и ясно, что потом будут бежать, и ясно, что мы потом построим еще лучше! Ведь, правда, ясно, товарищ?

Никто ему не ответил, он смутился, юношески покраснел.

— Ну, а коли ясно, то нечего и говорить, — проворчал тот огромный человек, который первый начал разговор. — А ну, давай, товарищи, поднимайся! Не слышите, фрицы к нам идут?

В самом деле, все ближе и ближе были слышны автоматные очереди. Немцы, верно, начали прочесывать лес.

Разделились мы не сразу. Еще два дня бродили группой в десять человек, разведывали, спрашивали у встречных, где немцы, как лучше пройти.

Лес тут был редкий, смешанный, часто перемежался лужками и болотцами. Над нашими головами то и дело пролетали на юг птицы.

Опадала желтая листва, накрапывал мелкий дождь. Лес был грустным, и настроение у большинства из нас было не то чтобы грустное, но приниженное.

Рассказывали о себе скупое, неохотно. Я лишь на второй день узнал, что находившийся в нашей группе лейтенант Иван Симоненко — член партии. Он сказал, что был до войны инструктором Волынского обкома КП(б)У. Я припомнил кое-кого из общих знакомых, описал их внешность, манеры. Постепенно наши отношения становились все более непринужденными, исчезла настороженность. Оказалось, что Симоненко сам черниговский и что он направляется к матери в Мало-Девицкий район. Удивительно кстати. Через этот район мне и нужно было пробираться к областному отряду. Мы оба очень обрадовались, крепко пожали друг другу руки, подозвали Якова Зуссермана и решили этой же ночью втроем отправиться на Черниговщину.

* * *

Мы брели втроем по дорогам Полтавщины, а потом и Черниговщины дней восемь. Вероятно, если описать эти дни скитаний, могла бы получиться самостоятельная повесть. Оба мои спутника оказались отзывчивыми, хорошими людьми. Яков Зуссерман был самый молодой из нас, ему было двадцать шесть лет.

Я говорил ему:

— Яков, не ходи в Нежин. Ну, жена, дети, все это так, но что ты один можешь для них сделать? Тебя схватят, потащат в гестапо. Видно же, что ты еврей. Оставайся с нами. Будем партизанить. Если семья погибнет, хоть отомстишь.

— Я понимаю, — отвечал он, — может, вы и правы: нечего мне делать в Нежине. Но душа горит, хочу повидать и мать, и жену, и сестренку, а самое главное — сыночка. Он такой маленький, всего четыре года, а уже написал мне письмо: «Папа, Вова пай». Ну как это — я живой, и они здесь близко, а я не пойду? Отпустите меня!

Что значит отпустить! Я ему не начальник, держать его не могу. Но, идя с нами, он считал себя в коллективе и, пожалуй, если настаивать, подчинился бы. Но я не хотел настаивать. Парень рвался в Нежин Он бредил семьей и домом. Видно было, что для него нет на свете ничего дороже, «пусть я потом помру и пусть меня мучат, но как же я мог пойти и не пошел?»

Симоненко его лучше понимал, чем я. Он и сам стремился к матери. Он твердо решил, что в тылу у немцев не останется, обязательно перейдет линию фронта Он шел в тыл лишь «успокоить старушку».

Три случайных товарища, три советских человека, днем спали в скирдах пшеницы, в стогах сена, а как только вечер, — отправлялись в путь.

Мы шли по Украине, только что захваченной немцами.

Даже на проселках попадались нам немецкие надписи: стрелки на столбах. Если поблизости не было людей, мы надписи сбивали, ломали на куски, разбрасывали по полю.

Однажды под вечер мы брели по довольно широкому, хорошо утрамбованному грейдеру. Погода выдалась теплая и тихая. Грекло солнце, и кругом все было хорошо. Шли мы медленно, будто прогуливались. И справа и слева от дороги разросся густой кустарник, красные и желтые листья покрывали землю. Вдали белели пятна хуторов; вокруг хат — тополя и толстые, уже оголившиеся ветви фруктовых деревьев.

Тихо, дышится хорошо, аппетит прекрасный, и кажется, вот дойдем до ближайшего села или хутора, хозяйка нам борща сварганит...

Да, такие мирные картинки бывали, как ни странно, и в тылу противника.

Это ведь наша, родная природа и родные места. А мы еще попали в район, где совсем не было боев, война не оставила здесь своего черного следа.

По этой дороге, обрамленной кустами, а кое-где и молодыми деревцами, мы шли часа полтора, не меньше. Мы почти не разговаривали, у всех троих, вероятно, было одно настроение.

Вдоль дороги, по бокам, были прорыты неглубокие каналы — кюветы. Над ними свисали ветви кустов. Листьев на ветках осталось мало, поэтому

мы все трое одновременно заметили лежавшего в кювете человека. Это был красноармеец. Трупов мы видели много и раньше, но тут, в тихой мирной местности... Мы хотели найти документы, узнать, кто убит, но ничего не нашли. Карманы в гимнастерке были расстегнуты, а карманы брюк вывернуты; убит был человек выстрелом в затылок.

Шагов через двадцать увидели еще один труп, тоже в кювете, и пуля у него тоже в затылке. Мы пошли быстрее. Об увиденном не говорили: будто ничего не произошло. Но от мирного настроения и следа не осталось. Сразу почувствовали, как ужасно утомлены.

Немного погодя Яков подобрал немецкий пакетик с хлорными таблетками. Он вскрыл его, понюхал и хотел бросить. Но Симоненко, желая пошутить, сказал:

— Стой, Яков. Тебе еще может пригодиться. Кинешь в лужу — и пей без вреда для здоровья!

Яков обиделся:

— Ты что думаешь, я здоровье берегу? — и он со злостью отшвырнул пакетик в кусты.

Шагов через двадцать Симоненко поднял ложку, оглядел: немецкая — и бросил. Потом, смотрим, валяется металлическая пуговица; на ней блестит орел.

— Похоже, — говорю, — ребята, что здесь фрица раздевали.

Прошли еще шагов пятьдесят и увидели мы на небольшом холмике маленький крест. Зрелище чрезвычайно приятное: на кресте немецкий стальной шлем. Но, значит, где-то здесь неподалеку и те, что хоронили... Дорога, впрочем, проглядывалась вперед далеко. На ней пусто.

Все же мы решили отойти от грейдера. Двинулись в гущу кустарника и, пройдя несколько минут, услышали шорох и стон.

Цепляясь окровавленными руками за кусты, пытался подняться на колени парень в выцветшей красноармейской одежде. Симоненко подбежал к нему, схватил подмышки, хотел помочь, но парень ужасно закричал, вывернулся и упал на спину; он продолжал кричать и лежать. Глаза его были широко раскрыты, но он, вероятно, ничего не видел и не понимал. Волосы, грудь, руки — все было залито кровью. Правая же сторона лица была так разможжена, что обнажилась кость челюсти.

Симоненко прижал к губам красноармейца флягу. Вода разлилась, но несколько капель все же попало в рот; раненый сделал глотательное движение. Он продолжал кричать, но уже не так громко. В глазах появилось осмысленное выражение. Он хрипел и что-то торопливо шептал.

— Бушлат, мама, накрой! — эти слова я запомнил; он повторил их

несколько раз. Потом взгляд его совсем прояснился: — Братишки, помираю! Никодимов мое фамилие... из шестой роты... лей, лей больше, — теперь он жадно сосал из фляги, — спасай Никодимова Серегу! — Он стал пить все торопливее. Симоненко поддерживал ему ладонью затылок, приподнимал от земли голову. — Положь! — приказал раненый. — Да положь, терпеть невозможно!

Симоненко опустил голову красноармейца на землю. Зуссерман и я топтались рядом, переглядывались.

— Есть дайте. Эх, не проглочу, зубы гады выбили. Расскажите, ребята, как Серега Никодимов в плену у немцев был...

Он говорил и прерывал сам себя. Рассказ временами переходил в бред. Но все-таки мы из несвязных слов его поняли, что группу пленных, в которой был он, вели дня четыре и не кормили. Конвойный ефрейтор бил чем попало, а недавно застрелил по очереди двоих: они отставали. Тогда Никодимов разбил ефрейтору камнем голову.

— Я его свалил и рвал, зубами рвал. А меня ногами и прикладом били, у меня того гада отняли... живой я еще, а, братишки?.. Почему, для чего живой?

Потом, в полубреду, он сел, опершись руками на землю. Он ругал нас, и себя, и всех, кто попал в плен; нас он, конечно, принимал за пленных. Вдруг он стал кататься по земле; кровь хлынула у него из горла. Когда он затих, мы поняли: все кончилось.

Надо было его похоронить. Но нечем выкопать могилу. Мы хотели узнать подробности; куда потом написать, где семья? Но ничего на нем не нашли.

Мы сняли пилотки, постояли с минуту. Я посмотрел на Зуссермана. По лицу его катились слезы. Заметив мой взгляд, Яков закрыл лицо руками и побежал, ломая кусты, в сторону. Минут через двадцать он нас нагнал. У него судорожно дрожала щека. Стараясь быть спокойным, он сказал:

— Разволновался я, ребята.

* * *

Районы, которыми мы тогда проходили, не были еще всерьез задеты войной.

Боев тут не происходило.

Фронт откатился километров за полтораста, немецкие гарнизоны только устраивались, гестаповцы и другие каратели не подоспели.

Однажды нас подсадил на подводу старик-колхозник. У него было удивительно мирное настроение.

— Видите, ветряк крутит крылами. Еду к нему за мукой. Разве я когда-

нибудь думал при немцях зерно молоть? А нимцив-то всего три на целый район. У нас як был до войны колгосп «Червоный прапор», так и тепер. И голова тот, и счетовод тот самый... Вот пшеница стоит не кошена, осыпается хлеб. Едемте, товарищи, будем работать. У нас и молодичи гарни, у нас и бабы славни... Работников дуже мало.

Стали мы спрашивать старика, откуда он, такой добродушный, и чего это ему немцы больно нравятся? А он рассуждает так: что же делать, если не удержались, сдали немцам Украину, и Москву, и Ленинград — надо применяться, мол, к обстоятельствам.

— А нимцив тих я и не бачив. Яки таки нимцы?

— А откуда ж вы, папаша, знаете, что Москва взята?

— Староста сказал.

— А вы ему и верите?

— Да кому ж верить? Раньше газеты приходили, радио было. Тепер що староста каже, то, значит, и правда.

Так мы и не поняли толком, хитрит ли старик, притворяется ли придурковатым, или в самом деле его распропагандировали немецкие ставленники.

Когда же выяснилось, что старик из села Озеряне, Варвинского района, Черниговской области, меня как током ударило.

— Так что ж, выходит, мы уже на Черниговщине?

— А як же...

— А был тут в области руководителем Федоров. Не слыхал, папаша, куда он тепер делся?

— Федоров? Олексий Федорович! Так я ж його до войны, ось, як вас, бачив. Он часто приезжал. А где тепер, хто знае? Одни кажут — нимцям продался, другие кажут — убытый... Може, старостуе десь...

Тут я не удержался. Хотелось за глотку схватить старика.

— Ах ты, старый черт! — сказал я всердцах. — Что же ты брешешь, что Федорова знал? Я и есть Федоров!

Но старик не только не смутился, он вдруг побагровел, повернулся ко мне и закричал:

— Я брешу?! Шестьдесят четыре года в брехунах не ходил и тепер подожду. Думаете, если пистолетов пид сорочку напихали, так уж напугали шибко? Я старый человек, мне смерть не страшна. Який вы есть Федоров?! Колы б прибув до нас Федоров, народ бы за ним в партизаны пошел, народ бы мельницу спалил да старосту повесил... Э, хлопцы, нашли кого выпрашивать... А ну, слазь с подводы, слазь, кажу! — закричал он свирепо и толкнул меня под бок.

Что было делать? Пришлось слезать. Старик раскрутил кнут, вытянул коней по бокам, они рванули и понеслись. И, когда старик отъехал шагов за сто, он погрозил нам кулаком и злобно выругался:

— Тю, полицаи свынячи!

Крикнув так, он сейчас же наклонился, будто ждал пули. Мы, конечно, не стреляли.

Он опять выпрямился и опять стал ругать нас на чем свет стоит.

Так мы въехали в Черниговскую область.

* * *

О чем могут говорить между собой три мало знакомых человека, когда судьба свела их на пустынной дороге в тылу врага? Нет, мы, конечно, не молчали, но и не развлекали друг друга анекдотами. Каждый рассказал кое-что о себе, о том, как начал воевать. Коснулись кратко прошлого, вспоминали жен и детей: «каково-то им сейчас и где они...» Таких общих тем хватило на первые два-три дня. Было уже решено, что мы всего лишь попутчики, вот-вот расстанемся. Так что особенно раскрываться и строить совместные планы на будущее было ни к чему. В драку с немцами нам вступать не пришлось. Но я уверен — случись что-нибудь подобное, ни один из нас не бросил бы другого в беде. В этом был главный смысл нашего товарищества.

Между Симоненко и Зуссерманом установился тон взаимного добродушного подтрунивания. Зачинщиком чаще был Симоненко. Зуссерман отшучивался, иногда сам переходил в наступление. Так начался и последний наш разговор. Серьезный разговор... Впрочем, судите сами.

Мы, как я сообщал, брели уже по своей. Черниговской области. Ближайший населенный пункт отстоял от нас километров за восемь. Возле него дорога разветвлялась. Там-то Зуссерман и намеревался расстаться с нами идти к Нежину. Недавно прошел дождь, дорога раскисла, ноги скользили по глине. Быстро идти невозможно. Около небольшого мостика были свалены бревна для ремонта. Мы присели отдохнуть, закурили. Симоненко, подмигнув мне, сказал Зуссерману:

— Ну, ты влип, Яков. Определенно. Зря перешел с нами границу Черниговской области. Надо было раньше отделяться...

— То есть это почему?

— Чудак, не понимает... Слышите, Алексей Федорович, друг-то наш не понимает, что ему грозит. Ты ведь в Нежин собираешься, к семье, так?

— Я с семьей повидаюсь, может, помогу им, а потом поверну к фронту, постараюсь перейти к своим.

— Не отпустит тебя Федоров. Прикажет, и, будь здоров, придется

подчиниться. Он теперь на своей территории. Пойдешь с ним партизанить.

— А ты? — Зуссерман, кажется, всерьез обеспокоился.

— Мне он приказать не может. Я теперь не Черниговский. Ушел в армию из Волынской области. Ты-то ведь из Нежина...

— Я не член партии...

— Комсомолец?

— Я, когда в армию пошел, в Нежине с учета снялся...

— Не имеет значения. Ты, брат, все равно черниговской организации. И слово секретаря обкома партии для тебя закон... Верно, Алексей Федорович?

Я не успел ответить. Зуссерман с виноватой, просительной улыбкой сказал:

— Товарищ Федоров, я только отпуск прошу. На несколько дней, если можно. Там все-таки жена и, главное, сыночек. А потом куда угодно...

Тему для розыгрыша Симоненко выбрал неудачную. Он ведь и сам не собирался партизанить, тоже хотел повидаться с матерью и вернуться потом к линии фронта. Пришлось мне вмешаться в разговор и перевести его на серьезные рельсы.

— Дело, конечно, не в том, на территории какой области мы находимся. Ты меня, Яков, извини, парень ты, кажется, неплохой. Спасибо, выручил меня в тяжелую минуту. Но пора и самому разобраться, что значит комсомолец и как нужно себя вести в данной обстановке. Экзамена я тебе устраивать не намерен, однако ответь, в чем ты как комсомолец себя проявил? И как думаешь — может комсомолец в тылу врага интересоваться исключительно своей персоной и домашними делами?

Якова даже пот прошиб, хотя было совсем нежарко. Он снял пилотку, провел по волосам ладонью, встал и опять сел.

— Я, товарищ Федоров, — сказал он смущенно, — горючее сэкономил и резину. То есть я был стахановцем, и мы соревновались, моя машина прошла без капитального ремонта... Ах, я понимаю, вы сейчас не об этом... Я не знаю... Честное слово, я даже не предполагал, что попаду в такую историю. Конечно, правильно, что я должен... Пожалуйста, я могу не ходить в Нежин, товарищ Федоров...

— В Нежин пойти ты, конечно, можешь, не в этом дело...

Я нарочно не закончил мысль. Хотел, чтобы Зуссерман сам понял, чего от него ждут. Он, видимо, напряженно думал, смотрел мимо меня в поле и, может быть, даже не слышал моих последних слов.

— Товарищ Федоров, — сказал он после длительной паузы, — я уже, кажется, сообразил. Меня принимали в комсомол пять лет назад, и я уже

тогда сознавал, что надо быть впереди. Я был даже членом бюро в автопарке. Но если бы мне тогда сказали, что будет немецкая оккупация и мне придется работать с подпольщиками и партизанами...

— Ты не вступил бы в комсомол, так что ли?

— Нет, что вы, товарищ Федоров, — наоборот...

— Как это наоборот?

— Наоборот в том отношении, что я бы с большим сознанием занимался политучебой. Вот сейчас теряюсь, не знаю свои обязанности. Как себя вести и так далее. Я шофер. Понимаю свое дело, поверьте мне. И если вы мне дали бы машину, чтобы я на полном газе ворвался с партизанами к врагам, — это я могу. То, что я комсомолец... Сейчас, конечно, важнее, чем до войны.

— Не то, чтобы важнее, но проверка всем советским людям, а коммунистам и комсомольцам в первую очередь, предстоит серьезная. Ответственность на мне, на нем, на тебе лежит огромная. Ты-то ведь уже наполовину забыл, что состоишь в комсомоле. А забывать никак нельзя. Надо признать, в порядке самокритики, что и я как-то упустил из виду, что ты комсомолец. Симоненко идет со мной дальше. С ним еще предстоят разговоры. А ты сейчас сворачиваешь к Нежину...

— А может быть, не надо, может быть, и мне с вами дальше?..

— Если дело касается только семьи, то напрасно ты идешь, боюсь, что тебя ждет тяжелое разочарование. Но если ты пойдешь, как человек дела, если пойдешь с заданием, как связной обкома, тебе и горе будет легче перенести, и самочувствие будет другим. Постарайся наладить связь с нежинскими подпольщиками. Скажи им, где обком, помоги и им, и подпольному обкому партии... Задание ясно?

— Товарищ Федоров! — Яков схватил мою руку, сжал в своих ладонях и долго тряс. Он даже задохнулся от волнения. Право, я не думал, что вызову у него такое горячее чувство. — Товарищ Федоров, — продолжал он, — как хочется скорее что-нибудь уже сделать!

Мы поднялись, пошли дальше. И весь остаток пути до разветвления дороги Зуссерман расспрашивал меня: как нащупать подпольщиков? Что им передать от обкома? Как передать в обком результаты?

— Знаете, что, товарищ Федоров! — воскликнул он. — Ведь моя жена тоже комсомолка. Она машинистка. Она может печатать листовки и прокламации. Попробуем в городе. А если там уж никак невозможно будет жить из-за национальности, я возьму ее с собой к вам, в отряд. Можно? Если нельзя с мальчиком, мы устроим его у знакомых...

Я поставил перед Яковом несколько конкретных задач. Дал адреса

двух городских явок.

— Ну, смотри, Яков, не попадайся немцам, — напутствовал я его. — Если же тебе удастся семью выручить или хоть самому ноги унести, иди в Корюковский район. Там встретимся.

Мы расцеловались. Я, правду сказать, думал, что прощаемся навсегда.

Долго мы с Симоненко смотрели вслед одинокой фигуре Якова. Он шел быстро. И даже по походке было видно, что настроение у него хорошее. Рабочее настроение.

* * *

Мы направились в село Игнатовку, Среблянского района. Там я кое-кого знал.

27 сентября, поздно вечером, после двенадцати суток скитаний, мы с Иваном Симоненко впервые вошли в человеческое жильё.

Постучались в окно хаты учителя Захарченко. Я его немного знал. Незадолго до войны его приняли в члены партии.

Нас впустили не сразу. Кто-то притушил огонь лампы, подошел к окну и прижал ладонь к стеклу. Правил светомаскировки тут никто не соблюдал.

— Что за люди? — спросил мужской голос.

— Свои, товарищ Захарченко, откройте.

Прошло минут пять, загремел засов, дверь отворилась, мы прошли в хату. Жена хозяина подняла фитиль, хозяин долго и молча нас разглядывал.

— Где-то я вас, кажется, видел. А спутника вашего не встречал определенно. Ах, товарищ Федоров, — он ужасно покраснел, съезжился и заговорил полупшепотом. Жена тотчас же стала завешивать окна.

— Вас никто не заметил, товарищ Федоров. А то ведь понимаете... Да, да... неожиданность. Знаете, товарищи... Понимаете ли... Староста осведомлен, что я коммунист. Ну и, конечно, за мной особое наблюдение. Правда, немцев в селе сейчас нет... Однако...

— Разве только один староста осведомлен, что вы коммунист? Я тоже! Знаю, что вы состоите в нашей Черниговской организации. У вас я пробуду недолго. Расскажите, каково положение, что предпринял райком, как у вас распределены обязанности по подпольной работе?.. А пока будете рассказывать, ваша хозяйка, быть может, устроит нам помыться и чего-нибудь там... перекусить...

Я действовал экспромтом. И что ж, мой уверенный тон произвел правильное впечатление.

«Пусть, — думал я, — хозяева расценивают мое появление как естественный, будничнейший случай: секретарь обкома обходит районы, знакомится с деятельностью низовых организаций».

Ничего о наших многодневных скитаниях я не говорил. «Начинается работа», — решил я. С этого момента я уже не зверь, за которым охотятся, которого травят. Нет, теперь — я охотник. И пусть немецкое зверье подождет хвосты. Пока приходится прятаться, быть осторожным, но погодите, когда мы развернем свои силы...

Я стал расспрашивать Захарченко:

— В районной комендатуре, надеюсь, не регистрировались?

— Как можно, товарищ Федоров...

Но по тому, как он ответил, стало ясно, что если он и не зарегистрировался, то подумывал над этим. Ничего, с сегодняшнего вечера он станет думать по-другому.

— Хорошо, значит вы — подпольщик! Секретарем райкома у вас?..

— Товарищ Горбов. Его я еще не видел... Нет, к сожалению, не знаю, где он прячется. То есть я хотел сказать... скрывается.

— Кто еще из коммунистов остался в районе?

— От знакомых я слышал, что а селе Гурбинцы действует группа; во главе ее бывший начальник районного НКВД. Фамилию товарища не помню.

— Еще о ком у вас есть сведения? О других группах вы не осведомлены? Вероятно, хорошо законспирированы... Вот что, товарищ Захарченко. Завтра утром или лучше сейчас ночью вы пойдете в Гурбинцы, разыщете эту группу Пусть пришлют за инструкциями.

Тут в разговор вмешалась жена учителя.

— Нельзя Костю.

— Чего нельзя?

— У нас дети, если мой чоловік попадетс...

— А если бы он был на фронте?

— Фронт — это другое дело.

Муж давно уже делал жене энергичные знаки: мол, не в свое дело не суйся.

— Иди ты, иди. Лучше бы покормила людей, — сказал он.

Когда она выходила, я подмигнул Симоненко. Он направился за хозяйкой в кухню. Поминутно вытирая глаза, она растопила печку, поставила греть воду для мытья и принялась готовить яичницу.

Сам учитель уже справился со своей растерянностью. Он деловито расспрашивал, как и что делать. Я посоветовал ему в ближайшее же время переехать в другое село, как можно дальше, где люди его не знают.

Захарченко снабдил меня брюками и рабочей курткой на вате. Дал он мне и кепку, но она оказалась мала. Пришлось сзади подпороть. Бриться я

не стал, решил запускать бороду: поможет конспирации.

Мы умылись, переоделись, поели и легли спать на теплой печке. Ночь прошла спокойно.

Утром меня с трудом растолкал хозяин. С ним пришли из Гурбинцев три товарища.

Работа, кажется, и в самом деле начиналась.

* * *

Захарченко вошел в дело с головой. Мужчина лет тридцати пяти, здоровый, до нашего прихода он мучился от вынужденного безделья. Именно потому, что некуда было приложить силы, он много думал о возможных опасностях. Пассивный по природе, он ждал внешнего толчка. Таких людей немало. Вне организации они теряются. Лишь организация их подтягивает, вливает в них бодрость, энергию.

Жестикулируя, Захарченко начал было со всеми подробностями рассказывать, как незаметно, огородами, проник в село Гурбинцы, как, никого не спрашивая, нашел конспиративную квартиру...

Но я его прервал. Не терпелось услышать, что скажут товарищи.

Прибывшие рассказали: создана подпольная группа, состоит она из четырех членов партии и семи комсомольцев. Диверсионная и партизанская деятельность еще не начата.

Видно было, что товарищи чем-то взволнованы. Оказалось, что на днях группа понесла большую потерю: погиб в селе Демеевке один из членов группы — председатель колхоза «Партизан» Логвиненко.

— Мы не знаем, товарищ секретарь обкома, как к этому случаю относиться, — сказал в заключение кто-то из прибывших. — Конечно, Логвиненко погиб геройской смертью, пожертвовал собой, но действовал-то он неорганизованно, необдуманно.

А дело было так. По дороге мимо села ехала немецкая машина, в ней сидело несколько немецких чинов. Логвиненко, увидев машину, выхватил из-за пояса гранату и с криком «Да здравствует Советская Украина, смерть немецким захватчикам!» метнул гранату в немцев. Взрывом убило двух солдат. Остальные выскочили из машины и погнались за Логвиненко. Он не успел далеко убежать. Тут же, в поле, его расстреляли. Все это произошло днем.

— А что говорит народ? — спросил я.

— Жалуют очень, кое-кто поругивает, но все восторгаются его удачью.

— А что вы сами об этом думаете?

Я задавал вопросы потому, что и сам не сразу нашел ответ. Поступок Логвиненко понятен. Несколько дней назад я тоже чуть не поддался

первому движению души, когда девочка позвала меня, просила спасти ее мать. Конечно, Логвиненко, член партии, пламенный патриот, колхозный вожак, мог принести гораздо больше пользы, если бы не поддавался порыву, действовал продуманно, сообща с товарищами. Но его поступок проникнут любовью к народу, ненавистью к поработителям народа.

Мы еще довольно долго обсуждали героический подвиг председателя демеевского колхоза. Решено было разыскать его тело, торжественно похоронить на видном месте, близ села. Его героическая гибель должна быть закреплена в памяти народа. В надписи, которая будет на могиле, мы назовем его народным мстителем, партизаном.

Товарищи подробно рассказали, как хозяйничают немцы в районе.

Немцы обнаружили возле скирды одиннадцать спящих красноармейцев-окруженцев. Всех их, даже не разбудив, перестреляли.

Во многих селах уже назначены старосты. Большинство из бывших кулаков и подкулачников. В Озернянах, например, староста — немец, из колонистов. Впрочем, кое-где на должность старосты сознательно пошли честные советские люди, чтобы бороться с захватчиками. Подпольная группа налаживает с ними связь. Тем же, о которых достоверно известно, что они мерзавцы и предатели, посланы записки с предупреждением...

— Сейчас уже не время предупреждать, грозить, — вмешался Захарченко. — Партия дала ясное указание — уничтожить пособников врага!

— Это правильно, — подтвердил я. — Но всех старост-предателей вы силами своей незначительной группы уничтожить не можете. Наметим сейчас, кого нужно убрать в первую очередь. И пусть народ знает — ни один пособник врага не уйдет от суровой кары! Немедленно начинайте агитационную работу. Радиоприемник у кого-нибудь сохранился? Нет? Надо найти. Надо регулярно принимать и сообщать населению сводки Совинформбюро. Все факты немецких зверств собирайте, запоминайте и сообщайте колхозникам в листовках или в устной беседе.

Я дал товарищам еще ряд указаний, сказал, по какому примерно маршруту буду двигаться.

— Постарайтесь держать в курсе и райком и обком партии.

Это первое совещание длилось несколько часов. И все время на крыльце сидела жена Захарченко, следила, чтобы никто не вошел. Она, как и вчера, непрерывно утирала набегавшие слезы и так же непрерывно лузгала подсолнухи. Ей муж посоветовал: «Грызи семечки — вид будет независимый».

Дети учителя — одному год, другому два — были все время с нами.

Когда меньшей поднимал крик, я брал его на руки и, качая, продолжал вести заседание. У Захарченко руки были заняты: он вел протокол.

После обеда, в сумерки, мы с Симоненко собрались в путь. Жена учителя насовала нам по карманам пирогов. Прощаясь, она опять плакала.

Захарченко долго жал руку и говорил:

— Вы, товарищ Федоров, не обращайтесь внимания на ее слезы. Я и сам долго не мог привыкнуть.

— Смотрите, не утоните в бабьих слезах.

— Ну, нет, теперь уже не утону. Теперь некогда... Вот, не знаю, как быть со школой. Я, по вашему совету, решил отсюда переехать. А ведь, говорят, немцы начальную школу разрешают. Жаль мне детишек.

Что ответить? Много вопросов тогда еще не было продумано. Ясно было одно: если немцы и «разрешат» школу, школа эта не будет советской.

— Как ни жаль ребяташек, но придется им эту зиму остаться без учения. Не по фашистской же программе им заниматься!

Трое гурбинских подпольщиков пошли нас провожать в соседнее село Сокиринцы.

* * *

Я пишу не роман, а воспоминания. Поэтому заранее прошу у читателей извинения. Некоторые действующие лица не появятся больше в книге, что с ними произошло потом, автор не знает. Очень бы хотелось установить, как вели себя впоследствии учитель Захарченко и его плаксивая жена, что стало с Иваном Симоненко... Мы расстались с ним через несколько дней. Буду рад, если кто-либо сообщит мне о судьбах этих людей.

В тот вечер я вышел из Игнатовки уже в ином настроении. Вдохновляло и ободряло сознание, что мы действуем.

Предстояло пройти полем около двадцати километров. Товарищи проводили нас с Симоненко до половины пути. Моросил дрянной дождь, на ноги налипала глина, но я шел бодро, развивал перед товарищами планы:

— В Черниговской области будет партизанская дивизия. Готовить людей, вооружать их идейно, поднимать на борьбу, — вот в чем задача подпольщиков.

На прощанье пожали друг другу руки. Ладони были у всех мокрые, под ногами чавкала грязь, слова относил ветром, приходилось их повторять. Осенью в степи грустно, особенно, когда вот так мокро и ветрено. Сидеть бы в такую погоду дома, натопить бы жарко печь, побаловаться горячим чайком...

— Ну, что ж, товарищи, простимся. Надеюсь, не в последний раз!

И только я сказал это, вдали блеснул огонек, за ним другой. Мы услышали шум моторов, а минуту спустя мимо нас, освещая дорогу фарами, подпрыгивая на ухабах, далеко разбрызгивая грязь, промчалось пять немецких грузовиков. В кузовах стояли немецкие солдаты и орали какую-то воинственную песню...

Мы вынуждены были отбежать в сторону, в поле, и прижаться к мокрой земле. Я держал пистолет наготове, спустил предохранитель... Ох, как же мне хотелось выстрелить!

Гурбинские подпольщики ушли. Мы опять остались с Иваном Симоненко вдвоем. Уже третью неделю мы шли с ним. Два советских человека, два партийных работника, мы брели по дорогам, прятались от немецких пуль и от глаз предателей. Но настоящей дружбы между нами не было.

Пройдут годы, я не забуду Симоненко, встречу — обрадуюсь, а коли узнаю, что с ним произошло неладное — очень огорчусь.

Мы делили кусок хлеба, иногда последний. Бывало и так: я сижу где-нибудь за скирдой, прячусь от ветра, а Иван идет добывать еду. Внешность моя для таких дел не подходила. Симоненко больше был похож на простого солдата. Ему просто сочувствовали, ко мне же непременно приглядывались. Может, и доброжелательно, но с повышенным вниманием. И он не попрекал меня за то, что я не иду.

Почему же мы с Симоненко не стали друзьями в полную меру? Я звал его с собой. Я хотел сделать его подпольщиком, партизаном. Он не то что отказывался, но не сказал ни разу прямо: «Пойду». Он не спорил со мной, но я видел: не верит человек в силу подпольного сопротивления. «Повидаюсь, говорит, — с матерью и обратно — на фронт».

Товарищем же он был превосходным.

Ложились мы с ним где-нибудь под скирдой, вместе вглядывались в утренний туман и сворачивали одну козью ножку на двоих.

Впрочем, на Черниговщине под скирдами мы уже не спали. И в Сокиринцах, куда мы вскоре пришли, так же, как и в Игнатовке, нашелся для нас приют.

Постучались мы в первую попавшуюся хату, открыла какая-то бабка, мы назвались пленными, рассказали, что вот удалось нам отстать от колонны, спрятаться за скирдой...

Тогда мы очень старательно сочиняли длинные истории. Позднее я понял: шила в мешке не утаишь. Слушать-то нас слушали, но не очень нам верили. В те дни я бы ужаснулся, когда б узнал, что люди догадываются,

Кто я. А теперь считаю, что так было лучше. Догадывались, даже знали, а не выдавали... Да и мудрено было меня не узнать. В этих районах я баллотировался в депутаты Верховного Совета УССР, тут я выступал. Приезжал я сюда не раз и как секретарь обкома.

В Сокиринцах оказался бывший заведующий отделом народного образования Варвинского района. Через него я передал инструкции секретарю подпольного райкома партии.

Пробыли мы в селе сутки и в ночь ушли. Ночь выдалась на редкость хорошая. Светила полная луна, даже и ветра не было. Одежду за эти сутки подсушили и, хоть спали мало, чувствовали себя неплохо. До Лисовых Сорочинц было уже близко.

Симоненко предложил сокращенный путь. Я полагал, что тут, вблизи родного села, он не собьется. Однако мы заблудились. Симоненко свалил все на луну: дескать, в ее неверном свете предметы принимают иные очертания.

Путь нам пересек широкий противотанковый ров, до краев наполненный водой. Мы долго его обходили. В общем прокружились мы часа три...

Мы пересекли небольшой лесок, и, странное дело, вдали виднелся яркий свет костра. Кто в такое время зажигает костер в степи?

Немного приблизившись, мы определили, что возле костра мечется какая-то одинокая фигура. Симоненко же, у которого зрение было острее моего, увидел еще неподалеку от костра не то лошадь, не то корову.

Симоненко сказал:

— Подберусь, погляжу. Если человек местный, может, и дорогу на Лисовые Сорочинцы укажет.

Пригнувшись, он пробежал немного вперед, затем обернулся и поманил меня. Уже не скрываясь, мы вместе подошли к костру.

Высокий костлявый старик с неаккуратной бородой, одетый в узкие брючки, старомодные штиблеты и длинное, городское пальто, подбрасывал в огонь охапки бурьяна и перекасти-поле. На носу у старика пенсне. Голова непокрытая, волосы растрепанные. Он был так озабочен своим занятием, что не сразу нас заметил. А заметив, блеснул в нашу сторону стекляшками пенсне и отвернулся, не ответив на приветствие. Я переглянулся с Симоненко, тронул пальцем лоб.

Шагах в тридцати от костра пощипывала жалкую траву худощавая корова.

Степной, травяной костер неуютен. Он хоть и ярок, и пламя дает горячее, но бурьян ведь сгорает быстро. Минуту не посидишь спокойно:

отправляйся за новой порцией. Но мы все же присели, протянули к огню промокшие ноги. Старик бросил в огонь новую охапку. Не глядя на нас, он пробурчал:

— Современное воспитание!

Мы смолчали. Погодя, он продолжал:

— Всякий порядочный бродяга понимает: пользоваться чужим костром можно лишь при условии, что принесешь свою лепту. Вы же, граждане, шли из лесу. Шли к моему костру. Не так ли? Так. Несомненно, так! Стало быть, могли принести дровишек. Максима Горького читали? Нужно думать, вы ответите утвердительно, ибо лица у вас одухотворенные. А коли читали должны знать бродяжью этику. Кто такие? Откуда? Куда?

Мы ответили, что пленные, пробираемся к дому.

Старик сказал:

— Ложь! Это, впрочем, ваше дело. Вы считаете нужным скрывать истину. Разрешите и мне, в таком случае, сохранить инкогнито, — с этими словами он отвернулся от нас и уж больше не говорил ничего.

Мы набрали бурьяну и сухих веток. Но старика этим к себе не расположили. Он даже не пожелал ответить, когда мы спросили, где находимся.

Немного погодя он подвел поближе к костру свою корову. Вбил ногой в землю колышек, привязал к колышку животное. Потом расстелил с подветренной, просушенной костром стороны свое длинное ветхое пальто и завернулся в него. Уже улегшись, он пробурчал:

— Следите, граждане, за тем, чтобы меня не поджечь.

Нас разморило. Кто первым уснул — не помню. Заснули сидя, поджав к животу колени.

Проснулся я от резкого, гортанного крика. Я вскочил. Костер погас. Но было светло, луна еще не зашла. Очень низко, противно рыча, летели тяжелые немецкие бомбардировщики.

Старик, задрал лицо к небу, махал кулаком и ужасно ругался, посылая в адрес летчиков проклятия на немецком языке: «Ферфлюктен!» — и еще какие-то слова...

Он бегал по полю и так размахивал своими костлявыми, длинными руками, что, казалось, сейчас оторвется от земли, нагонит самолет и вцепится в него.

Увидев меня, старик закричал:

— Слушайте, вы! Стреляйте, стреляйте! Есть приказ — по самолетам врага из всех видов оружия! Стреляйте же, черт вас возьми!!!

Когда самолеты скрылись из виду, старик в изнеможении опустился на

землю, прижав ладони к лицу.

— Не можем ли мы для вас что-нибудь сделать? — спросил Симоненко участливо.

— Оставьте меня в покое, — ответил старик. Потом уже мягче добавил: Не обращайтесь на меня внимания. Мне уже нельзя помочь. Я тоже никому и ничем не могу помочь. Я теперь бродяга — и только.

Что ж, мы оставили его в покое и пошли дальше. Раза два оглянулись. У кучи пепла лежала корова, рядом с ней сидел бородатый человек. Симоненко заметил, что плечи его вздрагивают.

Было ясно: старик перенес большое потрясение. Какое? Почему он бранился по-немецки? Уже одно то, что он грозил с такой страстью немецким самолетам, показывало, кто его враг.

— Где-то он найдет себе приют? — тихо сказал Симоненко.

Вскоре он узнал дорогу, ведущую в Лисовые Сорочинцы. И тут спохватился:

— Слушайте, товарищ Федоров, я вернусь, позову его с собой. Мать возьмет его к себе, обогреет. Обождите меня, товарищ Федоров, ладно?

— Ладно, только смотрите, не пригрейте змею. Кто знает, что это за человек...

Но Симоненко только махнул рукой и побежал назад.

Я устроился за придорожным кустом. Ждал долго, продрог, сжался в комок и незаметно уснул опять.

Симоненко с трудом меня растолкал.

— Идемте, Алексей Федорович! — кричал он мне в ухо.

— А где старик? Вы что, не нашли его?

— Он отказался. Был очень растроган моим предложением, но... по-видимому, и, верно, голова у него уже слаба. Повторяет одно: «Они меня везде найдут...» Кто они, почему найдут? Ничего я не понял. Но идти со мной наотрез отказался. А на прощанье пожал руку. Горячо тряс. «Спасибо, говорит, — за внимание...» Что с таким делать? Немцы, если увидят его, могут расстрелять. Они, говорят, всех душевнобольных уничтожают.

* * *

Следующая остановка, и довольно длительная, была уже на родине Симоненко, в Лисовых Сорочинцах. Тут и на мою долю перепала толика материнской ласки.

Два промокших, голодных мужика ночью ввалились в хату одинокой старушки.

— Ой, сыну, мий сыну! — вскрикнула старушка и повисла на шее Ивана Симоненко.

Я стоял в стороне, ждал. Сын и мать любовались друг другом: она расспрашивала — он отвечал, затем он расспрашивал... Я наслаждался теплом хорошо натопленной хаты и преглупо улыбался.

Старушка разогрела воду, дала и мне чистое белье, мы помылись с головы до ног. После купанья сели за стол. Ели курятину. На тарелке лежали красные, свежепосоленные помидоры и плотные с пупырышками огурчики.

Весь этот вечер и чуть не весь следующий день мы вольготно отдыхали. Как я спал этой ночью! Простыня снизу и простыня сверху, ватное одеяло... В окно стучал дождь, ветер со свистом крутил в трубе, а я спал... Проснусь, послушаю, подумаю, что вот — где-то по соседству немцы, повернусь на другой бок и снова спать... Утром мы опять наелись досыта.

Старушка Симоненко, критически оглядывая меня, заявила:

— Як же це можно, така велика людина, а обирвана...

Она добыла из комода кусок «чертовой» кожи, чтобы сшить мне из нее гимнастерку и брюки. Попыталась сама скроить, разметила, но резать не решилась и, взяв материю, куда-то ушла.

Вернулась и говорит:

— Пойдем, Олексій Федорович, к портному, он вас ждет.

Если следовать правилам строгой конспирации, надо бы, разумеется, насторожиться. В самом деле, и старушку-то толком не знаю, портного и подавно. С чего же это он согласился сшить мне костюм, да еще за один день, как сказала хозяйка — не ловушка ли? Пистолет мой под подушкой. Пойти взять его — не обидишь ли хозяйку?

Однако желание получить чистый и новый костюм превозмогло опасения.

«Ладно, — решил я, — никто в лицо меня здесь не помнит. А помнит, так в этом виде не опознает...»

Костюм, сшитый сельским портным из Лисовых Сорочинц, останется в моей памяти на всю жизнь.

Мне сразу стало ясно, что хозяин догадывается, кто его заказчик, что не секрет это и для его жены, дочерей. У них в семье все портняжничали. Костюм потому и сделан был с такой быстротой, что взялись за него всем домом. Так вот, все в семье от мала до велика знали, что помогают депутату Верховного Совета, секретарю обкома партии, знали, что жизнью своей рискуют. Но никто из них и виду не подал. Снял хозяин мерку, спросил, как полагается, есть ли приклад, пуговицы, материал на карманы.

— Нет? Что делать, свои поставим. Завтра утром приходите за

КОСТЮМОМ.

— А платить, — спрашиваю, — сейчас или потом?

— Что вы, товарищ... — тут портной чуть не назвал меня по фамилии, но жена так на него глянула, что он спохватился и просто сказал: — После войны рассчитаемся...

Прожил я в Лисовых Сорочинцах дней шесть. Деятельности там особой не развивал, а только набирался сил, приглядывался к людям, оценивал положение, думал.

Иван Симоненко куда-то уходил, его мать хлопотала по хозяйству, в комнате я оставался один. Чистенько, цветы, полотенце под образами, равномерное тиканье ходиков. В такой обстановке я никогда подолгу не находился. Во время командировок по селам я, само собой, в таких хатах неоднократно останавливался, ночевал. Но тогда все было иначе: хата всегда была полна людей, приходили районные и сельские работники, говорили, спорили до глубокой ночи. Утром уезжали в поля.

А тут сижу один, никто меня не ищет, никто ни с чем не обращается.

Я ходил взад и вперед, напевая под нос, останавливался, прижимался спиной к теплой печке, затем опять ходил, иногда садился к окну, всматривался в сельскую улицу. Книг не было. Письмо написать — и нечем и некому. Давным-давно я не видел газет, не слушал радио.

Между тем я должен был действовать, руководить... Изменились условия работы... Но партия-то ведь по-прежнему — организатор и руководитель масс, народа...

И никто с меня ответственности не снимал. Предположим, вызовут меня в Центральный Комитет и спросят... Меня спросят, конечно, в первую очередь, как живет народ в оккупированном селе, каково экономическое положение села, какие настроения у людей, как народ сопротивляется захватчикам. И меня еще спросят, разумеется: что вы, Федоров, делаете и каковы ваши планы на будущее, как вы намерены построить работу подпольной организации?

Именно эти вопросы я и задал себе самому в тихой комнатке симоненковской хаты. И остался собой недоволен: к ответам не готов.

Я заметил, что надо мной еще довлеют старые привычки, что строй мыслей у меня еще зачастую довоенный, или, точнее, легальный.

Смотрю в окно, моросит дождь, вдали, в поле, несколько женщин скирдуют хлеб. Смотрю и отмечаю, что погода для будущего урожая хорошая, а вот со скирдованием запаздывают... Но вдруг обрываю себя: теперь же все наоборот, здесь немцы. И погода хороша для немцев, а заскирдованный хлеб немцы отнимут у крестьян.

Вспоминаю, что дня три назад, на дороге, я заметил доньшко разбитой бутылки и машинально отбросил его ногой в сторону. Движение это понятно. Так делает всякий культурный человек: на стекло может напороться проходящая машина — изрежет баллон, испортит камеру. Но по дороге-то могла пройти только немецкая машина, Сообразив это, я возвратился и положил осколок в колею.

Надо приучить себя пользоваться любым, даже мельчайшим случаем, чтобы насолить, напакостить врагу.

А теперь вот женщины скирдуют хлеб... Я накинул на плечи куртку и пошел быстрым шагом в поле.

— Кто приказал скирдовать? — спросил я у женщин.

Они сбежались, окружили меня.

Одна невысокая, молодая, крепкого сложения колхозница ответила вопросом:

— Ну, а як же, хлиб же загниет?

— Кто приказал? — переспросил я раздраженно.

— Бригадир.

— А где бригадир?

Все показали на ту самую молодую колхозницу, что ответила первая.

Странно: никто из женщин не спросил, чего это я суюсь, куда меня не просят; никто даже не осведомился, чем я тут занимаюсь, тону моему тоже никто не удивился.

Бригадирша по-деловому объяснила, что приказания ни от кого не получала, а сама как стахановка собрала людей и повела на работу.

Когда же я спросил, для кого она этот хлеб сберегает, бригадирша поняла, к чему я клоню, и ужасно разволновалась: слезы выступили у нее на глазах.

— Що вы, товарищ, — сказала она. — Я ж стахановка, я ж на сельскохозяйственную выставку в город Москву издыла. Невже ж вы могли подумать, що тепер для нимцив!.. Люди просто привыкли работать, руки это требуют.

Мы разговорились. Я посоветовал весь хлеб растащить по дворам и потихоньку обмолотить, да как следует спрятать, закопать по ямам.

— А немцам ни зерна! Поняли?

— Поняли, товарищ.

Женщины рассказали, что старосты в селе нет. Имеется лишь заместитель — бывший председатель колхоза — некто Бодько. В прошлом член партии. Его исключили, кажется, за срыв хлебозаготовок.

— Хороший человек, людей не обижае...

— А немцев? Тоже не обижает?

Оказалось, что в селе немцы не останавливались, а только проходили. Хватали наспех кур, поросят, конфисковали штук пять лошадей. Когда чего им требуется, — идут к Бодько.

Спросил я, много ли народу в селе, есть ли мужчины, что они делают.

И бригадирша неожиданно ответила:

— Думают. Сыдять по хатам, та думку думают: що дальше робыть. И свои и пришлые — все грустят, размышляют...

Нашу группу заметили в селе. Подбежала еще одна женщина. Откуда ни возьмись, появились мальчишки. Я счел благоразумным распрощаться. И уже отошел шагов на сто, когда меня нагнала бригадирша.

— Товарищ Федоров, — задыхаясь, спросила она, — а то-то верно люды кажут, що вы всех в партизаны зовете? Визьмить и мене з собою!

— Я не Федоров! — сказал я как мог внушительнее.

— Це я розумию, що вы сейчас не Федоров, так никто ж не слышит. Визьмить мене до себе, я ж стахановка, я ж на сельскохозяйственной выставке в Москве была. Не могу я тут больше!

Да, с конспирацией обстояло определенно плохо. Что ж это происходит? И портной узнал (ему, правда, могла сказать мамаша Симоненко), и теперь вот девушка-бригадир; пожалуй, и вся бригада не очень-то верила, что перед ней отбившийся от колонны пленный. Сам «пленный» тоже хорош, до сих пор таскает по карманам все свои документы, разговаривает начальственным тоном...

Так я попрекал себя, вернувшись в тихую комнатку. В глубине же души пряталась радость: если узнают, а, узнавая, не только не выдают немцам, но еще и слушают внимательно, стало быть, народ ждет слова партии, ждет руководства.

Пора поднимать знамя партизанской борьбы.

В хату вошел Симоненко в сопровождении дядьки лет сорока пяти. Дядька плотный, ладно одетый. Он протянул мне руку, а Симоненко сказал:

— Знакомьтесь, товарищ Федоров, — это мой кум и друг — председатель колхоза Егор Евтухович Бодько.

Я было хотел пожать протянутую руку, но, услышав фамилию, невольно отшатнулся. Так вот он, местный управитель, обласканный оккупантами. Я заложил руки за спину и довольно бесцеремонно стал его разглядывать.

Впервые мне пришлось столкнуться с предателем с глазу на глаз. Исключенный из партии, по всей вероятности саботажник. Именно из таких людей немцы вербуют помощников. Зачем только Симоненко привел

его сюда да еще назвал ему мою фамилию? Какая это, к черту, конспирация?.. Руки мои невольно сжались в кулаки, хотелось ударить этого иуду.

Однако во взгляде Бодько не было ни смущения, ни торжества. Он смотрел просто и открыто.

— Вижу, товарищ Федоров, — сказал он, — вы мне не доверяете. Это правильно. Разрешите доложить? Принял должность заступника старосты по санкции подпольного райкома партии. Правда, сам я с некоторых пор беспартийный, но именно потому, что я исключен, меня немцы и назначили. А старостой у нас по совместительству куркуль из соседнего села Колесники. Я на эту должность, по немецким правилам, не гожусь: был все-таки председателем колхоза и колхоз считался передовым.

Так, значит я ошибся. Но ошибка эта была приятной. Бодько оказался человеком серьезным, вдумчивым, наблюдательным. Был у него один крупный недостаток: честный, прямолинейный, он и во всех людях предполагал те же качества, слишком легко доверял им.

— Много у меня до вас, товарищ секретарь, насущных вопросов, — сказал Бодько. — В райкоме меня проинструктировать подробно не успели. Приходится все делать по своему разумению. А положение мое очень даже щекотливое. Артистом никогда я не был, притворяться мне трудно. Да и роль не написана. Кручусь, как сам понимаю. Собрать народ, растолковать откровенно — нельзя. Есть, товарищ секретарь, и сволочи.

Вчера один по такому делу явился. «Як, — спрашивает, — у полицаи записаться? Мени люды казалы, що в районной комендатуре принимают в полицаи, для цього потрибна ваша рекомендация». Такому что скажешь? По морде дать, пожалуй, неправильно поймет. А не дать — тоже нельзя. Ну, конкретно, я ему, конечно, приложил. Съездил по уху и говорю: «Ах, ты, так тебя, при радянськой влади в комсомол заявление подавал, а теперь в полицаи метишь!» А он в ответ: «Я, товарищ староста, в комсомол хотел пролезть». «Какой я тебе товарищ? Пан заступник старосты — ось як треба мене величать!» — и раз его по другому уху, а потом на законном основании — под зад коленом.

Только этот ушел, другой вваливается. Прибыл из Прилук. Наследник нашего сельского куркуля Шокодько. «Будем, каже, знайоми, мой батько в 1932 роци высланный радянською владою, а сейчас в Сибири в ссылке. Я работал контролером в райсберкассе. Думаю, что теперь справедливость победит. И я как прямой наследник могу вступить господарем нашего нерухомого майна. Будьте добры, возьмите бумагу, переданную вам районным бургомистром паном таким-то. Приказано оказывать

содействие». А его нерухомое майно — недвижимое имущество — это изба-читальня и детские ясли, два чуть ли не самых лучших дома в селе. Ну что делать с таким фруктом? Разговор интеллигентный, обращение деликатное. Стукнуть по шее? — нет подходящей придирки.

Бодько замолчал.

— И, надо сказать, он не первый, — продолжал он после минутного раздумья. — Уже четыре кулака и два подкулачника прибыли. «Выселяйте, требуют, — колхозников куда хотите. На то вы и власть. Есть немецкий закон: все возвращать нам». «Интеллигента» этого я в хату-читальню вселил. И сказал еще, что книги, всю, какая есть, библиотеку отдаю ему в компенсацию за его страдания. Посоветовал, как следует их спрятать. Так он даже политическую литературу, книги Ленина и Сталина, тоже припрягал. Что значит кулацкая натура! Все прибережет. Ну, и пусть бережет. Наши вернутся, мы свое возьмем. А других, которые на дома колхозников зарятся, я пока за нос вожу. Народ на них ужасно зол. Одного уже «в темную» малость изуродовали. Пришел, конечно, слезы лил. «Что, — говорю, — я могу сделать? Народ несознательный. Полицаев у меня пока що не мае. Почекай трохи, поки укрепиться немецкий порядок...» И что я скажу, товарищ секретарь, это даже хорошо, что кулаки возвращаются. Народ злее против немца будет.

Меня уж в старостате в Прилуках спрашивают: «Какая у вас способность поставок, сколько в селе зерна да сколько свиней? Ведите потихоньку учет, а если преуменьшите данные — капут!» Ну, а я учет как веду? Прихожу в хату, если человек свой, советский, спрашиваю: «Лопата есть? А почему яму не копаешь? Имейте в виду, что все надо прятать. А главное, хлеб надо прятать. Поросят, овец, крупный рогатый скот надо резать, солить и поглубже закапывать в землю». Тут у меня богомолка одна стала активной помощницей. Она, как только первые немцы в селе появились, взвод самокатчиков, вышла к ним навстречу с хлебом-солью. Повязалась белым накрахмаленным платочком, низко кланялась. А дня через два прибыли мотоциклисты. Эти у нее поросенка забрали. Ох, и смеялись же соседи над той бабкой! Теперь ходит как агитатор и всюду немцев клянёт последними словами: «Бандиты, — кричит, — ироды, останнього кабанчика забрали! Ховайте все, люды добрые. Це сам сатана гряде!» В таких житейских, маленьких делах я, товарищ секретарь, немного разбираюсь и, надеюсь, не пошатнусь. Хотя должностишка моя теперешняя довольно ядовитая. Что людям ни говори и сколько для народа ни старайся, — многие катом считают. Только и утешение, что история оценит... — усмехнулся Бодько. — Здоровьем меня бог не обидел, руки,

ноги в силе, голова не болит, зато душа болит, товарищ секретарь... Ну, да что обо мне говорить. Кто я, что я?

В этом самоуничижительном вопросе почувствовал я и нотку обиды. После долгих расспросов Бодько сказал, что не может, никак не может примириться с решением райкома об исключении его из партии. Но суть дела, причину исключения Бодько не стал мне излагать.

— Не время сейчас говорить об этом, Алексей Федорович, — сказал он. В душе я по-прежнему большевик. Кончим войну, тогда и определите, гожусь ли я и допустимо ли простить мои прегрешения против партии. А сейчас я, в моем положении исключенного, могу партии большую помощь принести... Впрочем, давайте лучше о наших делах.

Первое: как быть с колхозом? То есть с имуществом? Что можно, мы по дворам роздали. Скотину всю, семенной фонд, мелкий инвентарь. Но есть у нас молотилки, крупорушки, сеялки. Уничтожать? Рука не поднимается. Второе — кадры. Люди-то в последние годы стали совершенно другого калибра. У нас и трактористы, и бригадиры-полеводы, и доярки-рекордсменки. Они в маленьком, личном своем хозяйстве нервничают, скупают. По немецким инструкциям полного разделения артельного хозяйства нет. И, говорят, не предвидится. Оставляют общины, чтобы легче тянуть. Но мы в общине так: шалаяй-валяй. А люди привыкли по-настоящему, от души работать. Ведь до чего доходит: захожу как-то вечером к трактористке одной на огонек. Подруги к ней собрались, сидят кружком. Думаю, не иначе, гадают. Нет, смотрю книга. «Чем, — спрашиваю, — увлекаетесь?» И, что вы думаете? Они, оказывается, техминимум по трактору повторяют.

Ну, как тут быть, товарищ секретарь? Ругать, хвалить, плакать? Люди к книге приучены, к радио, к фильмам: к нам каждые три дня кино привозили.

Недавно тоже случай вышел, стыдно рассказывать, меня чуть дети не убили, пионеры. Стал я замечать, что кто-то потихоньку разбирает и растаскивает части с веялок, молотилок, конных граблей. Хозяйственный двор теперь без охраны. Я, признаться, даже и не подумал как следует — хорошо это или плохо. Скорее хорошо, потому что подходит под указание партии, чтобы разрушать хозяйство, не давать немцам. Но сам еще не додумался.

На днях иду полем в сторону крытого тока. Вдруг, смотрю, брызнули оттуда мальчишки, скрылись в кустарнике. Подошел к току, — там у нас движок стоит, — маховик снят, запальный шар отвинчен и все остальные гайки уже наполовину откручены. Я головой покачал. И не то, чтобы с

сожалением, а просто от неожиданности. Потом осмотрелся кругом, вижу неподалеку от кустов земля свежая и на ней приметный камень лежит. Пошел туда, тронул ногой камень, вдруг что-то мимо уха просвистело. Я наклонился. Бах в спину, прямо по хребту. Оборачиваюсь — гайка валяется. Разозлился ужасно и напролом в кусты. Представьте, поймал Мишку — по прозвищу Кочет. Схватил за шиворот, тряску, а он мне руки кусает, плюется и еще командует кому-то: «Кидайтесь, хлопцы, чего смотрите!»

А Мишка этот в прошлом году очень помог колхозу. Объявил игру «Тимуровское движение». Во главе бригады пионеров колоски собирал, в колхозном саду организовал охрану... Был друг он, а теперь — враг. Глаза горят, как у волчонка, и прямо воет от злости. Вдруг кидаются на меня еще пятеро. Свалили на землю и дубасят кулачками под ребра. У меня уже злость пропала. Я кричу: «Стойте, хлопцы, не убивайте, я такой же, как и вы...» Поверили, отпустили, а потом мы с полчаса в тех кустах тайное совещание проводили. Я им блегка приоткрылся. Тогда и они рассказали, что части с машин обмазывают автолом и зарывают в землю. А сверху кладут приметные камни. Я это дело утвердил, НО только мы придумали другую систему знаков. С камнями было слишком заметно.

А теперь важный вопрос, товарищ секретарь, наиважнейший вопрос. Мне известно, как партия учит: люди — самый ценный капитал. Я здесь местный управитель, поставленный будто бы немцами, а на самом деле советской властью и подпольной партией большевиков. И я приучен к плану и к учету. Я приучен считать. Подсчитал. Есть в селе 206 трудоспособных мужчин и 512 трудоспособных женщин. Без старух, без стариков, без подростков. Мужчины разные — и пришлые — сомнительные, и проходящие — из пленных, из бродячих по случаю войны. Я их от немцев, конечно, и берегу и буду беречь. Это к слову. Но есть немало и своих, так сказать, кровно принадлежащих нашему селу. А женщины почти поголовно здешние.

Спросите: к чему считал? Да вот к чему: ведь это сила. И с мирной точки и с военной. А сила эта по домам сидит. Голову на руки положат, по окошкам глядят. Как же, ну как, товарищ секретарь, эту силу против немца повернуть, чтобы каждый боролся?!

Бодько говорил все это с сердцем, почти кричал, он то садился, то поднимался и ходил по комнатке; и видно было, что вопросы он задавал не столько для того, чтобы получить на них ответы, сколько хотелось ему выговориться, излить душу.

Старушка Симоненко внесла в хату ведро с водой. Бодько взял ведро обеими руками, поднес к губам и долго, не отрываясь, пил. Я обратил

внимание на его большие, все в черных шрамах рабочие руки. Жадный к жизни и труду человек! Судьба же подсунула ему роль мнимого предателя.

Пришлось кое в чем его поправить:

— Вы вот говорите, товарищ Бодько, чтобы каждый боролся против немца. Каждый — не выйдет! Сейчас надо к людям подходить с большей осторожностью, чем когда-либо. Ведь вы сами рассказывали: возвращаются кулаки. Вы назвали цифры: столько-то мужчин, столько-то женщин. Давайте разберемся, как они и о чем думают и мечтают у себя по хатам...

Бодько плохо слушал. Он рвался в бой.

До моего ухода из Лисовых Сорочинц мы виделись с ним еще не раз. Зашел я и к нему домой. Жена его и взрослая дочь приняли очень радушно. Усадили за стол:

— От опробуйте домашнего окорочка. Зарезали порося совсем молоденького. Наш батько говорит — риж усе, щоб нимцям не дисталосся.

За столом сидели какие-то гостившие у Бодько люди. Я тихонько спросил у хозяина: «Что за народ?»

— Не беспокойтесь, Алексей Федорович, свои, советские люди, от немца прячутся.

Один из этих «своих людей» пришелся мне явно не по сердцу. В лице его было что-то постное, сектантское. Человек лет сорока пяти, глаза маленькие, бегающие, редкая прозрачная борода. Я его про себя назвал «баптистом». Одет он был в красноармейскую форму, но держался так, будто у него власяница под гимнастеркой: все время ежился. Он как-то преувеличенно низко кланялся:

— Спасибо хозяйюшкам за приют да за ласку!

Потом долго жалостливо тянул:

— Где-то далеко, на той сторонушке, детки мои тятеньку ждут. А тятенька к немцам попал, тятенька слезы по деткам льет...

— Слушай, друг, а кем ты до войны работал? — не удержался, спросил я.

— По вашей части, — ответил он и сразу же поторопился осклабиться.

— То есть, как это по моей, я из лагеря вышел, — пошутил я, но вдруг заметил, что этот тип осторожненько подмигивает, как бы предупреждая, чтоб я не очень-то раскрывался. На мой вопрос он ответил довольно развязно:

— Где служил — тем не дорожил, а теперь, видите, брожу — побираюсь.

Пока обедали, он все ко мне жался и, улучив момент, шепнул:

— Хозяин-то, видать, из сильно советских.

Так же шепотом, подыгрываясь под него, я спросил:

— С чего это ты взял?

— Были разговоры... Кто его только в старосты определил?

И тут я его сразу огорошил так, что он сник и больше уж не расспрашивал:

— Я его назначил и тебя не спросил!

У Бодько всегда кто-нибудь гостил. Он охотно впускал к себе в дом, кормил, лечил, снабжал одеждой. Перебывало у него, наверное, не меньше человек двадцати пяти, за это ему, конечно, честь и хвала. Большинство его «постояльцев» присоединились позднее к партизанским отрядам. Но горяч был больно Егор Евтухович и всем без разбора душу раскрывал. Я предостерегал его, но это не помогало.

По моей просьбе Бодько ходил в Прилуки, чтобы связаться с тамошними подпольщиками. Связаться ему не удалось. Но кое-что интересное узнал:

— На совещании старост говорили, что в районе и в городе арестовано больше тридцати партийных и советских активистов. Восемнадцать из них уже расстреляны. Там же говорили, что в области появился Федоров. Дано задание всем старостам и полицаям немедленно докладывать о любом слухе, по которому можно установить ваше местопребывание.

Тут Бодько заговорил шепотом, но и шепот у этого человека был такой, что его, верно, на улице слышали:

— А меня районный бургомистр особо вызывал: «Слышал я, что Федоров двинулся в направлении ваших мест. Покажите, на что вы способны. Если нам с вами удастся изловить...» И такого он насулил, что я до дому чуть не бежал. Надо вам, Алексей Федорович, перебираться...

* * *

Ночью, часа, наверное, в три, я проснулся и мгновенно вскочил с постели. Состояние было очень тревожным. Я вынул из-под подушки пистолет, положил рядом с собой. Сердце стучало так громко, что мешало прислушаться. Казалось, за дверью хаты кто-то шепчется. Я старался себя успокоить, не хотел напрасно, по пустякам будить хозяев.

Густо капало с крыши, потрескивал под образами фитиль лампы. Больше ни звука. Я хотел уже снова лечь, решил, что взбудоражили меня разговоры с Бодько и теперь всюду мерещатся преследователи. Но опять за дверью зашептались — я различил несколько голосов. Кто-то прошлепал под окном, шумно оступился в лужу и ругнулся. Я растолкал Ивана. С печи сползла хозяйка, махнула мне рукой и на цыпочках подбежала к двери.

Иван дал мне в левую руку гранату и встал рядом. Его мамаша прижалась ухом к двери.

В окно постучали. Но не требовательно, как это сделали бы немцы или полицаи, а робко, мягкотью пальцев.

— Кто? — громким шепотом спросила хозяйка.

Иван прижал губы к моему уху:

— На обман берут, сейчас скажут, что свои.

И, в самом деле, из-за двери ответил женский голос:

— Свои, бабушка, отворите...

Симоненчиха повернулась к сыну:

— Це Зинка Татарчук, бригадирша, чего ей тилько надо? Открывать?

— Видчиныте, не тревожитесь... — уговаривал женский голос.

— А кто с тобой?

— Усе свои, бабушка, Никита и Сашок, да еще Дулева Верка, видчиныте, мы до гостя вашего, вин сам велел.

Старушка сняла крюк с двери. Иван осветил фонариком лица вошедших. Я сразу же узнал бригадиршу, с которой беседовал дня три назад. Ту самую, что в Москву, на сельскохозяйственную выставку ездила.

— Проходьте скорее, — торопила старушка, — не холодите хату!

За бригадиршей в комнату стали протискиваться трое, четверо и еще лезли из темноты.

Хозяйка замахала руками:

— Скилько вас тут, идыть, идыть на двор! Чи ты, Зинка, сказалась.

Бригадирша приказала двоим остаться, а остальных выдворила за дверь. Потом обратилась ко мне:

— Може, и мы выйдем, товарищ...

— Орлов, — подсказал я ей. Понравилось, что она запомнила с того раза и уже не называет меня настоящим именем. — В чем дело? Нельзя ли поскорее? Говорите здесь, этим людям я доверяю.

Бригадирша хорошо улыбнулась.

— Бабушке Симоненко усе можно доверить. Вона, як маты ридна... А прийшли мы вот чого, товарищ Орлов. Вы мне третьего дня говорили, що треба сколотить группу, ийти до лису. Так вот она и группа — двенадцать хлопцев и трое нас, дивчат. Оружие у нас таке: восемь гранат, две винтовки; уси за поясом с ножами, хлиба та сала на недилю, одного нема, товарищ Орлов...

— Плана действий?

— Ни, план есть. План такий: пробыраемось на Ичнянськи леса, а колы там партизан не найдемо, пидем дальше, к Орловской области. Не

може того быть, чтобы партизан не нашли. Только вот у нас який недочет: споримо, кому командиром быть. Ребята кажут — не надо командира. А я считаю — так идти не можна. С того часу, як мы выйдем — уже группа наша партизаньска. Так, товарищ Орлов?

— Правильно.

— Ну, що я казала? — обратилась она к хлопцам. — А колы мы партизаны, значит, треба и дисциплинку знать. Кто побежит — дезертир, и тому, — в голосе ее появилась жесткая, металлическая нотка, — тому, кто побежит или, того хуже, руки до горы поднимет, — смерть!

— Думаю, что командиром вам как инициатору и надо быть, — оказал я бригадирше.

— А, може, вы, товарищ Орлов, не думать будете, а властью своей назначите? Так воно крепче, тем более люди наши догадываются, что назначение и приказ от партии... Видчыныте, бабушка, трохи дверь. Хай партизаны приказ товарища... Орлова послушают.

Было в голосе этой девушки столько требовательности и сознания своей правоты, что старушка безоговорочно ей подчинилась. Я тоже понял, что командование ей доверить можно и что мой приказ имеет большое значение для всех членов группы.

— Зайдите сюда! — позвал я молодежь.

Выяснилось, что из пятнадцати членов группы — девять комсомольцы. Самой старшей была бригадирша. Ей — двадцать два года. Самому младшему Мише — четырнадцатый. Я хотел было его отговорить, посоветовал остаться. Не так-то просто было это сделать. Он рассказал о своих тимуровских подвигах... Высокий, крепкий хлопчик с дерзким взглядом.

— Я из боевой винтовки в самое яблочко попадал, я гранату умею кидать и мне, дядя, никогда не бывает страшно!

Первое впечатление от группы сложилось у меня очень хорошее: даже возникла мысль идти дальше, к Ичнянскому отряду, вместе с ребятами. Но уже в следующую минуту я отказался от этого намерения. Один из хлопцев сказал, что раньше, чем идти в лес, надо в селе уничтожить всех, кто тянется к немцам, назвал три или четыре фамилии. Он выдвинул совершенно сумасбродный план: сейчас же, ночью, пойти по хатам вернувшихся кулаков и подкулачников, закидать гранатами, а потом бежать. Парнишка был молодой, увлекающийся. Я думал, остальные сдержат его, объяснят парнишке, что так неорганизованно и непродуманно действовать нельзя. Нет, его план вызвал восторг большей половины собравшихся. Бригадирша, правда, пыталась утихомирить страсти:

— Яки ж вы, хлопцы, неразумны. Мы и до лису не дойдем — нас немцы выловят, усих повесят и село сожгут. Вот придем до партизан, там наша сила, там командир есть, вин знае, куда направить удар.

— Боягузка ты, вот что! — закричал автор плана.

Пришлось мне повысить тон. Я приказал немедленно замолчать. Ребята подчинились, но понятно было, что внутри они кипят. И я догадывался — как только выйдут из хаты, опять начнут спор.

Мы вели беседу в полутьме, лиц моих гостей я почти не видел. Голоса они определенно меняли, старались для солидности басить. Закуривая, Симоненко поджег в печи бумажку. Он ярко осветил на мгновение всю группу, и тут я увидел, какую зеленую молодежь собрала бригадирша. Тогда я опросил каждого по очереди. Только пятеро работали в колхозе как подростки, остальные — ученики шестого и седьмого классов. Они, конечно, не представляли еще, какие трудности выпадут на их долю в партизанском отряде. Увлечлись. Хотели поскорее начать драку, стрелять, кричать ура.

Отказаться совсем от помощи такой безусой молодежи? Нет, разумеется, ребята эти могут принести немалую пользу подпольным организациям и партизанским отрядам. Жаль, ах как жаль, что так мало времени мы смогли уделить предварительной подготовке людей.

Я отобрал шестерых — самых старших, им разрешил идти в отряд. Мише и остальным школьникам предложил организовать на месте подпольную группу: писать листовки, подбрасывать их в хаты, наладить связь с молодежью соседних сел. Они согласились, но были явно разочарованы.

На этом мы расстались. Остаток ночи я не спал. «Ведь в каждом селе, думал я, — десятки подростков так же, как и эти ребята, непродуманно, неорганизованно полезут в драку. Многие, по недостатку опыта, пропадут. Намерения у них чистые, благородные. Их толкает на борьбу патриотизм, воспитанный советской школой, комсомолом. Но ни школа, ни комсомол не готовили, конечно, из них подпольщиков и партизан».

Старушка Симоненко, будто угадав мои мысли, рассказала, что когда первый раз остановились в селе немцы, мальчишки безбоязненно шныряли среди них, а Некоторые даже передразнивали солдат.

— Соседский хлопчик Микола немецкого ефрейтора так раздражил, що вин его связал и пид стол бросил. Три дня немцы в селе стояли, и три дня Микола связанный пид столом лежал. Солдаты, як обидать садятся, — Миколку ногами шпыняют и куски ему, як собаке пид стол кидают. Вин ничего не ел и пить не просил. И выжил. Откуда тилько сила в таком

мальше?

Позднее я убедился, что сил и революционной страсти в этих маленьких гражданах нашей страны очень много. И всюду, где к этому прибавлялись хотя бы попытки организованности, сельские комсомольцы и даже пионеры оказывали очень существенную помощь подпольщикам и партизанам.

* * *

Мой хозяин — Иван Симоненко — тоже собирался в путь. Мамаша его напекла в дорогу пироги, начинила домашнюю колбасу. Я продолжал звать Ивана с собой — к партизанам, а он стоял на своем: «Партизанское дело темное, неверное, да и как с дубинкой и, в лучшем случае, с винтовкой и автоматом идти против танков, авиации, артиллерии? Нет, товарищ Федоров, этот дедовский способ воевать наскоками из леса устарел, ни к чему хорошему не приведет».

Что ж, пришлось расстаться с моим товарищем по скитаниям.

Он пошел на восток — к фронту, я — на запад.

Последнее дело, которое мы сделал и вместе, было хоть и необходимым, но грустным и неприятным.

Поздно вечером мы вышли в сад и вырыли под яблоней могилку глубиной сантиметров в семьдесят — схоронили в ней наши документы.

Нелегко было решиться на это. Хоть и была ясна директива Центрального Комитета: уничтожить или надежно спрятать все обличающие партийных работников бумаги, расстаться с ними было очень больно. Больно потому, что каждый документ — частица твоего прошлого, твоей души.

Часа три, не меньше, мы с Иваном потратили на подготовку... Готовиться, собственно, было нечего. Мы перелистывали, пересматривали бумаги; кое-что вспоминали и рассказывали друг другу. Вот мое удостоверение члена ЦК КП(б)У. Оно затекло и побурело, будто прошлогодний лист. Замочил я его, перебираясь вплавь через реку. Другие документы пострадали не так сильно. Депутатский билет Верховного Совета СССР, ярко-красной кожи с золотым тиснением, только чуть намок. Мне его вручил народ, тот самый народ, что и теперь окружает меня. И старушка Симоненко, и Егор Евтухович Бодько, и портной, костюм которого я вчера надел, — это все мои избиратели. Алюю книжечку, свидетельство их доверия, мне придется сейчас закопать в землю. Достану ли я ее когда-нибудь?

Мы тщательно обвернули каждый документ газетой и всю пачку обмотали резиной от противогоза. Потом спустили на дно ямки, засыпали

землей, притоптали...

У меня осталась только одна справка: «Дана сия Костыре Алексею Максимовичу в том, что он был осужден в 1939 году за растрату и 18 августа 1941 года освобожден досрочно из лагеря...» Все это удостоверяли соответствующие подписи и печать.

Вечером я попросил старушку Симоненко меня проэкзаменовать.

Ивана в это время не было дома. Старушка чистила картошку для прощального ужина и попутно «допрашивала» меня:

— А где ж вы работали до ареста?

— В магазине № 16 Горловского горторга, в Донбассе.

— Який же то был магазин, промтоварный чи продуктовый?

— Хлебная палатка. Я ею заведывал.

— А ты як же, проворовався, чи обвешивал потребителя?

— Всякое бывало, господин следователь, и воровал о обвешивал.

— А на окилькн роиив тебе засудили?

— На шесть лет.

— Тилько шо на шисть рокив? Що ж це таке за суд? Он и воровал, и народ обманывал и тильки шо на шисть рокив?! — старушка так искренне возмущалась, что я решил прекратить экзамен. Видимо, роль мною была выучена хорошо, отвечал я вполне убедительно.

Другого случая проверить мое актерское дарование не представилось. Справку о том, что я растратчик, никому предъявлять не пришлось. Желаящие могут ее увидеть в музее партизанского движения в Киеве.

* * *

Больше двух недель прошло с того дня, как я ушел из Пирятина и уже неделю находился в Черниговской области. Перевидал я за это время немало людей.

Тягостно было, что все еще не действую активно. Жажда конкретной деятельности, непосредственной борьбы с немцами была так велика, что я уже стал подумывать, стоит ли мне продолжать свое путешествие. Вот в Лисовых Сорочинцах есть немало людей, желающих бороться с оккупантами. Почему бы мне не сколотить здесь партизанский отряд? Вначале он будет небольшой, потом к нему присоединятся соседние села. План этот все больше меня привлекал, и я рассказал о нем как-то Бодько. Тот отнесся, конечно, восторженно, оказал, что с десяток винтовок добудет и что у одного хлопца есть даже автомат с несколькими запасными дисками. Соблазн был велик, но все же мне пришлось от этой мысли отказаться. Прежде всего надо же собрать в единый узел всю областную организацию. В том, что она существует, не могло быть сомнения... Через

некоторое время, хотя и не очень скоро, я узнал, что в дни моих одиноких скитаний, в конце сентября и в начале октября, в Черниговской области действовали уже многие подпольные райкомы партии и комсомола, сотни ячеек и групп сопротивления; усилия партии не пропали даром.

В начале книги я говорил о секретаре Холменского райкома партии Иване Мартыяновиче Курочке, пожелавшем остаться в подполье. Читатель, наверное, помнит, как энергично проводилась им подготовка подпольных организаций и партизанских отрядов. С первых же дней оккупации подполье в его районе начало действовать так слаженно, что почти не было села, не охваченного влиянием коммунистов, где бы не выступал народ против немцев: крестьяне саботировали выполнение приказов, уничтожали немецких ставленников, помогали окруженцам и пленным бойцам Красной Армии. Во всех населенных пунктах района были явочные квартиры; куда бы ни пришли представители подпольного руководства, они всюду находили надежных людей.

В одном лишь селе Холмы имелись четыре явочных пункта для подпольщиков. Это были обыкновенные колхозные хаты. У хозяев были припасены сухари и солонина на случай, если подпольщику надо немедленно бежать в леса. У некоторых и одежда была припасена. Придет вот такой Федоров в ватной куртке, а выйдет в полушубке. Глядишь, разведчики врага и собьются со следа.

Немецкие власти потребовали, чтобы рабочий и молочный скот, свиньи, а также запасы зерна, фуража, овощей и другое имущество колхозов было собрано и учтено. Новые власти-де приедут и распределят.

Подпольщики решились на дерзкий шаг: провести сессию Холменского райсовета по вопросу, как уберечь от немцев колхозное добро. Разослали повестки, приглашительные билеты, и днем 16 сентября, будто и нет кругом никаких немцев, в Холмы собрались депутаты, активисты, председатели и члены правления колхозов.

Руководил сессией секретарь райкома партии товарищ Водопьянов. Он сделал короткий доклад о ходе войны и о задачах советских людей, оставшихся в оккупации.

Сессия постановила всячески противиться немецким приказам и обязала колхозы немедленно, раздать имущество крестьянам. Что возможно закопать надежно спрятать, что нельзя — уничтожить. Вслед за сессией райсовета были проведены собрания и в колхозах. На каждом таком собрании участвовали секретари райкома партии и депутаты. Население воочию убедилось: партия и советская власть живы, они действуют и, вопреки немецким приказам, издают в интересах народа свои

постановления.

Первый секретарь Холменского райкома партии Иван Мартьянович Курочка лично руководил всей организацией сопротивления, руководил через людей, которых хорошо знал. В районе, одном из первых занятом немцами, действовало к этому времени шесть небольших партизанских отрядов. Они устраивали засады на дорогах, взрывали мосты, уничтожали немногочисленные группы противника. Особенно ценно было то, что с первых же дней оккупации холменцы наладили систематический прием по радио сводок Совинформбюро. Не реже двух раз в неделю коммунисты, комсомольцы и беспартийные активисты-агитаторы проводили в селах беседы с крестьянами, рассказывали о положении на фронтах, разоблачали немецкую лживую пропаганду.

В подпольной работе района благодаря умелому руководству участвовали все слои населения. Очень много делала сельская интеллигенция. Учителя, врачи, агрономы, ветеринары стали пламенными агитаторами и пропагандистами, принимали по радио сводки, переписывали их, распространяли среди населения, читали по хатам вслух.

Вот краткий рассказ о семье беспартийного учителя Маложена из села Жукли.

Савва Емельянович Маложен, больной, хромой старик, сам передвигался с трудом. Он почти безвыходно сидел дома. Писал листовки. Писал и в прозе и в стихах. Его злые сатирические частушки и песенки передавались из уст в уста. Их пели и читали не только в Жуклях, но и в соседних селах. Писал старик, распространяли дочь Оксана и племянница Ирина. Обе комсомолки, смелые, находчивые, инициативные.

Учителя схватили агенты гестапо. Ему грозил расстрел. Оксана пришла в комендатуру и сумела убедить коменданта, что такой жалкий, больной старик, как ее отец, не может быть коммунистическим агитатором. Учителя освободили. Но вскоре попалась его племянница. Немцы пытали ее. Она никого не выдала. Незадолго до расстрела ей удалось передать Савве Емельяновичу две записки. В первой она писала:

«Дорогой дядя! Я не боюсь смерти, но только жалко, что мало пожила, мало сделала для своей страны».

Вот ее вторая, прощальная записка:

«Дядя, я уже привыкла, я здесь не одна, нас много. Не знаю, пустят ли домой. Быть может, и не пустят. Была на допросе. Мне показали заявление старосты А. Устиженко. Он предал нас, дядя. Но все равно, я не боюсь смерти и умирать мне не страшно. Окажите маме — пусть она не плачет. Ведь все равно долго с ней я не жила бы. У меня своя дорога. Пусть мама

спрячет хлеб, а то, немцы заберут его. Прощайте, ваша племянница Ирина».

В том же Холменском районе зародилась в сентябре 1941 года подпольная комсомольская организация с романтическим наименованием: «Так начиналась жизнь». Вначале это была небольшая группа комсомольцев, но постепенно она все разрасталась — в нее вошла вся лучшая молодежь Холмов. Каждый вступающий в организацию произносил торжественную клятву:

«Вступая в ряды подпольной комсомольской организации «Так начиналась жизнь», я перед лицом своих товарищей, перед Отечеством, перед всем моим многострадальным народом даю присягу вести смертельную борьбу против лютого врага — фашистов, бороться против них, не жалея своей жизни, пока земля наша не будет свободна от немецкой погани. Присягаю, что честно буду выполнять все поручения, возложенные на меня подпольной организацией, и лучше умру, чем предам товарищей».

Во главе группы стоял Коля Еременко, до войны инспектор политпросветработы. Группа очень энергично принялась за дело. Ребята и девушки писали, разбрасывали и раздавали листовки, были связными между райкомом партии и партизанскими отрядами, ходили в разведку, собирали для партизан оружие и боеприпасы.

В Черниговской области членов этой группы называют «холменскими краснодонцами». Да, они боролись, как краснодонцы, и большинство из них погибло героической смертью. В дальнейшем я расскажу подробнее о них; а в то время, о котором идет здесь речь, они только начинали свою работу.

В Холменском районе и партизанская, и подпольная деятельность коммунистов была хорошо подготовлена, а потому и развивалась быстрее и успешнее, чем по всей области.

И во многих других районах сопротивление народа немецким захватчикам стало к тому времени ощутимым.

В Остерском районе два партизанских отряда 15 сентября дали первый бой немецким автоматчикам, помогли группе красноармейцев выйти из окружения.

В Гремяченском районе подпольный райком сумел организовать саботаж в «выборе» старост. Население упорно не являлось на сходки. Тогда немцы решили обойтись без комедии выборов, назначили старост административным путем. Но в пяти селах: Гремяч, Бучки, Буда, Воробьевка и Каменская Слобода, — все назначенные старосты отказались выполнять какие бы то ни было распоряжения врага. Гремяченского

старосту — товарища Иваницкого немцы расстреляли, старосту села Бучки — товарища Калабуху — повесили, старосту села Воробьевка — товарища Федоренко — высекли розгами.

Слухи о немецком терроре распространились немедленно по всему району. Население стало уходить в леса.

В Козелецком районе первый секретарь райкома т. Яровой объединил несколько небольших отрядов и начал борьбу против сельских гарнизонов, полицаев и старост-предателей.

Комсомольцы-подпольщики Семеновского района собрали несколько десятков винтовок, пять тысяч патронов, сотни гранат и передали партизанам.

В Иваницком районе партизаны так активизировались, что немцы боялись сунуться в села. В населенных пунктах повсеместно работали органы советской власти.

Боевая группа Добрянского подпольного райкома КП(б)У пустила под откос два воинских эшелона, уничтожила немецкую дрезину и взорвала несколько вражеских автомашин.

В городе Нежине начал околачивать подпольную организацию прославившийся позднее слепой комсомолец Яков Батюк.

Но я обо всем этом узнал позднее и, когда выходил ночью из Лисовых Сорочинц, чувствовал себя одиноким.

Брел я по шпалам. Ночь стояла лунная, ветреная, очень холодная. Невдалеке выли волки, а может быть, волков и не было, в то время даже земля, казалось, должна была выть.

Пройдя километр с небольшим, я увидел взорванное здание станции Коломийцево. Путь был разворочен. Нигде вокруг не светилось ни огонька. Все, казалось, здесь вымерло. Я миновал станцию, перешел через небольшой мостик. Вдруг слышу, кто-то меня нагоняет.

— Хозяин, эй, хозяин! — голос как будто знакомый.

* * *

Прихрамывая, опираясь на палочку, ко мне спешил сухопарый мужчина в шинели и в шапке с опущенными ушами. Лицо, обросшее редкой бороденкой...

На всякий случай я нащупал в кармане гашетку пистолета. Задыхаясь от быстрой ходьбы, подошедший сказал:

— Узнал вас, батенька, легко узнал. По уверенности, по размашистой походке. Вы и при луне, как днем. Хозяин — всегда хозяин!

Это был тот самый «гость» Бодько, которого я окрестил про себя «баптистом».

— Разрешите присоединиться, Алексей... не помню, как по батюшке...

— Максимович, — ответил я недоброжелательно.

«Баптист» рассмеялся.

— Куда путь держите? Да чего я спрашиваю? Куда б ни пошли — всюду вам место и прием, сразу видать — хозяин. Другое дело — мы, пришлые. В родные места шагаете?

«Если субъект этот послан за мной один, я с ним в любое время справлюсь. Но похоже, что он меня не за того принимает», — так думал я и решил дать ему выговориться.

Он болтал охотно и гораздо откровеннее, чем у Бодько. Я заметил, что он пьяноват.

— Я тут, на вокзале, — продолжал он, — по стародавней привычке устроился... Уж сколько на веку своем путешествовал... Есть там две комнатки, пожаром нетронутые, холодно, так я самогонкой подтопился. Куда пойдешь? В селах косятся и за деньги ничего, кроме самогона, не дают, ночевать не пускают...

— А что ж меня пускают?

— Так я вижу. И давно попутчика ищу такого.

— Какого это такого, чего жмешься?

Он опять рассмеялся, быстрым взглядом окинул меня и махнул рукой. Смех его мне ужасно не нравился. Верно, что по смеху можно определять человека.

— Говорить? — спросил он и огляделся по сторонам.

— Чего ж не говорить? Никого ж нет. Говори, конечно.

— Вижу я в вас настоящего хозяина... Был и я когда-то таким, да не столько я, сколько родитель мой. На мою же долю советская власть пришла. Но и я, было время, держался. Землицу арендовал, мельницу отстроил. Не ветряк, как у вас здесь в Малороссии, а водяную мельничку...

— Какая к черту Малороссия?

— Понимаю и сочувствую. Но только уж очень меня тянет на слова, которые при советской власти запрещались. Да ведь не в том счастье, что Малороссия или Украина, а в том, что наконец-то опять наш закон будет! Хорошо вам. А к нам в Костромскую губернию когда-то еще немец придет.

Мы стояли у маленького железнодорожного мостика. Позади возвышались развалины станции, вокруг нее несколько служебных построек, по всему видать, брошенных. За мостиком начиналась степь. Километрах в трех чернело село. Там была явочная квартира, указанная мне Егором Евтуховичем Бодько. Смотрел я на этого костромского кулачка

и не знал, что мне с ним делать. А он продолжал заливаться:

— Иду я так по Украине вашей, Алексей Максимович, и вижу — много еще дела надо, чтобы порядок восстановить. Пробовал сперва прямо говорить народу, что из хозяев я, что рад новой власти. Только что не били, а есть никто не давал. Может, потому, что кацап. Нет, не то. Другой рязанский парень в момент пристроится. Хотел я один раз и горлом взять: давай, мол, вот немецкий пропуск, а то к властям пойду! Того хуже. Нет, Алексей Максимович, надо еще такую агитацию плеткой по заду, чтоб вспомнили царя-батюшку!!! — и в голосе его даже визг появился, так зло он это сказал.

Он явно рассчитывал на мое сочувствие. Мне очень хотелось тут же вот, не сходя с места... Вспомнил я шоферов: как они предателя просто решили. Ведь и этот ждет не дождется, когда ему немец в протянутую руку плетку вложит. Но там, почти в виду фронта, где убитых валялись сотни, случай с шофером прошел незамеченным. А я уже километров за сто в тылу. Чего доброго, явятся немецкие следователи из Прилук! Я соображал, как быть. Очевидно, кулачок что-то почуял недоброе, сразу осекся.

— А как у тебя насчет здоровья? — спросил я.

Он не ответил, понял, что происходит совсем не то. Лицо его прямо-таки почернело.

— Так, говоришь, костромской? Не бойся, идем вместе, со мной не пропадешь!

Я положил ему руку на плечо. Решил выйти с ним в степь. Там, в стороне от построек, было бы просторнее разговор кончать.

Он внезапно присел, извернулся и прыгнул в канаву, в тень моста. Я дал туда несколько выстрелов и прыгнул тоже вниз. Он громко закричал, застонал и вдруг ответил выстрелом. Зашуршал сухой бурьян, и в этот момент, как назло, луну закрыло облаком. Я еще с минуту елозил по дну канавы. Опять выстрел. Канавка оказалась глубже, чем я думал. По ней текла вода, а берега обросли такой густой колючкой, что в темноте и разобрать-то ничего было нельзя. Меня еще слепила ярость. Лез напролом и запутался в колючках. Он же, верно, низом, по-над самой водой прополз.

— Утра, света дождусь, никуда, сволочь, от меня не уйдешь! — кричал я с остервенением в темноту. Но, когда немного остыл, понял: так нельзя.

Выбрался из канавы. Луну заволокли тучи, стал моросить дождь. Но глаза уже привыкли, кое-что видно, очертания дороги разобрал. Постоял еще у моста с пистолетом минут десять. Ох, и ругал же я себя! Но что делать? Пришлось уйти.

То, что он не стрелял мне вслед, дало мне основание думать, что я его

ранил и даже, может быть, смертельно. Никому я об этом случае не рассказывал. Глупо вышло. До сих пор мне совестно: явный предатель ускользнул у меня из-под носа.

Я шел по степи удрученный и очень злой. Дождь усиливался, мокрый ветер бил меня по лицу. Но уж никак я не думал, что этой же ночью на мою долю придется еще одно приключение довольно неприятного свойства.

Часа в четыре утра я вошел со стороны огородов в село Левки Мало-Девичьего района и постучался в окно хаты, указанной мне Бодько.

За дверью переругивались два голоса — мужской и женский. Женский был решительным и властным, мужской — раздраженным и визгливым. Мой стук не сразу услышали.

— Эх ты, голова! — кричала женщина. — Голова ты был, головой и остался. Да что у тебя в той голове? Ну, чего молчишь? Говори, чи в твоей голове — навоз, чи опилки?

Мужчина предпочел этот прямо поставленный вопрос пропустить мимо ушей.

— Ты, Марусенька, взгляни в корень, конкретно...

Я постучал громче. Спорщики разом смолкли, потом зашептались, потом стали двигать какой-то тяжелый предмет. Минуту спустя женский голос, стараясь казаться ласковым, спросил:

— Кто там? Кулько хворый лежит.

— Отворяй, хозяйка, отворяй. Да поскорей, свои! Скажи Кузьме Ивановичу — Федор Орлов, старый друг его.

Федор Орлов — моя партийная, подпольная кличка. Ее знали все оставленные для нелегальной работы в области.

Хозяйка ушла; вероятно, совещалась с мужем. Вскоре она вернулась и отворила дверь. Не поздоровавшись со мной, она ткнула в сторону печки:

— Там лежит!

Кузьма Кулько лежал на печке, закутавшись в одеяло до самого подбородка. Его жена подняла повыше каганец, чуть не сунула мне в лицо.

— Узнаю, — сказал Кулько. — Действительно, Федоров. А мы, Федоров, с жинкой все немцев ждем, так вот выработали план конспирации: я тифом «болен». Они, говорят, к тифозным никого не ставят и вообще ужасно сторонятся.

— Совершенно верно, — серьезно ответил я. — Хаты тифозных, туберкулезных, дизентерийных и всех прочих инфекционных больных они заколачивают снаружи, обкладывают соломой и сжигают вместе со всем добром.

Не знаю, поверил мне Кулько или нет, только с печи сарвался, как

ужаленный. Он быстро натянул порты и рубаху, сел к столу и молча стал смотреть на меня. Жена его тоже молчала, но я заметил, что по лицу ее блуждает довольно ехидная улыбочка.

Я уже немного обогрелся и стал, не торопясь, оглядывать комнату. Поведение хозяев было странным. И раньше, чем начать беседу, мне хотелось понять, с кем я имею дело. Кулько я знал только, так сказать, в официальном порядке: встречался в Чернигове на разных областных совещаниях, разговаривал с ним, когда приезжал в Мало-Девицкий район. Средний работник. И внешность у него довольно ordinaria: средний рост, средняя полнота, лысина посреди затылка. Одевается, как все. В село Левки он переехал из районного центра по указанию подпольного райкома. Хата, где он устроился, принадлежала не то его родителям, не то родителям жены.

Как ни плохо освещалась комната, я, по многим признакам, понял, что хозяева не то делят имущество, не то готовят его вывозить. Большой сундук был так набит, что крышка не закрывалась. На составленных стульях лежало несколько свежедубленых полушубков. Новые ведра, штук десять, засунутые одно в другое, стояли в уголке и тут же, рядом, в куче, валялись сбруя, уздечки. Под диван торопливо засунут углом ящик с хозяйственным мылом. На большой кровати в беспорядке свалены детские пальтишки. В довершение всего из-под кровати вдруг высунул голову и заблеял баран.

— Ну, что ж, товарищ Кулько, расскажите, — попросил я хозяина, — что у вас делается, как идет работа? Где немцы? И вообще все...

— Тут в Левках, — начал довольно неуверенно Кулько, — есть народ. Несколько приезжих и свои, районные коммунисты. Готовимся помаленьку... Це дило новое, так оказать, оргпериод. Предполагаем собрать расширенное бюро.

Его прервала жена:

— Брось ты, Кузьма, трепаться. Расширенное бюро, заседания! Что же, так и будешь сиднем сидеть? Чи мы дурнее других? Ну, чего очи тарацишь? Ты, Кузьма, ясно скажи: он тебе друг? (Последнее относилось ко мне.) Ну, чего молчишь?

Кулько растерянно моргал глазами.

— Друг, друг! — сказал я хозяйке. — Будьте уверены.

— Ну, а колы друг, то и будемо балакать. Вы, уж не знаю, як вас краще звать, може бобыль бессемейный, а у мого диток куча. Повисять його, так нехай хоть нам-то кусок хлиба забезпечить. Вы йому друг — так втемяште в його пусу башку, що нимцы, пока мы тут балакаемо, и прикатять...

— Прятать, конечно, нужно, — сказал я. — Что это у вас снаружи валяется? Тут, я вижу, и колхозное добро. Немцы, действительно, могут нагряться...

— Так, товарищ Федоров, чи я не понимаю! — воздевая руки, вскричал Кулько. — Мы ж только что все это из подполья повытаскивали. Тут зараз почувешь — пустота, — стукнул он ногой по половице. — Немцы-то ведь тоже не дурни. Попляшут на половице: а ну, скажут, давай, открывай.

— Вот так вторую неделю, щоб йому пусто, споримо, — опять начала жена. — То складем, то вытягнем... Ведь чего хочет, подлая душа: отнесем, каже, на той конец села, до мого батька. Та добре, если немцы тебя схватят, так то я у свекра допрошусь... Все заберет. Дулю твоему батьке, дулю, да еще с маслом!

— Да мой батько честней тебя в сто раз.

Участвовать в семейной сцене не входило в мои планы. Я поднялся, надел кепку. Кулько, следуя моему примеру, тоже стал одеваться. Но жена уцепилась за его рукав:

— Никуда я тебя не пустю и не мичтай. Мало ты в своей райради насадився, так и тепер тащишься.

— Да скажите, товарищ Кулько, к кому тут можно сейчас пойти, где тут у вас нормальные люди?

Он попытался высвободиться из рук жены, промычал что-то нечленораздельное. Я вышел, хлопнув с досады дверью.

Меня обдало ледяным ветром. «Ну и влопался, — подумал я. — Будь они неладны, и Кулько и его жена. Что же теперь делать? Стучаться в первую попавшуюся хату? Или поискать по старой привычке скирду?...» И я уже свернул было с улицы на зады, чтобы поискать за огородами стог сена, когда опять открылась дверь кульковской хаты, хозяин вырвался из нее, сопровождаемый плачем и угрозами.

— От ведь чертова баба! — воскликнул он, тяжело дыша. — Идемте, товарищ Орлов, проведу я вас до настоящих людей. А я, видать, загубленная душа! Э-эх, Олексий Федорович, научили бы хоть вы, как быть...

И пока мы шли, а шли мы вместе не меньше получаса, Кулько плакался на судьбу, говорил, что не было ему с этой женой никогда счастья.

— Вот погодите, Олексий Федорович, вы ее характер еще узнаете. Помянуть мое слово, завтра к старосте побежит, скажет: секретарь обкома здесь.

— Да вы что, с ума сошли?

— Истинная правда, Олексий Федорович, хоть и моя она жена. Пятнадцать рокив я с ней живу, — говорил он, — вредная баба! От нее любой подлости можно ждать.

— Как же вы с ней жили?

— Так я и не жил, Олексий Федорович, только мучился.

Луна зашла, брели мы в абсолютном мраке, холодный ветер сбивал с ног.

— Слушайте, Кулько, — сказал я в темноту: — Как только вы доведете меня до места, вы понимаете, что я вам говорю?

— Да, товарищ Орлов!

— Так вот: вы доведете меня до явки, немедленно вернетесь домой и заставите свою жену молчать.

— Так я лучше домой не пойду, Олексий Федорович...

— Нет, вы пойдете домой! Вы пойдете и сделаете то, что вам приказано!

— Слушаюсь, товарищ Орлов.

— Она знает, куда мы пошли?

— Знает!

— И знает всех, кто состоит в подпольной организации?

— Не всех, но многих.

— А вы всех знаете?

— И я не всех.

— Скажите, а вы понимали, на что идете, когда оставались в тылу у немцев?

— Ну, а як же. И тепер понимаю. Я свою супружницу эвакуировал, я ее сам на пидводу с детьмы усадил. Так вона одъыхала километров на тридцать, круку дала и назад вертається... «Тю, — говорю ей, — погибель на твою голову, чого прикатыла? Тикай, куда хочешь, мени працювати надо». А вона уперлась и ни с места. А тым часом нимцы. Левки окружили и фронт передвыгнувся. Ну, що тут робыть?

Голос Кулько дрожал: казалось, он вот-вот заплачет от досады и беспомощности. Мне, однако, не было его жаль.

— Вы хорошо тут ориентируетесь? — спросил я. — Растолкуйте, как найти мне явочную квартиру, а сами дальше не ходите. Вам же приказ: делайте, что хотите, но Марусеньку свою заставьте замолчать. Глаз с нее не спускайте, не оставляйте ни на минуту, черт бы ее побрал!

Кулько минуту или две бормотал еще какие-то слова, потом все-таки повернул обратно. Я подождал, пока стихли его шаги, а потом и сам повернул, пошел совсем в другом направлении. Я пошел прямо через поле,

по стерне, шагал часа два и к утру набрел на село Сезьки. На мое счастье, немцев там не оказалось.

* * *

Когда в Чернигове, у меня в кабинете, собирался подпольный обком и мы обсуждали, что и как будет в случае оккупации области немцами, в представлении рисовалась идеальная схема организации. В каждом селе, во всяком случае в большинстве сел, — подпольные ячейки, группы сопротивления. Во всех без исключения районах — партизанские отряды и райкомы партии. Первый секретарь, второй секретарь, на случай провала — их дублеры. Связь между отрядами, райкомами и ячейками повседневная. Обком инструктирует райкомы, райкомы инструктируют низовые организации, время от времени люди собираются на совещания. Конечно, строжайшая конспирация.

Даже позднее, после собрания в Яблуновке, после пирятинской неразберихи, после многих дней одиноких скитаний, я все еще воображал, что стоит попасть в Черниговскую область, в любой ее район, — я сейчас же встречу расставленных по местам людей, кипучую деятельность.

Впрочем, казалось, что и немцы быстрее организуются на занятой их войсками территории. Уж никак я не мечтал, что смогу днем ходить открыто по дорогам, да что по дорогам — по сельским улицам. Думалось, что придется чуть ли не каждые два часа переодеваться, что за мной будут следить сыщики и я стану всякими хитроумными способами водить их за нос...

Заблаговременная подготовка баз для партизан, утверждение секретарей подпольных райкомов, организация подпольных точек сыграли огромнейшую роль. Абсолютное большинство оставленных в подполье людей с первого же дня начало работать. Только работа и обстановка оказались совсем иными, чем рисовало наше воображение.

Мы, например, совсем не учли, что подпольщику надо какое-то время, чтобы приглядеться и привыкнуть к новой обстановке, что ему придется переоценивать даже близких людей, по-иному строить с ними отношения. Не учли мы и того, что подпольщик впервые увидит немцев, впервые должен будет скрываться, впервые... да и не перечислить всего, что ему приходилось видеть и узнавать впервые.

Надо понять еще, что коммунисты, оставленные в подполье, в советское время занимали руководящие должности. Одни повыше, другие пониже, но все же большинство — люди заметные в районе, чуть что, детвора пальцами тычет, и не только детвора, колхозницы тоже запросто подойдут и прямо по имени...

Поэтому подпольщик на первых порах не столько работал, сколько переживал. И каждому человеку на переживания нужно было известное время. В зависимости от характера — больше или меньше. Если человек оставался с коллективом, переживания эти проходили легче. А если один — тяжелее. Некоторые просто заболели... манией преследования.

Но оставим общие рассуждения. Свои переживания я уже описал довольно подробно. Признаться, мне они к тому времени успели надоеть.

Я стал разыскивать первого секретаря райкома, товарища Прядко, и бывшего председателя райисполкома, а ныне командира партизанского отряда Страшенко.

В селе Сезьки оказался бывший заорг райкома партии Беловский. Не стану описывать нашу встречу. Принял он меня сносно, рассказал, что сам знал. А знал он, увы, немного: всего лишь за день до меня прибыл сюда. Он где-то под Киевом попал в окружение и побрел в родное село повидаться с женой. Задерживаться Беловский здесь не собирался. Подобно Симоненко, он стремился на фронт.

Беловский уже пытался разыскать секретаря райкома. Люди сказали ему, что Прядко семью свою эвакуировал, квартиру бросил и на пару с предисполкома Страшенко кочует из села в село.

Партизанский отряд в районе, кажется, был, но о нем сейчас что-то не слышно.

«Кажется... может быть... где-то, куда-то...» Меня такие указания не устраивали. Я поблагодарил хозяина и пошел спать на сеновал.

Я был утомлен. Предыдущую ночь много ходил, перестреливался с «баптистом», спорил с Кулько, за день тоже не отдохнул. Казалось бы усну, как убитый. Но то ли сено плохо защищало от холода, то ли нервничал, злился. Куда это, в самом деле, годится? Прошел через четыре района и не встретил по-настоящему организованного подполья. «А что значит по-настоящему организованное подполье?» — задал я сам себе вопрос. В Чернигове-то все ключи, все пароли, все явки были согласованы со мной. Конечно, не мог я запомнить каждого человека, но секретарей районных организаций знал, а раньше, чем выйти в немецкие тылы, я наметил себе и примерный маршрут, по которому пойду к областному отряду Попудренко. В этом маршруте были и явочные квартиры и условные обозначения людей (не фамилии, а именно условные обозначения, понятные только мне).

Но маршрут свой мне пришлось несколько изменить, а заметки и еще кое-какие нужные для ориентировки памятки я похоронил вместе с планшетом на дне реки Много.

Это была моя личная неудача, непредвиденная случайность. Какое же

право я имею сетовать на то, что не встречаю организованного подполья? А Бодько, а товарищи из Игнатовки, разве это не члены подпольной организации? Я возмущаюсь тем, как ведет себя Кулько, возмущаюсь, что ничего толком ему неизвестно. Но ведь и районное подпольное руководство знает, вероятно, о «семейных неурядицах» Кулько и потому держит его в неведении о своих действиях и планах.

Так размышлял я тогда, ежась от холода на сеновале. Много позднее я понял, что «непредвиденные случайности», неудачи отдельных людей и даже значительных групп не страшны, если большой план хорошо продуман.

В большом плане подпольного обкома было определено: в каждом районе столько-то низовых организаций, столько-то явочных квартир в таких-то населенных пунктах. Этот большой план был выполнен. Районные организации были, явочные квартиры были. И уж, конечно, не всегда подпольщик нарывался на какую-нибудь семейную драму. Но полезно было узнать, что явочная квартира — это не станция железной дороги с буфетом, готовым кипятком, часами и прочими станционными атрибутами.

Умение не нарываться — это уж дело личного опыта каждого подпольщика и партизана. И опыт, который я приобрел на пути от фронта к областному отряду, сослужил мне впоследствии огромную службу. Я научился ходить, научился видеть и слышать. Я узнал, что искусство подпольщика в том и состоит, чтобы понять природу «случайностей» и чтобы «случайность» тоже обернуть на пользу большому плану борьбы с врагом.

То, что я затоптал в глинистое дно реки Много свой планшет, не сбило меня, конечно, с пути. Я хорошо знал, если не каждую тропку, — любой маленький проселок, любой хутор нашей Черниговской области. Будь у меня адреса явок, я быстрее нашел бы своих людей. Но задержка обернулась мне в пользу. Я близко познакомился с жизнью народа в оккупации, я узнал настроения людей, я научился подбирать ключи к разным людям...

Я еще долго ворочался с боку на бок и в конце концов начал подремывать, как услышал вдруг чьи-то шаги и голоса. Я насторожился. Вскоре понял, что разговор меня не касается, и надвинул кепку на уши, чтобы не мешали спать. Но не помогло, сон отошел, и я невольно подслушал... влюбленных.

Возле сарая, в котором я лежал, вилась среди кустов довольно живописная тропинка. Луна в эту ночь была чиста от облаков, только ветер

бушевал по-прежнему. Влюбленные, судя по голосам, комсомольского возраста, сперва маячили возле моего пристанища, а потом уселись в непосредственной близости от меня.

— Какие же мы несчастные, — говорила девушка. — Не було б вийны, закончили б хату, та після уплаты по трудовням и переехали б...

— Эге, — согласился парень. Он большей частью ограничивался такими короткими замечаниями. Да еще иногда прерывал свою подружку поцелуем. Это, впрочем, не мешало ей высказываться.

— Слухай, Андрию, — сказала она с какой-то сладчайшей интонацией, — а когда ты вернешься с войны зовсим, мы до загсу пидемо?

— А як же!

— А радиолу, як у Карпенки була, купемо?

— Эге.

— А учиться ты мене в педагогический институт пустишь?

— В Днепропетровск?

— Ни, в Чернигов.

— Тильви в Днепропетровск. Там металлургический техникум. А педагогический в каждом городе есть. Я буду в металлургическом, ты — в педагогическом...

— Ни, Андрию, поидемо в Чернигов!

Казалось, у этих молодых людей чувство реальности совершенно отсутствует. Они говорили о своей будущей учебе с такой естественной уверенностью, будто нет ни войны, ни оккупации. Спор о том, ехать ли им в Чернигов или же в Днепропетровск, тянулся довольно долго. Он был, верно, давнишним. Стороны к соглашению не пришли, и девушка переменяла тему. После очередного поцелуя она еще более сладким голосом спросила:

— Андрию, ты меня любишь?

— А як же...

— К себе возьмешь?

— Я тебе самолет вышлю.

— Ни, правда, Андрию, не шуткуй, пришли записочку, я сама к тебе приеду. Я же комсомолка, Андрию. Скажи командиру: есть у меня дивчина гарна. Стрелять умеет, борщ сварит, раненого перевяжет.

Разговор становился для меня все более интересным. Хотелось вылезти и спросить без обиняков, в какой отряд собираются влюбленные, где он дислоцируется, да, кстати, узнать, и как его успехи. Но, поразмыслив, я решил, что или очень напугаю, или, если парень смелый, могу и по шее получить. А то, что он не трусливого десятка, выяснилось на

следующем этапе разговора.

То ли я шевельнулся, то ли еще какой-то посторонний звук достиг ушей влюбленных, только девушка вдруг встрепелась и тревожным голосом стала умолять Андрея поскорее уходить.

— Ой, Андрию, беспокойно мое сердце. Как же они твоего дружка штыками толкали. Сами на конях, а он пеший. Як до хаты подойдут: «Шукай!» говорят, а сами под ребра штыками торк...

— Он мне не дружок. А если бы мне дали добрую плетку, так я бы его стеганул.

— Его же немцы расстреляли. Если бы он был ихний, они б его не стреляли.

— Так то со злости, что меня не разыскали. А если бы он меня к их коменданту доставил, не расстреляли бы...

Вот, оказывается, кто мой влюбленный. Теперь мне захотелось вылезти лишь для того, чтобы пожать ему руку.

Сегодня жена Беловского рассказала о случае, происшедшем в соседнем селе накануне утром. Я слушал ее не очень внимательно; рассказывает, дескать, чтобы напугать непрошенного гостя и поскорее избавиться от меня: мол, тут небезопасно. Но оказалось, это она не выдумывала.

Некоторые подробности этой истории я извлек и из разговора влюбленных. Андрей, хоть и нарочно обходил эту тему по скромности или для того, чтобы не говорить о неприятном, но все равно кое-какие детали они с невестой вспомнили.

Так вот, в селе Ольшаны небольшой немецкий отряд захватил двух красноармейцев. Одним из них был Андрей.

Немцам в селе понравилось. Они проторчали там несколько дней, обжирались и опивались за счет населения. А задержанных пленных заставляли делать всю самую грязную, неприятную лакейскую работу. Напившись пьяными, били их, издевались. Но с глаз не спускали.

Вчера утром ефрейтор послал обоих пленных, а с ними и немецкого солдата, «за дровами» на чердак. Солдат дал Андрею топор и приказал рубить подпорки крыши. Вместо этого Андрей стукнул немца обухом по голове, схватил его пистолет и крикнул товарищу:

— Тикай!

Но тот схватил Андрея за руку и стал орать, звать немцев. Сильным ударом ноги Андрей освободился от «дружка» и выпрыгнул в слуховое окно. Пока немцы спохватились, седлали коней, Андрей пробежал с полкилометра за село. Там он увидел на току колхозников, молотивших

пшеницу. Андрей скинул шинель и шапку, схватил цеп и стал работать. Преследователи проехали мимо, но не узнали его: впопыхах они не взяли с собой андреева «дружка».

Потом-то они сообразили. Связали «дружку» руки за спиной и, как рассказывала андреева невеста, отправились по хатам. Они кололи «дружка» штыками, били поминутно по щекам и ногами в живот. Пройдя два или три села, немцы, не разыскав Андрея, в бешенстве расстреляли «дружка» посреди улицы.

Теперь же Андрей собирался в Ичнянский отряд. «Хороший для меня попутчик», — подумал я. Но как я был рад, что не вылез из сена и не попытался заговорить... Андрей непременно всадил бы в меня пулю. В его положении иначе поступить было невозможно. За ним ведь гнались, его преследовали... Но замечательно, что после таких потрясений он мог говорить о будущем, об учебе, да и не только об этом...

Влюбленные щебетали еще очень долго, долго не давали мне уснуть и мучили еще тем, что заставляли лежать неподвижно.

Сеновал был открыт. Скрываясь от ветра, влюбленные зашли в сарай. Беседа продолжалась на самые различные темы. Определяли сроки окончания войны и сошлись на том, что через два-три месяца немцев с Украины выгонят. Оценивали мощь уральской промышленности; спорили о том, скоро ли англичане откроют второй фронт. Я лежал и думал. Как это писатели наши изображают разговор влюбленных: птички, луна, закат. А вот, оказывается, любовь ни политики, ни экономики не чурается.

Очень трогательно мои влюбленные распрощались. И парубок обещал дивчина на этом настояла: как только дойдет он до отряда, даст о себе знать. Тогда и она туда проберется.

«Ну, из этого, положим, ничего не выйдет», — скептически подумал я. Но ошибся. Впоследствии я встречал в партизанских отрядах много влюбленных пар. Иные юноши и девушки рисковали жизнью, чтобы соединиться и воевать вместе.

* * *

Утром кто-то постучал в хату Беловского. Хозяин пошел отворять. Из сеней донесся знакомый голос. Смотрю — входит Кулько.

— Разрешите, — говорит, — доложить: задание ваше выполнил, жену обезвредил. Какие будут дальнейшие указания?

Появление Кулько было для меня совершенной неожиданностью. Я думал, что избавился от него. Думал, что и он был рад избавиться от меня. Но вот пришел и просит работы.

— Измучился, пока вас нашел. Три села пришлось обойти. Я считал,

что вы пойдете, как мы условились, в...

— Подождите, товарищ Кулько. Расскажите сперва, что значит «обезвредил»?

Кулько покосился на Беловского, потянулся было к моему уху, но махнул рукой и сказал:

— Неважно, Олексий Федорович, потом скажу. Она жива, здорова. Но молчит и будет молчать. Это уж точно.

От Беловского мы вышли вместе с Кулько. Он попросился в провожатые. По его предположениям, Прядко и Страшенко находились в Пелюховке — селе, отстоящем от Сезек километрах в двенадцати. По пути он рассказал, что оставил жене все имущество; пусть прячет и закапывает, как и куда хочет. Соседкам своим — трем гарным, здоровым дивчинам — наказал следить за женой и никуда из села не выпускать. В случае чего — связать.

— Она теперь от своих тряпок никуда не тронется, ей никто не нужен, заключил он с горечью, и я понял — страдает человек.

Кулько довольно подробно обрисовал положение в районе: оказывается, в первые дни оккупации небольшой партизанский отряд стал лагерем в леске, что возле села Буда. Немцы пронюхали об этом и послали не то роту, не то взвод автоматчиков с собаками. Тогда партизаны решили изменить тактику. Секретарь райкома дал указание: разойтись по домам, принять облик мирных жителей, попрятать оружие, а потом, по мере надобности, группами совершать набеги и диверсии.

Когда мы добрались до Каменского лесничества, Кулько отправился в Пелюховку искать секретаря райкома. Я его ждал на опушке. Вскоре он вернулся. На явочной квартире ему сказали, что вчера ребята подразумевались Прядко и Страшенко — были, а где теперь — неизвестно.

Мы зашли к леснику. Он тоже вчера видел и Прядко и Страшенко. Посоветовал сходить в Буду. Быть может, они там. Но и в Бude руководителей Мало-Девичьего подполья не оказалось. Так и повелось: куда ни придем, нам говорят: «Были незадолго до вашего прихода. Куда держали путь — не докладывали». Создавалось впечатление, что народ их от нас прячет. Видно, так это и было. Возможно, кое-кто думал, что мы немецкие агенты, посланные на розыски подпольщиков и партизан. Так с Кулько мы бродили четверо суток, пока на хуторе Жлобы не встретились с давним моим знакомым — Васей Зубко.

Встрече этой я очень обрадовался. Наконец-то человек, которого я лично знаю, которому вполне могу довериться.

Василий Елисеевич Зубко был в Малой Девиче секретарем райкома

комсомола, потом работал помощником секретаря райкома партии. Его послали учиться. После учебы направили для работы в органы НКВД.

О действительном положении в районе Вася Зубко был осведомлен не лучше меня. Он служил где-то под Киевом в специально сформированной из работников НКВД части. Часть эту противник сильно потрепал, из окружения выходили небольшими группами. После долгих мытарств и приключений Вася остался один.

— Мне сказали, что на Черниговщине всю действуют, потому-то я и пришел сюда...

Мы долго перебирали с ним общих знакомых, делились впечатлениями, наблюдениями. Зубко, подобно мне, долго бродил в одиночку по оккупированной земле. И самое главное: думал не о своей личной судьбе, а о народе, о том, как организовать народное движение сопротивления. Он рассуждал, как настоящий боец-подпольщик. Я почувствовал в нем боевого товарища.

Теперь мы уже втроем стали искать Мало-Девицкий райком. Чтобы не терять время попусту, мы разделились: Кулько направился в Малую Девицу, я и Зубко пошли в большое село Петровку. Там у Васи жил кум.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОБКМ ДЕЙСТВУЕТ

Кум Васи Зубко, некто Семен Голобородько, — полуинтеллигентный мужчина лет сорока пяти. В прошлом директор совхоза, а в последние годы рядовой колхозник, жил он, однако, пошире и покультурнее, чем средний крестьянин. По каким мотивам он остался в тылу у немцев, не знаю. Не знал этого и Вася Зубко.

Бывший директор совхоза, вероятно, — и бывший член партии, исключенный. Впоследствии это подтвердилось.

— Он хоть и кум мне, а вы, пожалуй, не раскрывайтесь, — предупредил меня Зубко.

Я надвинул кепку поглубже и, пока Вася обменивался с хозяином горячими приветствиями, сидел на скамье в позе очень утомленного человека.

Вскоре хозяйка собрала кое-что на стол. Мы с Васей поели фасолевого супа. Вася плел какую-то довольно хитрую историю; сочинял, надо признать, мастерски. Я же тем временем приглядывался к хозяевам и по их поведению чувствовал: что-то они от нас скрывают, волнуются, слишком часто переглядываются...

Уловив момент, я шепнул Васе:

— Пойду-ка я во двор покурю, а ты спроси напрямую: если засада,

лучше поскорее пустить в ход оружие.

Через минуту Вася меня позвал, и Голобородько с таинственным выражением лица подвел нас к небольшой двери. Он постучал особым способом, дверь отворилась, и мы увидели высокого чернобородого субъекта в шинели, с винтовкой на ремне, и другого дядю, обросшего рыжей щетиной; он держал в руке наган.

Я окинул быстрым взглядом помещение. Это была просторная, сильно захламленная кладовая. На ящике горел каганец, в углу же светился зелененький глазок...

Вдруг человек с наганом кидается вперед с криком:

— Федоров, Алексей Федорович!

Он обнимает меня и крепко, по-мужски, троекратно целует.

— Стой, да кто это? Дайте хоть взглянуть!

Долго, при тусклом свете каганца, разглядывал я рыжебородого и с большим трудом признал в нем старого знакомого — Павла Логвиновича Плевако. Я встречался с ним в Остерском районе. Когда-то Павел Логвинович занимал там должность уполномоченного Комитета заготовок.

Темнобородый оказался работником Черновицкого обкома — Павлом Васильевичем Днепровским. С ним я раньше не сталкивался, но слышал о нем; кто-то из друзей рассказывал, что есть такой весьма дельный человек.

— Ну, вот и хорошо! — Это было первое, что сказал Днепровский. Мы с ним тоже расцеловались, после чего Днепровский так же спокойно, баском, добавил:

— Це дуже гарно! — И, не меняя интонации, ворчливо продолжал: Гарно-то воно гарно, секретаря обкома вижу. А знает секретарь обкома, что у него в районах творится? Самое время развертывать силы, пока немцы с гестапо, с гаулейторами, с бургомистрами не подтянулись. Самое время!

Но я его плохо слушал. Меня манил к себе мигающий зеленый глазок и сухое потрескивание в углу кладовой. Определенно, там стоял радиоприемник. Я кинулся к нему, схватился за рычажки:

— А ну, давайте, товарищи, где тут Москва? Давайте Москву!

Я просто вцепился в приемник, вслушиваясь в его разряды и хрипы. От нетерпения я едва не бил по нему кулаком и без особого стеснения подталкивал под ребра Плевако и Днепровского:

— Давайте же!

Но вот, наконец, магические слова:

— Говорит Москва!

— Дальше, дальше! — но диктор с невозмутимой членораздельностью перечислил станции, сообщил, на каких волнах идет передача, и, когда я

уже вспотел от ожидания, сказал:

— Передаем концерт легкой музыки...

— Выключайте! Давайте, ищите на другой волне! Да поймите же, товарищи, я третью неделю ничего не знаю. Просто слепо-глухонемой! Ни одной сводки, ни одной статьи о том, что делается в мире...

Но в душе у меня поднималась уже огромная радость. Говорит Москва!

— А нельзя ли, — попросил я неуверенно, — настроиться на Ленинград?

Днепровский ухмыльнулся.

— Понимаю, дружище. Я тоже вот так, пока не знал ничего, ужасно волновался. Но будьте спокойны. Ленинград — незыблемо наш, и вот вам сегодняшняя сводка...

Но я хотел сам услышать, только сам. Ведь даже в кино, если кто-либо наперед рассказывает, просишь замолчать. А тут дорвался до приемника, и вдруг слушать пересказ сводки...

Концерт продолжался. И я смирился: музыка все-таки была из Москвы. Если же в Москве посылают в эфир марши и песни, стало быть, мы уверены в себе.

Днепровский же под веселую музыку из Москвы продолжал монотонно ворчать.

— Медлят у нас, действуют единицы, а переживают сотни. Здесь кругом леса, здесь бы армию партизанскую можно развернуть, ни одного моста немцам не оставить...

— Вы же ничего еще не знаете. Идите со мной в Корюковский район, заметил я. — Там Попудренко с областным отрядом, и я уверен...

Меня перебил Голобородько. Он тоже зашел в кладовую.

— Товарищ Федоров, — сказал он, — есть сведения, что Попудренко бросил отряд и бежал...

— Попудренко... сбежал? Да вы в своем уме? Откуда эти «сведения»? Я за Попудренко ручаюсь, как за самого себя.

Зубко, стоявший до сих пор молча, тихо сказал:

— И до меня такие слухи доносились, Алексей Федорович. Люди передают, что областной отряд распался. Говорят, что Попудренко...

— Не верю! Никому не поверю! Про меня же самого мне говорили, что я старостой стал...

— Алексей Федорович, обождите, — остановил меня Плевако. — Сообщение Советского Информбюро.

Все помнят — трудное было время. Наши войска вели тяжелые

оборонительные бои на дальних, а кое-где и на ближних подступах к Москве. Вот сводка Совинформбюро, которую мы тогда услышали:

«ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 13 ОКТЯБРЯ

В течение 13 октября наши войска вели бои с противником на всем фронте, особенно упорные на *Вяземском* и *Брянском* направлениях. После многодневных ожесточенных боев, в ходе которых противник понес огромный урон людьми и вооружением, наши войска оставили город Вязьму.

За 11 октября уничтожено 122 немецких самолета, из них 16 в воздушных боях и 106 на аэродромах противника. Наши потери — 27 самолетов.

В течение 13 октября под Москвой сбито 7 немецких самолетов.

В течение всего дня на ряде участков Западного направления фронта противник, используя большое количество мотомеханизированных частей и авиации и не считаясь с огромными потерями, пытался развить наступление против наших войск. Атаки немцев на наши позиции наталкивались на упорное сопротивление частей Красной Армии.

Весь день сильные удары по врагу наносила наша авиация. Непрерывными атаками с воздуха самолеты активно содействовали операциям наших наземных частей и успешно бомбили продвигающиеся к фронту резервы противника и его мотоколонны с боеприпасами.

За каждую пядь земли фашисты расплачиваются горами трупов солдат и большим количеством вооружения. За 13 октября только на одном из участков фронта немцы потеряли больше 6000 солдат и офицеров убитыми и ранеными, 64 танка, 190 автомашин с пехотой и боеприпасами, 23 орудия и несколько десятков пулеметов.

На Юго-Западном направлении фронта немцы продолжают вводить в бой новые силы, используя итальянские, румынские и венгерские войска и бросая их главным образом туда, где неизбежны тяжелые потери. Противодействуя атакам врага, наши части сдерживают наступление противника и наносят ему значительный урон. На одном из участков этого направления авиационная часть капитана Мелихова за три дня уничтожила 2500 солдат и офицеров, 6 танков, 7 бронемашин, 9 орудий, 122 пулеметные точки, 120 автомашин с войсками и 20 повозок с боеприпасами. В воздушных боях на этом секторе фронта сбито 7 немецких самолетов и 21 самолет уничтожен на земле.

В окрестностях города Днепропетровска идет неухающая партизанская война против фашистских захватчиков. Здесь оперируют сильные подвижные партизанские отряды. Отряд под командованием тов.

М. неутомимо преследует и истребляет мелкие подразделения противника. Вот краткий обзор действий бойцов отряда только за три дня. Бдительные разведчики донесли, что в районе села Л. должна пройти группа немецких солдат численностью в два взвода. Начальник разведки повел партизан кратчайшим путем навстречу фашистам. Партизаны замаскировались и приготовились к бою. Подпустив немцев на дистанцию в 15–20 метров, партизаны забросали фашистов гранатами. Только очень немногим немцам удалось бежать. На другой день разведчики перерезали в 30 местах провода телеграфной линии, которую немцы лишь накануне восстановили. На обратном пути в свой лагерь партизаны задержали и уничтожили одного связиста, мотоциклиста и немецкого чиновника.

Небольшая группа партизан во главе с тов. Ч. проникла в Днепропетровск. Под покровом темноты они подошли к зданию общежития металлургического института, в котором разместилась немецкая воинская часть, и бросили в окна несколько связок гранат. Убиты и ранены десятки фашистских солдат».

Пока мы слушали радио, в кладовую зашел еще один человек. Он остановился у двери. Я не сразу разглядел его: был увлечен передачей, да и свет был плохой. Днепровский поднялся, пошептался с вошедшим; он, видимо, его уже знал.

Последние известия кончились.

Новый товарищ шагнул ко мне, крепко пожал руку. Он был костистый, согнутый, седой. Он сразу стал говорить со мной доверительно и как-то поспешно, увлекаясь. То ли ему сказали, кто я, то ли он сам узнал меня, но без обиняков называл меня Федоровым и обращался на «ты»:

— Вот и хорошо, что ты прибыл. А то наши коммунисты растерялись. Иные конспирацию так поняли: как бы получше схорониться. А теперь верю, дело пойдет. Люди в свою силу поверят: секретарь не боится, ходит, руководит...

Назвался он коротко:

— Чужба!

Отрекомендовавшись, он продолжал:

— Прядко и Страшенко я нашел. Завтра сюда придут... Идемте-ка домой, то есть ко мне, — пригласил он. Однако Голобородько Чужба к себе не позвал.

Видимо, и у него Голобородько не вызывал особого доверия.

По пути, на улице Чужба с восторгом в голосе несколько раз повторил:

— Ах, друзья, друзья! Дело пойдет, дело обязательно двинется. Я вам говорю: раз областное руководство на месте, — значит, будет порядок!

Даже неловко было его слушать. Но в восторженности его был вызов: он как бы поддразнивал; глаза смотрели лукаво: «Мол, как-то еще ты будешь работать?».

Он поднял с постели свою старуху, заставил печь растопить, вареников приготовить. Потом весь вечер молча слушал наш разговор с Днепровским и Зубко.

Перед уходом от Голобородько было решено, что завтра в 11 утра Прядко и Страшенко придут сюда, к Чужбе, послушаем их доклад.

Весь вечер мы были под сильным впечатлением сводки Совинформбюро. Я говорил, что завидую днепропетровским партизанам.

— А ведь им труднее, чем нам. Около города нет больших лесов. А сколько смелости в этом налете на общежитие! Нет, и мы должны немедленно развертывать наши силы. В каждом районе создать не меньше чем партизанский полк. Слухи же о том, что Попудренко сбежал, могут распространять либо враждебные нам элементы, либо люди, которым нужно оправдать свое безделье! — Так говорил я, но у самого сердце щемило.

На ночь устроили меня хозяева в сухом месте, на мягком сене и укрыться дали, и белье подарили — я помылся, переоделся... Несмотря на все эти блага, я ворочался, не мог уснуть.

Особенно растревожило меня радио. Я очень ясно представил себе гигантские масштабы той битвы, которую вела Красная Армия. Еще раз наново понял, какая страшная угроза нависла над нашим социалистическим государством. И зародилось сомнение: уж не остался ли я в стороне от войны? Чувствовать свою бесполезность — отвратительно. Будь я на нашей, советской, стороне фронта, стал бы, наверное, командиром Красной Армии. Уж во всяком случае не зря бы ел народный хлеб. А здесь... «Неужели и вправду это могло случиться?» Снова мысли мои обратились к областному отряду. Ну никак не мог я допустить, что Николай Никитич Попудренко распустил отряд или даже применил малодевицкую тактику. Я знал его как человека чрезвычайно смелого, воинственного. Он увлекался книгами о партизанах гражданской войны, жалел, что родился поздно и не пришлось ему воевать; дома его даже прозвали — задолго до нападения Германии — «партизаном».

Вспомнилось, с какой лихостью водил он автомашину.

Однажды ехал он на «газике» возле железной дороги и заметил, что проезжавший паровоз зажег в поле полову. Огонь быстро распространялся. А на паровозе есть вода, есть насос. Попудренко свернул с шоссе и понесся прямо по траве, по рытвинам вслед за паровозом. Гнался за ним минут

пятнадцать. Догнал, вернул, заставил машиниста потушить пламя... Но, конечно, рессоры на машине поломал и набил шишки на лбу.

Порывистый человек, увлекающийся, смелый, но, может быть, это всего лишь показная смелость? Нет, неверно. Перед расставанием мы долго разговаривали. Фронт уже был рядом. Люди неустойчивые, болтуны и трусы так или иначе уже проявили себя. Попудренко держался по-прежнему просто, так же упорно стремился в бой. Я перебирал мысленно все, что знал о Попудренко, мельчайшие детали характера, поведения, чтобы найти, так сказать, ахиллесову пяту. Вспомнил я его нежную привязанность к семье мы, его товарищи, подчас даже подшучивали над ним. Может быть, очень соскучился он по жене и детям?.. Нет, опять не то. Пришел мне на память такой случай. Как-то в первые дни войны Николай Никитич вошел ко мне в кабинет хмурый, чуть только не злой. Спрашиваю: «Что случилось?» Оказывается, дома у него жена справляла именины и подняла тост: «Чтобы нам с папочкой не расставаться всю войну». «Папочка» рассвирепел: «И ты можешь допустить, чтобы я, коммунист и здоровый физически человек, не пошел воевать...» Он тотчас же ушел. И ведь серьезно расстроился: «Неужели в моей семье могут быть такие настроения?»

И в последнюю нашу встречу Попудренко с таким увлечением, так горячо говорил о развертывании широкой сети отрядов, о том, как эшелон за эшелон будут лететь под откос немецкие поезда...

Закончились мои тогдашние ночные размышления вот нем. Я заставил себя отбросить в сторону все сомнения, мечтания, заняться, так сказать, реальной действительностью. Я определил для себя точно, какие завтра сделаю предложения, какие вопросы задам руководству района, и наметил в уме проект решения обкома. Пусть обком представлен здесь одним лишь мною, районные комитеты нуждаются в руководстве, им необходимо показать, что они по-прежнему объединены, связаны.

На следующий день в хате старика Чужбы состоялось заседание не то подпольного Черниговского обкома, не то Мало-Девицкого райкома, не то просто группы коммунистов. Хозяин и его жена завесили, чем могли, окна, а сами вышли: он на крыльцо, она в огород — Охраняли нас. Прядко — первый секретарь райкома — рассказал о работе, проделанной за месяц оккупации.

К сожалению, старик Чужба оказался прав. Руководители района явно растерялись. Именно поэтому заботу о конспирации они сделали чуть ли не главной своей целью. Потому и партизанский отряд был распущен по домам. Продовольственную базу роздали под тем предлогом, что она может

попасть в руки врага. «У своих людей и продукты, и одежда, и оружие лучше сохранятся, чем в лесу», — так сказал Прядко. И с ним соглашался командир отряда Страшенко. Он говорил примерно следующее:

— Люди будут сидеть по домам, вроде обычные крестьяне, а в известный час, по сигналу, соберутся в назначенном пункте. Проведем операцию: разобьем немецкий гарнизон, взорвем склад или разгромим обоз — и опять по хатам. Пусть-ка нас обнаружат немцы!

Но когда у Прядко и Страшенко мы спросили, сколько в районе коммунистов, сколько бойцов в отряде, — они не смогли ответить. И главное, это их не огорчало: «Раз неизвестно, где они и сколько их, — значит, они хорошо конспирируются».

Прядко даже потерял из виду своего второго секретаря. Между тем этот второй секретарь — Бойко — понял призыв к конспирации весьма своеобразно. Ему удалось так хорошо спрятаться, что за два с половиной года немецкой оккупации его никто ни разу не видел. Лишь по приходе Красной Армии он вылез из подполья. И тогда выяснилось: он выкопал за огородом глубокий склеп, соединил его подземным ходом со своей хатой. В этом склепе, пока люди воевали, он и жил. Когда же в 1943 году выбрался на поверхность, то на пятый день вольной жизни... умер. Увы, это не досужая выдумка, а прискорбный факт.

Тогда, в хате у Чужбы, мы еще не имели такого разительного примера. Но за увлечение «конспирацией» Прядко и Страшенко попало.

Зубко с возмущением говорил:

— Где мы находимся — у себя на родине или в чужой стороне? Почему мы прячемся от своего народа и даже друг от друга? Пока мы связаны между собой, пока мы держимся коллективом — мы сила. Вокруг нас, коммунистов, сознательно оставшихся в тылу у врага, будут собираться все способные на борьбу! Поодиночке же нас немцы выловят и уничтожат!

Я был вполне согласен с Васей Зубко, но менее сдержан в выражениях. Под конец совещания страсти разгорелись. Хозяйка потом рассказывала, что соседка спросила: «Чи у вас хто пьянствуе?»

Прядко, вообще человек мягкий и неразговорчивый, был очень удручен и молчал. Кто-то из присутствующих сказал, что избранная в Малой Девице тактика равносильна самороспуску организации и граничит с предательством. Страшенко — более темпераментный и словоохотливый, чем его товарищ, возмутился.

— Разве тем, что мы сознательно пошли работать в тыл, мы не доказали своей преданности партии? Я утверждаю, что и такая тактика...

имеет право на существование. Меньше рискуя, мы большего добьемся!

Прядро остановил его:

— Товарищ Страшенко, надо признать, что мы растерялись.

Решили в ближайшие дни созвать партийно-комсомольский актив и подготовить районное собрание всех коммунистов.

* * *

Нам стало известно, что в Малую Девичу — районный центр — прибыл немецкий комендант и организует районную власть. Конечно, одновременно пришли сведения и о том, что там произведены аресты. С приходом немецких властей были сопряжены аресты, расстрелы, конфискации, грабеж, насилие. Надо было спешить и воспользоваться тем, что немцы не в каждом селе имели своих ставленников; следовательно, система шпионажа и доносов была еще плохо организована.

Днепровский, Плевако и Зубко теперь присоединились ко мне, решили пойти со мной в Корюковский район, к Попудренко. Пока же они составили обкомовскую группу.

Не подберу другого названия. Днепровский и Плевако не состояли в Черниговской организации. Но в тот момент я и сам не знал, где другие члены подпольного обкома. Мне же нужны были помощники именно для областной работы; на первых порах — для собирания информации о том, что делается в районах.

Как потом выяснилось, в Корюковский район, на место дислокации областного отряда, в то время пробирались многие коммунисты. Указание Никиты Сергеевича Хрущева — создать помимо районных отрядов еще и областной — дало очень большой организационный эффект. Некоторые районные отряды по разным причинам распадались, и наиболее сильные, преданные партизанскому движению люди отправились искать областной отряд. Люди узнавали, что во главе отряда стоят руководители области, и тянулись к ним.

Я же считал своим долгом не просто идти к отряду, но и собирать областные силы. Вот как это выглядело на практике: вместо того, чтобы идти прямо в Корюковский район, я петлял, кружил, старался захватить в поле зрения возможно больше районов. Многие из тех товарищей, что вместе со мной вышли из Пирятина, давным-давно уже были на месте. А я все еще бродил. Теперь я нашел себе спутников, товарищей по работе.

Я им сказал:

— Одни вы, конечно, быстрее дойдете. Но если хотите помочь, оставайтесь со мной, будем как бы передвижным обкомом.

Товарищи согласились. Большую часть времени мы проводили в

походе.

Все рассказать невысказано, да и читать скучно. А без скучной, однообразной, будничной работы не обойдешься даже в подполье. Мы хотели узнать возможно подробнее, что происходит в районах, какие там люди остались, чем занимаются коммунисты и комсомольцы.

В каждом селе мы находили несколько помощников, чаще всего из молодежи, которые веером рассыпались по соседним селам и приносили оттуда нужные сведения. Получалась как бы эстафетная разведка.

Покрутившись в Лосиновском районе, мы вернулись в Петровку к Чужбе. Он за это время кое-где побывал, раздобыл даже для нас пять гранат и браунинг; от него мы отправились на хутор Жовтнево на собрание актива Мало-Девичьего района. На этом собрании был оформлен новый подпольный обком, куда вошла вся наша группа.

Наши разведывательные «экспедиции» по районам сослужили нам хорошую службу. Мы уже довольно ясно представляли и недостатки в работе подпольных организаций, и где какие люди имеются, и каковы настроения народа. Ясно нам было поэтому, с чего начинать, как разворачивать деятельность подполья, чтобы оно было тесно связано с народом, чтобы народ чувствовал, что партия по-прежнему существует, защитит его, подымет на борьбу. Именно этой мыслью и были проникнуты первые партийные документы обкома: «Директива секретарям городских и районных комитетов партии» и «Обращение к трудящимся Черниговской области». Это обращение наши посланцы распространили в тридцати шести районах.

В Жовтневе приютила нас пожилая беспартийная колхозница Евдокия Федоровна Плевако — однофамилица нашего товарища. Гостеприимная хозяйка предоставила нам свою хату, делилась с нами безвозмездно своими небольшими запасами; мы предложили ей денег, но она решительно отказалась, и видно было, что это, предложение ее оскорбило.

Нужно ли говорить, что Евдокия Федоровна за свое гостеприимство могла поплатиться жизнью? Если бы немцы или их ставленники узнали, что у нее собирался актив коммунистов района, они бы ее, конечно, повесили. Между тем Евдокия Федоровна и виду не подавала, что наше присутствие для нее опасно. Она спокойно продолжала заниматься своими домашними делами в избе или на огороде, будто немцев и в помине нет, будто ничто ей не угрожает.

Как-то раз я взял лопату и пошел к ней на огород — предложил помочь. Она отказалась.

— Вы лучше радянської влади да Червоної Армії допомогіте! А колы

придет наша перемога, так я вам у тельчку заряджу, будемо праздновать.

Я хорошо помню, как взволновали меня тогда ее слова. Произнесла она их спокойно, буднично. Я почувствовал в них большую душевную силу, твердую уверенность в том, что «перемога», победа, «придет», готовность сделать все возможное, чтобы ускорить наступление этого дня, помочь всем, кто поднялся на борьбу с ненавистным врагом.

С каждым днем все больше людей навещало гостеприимный кров этой замечательной женщины. Приходили коммунисты и комсомольцы, получали от нас задания и шли работать: распространять листовки-обращения, передавать по эстафете директиву обкома, готовить общерайонное собрание.

Мы же, члены обкома, занимались не только инструктажем и составлением листовок. Размножать свои листовки нам надо было самим. Но как размножать, если нет бумаги? Раздобыть же ее было совсем непросто. Спасибо учителю Иваненко. Он обошел ребяташек и вручил нам десятка два тетрадей, а какая-то добрая душа принесла нам несколько листов копирки.

Труд переписчика давался нелегко. Почерк у меня неважный, а надо писать не только разборчиво, но и экономно — ведь каждый листок бумаги был на вес золота.

Вскоре наша обкомовская группа пополнилась новыми людьми: бывшей учительницей комсомолкой Надей Белявской и «сапожником» Федором Ивановичем Коротковым.

«Сапожник» Коротков — первый секретарь Корюковского райкома партии в подполье был оставлен как член обкома. После долгих мытарств и скитаний товарищ Коротков «устроился» неподалеку от нас, на хуторе Вознесенском.

Он прибыл на этот хутор под чужим именем, с чужими документами. В юности он учился сапожному ремеслу и теперь решил выдавать себя за сапожника. Как только в хуторе стало известно, что появился сапожник, народ повалил к нему, но Федор Иванович успел сшить только одну пару чобот — сшил довольно коряво: чоботы никак не хотели стоять, кренились на сторону, падали. Рассказывая об этом, Коротков смеялся, хотя оснований для этого было мало: будь за ним малейшая слежка, такие сапоги могли оказаться против него серьезной уликой.

Мы очень обрадовались «сапожнику», но недолго побыл он с нами. Коротков ушел вместе с другими коммунистами распространять по районам наши первые партийные документы. Федор Иванович должен был обойти четырнадцать районов. Икры его ног были обмотаны двадцатью

восемью экземплярами директивы и обращения обкома. Впоследствии Коротков стал командиром большого отряда, три года партизанил, но и теперь утверждает, что за девятнадцать суток, в течение которых был связным обкома, пережил больше, чем за три года партизанской борьбы.

Связной! Все три года немецкой оккупации десятки и сотни большевистских связных пробирались, рискуя жизнью, часто по неведомым им дорогам, полям и лесам из города в села, из сел в партизанские отряды, а оттуда на какой-либо хутор, только что захваченный карательным отрядом. Случалось, и в концентрационный лагерь проникал наш связной и в тюрьму, где гестаповцы терзали его товарищей.

И напрасно некоторые думают, что дело у связного чисто техническое: иди себе да иди. Точнее будет сказать: гляди да гляди! За каждым углом, за каждым деревом или кустом тебя подстерегает смерть. Хорошо еще смерть от пули или штыка. Нет, вернее, мучительная смерть после пыток.

Сколько наших связных погибло! И сколько раз, узнавая, что связной убит, мы первое, что делали, — ругали его. Да, ругали, ругали потому, что он нам заваливал дело, ставил организацию под удар. Потом, конечно, мы находили доброе слово, поминали товарища чаркой и скупой слезой большевика. Но дело у большевиков всегда на первом месте, и поэтому связной не имеет права даже на геройскую смерть. Его обязанность — жить.

Трудно пришлось поначалу. Не было опытных людей, не у кого было поучиться. Позднее появились определенные явки, условные обозначения, «почтовые ящики»: дупло дерева или печь сожженной хаты... А вначале просто: устный адрес — почти как у чеховского Ваньки Жукова «на деревню дедушке» — «Сосницкий район, секретарю райкома». Ведь он прячется, этот секретарь райкома, и время от времени меняет села, а то и в лес уходит. И сам связной тоже не может открываться. Предположим, он узнал, что в селе есть коммунист. С какой стати этот коммунист укажет ему конспиративную явку?! У связного с собой даже партбилета нет.

* * *

Мы усиленно готовились к предстоящему районному собранию — всех, кого возможно, рассылали по селам, чтобы оповестить коммунистов. Возвращаясь на хутор, наши связные рассказывали нам подробно обо всем, что видели и слышали. Чувствовалось, что в районе неспокойно, что народ не подчиняется захватчикам. Особенно обрадовал нас один случай, происшедший в районном центре, — селе Малая Девица. Рассказал нам об этом Кулько, посланный туда с той же целью — оповестить коммунистов о предстоящем собрании.

Дело было так. Кулько сидел в хате одного подпольщика, слесаря машинно-тракторных мастерских.

К хозяину постучались и зашли двое каких-то чужих, неместных парней с повязками на рукавах и с парабеллумами. Парни эти приказали и хозяину и Кулько сейчас же отправляться к театру, там на площади будет сход: надо «выбирать» бургомистра и общинных старост.

Пришлось им пойти. Как тут откажешься, когда полицаи стоят над душой?

На площадь согнали человек триста.

Кулько стоял где-то в задних рядах. Подкатила машина. Из нее выбрался и полез на трибуну немецкий полковник, за ним адъютант. Они поманили к себе из толпы учительницу немецкого языка и троих русских. В одном из них Кулько узнал бывшего работника райисполкома.

Полковник, не глядя на людей, монотонно и безразлично бормотал нечто вроде речи. Вначале говорил он о великой Германии, о новом порядке, о том, что-де с большевизмом и марксизмом покончено; были в его речи и какие-то посулы, в заключение же перечислил кандидатуры старост, бургомистра, начальника райполиции, назначенных комендантом.

Толпа слушала молча, безучастно. Вдруг слесарь толкает Кулько локтем под бок. И рядом соседи тоже друг друга толкают. Толпа оживилась, послышался шепот, затем смешок, другой и, наконец, кто-то громко и восторженно крикнул: «Вот здорово!»

Позади трибуны, между деревьями, подобно флагам на корабле, стали подниматься два больших портрета — Ленина и Сталина.

Те, кто стоял на трибуне, довольно долго, может быть, минут пять не могли сообразить, что случилось. Немецкий офицер исподлобья поглядывал на толпу, потом стал озираться по сторонам и, наконец, обернулся, а за ним обернулись и все, кто стоял с ним рядом. Этим воспользовались в толпе, и юношеский голос крикнул:

— Хай живе Радянська Україна! — И несколько голосов довольно внятно крикнули:

— Ур-ра!

Немецкие солдаты, охранявшие машину, стали стрелять из автоматов. Но люди прорвали цепь полицаев и быстро разбежались. Рядом с Кулько бежал тот самый юноша, что крикнул. Кулько спросил его: «Кто это, кто поднял портреты?» Парень, оглядев Кулько, признал, видимо, в нем своего и сказал: «Пионеры! Ну, теперь держись!» — добавил он и свернул за угол хаты.

Кулько не стал, конечно, дожидаться, пока его схватят. Он прятался на

леднике у слесаря, а вечером скрылся из села. Вообще Кулько прямо не узнать — работает, видимо, с увлечением.

Оказывается, с того самого времени, как он догнал меня, ни разу не зашел домой.

— Опять начнем ругаться. Лучше уж и не ходить! Дайте мне, Олексий Федорович, задание потруднее, чтобы не думалось, — попросил он.

Мы охотно удовлетворили его просьбу и направили для связи в Яблуновку.

* * *

В хату Евдокии Федоровны приходили не только коммунисты и комсомольцы, но и беспартийные. Всех людей я сейчас не помню. В память врезался один человек. Назвался он агрономом совхоза. Пришел будто бы затем, что, по слухам, здесь можно получить моральную поддержку и направление. Да, так он примерно выразился.

Надо заметить, что мы себя от посетителей особенно не ограждали. Хутор окружен болотами, дорога к нему только одна, просматривается хорошо. Если бы направлялся в эти места какой-нибудь отряд полицаев или немцев, мы бы увидели его издали и успели бы принять меры. А идет по дороге один человек да еще безоружный, бояться его нечего.

Так и пришел агроном, постучал в дверь, хотя она не была закрыта, попросил кого-нибудь выйти к нему. Вышел я. Он протянул руку.

— Здравствуйте, — говорит, — товарищ Федоров.

Немного покорило, что опять меня узнали. Но виду не подал.

— В чем дело? — спрашиваю.

— Пришел, — говорит, — посоветоваться и вам кое-что посоветовать. Разрешите быть откровенным?

— Пожалуйста.

И понес этот человек такую ахинею, что я усомнился: не больной ли. Разговор был длинный. Сидели мы на ступеньках крыльца, покуривали, и «откровенный» излагал мне свою точку зрения на текущий момент.

Ход его рассуждений был таков. Он-де вполне советский человек, уверен в победе над Германией и понимает, что оккупация — явление временное и даже кратковременное. Он-де знает, что коммунисты собирают силы сопротивления, чтобы ударить по немецким тылам. И вот он пришел к нам со своей «откровенной» точкой зрения.

— Зачем будоражить людей, товарищ секретарь обкома? Зачем восстанавливать против безоружного населения немецкую военную машину? Ведь это приведет к дополнительному кровопролитию. Так немцы будут нас только грабить, а если мы начнем сопротивляться, — они нас

станут убивать.

— Совершенно верно, станут!

— Но ни я, ни мои дети не хотим, чтобы нас убивали.

— Так сопротивляйтесь, идите в партизаны, отвечайте на выстрел пятью выстрелами!

— Нет, товарищ Федоров, не согласен. Придет время, Красная Армия сломает немецкую машину, это неминуемо. А что мы со своими жалкими силами? Это самоубийство. Ведь такой человек, как вы, нужен будет нам и после войны. Вы же лезете с голыми руками против танков, да еще тащите с собой под гусеницы немецких машин все самое храброе, самое задорное, самое честное и здоровое! Но я, видите, тоже человек не из робкого десятка и решаюсь говорить вам откровенно — опомнитесь! Я просто прошу вас, объясните областным коммунистам...

Я не выдержал, сунул руку в карман и пошевелил там свой пистолет. «Откровенный» заметил мое движение, побледнел, пожал плечами.

— Я не предатель, — сказал он. — Стрелять в меня не за что.

Тогда я чуть вытащил пистолет из кармана.

— Я, пожалуй, пойду, — сказал «откровенный». — Вы меня, видно, не можете понять. Но все-таки подумайте над моими словами.

Тем наша беседа и окончилась. Агроном ушел. Я позднее справлялся о нем, мне говорили: «Так, безобидный. Ехал с семьей, эвакуировался и, как это с некоторыми случалось, отстал от обоза и застрял». Такие вот «безобидные» имели на первых порах кое-какой успех в своей пропаганде. Надо было противопоставить им наше, коммунистическое влияние.

Наступали последние дни перед собранием. Активисты разбрелись по селам с разными заданиями, связанными с подготовкой собрания. Наша обкомовская группа опять стала кочевать, собирать информацию. Да и пора было место менять. Если появились пропагандисты непротивления злу, то за ними, чего доброго, и немцы нагрянут.

Вася Зубко и Михаил Зинченко — начальник штаба Мало-Девицкого отряда — отправились в село Буды, где предполагалось провести собрание. Надя Белявская и я остановились в селе Грабове, чтобы подготовить проект приказа; Днепровский и Плевако направились в сторону Лисовых Сорочинц. Днепровский хорошо знал Егора Евтуховича Бодько, хотел его повидать да, кстати, и пригласить на собрание.

* * *

Днепровский вернулся с ужасной вестью: Бодько убили.

25 октября в Лисовые Сорочинцы приехала легковая машина. В хату Бодько вошли: староста, два эсэсовца и два полица. Жене и всем

домашним приказали покинуть дом. Через минуту раздалось несколько выстрелов. Немцы и староста уселись в машину, полицейский выбросил труп председателя колхоза на огород. Хоронить запретили. Не собирая сходки, ничего не объясняя, палачи уехали. Немцы оставили трех огромных злых псов; подняв шерсть, они свирепо кидались на всех, кто пытался приблизиться к телу Бодько.

Вот, значит, как это бывает!

Жил человек, служил своему народу честью и правдой, все силы отдавал, а теперь лежит его тело, и собаки, привезенные из Германии, не подпускают к нему родных.

Днепровский рассказал так же коротко, как тут написано. Он не плакал, был молчаливее обычного: с юности, с комсомольского возраста знал он Егора Евтуховича, был другом ему.

Я тоже долго не мог слова сказать. А хозяйка упала на кровать и разрыдалась.

— Ой, лихо нам, лихо! — причитала она. — Що ж вони зробили, каты, за що ж вони людину таку добру згубили...

Мне стало не по себе, я вышел на улицу — в хате показалось душно. На память мне пришел костромской кулачок, «баптист». Уж не его ли это рук дело?

Днепровский вышел вслед за мной. Некоторое время стоял молча. Потом, не глядя на меня, как-то монотонно, глухим голосом начал рассказывать. Да, собственно, это был не рассказ, он как бы думал вслух:

— Это какой человек? Особая формация. Мир, всякая там заграница, да и прошлая Россия таких людей никогда не видели. В гражданскую войну партизанил. Ну, это ладно, это не ново. Партизанили многие... А потом как-то привыкли мы замечать лишь тех наших товарищей, которые получали образование и двигались вверх. А Бодько — из других. Как поставила их революция на волостную да на уездную работу, так они и до сих пор на ней, то есть в масштабах района, да и то на вторых да на третьих ролях...

Я перебил Днепровского:

— Ты ведь хорошо его знал. Как случилось, что его из партии исключили?

— Подождите, Алексей Федорович. Я и об этом думал, я до этого дойду... Так вот, на вторых да на третьих ролях. То есть не первый, не второй секретарь райкома, а завкомхоза или председатель суда, или немного раньше председатель комнезама[3], или в отделе социального обеспечения. А сколько, Алексей Федорович, у нас такого народа в

председателях колхозов! Они, так сказать, без образования, но ведь не без знаний же. Копните такого Бодько, заденьте за живое. Сколько он передумал, сколько перевидел и сколько накопил в себе самых разнообразных знаний. Он, разумеется, передовой сельский хозяин, а что касается советского строя, его законов и обычаев, будьте уверены — Бодько так изучил, так познал душу этого нашего, нового строя, что его никто не собьет. Нет, ни один профессор... Революция застала его деревенским неграмотным мальчишкой, и революция, партия из него человека сделали. И не было у него ничего дороже партии, ничего, Алексей Федорович, то есть дела партии, строительного, созидательного духа нашей партии. Был он долгие годы председателем колхоза... Шел я сейчас, Алексей Федорович, оттуда, где Бодько жил и работал и где его в собственном доме убили... Шел я и думал. Председатель колхоза — это ведь не только должность. Новый тип деятеля. Никогда еще не виданный в истории тип общественного деятеля, поднятый из гущи народной. Но это так, вообще. Я на такую вышину забрался, может быть, потому, что убит мой друг. Признаться, до войны я полагал, что он и подобные ему люди маленькие. Люди же эти — опора и основа всего нашего советского строя.

Этими ли точно словами говорил Днепровский — не поручусь. Я попытался возможно полнее передать его мысли и настроение. Пока он говорил, я вспоминал наши встречи, разговор с Бодько. Сильный, очень сильный, большой души человек! Представил я и себя на его месте. Вынужденная игра, которую он согласился вести: староста, а в душе коммунист. И все эти сволочи, приводившие к нему, будто к единомышленнику. Ой, нет, не способен был бы я на такое, я бы, верно, взорвался...

Днепровский продолжал говорить:

— У меня перед самой оккупацией так получилось, Алексей Федорович. Я был прикомандирован к политуправлению армии. Все время в движении, шагали по болотам, и скрутил меня жесточайший приступ ревматизма. Политуправление расположилось в Прилуках. Госпиталя рядом не было. Врачи посоветовали устроиться в каком-либо колхозе. Отвезли меня в Лисовые Сорочинцы и там после многих лет — встретился с Егором Евтуховичем. Он меня, конечно, к себе взял. Я тоже — малодевичкий. Мы вместе, чуть не в один день, в партию вступили... Три дня я у него прожил, и только на четвертый Егор сказал, что из партии исключен. Знаю, что трудно будет поверить, вы же его видели, — он рыдал. Плакал со слезами: «Что же мне, Павло, делать? Ведь я же, Павло, без партии не могу. Меня еще Ленин словом своим привлек к делу народному.

И весь путь колхозный я с партией шел. А тут накрутили на меня такого... Была моя вина, не спорю я, так я ж человек коммунистический, я своей вины не чураюсь, накажите, но без партии никак не могу!» Сказал я ему, что если произошла ошибка, восстановят. Время нужно, разобраться нужно. «Так что ж, Павло, разбираться сейчас? Немець давит, враг — вот он, а я беспартийный! И що мени робить? До Червоной Армии не пускають, броню выпысують. В партизаны хочу, тоже не пускають, райрада колхоз не велить кидать. В райкоме был, Прядко говорит: «Надійся, не теряй веру, дело в обком ушло!» В Чернигов ездил к Федорову, там бомбы немцы кидают, он заводы и государственные ценности спасает. Колы уж тут мою партийну справу шукать. Ох, Павло, тяжко мне без партии...»

Тут я перебил Днепроvского:

— Мне Бодько сказал, что в старосты он попал по указанию райкома.

— Ну, конечно, Егор в райком пошел. Какой же он беспартийный? Он только временно лишился партийного билета. Куда же коммунист пойдет, если трудно ему? Ясно, к товарищам своим.

Подумав, я сказал Днепроvскому:

— Да. Партийность, конечно, осталась при нем... С исключением его что-то не то. В обкоме мне его дело не попадалось. Не помню... — так сказал я тогда. Однако на память пришел тот случай, когда в коридоре обкома, во время бомбежки подошел ко мне человек и спросил насчет своего заявления. Фамилия короткая и тоже украинская. Может быть, это и был Бодько?

— Товарищ Днепроvский, 25 октября в Лисовых Сорочинцах погиб коммунист, член партии большевиков. Будем навечно, как героя, считать его в списках нашей черниговской организации!

Мне хотелось, чтобы эти слова звучали поторжественнее.

Первоначально районное собрание коммунистов предполагалось провести в хате учительницы-комсомолки Зины Кавинской, в селе Буды. Но Вася Зубко, вернувшись оттуда с разведки, рассказал, что сын учительницы заболел скарлатиной. Кавинская, несмотря на болезнь сына, взялась было подыскать в селе другое помещение для собрания, но возвратилась встревоженная: в Будах появились чужие люди; о ней спрашивают, по-видимому, взяли под наблюдение.

— Я это дело проверил, — сказал Вася. — Думал, может, Кавинская просто сдрейфила. Оказалось, что действительно шныряют по селу какие-то людишки с длинными носами, выспрашивают. Один даже ко мне на улице подошел. Противный такой, лет сорока пяти, вроде дьячок в отставке. Голосок сладенький, бородка реденькая...

— Баптист? — вырвалось у меня.

— А что такое баптист, Алексей Федорович?

— Хороший разведчик, Вася, и с религиозными вопросами должен быть знаком. Неважно, что такое баптист, а важно, Вася, тот ли это тип, о котором я думаю. Что он там делает?

— Он ко мне на выходе из села подошел. «Куда, — спрашивает, — хозяин, путь держите?»

— Так и сказал «хозяин»?

— Точно!

— Ах, Вася, Вася, это же ведь тот, костромской кулак. Это он, определенно он к Егору Евтуховичу немцев подослал. Ну, и что же ты? Он один там бродит?

— Он-то один, да еще два похожих на него, бедненьких таких, бродят по селу. Между собой будто не знакомы, а даже бабы и те говорят, что это одна шайка. Немцы должны приехать, власть оформлять, так этих заранее подослали общественное мнение готовить и разведать, нет ли партизан в округе. Боятся.

Мне так хотелось выловить этого предателя, что я чуть не предложил Днепровскому, Плевако и Зубко идти тотчас же втроем в Буды, поймать предателя и кончить. Но сдержался.

Тяжелая все-таки штука — осторожность. Не хотелось мне быть тогда осторожным. Знать, что в нескольких километрах от тебя безнаказанно бродит человек, погубивший Бодько, и ничего не предпринять... Сколько я ни думал, сколько планов ни строил, — нет, не можем мы в нашем положении охотиться за этим типом, не имеем права ставить под риск предстоящее собрание. Себя тоже не имеем права обнаруживать.

— Значит, Буда отпадает, — сказал я, тяжело вздохнув. — Собрание надо перенести в Пелюховку.

Но и в Пелюховке наша разведка обнаружила подозрительных людей. Пришлось опять менять место, и уже в день собрания, 29 октября, несколько наших товарищей (среди них и комсомольцы, и пионеры; была, впрочем, одна дряхлая старушка) разошлись по дорогам, ведущим к Пелюховке, стали на дозор. Им был дан пароль. Тем проходим, которые отвечали правильно, наши дозорные говорили:

— В Пелюховку не ходите. В одиннадцать вечера в Каменское лесничество.

* * *

Впервые подпольный обком созывал такое обширное собрание коммунистов. Правда, масштабы пока районные, но значение этому

первому собранию мы придавали очень большое. Оно должно было показать нам, каковы наши организационные силы, показать сплоченность большевистских рядов.

Лил дождь. Хоть и глубокая осень, а дождь сильный. Вообще в последние несколько дней дождь почти не переставал. Земля кругом набухла, дороги превратились в отвратительное месиво. Куртка из домотканной, крестьянской шерсти, что была на мне, давно не высыхала. Весила она, без преувеличений, пуда полтора. Кто-то из товарищей назвал ее влагомером. Я иногда ее снимал и выкручивал, — вода текла, как из губки.

Вспомнил я о куртке потому, что все так же вот мокли и, конечно, мерзли, даже в хатах не могли отогреться. Помню, я сделал чернильным карандашом заметки к собранию, что-то вроде тезисов. Засунул их как можно глубже, к самому телу. Идти мне надо было всего километров пять. Заметки эти насквозь промокли, буквы отпечатались на груди.

А многие товарищи шагали из дальних концов района, километров за тридцать. Ни один не ехал — все пешком и большинство без спутников. В те дни вероятность столкновения с немцами была меньшая, чем впоследствии, но страх был больше. Совсем недавно прошел здесь фронт.

Лесник, — может, и хороший человек, но не могли мы его заранее посвящать. Когда уже стемнело, несколько человек постучались, попросили, чтобы он открыл контору.

Переговоры с лесником вел Вася Зубко, ему было поручено подготовить «зал заседания». Он быстро уговорил лесника. Обнаружил у него две коптилки и поставил на стол. Нашел несколько листов фанеры, попросил у хозяина одеяла, завесил окна, тщательно замаскировал свет.

Контора лесничества была в новом доме. Светлые бревенчатые стены, самодельная мебель, скамья и стол, еще не испачканный чернилами. Внесли несколько скамей с улицы и даже не стали вытирать.

А дождь все лил и лил, однообразно стучал по стеклам и по крыше. Народ собирался медленно. Я, помню, сидел довольно долго в конторе, но ничуть не согрелся и опять вышел наружу; дождя уже не боялся — одежда больше впитать не могла. Хоть и знал я, что вокруг лес, но темень такая непроглядная, что деревья угадывались только по легкому постукиванию мелких веток. Как находили люди этот дом, какое чутье им помогало? Нет-нет, да и услышишь чавканье глины, плеск лужи и приглушенную, досадливую брань.

Крикнешь в темноту:

— Сюда, сюда, товарищ! Держи на мой голос!

Лесник — чернобородый мужчина неопределенного Возраста — безучастно выполнял распоряжения Васи Зубко, шлепал из своей хаты в контору, шарил по саду (возле конторы был разбит садик), наощупь искал скамейки. Он ни о чем не расспрашивал, и ему ничего не объяснили.

Наконец, в комнату набилось человек пятьдесят. Расселись. Члены обкома и члены райкома заняли места за столом. А лесник стоял, опершись на косяк двери, и, казалось, дремал. Надо бы его, конечно, отсюда удалить.

Я поднял руку, призывая к тишине, хотя и без того люди говорили шепотом.

— Товарищи, собрание коммунистов Мало-Девицкого района разрешите считать открытым!

Взглянул на дверь: лесника нет, смылся. Ну, и хорошо. Я не закончил еще вступительного слова, как вдруг дверь отворилась и вошел лесник. В руке у него был длинный белый сверток. Лесник стал пробираться вдоль стенки... Он обогнул стол президиума и, на виду у всех, раскатал сверток. Это был большой красочный портрет товарища Сталина. Помните — тот, где Иосиф Виссарионович изображен за письменным столом: слева от него лампа с абажуром. А на фоне, за окном, кремлевская башня с часами.

Все мы поднялись, сняли шапки. Лесник воспользовался тем, что и я встал, влез на мой стул и повесил портрет на стену. Вероятно, на то самое место, где он находился до немецкой оккупации.

— Спасибо, товарищ! — пожал я леснику руку. — От всех нас спасибо!

— Нема за що.

— Вы коммунист?

— Та я зараз пиду. Мешать не буду. Прыкажу бабе. На всех не мае посуды, — сказал он извиняющимся тоном, — а уж президиуму чайку горяченького обязательно сварим.

Он опять протиснулся вдоль стенки и скрылся за дверью.

Незадолго перед тем пионеры в Малой Девице подняли над селением, как знамена, портреты Ленина и Сталина, теперь вот беспартийный лесник принес спрятанный им портрет товарища Сталина. Разве это — не свидетельство глубочайшей преданности народа коммунистическим идеям и советской власти?

Уже позднее мы узнали, что в каждом селе, даже почти в каждой хате хранились портреты вождей. Стоило партизанам занять какой-либо населенный пункт — люди сейчас же вытаскивали из заветных уголков портреты Ленина, Сталина, Хрущева и помещали на самом видном, почетном месте. Прятали не только портреты — и красные флаги, и

плакаты, и кумачевые полосы с лозунгами. Все, что связано с представлением о советской власти, народ бережно прятал, берег.

Ушел лесник. Я зачитал директиву обкома, приказ областного штаба партизанского движения, тот самый, что был написан накануне в селе Грабово. Этот приказ сохранился. Вот он:

ПРИКАЗ № 1

по областному штабу руководства партизанским движением на Черниговщине

от 31 октября 1941 года.

Разбойничьи войска немецкого фашизма, вторгшиеся на территорию нашей священной советской земли, оккупировавшие и территорию нашей Черниговщины, при помощи продажной националистической сволочи, проводят массовый террор расстрелы, насилие, грабят наш народ.

1. 25 октября 1941 года в селе Лисовые Сорочинцы гестаповцы и полиция из местного кулачества убили лучшего сына — патриота советской Родины — председателя колхоза Бодько Егора Евтуховича.

2. В октябре 1941 года в м. Ичня гестаповцы подвергли невиданным пыткам и зверским издевательствам товарища Царенко, бывшего партизана, дважды орденоносца.

3. В с. Заудайка организованной из кулачества полицией 14 октября убит красноармеец, который укрывался от немецких оккупантов, не желая сдаться в плен.

4. В октябре 1941 года, якобы за нежелание выдать партизан, были зверски казнены советские работники в гор. Прилуки.

5. Под видом запрещения работать в воскресные дни и в религиозные праздники немцы и их агенты убивают лучших представителей советского народа.

6. Немецкие коменданты предлагают коммунистам и комсомольцам являться на регистрацию с тем, чтобы их потом уничтожить.

Штаб партизанского движения на Черниговщине назначает руководство партизанским движением по Мало-Девицкому району: командир отряда Страшенко Д., комиссар товарищ Прядко, начальник штаба Зинченко М. И. и *приказывает*:

1. Создать единый партизанский отряд в районе из коммунистов, комсомольцев, советского актива, колхозников, интеллигенции.

2. Задача отряда: немедленно вывести из строя железную дорогу Прилуки — Нежин, для чего взорвать мост между станциями Галка — Прилуки. Уничтожать немецкие поезда, автомашины, склады. Развернуть всестороннюю борьбу против немецких оккупантов.

3. Для преследования и наказания изменников родины утвердить чрезвычайную тройку в составе: Страшенко, Прядко, Зинченко.

4. Утвердить созданные группы по уничтожению изменников родины, ставших на службу немецким фашистам. С 3 по 10 ноября провести в районе по уничтожению изменников родины такие операции:

а) уничтожить районного старшину Неймеша, заместителя старшины Лысенко;

б) Лисовые Сорочинцы — уничтожить старосту и помещика Домантовича;

в) уничтожить старосту села Редьковка.

5. Для проведения повседневной политической работы среди населения района оставить в каждом селе по одному коммунисту в по два комсомольца, для этих же целей использовать оставшийся на местах советско-колхозный актив.

6. После выполнения заданий 11 ноября всему отряду собраться в назначенном месте для движения по назначенному маршруту, который будет указан.

7. С настоящим приказом ознакомить всех командиров, политработников, бойцов отряда, групп, коммунистов, комсомольцев.

8. Проверку исполнения этого приказа возложить на т. Павловского.

Начальник областного штаба руководства партизанским движением на Черниговщине

ФЕДОР ОРЛОВ

Приказ есть приказ. Его не обсуждали. Его приняли к руководству. Но собрание продолжалось. Поговорить, конечно, было о чем. Наконец-то коммунистам района опять удалось сойтись вместе. Они попробовали некоторое время жить и работать врозь. И все теперь признавали, что тактика, избранная руководством района, была ошибочной.

— Вот если нас окружают, хоть сейчас, тут, в лесничестве, — говорил молодой комбайнер Ильченко, — так мы все вместе и прорваться можем. А що один, як Бодько...

За окном все так же шумел дождь. Вдруг я различил в шуме дождя какие-то посторонние звуки, — будто кто-то шевелится у окна. Все насторожились. Я, конечно, сразу подумал о «баптисте».

— А ну, давай! — скомандовал я оратору.

Тот вытащил из-за пазухи пистолет и выбежал.

Через минуту мы услышали такой разговор:

— Ах ты, дурень, що ж ты тут робишь. Я ж тебе застрелыты мог, — это говорил наш комбайнер-оратор.

— Так я ж тильки послушать. На дозори никого не мае.

Оказывается, один из наших постовых, которые охраняли подступы к лесничеству, не выдержал одиночества, да и послушать очень хотел — и покинул пост.

Этот случай с постовым послужил поводом, чтобы поговорить о дисциплине.

Сейчас трудно восстановить в памяти это собрание во всех подробностях, деталях. Помню, что оно отнюдь не было чинным, спокойным. Люди подчас перебивали друг друга, каждому не терпелось излить свою душу. Ведь за месяцы оккупации у людей накопилось много вопросов, наблюдений, мыслей, чувств, а такой большой сбор был созван впервые. Собрание, правильнее назвать его товарищеским собеседованием, продолжалось всю ночь. Лесник принес нам ведро кипятку; те, кто уж очень замерзли, получили по кружке.

Выяснилось, между прочим, что среди нас профессиональных военных нет и даже командиров запаса только трое. Остальные — люди сельских профессий: трактористы, комбайнеры, бригадиры-полеводы, животноводы, конюхи, секретари и председатели сельсоветов и уж, конечно, председатели колхозов. Хотя большинство и проходило военные сборы, но даже винтовку не все знали хорошо.

— Придется учиться. И помните, что пользоваться главным образом будем трофейным оружием.

Кто-то задал такой вопрос:

— Немецкие власти берут на учет специалистов: и агрономов, и финансовых работников, и механиков, — хотят, верно, использовать в своем аппарате, многих насильно заставят. Как к ним относиться?

Тема эта нашла горячий отклик, высказывались разные мнения. Вопрос был вскоре поставлен шире — товарищи рассказывали, как живут советские люди, какую политику проводят захватчики и т. д.

Немцы, конечно, постараются проникнуть во все стороны жизни народа, станут создавать аппарат по выкачиванию ценностей, будут и просто тащить, но будут и ушваривать, всячески отравлять сознание. Мы, коммунисты, ушли в подполье. Но ведь немцы захватили только территорию. Душу народа, его убеждения, его национальное достоинство и самосознание немцы захватить не смогли. Народ по-прежнему верит нам, коммунистам, идет за нами, ждет нашего слова. Партизаны — наша подпольная армия, армия в тылу врага. Коммунистам, оставшимся на захваченной немцами земле, не следует ограничиваться партизанскими делами. Мы обязаны видеть, знать все. Наши люди должны быть везде.

Чтобы успешно бороться с врагом, нужно изучить его оружие.

В мирное время обком, райком, низовые организации коммунистов были тесно связаны с народом, возглавляли все участки социалистического строительства. Теперь, в оккупации, мы, коммунисты, также должны знать решительно обо всем, что происходит на территории наших действий. И тогда мы сможем повсеместно организовать противодействие немецким приказам, немецкой агитации и пропаганде. Немцы будут пытаться наладить сельскохозяйственное и промышленное производство, транспорт, связь. И вот тут-то наши мирные профессии очень и очень пригодятся. Врач, фармацевт, агроном, тракторист, секретарь-машинистка, актер, уборщица — все нам нужны, всех мы зовем на борьбу и с фашистами, и с фашистской идеологией, и с так называемым «новым порядком», который немцы будут внедрять. Саботаж, диверсия, нападения из-за угла — законное оружие народа, который хотят поработить. Мы можем не сомневаться: каждый подлинно советский человек внутренне оцетинился. Каждый советский человек хочет бороться с врагом. Мы, коммунисты, должны сделать так, чтобы люди не только хотели, но и могли бороться. Мы должны им показать, что они не одиноки, что существует мощная подпольная организация коммунистов; она ведет народ к освобождению.

Окончилось это первое большое собрание коммунистов, подпольщиков Черниговщины, в пятом часу утра. Стоя, пропели «Интернационал». Прощаясь, обнимались; некоторые товарищи и целовались. Каждый знал, что идет на смертельный риск. Но о риске, о смерти, об опасности не говорили.

Наша обкомовская группа — Днепровский, Зубко, Надя Белявская, Плевако и я — решила, как только рассветет, отправляться на поиски Ичнянского партизанского отряда.

До света мы позволили себе немного отдохнуть, в селе Пелюховка одинокая красноармейка предоставила нам свою хату. В хате было холодно, но сухо. Мы рядом улеглись на пол и проснулись только часов в девять утра.

И опять начались наши странствования. Наша задача: найти Ичнянский отряд, ближайший действующий партизанский отряд Черниговской области.

Вот как это выглядело.

Четверо мужчин и одна молодая женщина идут по осенней, очень грязной дороге. Сами они тоже весьма неприглядны. Один из мужчин коренастый, бородатый, с палкой в руке, на ногах огромные, с загнутыми носами, насквозь мокрые башмаки, оба на левую ногу. На нем куртка из

домотканной грубой шерсти, опоясанная чересседельником; карманы куртки оттопырены. На голове старая толстая кепка; за пазуху что-то засунуто, поэтому живот выпирает острыми углами... По-моему, нетрудно догадаться, что за пазухой ручные гранаты. Но, странное дело, встречные не догадывались. Впрочем, кто их знает, встречных, что они думали. Коренастый человек — я, Федоров, в то время Федор Орлов, а по документам Алексей Костыря.

Второй — темноволосый, высокий, довольно плотный человек в бобриковом пальто, в солдатских сапогах, кепке, надвинутой на самый лоб. Солидный, насупленный, даже сердитый вид. Шаги делает большие. У глубоких или широких луж высокий останавливается, он ждет коренастого. Коренастый лезет к нему на закорки, и высокий молча, не откликаясь на шутки своей ноши, перетаскивает коренастого на другую сторону. Это Павел Васильевич Днепровский, он же Васильченко.

Третий — молодой человек в стареньком ватнике, галифе и порыжевших хромовых сапогах. И хотя галифе заляпаны глиной, ватник местами порван, а лицо давно не бритое, каким-то чудом молодой человек сохраняет изящество, молодцеватость, будто он на прогулке. Кажется, что под ватником у него хорошо сшитый китель с начищенными пуговицами. Так как дорога проходит тут большей частью по лесочкам и кустарникам, молодой человек то и дело отходит вправо, влево, забегает вперед, поднимается на холмики, осматривается и опять возвращается к основной группе: он определяет, нет ли опасности. Этот ободранный щеголь — наш разведчик и прекрасный товарищ Вася Зубко.

Женщина — в темной бумажной юбке, кожанке и красном платочке. У нее давно запечатленный в литературе облик женделегатки. Вероятнее всего, она с превеликим трудом раздобыла себе такой наряд именно для того, чтобы приобщиться к этому типу. Она — чернявая, среднего роста, лет двадцати трех или двадцати четырех, но оттого, что пострижена и так одета, — можно дать и больше. Серьезность она считает главным признаком большевика, озабоченность — главным признаком серьезности. В руке она держит белый узелок, абсолютно белый, будто накрахмаленный. Как она сохраняет его всегда чистым, — ее тайна. Что в этом узелочке — тоже ее тайна. Молодая женщина ревностно охраняет свою тайну, хотя никто из ее спутников и не пытается в нее проникнуть. Часто женщина, отделившись с кем-нибудь одним, отстает или обгоняет группу и, что-то доказывая, укоризненно качает головой. Вероятно, она недовольна кем-нибудь из товарищей и другому объясняет свою точку зрения. Когда впереди на дороге появляются люди, женщина в кожанке обгоняет своих

товарищей, первая встречает чужих. Если это немцы или подозрительные люди, женщина перекидывает свой узелок через плечо и тем самым дает знать: берегись. Эта женщина — Надя Белявская, наша верная спутница.

Пятый — в прошлом полный, теперь почти тощий, рыжеватый, удивительно веселый человек. В любое время он и сам готов и других призывает «спиваты». Всегда шутит и кого-нибудь поддразнивает. Надя, конечно, такое поведение не одобряет. Одет он в серый длинный пиджак и кирзовые сапоги. Это Павел Логвинович Плевако.

Со стороны передвижение нашей группы выглядит так: она кружит, петляет, возвращается на старое место, члены ее расходятся в разные стороны, вновь собираются... При встречах с людьми — то подолгу сидят и разговаривают, то вдруг поворачивают и быстрым шагом идут назад, скрываются в кустарниках или в лесу. Заходя в село, раньше чем постучаться, внимательно присматриваются к хатам. Выходят из хаты неожиданно, среди ночи. А днем зарываются в стог сена или в скирду пшеницы и спят.

Странная, можно сказать, дикая жизнь. Мы огрубели, обветрились, натерли толстые мозоли на ногах. В общем в этих бесконечных передвижениях мы закалялись. Никто не простужается, не пьет капель и порошков, даже не хандрит. Приучились мы спать в любых условиях и, просыпаясь, мгновенно приходиться в бодрое состояние духа.

Вася Зубко уже несколько дней пытается через двух коммунистов из Ичнянского района установить местонахождение отряда. Но ни тот, ни другой ничего определенного сообщить не смогли, хотя потратили на поиски немало времени. Меня это выводило из себя: «Что же это за разведчики, в своем районе не могут ничего сделать!» Единственное, что они твердо выяснили: отряд существует, действует, носит название «имени Хрущева».

Еще до оккупации, в Чернигове, мы знали, что Ичнянский отряд первоначальным местом дислокации избрал Омбишский лес. Мы и решили начать поиски с этого самого леса.

Утром первого ноября наша группа перешла в Ичнянский район и тогда же невольно стала участником какой-то странной, очень запутанной игры. Нам известно было, что отряд где-то неподалеку, быть может, всего километрах в пятнадцати. Мы искали отряд, а командование отряда, через наших связных, посланных еще с хутора Жовтнев с директивой обкома, знало, что мы бродим поблизости, в свою очередь, искало нас. Немцы со своими националистическими прихвостнями искали и нас и отряд. Все обманывали, все следили, заматали свои следы, в общем, как в добротном

детективном романе.

Девять дней кружили мы по району, и, надо сказать, приключения наши нас не увлекали, а раздражали; трудности же... да были случаи, когда трудности нас даже радовали...

Но лучше по порядку.

К этому времени в большинстве районов оккупанты уже организовали кое-какую власть. Коменданты привезли из западных, ранее захваченных областей разную националистическую сволочь и уголовников. Из этих «кадров» формировались полиция и старостат.

И если всего каких-нибудь две недели назад население довольно радушно относилось к бродячим русским людям, то теперь уже начало их остерегаться.

На одном из участков Омбишского леса мы зашли к старику-леснику. Спросили его о партизанах. Он в ответ стал расспрашивать, кто мы.

— Пленные, пробираемся в свой родной Репкинский район.

— Ну и пробирайтесь, чего ж вы о партизанах пытаете.

Зашел сын его — парень лет двадцати пяти. Этот просто сказал, что не верит нам.

— Бросьте вы дурака валять. Что, я не вижу, какие вы пленные. Скажите, зачем вам партизаны?

Мы дали понять, что имеем отношение к партизанам, хотим к ним попасть, связаться. Парень обрадовался, попросил мать накормить нас. Сам стал хлопотать, ухаживать за нами. Затем побежал куда-то, сказал, за самогоном, и пропал минут сорок. Самогону не достал, но зато узнал самое для нас важное!

— Идите по этой дороге через реку Удай, мимо села Припутни, спросите там хутор Петровское, а на том хуторе разыщите лесника-объездчика Гришу. Он должен знать, где партизаны.

Мы долго благодарили папашу и сынка, жали им руки. Но с этого момента... нам стало ужасно не везти.

Мы шли по указанной дороге и через некоторое время увидели реку и мост. Возле моста скопились люди. Вперед отправилась Надя Белявская.

Так как узелок на плечо она не поднимала, мы пошли к мосту.

Оказалось, что мост сорван еще частями Красной Армии при отступлении. Из воды торчали лишь сваи. А народ, что здесь собрался, — это жители ближних сел. Их пригнали районные власти, приказали настелить на сваи доски, построить пешеходный мостик.

Работало тут человек пятнадцать женщин, только бригадир — паренек лет двадцати двух, плотник.

Колхозницы обрадовались случаю отдохнуть и расселись на бережку, окружили Надю. Она им что-то горячо говорила. Мы тоже уселись. Надя уговаривала женщин саботировать все указания и распоряжения новых властей.

— Зачем вы строите мост, ремонтируете дороги? Вы устанавливаете связь между селами и городами, налаживаете транспорт. Это же немцам нужно. Вот разойдитесь Сейчас же. Бросьте все! А еще лучше — сорвите доски, которые вы прибили. Вот и покажете, что вы с Красной Армией, с партизанами!

Женщины жадно слушали Надю. В большинстве они были молодые, увлекающиеся. А парнишка, бригадир (мы уже знали, что его зовут Миша Гурин), прямо в рот ей смотрел. Он то и дело повторял:

— О це верно, це дуже верно! Здорово!

А на той стороне реки, примерно в километре, виднелось село Припугни, то самое, к которому мы стремились. Мост был почти закончен. Положить досок десять на сваи, прибить их, и пешеход может идти.

Я незаметно дернул Надю за рукав, взглядом хотел дать понять: «Говоришь ты хорошо, однако нам-то нужно на ту сторону. Опомнись!». Но она продолжала.

Парнишка подал пример. Он первый побежал с топором к мосту и раздва-три — сбил доску, другую, сбросил их ногами в воду.

— А ну, девчата, берысь! Хай йому черт! Будем гуртом отвечать.

Девчата не заставили себя долго ждать. С криком, шутками, смехом они в полчаса разбросали весь мостик. Парнишке и этого показалось мало. Он велел своей бригаде весь запас стройматериалов, что лежали на берегу, тоже скинуть в реку.

Я отвел Надю в сторону:

— Что ж ты, голубушка, начудила?!

Она нисколько не смутилась, ее даже удивил мой вопрос.

— Но, Алексей Федорович, ведь мы призываем крестьян к жертвам, должны же мы показать пример.

Что ж, это, конечно, логично. Но я предпочел бы, чтоб Надя начала свою агитбеседу уже на той стороне реки... Вода была ужасно холодная. Мы по пояс промокли, переходя реку вброд.

* * *

В Припутни мы не зашли. Зубко успел там побывать и, вернувшись, сказал, что в селе что-то случилось.

— Народ волнуется, собирается, бабы размахивают руками...

После невольного купанья мы выглядели так, что показываться на

люди не хотелось. Решили, хотя дело было уже к вечеру, двигаться прямо в хутор Петровское. Узнали, что он всего километрах в четырех. А там, в Петровском, и Гриша-лесник.

Было уже темно, когда мы постучались в бедную, покосившуюся, крытую соломой хатенку. Хозяйка нас впустила неохотно. Однако Павел Логвинович своими шутками довольно быстро развеселил хозяйку, и та заметно подобрела, предложила даже сварить картошки. Мы, конечно, не отказались. Горшок с картошкой она поставила на какой-то очень низкий стол. Каганец горел такой маленький, что мы и друг друга не видели.

Я ткнул ногой — под столом плетеная корзина. Оказалось, что стол наш — большой соломенный кош, сверху покрытый доской.

— Что же это у вас, хозяйюшка, — сказал я, — даже стола-то нет?

— Бедность. Мужа у меня не мае. Сама шью... так иголкою стола не зробишь...

Нам нужно было здесь непременно задержаться хоть на день, два. И вот представился естественный повод.

— Так это мы можем, — сказал я хозяйке. — Почему бы для хорошего человека стола не сделать?! Я как раз плотник. Вот с Павлом Логвиновичем мы вам за один день такой стол срубим, что хоть пляши на нем. А Надя тем временем постирушкой займется. Услуга за услугу: вы ей, хозяйюшка, воды согрете.

На этом и порешили. Где-то у соседей хозяйка разыскала плотничный инструмент, и мы с утра приступили к работе. Надя и в самом деле принялась за стирку. А Вася Зубко пошел искать Гришу-лесника.

Вернулся хмурый. Гришу-то он нашел. Это оказался юноша лет семнадцати-восемнадцати, но удивительно несговорчивый, скрытный паренек.

— Ничего я из него вытянуть не смог, Алексей Федорович, — рассказывал Вася. — Поверьте чутью разведчика: по-моему, не только он, и мать его и сестренка — все знают, где партизаны. Я уж ему всякие намеки делал, сказал, что коммунист. Божится: «Ничего, дяденька, не знаю!»

Доски хозяйка нашла на колхозном дворе. Стол наш успешно мастерился. Плевако стучал молотком и шуршал фуганком. К окнам прилепились мальчишки, за ними появились бабы. Нашлись заказчицы:

— Приходите и ко мне. Треба двери к зиме починить...

— А у меня кровать дуже плоха. Чи не можете вы нову зробить? Гроши у меня есть, но на хуторе где столяра взять?

Пришел и какой-то хмурый дядько, чуть не допрос учинил:

— А давно вы этим ремеслом занимаетесь?

— Это моя основная специальность. Работал в Чернигове на мебельной фабрике. Да вот война... А теперь из плена...

Столяром-то я в действительности никогда не был, но плотничал неплохо. Еще когда на туннеле работал — приходилось. Крепильщик — это ведь, в сущности, тот же плотник. Плевако тоже умело орудовал молотком и стамеской.

Дядько хоть и сделал вид, что поверил, однако мы поняли, что долго тут нам подвизаться не стоит.

Пошли мы с Павлом Васильевичем Днепровским к Грише-леснику. Надеялись, что сумеем лучше Васи его обработать. Не тут-то было. Упорный мальчишка! В глаза не смотрит. На вопросы отвечает так, будто мы не коммунисты, а немецкие следователи. У меня даже закралось подозрение, что нас к нему с того берега и послали, чтобы сбить со следа.

Днепровский сгоряча возьми да и скажи:

— Чудак ты, парень! Ведь нам точно известно, что ты комсомолец, что ты у партизан бываешь. А мы — коммунисты, нам во что бы то ни стало надо их найти, иначе немцы... — и Днепровский затянул воображаемую петлю вокруг шеи.

Гриша задумался. Мы не мешали. Видно было — трудно ему. Действительно задача такая, что и многоопытному большевику сразу не решить. Потом-то мы узнали — дело осложнялось еще тем, что вчера партизаны в Припутнях казнили одного предателя, а в хуторе Петровском сорвали немецкую пломбу со склада и унесли в лес восемь мешков муки... Пойди-ка вот теперь и определи, кто эти пришлые: действительно ли коммунисты или подосланные немцами полицаи.

— Вот что, товарищи... Есть в Припутнях голова колхозу по фамилии Диденко. Вин зараз дома. Он, пожалуй, кое-что вам и скажет... Третья хата злива. Только вы не йдите прямо по вульци, а зайдите з стороны огородив...

Мы с Павлом Васильевичем признали, что Гриша поступил правильно, чем самому решать такую сложную задачу, лучше нас послать к старшему товарищу. Фамилию этого председателя я помнил, встречался с ним. И отправились мы по указанному Гришей направлению.

Но и в Припутнях нам не повезло. Диденко не оказалось дома, еще вчера куда-то ушел. Жена встретила нас ласково, даже чрезмерно, говорила каким-то сладким голосом. Но в глаза не смотрела, слово «товарищ» не произносила, двери хаты не затворяла, садиться не предлагала: по всему видно — боялась нас.

Когда вышли от нее, сказал я Днепровскому:

— Не иначе — принимают нас с тобой за полицаев. Да, паршивое у них, у этих полицаев, положение. А ведь здорово народ партизан оберегает от постороннего глаза. Попробуй, пригрозил пистолетом, думаешь, скажет?

— Гриша тут уже, видно, побывал и их предупредил. А мы, два старых дурня, ему и поверили.

Что было делать? Потолкались немного по сельской улице и направились было обратно в Петровское, как вдруг заметили, что возле конного двора толпятся люди. Пошли туда. И что же, там среди местных мужиков и Гриша. Стоит возле своей лошади, а лошадь мокрая от пота. Подозвал я его к себе и, сказать прямо, очень разозлился:

— Что же ты, малый, с нами делаешь? Что же ты это брешешь, водишь нас за нос, будто дурачков?!

— Расстреляйте — ничего не знаю! — с решимостью в глазах и очень дерзко ответил Гриша.

Лицо у него открытое, глаза сверкают — такой и под угрозой расстрела ни слова бы не сказал. Теперь мне стало ясно — он партизан и крепкий, надежный малый.

Я ему на ухо шепнул:

— Я Федоров, секретарь обкома, понимаешь? Мне сегодня же нужно связаться с командиром отряда!

Гриша оглядел меня с головы до ног, тень улыбки Скользнула по его лицу, потом с какой-то преувеличенной серьезностью он сказал:

— Я, товарищ Федоров, сам ничего не знаю. А ось Колы хотите, то тут колхозный счетовод, Степан Погребной, той, може, вам що и скаже.

— Ну, смотри, если опять обманешь!..

Но он, конечно, нас опять обманул. То ли предупредил Счетовода, то ли тот действительно ушел... Жена счетовода сказала:

— Вы, мабуть, Диденку шукаете, он на зибрании старост в школе. Там районный бургомистр приехал и старост со всех сел созывает.

Зол я был ужасно. Третий день крутимся, и никакого толку. Ведь не выходить же на середину улицы и не орать, что я Федоров, покажите мне дорогу к партизанам! Раньше, когда не надо было, находилось сколько угодно людей, которые меня узнавали, а теперь... Неужели я так переменялся? В Припутнях я до войны бывал уж никак не меньше пяти раз... Неужели так не солоно хлебавши возвращаться в Петровское? Право, даже стыдно. И вдруг пришла мне в голову на первый взгляд дикая, нахальнейшая мысль.

— Слушай, Павло, — обратился я к Днепровскому. — Давай-ка мы... Давай-ка мы, Павло, пойдём в школу. Да, да, на собрание старост! Была не

была! Уж там-то мы, наверное, кого-нибудь из наших людей увидим... Да и надо же нам когда-нибудь познакомиться с бургомистром, посмотреть на эту сволочь.

Днепровский не сразу ответил. Опасения его были основательные: предприятие рискованное, в случае провала можем поставить под удар всю областную организацию.

— Смотрите, Алексей Федорович, если найдете нужным... я, конечно, от вас не отстану.

Я нашел нужным. Решили в случае чего действовать гранатами. У нас их было по пять штук на брата. Кроме того, еще пистолеты — у меня два, у Днепровского один.

* * *

У входа в школу стоял рессорный экипаж на резиновых шинах, запряженный парой довольно сытых, но не подобранных по росту лошадей. На сиденье этого допотопного дрондулета лежали красные диванные подушки. На козлах дремал, закутавшись в тулуп, бородатый старикашка. Экипаж этот, по всей вероятности, был изъят из районного музея.

— Папаша, — обратился я к старику. — Что, староста тут?

Он хитро улыбнулся, подмигнул и с комической важностью произнес:

— Який тобі, хлопче, староста, це сам заступник районного бургомистра Павло Глебович Гузь прибул на інспекцію.

В коридоре до самого потолка были навалены пыльные парты. Двери классов закрыты. За одной из них мы слышали голоса и постучались. Вошли преувеличенно смиренно, сняли шапки.

За большим столом, предназначенным, вероятно, для физических опытов, сидел, развалясь в кресле и пощипывая ус, человек лет пятидесяти. Лицо ничем не примечательное, а вот одежда... он, видимо, к ней не привык. Пиджак из черного блестящего сукна, вполне возможно, тоже из музея; вышитая украинская рубашка. А на спинке кресла раскинута меховая шуба. Определенно, тип этот играл роль барина, — если не помещика, то во всяком случае крупного дореволюционного чиновника. Нас он, конечно, добрых пять минут не замечал. Держал перед глазами в вытянутой руке пачку бумаг и важно хмурил брови.

Были тут в комнате еще трое. Толстая девица с поразительно глупым лицом. Напудрена до самых глаз. Она, видимо, исполняла роль секретарши. Но делать ей было решительно нечего. Она рисовала на столе цветочки.

Позади «важного чиновника», возле окна, сидел на стуле пожилой немецкий солдат. Он безучастно посмотрел в нашу сторону, зевнул и

отвернулся. Какова была его роль? Охрана или представительство — кто знает? Он скучал.

Четвертым же был, верно, местный человек — ярко выраженный тип старого пьяницы. Налитой нос, чуб, свисающий из-под шапки. Мутные с похмелья глаза. Ничего, кроме желания выпить, на этом лице прочитывать было невозможно. Он стоял, опершись руками о стол, ждал, наверное, распоряжений. В общем все это было похоже на глупейший водевиль.

Парт в классе не было, вместо них скамьи, посередине и вдоль стен. В дальнем углу топилась круглая железная печка.

Мы стояли молча, переминаясь с ноги на ногу. Люди эти вызывали во мне брезгливость и вместе с тем горечь.

Наконец «пан» заступник бургомистра соизволил обратить на нас внимание.

— Що треба?

Хотелось б ответ схватить его за шиворот, вытащить на улицу и при всем честном народе набить морду. Но я смиренно сказал:

— Шукаем старосту. Есть кимецький закон, чтобы отпущенным плинным оказывать помощь. Ось мы и прийшли до старосты...

Напыщенный глупый позер, он просто упивался своим положением. Он даже не стал нас спрашивать, да и не разглядел как следует. Его распирало желание поучать.

— Який же я староста? Ось це староста, — и он указал на пьянчужку, он знает законы, он вам усе и зробе.

— Добре, — буркнул староста.

Но, раз начавши говорить, «пан» уже не мог остановиться. Говорил он напыщенно, величественно жестикулируя.

Днепровский задал ему несколько вопросов. Сказал, что вот мы бредем домой и не знаем, что делается на фронтах, как дальше жить.

— Непобедимая доблестная армия великой Германии добивает последние части Червоной Армии в предгорьях Урала. Москва и Петербург сдались на милость победителя. Украина вызволена... — От восторга перед собственным красноречием «пан» даже встал, закинул голову и при этом то и дело оглядывался на немецкого солдата, сидевшего у окна. Но тот невозмутимо барабанил по стеклу, позевывал.

Начал собираться народ. Гузь предложил нам с Днепровским остаться на совещании.

— Послушайте, як треба строиты нове життя!

Мы, конечно, охотно согласились. Я сел на краешке скамьи возле печки, Днепровский — шагах в трех от меня. Только мы так устроились —

смотрю, входит Диденко. Он узнал меня и в первую минуту так растерялся, что побелел. Затем совладал с собой и довольно безразличным голосом спросил у старосты, что за люди. Узнав, кто мы, он сказал, что пристроит нас на ночь по соседству с собой.

К школе то и дело подъезжали подводы. Это было нечто вроде «актива» ближайших сел. На совещание Гузь созвал, кроме старост и председателей колхозов, учителей, агрономов. Большинство держалось скованно. Никто громко не разговаривал, ни один человек даже и не улыбался. Я обратил внимание еще на то, что люди избегали глядеть друг другу в глаза — будто стыдятся. Да, большинству было, верно, стыдно, что подчинились, приехали слушать этого типа.

Тут произошла безобразная сцена. К зданию школы подкатила очередная подвода. Мы услышали громкую брань, потом началась возня, борьба.

— Ох! — приглушенно кричал кто-то. — Ох, не бейте, люди добры!

Еще долго возились в коридоре, затем распахнулась дверь, и несколько возбужденных, раскрасневшихся селян с силой втокнули в зал связанного человека.

Это был высокий детина лет тридцати. Голову он по-бычьему наклонил, взглядом уперся в пол. Руки, стянутые за спиной сыромятным ремнем, посинели от напряжения. Всклоченные волосы закрывали лоб; из углов рта стекали струйки крови. На вспухшей щеке виднелся след каблука.

Гузь сделал повелительную гримасу.

— Що, що таке?

Связанный было рванулся к нему, и Гузь поднял к лицу руки, как бы ожидая удара.

— Ах ты, шкура! — крикнул один из сопровождавших и дал связанному такой тумак, что тот повалился на колени. Подбежал еще один селянин, ударил его ногой в бок, какая-то старуха с узлом в руке несколько раз плюнула ему в лицо. Вообще разобрать ничего нельзя было.

Когда страсти немного стихли и связанного оттащили в угол, Гузь с надеждой в голосе спросил:

— Кто такой, партизан?

Отвечать хотели все гуртом, снова поднялся шум, Гузь брезгливо поджал губы. Лишь минут через десять стала ясна суть дела.

После отступления частей Красной Армии на хутор Глуховщина вернулся Спиридон Федюк, по прозвищу «Кабан». Давно уж он, лет, верно, восемь, не появлялся в родном селе. Знали о нем, что человек он пропащий — вор, бандюга, что засудили его в Ворошиловграде за ограбление

прачечной на семь лет и отбывает он наказание где-то в лагере. Как только появился на хуторе Кабан, он прежде всего завел самогонный аппарат. Пил он без просыпу и всем грозил, что может, мол, на чистую воду вывести. А вчерашней ночью люди слышали крик в крайней избе, где жила жена командира Красной Армии Калюжного. Женщина выбежала из хаты навстречу подоспевшим крестьянам с ножом в спине. Рухнула замертво. В хате же нашли задушенную дочку Калюжного, семилетнюю Настю, и сильно ушибленного и перепуганного трехлетнего мальчонку Васю.

Крестьяне бросились на поиски в лес и схватили там Кабана.

Гузь начал допрос. Все слушали с напряженным вниманием. Даже немец — и тот вылупил глаза и открыл рот. А затем он подошел к Гузю, шепнул ему что-то. Гузь с готовностью вскочил и крикнул в зал:

— Чи есть тут вчитель немецкого языка? Треба переводчика.

Нашлась старушка. Ее усадили рядом с немцем.

— Ну, шо ты скажешь? — спросил Гузь с наигранной строгостью.

Бандит мотнул Гузю головой на карман своего пиджака. Гузь полез в карман Кабана, достал оттуда измятую бумажку, долго разглядывал, потом подал немцу. Немец кивнул головой и вернул бумажку.

— Так... — сказал Гузь. — Так-так, — повторил он и сильно наморщил лоб. Он был явно растерян. — Дело такое! Этот гражданин, по фамилии Федюк, уполномоченный немецкой комендатуры. — Повернув лицо к связанному, Гузь сказал:

— Это — недоразумение, сейчас вам развяжут руки.

Бандит поднялся, нагло обвел всех взглядом.

— Я, — сказал он громко, — пан бургомистр, проследил: Мария Калюжная была связана с партизанами. Ее муж — коммунист. Весь хутор, господин бургомистр, партизанский!

— Брехня, вин бреше! — закричали хуторяне.

Волнение передалось всему залу. Все шептались, переговаривались. Кто-то крикнул:

— Повесить убийцу!

Немец, внимательно следивший за всем, вскочил и разрядил свой парабеллум в потолок. Мгновенно наступила тишина. Немец опять сел и дернул за рукав переводчицу.

— Я полицей, — повторил Федюк. — К Марии Калюжной ежедневно приходили партизаны...

— Если порядок наводил, зачем это добро забрал?! — с этими словами старуха кинула на стол большой узел.

— Это конфискация, — немало не смутясь, заявил бандит.

Слово «конфискация» произвело магическое действие на немецкого солдата. Он заволновался, стал торопить переводчицу. Она поднялась и прерывающимся голосом, заикаясь, сказала:

— Господин немецкий солдат просит напомнить вам, пан заступник бургомистра, что по действующей инструкции из конфискованных муниципальными властями предметов все драгоценные металлы, а также камни и произведения живописи и ваяния должны быть сданы в фонд имени Геринга... — пока старушка говорила, солдат несколько раз подгонял ее злобными окриками.

В зале царило напряженное молчание. Я конвульсивно сжимал за пазухой ручку гранаты. Несколько раз взглянул на Днепровского. Никогда я еще не видел его таким. Если бы Гузь или немец, или этот связанный полицай не были так заняты своим «делом» и обратили бы внимание на Павла Васильевича... Он побледнел, его била лихорадка. Правую руку он держал в кармане. Он бросал на меня умоляющие взгляды. «Начнем, да начнем же, Алексей Федорович!» — только так можно было понять его сигналы. Соблазн был, действительно, страшный. Швырнуть гранату, а потом... Как же трудно было сдержаться! Но нельзя, нельзя терять здравый рассудок.

Я заметил, что узнал меня не только Диденко. Человек восемь, не меньше, то и дело поглядывали в мою сторону. Возможно, и они ждали моего сигнала. Но в комнате собралось не меньше тридцати человек, почти одни мужчины. Я, признаться, был крайне взволнован, нервы ходуном ходили. Я оглядывал тех, что были со мной рядом. Что они думают, вооружены ли, на чьей стороне будут в случае схватки?.. Немец хладнокровно перезарядил свой парабеллум... Как распределятся силы? А если двадцать пять из тридцати вроде этого Федюка?

Гузь медлил. Наконец с важностью Соломона произнес:

— Снимите оковы с этого защитника нового порядка! Каждый должен знать, что большевики, а также все их родичи — вне закона!

Узел он снял со стола и передал немцу. Красноносый староста развязал бандиту руки.

— Теперь, — продолжал Гузь, — приступаем к повестке нашего собрания.

Один из селян внезапно закричал:

— Эскадрон, по коням!!! — и рухнул на пол. У него начался жесточайший эпилептический припадок.

Немец что-то бешено заорал, затопал ногами, Федюк и староста схватили несчастного за руки и выволокли в коридор. Односельчане его

вышли вслед.

Ни Федюк, ни красноносый староста в зал не вернулись. Через минуту мы услышали стук подков: припадочного, по-видимому, увезли.

Гузь начал речь. Он кричал, гримасничал, брызгал слюной, грозил по адресу партизан кулаком, истерически хохотал. Образцом оратора для него был, несомненно, Гитлер.

Рядом со мной уселась отпущенная немцем старушка-учительница. Ее трепал озноб. Она тянулась к огню. Мне она была неприятна; я отвернулся. Вижу, у двери стоит тот самый юноша-плотник, который с женщинами развалил мостик через реку Удай, — Миша Гурин — и крутит цыгарку. Я поднялся, подошел к нему и громким топотом сказал:

— Дай-ка, хлопче, бумаги.

Он оторвал мне кусок газеты. Я стал крутить папиросу, а тем временем сильно сжал его ногу коленями и сдвинул брови. Он еле слышно прошептал:

— После собрания у Диденки!

Я вернулся на свое место возле печки. Когда садился, неловко зацепил карманом куртки за скамью, а карман этот был у меня чуть не доверху набит патронами для пистолета. Один из них вывалился. Быстро я глянул вниз, старушка-переводчица уже прижала патрон ногой. Взгляд же ее ничего не выражал, с тупым равнодушием, как и все, она глядела на Гузя. «Эге, подумал я, — да здесь немало хороших людей». Гузь скоморошничал, верно, не меньше полутора часов. Подконец перешел от патетической истерии к «деловой части». Он стал требовать, чтобы ремонтировали дороги, мосты; чтобы все регистрировались у старост, чтобы трудоспособные не выезжали без разрешения. Возмущался, почему в начальной школе еще не приступили к занятиям.

— Программы та учебны планы уже е, треба завтра начаты заняття!

Кто-то наивно спросил:

— Как же так, завтра же седьмое ноября, праздник.

Гузь побагровел, вскочил:

— Какой такой праздник? Это что, большевистская агитация?..

Обошлось без арестов и без выстрелов. Но Гузь воспользовался этим случаем, чтобы поговорить еще минут пятнадцать.

Закрыв собрание, Гузь поманил меня и Днепровского. Свел нас с Диденко:

— Вот этот гражданин устроит вас на ночлег.

Когда мы с Днепровским выходили из зала, нас окружали плотным кольцом человек десять. В темном коридоре мы не могли понять, что за

народ так тесно прижался к нам. И только выйдя на улицу, облегченно вздохнули. Оказалось, что это добровольная охрана.

Мы разбрелись по двое, по трое. А через час собрались, но не у Диденко, как сперва предполагалось, а на отшибе села в заброшенной хате, где жили в то время два узбека-пастуха.

Это были два красноармейца, которым при отступлении поручили охрану довольно большого стада коров и овец. Вместе со стадом они очутились в окружении, а потом и в тылу. И вот месяц с лишним бродят они по лесам и перелескам Ичнянского района. Немцы приписали их к Припутнянскому старосте. Но пастухи-красноармейцы не всегда ночевали в селе, а порученное им стадо постепенно уменьшалось.

— В лесу бар командир, якши командир, — объяснил мне с улыбкой один из пастухов. — В Узбекистане волков ек. Тут волков — ой много! — с комической серьезностью говорил он.

Пастухи обещали завтра же через Диденко связать меня с лесным командиром и с «волками».

В хату узбеков собралось не менее половины тех людей, что были на совещании у Гузя. Здесь люди стали другими: говорили оживленно, просто, свободно. Как же я жалел, что тогда, в школе, не знал еще, сколько хороших людей там было! Можно было бы на месте решить и Гузя и его телохранителей. Но их судьба уже была с этого момента ясна. И за Гузем, и за Федюком, и за красноносым припутнянским старостой решено было установить наблюдение.

В тот же вечер мы с Днепровским направились обратно к своим товарищам в хутор Петровское. Диденко условился с нами завтра, и никак не позднее чем 9 ноября, придти на хутор к Грише-леснику и проводить в отряд имени Хрущева.

Теперь нам стало совершенно ясно: Гриша нас морочил, путал, да не только он — все нас остерегались. В селах уже сложилась своя, внутренняя, конспирация. Бродячего люда много, селяне понимали, что большинство «бродяг» — люди советские, но сразу их не распознаешь. Поэтому к каждому приглядывались, он становился объектом изучения. Позднее мы узнали, что в селах, крепко связанных с партизанами, о каждом таком новичке, а тем более о группе новичков, ставили в известность командира отряда или комиссара.

* * *

Теперь, когда все выяснилось, казалось, что не возникнет больше препятствий. Завтра же мы будем в отряде. А ведь завтра — годовщина Великой Октябрьской революции. Быть может, в отряде есть

радиоприемник, послушаем Красную площадь, Сталина, проведем праздник среди своих людей.

Когда мы вернулись «домой», то есть в хутор Петровское, к вдове, стол уже был закончен. Павел Логвинович начал вырезать на ножках какие-то финтифлюшки. Надо же было создать видимость работы.

С утра мы уселись за починку обуви. У всех сапоги и ботинки сильно потрепались. Но главное: надо было протянуть время, дожидаться Диденко.

Мы заметили, между прочим, что в этот день на улице появлялось мало людей. Только выбегала изредка детвора. И мальчики и девочки были чисто одеты. Никто, оказывается, не работал. Демонстрации не устраивали, но все праздновали: в этом, собственно, и состояла демонстрация. От нашей хозяйки мы узнали, что даже в тех домах, где к немецким властям относились с боязнью или подобострастием, все-таки в этот день не работали, чтобы не идти против общества.

Мы тоже устроили небольшой пир за новым столом. Хозяйка с Надей наварили жирного борща, откуда-то раздобыли домашней браги и свекольного вина. Во время обеда пришел тот самый дядько, что спрашивал нас, откуда мы и что тут намерены делать.

Он, оказалось, тоже был вчера на собрании у Гузя.

— Пора и честь знать, — сказал он сперва строго, — погостили — и хватит. — Потом объяснил: — Проехали трое верховых. Один из районной полиции, другой, хоть и в крестьянской одежде, но по всему видать — немец, а третий — тот самый Федюк-бандит. Не иначе, собирается облава.

А Диденки все нет, и, как назло, нет и Гриши, ушел, вероятно, на связь в отряд. Остаться больше невозможно. Мы поблагодарили хозяйку и отправились в соседний хутор Глуховщина за пять километров. Сказали, чтобы Диденко нас там искал.

По дороге мы идти не решались. Двинулись тропками и залезли в такую чащу, что еле ноги из трясины выволокли. Блуждали мы по болотам весь вечер и часть ночи. Промокли, измазались, ужасно устали и замерзли. В Глуховщину попали только наутро. И, оказывается, нам повезло, что так вышло.

Уже светало, и мы увидели, как на хутор въезжает большая конная группа. Через минуту началась стрельба, мы услышали немецкие возгласы. Очень возможно, что отряд этот выехал по нашему следу.

Мы опять углубились в болота. Вскоре наткнулись на полотно заброшенной узкоколейки. Начинается она в хуторе Петровское, а куда ведет, не знаем. Но выбора нет: кругом болота и топь — решили идти по насыпи.

Вася пошел вперед на разведку. Вскоре возвращается от поворота.

— Там, — говорит, — одинокий всадник едет.

Мы спрятались в кустах. Когда лошадь поровнялась с нами, выскочили из засады. Всадник растерялся и поднял руки. И, хотя был он в крестьянской домотканной куртке, сразу залопотал что-то по-немецки. Мы его стащили с лошади, обезоружили и отвели в сторону; лошадь тоже свели с полотна.

— Тельман, Тельман, — повторял немец.

Но когда мы сняли с него верхний «овечий» его покров и ткнули стволом пистолета в эсэсовские значки в петлицах, он сразу перестал поминать имя Тельмана и упал на колени.

Стрелять в этой обстановке было рискованно. Я припомнил совет вятского шофера: «Иногда лучше, товарищ комиссар, втихую!»

Впервые за все мое путешествие я сел верхом на коня. Казалось, приятная перемена, но увы, конь вел себя беспокойно, поминутно ржал, пытался меня сбросить. Пришлось спешиться. Мы с Васей Зубко повели его в глубь леса, привязали к дереву: может, потом пригодится.

Вернулись к условленному месту минут через двадцать. Смотрим: горит костер и около него не три человека, а пять. Если бы не надина косынка, решили бы, что чужие. Подходим, а возле костра, кроме наших, еще два парня. У каждого по большому мешку. Мешки промокли; в них видно мясо.

Разговор довольно странный:

— Вы кто такие?

— А вы кто такие?

— Да мы с войны.

— И мы с войны.

— А чего здесь делаете?

— А вы чего сюда приперлись?

Я слушал, слушал, надоели эти бесконечные пререкания.

— Вот кто мы! — сказал я и вытащил из кармана свой пистолет ТТ, подержал его на ладони. — Сычова знаете? (Сычов был командиром Ичнянского партизанского отряда).

— Знаем Сычова.

— А Попко знаете? (секретарь Ичнянского райкома партии).

— Мы-то знаем, а вы откуда этих фамилий понабрали?

— Так я Федоров, слышали такого?

Но они все еще не верили. Пришлось подробно описать внешность и командира и комиссара. Кроме того, я припомнил деталь, которая и

рассмешила и окончательно убедила товарищей. Сычов имел презабавную привычку повторять слово «хорошо».

— Товарищ Сычов, у вашего соседа корова сдохла.

— Хорошо-хорошо.

— Товарищ Сычов, ваша жена заболела.

— Хорошо-хорошо-хорошо!

Вот когда я сообщил эту подробность, ребята признали в нас своих. Посидели мы еще немного у костра. Вася Зубко сходил за немецким конем. Потом поджарили на деревянном вертеле по куску мяса из мешков наших новых товарищей. Подкрепились, отдохнули и пошли по путаным партизанским тропам.

* * *

Впоследствии я перевидал десятки отрядов и соединений, мог сравнивать их, оценивать. Но 9 ноября 1941 года я впервые столкнулся с действующим партизанским отрядом, впервые познакомился с этим чрезвычайно своеобразным человеческим коллективом.

За последние несколько дней мы очень устали, можно сказать, измучились. Мокли в болотах, дрогли, голодали. С того самого момента, как мы попали в расположение отряда, и у меня, и у моих спутников впервые появилось чувство личной безопасности. Мы смогли «отпустить нервы», то есть не напрягать зрения, слуха, не приглядываться с недоверием к каждому человеку. Мы попали в поселение единомышленников, поселение, имеющее вооруженную защиту, внутренний порядок, законы.

Итак, нервное напряжение у нас ослабло, а держались мы, конечно, нервами. Сразу почувствовали желание отдохнуть, умыться, поспать по-настоящему... Встречали нас радушно. Да что там радушно, встречали восторженно, обнимали, целовали, долго трясли руки. Каждый старался поскорее затащить в свой шалаш. Знакомых было много, искренность чувства была вне всяких сомнений. Однако...

Да, было и «однако». Пришлось поумерить немного пыл встречающих, взять иной тон, так сказать, приосаниться. Внешность свою я описывал уже довольно подробно, а к этому времени я еще больше обтрепался. Так что слово «приосанился» звучит, вероятно, комично. Но это было необходимо, и вот почему.

Я прибыл в Ичнянский отряд не для отдыха и не для того, чтобы почувствовать личную безопасность. И, как бы ни выглядел внешне, как бы ни нуждался в поддержании своих сил, ни на минуту я не имел права забывать о своих обязанностях. Я не боюсь быть понятым ложно. Каждый

командир знает, о чем я говорю.

Как начальник областного штаба партизанского движения я потребовал рапорта по форме и, раньше чем отдыхать, прошел по лагерю с инспекционной целью.

Двенадцать шалашей из веток были расположены под деревьями на расстоянии нескольких шагов друг от друга. В шалашах бойцы устраивались по своему вкусу и по тем возможностям, какие у них были: кто на сенниках, кто на плохо просушенном мху, кто на разостланном тулупе. В трех или четырех местах горели костры. На одном из них женщины варили в большом котле кашу. У других костров люди просто обогревались. Кстати, было уже морозно. Градуса четыре ниже нуля; снег еще не выпадал.

Оружие каждый боец держал при себе. Я проверил несколько винтовок и пистолетов. Вычищены были плохо. Многие ни разу свое оружие даже не опробовали.

В совершенном бездействии, брошенным стоял ротный миномет. Никто им, оказывается, не умел пользоваться, и никто и не пытался научиться. Мы его тут же, в первый обход, проверили; выпустили несколько мин.

Когда стали обходить посты охранения, ближние заставы, я увидел вдруг того самого полусумасшедшего старика, которого мы с Симоненко встретили месяц назад недалеко от Лисовых Сорочинц, да, именно того, который пас тощую корову и ночью грозил кулаком немецким бомбардировщикам. Он сидел на пеньке и вел протокол допроса пленного. На немецком солдате шинель, мундир и брюки были расстегнуты. Он стоял, поддерживая штаны, руки по швам, и дрожал. На земле с пистолетами наготове сидели два партизана. Увидев командира, старик вскочил, взял под козырек и довольно браво отрапортовал:

— Товарищ командир отряда, боец-переводчик Садченко. По приказу комиссара отряда веду допрос пойманного бандита, именуемого солдатом германской армии...

По вычурности слога можно было безошибочно определить, что это именно тот старик. Он же меня либо не узнал, либо не пожелал узнать.

— Что за человек? — спросил я командира, когда мы отошли. — И где его корова?

— Откуда вы, товарищ Федоров, знаете про корову? Да, он, действительно, прибыл к нам с коровой. Назвался учителем немецкого языка из Полтавы. История интересная, повторяет он ее безошибочно, не сбивается — так что пока нет оснований не верить.

Сычов стал мне ее подробно излагать.

Дом его в Полтаве немцы разбомбили, при этом была смертельно ранена жена — умерла у него на руках. Сын в Красной Армии, дочь учится в институте в Москве. Немцы, как только захватили Полтаву, взяли на учет преподавателей немецкого языка. Ему предложили работать в комендатуре. Той же ночью он забрал с собой единственно оставшееся имущество — корову — и ушел из города.

Куда бы старик ни приходил, всюду он должен был регистрироваться. Немцы узнавали, что старик владеет немецким языком, и требовали: идите работать переводчиком. Старик забирал свою корову и шел дальше. Он стал избегать людей, обходить села и города. Так он набрел на партизанскую заставу.

— Очень он нам пригодился: единственный в отряде человек, знающий по-немецки.

После инспекционного обхода я еще выслушал официальный отчет командования. Затем пошли обедать.

За столом нас забросали новостями...

Узнал я, что Капранов и Дружинин живы и здоровы, подобно мне, благополучно прошли от Пирятина. Они были здесь, пробыли недолго и отправились к Попудренко в областной отряд.

Узнал я и о том, что областной отряд действует, а слухи о его самороспуске распространяла ничтожная кучка дезертиров.

Попудренко уже стяжал себе известность своей храбростью и дерзкими налетами. Тянутся в областной отряд люди со всех сторон. Отряд расширяется, строится, но... И тут пошли разговоры на всякие спорные темы. Споры же следует решать в присутствии обеих сторон; мы их коснемся позднее.

— Как же это все-таки получилось, — спросил я командование отряда, что вы послали мне навстречу в Мало-Девицкий район своих людей и они не сумели найти нас? Мы там большое совещание провели, стягивали людей со всего района. Ай да разведчики! Покажите, что за народ.

На зов командира явился худой высокий парень лет двадцати трех, в красноармейской форме. Назвался Андреем Корытным. Голос его мне показался знакомым.

— Что же это вы, товарищ Корытный, в своем родном районе не сумели нас найти?

Его, оказывается, схватили немцы. Да ведь это тот самый Андрей, который в Сезьках возле сеновала вел разговоры со своей милой!

— Слушай, друг, — сказал я ему, — может быть, немца ты и в самом

деле стукнул топором, может, и храбрый ты парень, но ходил ты не меня встречать, а свою нареченную.

Он ужасно покраснел, стал было протестовать, но я продолжал:

— Так как же, в Днепропетровск вы поедете учиться или в Чернигов? Вызвал ты сюда свою красавицу? — Парень счел меня, верно, колдуном. Он так ошалело смотрел, что все расхохотались. — Ну, уж коли ты обещал, так забирай ее сюда в отряд. Командира мы уговорим.

Увидел я еще здесь и девушку-бригадира из Лисовых Сорочинц, а на следующее утро какой-то парнишка подал мне письмо. Впервые я получил в подполье письмо. Парнишка говорит:

— Просили передать лично вам, в собственные руки.

Аккуратно сложенный треугольник. Я его распечатал, взглянул на подпись — Яков Зуссерман.

— Где же он сам?

— Ушел к Попудренко. У нас уже человек пять ушло.

Вот что писал мне Яков:

«Алексей Федорович! Вы, может быть, подумаете, что я обидчивый и чересчур капризный и нервный. Я действительно стал безобразно нервный. Я был в Нежине, но, как Вы сказали, напрасно туда пошел. Там евреев согнали в гетто, за колючую проволоку. Насчет своей жены и сыночка я через людей выяснил, что они, может быть, уже убиты. Я ходил около проволоки два раза по ночам, меня чуть было не поймали, в меня стреляли. Что делать дальше? Я пять дней прятался у знакомых и не мог больше выдержать. Я видел через окно немцев, как они ведут себя нахально, как они хозяйничают. Били на улице старика прикладами и грабили магазин. Тогда я вспомнил, что Вы меня звали в партизаны, но еще надеялся узнать о семье.

Я встретил своего знакомого слепого Яшу Батюка. Он узнал мой голос и повел к себе. Это, Алексей Федорович, произвело на меня такое впечатление, что я был пристыжен и очень потрясен. У меня есть много физических сил, я здоровый, а Яша Батюк с детства слепой. И он и его сестра Женя и их папа сочиняют прокламации, разносят по городу. К Яше по ночам собираются комсомольцы. Вы, наверное, знаете: он остался работать подпольщиком. Он такой энергичный; не боится смерти, все считается с его авторитетом. Я очень хотел остаться в Нежине помогать, но Яша приказал уйти из-за моей национальности. Яша объяснил мне, что я больше годен в партизаны. В городе меня узнают и скоро арестуют. Когда он выяснил, что я шел вместе с Вами и знаю, где Вы будете, Яша обрадовался, что есть возможность связаться с секретарем обкома партии.

Он даже размечтался, что сам пойдет вместе со мной до Вас, но его папаша и товарищи отговорили. Тогда Яша составил письмо, и мне было приказано отправляться. Мне дали оружие, и со мной пошел еще один мальчик, которому я оставляю для Вас это письмо.

То, что писал до Вас Батюк, я здесь, в отряде, не показывал, но, может быть, Вы сюда тоже попадете. Так имейте в виду, я пошел дальше, как Вы мне советовали, в областной отряд. Здесь, по-моему, люди руководят неправильно, очень слабохарактерно. Я уже видел такие ужасы от немцев, что я не могу смотреть, как целый отряд только прячется в лесу или делает один-два маленьких наскока в неделю. Слепой Яша Батюк со своими комсомольцами больше работает и смелее, чем здешнее руководство.

Это, может быть, не мое дело, я пошел себе дальше, как связной. Я бы написал Вам подробнее, но оставляю это письмо только на всякий случай если не увижусь с Вами у Попудренко. Тогда я Вам еще подробнее все расскажу.

До свиданья, товарищ Федоров, если меня не убьют в дороге».

Я спросил парнишку, передавшего письмо Зуссермана:

— Давно ушел Яков? Что у него здесь произошло с командованием, поругались?

Нет, оказывается, Зуссерман вел себя сдержанно, ни с кем не ругался, объяснил, что у него есть поручение в областной отряд. Ушел примерно неделю назад.

Парнишка сказал:

— Я тоже из Нежина. Сюда прибыл вместе с Зуссерманом. Но мне в городе больше нравится, хочется с нашими комсомольцами. С товарищем Батюком так интересно работать! В городе его все знают, его все там уважают. Он до войны был уже юристом... Как вы считаете, товарищ Федоров, можно мне уйти обратно в Нежин?

* * *

О Якове Батюке я слышал еще до войны от секретаря Нежинского райкома партии Герасименко. Он рассказал как-то, что в Нежин приехал к отцу слепой молодой человек комсомолец и кандидат партии. Это и был Яков Петрович Батюк. Незадолго до того он окончил с отличием юридический факультет Киевского университета, назначение на работу получил в Нежин. За полгода практики двадцатидвухлетний юрист завоевал в городе широкую популярность. Он уже стал членом коллегии адвокатов. Даже опытные, пожилые работники юстиции признавали, что Батюк весьма способный защитник.

Меня, признаться, очень удивило, что он не эвакуировался. В числе

коммунистов, отобранных для работы в подполье, Якова Батюка не было. Подпольный обком партии его кандидатуры не утверждал. Но возможно, что его оставил в тылу врага обком комсомола. Мне показалось такое решение не очень обдуманым.

Чем больше я об этом размышлял, тем больше возникало у меня недоуменных вопросов. Слепой... Допустим даже, что у него великолепная, просто феноменальная память... Герасименко рассказывал, что на судебных разбирательствах Батюк без запинки цитировал любую статью уголовного кодекса, что детали каждого дела он знал назубок, не брал на заседание ни одной бумаги, свидетелей безошибочно называл по имени и отчеству... Допустим, что у него великолепный слух и, опять же, отличная слуховая память. Это нередко у слепых. Но руководить подпольной организацией, опираясь только на эти данные...

Я вообразил, как впервые слепой юноша встречается с немцем. Ведь он только слышит его, не знает даже, какая у него форма... А если входит в комнату человек и молчит. Как узнать, что это враг? С Яковым отец, сестра, товарищи — они ему помогают... Зуссерман пишет, что подпольщики собираются ночами. У Батюка ведь всегда ночь...

Продолжая свои размышления, я постарался представить себя на месте Батюка. Закрыв глаза. Каким маленьким стал окружающий меня мир. Он кончается у протянутой руки. Для меня, зрячего, Родина огромна. Это и бескрайние колхозные поля, и река, и море, и пароход, и красивая картина; завод с его сложными, умными станками, поезд, автомобиль, самолет в небе... Театр, кино... Яркая волнующая демонстрация Первого мая... Лес, зеленый луг...

Я закрыл глаза, но я все это помню. Даже если бы я и в самом деле ослеп, — все виденное сохранилось бы у меня в памяти...

Вечером я подозвал к себе парнишку, сопровождавшего Зуссермана.

— Ты хорошо знаешь Якова Батюка? Расскажи все, что тебе известно.

Не очень много знал этот парнишка. Я спросил:

— Как ты считаешь, может слепой Батюк быть действительно руководителем подпольной организации?

Мальчик посмотрел на меня чуть ли не с презрением. Ответил резко, с обидой в голосе:

— Да вы знаете, какой он? Вы думаете — он слепой? Как начнет спрашивать, черные очки наставит на тебя, получается гораздо пронзительнее, чем у вас, товарищ Федоров, честное слово! Он, когда на пишущей машинке печатает, еле успевают диктовать. И ни одной ошибки. Он по улице ходит без палочки и, знаете, как быстро. Женя, сестренка его,

рассказывала и Петр Иванович тоже, что в Киеве Яков Петрович тоже по всем улицам свободно без палочки может пройти!.. Кто такой Петр Иванович?.. Ну отец Яши и Жени, конечно. Он тоже подпольщик, но не думаю, чтобы он знал всех. Яков Петрович так поставил работу, что рядовые члены организации знают только свой участок. Я, например, только держу связь с двумя селами. Я был только на одном собрании... И вовсе не ночью, а вечером. Еще было светло. Мне дали знать, что надо придти. Подхожу на улицу Розы Люксембург, туда, где Батюки живут, слышу патефон и голоса: громко поют какую-то украинскую песню. Я даже решил, что не туда попал. Оказывается, действительно там поют. Окна открыты, сидит молодежь, и даже вино стоит. Я уже потом узнал, что вино только для вида...

Все это парнишка выпалил единым духом. А потом замолчал, и мне стоило большого труда его раскачать.

— Яков Петрович тоже пел со всеми?

— Пел. У него сильный голос. Бас.

— И танцевали на этой вечеринке?

— Да, танцевали, и у некоторых девушек были накрашены губы. Но это все нарочно, чтобы соседи думали, что настоящая вечеринка.

— Много собралось людей?

— Человек двенадцать. Но некоторые уходили, а другие приходили.

— А ты долго пробыл?

— Минут двадцать.

— С Яковым говорил?

— Он меня подозвал, нас загородили в углу. Его сестра Женя шепнула мне: «Протяни брату руку». Яков Петрович поздоровался со мной за руку и сказал: «Слабовато. Молодой большевик должен быть крепким!» и так больно сжал, что мне хотелось крикнуть. Потом спросил: «Присягу принимал?» Я кивнул головой, а Женя мне шепнула: «Надо не кивать, а отвечать, брат не видит». Но он, Яков Петрович, не стал переспрашивать. Еще задал такой вопрос: «Партизаном хочешь стать, леса не боишься?» Я сказал, что хочу. «Завтра пойдешь с этим человеком. Все, что он прикажет, — для тебя закон. Ясно?» Я ответил, что ясно, он опять пожал мне руку, и я ушел. Меня проводила Женя. Она уже на улице рассказала, где встретиться с Зуссерманом и все остальное.

— Чем сейчас занимается Батюк, его официальное положение?

— Председатель артели слепых. Это веревочная артель. Там выют из конопли и льна вожжи и канаты. Но там работают не только слепые. Петр Иванович у них заведует хозяйством. Артель получила разрешение от

комендатуры нанимать людей. Я знаю, что там несколько наших комсомольцев на подсобных работах. Слепые ведь не могут все делать. Яков Петрович нарочно держит своих людей...

— А как уладили с немецкой комендатурой? Кстати, Батюк говорит по-немецки?

— Говорит. И Женя тоже говорит и даже хорошо пишет. Комендатура дала свой заказ на конскую сбрую. Но им Яков Петрович такие сделает поставки, только держись!

— А что можно сделать со сбруей?

— Как это, что? Можно протравливать кислотой. Пока веревка сухая ничего. А когда попадет под дождь — вся сразу развалится. Это мне рассказал один наш парнишка... Он меня очень хорошо знает. Не беспокойтесь, товарищ Федоров, уж я-то не проговорюсь.

— Ну, а что же, все-таки, конкретно сделала ваша Нежинская организация?

Мой собеседник долго молчал, собирался с мыслями, может быть, подытоживал в уме все, что знает. Вероятно, только через минуту ответил:

— Товарищ Федоров, вы, по-моему, не должны меня про это спрашивать. Я если и знаю, то через разговоры с товарищами. Это у партизан все на виду, а у нас, подпольщиков, не так. Я знаю, что есть пишущая машинка, а может быть, и две. Знаю тоже, что есть радиоприемник, потому что сам расклеивал листовки со свежими сводками Совинформбюро. Мне тоже известно, что есть у нас диверсионная группа и на перегоне Нежин — Киев недавно взорвался поезд. В душе я уверен, что это наши ребята устроили взрыв. Но официально не могу вам доложить. Я отвечаю за свои действия, ведь правда? Вот, например, Шура Лопотецкий, член нашей группы, я его как-то спросил, где он пропал три дня. А он мне ответил, что если я еще раз спрошу, так он скажет Якову Петровичу. «А на первый раз, — говорит, — получай» — и как дал мне в ухо. И ничего не скажешь, правильно. А вы как считаете, товарищ Федоров?

— Так, пожалуй, если я тебя еще о чем-нибудь спрошу, и ты мне влепишь в ухо?

— Нет, что вы, товарищ Федоров, вы ведь все-таки секретарь обкома партии...

На этом и закончился разговор с парнишкой, сопровождавшим Зуссермана. Не очень-то много я узнал от него о Нежинской организации. Но скоро я буду в областном отряде. Тогда Зуссерман расскажет мне все подробно. Однако даже из отрывочных сведений, которые я получил, складывалось впечатление, что в Нежине у руководства комсомольским

подпольем стоят серьезные, деятельные люди. А сам Яков Батюк, видно, весьма незаурядный человек.

На общем собрании в Ичнянском отряде я прочитал письмо Зуссермана и рассказал кое-что о Батюке. Это произвело сильное впечатление. Кое-кому из руководителей отряда было не очень-то приятно слышать, что «слепой Яша Батюк со своими комсомольцами больше работает и смелее, чем здешнее руководство».

* * *

Положение, которое создалось в то время в Ичнянском отряде, объяснялось тем, что тут, как и во многих отрядах, люди еще искали правильный путь.

Не только Зуссерман и его товарищ из Нежина нервничали. Был в отряде бежавший из плена красноармеец по фамилии или по прозвищу (теперь уже не помню) Голод. Очень шумный, нетерпеливый, отчаянный парень.

— Что мы тут валандаемся, под козырек берем, кашу варим, строим маршируем? — кричал он. — Помирать — так с музыкой! Назвались партизанами — так, давай, будем рубиться, гулять будем!

Он был представителем самой крайней группы. Это были ребята, жаждавшие «вольницы». Бесшабашность, лихость, отчаянный наскок, а потом пей, гуляй, — вот как они представляли себе партизанскую жизнь. До них уже дошло, что мы с Днепровским были вдвоем на совещании старост. Голод решил поэтому, что и я приверженец такой бесшабашной линии. Он пришел ко мне, жаловался и на командира и на комиссара.

— Завели муштру...

Противоположная крайность: надо собраться с силами, надо выждать, надо подучиться, надо внимательно приглядеться к противнику, а уж потом, сообразуясь с возможностями, совершать нападения. Группа, исповедующая такую точку зрения, не имела своего вожака, но была многочисленна. Командование же — Сычов и комиссар Горбатый — держалось середины, лавируя между этими крайностями. И внутренние трения, споры, митинги отнимали массу времени.

У командования не было четкого плана действий. Куда и когда направить удар? Где у противника наиболее слабое место? В каких селах народ крепче поддержит партизан? На эти вопросы никто ответить не мог. Связь с крестьянством была налажена, почти в каждом населенном пункте имелись свои люди, но роль этих людей была пассивная. Примут связного отряда, накормят, спать уложат. Ну, еще расскажут, когда проходили немцы. Но агитационно-пропагандистской работы люди эти не вели, даже

подлинной разведкой не занимались.

Не понимало еще руководство Ичнянского отряда и того, что их районная партизанская группа есть часть большой подпольной армии, что надо наладить повседневную связь с соседними отрядами, с областным штабом, что надо согласовывать планы.

Правда, отряд существует всего два месяца и кое-что он сделал. Снял три раза вражеские заставы, казнил нескольких предателей, заминировал шоссе. Помог отряд укрыться шести бежавшим из немецкого плена красноармейцам; они вошли теперь в его состав. Да и самый факт существования отряда кое-что значит. Право командование и в том, что организация отряда требует времени, и немало.

Но все же Ичнянский отряд больше походил на убежище, в лучшем случае на группу людей, лишь обороняющихся от врага. Командование явно затянуло организационный период. Пора было изменить положение. Многие в отряде это понимали, и они ждали от нас, в частности от меня как руководителя, решительных мер. Наш приход подействовал на людей ободряюще, они почувствовали, что отряд не одинок.

На следующее утро перед строем был прочитан приказ.

ПРИКАЗ

по областному штабу руководства партизанским движением Черниговской области (Омбишский лес)

от 9 ноября 1941 г.

Областной штаб партизанского движения отмечает, что руководство Ичнянского отряда, командир отряда т. Сычов П. П., комиссар т. Горбатый В. Д., секретарь подпольного РК КП(б)У т. Попко, провело организационную работу, в результате чего создан крепкий костяк партизанского отряда для разворота боевых эффективных действий против немецки-фашистских захватчиков. Но этих возможностей руководство партизанского отряда еще не использовало, не развернуло широко партийной и массово-политической работы среди населения, не развернуло широко работу по вовлечению лучших людей в партизанский отряд, не организовало хорошей разведки; отряд не ведет всесторонней беспощадной борьбы против немецко-фашистских захватчиков, не взял инициативы в свои руки в борьбе против немецких оккупантов, не ответил на террор, проводимый фашистами и их агентами, красным террором и мощными ударами по фашистским захватчикам, которые уже убили в Ичнянском районе десятки ни в чем неповинных людей: политрука т. Ярошенко в с. Буромка, колхозника в с. Рожновка, красноармейца в с. Заудайка.

Областной штаб партизанского движения командованию Ичнянского

партизанского отряда *приказывает*:

Немедленно вывести из строя железную дорогу Киев — Бахмач, взорвать железнодорожный мост между Кругами и Плисками, непрерывно пускать под откос немецкие поезда, уничтожать автомашины, склады вооружения, боеприпасов, оружия, уничтожать немцев и их агентов. Уничтожать немецкие отряды в Ичне, Парафиевке, Кругах.

Изъять список регистрации коммунистов. Уничтожить в с. Заудайка старосту и украинских националистов. Провести совещание коммунистов по кустам на протяжении декады, на котором поставить задачу по борьбе с немецкими захватчиками.

Немедленно развернуть широко работу по вербовке лучших людей в партизанский отряд.

Организовать систематическую и глубокую разведку и связь с каждым селом района и с соседними районами, для этого иметь при отряде двух женщин-связных, если есть возможность, мальчика и старика. Иметь в каждом селе 2–3 человек для разведки и связи, чтобы знать каждый день и каждый час, что делается в селах и районе.

Каждый партизан является проводником директив партии и правительства, отсюда и задача каждого партизана — проводить массово-политическую работу среди населения, заботиться о материальных интересах трудящихся, защищать их и помогать в вопросах материальных интересов.

Чтобы обеспечить проведение всех мероприятий, систематически практиковать движение отряда в боевом порядке по селам района, если потребуется, и по другим районам, осуществляя на ходу все задачи, стоящие перед отрядом: уничтожать все враждебные элементы, уничтожать базы врага, мосты, поезда, автомашины и т. д., проводить массово-политическую работу среди населения, организовать материальную помощь трудящимся, чтобы трудящиеся реально чувствовали эту помощь, и т. д.

Основным правилом работы партизан должно быть выполнение боевых задач в сочетании с проведением политвоспитательной работы среди населения: повышение идейно-политического роста партизан, тесная связь с населением, всесторонняя помощь населению, везде и всюду беспощадная борьба против немецких оккупантов.

О выполнении данного приказа доложить областному штабу руководства партизанским движением на Черниговщине.

Начальник областного штаба руководства партизанским движением на Черниговщине

ФЕДОР ОРЛОВ.

* * *

От Гузя сбежала секретарша. Эту новость принес Гриша-лесник. Он сам ее видел, даже разговаривал с ней. Сначала не хотелось и слушать Гришу. Подумаешь, пухленькая, напудренная девица ушла от заместителя бургомистра. Нам-то что до этого? Но оказалось, что история достойна внимания. Девица не ушла, а именно сбежала. Она стала жертвой шантажа. То ли ее отец был ответственным работником и коммунистом, то ли она сама была до войны комсомолкой-активисткой, Гриша как следует не разобрал. Его позвали соседки, приютившие девушку. Девушка ревмя-ревела, говорила очень путано, многое, видимо, скрывала. Но плакала искренно: так показалось Грише. Этот Гузь был когда-то преподавателем в школе, где она училась. После прихода немцев он вызвал ее и предложил работать в управе. Она пыталась отказаться, тогда он пригрозил, что посадит ее, выдаст, и девушка испугалась. Теперь же, увидев всю мерзость немцев и их ставленников, испугалась еще больше. А тут еще выяснилось, что Гузь ее «любит».

— Не могу, не могу, я лучше утоплюсь, но с ними не останусь. Спрячьте меня от них, пожалуйста, спрячьте!

Партизанам же она хотела передать, что завтра Гузь поедет по дороге Припутни — Ичня.

— Убейте его, захватите его, — говорила она. — Я бы сама, но я слабая. Вы не поверите, знаю, я теперь подлая уже, я предательница. Но вы увидите, что я не лгу. Проверьте и тогда судите, делайте со мной все, повесьте, расстреляйте!..

Но это могло быть и провокацией, девицу немцы могли подослать. Я стал вспоминать, как вела она себя на собрании. Видел, что рисовала что-то. Да припомнил еще, что перед началом собрания, когда Гузь говорил с нами на «общие темы», рассказывал, какой будет Украина под покровительством немцев, девица спросила его:

— А как же с высшим образованием женщин?

Он повернулся к ней весь красный и, брызгая слюной, заорал:

— Довольно повозились с вами! Какое женское образование? Муж, дети, печка! Будете кончать начальную школу, да еще швейные и кулинарные курсы.

Секретарша тогда сделала попытку улыбнуться, но скривила такую жалкую, подбострастную гримасу, что тошно было глядеть. И это существо теперь бунтует?

Гришу спросили:

— Почему не привел ее сюда? Тут бы и выяснили, что за птица.

— Она сама пойти побоялась, а силком тащить, ну ее, заорет еще...

Взвесили все «за» и «против», решили, что хоть и есть риск нарваться на провокацию, однако заставу на дорогу выдвинуть надо. А в соседнем лесочке спрятать хорошо вооруженную группу.

На следующее утро старший лейтенант Глат, красноармеец Голод и еще трое автоматчиков битых четыре часа понапрасну лежали на мерзлой земле возле дороги. Гузь не проезжал, не появлялся и отряд немцев.

Конец этой истории стал мне известен гораздо позднее. Тогда же мы негодовали, ругали Гришу: «Развесил уши, поверил». Грише попало основательно и попало напрасно.

Гузь, обнаружив, что секретарши его нет, организовал поиски во всех ближайших селах. Застрял в районе на несколько дней... Но люди, которые решили помочь девушке, были и вернее и сильнее, чем сволочь, помогавшая Гузю. Девушке удалось скрыться. Примерно через месяц она пробралась сперва в Ичнянский, а потом и в областной отряд. Гузь же не избежал народной мести... Но это история последующих дней.

Наша обкомовская группа пробыла в отряде имени Хрущева три дня. Мы отдохнули, надели чистое белье, я наконец-то получил сапоги, скинул свои бутцы на одну ногу. Голенища у сапог были очень узкими, не налезали на икры. Брюки, сшитые в Лисовых Сорочинцах, нависали на голенища. Бороду я сбрил, но оставил усы. Надя Белявская, оглядев меня, с неприязнью заметила, что я стал походить на куркуля, т. е. на кулака. Что ж, удобный грим!

Нам надо было пройти еще километров сто, чтобы добраться до места дислокации областного отряда. К нашей группе присоединились Степан Максимович Шуплик, партизанский поэт, и молодой партизан Вася Поярко. В провожатые нам дали двоих автоматчиков: они должны были довести нас до Десны.

* * *

Недавно я получил в подарок от Степана Максимовича Шуплика книжечку стихов, изданных в Киеве: «Писни партизана дида Степана». В книжечке этой есть такие стихи. Привожу их, не переводя на русский язык:

ГАРНО ПЕРЕНОЧУВАЛИ

Наступила темнота,

Появилась дрімота.

Із далекої дороги

Заболіли у нас ноги.

Мы зайшли в село до хати,

Попросились ночувати,
Нас хозяйка не пускає.
Зайшли в хату — вигоняє.
Ми до неї усурйоз,
Кажем: — на дворі мороз,
Та їй добре розказали,
Хто такие партизани,
Прочитав я свої вірші,
И зробилась вона тихша.
Піч і грубку затопила,
Нам вечерять наварила,
На стіл ставила тарілки,
Унесла нам і горілки.
Гарно пройшла у нас ніч,
Дехто злазив і на піч,
Нам хозяйка й на ранок
Приготовила сніданок,
А в дорогу проводжала,
Бить ворога наказала.

Изложено в этих стихах подлинное наше приключение в селе Воловицы.

В село Воловицы мы пришли, как и написано в стихах, затемно. Намерзлись за день, проголодались и устали ужасно. Разморил нас чуть ли не всех сон. Казалось, — сядь и уж не встанешь. Постучались мы в первую попавшуюся хату. Хозяйка приоткрыла дверь, и тут же в щель я сунул ногу. Прихлопнув мой сапог, хозяйка довольно громко заорала. Но из щели потянуло чудесным теплом натопленной хаты, в нос ударил запах борща и только что испеченного хлеба. Это придало мне сил, я потянул дверь, вошел, а следом за мной и семеро моих спутников.

Какой крик подняла хозяйка! Можно было подумать, что мы разбойники. Впрочем, она приняла нас именно за разбойников, за отчаянных бандитов. Мы пытались объяснить, что, мол, дорогая хозяйка, мы зашли к вам только обогреться, ни на ваше имущество, ни на вашу жизнь не посягаем. Она была глуха к нашим словам и продолжала истошно кричать. Это было тем более неприятно, что, по нашим сведениям, в селе располагался довольно значительный продовольственный отряд немцев.

Товарищи сняли свои автоматы — надоело таскать, — хозяйка же приняла это за угрозу и вдруг смолкла. И только замолчав, стала она понимать, что мы говорим. Говорили мы по очереди, объясняли, кто такие

партизаны, как они защищают интересы народа, и совершенно неожиданно хозяйка спросила:

— Чого ж вы не роздеваетесь?

Немного погодя она предложила нам борща, а когда Степан Максимович почитал ей что-то из своих стихов, она прослезилась и сказала, что у нее и горилка есть.

— Спробуйте с мороза?

Все происходило, как видите, совершенно так, как описал поэт. Только Степан Максимович упустил существенную деталь. Так как Днепровский водки в рот не берет, хозяйка специально для него поставила домашней наливки. А уж это, несомненно, свидетельствовало, что мы сумели расположить ее к себе.

Мы разговорились. Оказалось, что хозяйка — жена бывшего председателя сельсовета; скоро домой вернется «сам».

Рассказала она, что на том конце села ночуют немцы, и при этом выжидающе посмотрела на нас.

Дальше произошло то, что поэт почему-то забыл или не сумел зарифмовать.

Нас всего девять человек. Немцев, как утверждала хозяйка, никак не меньше полусотни, причем на вооружении у них не только автоматы, но и пулеметы. Нападать с нашими силами — безрассудно. Но и не сделать ничего тоже безрассудно.

— Повесили немцы объявление, — сказала хозяйка, — чтобы завтра 240 коров и 80 кабанчиков сдали.

— А где висят объявления? — спросил я. У меня возник замысел: слегка пугнуть немцев.

Хозяйка рассказала, что висят объявления и на столбах и возле бывшего правления артели.

— Вот что, хлопцы, — предложил я товарищам. — Давайте напишем приказ?

Я выложил перед ними свою идею. Хозяйка не совсем понимала, что мы собираемся делать, но охотно дала и чернила и перо. Спать уже никому не хотелось. Мы увлеклись, и вскоре «приказ» был написан и размножен в десяти экземплярах.

ПРИКАЗ

Командуочого партизанським рухом на Чернигівщині генерал-лейтенанта Орленко

м. Чернигів, листопад 1941 р.

Только я продиктовал эти строки, хозяйка с восторгом в голосе

спросила: «Так у вас, значит, большие силы есть?»

«Німецько-фашистські окупанти за допомогою їх слуг, поліцаїв, куркулів, українських націоналістів і іншої сволочі грабують український народ, наклали на селян контрибуцію: хліба, скоту, картоплі і інших продуктів.

З метою усунення грабіжницьких дій німецьких фашистів загарбників і їх слуг

Приказую:

1. Категорично заборонити всім громадянам вивіз хліба, скоту, картоплі і інших продуктів — контрибуції німецьким окупантам.

2. Особи, які порушать цей приказ — повезуть хліб, скот, картоплю і інші продукти німецьким фашистським окупантам, будуть покарані суворою революційною рукою, як підлі зрадники Радянської Батьківщини.

3. Командирам партизанських отрядів виставити секретні пости на шляхах підвозу продуктів до пунктів.

4. Старости, поліцаї, які будуть виконувати розпорядження німців про вивіз контрибуції (хліба, скоту, картоплі і інше) німецьким грабіжникам, будуть негайно знищені з їхнім гадючим гніздом.

Товарищі селяни і селянки! Не дамо ні жодного кілограма хліба, мяса, картоплі і інших продуктів німецьким фашистським грабшіжникам!»[4].

* * *

Хозяйка гвоздей не нашла, клею у нее тоже не было. Надя Белявская увидела на подоконнике коробочку патефонных иголок — решили их использовать. Сразу после ужина Вася Зубко и Плевако, а с ними как провожатая и сама хозяйка отправились; и всюду, где были немецкие объявления, посрывали, а на их место прикалывали наши приказы.

Хозяйка устроила нас всех очень уютно. Днепроровский, которого мучил ревматизм, полез на печь. Спали мы прекрасно. Разбудила нас хозяйка, когда уже рассвело. Оказывается, вернулся ее муж и рассказал... что в Воловицах не осталось ни одного немца — удрали.

Признаться, когда мы сочиняли наш приказ, мы не рассчитывали на такой эффект. Просто хотелось показать, что партизаны не дремлют. И вот неожиданный результат. Значит, враги очень неуверенно чувствуют себя на советской земле.

Хозяин, правда, рассказал, что во главе продотряда стоял какой-то щупленький и трусливый интендант. Как только ему сообщили о «приказе», он забегал, засуетился, сказал, что разведка давно ему докладывала о приближении большой группы партизан.

Утром всех нас прекрасно накормили, а потом хозяин довел нас до

берега Десны и показал узкий, хорошо промерзший переход. Показал он нам и кратчайший путь в селение Рейментаровку, Холменского района.

— До побачения, товарищи! — сказал он на прощание. — В Рейментаровке есть люди, що знают Миколу Напудренко... — так почему-то искажали фамилию Николая Никитича многие крестьяне окружающих сел.

Жаль, забыл фамилию наших воловицких хозяев. И он и она, несомненно, очень хорошие советские люди.

Здесь, у Десны, нас должны были покинуть и автоматчики; отсюда начинались довольно густые леса, прятаться было легко, и мы могли обойтись без них. Когда прощались, один из автоматчиков вдруг заявил, что он хотел бы поговорить со мной наедине.

* * *

Мы отошли в сторону, в кусты. Говорить товарищ начал не сразу, и у меня было время повнимательнее разглядеть его. Признаться, шли мы вместе около трех суток, разговаривали, но особенно я ни к тому, ни к другому из наших провожатых не присматривался. Бойцы — партизаны — один помоложе, другой постарше. Теперь же, заинтригованный, я разглядывал его внимательно.

Передо мной стоял высокий пожилой мужчина в драповом, погородскому сшитом пальто. На переносице след от пенсне. Вспомнил, что по пути автомат свой он то и дело перевешивал с плеча на плечо. Судя по всему, человек городской, интеллигентного труда. «Ну, — думаю, — хочет пожаловаться на руководство отряда».

— Товарищ Федоров, — начал он неуверенно, однако строго официально, я обращаюсь к вам как к депутату Верховного Совета, члену правительства. Дело в том, что меня могут убить...

— Кто? Почему?

— Я думаю, немцы или националисты, да и... вообще, знаете, война.

— Да, это, действительно, может случиться, — вынужден был согласиться я. — Только вы уж, пожалуйста, покороче. Кабинета, как видите, нет, закрываться негде. Давайте, выкладывайте ваш секрет.

Тогда он заторопился, стал расстегиваться и отвернул полу своего пальто. Пальцем он подпорол подкладку и вытащил плоский, довольно объемистый пакет.

— Вот, — сказал он и протянул пакет мне. — Здесь двадцать шесть тысяч четыреста двадцать три рубля. Деньги эти принадлежат Лесозаготовительной конторе Наркоммясомолпрома. Кассовая наличность на день эвакуации из Киева. Я старший бухгалтер, моя фамилия...

Я записал тогда фамилию этого товарища, но запись эту потерял — за три года партизанской жизни немудрено.

Назвав свою фамилию, бухгалтер продолжал:

— Я эвакуировался с группой сотрудников, по пути поезд наш разбомбили немцы, а потом я попал в окружение, а потом... сколько я пережил, раньше чем попасть в отряд. Я очень прошу вас — примите, в этих условиях я их не могу держать. Деньги государственные, а у меня не только сейфа, даже чемодана нет, а, кроме того, меня могут убить...

— Но почему вы не сдали командиру отряда? Если бы вас убили или даже ранили, товарищи стали бы осматривать ваши вещи... Вас бы сочли за мародера шли...

— В том-то и дело! Но командиру, товарищ Федоров, я не могу сдать. Надо подписать приемо-сдаточную ведомость, а он не облечен...

— Слушайте, товарищ бухгалтер, не пойму я только, почему вы все это засекретили. Казалось бы, наоборот, при свидетелях...

— Нет, знаете, крупная сумма, а люди неизвестные, и такая обстановка.

— Ладно, давайте свою ведомость, где расписаться?

— Вот тут, но только, пожалуйста, пересчитайте.

— Зачем? Ведь я их все равно сейчас сожгу.

— Но пересчитать надо, товарищ Федоров. Вы не имеете права мне доверять.

— Вам больше доверили. Вам доверили оружие, охрану людей. Я же вижу, вы честный человек, зачем же тратить час, а то и больше на перелистывание бумажек?

— Товарищ Федоров! — воскликнул бухгалтер, и в голосе его появилось раздражение. — Я понимаю, но иначе не могу. Я тридцать два года имею дело с деньгами как кассир и бухгалтер...

Я пожал плечами, вздохнул и принялся считать. На это ушло действительно больше часа. Все, конечно, оказалось в точности до копейки. Должно быть, со стороны выглядели мы очень странно. На берегу замерзшей реки, в кустарнике, припорошенном снегом, сидят два пожилых человека и пересчитывают деньги.

Потом мы сожгли их, и я грел пальцы над этим своеобразным костром: пальцы замерзли, пока я считал.

Товарищи, ожидая нас, тоже продрогли. Зубко и Плевако особенно сильно. Обеспокоенные моим долгим отсутствием, они по-пластунски, прижимаясь к холодной земле, поползли к месту, где мы укрылись с бухгалтером.

— Нет вас давно, мы уж думали... Но когда увидели, что вы считаете деньги, — успокоились, — сказал Плевако.

Бухгалтер посмотрел на него удивленно, вероятно, не мог понять, как можно равнодушно относиться к деньгам. На прощанье он долго жал мне руку.

— Спасибо, товарищ Федоров! Теперь я буду свободнее себя чувствовать, воевать стану лучше, не так буду бояться, что убьют.

* * *

Еще в Ичнянском отряде мы узнали, что Попудряко со своими людьми перешел из Корюковского в Холменский район. Поэтому-то мы и направились в Рейментаровку — село, расположенное на опушке большого леса. Что там есть люди, связанные с областным отрядом, было несомненно. Однако по опыту предыдущих поисков мы понимали, что найти партизан не так-то будет легко.

В Ичнянском отряде мы отдохнули, переоделись, сил теперь было больше. Погода установилась приятная: небольшой мороз, изредка снежок — середина ноября. Идти было легко, ноги не вязли в грязи. Я заметил, что товарищи стали молчаливее. Всем нам было о чем подумать.

Два месяца я нахожусь на территориях, занятой немцами. Что же произошло в стране, каков ход войны?

За все время я только дважды слушал радио: в хате Голобородько и в Ичнянском отряде. Слушал жадно, стараясь по отрывочным сведениям, по двум-трем сводкам Совинформбюро составить себе представление о всем ходе войны. Бои шли на ближних подступах к Москве; над нашей столицей, сердцем нашей Родины, нависла серьезная угроза. И, может быть, нигде так тяжело, с такой болью не воспринимались эти известия, как в оккупированных районах.

У бойцов и командиров Красной Армии, у рабочих и руководителей производства в нашем советском тылу, у колхозников свободной советской территории — конкретная, ясная, совершенно определенная работа. А мы, подпольщики, еще только ищем пути и организационные форумы, еще только собираем силы, вооружение.

Что я увидел и чему научился за эти два месяца?

Видел я многое, встречался с сотнями, разговаривал с десятками самых разнообразных людей.

И я стал суммировать, обобщать наблюдения; оценивать встречи, разговоры, мысли; искать главное и типичное. Ведь без этого нельзя нащупать верную тактику подпольной и партизанской борьбы.

В памяти остались те эпизоды, о которых я уже написал. Впрочем,

тогда я помнил гораздо больше, все было ближе и свежее. Но главные эпизоды именно эти.

На память свою, между прочим, пожаловаться не могу. Она отбирает факты и наблюдения наиболее нужные, типические.

Например: незадолго до оккупации немцами Чернигова я вместе с группой будущих подпольщиков проходил семинар по минно-подрывному делу. На одном из занятий в кармане у меня были термические спички. Я нечаянно стукнул по карману, спички вспыхнули и жестоко обожгли ногу, о чем, я разумеется, забыть не мог. А когда писал о последних днях пребывания в Чернигове, случай этот ускользнул все же из памяти.

Но вот другой эпизод запомнился во всех деталях. Это было в хуторе Петровском, я сидел как-то на крылечке хаты. Ко мне подошли две женщины, чем-то взволнованные.

— Вы, мабуть, партийный? — спросила одна из них.

Я ответил отрицательно. Обе разочаровались. Когда же я попытался выяснить, в чем дело, они неохотно рассказали, что спорят из-за поросенка. Маруся будто бы украла у Пелагеи. Но Маруся утверждала, что поросенка этого, когда он еще был маленьким, сын Пелагеи украл у ее сестры.

— Так зачем же вам коммунист? — спросил я споривших с недоумением.

— К кому же обращаться, суда теперь не мае, милиции тоже нет. Есть староста, есть и полиция в районе, та то ж хибя судьи?!

Бухгалтер, о котором я рассказывал, сдал мне деньги не как Федорову, внушившему ему личные симпатии, а как депутату — доверенному лицу народа.

Вот этот случай со спорщицами вспомнился мне не столько потому, что он забавный, сколько потому, что он характерен для отношения народа к коммунистам.

В селе Борок мне рассказали о таком происшествии. Немцы захватили у дороги группу людей. Это не была организованная группа. Просто попутчики. Пробивались они в партизанские леса, сошлись случайно и знали друг друга мало. Были в группе: два бежавших из лагеря окруженца, оба члены партии; один председатель колхоза, — он поджег оклад зерна и заскирдованный хлеб, а потом правильно решил, что лучше ему из своего села уходить; был инструктор райкома комсомола; последним к группе присоединился дядька лет сорока, рядовой колхозник из ближнего села. О нем его товарищи почти ничего еще не знали.

Трое из членов группы — предколхоза, инструктор райкома и один из окруженцев — имели неосторожность сохранить при себе документы.

Второй окруженец, хоть и спорол с петличек шинели лейтенантские «кубики», но от них остались темные следы — немцы поняли, что он офицер Советской Армии. Все, кроме последнего дядьки, были вооружены пистолетами. Патруль захватил группу спящей в придорожном кустарнике. Но товарищи все же попытались отбиться, ранили двух солдат.

Группу привели в село. Немцы объявили населению, что арестовали партизан. В центре села возвели дощатый помост и четыре виселицы. В день казни на площадь согнали население ближних сел и хуторов. Но казни оккупантам было недостаточно. Они решили устроить видимость суда. В то время немцы еще заигрывали с крестьянством, хотели показать, что бунтуют и нарушают «новый порядок» пришлые элементы. Комендант в своей вступительной речи оказал:

— Мы будем уничтожать коммунистических партизан, которые есть враги не только для германской империи, они есть враги тоже для украинских земледельцев. Мы будем показывать справедливый суд над комиссарами, партизанами и политработниками.

Все видели, что на помост привели пятерых. Виселиц же было всего четыре.

Трое коммунистов и беспартийный председатель колхоза уже после допроса в комендатуре поняли, что пощады им ждать не придется. Их привели со связанными за спиной руками, в разодранной одежде, с разбитыми, окровавленными лицами. Пятого их товарища привели позднее, тоже связанного, однако одежда его была цела, на лице — ни царапинки. Первые четверо держались с достоинством, гордо закинули головы, смотрели на своих мучителей с презрением. Пятый был явно растерян. Он бросал взгляды то на немцев, то на виселицы, то на собравшийся народ. Создавалось впечатление, что он предатель.

Немцы начали публичный допрос. Комендант по очереди обращался к каждому:

— Отвечай громко, кто ты есть.

— Я офицер Красной Армии и член партии! — твердо ответил первый.

— Я кандидат партии, работник комсомола, — ответил второй.

— Я беспартийный большевик, председатель колхоза, — ответил третий.

— Я сержант Красной Армии, коммунист, хотел стать партизаном и безжалостно уничтожать немецкую погань! — крикнул четвертый. — Товарищи колхозники, мстите без жалости этим гадам, уходите в леса, вооружайтесь...

Ударом кулака комендант сбил его с ног.

— Прекращайте агитация! — завопил он. — Довольно! Я объявляю приговор. Крестьяне все имели видеть, кто бунтовщики и бандиты. Эти четыре есть участники большевистского руководства. Для них нет пощады, для них мы производим виселица. Но мы справедливый суд, мы спрашиваем пятый, кто ты есть? Он есть простой крестьянин, скажи, я говорю правда? — обратился комендант к пятому.

— Да, — ответил пятый, — голос его дрожал, — я простой колхозник...

— Ахтунг! — подхватил комендант. — Всем слушать внимательно! Этот простой крестьянин получает помилование и свободу, чтобы копать земля, выращивать хлеб и плоды...

— Товарищи! — во всю силу легких закричал пятый. — Я не предатель, я тоже большевик...

Комендант задохнулся от злости, он был сбит с толку, он не мог поверить, что человек сам ищет смерти.

— Вас?.. Что, зачем?.. — прохрипел он.

Пятый продолжал:

— Я не член партии, я комсомолец. Да, да, не смейтесь, я был комсомольцем... Карпенко! — крикнул он кому-то в толпу, — подтверди, ты знаешь, я был комсомольцем с 1918 по 1926 год... — Он повернулся и плюнул в сторону коменданта: — кат, гнус, делить хочешь, предателем меня выбрал, не надо мне такой жизни. Заявляю — я комсомолец, коммунист, партизан, бунтовщик, революционер. Что взял? Купил?..

К нему подскочили солдаты. Одного из них он стукнул головой в зубы, другого сшиб с помоста ударом ноги в живот. На него навалились, он продолжал отбиваться и кричать. Из кучи тел вырывались слова:

— Нет, старого комсомольца не купишь!.. Ребята, хлопцы, бей эту сволочь!

И тогда четыре его товарища со связанными на спине руками кинулись в кучу и стали бить солдат сапогами, коленами, рвать их зубами.

Комендант расстрелял всю обойму своего пистолета в воздух. На помощь ему прибежал еще десяток немцев.

Целую неделю на сельской площади висело пять трупов. На четырех из них немцы прицепили таблички: «коммунисты», на пятом табличку: «старый комсомолец».

Припоминаю еще один эпизод. О нем мне рассказала Евдокия Федоровна Плевако, а позднее рассказывали и другие люди.

Некая колхозница в дни вражеского наступления пошла на реку полоскать белье. И вдруг слышит вопли тонущего человека. Она его

вытащила на берег и только тут обнаружила, что спасла немецкого офицера. Он стал горячо благодарить. Но колхозница была страшно расстроена. И как только немец отвернулся, она стукнула его камнем по голове и сбросила в реку, да еще ногой для верности подтолкнула.

Такой случай, конечно, мог произойти. Но важнее, что о нем говорили в разных местах, он стал как бы народным сказом. Характерно, что конец этой история, где бы о нем ни рассказывали, был одинаков: колхозница пошла потом в партизанки.

На Украине не было тогда ни подпольных радиостанций, ни наших большевистских газет. О настроении народа, его жизни мы, подпольщики, узнавали только из встреч с людьми, из личных наблюдений. И как бы ни были наши наблюдения ограничены, а подчас и случайны, все же основное мы уловили.

Подавляющее большинство украинского народа ненавидит немцев. Ненавидят женщины и мужчины, подростки и дети. Ненавидят рабочие и колхозники, люди интеллигентного труда и домашние хозяйки.

Немцы опираются на развращенных, подлых, трусливых и ничтожных людей. А в слабых и в колеблющихся стараются раздуть темные стороны их души: алчность, властолюбие, невежество, антисемитизм, национализм, фискальство, раболепие. Но таких людей в нашей стране очень мало. Ничего немцы в характере нашего народа не понимают.

Я убедился на жизненных примерах, что народ в исключительно трудных условиях вражеской оккупации по-прежнему видит в коммунистах своих руководителей. И там, где коммунисты организованы, организовано и население.

Я убедился, что заблаговременная подготовка большевистского подполья и партизанского движения дала свои, несомненно, положительные результаты.

Коммунисты на Черниговщине действуют, организация существует. Меня окружают товарищи по работе, члены большевистской организации, мы здесь не случайно, мы выполняем волю партии, волю народа.

Теперь я уже твердо знал, что у нас есть отличные предпосылки для развертывания мощного партизанского движения.

* * *

Размышления мои прервал Вася Зубко. Он показал на перекресток дорог, что был впереди нас метрах в трехстах.

— Алексей Федорович, глядите, наши! Честное слово, наши!!

Пересекая дорогу, по которой мы шли, мчались на галопе человек десять, судя по всему, партизаны: кто в шинели, кто в ватной куртке; была

среди них и женщина.

— Глядите, глядите, у женщины клинок привязан и автомат. Определенно, партизаны! — восторженно закричал Вася, свистнул в пальцы и побежал вперед.

Сомнений не могло быть. Я тоже крикнул, но сразу понял, что ни крик наш, ни свист партизаны не услышат. Выхватил пистолет и выстрелил троекратно в воздух. Надя Белявская тоже вытащила из кармана кожанки браунинг, нажала курок; пистолет на отдаче вырвался у нее из руки; она, оказывается, впервые из него стреляла.

Не могли, конечно, всадники не услышать выстрелов. Но не откликнулись, и ни один не свернул к нам. Видимо, они заняты своим заданием, им не до нас.

Досадно, но что делать? Побрели мы дальше. Случай этот дал пищу для разговора. Мне показалось, что в одном из всадников я узнал Васю Коновалова, актера Черниговской драмы, а Надя клялась, что в группе был сам Попудренко.

Потом стали спорить, правильно ли партизаны поступили, что не обратили внимания на выстрелы.

— И хорошо, что так получилось, — буркнул Днепровский. — Когда б они обратили внимание, нам же было бы плохо. Кто стреляет? — ясно, немцы. Зачем же в воздух отвечать? И они так бы ответили, что будь здоров!

Да, и это могло быть. Но все же жаль было, что те не остановились. А вдруг они к нам навстречу высланы?

В Рейментаровку пришли поздно, затемно. Село показалось угрюмым. Ветер качал большие деревья, выла собака; людей не видно. Проходя мимо одной из хат, мы слышали монотонный старушечий голос. Старушка громко, старательно молилась. Я постучал в окно. Она смолкла. Постучал громче. Отворилась форточка, и я увидел протянутую руку.

— Возьми, — прошептала старушка.

Я взял. Это был большой кусок хлеба.

— Да нет, бабуса, нам бы переночевать, — сконфуженно сказал я.

— Це не можна.

Пошли дальше. Уже совсем стемнело.

— Посмотрите-ка направо, — оказал Шуплик.

В темноте, будто волчьи глаза, светились яркие точки.

— Так то ж курят мужики, — догадался Плевако.

Так и оказалось. Возле колхозной конюшни сидели старики, человек, верно, восемь, и курили. Они слышали шум наших шагов и выжидающе

замолчали.

Стали мы завязывать разговор. Спросили, когда были немцы, какие тут в селе дела. Отвечали нам из темноты уклончиво, советовали к старосте сходить. Один из стариков поднялся, выругался и пошел, а потом мы услышали, ускорил шаг и побежал.

Все это не предвещало ничего хорошего. Из-за леса поднялась луна. Я знал приблизительно, где расположена хата председателя колхоза имени Первого мая Наума Коробки.

Коробки дома не оказалось, а жена его открыть нам не пожелала. Тогда постучались в соседнюю хату. И так нас разморила к этому времени усталость, что голоса наши звучали просительно, неуверенно.

Хозяин вышел на крыльцо и довольно грубо предложил убираться.

— Много тут шляется!

В это время на улице затарахтела повозка. Ближе, ближе и остановилась возле нас.

— Картошку привезли, — ни к кому не обращаясь, сказал хозяин.

С повозки соскочили трое. Я и приглядеться к ним не успел, а они уже окружили меня, и один скомандовал:

— Руки вверх!

Но тут же, почти без паузы:

— Товарищ Федоров! Ребята, Федоров прибыл, Алексей Федорович!

И начались сразу объятия, Первым умудрился меня обнять и расцеловать хозяин хаты. У него, оказывается, была явочная квартира.

На повозке приехали из отряда актер Василий Хмурый, Василий Судак и Василий Мазур — три Василия. Тут, в Рейментаровке, колхозницы выпекали хлеб для областного отряда; повозка за ним и приехала.

— Готов, готов ваш хлеб, — сказал я и показал Хмурому еще теплый кусок, полученный от старушки.

И я не ошибся. Старушка действительно пекла для партизан. Все село было партизанским. Немцы сюда и нос-то сунуть боялись.

Партизаны стали нас уговаривать сейчас же ехать в отряд — тут всего пятнадцать километров.

Но мы предпочли сперва выспаться.

Утром, до света, уселись на повозку и потихоньку двинулись в лес.

* * *

На повозке лежали пышные, душистые караваи пшеничного хлеба. Их прикрывал брезент. Маленький мохнатый коняка тащил повозку по узкой лесной дороге, тащил не спеша и все время шевелил ушами, будто прислушиваясь к разговорам. А мы говорили без усталости, говорили,

захлебываясь, часто и весело смеялись, своими голосами будили птиц. Галки поднимались, недовольно кричали, ругали, верно, этих не в меру, совсем не по-лесному, шумных людей.

Из-за кустов и деревьев выходили строгие люди с автоматами, но как только узнавали, кто едет, кидались пожимать руки и норовили наспех что-то рассказать. Они ведь тоже из Чернигова.

— А помните, товарищ Федоров, как вы тогда в театре перед нашим выходом в лес давали напутствие?

— Помню, конечно же, помню.

— И один вас спросил, как быть с язвой желудка? Вы тогда сказали: «Оставьте язву здесь, а сами идите воевать!»! Это я был, — рассказывает часовой заставы, — и вот воюю, язвы не чувствую...

Потом другая застава, и другой часовой спрашивает:

— Навсегда к нам, товарищ Федоров?

— До победы!

— Я с музыкальной фабрики, столяр, помните?

— Помню!

Только светало, когда повозка остановилась на лужайке, рядом с легковой машиной. Под густыми низкими ветвями елей видны холмики — крыши землянок. Возле одной из них возился с ящиком толстый маленький человек. Он поднял лицо, стал вглядываться.

— Капранов! — кричу я. — Василий Логвинович! Что ж, своих не признаешь?

Он кубарем подкатился к нам, взволнованно говоря:

— Вот, черти, что ж не предупредили. Я бы самовар, я бы закусочку приготовил... Дома мы тут, совсем дома, привыкли... А вот в той землянке Николай Никитич и комиссар там. Спят. Ну, да правильно, будите их!

Мы наклонили головы, вошли в землянку.

— Долго, долго спите!

Попудренко не сразу и узнал. А узнав, даже прослезился на радостях. Мы с ним, конечно, расцеловались. А потом поднялись все. Нас, прибывших, разглядывали, оценивали наши костюмы и бороды, хлопали, жали руки, обнимали. Подвели нас к большому столу. И вокруг стола собрались все черниговцы, горожане; знакомые лица, дружеские улыбки...

Над большим котлом стоит столб пара. Все тянутся туда, вытаскивают по картофелине. Василий Логвинович разлил по кружкам спирт.

— Скажите что-нибудь, Алексей Федорович!

Я был очень взволнован.

— Ну что ж, товарищи, — сказал я, подняв железную кружку. — Мы

живы, и это уже хорошо! Ни вы меня, ни я вас не подвели и не обманули. Договорились встретиться в лесу — выполнили! Тут, пока я к вам пробирался, болтали мне, что вы разбежались. Я не верил. Говорили и вам, наверное, обо мне всякую ерунду. Но за эти два месяца мы подросли, кое-чему научились, на мякине нас немцы и всякая сволочь не проведут! Вы здесь учились, я — в пути. А теперь давайте как следует воевать. Воевать вместе с другими отрядами, вместе со всем украинским народом, вместе с Красной Армией!

Землянка была битком набита, и вокруг, на поляне, тоже стоял народ; все, кто мог, прибежали сюда. Мы с Николаем Никитичем вышли на поляну. Сам собой организовался митинг.

Книга вторая
БОЛЬШОЙ ОТРЯД
ГЛАВА ПЕРВАЯ
ПЕРЕД БОЕМ

Областной отряд дислоцировался в Рейментаровском лесу Холменского района. Наша группа прибыла сюда 17 ноября 1941 года. Здесь теперь наша база, областной центр, место жизни и работы.

17 ноября 1941 года — очень радостный для меня день. Никогда его не забуду. Я встретился с черниговцами, со своими друзьями и соратниками; я своими глазами увидел, что существует, действует областной отряд и члены подпольного обкома руководят им: Попудренко, Капранов, Новиков, Яременко это все люди, которых я знаю много лет по работе, знаю как коммунистов. Был здесь и Дружинин. Он прошел, подобно мне, через всю область. Попудренко назначил его комиссаром кавалерийской группы, которая по-прежнему располагалась в Гулино, где вначале стоял областной отряд; Дружинина я встретил немного позже.

Чувство большой радости, прямо-таки ликования, заслонило на первых порах все. Не хотелось, да и трудно было в таком настроении замечать недостатки.

Я уже писал, что сразу по прибытии нашей группы собрали весьма торжественный завтрак с чаркой, а потом митинг. После митинга нас, пришельцев, омолодил парикмахер.

Часов в двенадцать собрался обком.

Разговаривали в штабной землянке. Добротное помещение. Высокая кровля, стеклянное окошко. Посредине стол на врытых в землю ножках. В углу велосипед на специальных козлах. От его заднего колеса привод к динамке. Товарищи часами «катались» на нем — заряжали аккумулятор радиоприемника. Рядом, на ящике, и сам приемник, снятый с самолета.

Часть землянки отгорожена большой занавесью. Занавесь открыта, и видны деревянные нары: «спальня» руководящих кадров. На этих нарах сено, ватники, попоны, одеяла и даже две подушки. На табурете, в углу, ведро с водой. Стены украшены портретами вождей. Вот, пожалуй, и все. На столе, разумеется, карта, чернильница, лампа и остатки закуски.

Члены обкома, как и все бойцы и командиры, были одеты в ватные пиджаки, ватные штаны. Только некоторые щеголяли в кожаных пальто или куртках.

Собралось человек двенадцать. Плотно окружили стол. Николаю Никитичу Попудренко предложили первому отчитаться, а вернее, просто рассказать о делах отряда и обкома.

Слушая, я невольно сравнивал его с тем Николаем Никитичем, которого знал по Чернигову. Выражение лица, манера держаться — все обличало в нем партизанского командира. Он, несомненно, гордился своим новым положением. Это и по одежде было заметно. Кожаная куртка перетянута ремнем. Через плечо — новенькая португепя. Папаха заломлена, как у Чапаева. Два пистолета за ремнем. Брови сдвинуты, взгляд полон решимости...

Я хорошо знаю Николая Никитича, Думаю, что правильно понял и эту его склонность к внешнему параду. Человек он был очень добрый, а в семейных отношениях и очень нежный. Он, видимо, боялся того, что бойцы легко распознают его душевную доброту и мягкость и это может как-то повредить его командирскому авторитету. Отсюда и стремление к грозному виду.

Однако доброта и нежность отлично уживались в этом человеке с большой волей и непримиримостью ко всему, что противоречило его партийной совести.

Говорил Николай Никитич с воодушевлением, тоном митингового оратора:

— Мы не имеем права скрывать от обкома, от самих себя, что надвигается зима, что запасы продовольствия и обмундирования истощаются, что уже нет табака. И мы знаем также, что против нас ополчился, окружил лес жестокий, коварный, неумолимый враг. Сейчас против наших отрядов немцы выставили полторы тысячи солдат. Завтра, быть может, бросят против нас четыре, пять тысяч. Что ж, мы гордимся этим! Каждый партизан стоит десяти фашистов! И чем больше мы отвлечем на себя сил здесь, в тылу врага, тем меньше будет их на фронте. Смелость, смелость и еще раз смелость, — вот что от нас требуется, товарищи! Партизаны — мстители народные — презирают смерть. С

каждым днем дерзость наших ударов будет возрастать. Полетят под откос десятки вражеских эшелонов, полетят в воздух немецкие штабы...

Кто-то из присутствующих, как бы про себя, сказал:

— Для этого нужна взрывчатка.

Я попросил Николая Никитича ответить на несколько вопросов. Почему передислоцировались из Гулино? Чем занимается обком? В каком положении связь, разведка? Как дела в районах?

Ответы меня не обрадовали. Передислоцировались по вполне основательным причинам: здесь гуще леса, легче прятаться от немцев. Но сюда перебралась только часть отряда. Кавалерийская группа осталась на прежнем месте. Называли ее кавалерийской теперь уже условно. Оказывается, большую часть лошадей сдали Красной Армии, когда она проходила, отступая, через эти районы. Сдали потому, что сочли рискованным держать у себя лошадей.

— Пеший и за кустом спрячется. А всадника видно издалека.

Очень плохо обстояло дело со связью. Радиостанцию зарыли на базе Репкинского отряда. Радисты попали в руки немцев, и теперь никто не знал, где спрятана рация, найти ее невозможно.

— Продовольственные базы, — сказал Попудренко, — сохранились. На питание не жалуемся. Оружие тоже есть. Но со связью дела неважные. Сводки слушаем, музыки хоть отбавляй, а с фронтом и с советским тылом сообщения нет. Послали несколько групп, составленных из коммунистов и комсомольцев, с заданием перейти фронт, связаться с армейским командованием. Результатов пока нет. Известно, что две группы попали в лапы немцев. С районами и другими отрядами связь постоянная: конная и пешая. В наших лесах дислоцируются четыре отряда: Рейментаровский, Холменский, Перелюбский и Корюковский.

Чем занимается обком? Все члены его загружены полностью отрядными делами: Яременко — комиссар, Капранов управляет хозяйством, я командую... Учтите, что и народ в области не знает, где мы. Даже коммунисты и то не все знают. До оккупации ясное дело — областной центр — город Чернигов. Исторический центр. К нему естественное политическое и экономическое тяготение. Но в Чернигове немцев полно — туда обком не посадишь.

А здесь, в лесах, конечно, не экономический и не административный, а только наш большевистский центр. Можно ли отсюда руководить всей областью, да еще при наших-то средствах связи? Можно ли охватить своим влиянием всех коммунистов, всех комсомольцев, всех наших советских людей? Нужно ли к этому стремиться? Давайте обсудим. Я, — заключил

Попудренко, — сомневаюсь.

Заметно было, что Николай Никитич не очень-то верит в возможность сочетания партийной и военной, то есть партизанской работы.

— Наша основная задача, — говорил он, — поддержать отсюда, из тыла, Красную Армию. Ослабить немцев, помешать им прочно обосноваться и грабить население. Мы должны ежедневно громить их на дорогах, рвать поезда и железнодорожные мосты. Небольшими, подвижными, легкими группами проверенных людей наскакивать, бить и прятаться. Мы не можем действовать крупными силами, не можем базироваться на одном месте...

В словах его чувствовалась какая-то неуверенность. Казалось, он убеждал не только меня и весь состав подпольного обкома, но и самого себя.

В штабную землянку ворвался взволнованный дежурный:

— Разрешите обратиться, товарищ командир! Разведка сообщает, что с новгород-северского направления в сторону Холмов движутся немецкие части. На машинах и конные...

Попудренко прервал заседание. Мне показалось, он был рад, что заседание так неожиданно закончилось. Он вызвал командиров, отдал приказ всему боеспособному составу отряда выстроиться. Поставив разведчиков во главе колонны, Николай Никитич сам вскочил на коня и скомандовал:

— Шагом... арш! Бегом!

Нас, прибывших сегодня, на операцию не взяли. Решили, что нам нужно отдохнуть, Помыться в бане. Помывшись и отдохнув, я пошел прогуляться по лагерю, мне хотелось его осмотреть. Несколько землянок, пять или шесть: штабная, три жилых, госпиталь; одна землянка была еще недостроена, для нее рыли котлован. В ней предполагалось установить типографскую машину, печатать газету и листовки.

Крыши землянок поднимались чуть заметными холмиками. На них был уложен дерн, а на некоторых даже посажены кусты. Легковую машину М-1, которой давно уже не пользовались, в целях маскировки наполовину зарыли в землю и прикрыли ветвями. С воздуха партизанский лагерь обнаружить было нелегко.

На земле же не только обнаружить, — проникнуть в лагерь не составляло особого труда. В радиусе ста — ста пятидесяти метров от центра дежурили всего трое часовых.

Два плотника околачивали настил для печатной машины. Я заговорил с ними. Потом подошло еще несколько партизан. Из их рассказов мне стало

понятно, что дела в отряде далеко не благополучны.

Бойцы были недовольны, но чем? Они и сами не смогли бы объяснить. Попудренко им нравился, и к другим руководящим товарищам они относились с полным доверием. Только Кузнецов — начальник штаба — вызывал их возмущение: много пьет, с народом груб, а главное — в деле ничего не смыслит.

О Попудренко говорили восхищенно: храбрый, толковый, умный командир. Правда, перехватывает иногда: слишком горяч. Но справедливый и, когда нужно, добрый. А против врага так лют, что лучше и не надо. А все-таки...

Довольно долго я не мог понять, что кроется за этим уклончивым «а все-таки».

Мне рассказали, как по пути из Гулино, когда отряд перекочевывал на новое место, решили уничтожить старосту — предателя из села Камка.

Сам староста сбежал. Его не удалось настигнуть. В сарае у него обнаружили сто седел, которые немцы оставили ему на хранение. Седла эти могли пригодиться в отрядном хозяйстве, но их сожгли. То ли из озорства, то ли от досады, что староста утек. У народа осталось впечатление несерьезности, какой-то ненужной лихости, чуть ли не хулиганства.

— Зачем зря уничтожать добро? Когда бы действительно нельзя было забрать и оно могло к немцам попасть... Неужели мы, товарищ Федоров, так и останемся без кавалерии? Будем по мелочам... Прыг-скок, там мотоцикл подорвем, там немца убьем, а там, глядишь, собаку-ищейку отравим и выпьем на радостях: ай да лихие партизаны!

Это говорил солидный, усатый дядька лет сорока. Он копал котлован. Воткнув лопату в землю, он вытер руки о штаны и продолжал:

— Вот вы приглядитесь, товарищ Федоров, как мы живем, как воюем и на что надеемся. Живем на то, что есть в ямах, что закопали. Даже муку возим в соседнее село. Там из нашей муки и хлеб, и лепешки, и пироги бабы с превеликим удовольствием испекут, пожалуйста. Ну, а как кончится наша мука?.. У баб просить будем?

— Чего там кончится! — махнула рукой жизнерадостная повариха. Имеется, говорят, запас... Ты, Кузьмич, сколько воевать собираешься?

— Да если так воевать, то запасенного добра еще и останется. Только вопрос — кому? По моему разумению, немцам. Они хоть и дурни, а тоже нас терпеть не очень-то будут. Сперва с Балабаем покончат, потом с Козиком, а там, глядишь, и к нам подберутся. Сколько их, карателей, понаехало? В Погорельцы батальон прибыл.

В разговоре приняло участие еще несколько человек. Подходили с разных сторон. Всех волновали эти вопросы.

— Да чего там о муке да о сале толковать? Как мы воюем? Что, вот, сейчас пошли? Добре побачут тих нимцив на дороге, полюбуются. Ну, постреляют трохи. А то и зовсим ничего. Так, экскурсия, — со злостью проговорил и даже сплюнул раненный в обе руки пулеметчик. — Разведка доложила — нимци в Орловке. Так тож пятнадцать километров. Пройдись-ка пеший, да все бегом, да при полной амуниции, с ручным пулеметом. Туда-сюда тридцать верст, а с кривинками да тропками все сорок будет. Толку же — три вбитых нимця.

— Это все не главное, — пробурчал опять Кузьмич.

— А что же главное?

— Как это что? — удивленно переспросил он. — Это всем известно. Главное — продержаться. Червона Армия як вдарит, а мы тут как тут. Они с фронту, а мы с тылу. Да як поднимемся. Нам силу сохранять надо. Вот что есть главное!

— Долго ты так сохраняться думаешь?

— Долго не долго, а месяца три-четыре придется. Экономить продукт надо. Будем экономить, норму заведем — продержимся.

— Подожди-ка, товарищ, — перебил я говорившего. — Сколько ты воевать собираешься? Три месяца? А вы что об этом думаете? — обратился я к остальным.

Оказывается, и другие долго партизанить не собирались. Нашелся товарищ, что оказал — восемь месяцев. Его высмеяли. Чудаком назвали.

— А командиры что об этом говорят? Попудренко?

— Зима, говорят, немца сломит.

Подумав над тем, что я услышал, оценив начало доклада Попудренко, вспомнив впечатление, которое оставил Ичнянский отряд, я понял, что главная беда именно в этом «*продержаться*».

Но партизаны областного отряда, видимо, уже начинали понимать, что даже продержаться маленькими, разрозненными группами невозможно; что тактика мелких, случайных, бесплановых наскоков — опасная тактика.

И, как бы в подтверждение этого, под утро вернулся несолоно хлебавши Попудренко. Бойцы были промокшими, злыми, смертельно усталыми.

— Немцы на машинах, а мы пешие, — с раздражением говорили они. — Куда уж нам за ними угнаться?

Попудренко и сам был недоволен результатами похода. Не хотелось ему, правда, показать, что операция сорвалась потому, что задумана была

неверно. Досадовал он и на себя. Выпив с огорчения спирту, он улегся рядом со мной, сказал что будет спать.

Но минуту спустя шепотом начал разговор.

— Эх, Алексей Федорович, — сказал он и не очень естественно рассмеялся. — Думал, выпью, так усну. Нет, и спирт не берет... Что-то у нас, Алексей Федорович, не так. Что-то менять надо.

Я тоже думал об этом. Откровенно высказал Николаю Никитичу, что линию, которая до сих пор проводилась, считаю неверной. Не разделять надо отряды, а сплачивать. Поодиночке нас разобьют, мы и опомниться не успеем. Большой отряд может проводить серьезные операции, громить гарнизоны врага; не ждать, пока немцы нападут, а нападать на них.

Мы говорили сперва потихоньку, чтобы не разбудить товарищей. Но тема была такой волнующей, что мы невольно повысили голоса и скоро заметили, что нас слушают все, кто здесь лежит. А так как тут, на этих нарах, лежали впритирку все члены обкома, то само собой получилось продолжение утреннего заседания.

Так, не зажигая света и не поднимаясь, выступали и Капранов, и Новиков, и Днепровский (мы его ввели в состав обкома).

Очень серьезная угроза, оказывается, уже нависла над нами. Наши отряды были по существу окружены немцами и мадьярами. Не то, чтобы они создали сплошную линию фронта. Но в радиусе тридцати-сорока километров почти во всех районных центрах и населенных пунктах стояли гарнизоны, а в некоторых уже концентрировались специальные части для борьбы с партизанами.

Ближайший такой карательный отряд, силой до батальона, прибыл на днях в Погорельцы. Его разведка уже прощупывала лес и ежедневно беспокоила Перелюбский отряд.

— Балабай обратился за помощью до Лошакова, — говорил Капранов. — А той отвечает: це не наше дило. Бийтесь сами. Ну, а що ж их там у Балабая тилько двадцать семь партизан.

Большинство товарищей пришло к выводу о необходимости слияния всех отрядов, дислоцирующихся в Рейментаровском лесу. Согласился с этим и Попудренко. А согласившись, он уже не стал вилять, не такой он был человек. Не теряя времени, поднялся, зажег лампу, написал вызов командирам всех отрядов приехать на следующее утро в штаб.

— Как ты думаешь: на слияние все согласятся? — спросил я.

— Да они, Алексей Федорович, об этом мечтают, — ответил Попудренко.

Решили посоветоваться с командирами и по другому, назревшему

давно вопросу: как быть с приемом в отряд новых людей. Желающих было много: и большие, и маленькие группы, и одиночки...

* * *

19 ноября съехались командиры и комиссары отрядов: Балабай, Нахаба, Водопьянов, Курочка, Коротков, Козик, Лошаков, Дружинин, Бессараб. Приняли участие в совещании также все члены обкома и командиры взводов областного отряда — Громенко и Калиновский.

Пригласил я на свою ответственность еще одного человека, почти никому у нас не известного лейтенанта Рванова. Всего два дня назад он попал в отряд.

Внешние данные у Рванова далеко не эффектные: средний рост, тихий голос, робкие движения, да еще ранен в руку; лечиться ему, а не командовать. А я представил его товарищам как начальника штаба будущего объединенного отряда.

Почему я предложил руководящую должность неизвестному человеку? Вопрос этот я читал в глазах большинства собравшихся. Но прямо мне его не задавали. Конечно, у меня были на то серьезные основания. Своими соображениями я поделился пока только с Попудренко и комиссаром отряда Яременко. Они со мной согласились.

В штабной землянке было жарко натоплено. Народу собралось много. Кое-кто вынужден был сесть на пол. Я предложил товарищам снять верхнюю одежду, что все и сделали. Не захотел раздеться только Бессараб, командир одного из местных отрядов. Это, впрочем, осуществить было бы ему нелегко. Уж слишком много амуниции на нем висело: два пистолета, несколько ручных гранат на поясе, полевая сумка, бинокль, компас и столько ремней, что надо было диву даваться, как он в них не запутается.

Степан Феофанович Бессараб — плотный мужчина лет сорока — был перед войной председателем колхоза. Он даже занимал короткое время должность председателя районного исполкома. Но с работой не справился. Однако человек он был в этих краях очень известный и по-своему авторитетный. Широко знали его еще потому, что в дни коллективизации, когда он был председателем сельсовета, какой-то кулак покушался на его жизнь. Выстрелил в окно и ранил Бессараба в голову.

Бессараб, был тяжел на подъем. Он предпочитал не Двигаться, не говорить. Когда же обстоятельства принуждали его сказать ту или иную фразу, он неизменно начинал с того, что откашливался, хмыкал, а потом произносил два ничего не означавших слова: «ватого-етаго». И после совал эти слова вместе или врозь в начало, в середину или в конец фразы. Так что, когда вспоминали о нем, многим даже раньше фамилии приходили на

память эти слова «ватого-етаго».

— Гм, ватого-етаго, я, пожалуй, раздеваться не буду. Я, ватого, болею. Боюсь, етаго, простудиться...

Но, говоря о Бессарабе, необходимо помнить и то, что он пришел к нам добровольно, сам вызвался остаться. И народ из колхоза за ним последовал, признал его своим командиром. Он был, безусловно, предан советской власти.

Почти все из тех, кого я встретил на совещании, раньше чем стать партизанскими командирами и членами обкома, побывали у меня в Чернигове. Я уже писал о переменах во внешности и манерах Попудренко. Переоделись, переменились и все остальные.

О переменах в характерах говорить еще рано. Однако новый внешний облик отражал как-то и душевное состояние товарищей. В одежде, амуниции, точнее — в манере носить ватники, шапки, пистолеты видно было, каким товарищ хочет быть партизаном.

Заломленная папаха Попудренко, борода и коллекция ремней Бессараба, усы Федорова, белая полоска над воротничком на военной гимнастерке Балабая, нарочитая грубость речи у деликатнейшего человека — секретаря Холменского райкома Курочки, — все это выглядело несколько демонстративно, как всегда у начинающих.

Да, мы были начинающими партизанами и подпольщиками. Первоклассниками. В большинстве своем люди, немало поработавшие, уже определившие свое место в жизни, мы вдруг оказались в лесу, в землянке, окруженные вражескими войсками...

Я обратил внимание на агронома, а теперь командира взвода Громенко. Он выглядел так же, как в Чернигове на каком-нибудь заседании. Он там работал в облземотделе, и теперь ничто не переменилось в его внешности. Это мне показалось еще более нарочитым, чем борода Бессараба. Я задал ему обычный вопрос:

— Как дела?

Он охотно, радуясь вниманию, ответил:

— Дела бы ничего, Алексей Федорович, но жену эвакуировать не успел. Рожает жена. Она в селе у родителей. Там немцы.

«Так вот чем занята твоя голова» — подумал я. Было естественно, что Громенко думал о жене. Но я ждал, что он прежде расскажет о своем взводе или о положении всего отряда. А Громенко продолжал говорить:

— Вы по Чернигову жичку мою не помните? Ну, верно, конечно, всех не запомнишь... Она в селе, километрах в сорока отсюда. Надо бы сходить, и в то же время думаю, что не надо, что лишнее расстройство...

Я, признаться, не мог ничего ему посоветовать. Никак я не предполагал, что на этом совещании придется решать и такие вопросы.

— Ладно, — сказал я, — поговорим, когда освободимся. Что-нибудь придумаем.

Понудренко объяснил товарищам, для чего их созвали. Каждого командира спросил, как он смотрит на слияние отрядов воедино под общим командованием Федорова. Большинство ответило согласием:

— Давно пора. Без этого пропадем.

Один лишь Бессараб, поразмыслив, объявил, что ему нужно посоветоваться с товарищами по отряду. Его предупредили, что обком партии рекомендует слиться.

— Я, ватого-етаго, трохи подумаю. Завтра утром скажу.

— Так смотрите, товарищ Бессараб, завтра в девять утра будем вас ждать. После вашего приезда и оформим приказ.

Перешли к другому вопросу. Как относиться к одиночкам и группам, желающим влиться в отряд. Их в лесу скиталось немало. И отставшие от своих частей, и беглые пленные, и пробивающиеся к фронту окруженцы. Народ все вооруженный. Одна из групп имела даже станковый пулемет. Но люди эти чувствовали себя в Рейментаровском лесу чужими. Плохо ориентировались, далеко не все решались общаться с населением. У них не было боеприпасов, они обносились, мерзли и, что самое главное, голодали. Почти все такие группы просились в отряды.

Разгорелся спор. Рванов, красный от волнения, показал мне глазами на дверь: «Не лучше ли мне, пока решается этот вопрос, уйти?» Действительно, дело касалось именно таких, как он. На совещании Рванов был единственным представителем людей, не принятых еще официально в отряд.

— Сидите, сидите, — сказал я Рванову. — Нам будет интересно выслушать и ваше мнение.

Командир кавалерийской группы Лошаков, большой, темный, как цыган, мрачный, насупив брови, сказал:

— Как это так принимать? Непонятно, зачем вдруг такое нарушение бдительности? Вы же сами, товарищ Федоров, и другие секретари обкома в Чернигове предупреждали о строжайшей секретности и конспирации. А теперь? Выходит, бдительность по шапке, и кто желает — придет. Как это понимать окруженец? Это значит — не погиб в бою. Пустите его в лес к партизанам он и у нас не захочет погибнуть, начнет прятаться за чужую спину. А тем более пленный. Пленный — это значит сдался. Нет, нам таких не треба. Партия нас отобрала и утвердила. И вас я знаю, Курочку знаю,

Бессараба и Козика тоже. Я на них имею полное право опереться. Также и бойцы. Они у нас все известны, на них заполнялась анкета. Мое мнение — держись своих.

Первый возразил Балабай. Выступил он неожиданно горячо. Не ждал я от него такой прыти. Директор Перелюбской школы, преподаватель истории, Александр Петрович Балабай был мне известен как человек застенчивый, склонный к лирике, к равномерной, устроенной жизни. Директором школы он стал недавно. Хвалили его за порядок, чистоту, хорошую постановку воспитательной работы. «Молодой, но умелый и вдумчивый педагог» — вот характеристика, которую я чаще всего слышал, когда речь заходила о Балабае. Знал я еще, что он недавно женился, счастлив. И в представлении моем складывался образ тихого счастливца, посвятившего жизнь школе, жене, домику с садом.

Балабай сложения был могучего. Оделся он в форму офицера Красной Армии, и она ему очень шла. Голову он старался держать высоко, и не случайно у него под воротничком виднелась белоснежная полоска. На совещание он явился тщательно выбритым. Если бы все товарищи тянулись к такому партизанскому облику, было бы прекрасно. И хотя, выступая, он девически покраснел, я понял, что этот тихоня умеет постоять за себя и за свои принципы. Вот что он сказал:

— Мы остались добровольно, так что с того? Какая в этом особая заслуга? Воевать так или иначе необходимо, а, по-моему, воевать добровольно всегда лучше, чем по мобилизации. Значит, мы такие же бойцы, как и красноармейцы. Чем же особенно гордиться? Товарищ Попудренко вкатил мне выговор за то, что наш отряд принял пятерых окруженцев. Но ребята оказались хорошие, и это подтвердилось на деле. У нас в лесу находится группа в двадцать шесть человек во главе с Авксентьевым. И мы все знаем, что люди хорошие. Их дивизия получила приказ командования выходить из окружения небольшими группами. Они выполняют приказ. Но если пойдут дальше, к фронту, многие из них погибнут. По-моему, правильнее их принять. По-моему, надо принимать всех, кто искренно хочет вести борьбу с немцами. А что касается окруженцев, это вообще хороший народ. Это люди, которые не хотят идти в плен, держатся до последнего. Они уже партизаны. Только неорганизованные. Надо им помочь организовать. Это вооруженные люди и не первый день воюют, они нам будут полезны... — Тут Балабай сделал большую паузу, оглядел всех присутствующих и после глубокого вздоха, как бы с сожалением, добавил: — По-моему, будет преступлением не принимать окруженцев. Да, преступлением! — твердо закончил он.

— Ну, Александр Петрович, загнул, — покачав головой, сказал Бессараб.

— Хотите высказаться? — спросил я.

Бессараб поднял на меня глаза, подумал и важно произнес:

— Могу. Считаю, что если окруженцы хотят, то пусть, ватого, сами организуются. Не для них мы, етаго, готовились и добывали снаряжение, а тем более провиант. Авторитетно заявляю — я против.

— А если обком очень попросит, — не удержался я, — как тогда, товарищ Бессараб, уважите нашу просьбу?

— Насчет приема людей?

— Вообще, как вы относитесь к тому, что обком партии руководит партизанским движением в области, ведь вы член партии, не так ли?

Бессараб надулся. Глаза у него покраснели. Насупив брови, он мрачно сказал:

— Устав партии мне известен. Но в порядке прений мое мнение — против. Исключение можно допустить по территориальному признаку. Могу, ватого-етаго, принять в партизаны окруженца, если он бывший житель нашего района. Как мы призваны защищать свой район. Не может быть, чтобы каждый, кто пожелает, был принят...

Говоря это, Бессараб уперся тяжелым взглядом в Рванова. Все поняли, что он видит в этом человеке источник смуты. Другие командиры тоже не очень доброжелательно разглядывали не известного им лейтенанта.

Я не предполагал давать товарищам какие-либо объяснения, хотел приказом назначить Рванова начальником штаба объединенного отряда и тем самым подготовить, между прочим, людей к введению воинской дисциплины. Разумеется, раньше, чем сделать это, я расспросил Рванова о его предыдущей службе, узнал, что он кадровый офицер, понял по ответам, что это человек большой выдержки, а главное — прекрасно разбирается в военной тактике. Понравилось мне в нем еще и то, что, попав в ужасную переделку, Рванов сохранил подтянутость кадрового командира, не спорол знаков различия и даже каким-то образом умудрился сохранить чистой гимнастерку и брюки, надраил до блеска сапоги.

Совещание, которое я собрал, было в сущности не военным, не партизанским и даже не партийным. Оно было штатским, оно было пережитком. Я просто не привык еще приказывать. А товарищи не привыкли к тому, что они командиры и что я для них не просто руководитель, а командир. Здесь собрались советские и партийные работники, агрономы, инженеры, председатель колхоза, учитель... Следом пришла другая мысль. Ведь большинство собравшихся — и как раз те,

которые возражают против приема окруженцев, — не испытало еще на себе тягот войны и подлинной опасности. Об окружении, о том, кто такие окруженцы, какие испытания пришлось на их долю, знают только понаслышке. Им полезно узнать, что это такое.

— Дмитрий Иванович, — прервав Бессараба, обратился я к Рванову, прошу вас рассказать, как вы попали в этот лес.

Уже то, что я назвал Рванова по имени и отчеству, вызвало у товарищей удивление. А удивление, как известно, повышает внимание. Рванов тоже был удивлен. Но с готовностью встал, вытянулся и спросил:

— Биографию нужно?

— Нет, задача такова: я хочу на вашем примере показать товарищам, кто такие окруженцы и почему их надо принимать в партизаны.

— Ясно. Буду по возможности краток. Воевать начал с первого дня. Последняя должность, на которой с 15 июля сорок первого года, — адъютант старший — начальник штаба батальона в пехотной части. Два раза получал благодарность за хорошо проведенные операции. От командира полка и командира дивизии. 9 сентября в 9.30 село Лузики, Понорницкого района, где мы дислоцировались, обошли немцы. Я был в штабе с тремя связными. По штабной хате немцы повели пулеметный огонь. А у нас только автоматы, пистолеты и карабин. Ребята прикрыли меня огнем из автоматов. Я, взяв важнейшие штабные документы, перебежал улицу и залег в просо. Стал отстреливаться из карабина. Уложил пятерых фрицев. Они были пьяны. Это помогло их уничтожить. Но и мне пуля угодила в руку. Я отполз к яме. Там навоз и мусор. Закопал в мусоре документы, перетянул раненую руку и пополз к какой-то хате. Ползу вдоль забора. В заборе, вижу, дыра. У дыры лежит мой помкомвзвода — Киселев. Он ранен в левое плечо и правую ладонь. Сил у него хватило, чтобы выбить доску, но влезть в отверстие он уже не мог. Просит: «Товарищ лейтенант, спасите!»

Кое-как мы пролезли во двор. Немцы тем временем полностью овладели селом. Мы залезли в сарай. Там клетка с поросенком и сено. Киселеву стало очень плохо. Я его замаскировал сеном, сам тоже зарылся. В 11 часов Киселев обессилел, просит воды. В 13 часов приходит старушка кормить поросенка. Попросил у нее воды. Старушка, когда увидела окровавленного Киселева и мою раненую руку, посоветовала сдаться. Мы ей ответили, что это невозможно. В 16.20 пришли немцы и завели со старушкой во дворе разговор. Мы с Киселевым договорились: если войдут — сперва в них, потом в себя. Слышим, немцы спрашивают: «Мамка, рус есть?» «Два командира, — отвечает, были и ушли».

Когда стемнело, мы вылезли в отверстие и ползком по просу в лес. Полку была поставлена задача — овладеть Понорницей. В соответствии с этим я взял азимут. Мы с Киселевым шли всю ночь. На рассвете, когда вышли на поляну, нас обстреляли. Беру азимут на запад. На шляху много следов, отпечатки сапог — русские. Пошли по следам. Наткнулись на село. Узнаю, что наши прошли четыре часа назад. Хозяйка дала тряпку и немного хлеба и махорки. Перекусили, перекурили, забинтовались и пошли дальше, догонять. Пошли через Рейментаровку. Там чуть не наткнулись на немецкую разведку. Потом пошли в Савенки, еще за семь километров. Киселев уже еле двигался, он должен был отдыхать через каждые пятьдесят метров. Шли до Савенок пять часов. На пути река Убедь. По колесной колее перешли вброд. Киселева, чтобы не утонул, я нес на себе. Вошли в Савенки в 22.15. Постучались наугад. Киселев совсем обессилел и упал на дверь.

Рванов говорил именно таким, отрывистым, точным языком рапорта. Говорил стоя, ни на что не опираясь.

А мы, слушатели, сидели и полулежали. И по тому, как он говорил и как держался, видно было, что перед нами кадровый военный, не забывающий ни при каких обстоятельствах, что он представляет Советскую Армию. Дружинин подошел ко мне сзади, наклонился к уху, но шепнул довольно громко, так, что многие слышали:

— Не Бессарабу и не Лошакову судить о том, можно ли принять Рванова в партизаны, а скорее Рванов должен решать, кто из нас годится.

А Рванов продолжал рапортовать. Он доложил, как приютили его и Киселева пожилая колхозница Наталья Хавдей и пятнадцатилетний сын ее Миша. Перевязали, накормили и уложили. А когда пришли в Савенки немцы, хозяйка назвала Киселева своим сыном. Рванов же ушел в лес и жил там, только изредка пробирался в село, чтобы достать продуктов и сделать перевязку. Он связался с секретарем сельской парторганизации Дусей Олейник, а через нее и с партизанами областного отряда.

Незаметно для слушателей Рванов перешел от рассказа о себе к выступлению. И, надо сказать, слушали его хорошо, сочувственно.

— Через секретаря парторганизации раненые бойцы, находящиеся в селе, получали от вас, товарищи, да и теперь получают продовольственную помощь, приходит ваш фельдшер, перевязывает, дает лекарства. Это хорошо. Большая благодарность вам. Но получать только помощь, а самим не воевать — не к лицу советскому человеку. Кое-кто из раненых уже поправился. Считаю своим долгом сказать, что в лесу, вокруг вашего лагеря, находится немало честных советских людей Им очень горько, что

их не признают своими. Если мое мнение что-нибудь значит, прошу учесть и мое предложение: группу 26, группу Карпуши, Лысенко и другие группы считать партизанскими отрядами и наравне с местными влить в областной отряд.

Выступили еще два или три человека. Запомнилось короткое и энергичное слово Дружинина:

— Спорить, собственно, не о чем, товарищи. Мы с вами на войне. Мы своеобразная воинская часть. Хотим мы того или не хотим, но потери в наших рядах будут. А потери должны восполняться, иначе мы, как воинская часть, как партизанский отряд, погибнем. Я, между прочим, и сам пришел к вам из окружения. Говорят, что меня приняли потому, что я выходец из Черниговской области и руководству я известен. Говорят, что и Днепровского поэтому признали своим. Бессараб тут даже предлагал принимать только черниговцев или даже только жителей того района, в котором отряд организован. Это ошибочная, вредная мысль. Такого рода местничество к добру не приведет. Наша родина — весь Советский Союз, а не Рейментаровский или Понорницкий район. По указанию, по призыву партии организованы партизанские отряды, отобраны и оставлены заранее. Но почему надо было отбирать в эти отряды известных обкому людей? Да потому, что они должны составлять костяк, основу партизанского движения. Наивно думать, что мы одни, без поддержки народа, без резервов, без пополнения, сможем что-нибудь сделать...

— Кажется, вопрос ясен, товарищи? — спросил я, и хотя не все ответили утвердительно, я сказал, что считаю совещание закрытым.

— Завтра вы получите приказ.

С недоумением посмотрел на меня Бессараб и стал шептать что-то сидевшему рядом с ним Капанову, повернулся к Лошакову и опять зашептал.

— Вам что-нибудь непонятно, товарищ Бессараб? — спросил я.

Он не ответил. Воцарилось неловкое молчание. За Бессараба ответил Капанов:

— Вин спрашивает, как же так, что немає постановления? Що, мол, таке происходит, что не принимаем резолюции? Зачем его беспокоили, вызывали?

Я рассмеялся. Рассмеялось со мной еще несколько человек, но не все.

Пришлось повторить, что завтра они получают приказ.

* * *

После четырех часов в штабной землянке уже стало сумрачно. Погода была морозной и пасмурной. Сильный ветер срывал с деревьев последние

листья. Они мелькали перед окошком, кружились, собирались в кучки.

Когда кончилось совещание, мы пообедали с командирами отрядов. За обедом шутили вяло. О будущем говорили в таких выражениях:

— Что, Николай Никитич, пушки у нас будут?

— А ты думаешь! Конечно! И артиллерия, и кавалерия...

— И бухгалтерия, — прибавил Капранов. — А как вы думаете, будем ли без учета жить? Выдам вот сейчас по сто грамм, и больше не мааеть.

— И связь наладим, как часы, — продолжал я за Николая Никитича, как можно более бодрым тоном — С каждым райкомом партии, а в отряде с каждой ротой свяжемся и телефоном и радио. С фронтом каждый день будем перекликаться. С самой Москвой поведем разговоры: здравствуйте, говорит Черниговская партизанская дивизия.

Товарищи рассмеялись. Все поняли мои слова как шуточное преувеличение. Даже загрустили от этого.

Вдруг Санин, заместитель командира одного из отрядов, хлопнув ладонью по земле, закричал:

— Гады, сволочи! В лес нас загнали, в берлогу, в нору. Люди в комнатах, а мы, будто черви, в ямах. Дайте мне того немца! Я его своими руками, я его зубами!..

Посидели еще немного. Я напомнил, что завтра, не позднее чем послезавтра, пришло приказ. А пока пусть стоят по старым местам.

Разговор не клеился. Каждому было о чем подумать. Командиры отрядов стали разъезжаться. Попрощавшись с ними, я пошел бродить по лагерю.

Стемнело. То ли снег, то ли мельчайший град крутился в воздухе, лез за шиворот, набивался в уши. Народ сидел по землянкам. Тусклые огоньки светились в крохотных оконцах. В одной землянке играли на гармошке, в другой пели что-то заунывное, подстать осеннему ветру и моему настроению. Пели плохо.

Мне многое не нравилось, в особенности поведение Бессараба, но еще больше тревожило то, что многие считали себя не нападающей, а обороняющейся стороной.

Хотя мы и спорили на совещании, следует ли принимать окруженцев и бежавших пленных, я, правду сказать, ценил боевые качества этих пришельцев. Они стали партизанами, принужденные обстоятельствами, они не записались заблаговременно, но зато у них — опыт боев, живая ненависть к врагу, тоже приобретенная в боях и скитаниях. Испытали и видели они больше наших отрядных хлопцев. Побродив два месяца по оккупированной территории, я уже понимал, что нет более надежного,

более хорошего места для советского человека на оккупированной земле, чем партизанский отряд. Да, людям нужны испытания, чтобы они стали хорошо воевать. Нужны испытания даже для того, чтобы открыть самого себя. До первого серьезного боя и многоопытный пожилой человек подчас не знает самого себя.

Так, размышляя, я брел по тропе, все отдаляясь от штаба, углубляясь в лес. Деревья в этом месте стояли не очень густо. Уральцы или сибиряки, верно, и за лес не сочли бы наши места. Дерево от дерева — добрых пять метров. Изредка сосна, а чаще клены, дубы, тополя. Землю присыпало порошей, поэтому я различал стволы и очертания голых ветвей. В них свистел ветер и заглушал далекие звуки лагерной жизни.

Вдруг замечаю, что одно тоненькое деревцо подозрительно утолщено снизу. Похоже, что к нему прижался человек. Я остановился в нерешительности. Кто бы это мог быть? Если наш часовой, то почему не окликает? Ведь я не скрывался, шаги мои можно было услышать.

Постояв с минуту, я стал потихоньку приближаться к странному дереву и вскоре заметил, что рядом с утолщением лежит на убеленной порошей земле предмет, похожий на винтовку. И услышал удивительные звуки. Сам себе не поверил, уж очень звуки эти напоминали детский плач. Определенно, я слышал всхлипывания и посапывания обиженного или напуганного ребенка.

— Ты что? — спросил я не очень громко.

Фигура отделилась от дерева, метнулась в сторону.

— Да стой, стой, куда ты, не бойся! — крикнул я.

Человек доверчиво остановился. Я поднял с земли винтовку.

— Иди сюда, — сказал я, вынул из кармана фонарик и осветил... девушку в ватнике и шапке. Ей было никак не больше шестнадцати лет. Испуганные глаза смотрели в мою сторону, на щеках размазаны слезы.

Тогда я осветил себя.

— Узнаешь?

— Товарищ Федоров?

— Он самый. Что это ты здесь делаешь?

— На посту, товарищ командир, — пролепетала она.

— А почему ревешь?

— Та я, товарищ Федоров, не реву. Я ничего, — и заплакала еще сильнее. — Ой, простите, товарищ командир. Не могу я. Темноты дуже боюсь. И одна боюсь.

— Лагерь охраняешь, что ли?

— Да.

— Ну, получай свое оружие, идем.

Надо было этого постового как следует распечь. Но, мне девочка напомнила чем-то старшую дочь Нину Представил себе ее в первый раз ночью, в полном одиночестве, в заснеженном лесу...

— Как зовут? — спросил я.

— Валя.

— Когда спрашивает командир, надо назвать фамилию.

— Я, товарищ командир, знаю. Так как-то вышло... Проценко Валентина... Из первого взвода. Санитарка.

— Сколько лет?

— 1925 року.

Ну, так и есть, ровесница моей Нины... Когда я привел ее а штаб и рассказал о случае Николаю Никитичу, он вызвал Громенко и спросил, как получилось, что на серьезный пост он направил ребенка. Взводный удивленно ответил:

— Боец Проценко на хорошем счету. Замечаний не имеет. Отличница по стрельбе.

— Ладно, идите. Обеспечьте пост надежным человеком...

Громенко повернулся и пошел, но Валя продолжала стоять.

— Чего тебе еще? — спросил Попудренко.

— Вы меня, товарищ командир, накажите, но бойцам, пожалуйста, не рассказывайте, за что.

Однако скрыть этот случай не удалось. То ли взводный рассказал, то ли сама Валя не удержалась и поделилась с подругами. Долго еще вспоминали в отряде, как «защищала» лагерь Валя Проценко. А вспоминая, конечно, хохотали.

По прошествии нескольких месяцев Валя очень изменилась, возмужала, окрепла в боях. Она и сама не могла без смеха вспомнить этот случай.

В тот год преждевременно кончилось детство миллионов наших мальчиков и девочек. Родине понадобились и их силы.

* * *

Ночью Рванов подготовил приказ. Его сразу не подписали. Решили ждать Бессараба. Он обещал приехать к девяти утра. Но вот уже десять. Николай Никитич припомнил, что месяц назад просил командиров прислать списки членов партии. Все прислали, один Бессараб не пожелал. Он не отказался, а волянил, откладывая. Когда же Попудренко как секретарь обкома строго потребовал выполнить свое указание, Бессараб проворчал, что вот нет ему покоя. Он и в лесу себе не хозяин...

Не так уж нам требовалось согласие Бессараба. Не демократии ради ждали мы его решения. Понимая, что он в душе сопротивляется, мы захотели узнать, как далеко он пойдет. И зачем, до поры, применять средства принуждения? Может быть, одумается человек, поймет, что стоит на неверном пути.

В одиннадцать утра, убедившись, что Бессараб не приедет, я приказал оседлать лошадь и выехал вместе с комиссаром и группой бойцов.

— Ну, хлопцы, будем удельного князя усмирять, — пошутил я.

На подступах к лагерю Бессараба постовой пропустил нас по знакомству. У него, как потом выяснилось, было указание: всех, кто приедет из областного отряда, задерживать. А если будут лезть, — поднять тревогу. Но, видимо, Бессараб не думал, что поеду я сам. Увидев Меня, часовой, рейментаровский колхозник, признал старого знакомого — секретаря обкома. Улыбка расплылась на его физиономии. Он даже сделал попытку стать во фронт и прижал руку к шапке. Так, без тревоги, мы въехали в лагерь и застали его в мирном, полусонном состоянии.

Тихое, зажиточное поместье. На веревках, протянутых между деревьями, сушится белье: рубахи, портянки, даже простыни. С другой стороны на сучьях висят бычьи и бараньи туши. На земле сидит и разделывает только что зарезанного кабана молодой парень. Туш много, куда больше, чем в областном отряде. А у нас народу втрое больше, да и хозяйственник наш Капранов дело свое знает.

Над кухней вьется дымок, и такой приятный дух идет, что мой адъютант, скосив в ту сторону глаза, облизнулся.

Подъехали к кухне. Просторная, высокая землянка. Большой стол. На столе — гора жирных мясных котлет. Хозяйничает там какой-то молодой партизан и две поварихи. Одна из них прехорошенькая, задорная девица Леночка. Меня она узнала и приняла горделивую позу.

— Хорошо живете, — сказал я, показав на котлеты.

— Да, не по-вашему, — бойко ответила Леночка.

— Ишь, как вас Бессараб под свою дуду выдрессировал. Ну, ладно, пойдем до него в гости. Где он тут живет?

Леночка землянку показала, но вслед крикнула:

— Ничего у вас не выйдет!

При входе в землянку встретил нас Степан Остатный — заместитель Бессараба. Он смерил меня взглядом исподлобья. На приветствие ответил кивком. Но в землянку пропустил. Там было грязновато. На столе в беспорядке валялись бумаги, вперемешку с кусками хлеба и разломанной картошкой. Пол закидан окурками. Скамьи и табуреты стояли где попало.

Видать, как сидели вечером, совещались, так все и бросили. К приему «гостей» не готовились.

За ситцевой занавеской спал «сам». Наш приход его разбудил. Остатный счел нужным объяснить:

— Поздно вчера легли.

Из спальни откликнулся женокий голос:

— А ты не оправдывайся, не в милиции.

Бессараб вышел из-за занавески. На наше приветствие он буркнул что-то неопределенное.

В землянку вошли еще двое приближенных командира. Ян Полянский и Школяр. Они приняли вызывающие позы.

Не дождавшись приглашения хозяев, я сел на табурет, спросил:

— Какое же вы, товарищ Бессараб, приняли решение? Мы вас все утро ждали. Нам ведь очень важно узнать результаты ваших размышлений.

Молчит, сопит, даже лицо не поворачивает.

— Я к вам обращаюсь, товарищ Бессараб. Вы что же думаете, свататься мы приехали?

Вместо него ответила жена:

— А кто вас звал? Езжайте, не держим.

— Это что ж, ваш заместитель, а, товарищ Бессараб?

— Да, заместитель. Вам какое дело.

Я не удержался, сказал несколько серьезных слов. Взвизгнув, она выбежала из землянки.

Медленным движением Бессараб задрал гимнастерку, потянул из кобуры пистолет. Пришлось выбить из его рук оружие. Бессараб деланно рассмеялся. Потом сел.

— Я, — сказал он, — пошутил. — И потом серьезно: — Нечего, ватого-етаго, к чужой славе примазываться.

— А что это у вас за слава? Сидите и колхозников объедаете. Товарищ Яременко, — попросил я комиссара, — пока я тут беседую с начальством, соберите, пожалуйста, весь личный состав отряда.

Бессараб удивленно молчал.

— Ну, что ж, давайте, говорите, что у вас за слава, — повторил я, когда Яременко вышел.

Впрочем, было понятно, о чем Бессараб говорит. Как ни мало сделал за это время областной отряд, все-таки нет-нет, да и раздастся на дороге взрыв. То мост обвалится, то грузовик на mine взлетит, то слышно, староста-предатель исчез бесследно; группа немцев с разбитыми головами валяется в поле.

В окружающих селах знали, что еще до прихода немцев Бессараб, по указанию райкома партии, сколачивал отряд. И люди в его отряде были все местные. То и дело заходили к родственникам, к знакомым. И всю деятельность стоявших в этих лесах отрядов и групп население принимало за работу партизан Бессараба.

— Выкладывайте, не стесняйтесь, — тянул я из Бессараба ответ.

— Я действовал на фланге 187-й дивизии... У меня, ватого-етаго, благодарность командования...

Тем временем Яременко собрал человек двадцать. Выстроил их возле штабной землянки.

Мы вышли. Я заставил и Остатного, и Школяра, и самого Бессараба тоже примкнуть к строю.

— Отныне, товарищи, — сказал я, — все отряды, дислоцирующиеся в этом лесу, сливаются. Таково решение обкома партии и областного штаба. Таково требование жизни. Желаящие высказаться есть?

Бессараб двинулся было вперед.

— Подождите, с вами мы уже вдоволь наговорились. Ваше мнение известно.

Выступили Школяр, Полянский, еще один товарищ, которого я до сих пор не знал. Все, будто по шпаргалке, говорили, что слияние приведет к гибели. Что запасы быстро истощаются, скоро нечего будет есть. Отряды, слившись, потеряют главное преимущество партизан — подвижность и возможность прятаться. Гнуснее всех выступил Полянский.

— Да что говорить, — распинался он, — нам ясно, для чего все это затеяли. Нам-то все понятно. Обкому нужно отсидеться. Обкому нужна охрана. Своих мало, да свои-то все городские, того и гляди заблудятся в трех соснах... На чужом горбу в рай хотите прокатиться.

Пришлось митинг прекратить. Яременко разъяснил партизанам цели объединения, напомнил бойцам, что такое партизанская и партийная дисциплина. Я прочитал перед строем приказ:

— Районный отряд, созданный по инициативе райкома партии, с сего числа влить в объединенный партизанский отряд и отныне именовать третьим взводом. Командиром назначаю Бессараба, политруком Гречко; Полянский отчисляется в распоряжение штаба отряда.

На этом митинг кончился. Бессарабу я предложил явиться завтра для доклада. Полянского взял с собой. Пистолет я Бессарабу вернул, но перед этим объяснил, что оружие партизан получает для борьбы с врагами Родины, а не для баловства и глупых угроз.

Так бесславно кончилось существование «удельного княжества» и

началась боевая жизнь третьего взвода.

Вечером все командиры получили приказ, в котором предлагалось слить воедино Областной, Корюковский, Холменский, Рейментаровский, Перелюбский отряды, а также отдельные группы окруженцев, вставших на путь партизанской борьбы.

Объединенный отряд именовать с сего числа партизанским отрядом имени Сталина.

* * *

Приказ вступил в силу. Я стал командиром довольно значительного партизанского отряда.

Произошло это не вдруг. Еще в Чернигове обком партии поставил меня во главе областного штаба партизанского движения. Но говоря по совести, штаба этого пока не существовало. Партизанское движение, а вернее организованные партизанские отряды были во всей области. Однако руководить ими оперативно, как это надлежит штабу, пока не представлялось возможным.

Нужно было прежде всего взяться за организацию областного отряда. Отдать приказ мало. Надо делом доказать, что не зря объединились. Надо головами немцев, взорванными мостами, разбитыми гарнизонами врага доказать... Мне же лично предстояло еще завоевать у товарищей командирский авторитет.

По сути, никогда в жизни я не был командиром самостоятельной воинской части. После гражданской войны некоторое время командовал взводом в железнодорожном полку. Но прошло с тех пор чуть ли не двадцать лет. Да и какое может быть сравнение? Там я каждый день отчитывался перед опытными командирами, там была стройная, продуманная организация, давно установленный порядок. Боролись мы в то далекое время с незначительными бандитскими шайками. Но кое-какие знания из тех, что получил в 1920 году в кавалерийской школе, и теперь пригодились. Кое-что вспомнил из боевой практики, кое-что отложилось из тех военных сведений, что получал во время краткосрочных лагерных сборов...

Не без колебаний принял я на себя должность командира. Думал, не отразится ли отрицательно повседневное оперативное руководство отрядом на главной моей работе — секретаря подпольного обкома партии? Попудренко уже испытал на себе такое совместительство. Оно пришлось ему не по душе.

Попудренко был неправ, подвергая сомнению возможность широкой массовой партийной работы. Пусть не сразу, но мы должны охватить своим

влиянием всех коммунистов и комсомольцев, оставшихся в области, наладить руководство ими. Для этого нужно еще очень много сделать!

Но обком, все члены его пришли к единогласному решению: прежде всего надо укрепить отряд.

Это было, конечно, верно. Надо приниматься за работу. Вопросов несметное количество. Охотников поговорить, посоветоваться, даже пошептаться — сколько угодно. А некоторые приходят и требуют: «Раз ты командир — Дай! Дай оружие, дай боеприпасы, дай людей, дай продовольствие!»

Надо было в первую очередь точно распределить функции, надо было каждому дать задание. Подобрать кадры — вот с чего следовало начать.

В легальном обкоме, в мирное время, изучение и подбор руководящих кадров — большой коллективный труд. Раньше чем бюро обкома рекомендует того или иного коммуниста на руководящую должность, к нему долго присматриваются, выслушивают мнение товарищей о его способностях, знаниях, честности. Взвешают все «за» и «против». Чтобы переменить работника или снять по непригодности, тоже нужно время, и немалое.

И это, разумеется, правильно. В мирных условиях иначе нельзя. А в партизанских условиях? Изучать надо, принципы те же — наши, большевистские принципы. Но каждый раз собирать обком, чтобы утвердить того или иного товарища, невозможно.

— Назначили Рванова начальником штаба. Почему Рванова? Есть старые, опытные партийные работники. Черниговцы. Есть секретари райкомов, председатели районных советов. И вдруг, пожалуйста, какой-то двадцатичетырехлетний мальчишка. Лейтенант. Подумаешь, специалист! Прежний начальник штаба Кузнецов — и тот был капитаном...

Были такие разговоры. Но всех разговоров не переслушаешь. Рванова назначили потому, что он с 22 июня воюет. Потому, что он точен, исполнительен и требователен. И еще потому, что, попав в такой ужасный переплет, он сумел сохранить достойную советского офицера подтянутость и внешнюю аккуратность. Значит, в штабе будет порядок.

Вот Бессараба оставили командовать взводом. После всех его проделок, конечно, оставлять не следовало. Но пока нет оснований считать его плохим командиром. Боев-то настоящих еще не было. Надо проверить человека в бою. Отряд он сам подбирал, людей знает, и люди его тоже знают.

Теперь, оглядываясь назад, думаешь: «А ведь странное было положение в тот первый период. Как командир я ни перед кем не

отчитывался. Высшего начальства не было. Это, оказывается, очень неприятно и тяжело. Если бы не было у меня такой опоры, как обком, легко бы и растеряться».

Но я был командиром, и часто мне самому приходилось принимать решение.

Право, когда я бродил в поисках отряда, было, кажется, легче. Там я отвечал лишь за собственное поведение и за собственную жизнь.

На следующий же день после приказа является Бессараб:

— Я, ватого-етаго, жду ваших боевых указаний.

— Приказ читали? Выполняйте.

— Ребята скучают. Есть желание встретиться в бою с проклятыми оккупантами.

— А что ж вы раньше не скучали по боевым действиям?

— Ждали, когда придёт высшее начальство. Когда прикажет.

— Смирно! Кругом, шагом марш! — вынужден был скомандовать я.

А Бессарабу, вероятно, этого и надо было. Пошел к своим бойцам, сказал, что вот, мол, начальство вместо боевых действий занимается каким-то подбором кадров.

Немало людей, особенно в областном отряде, я знал по Чернигову. В небольших городах вообще запоминаешь множество лиц. С человеком не знаком, но встречал его то ли на заводе, то ли в театре, то ли просто на улице. Теперь познакомились заново. Я ходил по землянкам, участвовал в строительных работах, начатых еще до прихода нашей группы. Не уверен я был в том, что надо строиться, но пока этих работ не отменял. Люди должны быть заняты. Нет ничего хуже безделья. Стали проводить и строевые занятия. На них я тоже приглядывался к людям.

Один я ходил редко. То с Попудренко, то с комиссаром отряда Яременко, то с Рвановым. Попудренко и Яременко уже давно были в отряде и хорошо знали людей. Рванов хоть и много моложе меня, но человек военный штабист. Так, на ходу, я кое-чему учился у товарищей: Не то, чтобы брал уроки, но приглядывался, как они держатся с народом, как оценивают обстановку.

И везде, конечно, разговоры, шутки, прибаутки. Без шутки партизанам трудно. Днем, ночью, в бою, на диверсии, в походе — трунят друг над другом, подсмеиваются. Другой и себя не пожалеет, выставит в смешном свете, лишь бы вызвать хохот. Это понятно — смех бодрит, а лишней приходилось испытывать великое множество.

В тот период люди очень нервничали.

Не я один, все ставили перед собой вопросы. И думали, думали...

Никогда в жизни я не встречал так много задумчивых людей. В компании еще ничего, даже иногда спляшут или споют. Но и плясали и пели очень плохо. Большой любитель солдатских песен, Попудренко сказал мне однажды:

— И что за народ у нас подобрался? Ни одного порядочного плясуна, ни одного гармониста хорошего. А как начнут песню тянуть, хоть беги...

Потом-то выяснилось, что пели только тягучие песни и плясали плохо от задумчивости.

Часто командиры отрядов и члены обкома приходили ко мне с рапортами о разного рода нытиках. Балабай, например, доложил:

— Пошел проверять посты. Боец П. - здоровый, крепкий мужик лет под сорок — сидит на земле по-турецки, винтовку отложил, сам открыл рот и в небо смотрит. На мой приход даже внимания не обратил. Будто я не командир, а так, гуляка. «Что, — спрашиваю, — загрустил по гауптвахте?» А он домашним тихим голосом отвечает: «Думаю я, Александр Петрович, что напрасно с Красной Армией не ушел. Мальчишеством было с моей стороны здесь оставаться. Подавят нас немцы, як тех мух! Вот я с солнышком, Александр Петрович, и прощаюсь...»

Был у меня самого весьма примечательный разговор. Отвел меня в сторону боец С. Не глупый, кажется, человек, бывший заведующий районным отделом народного образования. Руку мне на плечо положил и начал:

— Вот, — говорит, — Алексей Федорович, рассудите. Пришла мне такая мысль: что если бы лежал я больной и врачи приговорили меня к смерти?

Я насторожился. К чему человек клонит?

— Нельзя, — отвечаю, — верить таким приговорам.

Он продолжает:

— А все-таки. Если сомнений действительно никаких, как тогда? Я бы, например, предпочел не ждать. Я бы, товарищ Федоров, предпочел сразу после консилиума умереть, застрелиться.

— К чему, — спрашиваю, — ты эту панихиду развел?

— А к тому... — Тут С. прямо-таки с воодушевлением произнес: — К тому, что если поставила нас здесь партия на жертву, на жертвенный подвиг, так давайте же поскорее этот подвиг придумаем и совершим.

И, заметьте, товарищ этот был трезвый, не бредил. Пришлось ему объяснить, что он нытик и малOVER и что партия ни на какие жертвы нас не посылала, а послала воевать с врагом.

— Что вы?! Прикажете, и я готов, как, помните, в знаменитой пьесе

«Салют Испания», взорвать себя вместе с вражеским штабом!

Прошел год, и товарищ научился взрывать немецкие штабы и эшелоны, сам оставаясь невредимым. В 1944 году он получил звание Героя Советского Союза. Я ему при случае напомнил этот разговор.

— Признаюсь, — сказал он, — не верил, что мы способны оказать немцам серьезное сопротивление. Думал: раз нам суждено погибнуть, так давайте же поскорее и покрасивее.

О подобной красоте не только он один заботился. Мельком я упоминал уже об артисте черниговской драмы Васе Коновалове. Он и теперь здоровствует. Воевал хорошо, награжден. Но в самом начале... Как-то раз ночью явился он с группой актеров в Черниговский обком, прямо в мой кабинет, с просьбой принять их в формирующийся партизанский отряд. Я его включил в списки. В ту же ночь он получил винтовку. Так, с винтовкой, и пошел домой прощаться. Потом, у партизанского костра, сам рассказывал:

— Возвращаюсь домой, настроение лихое, в бой бы с таким настроением. А надо спать ложиться. Ложусь и винтовку с собой в постель.

Так многие молодые люди романтично воспринимали свое вступление в партизаны. Но надо было этим молодым людям показать труд войны, надо было научить их преодолевать трудности.

В эти же дни всеобщих переживаний произошел у меня разговор по душам с Громенко.

Он вернулся из «отпуска». После совещания с командирами я позволил ему отлучиться. Отправился он к жене с партизанскими подарками. Дали ему меду, масла, леденцов, печенья. Дали ему сотню патронов, два пистолета, пару гранат.

В отлучке Громенко был пять дней. Два дня путешествовал туда, два обратно, а у жены пробыл всего лишь ночь и часть утра. Отчитался он коротко:

— Командир первого взвода Громенко. Вернулся из отпуска. Все в порядке. Разрешите приступить к исполнению обязанностей?

Часа через два я снова увидел его среди бойцов первого взвода. Он усадил их кружком и что-то горячо говорил. Я тоже присел послушать. Громенко сказал мне, что проводит политбеседу, и продолжал:

— Каждому из нас, товарищи, следует пересмотреть наново всю свою жизнь...

«Куда он гнет? — думал я. — Что это за философские беседы с бойцами?» Но смолчал и стал слушать дальше. Тем более, что, судя по выражению лиц, бойцы беседой были увлечены.

— Хотим мы того или не хотим, но думаем мы сейчас все очень много. Да и как может быть иначе? Нормальная жизнь поломалась, семьи разбиты, профессии наши, то, к чему мы готовились годами, теперь не нужны. Во всяком случае, до победы. И вот мы горюем. Многие горюют. Я слышал, товарищ Мартынюк рассказывал свой сон. Будто подбегает к нему дочка и просит приласкать, и прижимается к нему, и плачет. Просыпается товарищ Мартынюк и замечает, что гладит рукав своей телогрейки. И рукав этот мокрый от слез. Ответьте мне, товарищ Мартынюк: сколько вам лет и кем вы работали до войны?

Сивоусый, коренастый Мартынюк поднялся с бревна, на котором сидел, похлопал глазами и сказал:

— Имело место.

— Я просил вас сообщить свой возраст и профессию. Вы напрасно волнуетесь. Я не упрекаю вас за то, что снятся вам ваши дети. Мне и самому снится прошлое. Вот уже третий месяц я или протравливаю семена, или подрезаю ветки яблонь, или...

— А я вчера, — прервал вдруг командира взвода парнишка лет девятнадцати, — играл в футбол против немецкой команды. И мяч, будто мина, может взорваться. Честное слово...

Все рассмеялись, Мартынюк тоже улыбнулся и сказал:

— Лет мне, товарищи командиры, сорок четыре. Профессия моя формовщик черного чугунного литья. Прошу извинения, что рассказывал сон и других смутил. Жизнь я обязательно перегляжу и других вызываю. А дочка у нас с женой родилась, когда мне уже было Тридцать восемь, а жене тридцать четыре. Первое наше дитя. И его уничтожила германская бомба... Разрешите сесть?

Я поднялся и ушел. Ничего не сказал Громенко, не стал прерывать его беседу. Хотя показалось мне, что напрасно он будоражит нервы своих бойцов. Вечером он подошел ко мне сам. Выбрал момент, когда я был один.

— Можно, Алексей Федорович, — попросил он, — посоветоваться с вами и поговорить, как со старшим товарищем? Вам не понравилась, как мне кажется, беседа, которую я вел сегодня утром.

— Пойдем, товарищ Громенко, — предложил я ему, — погуляем по лесу.

Он с радостью согласился. Мы отошли от лагеря метров на двести, уселись там на пеньки. Вот что рассказал он мне.

— Я, Алексей Федорович, агроном. Это вы знаете. В прошлом мужик. Крестьянской кровушки, крестьянского воспитания. В общем, интеллигент из народа. Думаю, не могу не думать. И когда работал на

контрольносеменном пункте, понимал зерно не только как хлеб. Нет, еще в большей степени я понимал его как труд народа. И мечту Мичурина сделать пшеницу многолетним растением, а если нельзя это сделать с пшеницей и житом, то, может быть, и по боку их и вырастить хлебные орехи... эту мечту я очень хорошо понимаю. Вот.

В сущности я хотел поговорить с вами о другом. Рассказать о путешествии к жене... Но без предисловия не умею... Казалось мне, Алексей Федорович, что хорошим коммунистом я могу быть только, углубляясь в профессиональные знания. Я был честен, работал, отдавая себя целиком делу. Я считал себя счастливым. Нет, не считал, был счастливым. Потому что и дома все было очень хорошо.

Огромное впечатление, помню, произвело на меня письмо товарища Сталина к комсомольцу Иванову. Тогда я в первый раз не только подумал, но и почувствовал, что битва неизбежна. Что капитализм обязательно против нас ополчится. Но вы знаете, как это бывает. Подумал — и опять стал ждать. Даже оправдал свое равнодушие к будущей схватке тем, что работаю и тем самым, значит, укрепляю страну. Воином я себя не представлял, воевать не готовился. Вот в чем дело.

В партизаны я пошел добровольно. Это вы тоже знаете. И вот оказались мы в лесу. Ведь нельзя сказать, что не делали мы ничего до вашего прихода, Алексей Федорович. Товарищ Яременко прямо-таки со страстью налаживал типографию. Ребята героически вытаскивали шрифт из Корюковки. Героического с самого начала оказалось сколько угодно. И героизм этот искренен.

Балабай чуть не погиб в схватке против десятка немцев. Балицкий безоружным отправлялся по селам, где уже были немцы. Выдавал себя за учителя. Агитировал, звал к сопротивлению, вел в нашу пользу разведку. Николай Никитич... в нем я вижу даже не столько большого командира, сколько выражение общенародной ненависти. Все в нем кипит. И если бы не чувство ответственности за отряд, за жизнь людей, я уверен, он бы в самую отчаянную схватку бросился очертя голову... Но это уже критика командира, на эту тему я продолжать не стану. Вернемся к моим делам.

Зачем скрывать. Явилось у меня чувство ничтожности наших партизанских потуг. Нет, малодушия или трусости у меня не было, не в этом дело. Но почувствовал я себя, как бы это сказать, ну, вроде того попа из рассказа Леонида Андреева, который, помните, влез спьяну на паровоз, тронул какой-то рычаг и помчался. И управлять он не умеет, и остановить не может, и соскочить страшно.

А еще эта история с женой. Эвакуировать ее не удалось. Правду

сказать, была она уже на сносях, ехать в далекое путешествие в таком положении не решилась. Очень она сердилась, что я иду в партизаны, покидаю в такой момент семью. Сердилась, а все-таки понимала, что иначе нельзя. И чтобы меня освободить, собралась неожиданно и уехала в село. А что с ней было дальше, я не знал. И ко всем моим размышлениям прибавились муки неопределенности.

Громенко вздохнул, осведомился, не надоел ли рассказом. Мы закурили, он помолчал с минуту, а потом продолжал:

— Когда я уходил, мы условились, что там, в селе, я никому открываться не буду. Агитацию, помните, вы мне запретили. И правильно. Чтобы начать эту работу, надо сперва оглядеться, узнать народ. Не буду рассказывать, как шел. Добрался сравнительно удачно. Была, правда, маленькая перестрелка, но это не в счет.

Хату, где могла быть жена, я знал. Село это известно мне с детства. И меня там все называют по имени. Пробрался я к хате в темноте, огородами. Был уверен, что никто не заметил. Встреча со слезами, с объятиями. Мальчишке уже месяц и три дня. Было решено, что он «вылитая копия — отец». Подарки партизанские оказались кстати. Но вообще-то жена пока не голодает. Есть кое-какие запасы... Слезы, смех, взаимные рассказы, все это было. Но, заметьте, с самого начала все шепотом и топотом.

Сперва мальчик спал. Я думал — мы его сон бережем. Но проснулся, и жена продолжает по-прежнему. И, кроме того, торопит собирать постель. Я раза два заговорил громко. Она руками замахала и сразу же задула лампу.

«В чем дело?» — спрашиваю. «А ты, — отвечает, — прислушайся и посмотри в окно. У всех темно и тихо. Все боятся». — «Но ведь немцев в селе нет». — «Немцев нет, так есть свои сволочи, вся дрянь собралась». И только она это сказала, по улице с гиканьем на лошадях проскакала пьяная компания. Матерятся, кому-то грозят.

«Кто такие?» Как начала мне жена перечислять, кто в селе панует, у меня сразу прямо бешенство в голову ударило. Ну, представьте, Алексей Федорович, был у нас Дробный Иван. Такая падаль, жалкий попрошайка и пьяница. Все и забыли давно, что отец его когда-то приказчиком был у помещика. Ходил этот Дробный в полусумасшедших. Ну, алкоголик самого последнего разбора. Когда с похмелья и денег нет — он перед любым на колени станет, чтобы трешницу выпросить. А теперь его боятся.

Появился откуда-то Санько. Этот в Чернигове в годы нэпа развернулся, кожевенный заводик держал. А в последнее время работал счетоводом не то на музыкальной фабрике, не то в облпромсовете, точно не помню. При встречах со мной в городе такой был тихий.

Я прервал Громенко:

— Не знаю, чему ты удивляешься? Уж не воображал ли ты, что немцы поручат управление сельскими делами нам с тобой. Ясно, что они всякую сволочь собирают. Да и кто к ним, кроме сволочей, пойдет?

— Не в этом дело, Алексей Федорович. Я не о том хотел рассказать. Меня что потрясло. Ведь у нас здесь в лесу продолжается советская жизнь, и люди и отношения между ними — все советское. Я на несколько часов попал в село, которое знаю и считаю родным. Я даже не встретился с этой поганью. Одно лишь то, что всю ночь жена умоляла меня не говорить громко, не шевелиться, младенцу рот зажимала, сама тряслась... А под утро стала торопить — «уходи». Даже от этого, согласитесь, задохнуться можно. Перед кем меня заставляют трястись? Перед самыми ничтожными и подлыми людьми. Короче говоря, я получил реальное представление, что есть оккупация.

— Это правильно, — сказал я, — но все-таки не совсем понятно, о чем ты хотел со мной посоветоваться.

— О том, Алексей Федорович, что реставрацию капиталистических отношений мы ясно себе никогда не представляли. О том, что до войны в школах наших, в комсомольских и партийных организациях, в литературе нашей ненависть к капитализму прививали недостаточно. И тем самым к войне готовили недостаточно. Я вот, например, бросать гранаты умею, воинский устав знаю, противогаз изучил. Политически неграмотным меня считать тоже нельзя. Читал я много, люблю читать. Но писатели наши воображения моего не подтолкнули, ни в одной книге не показали, какой ужас эта реставрация капитализма... Вот потому-то я и завел этот разговор с бойцами.

То, что рассказал мне Громенко, для меня уже не было новостью. Я и сам по пути к отряду переболел этим. Правильно, нужно, конечно, нашим людям не только умом, но и сердцем понять, что за «новый порядок» несут немцы.

— И какой вывод вы сделали из сегодняшней политбеседы? — спросил я.

— Вывод такой, что жить при этой подлой системе невозможно. Надо действовать и как можно скорее. Мы, то есть наш взвод, решили просить по возможности быстрее направить нас для самостоятельной серьезной операции... Разрешите предложение, Алексей Федорович. Когда я рассказал своим бойцам биографию всей этой сволочи, которая распоряжается теперь в нашем селе, описал каждого, нам, знаете, захотелось их взять в оборот.

— Иначе говоря, вы хотите своим взводом совершить партизанский налет на это село, истребить там старосту, полицаев?

— Правильно.

— В порядке конкретной агитации?

— В некотором роде и это. Мне там все подходы известны. Я на обратном пути поговорил кое с кем из народа, нашел общий язык. Разведаль обстановку. Для этой операции и времени и оружия немного будет нужно...

— Подумай, о чем ты говоришь, товарищ Громенко. Начал правильно. Сердце тебе подсказало, что необходимо действовать. Но что получается? Каждый командир поведет своих бойцов в свое село потому, что там месть конкретна, фамилии подлецов ему известны. Если действовать по таким признакам, мне придется вести вас всех в Лоцманскую Каменку под Днепропетровск.

— Товарищи будут очень разочарованы, Алексей Федорович. Мы уже продумали маршрут, наметили сроки, распределили обязанности. Ваш отказ многих обидит, товарищ Федоров. Ведь у ребят руки чешутся...

— И ты обидишься?

— Не в этом дело, товарищ Федоров. На мои обиды вы можете не обращать внимания. Но, согласитесь, что одно из преимуществ партизанской борьбы состоит в том, что мы действуем в своих районах...

Я объяснил Громенко, что задуманная им операция в планы командования не входит. Он возразил на это, что планы составляются людьми, что их можно менять. Он даже обвинил меня в недостатке решительности, в неумении подхватить инициативу масс.

Пришлось мне так хорошо начатую беседу прекратить. Пришлось в довольно решительных выражениях объяснить Громенко, что такое партизанская дисциплина.

Он ушел раздосадованным. Сказал на прощание, что я нетерпим к критике, что человек я нечуткий. Но приказу все-таки подчинился.

От этой беседы у меня осталось двойственное впечатление. Хорошо, что командиры наши — люди думающие. Очень приятно, что со мною они делятся своими мыслями.

Мне понравилась горячность, искренность Громенко. Понравилась его живая ненависть к оккупантам, жажда боевых дел. Но в то же время меня поразили и возмутили в нем наивность и легкомысленное отношение к партизанской борьбе.

Если бы один Громенко. Нет, многие вполне серьезные люди, руководящие работники и коммунисты не могли понять, что партизанский отряд — военная организация, а не добровольное общество, не артель по

уничтожению первых попавшихся оккупантов.

* * *

Одной из главных задач, поставленных обкомом в то время перед коммунистами и комсомольцами, была борьба за строжайшую партизанскую дисциплину, против распушенности, расхлябанности, безответственности.

Пришлось кое-кому разъяснить, что и партизанское движение не может быть отдано партией самотеку, стихии. Строгая дисциплина, плановость, организованность, взаимовыручка между отрядами, между бойцами, высокие моральные требования к каждому партизану, а к коммунисту, к комсомольцу особенно высокие.

Коммунист везде коммунист. Ни в лесу, ни в подполье, ни в компании друзей, ни в семье — словом, нигде коммунист не имеет права распускаться, не имеет права забывать Устав партии и всегда, во всякой обстановке должен быть коммунистом.

В некоторых отрядах, особенно в тех, которые организовались уже после оккупации, возникла давно осужденная партией система выборов на командирские посты. В одном из небольших отрядов даже не выбирали на командирскую должность, а устроили нечто вроде лотереи: мерили на палке, кому стать командиром.

Обком осудил практику выборов на командирские посты и потребовал, чтобы все отряды, дислоцирующиеся на территории Черниговской области, были связаны с областным штабом и координировали с ним свои действия.

Одновременно обком вел работу по укреплению единоначалия и командирского авторитета. Слово командира — закон. Обком требовал пресекать немедленно всякие попытки митинговать по поводу уже принятых решений, обсуждать приказы командиров.

Партизаны — это свободные граждане оккупированных районов. Но это не свобода гуляния по лесам. Личную свободу нельзя отделять от свободы всего советского народа. Партизаны нынешней войны должны рассматривать себя как бойцов Красной Армии. Мы говорили каждому партизану:

— В армию ты идешь потому, что тебя к этому обязывает Основной Закон Советского государства. И не забывай, дорогой товарищ, что Украина, хотя и пришел сюда враг, осталась частью великого Советского Союза. В партизанах ты потому, что тебя к этому обязывает совесть советского гражданина. Так будь же дисциплинирован по совести, по сознанию. То, что ты пришел добровольно, не снимает с тебя обязанности быть дисциплинированным.

Очень удивились некоторые товарищи такой установке. Что ж это, в самом деле, творится? Формы у нас нет, люди мы вроде штатские. Есть среди нас даже и невоеннообязанные. Старики или, к примеру женщины. Есть и подростки, чуть ли не дети. Выходит, и им следует подчиниться армейской дисциплине?

Мне доложили, что один ярый сторонник вольницы проповедует такие идеи:

— Я, — говорит, — может быть, нарочно при отходе Червоной Армии остался здесь, в лесе. Я, — говорит, — обожаю партизанщину, чтобы, значит, свобода — и никаких гвоздей! Что значит ты командир? Командир тот, за кем поднимется в бой народ! Партизана нельзя притеснять. Партизан, як зверь лесной, як волк. В стаю собирается, когда врагов надо бить, а после драки опять соби хозяин!

Вызвали этого «волка» в штаб.

— Так это ты серьезно говоришь, что остался в лесу по собственной, так сказать, инициативе?

— Я, — отвечает, — черниговец. Я дальше Черниговщины уходить не захотел. Решил мстить и биться только на своей родной земле.

— То есть как это не захотел? Выходит, что ты из армии дезертировал, так, что ли?

— Я по своему характеру в партизанах больше пользы принесу. Армейская дисциплина подавляет меня, як личность.

— Нет, ты отвечай на вопрос. Из Красной Армии дезертировал?

Защитник «свободы личности» слегка приуныл. Подумал немного, огляделся по сторонам, видит, — поддержки в штабе ни у кого не получит.

— Я, — отвечает, — не дезертировал, а только переменял род войск.

— Приказ об этом получил?

— Мне совесть приказала.

— А в каком звании эта самая твоя совесть, если она даже приказы Главного Командования отменяет? Сдать оружие и на гауптвахту!

К счастью этого любителя «волчьей свободы», надо сказать, что со временем он совершенно изменился и хорошо воевал.

Обком требовал от каждого коммуниста, чтобы он воспитывал в партизанах любовь и уважение к Красной Армии. Каждый из нас был бы рад стать бойцом или офицером Красной Армии. Мы должны понимать, что партизанское движение есть следствие временных неудач Красной Армии, следствие временного превосходства вражеских войск, следствие того, что мы вынуждены воевать на своей территории. И когда Красная Армия при нашей помощи выбьет отсюда врага, мы будем радоваться и

гордиться, что сможем вступить в ее ряды.

Товарищ, о котором я только что упомянул, пришел в партизаны из армии. Он знал, что такое воинская дисциплина. Мы ему только напомнили, что распускаться не следует. Большинство же партизан, особенно в тот первый период, состояло из людей гражданских, глубоко штатских. Им трудно было отрешиться от привычки критиковать и обсуждать. Трудно было переменить довоенные представления о самих себе.

Выяснилось как-то, что некоторые из наших бойцов всякими правдами и неправдами уваливают от несения караульной службы и от хозяйственных нарядов. Доложили об одном весьма почтенном человеке, что он ни разу не стоял на посту.

— Да, факт — признался товарищ. — Но ведь просят: давай, Сергей Николаевич, мы за тебя постоим. Ты человек в годах, тебе трудно...

— Благородные какие люди!

— Да оно, это верно, благородные, только дорого, черти, дерут за благородство.

— Сколько же? Какая нынче такса?

— А это смотря за что. Вот, скажем, отдежурить у продсклада — жменя махорки или два ломтя хлеба. Чистить картошку на кухне — за это немного меньше берут.

— Неужели хлеба людям не хватает? А ты-то откуда лишний берешь?

— Да, видите ли, мне персонально хватает. Курить я только здесь, в партизанах, начал. Курю немного. И ем тоже помалу...

— Понятно, раз мало работаешь, значит мало и ешь.

— И это отчасти верно. Только в хлебе-то нуждаются главным образом новички, которые из окруженцев или беглых пленных. Они наголодались, пока бродили по лесу... Ну, просто, жалко людей. Честное слово, сами просят.

Когда его выругали и наказали, обиделся товарищ.

Всех случаев нарушений дисциплины я приводить не собираюсь. Хотя их было не так уж и много. Тогда, впрочем, и народу у нас было немного. И народ был хороший. Уже одно то, что все добровольцы, а большинство партизан еще до прихода немцев записалось в отряды, показывает, что люди хотели воевать не за страх, а за совесть. Большинство нашего областного отряда составляли индустриальные рабочие, партийные и комсомольские работники, люди, до конца преданные советскому строю. Позднее отряды пополнялись людьми, среди которых кое-кто не мог похвастать чистой совестью. Они кровью должны были смывать

прегрешения перед Родиной.

В тот организационный период болезни наши были, пожалуй, болезнями роста. Их породила неуверенность в себе, весьма смутное представление о сроках борьбы и оторванность от масс. Да, несомненно, оторванность была. Уже третий месяц отряд отсиживался в лесу, партизаны очень мало общались с населением, и жизнь и интересы населения оккупированных сел и городов им были мало известны.

Отрыв от масс, от народа мог стать гибельным для нас. Обком принял решение — ориентировать людей на продолжительные сроки партизанской борьбы. Чем скорее Красная Армия перейдет в наступление и очистит нашу область от немцев, тем лучше. Пока же надо прекратить разговоры о сроках, не переживать, не думать о том, как продержаться, а действовать.

Обком дал указание штабу подготовить серьезную наступательную операцию. Она должна стать испытанием всех качеств наших людей и нашей организации.

* * *

По заданию обкома, была послана группа товарищей в село Савенки. Группа должна была, выполняя решение обкома, связаться с населением и провести агитационно-массовую работу.

Я тоже поехал. Впервые в условиях оккупации я принимал участие в собрании крестьян. Вероятно, потому оно и запомнилось так хорошо. Позднее мне часто приходилось выступать на подобных собраниях крестьян с докладами. Но в то время все было ново.

Мои спутники тоже говорили, что странное чувство неуверенности, даже волнения было у них. Опасно? Нет, мы знали, что больших сил враг поблизости не имеет. Предварительно была разведана обстановка. Наши люди коммунисты-подпольщики и живущие в Савенках активисты — заблаговременно оповестили народ, расставили кругом дозоры. И все же мы волновались.

Беспокоило, конечно, своеобразие обстановки и новизна. Как-то нас примут? Как проводить такое собрание? Даже организационные вопросы — и те были не ясны. Следует ли, например, придать торжественность такому собранию? Нужен ли президиум? Были среди нас сторонники торжественности: это, мол, усиливает впечатление.

Еще важнее было — верно определить главную тему дня. До войны каждое собрание посвящалось конкретным вопросам. Обсуждение производственного плана колхоза, итоги социалистического соревнования бригад и звеньев, отчетный доклад правления, подписка на заем... Да мало ли что. Если даже приезжал лектор с докладом о международном

положении, колхозники заранее знали, о чем будет идти речь, готовили вопросы.

Мы же ехали, так сказать, вообще: познакомиться, поделиться новостями, узнать настроение народа. Разумеется, главными вопросами дня были непримиримая борьба с оккупантами и поддержка партизанского движения. Но предложить конкретный план действий савенковским колхозникам мы еще не могли.

Подъехали на конях к школе. В большом зале уже был подготовлен стол, накрытый красной скатертью. Портрет Ленина — над столом. Два каганца скупо освещали помещение. Организаторы извинились: «Керосину взять негде, заправили каганцы воловьим жиром».

Народ собирался не сразу, входили по одному, по два. Некоторые считали нужным делать вид, что забрели случайно, на огонек. Другие, напротив, входили с подчеркнутой решимостью: ступали твердо, смотрели прямо и говорили громче, нежели следовало.

Девушки и молодые женщины долго топтались у входа, шушукались, заглядывали. Их звали, они отнекивались. И только потом, когда уже собрание было в разгаре, они все потихоньку вошли.

Наш комиссар Яременко сказал:

— Сейчас я предоставлю слово командиру партизанского отряда и секретарю подпольного обкома... Фамилию не стану называть по причинам конспирации, иначе говоря, тайны...

Я поднялся, хотел, начать, но в зале почему-то раздался смешок, другой. Некоторые просто громко рассмеялись. Что такое, почему?

— Да це Федоров!

— Ну да, Федоров.

— Яка така тайна? Это Федоров! — крикнул кто-то из задних рядов.

Яременко нахмурился, а я рассмеялся. И появилось теплое, доброе чувство к этим людям. Может, именно потому, что в такой обстановке, в такое время, но стало все как-то сразу просто и душевно.

Я коротко рассказал, кто такие партизаны, как и за что они воюют. Передал содержание последних сводок Совинформбюро. Слушали очень жадно. Когда я закончил, Яременко обратился к собранию:

— Вопросы есть?

Первым крикнул из дальнего угла какой-то молодой парень:

— Товарищ Федоров, расскажите, як вы на собрание старост в Припутнях один ходили.

— Положим, не один, а вдвоем мы ходили... А ты от кого слышал?

— Та хибя ж я знаю. Гуторит народ. Кажуть, самого бургомистра

убили та пять полицаев.

Удивительно быстро распространялись среди населения истории о партизанских подвигах. Ничего особенного, как читатель уже знает, в Припутнях не произошло. Однако и этот маленький эпизод разнесла и преувеличила народная молва.

— Нет, — сказал я, — с рассказами подождем.

И сразу меня поддержало несколько голосов:

— Что же, товарищ Федоров артист тебе рассказывать?

— Не балакать приехали!

— Лучше ты расскажи, почему не в партизанах...

Парня зашикали.

Он смущенный сел. И начались вопросы. Серьезные вопросы, на которые мне было нелегко отвечать. Я и сам многого не знал.

В вопросах этих были все чаяния и думы крестьянства. И задавали их, не стесняясь, от всей души. Обращались, как я понимал, не ко мне, а к партии.

Высокий пожилой крестьянин, весьма мрачного вида, так и выразился:

— А що, товарищ Федоров, Коммунистическая партия думает насчет других держав? К примеру, Америка? Як та буржуазна Америка от души нам помогае, чи за пазухой з каминням? И що Япония — не нажмет с Дальнего Востоку?

— Ишь куда глянул Сидор Лукич! — с восторгом, не то с насмешкой воскликнул его сосед по скамье.

— Нет, це дило... Це важна справа.

— Не мешай, дай товарищ Федоров объяснит.

— А як там самолеты наши будут еще? Урал та Сибирь работают?

— Товарищ Федоров, запишите еще вопрос: с расчетом мы отступаем чи просто бежим?

Неожиданно через гул густых мужских голосов прорвался тоненький детский голосок:

— Дядя начальник, а мени можно спросить? Как мени одиннадцать рокив, я в третий класс перешел, чи будемо мы учиться в немецких школах, чи будемо при батьках та партизанах?

Все рассмеялись, но мальчик будто сигнал подал: пошли вопросы жизни самого села. И говорить стали тише, плотнее придвинулись к свету, будто собрались члены тайного общества. Усатый, крепкий старик почти шепотом спросил:

— Вот вы скажите, як мы будемо? Положим, придет завтра немец, чи там каратель, чи на заготовку продуктов... И одного из тех немцев

становят ко мне на квартиру. Про меня ему известно, что я тихого поведения и не партизан зовсим и не комсомолец, а так старьй, мирный селянин...

— Ты давай, Степан, швидше.

— Постой. Так вот, товарищ командир, стоит у меня немец, а може два. Так вы мне яду дадите, динамиту, чи просто топором рубать сонных?

Я улыбнулся, но поторопился спрятать улыбку. Односельчане поняли вопрос старика совершенно серьезно и ждали серьезного ответа.

— В зависимости от обстановки, — ответил Яременко.

Но ответ этот не устроил собрание. Взоры обратились ко мне. Пришлось пораскинуть умом.

— Динамиту, а вернее толу, мы вам на двух немцев не дадим. Его у нас мало. Ядом их тоже всех не отравишь, да его у нас и вовсе нет. Но против такого лютого врага всякое оружие пригодится. Во-первых, каждого, кто хочет всерьез драться с врагом, мы зовем в отряды. Во-вторых, вы можете и тут, на месте, оказать нам немалую поддержку: сообщением разведочных данных; при случае спрячете нашего связного... Если же нам придется громить в вашем селе гарнизон немцев или отряд карателей... Тогда, надеемся, пустите в ход и топоры, и камни. Как, товарищи, поддержите?

Общий одобрительный гул был ответом на мой вопрос.

Член правления колхоза Мария Хавдей, женщина лет сорока, спросила:

— Мы, товарищ секретарь, приучены в последние годы не поодиночке, а колхозом решать. Правление у нас и теперь есть. И хлеб колхозный тоже есть. Не беспокойтесь, он крепко захороненный. Одна яма, что нам на трудодни, а другая яма — то хлиб державный, мы его должны сдать по заготовкам. Так кому сдавать? Сами вы приедете, то есть хозяйственники ваши, или нам везти? У нас коней нимци почти всех забрали...

— Хлеб надо раздать населению.

— Так то ясно. Я не про той хлиб говорю, что на трудодни. А про той, что государству, Червоной Армии полагается. Мы вчера на правлении решили, как быть. Урожай собрали дуже богатый, хлиба каждому и на трудодни много следует. Нимцю продавать?.. То несекрет — есть таки подлюги, кому хочешь продадут, лишь бы гроши. Так немец, вин куплять не станет. Вин свое дело знает — тычет автомат до грудей: «дай», свои-то: заработанный и то отнимут. Куда уж государственный раздавать... Вот мы и постановили: кто есть теперь наша власть, наша держава, наша Червона Армия? Ясно партизаны. Значит, и хлиб, что держави следует, —

партизанский хлеб.

— А не жалко?

— Да нет, той хлеб нам тилько мешает: нимцив привлекает. Им як донесуть, что излишки народ прячет, враз и прикатят.

Это, конечно, было верно. Ход мыслей логичен, логика — глубоко советская. И все же было ясно, что правление артели подготовило к нашему приезду подарок. Очень ценный подарок.

Рано или поздно наши продовольственные запасы истощатся, в некоторых отрядах уже истощились. Вырастал серьезный и щекотливый вопрос: где брать? Конечно, главным источником должны стать немецкие склады и обозы. Но временами нужда заставит прибегать и к помощи населения. Крестьянству, да и нам самим, важно придать этой помощи законный характер. Особенно же приятен подарок савенковцев тем, что раскрывает новые душевные качества советского крестьянина, социалистические качества.

— Мы не откажемся, — сказал Яременко, — спасибо. А как передать нам зерно или сохранить для партизан, мы сообщим вам особо. Но только хранить его следует так, чтобы при угрозе налета немцев можно было немедленно его уничтожить.

Собрание длилось больше двух часов. Задавали множество самых разнообразных вопросов, всех не передашь. И лишь один человек повел в волчью сторону: худощавый, плохо одетый дядька лет пятидесяти, с острым, внимательным, но не прямым взглядом. Он спросил, как бы очень доброжелательно, по-семейному:

— А позвольте до вас обратиться, чи вы украинец будете?

— К чему это? — насторожился я.

— Да так... Призвище[5] ваше — Федоров, а с лица вроде наш...

— Русский, — сказал я (хотя на самом деле считаю себя украинцем).

Это разве дело меняет? Как это понимать: наш — не наш?

— Та ничего, — уклончиво ответил он и прикрыл рот, симулируя зевок.

— Нет уж, продолжай, пожалуй. Начал, так веди свою линию.

И тот мрачный крестьянин, что спрашивал об Америке, видимо, сверстник этому, повернулся и очень зло Крикнул:

— Давай, давай, выкладывай, выворачивайся! Чего хоронишься?

Дядька не смутился. Щурясь то на меня, то на своего сверстника, то повернувшись ко всему собранию, он медленно начал:

— Можу и сказать. Я так гляжу. Украина вся пид нимцем? Вся. А что теперь нам тут про партию думать? Оставили Украину, так и тикайте з ней.

А мы и сами с немцем чи справимось, чи...

— Сговоримся! — крикнул старик. — Ты, сучья душа, рад сговориться. Ишь, щирый який выискался. Вин за всю Украину балакает. Я тебе вот что скажу, иудина твоя кровь, не про Украину ты мечтаешь, а про гроши. Як ты глядел с молоду в куркули, так и теперь. Свободна торговля тобі нужна. Та своя земляца, та наймытов[6] с десяток. А то — Украина... Да ты меня пид ребра не толкай, — он резко обернулся к стоявшей рядом с ним женщине. — Я его не боюсь. Против колхоза пойдет, к немцам побежит, так мы его живо на сук.

— Це не можна, — ответил дядька. — Свою людыну я никола не выдам. Да и сор с хаты не вынесу. Я ж тильки вопрос... Верно, товарищ Федоров, це дружна розмова?

Он еще что-то шептал, но вдруг осекся, хрипнул и скрылся в темноте. Послышалась возня в задних рядах. Ему, должно быть, зажали рот и от одного к другому передали вроде как мешок. Его никто не ударил, просто удалили из помещения. А на улице, кто его знает, что с ним стало.

Перед концом собрания опять выступил тот усач, что спрашивал топором или динамитом. Начал опять-таки с вопроса:

— Вот к чему у меня еще интерес: что ж мы будем, товарищи партизаны, робыть, колы немец наше село сожжет?

— А ты, Степан, не каркай! — крикнули ему.

— Помолчите. От, не дадут человеку высказаться. Я и сам собьюсь. А что нас немец будет палить, так це точно. Колы волк есть, так ему надо есть. На это я вам, товарищи партизаны, скажу — не горюйте. Це вийна. Це така вийна, что нет хуже... На вопрос свой я сам отвечу: мы на все подготовимся — на пожар, на люту смерть, на кровавы пытки. На одно не годимся — под немцем жить, его плуг тащить. Так и Москве передайте, товарищ Федоров.

— Спасибо, друг, от всей души партизанская благодарность... Только вот беда, радио у нас пока, того... передать в Москву еще не можем...

— Це уже ваша забота, як передать, — он лукаво усмехнулся. — Сердце сердцу весть дает.

* * *

29 ноября Яременко разбудил меня часов в пять утра.

— Алексей Федорович, стреляют! Вставайте, Алексей Федорович!

Еще накануне было известно, что довольно значительная разведывательная группировка немцев предприняла наступательную операцию против Перелюбского отряда. Отряд вынужден был отойти в глубь леса. Его командир Балабай просил помощи. Но ему был дан приказ

— держаться во что бы то ни стало.

Кстати сказать, отряды хотя и были, согласно приказу, слиты и именовались официально взводами, но пока стояли по своим старым местам и называли их по привычке отрядами.

Областной штаб готовил план разгрома значительного гарнизона немцев. Не в наших интересах было раньше времени демонстрировать врагу свои главные силы. Потому-то Балабаю и было отказано в поддержке.

План операции разрабатывался в тайне. Знало о нем всего, несколько человек. Настроение же у нашего народа за последние дни резко ухудшилось. В самом деле, до этого хоть и небольшие, но все же были дела. Хоть и не всегда удачно, но ходили на дорогу стрелять проходящих немцев и взрывать мосты. А тут пришел к руководству новый командир и занимается культурно-просветительной работой, стрелять учит. А немцы — они не спят; немцы только и ждут случая. Вот в такой обстановке начался незабываемый день 29 ноября.

— Слушайте, слушайте, Алексей Федорович, — повторил Яременко после того, как понял, что я окончательно проснулся.

В землянке, кроме нас двоих, никого не было. Попудренко давно, конечно, вскочил и побежал выяснять, что случилось. Другие члены обкома тоже вышли.

Выстрелы не повторились. Я оделся, взял оружие. В этот момент открылась дверь, и в землянку ввалились Попудренко, Капранов, Новиков и вместе с ними весь занесенный снегом начальник отделения разведчиков Юрченко. Он задыхался, то ли от быстрой ходьбы, то ли от волнения.

— Ну, говори толком, ты стрелял? — тормозил его Попудренко.

— Погодите трохи... Тут все свои? То есть новичков нет?

— От, чертова душа! — воскликнул Попудренко. — Крутит, мутит, слово из человека не выжмешь! Говори, наконец, ты стрелял? — Юрченко кивнул головой. — Зачем стрелял, зачем в лагере тревогу вызвал?

Еще с вечера группе Юрченко было дано задание разведать лес в сторону села Самотуги. Ничего удивительного в том, что он встретил на своем пути немецких разведчиков, не было. Подумаешь, постреляли немного. Юрченко был человеком не робкого десятка. Не отзвуки отдаленной перестрелки взволновали лагерь. Нет, но все дело было в том, что раздались несколько выстрелов уже тут, чуть ли не рядом со штабной землянкой.

— Виноват, товарищи командиры, — выдавал, наконец, из себя Юрченко. От волнения в воздух разрядил пистолет...

— Чего ты волновался? — спросил нетерпеливый Капранов.

Но я его прервал, попросил лишних выйти. В землянке остались только Попудренко, Новиков и я с Юрченко. Он продолжал тяжело дышать и никак не мог найти нужные слова для рапорта. Я ему дал немного спирту, и он смог, наконец, выговорить:

— Ой, товарищ командир, Алексей Федорович, предатель у нас. Ей богу, предатель. Вот вызовите ребят, они скажут.

— Стой, где твои ребята? Товарищ Новиков, прошу, сейчас же разыщи их и прикажи молчать, пока не разберемся...

— Ох, верно, могут растрепать... — согласился Юрченко.

Он был молодым командиром отделения. Не подумал, что сведения такого свойства надо держать в тайне. Не предупредил своих бойцов. И те, действительно, уже успели разнести новость по лагерю.

Юрченко доложил, что километрах в трех его группа заметила нескольких немцев. Они двигались в нашу сторону.

— Мы открыли огонь, они ответили, но тут же, гады, бросились тикать... Светло было от луны. Мы среди немцев заметили... будто из отрядных хлопцев с ними есть...

— Кто, говори прямо!

— А як вы думаете?

— Да брось ты загадки строить!

Юрченко не для игры говорил уклончиво. Так же, как мы, он надеялся на ошибку. Противно узнать, что кто-то из людей, которым доверяли, мог предаться врагу.

Но когда Юрченко назвал фамилию, мы уже не сомневались. Я мог бы ему ее подсказать.

Это был учитель из села Сядрино — Исаенко.

Юрченко объяснил, что ребята заметили шарфик. Шарфик этот видели на Исаенко раньше, носит он его как-то особенно.

— Идите, — приказал я. — Идите и молчите. Никому ни слова.

Мне уже несколько дней назад докладывали, что боец Исаенко часто отлучается в Сядрино к отцу. Просит, конечно, разрешения, говорит, что отец нездоров, нуждается в уходе. Но потом пришли от подпольщиков села сообщения, что отец учителя пользуется благосклонностью немцев и полицаев: староста дал ему вола и двух баранов из конфискованного колхозного скота.

Я вызвал тогда к себе сынка. Доказательств его виновности у меня не было. Худенький человек лет тридцати. Голос вкрадчивый, движения неуверенные. Но следует ли по таким признакам судить о человеке? На мои вопросы он отвечал с преувеличенной готовностью:

— Я вам все расскажу, честное слово... Я вам сейчас объясню, и уж кто-кто, а вы меня, наверное, поймете. Видите ли, товарищ командир отряда, папаша мой глубоко религиозный человек. Он, так сказать, противник братоубийственной войны... Он со всеми до глупости мягок. Он немцев принимал просто вежливо. Возможно, что излишне вежливо. Офицерам, понимаете, это понравилось. Они его отблагодарили. Отказаться папашка не посмел. А теперь он стремится передать этого вола в вашу, то есть в нашу, в партизанскую пользу...

— Слушайте, вы-то все-таки учитель, должны понимать, что возня с «папашкой» может кончиться для вас плохо. Бросьте это. Бросьте!

— Разрешите, товарищ командир, я все понимаю, честное слово. Но зачем такие выводы? У меня есть идея склонить папашу к подпольной работе. Он, клянусь, патриот. Вы же знаете, что есть и священники, которые... Я даже уверен, что его внешнюю покорность следует применить для целей разведки. Как вы находите?

То, что он говорил, было разумно. Никаких проступков в отряде за этим Исаенко не числилось. Но чувство мне подсказывало: подлый тип. Что я мог сделать? Ну, не симпатичен он мне, голос, физиономия не нравится. Это же не доказательство виновности. Все-таки я его предупредил:

— Имейте в виду — частые отлучки из лагеря вам придется прекратить. Религиозного своего «папашку» оставьте в покое. В услугах его мы не нуждаемся.

Исаенко взяли под наблюдение. Несколько дней он никуда не ходил. И вот, пожалуйста...

Теперь все были уверены, что в лагерь он не вернется. Через час докладывают: вернулся и даже в том же шарфике. Может быть, думал, что его не узнали. Но, скорей всего, немцы его насильно послали: иждивенцы им не нужны. Конечно, его тут же доставили в штаб.

— Куда отлучались?

— Узнал, что отец при смерти. Побегал к нему...

Очень удобное вранье. Этим можно объяснить и свое волнение. Исаенко был бледен.

— Что ж у тебя — радиосвязь или как? Откуда ты это узнал? Давай бреши дальше.

— Специально прибежала сестренка. Ну вот... Я задержался у постели отца. Я сознаю, что это недисциплинированность и нужно было отпроситься у командира. Но после разговора с вами побоялся, что не отпустят. Заслуживаю взыскания, это я понимаю и даю честное слово, что

я... Родственные чувства неуместны, когда...

— Один возвращался?

— Что? — Исаенко мгновенно оглядел землянку.

Окно очень маленькое, у двери Попудренко и Новиков.

— Тебя, сволочь, видели с группой немцев, — не сдержался Попудренко. — Вел, гад, к лагерю? Говори, вел?

— Нет, честное слово, я...

— Тебя восемь человек опознали... Выкладывай!

— Я скажу, я, конечно, скажу... Немцы были. Но только я их не вел. Они меня вели... Верьте мне. Я не вру... Они меня схватили, когда я возвращался...

— И потом вам удалось бежать? — спросил я.

— Да, потом я сбежал, — поторопился согласиться он. — Воспользовался суматохой и ускользнул...

Новиков вдруг ухватил его за отдувающийся карман, вытащил оттуда пистолет.

— А эту штуку немцы тебе на память оставили? Ах, ты... Всю правду! Всю немедленно!

Исаенко грохнулся на колени.

Через полчаса я отдал приказ: расстрелять перед строем. Это был мой первый приказ о расстреле предателя.

Новиков начал уговаривать:

— Зачем перед строем? Это произведет на людей тяжелое впечатление.

— Что ж, может быть, как у Балабая?

За три дня до этого случая в Перелюбском отряде тоже уличили в связи с врагом одного из новичков и тоже приговорили к расстрелу. Но привести его в исполнение публично не решились. Прикончили предателя в землянке, когда он уснул, выстрелом в ухо. Конечно, были после того случая в Перелюбском отряде самые нелепые разговоры. Народу объявили: такой-то расстрелян за предательство. Но люди справедливо требовали открытого объявления приговора. Во всем, решительно во всем чувствовалось, что не хватает нашим людям военной прямоты, суровости. И не разозлились еще по-настоящему. Малодушие, мягкотелость — нет, это не годится.

Исаенко был расстрелян перед строем.

Через полчаса доложили, что из лагеря сбежал недавно принятый в отряд Василий Сорока, бывший секретарь старосты из села Козиловка. Его согласились принять потому, что он принес с собой несколько гранат и список семей офицеров Красной Армии, подготовленный старостой по

приказу немцев... Слишком поздно мы поняли, что это уловка.

И начались шепотки по лагерю. «Третий предатель за несколько дней. Чего смотрят? Как это решились принимать людей со стороны?»

— Вот видите, — говорили сторонники Бессараба. — Мы предупреждали...

— Да вы поймите, — отвечали им люди более здравые, — это же не довод. По-вашему, если находятся предатели, значит, закрыть доступ в отряды всем честным людям, желающим бороться с немцами?

Но паникеры продолжали свою разлагающую работу. Пищи для нее все прибавлялось.

Из Корюковки, за двадцать два километра, прибежал весь растрепанный, с дикими, обезумевшими глазами комсомолец-подпольщик Николай Кривда. Он рассказал, что в местечко прибыл и свирепствует карательный отряд.

— Кидают гранаты прямо в людей, тащат, детей колют...

Разговор с Кривдой происходил не в штабе, а на поляне в присутствии многих. Кривда был очень возбужден, его долго не пропускали в лагерь. На заставе он тоже истошным голосом вопил, что вот, мол, «немцы терзают, мучают, они за мной гонятся, они сейчас сюда придут, пропустите немедленно к командиру».

Визг, крик — это в лагере ни к чему. А тут он еще такое понес, что у меня и у других товарищей закралось подозрение. Все мы после трех предательств были настроены недоверчиво. Впрочем, поверить Кривде и в самом деле было нелегко.

Он рассказал, что группа немцев подошла к его дому. В доме он один. Стучатся. Он закрыл ставни, забаррикадировал дверь и притаился с пистолетом.

— Они сперва прикладами в дверь стучали. А когда надоело, так кинули гранату, а может, и целую связку пид окно, аж дом закачался и все загорелось. Ну — пропал! Смотрю, задняя стенка посыпалась, обвал произошел и дыра на волю. Та стенка в сторону огорода. Я пролез в дыру и ползком, ползком к лесу. Так до вас и прибег...

Его взяли под стражу. Расходясь, народ говорил, что вот, пожалуйста, еще один провокатор... Все же направили в ту сторону разведку: четверых бойцов с помощником секретаря обкома Балицким во главе. Еще до возвращения Балицкого прискакал на взмыленном коне связной от командира Корюковского отряда Короткова.

— Со стороны Домашлина, — сообщил связной, — ветер гонит густой черный дым и видно пламя огромного пожара.

* * *

Тогда я жил и действовал со всеми. Не мог отойти и посмотреть глазами постороннего человека и на лагерь с его людьми и на самого себя. А вот теперь вспоминаю, вижу лагерь в тот проклятый день как бы со стороны.

Лес уже стал белым. Снег, хоть и не глубокий, лежит и на земле и на ветвях деревьев. Землянки — как небольшие холмики, их совсем незаметно. Чернеют только тропки. И ходят по этим тропкам между землянками люди с винтовками. Они собираются иногда в кучки, озираются по сторонам, тревожно шепчутся...

А в одной из землянок, такой же, как все, совещаются командиры. Уж который раз совещаются! Что они могут придумать? Ведь и они люди, должны понимать: сила солому ломит. Кругом во всех селах, во всех городах — враг. Сытые, хорошо одетые, здоровые немцы. Они ездят в автомобилях, они говорят по телефону, они спят ночами под крепкими крышами, в теплых постелях. Их тысячи, тут рядом, вокруг леса, тысячи. А надо будет — позовут еще, вызовут танки, артиллерию.

Командиры совещаются. К ним, к штабной их землянке наши постовые опять ведут человека — парнишку лет пятнадцати. Парнишка этот весь обледенел, он говорит громко, почти что кричит.

Люди выбегают из землянок.

— Что случилось, какая еще новость?

Начальники отмалчиваются. Ничего, бойцы все равно узнают.

Спрашивают у постовых:

— Кто прибег?

— Кажется, из Козлянич. Фамилию назвал — Васюк.

— Это какой же Васюк?

— Федоровского адъютанта братеник...

— А чего мокрый?

— Говорит, вплавь. Говорит, плохи там дела. Прибыли каратели СС.

Снова кто-то заявился. И снова плохие новости. Хороших новостей совсем не стало.

Немного посмеялись, когда пригнали с лесной дороги возок. Заиндевшая мохнатая лошаденка тащит кучу хвороста. Рядом с возком два старика. Вышли навстречу возку из своей землянки командиры. Стали расспрашивать.

— Кто такие?

— За хворостом...

Часовой перебивает:

— Да не слушайте их. Они с хворостом в лес едут.

— Простите, господин. Мы топор потеряли, так обратно поехали...

— Что ж это ты, двадцать четыре года при советской власти жил, а за три месяца оккупации забыл слово «товарищ»?

— Так бьют и староста и немцы.

— А что ж твой приятель без «господина» обходится? Или его не бьют немцы, своим считают?

Второй старик, усмехнувшись, говорит:

— У меня зубов нет. Хочу шказать гашпадин, а получается гашпадин. Шказал раз, так побили...

Раскидали хворост. Лежат под хворостом, обнявшись, худенький парнишка еврей и чернявая девочка лет шестнадцати. Оба закоченели, дрожат, молчат...

— Что ж это у тебя за товар, а, «гашпадин»? Рассказывай!

— А то верно, что вы партизаны?

И старики рассказывают. К ним в село прибежали вот эти двое. Комсомольцами называются. Брат и сестра Непомнящие. Они из Мены прибежали. Там тоже эсэсовцы. Там стреляют и вешают. Там насилуют девушек. А местные партизаны плохо вооружены... разбежались.

Переглядываются люди с винтовками. Хмуро посмеиваются. Они ведь тоже не очень вооружены...

Прибегают связные, возвращаются разведчики...

Немцы заняли Гулино. Кавалерийская группа под командованием Лошакова и Дружинина отступила в глубь леса без сопротивления.

Из Добрянки, за восемьдесят километров, пришла группа с Марусей Скрипка во главе. И в группе той Артазеев, парень очень смелый, так говорят все, кто его знает. Но и эти товарищи принесли печальные вести. В упорных боях разгромлен Добрянский отряд. Командир Явтушенко, он же и секретарь райкома, погиб в бою. Председатель райисполкома Эпштейн тяжело, может быть, смертельно ранен.

Их из Добрянки семь человек. Они едят и рассказывают. Торопятся жевать и торопятся рассказывать. Всюду на дорогах немцы. На автомобилях и на мотоциклах и сотни верховых мадьяр...

Из Чернигова, из самого города, через своих людей по эстафете сообщают: группа товарища Толчко попала в лапы гестапо. Все после долгих истязаний расстреляны. Десятки виселиц в Чернигове. На одной висят мужчина и женщина, на их головах — мешки, лиц не видно. И прикреплены: к женскому трупу печатная надпись — Мария Демченко, а к мужскому — Федоров[7].

— Как же это? Ведь Федоров — вот он, перед вами. А Демченко не черниговская вовсе. Она в эвакуации...

Пожимают вестники плечами:

— Не знаем.

Вернулся из Корюковки со своими ребятами Балицкий. Правду, оказывается, рассказал Николай Кривда. В местечке немцы. Местечко горит. И дом Кривды на самом деле взорван, весь развалился. На обратном пути зашли разведчики туда, где стоял раньше Корюковский отряд. Землянки раскиданы, нашли семь трупов партизан. Где остальные? Ушли, а может, взяты в плен?

Идут, идут, ползут сюда, к заснеженным землянкам, в лес, люди со всех концов области. Только слышно: расстреляны, убиты, арестованы...

Лес ведь тоже не крепость. И не такой уж большой и густой...

Только наступили сумерки, а уже видно огромное зарево над Корюковкой. И в другой стороне — тоже красные облака.

Казалось, смятение, растерянность царили в лагере. Посторонний глаз не разглядел бы наступательного духа, продуманности действий, плана.

На самом же деле командиры хоть и давно совещались, но не спорили, а именно работали над планом операции. Конечно, руководители, а среди них и я, не могли оставаться равнодушными, не могли спокойно относиться к таким донесениям разведчиков и связных. Но выход из создавшегося положения оставался лишь один: наступать.

Наш главный козырь был, как это ни странно, в самоуверенности немцев. Наши люди — разведчики и активисты из Погорельцев — сообщали, что гарнизон расположился со всеми удобствами. Много пьют, много едят, ночами устраивают веселые попойки, а спать ложатся — раздеваются.

Много их туда наехало. Человек пятьсот — не меньше. Было очень радостно узнать, что разведчики наши встретили среди погорельского населения сочувствие и желание во всем помочь. Только благодаря колхозникам Погорельцев на плане, который вычерчивал Рванов, появлялось все больше разведанных точек: штаб, пулеметные гнезда, стоянки автомашин, склад боеприпасов, склад горючего, квартира майора Швальбе и квартира лейтенанта Ференца.

Больше других помог нам Вася Коробко — четырнадцатилетний ученик Погорельской школы. Худенький, темноволосый крестьянский хлопчик. Он давно уже просился в отряд. Приходил несколько раз к Балабаю, уговаривал:

— Возьмите, Александр Петрович. Я любые испытания выдержу. Я

ведь маленький, где угодно пролезу и не буду бояться никогда!

Но Балабай все же не решился взять его в отряд. Тогда Вася стал просить, чтобы дали ему хоть какое-нибудь задание. Ему посоветовали устроиться, в немецкой комендатуре. Она разместилась в здании бывшего сельсовета.

— Немцам сапоги чистить? — хмуро спросил Вася.

— Ты же сам сказал, что готов на любые испытания...

И он действительно подметал полы, чистил немцам сапоги, сумел расположить их к себе настолько, что его ни в чем не заподозрили, даже когда на двери самой комендатуры появилась листовка нашей лесной типографии.

Переполох тогда в Погорельцах поднялся ужасный. Немцы сорвали полы в пяти хатах. Они почему-то решили, что если типография «подпольная», то и действительно должна располагаться под полом.

Вася передал нам через Балабая подробнейший, нарисованный им самим, план Погорельцев. На этом плане хата, в которой жил комендант, была изображена в разрезе.

— Вот это кровать, — объяснил он. — На кровати лежит, головой к окну, сам комендант. Чтобы вы не перепутали, я нарисовал на его лбу свастику.

В ночь на 30 ноября к нам пришла пионерка Галя Горбач и, страшно волнуясь, рассказала:

— В нашей хате самый тайный немец стоит. Офицер и денщик его, красивый, как офицер. Эти двое, когда другие спят, все шепчутся. У них особый чемайдан есть, они его от всех прячут. То закидают тряпками, то в подпол спустят. Вчера на конюшню тихо пошли, в навоз закопали.

— Что же ты думаешь в том чемодане?

— А я не знаю. И мамка не знает. Они шепчутся, а мы у окна стоим, слушаем. Только они по-немецки, непонятно.

Мы, конечно, поблагодарили Галю. И маме просили передать партизанское спасибо. Хотели послать с ней провожатого. Отказалась. Было ей не больше четырнадцати лет. Перед уходом попросила, и глазки ее разгорелись при этой просьбе:

— Дайте мени, колы не жалко, одну гранату. Одну-единственную. У Поли Городаш целых три есть, только она жадная. Мы с ней закадычные подружки, но ни за что не дает.

— А зачем тебе граната?

Она хитро улыбнулась:

— Люди балакают — у вас тех гранат сорок ящичков, а может, еще и

больше. У вас они так лежат, а я кину...

Капранов восторженно расхохотался. Утирая слезы, он повторял:

— От це дивчина, от то партизанка!

Я подозвал его, шепнул, чтобы он дал девочке немного конфет. Он сразу стал серьезным.

— Немаеть, Олексий Федорович!

Пришлось повторить приказание. Он выполнил его нехотя. Странное дело, конфетам девочка не обрадовалась. Взяла, но, кажется, всерьез обиделась, что не получила от нас гранату.

Был очень большой соблазн сказать Гале, что скоро мы снова увидимся.

Вечером 30 ноября в лагере была поднята тревога: вступил в силу давно приготовленный приказ: всем взводам-отрядам сняться со своих мест и за ночь выйти для совместных действий к Тополевским дачам, в расположение Перелюбского отряда.

Погода нам благоприятствовала. Разыгралась ужасная метель. Луна поднялась только во второй половине ночи. Поход был очень тяжелым, но зато, как мы того и хотели, совершенно скрытным.

1 декабря в 12 часов дня в лесу Тополевских дач встретились партизаны четырех отрядов. Началось братание, поцелуй. Наконец-то произошло настоящее слияние. Теперь в объединенном отряде было около трехсот человек.

Но торжество скоро кончилось. Немцы не дали нам даже отдохнуть после тяжелого перехода. В 13 часов группировка противника силами до роты, прибыв на нескольких грузовиках, развернулась и начала прочесывать лес.

Конечно, этой ночью немецкая разведка бездействовала. Фрицы были уверены, что встретят здесь, как и раньше, маленький отряд Балабая. Соединенными силами мы в десять минут опрокинули врага. Оставив на поле боя шестнадцать человек убитыми, немцы бежали.

И тут выяснилось, что у нас много храбрых людей. Наши хлопцы контратаковали с лихостью. Особенно в бою этом отличился Артазеев. Он сперва стрелял из-за укрытия, а когда немцы побежали, поднялся во весь свой огромный рост и пустился их догонять. Ох, и зол же он был! Злость даже в фигуре выражалась: мчится по полю на длинных своих ногах и орет. Но не может догнать. И вдруг, видим, на полном ходу садится, как-то кувыркком садится. Все решили: ранен. Но вот он опять бежит. Догнал двух фрицев и стал работать прикладом и штыком. Обоих уложил.

Потом, когда уже все собрались и делились впечатлениями, оказалось,

что садился Артазеев, чтобы разуться. Мешали ему сапоги, велики были. Так он скинул их и по снегу босиком за немцами!

Был у нас боец Юлий Синькевич, скромный, тихий, и, правду сказать, все мы считали его трусом. В этой стычке он умудрился пристрелить трех немцев. Что с человеком стало! Он хлопал теперь по плечу Артазеева. Он даже есть стал больше и потребовал у Капранова двойную порцию спирта. А вечером, когда все плясали и пели у костров, Синькевич тщательно чистил свою винтовку.

Маленькая репетиция. Бойцы еще не знали, что им предстоит этой ночью. Многие удивились, когда им приказали в 10 часов засыпать снегом костры и немного поспать.

В 2 часа всех подняли. Каждая рота, каждый взвод и каждое отделение получили точное задание. В 4.30 все уже подползли к исходным позициям. В 5.00 Рванов нажал курок ракетницы.

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ

Погорельская операция не относится к числу крупных или очень искусных в военном отношении. Просто внезапный дерзкий налет. Внезапный для противника. Мы же довольно долго провозились с его подготовкой. Я не уверен даже, что мы не допустили тактических ошибок.

Однако значение этой операции для нас было очень велико. Впоследствии и командиры и бойцы вспоминали ее у костров, рассказывали о ней новичкам. Да и теперь, стоит нам собраться, непременно перебираем эпизоды этого боя. Участвовало в нем с нашей стороны двести сорок два человека. И каждый, кто остался жив, старается припомнить какой-нибудь эпизод. Ну и каждый, конечно, рассказывает немного по-своему. Попытаюсь передать и я, как сам помню.

Подползая к селу Погорельцы, волновались в то раннее утро больше всего командиры и члены обкома. Они понимали, что неудача — это почти провал партизанского движения в области. Если не провал, то очень большое отступление: надо будет начинать наново. На карту поставлено очень многое.

Вот как выглядела эта карта. Большое темное село в заснеженной степи. Через него проходит шоссейная дорога, пересекают село несколько улиц. Лес, тот самый лес, из которого мы два часа назад вышли, — в семи километрах. Светит поздняя, закатная луна. Мороз, небольшой ветер.

Группа, с которой были Попудренко, Яременко, Рванов и я, растянулась цепочкой по дну овражка. Всего нас в этой группе вместе с бойцами шестнадцать человек. А вокруг села, в разных местах, четыре

группы двести сорок два партизана. Мы стараемся не только не говорить, даже не шептаться.

Наш командный пункт избран давно, он помечен в плане. Все бойцы, и командиры осведомлены о месте его расположения. Это бывший хозяйственный двор колхоза. Сломанная веялка, маховик от локомотива, куча ржавых шестеренок, изношенный жернов.

Мы вглядываемся в стрелки часов. У всех они идут по-разному. Решено равняться на Рванова. До сигнала еще несколько минут.

Эти несколько минут самые напряженные. Мы смотрим в одну точку. В центре села над высокой хатой вьется дымок с искрами. Вьется мирно. Однако там штаб. Не только дым над хатой, все село выглядит так, будто и нет никакой войны. Но там свыше пятисот вражеских солдат и офицеров, прибывших сюда специально, чтобы уничтожить нас. Сейчас фрицы спят, храпят, почесываются. Это мы воображаем. Кто знает, возможно, они давно приготовились? Сидят в засадах и хихикают, ждут, когда мы дадим сигнал и поднимемся. В селе двенадцать человек знают, что в 5.00 Рванов выпустит в небо зеленую ракету. Если из двенадцати наших помощников один оказался предателем...

Рванов поднимает ракетницу, нажимает спусковой крючок. Но выстрела нет. И в ту же секунду в центре села раздается удар по рельсу.

— Сволочи, тревога! — не удерживается Попудренко и, конечно, выскакивает из укрытия.

Я тяну его за кожанку назад. Второй, третий удар по рельсу. В селе почему-то по-прежнему тихо. Удивил меня в этот момент своей дисциплинированностью Рванов: ракетница отказала, а он только шепотом матерился. В селе раздается четвертый, пятый удар по рельсу... Рванов со всего размаха ударяет бойком ракетницы по жернову. С шипением и треском вылетает в небо зеленый огонек.

Нет, в селе никто не подымал тревоги. Просто аккуратные немцы отбивали часы.

Проходит секунда, две секунды, потом слышатся сразу несколько выстрелов. Поднялись, бегут к селу наши. Справа, у церкви, раздается взрыв. Огромное пламя освещает село. Это пламя все растет, наклоняется над Погорельцами. Теперь нам видны и немцы. Звенят стекла, белые фигурки сыплются из окон, падают. Начал цокотать немецкий пулемет, но тотчас захлебнулся. Сквозь треск автоматов и винтовок все громче слышен вой. Полуодетые немцы десятками бегут куда попало и орут, все, как один, орут. Их крик сливается в вой. Бегут и к нам, прямо на КП, штук десять этих воющих. Они орут два слова:

— Руссише партизан, руссише, руссише, руссише партизан!

Мы потом три года подряд довольно часто будем слышать этот вопль. Из подорванных танков, из горящих штабов, из разбитых вагонов будут бежать обезумевшие немцы и орать, как сегодня:

— Руссише, руссише, руссише партизан!!!

Пламя все разрастается: ребята из взвода Громенко подожгли склад горючего.

Тех немцев, что в горячке напоролись на КП, мы уложили всех до одного. А потом не выдержали и вслед за Попудренко пошли к центру боя, перенесли командный пункт на главную улицу. Здесь светло и оживленно. Горят автомобили. Прыгают с них немцы в горящей одежде. Бой затихает. Идем дальше, и вдруг я вижу: стоит на крыльце, в одном платье, вся освещенная пожаром девочка. Фу ты черт, да ведь это Галя. Она меня тоже узнала.

— Галя, — кричу я ей. — Уходи, давай прячься!

Она оборачивается ко мне и весело говорит:

— Так нимцив бильше нема — усе мертвяки.

Подбегает женщина:

— Идыть сюда, у мене в бане три нимця ховаются.

Но там уже все кончено. Наши ребята закидали баню гранатами. Стихают выстрелы. Я смотрю на часы — бой длится уже сорок минут.

Кричит Капранов, зовет народ на помощь. Надо собирать и грузить трофеи. Подбегает ко мне Новиков. Он узнал Галю.

— А ну, где твои красивые немцы с чемоданом?

Галя очень огорчена: они сбежали. Вместе с нами идет она по улице. Всматривается в скрюченные трупы. Их много. По специальному указанию их подсчитывают два бойца. И вдруг Галя бежит вперед.

— Вот он, тот самый, помогите! — кричит она и сама пытается стянуть труп огромного рыжего унтера с чемодана.

Большой дюралюминиевый, тисненый под кожу, чемодан с чехословацкой маркой. Балабай вскрывает его, как консервную коробку штыком. Дамские воротники, каракулевые шкурки, часы и даже шелковый трикотаж и бюстгальтеры аккуратно сложены в этом чемодане. Народ собирается вокруг нас. Это повод для митинга.

Поднимается на крыльцо хаты Яременко. Сбегаются со всех сторон партизаны и селяне. Бегут и женщины. Многие прибегают с хлебом и крынками молока.

— Вот что нужно от нас немцам, — говорит Яременко и поднимает, вываливает перед всеми содержимое чемодана.

Это действует сильнее длинной речи. Хохот, крик:

— От це вояки!

Среди партизан я вижу много новичков. Их можно отличить от наших ребят по вооружению. У наших на плечах и русское, и польское, и немецкое оружие, у новичков, погорельских крестьян, только немецкие и венгерские автоматы и винтовки.

Подходит Рванов:

— Пора давать отбой. Операция рассчитана на полчаса, прошло уже больше часа.

Но тут же подбегает наш фельдшер Емельянов:

— У нас трое раненых. Есть рана с переломом. Нужен гипс, но гипса нет... Я бегал в больницу, там засело несколько немцев с пулеметом.

Бой за гипс длился восемь минут. Из новой немецкой ракетницы Рванов выпускает белую ракету. Отбой. Партизаны сбегаются. Строем покидаем Погорельцы. И уже в поле, за полкилометра от села, крик, шум, взаимные объятия и поздравления. Все наперебой рассказывают, и даже стонущие раненые пытаются что-то рассказать.

Попудренко возвышается над всеми. Он на огромном и очень злом немецком жеребце.

— Разве это лошадь? Это — сволочь, — объясняет мне Попудренко и бьет жеребца кулаком по голове. — Осторожно, Алексей Федорович, отойди. Кусается, как крокодил.

По моей просьбе Попудренко со своего возвышения командует зычным голосом:

— Прекратить разговоры! Ускорить шаг!

Кто-то напевает «По долинам и по взгорьям». И вдруг выясняется, что ребята наши отличные, просто превосходные певцы.

Таково мое общее впечатление от операции. Конечно, в этой короткой передаче я не все смог рассказать. Несколько раз подбегали к нашему КП командиры групп. Рванов с возмущением доложил, что взвод Бессараба не сумел вовремя перекрыть дорогу, немцы ускользнули. Добрых три сотни немцев ушли в сторону Семеновки. Каждые десять минут связные докладывали о ходе операции. И я, и Рванов, и Попудренко давали оперативные указания.

Практические результаты были следующими. Уничтожены склады с боеприпасами, с горючим, вещевой, продовольственный. Уничтожено две пушки, девять автомашин, восемнадцать мотоциклов. Потери противника: убитыми свыше ста человек. Наши потери: трое раненых.

Боевую операцию по уничтожению немецких захватчиков в селе

Погорельцы отряд провел с оценкой на «хорошо». Восемнадцать бойцам в приказе была объявлена благодарность. Особое внимание всего личного состава было обращено на героический поступок Арсентия Ковтуна.

Уже пожилой человек, до войны председатель колхоза, Арсентий Ковтун записался в отряд и ушел в лес еще до оккупации. Вместе с ним вступил в партизаны его семнадцатилетний сын Гриша. И отец и сын были зачислены в Перелюбский отряд.

Был Арсентий Ковтун человеком могучего сложения, спокойным, неразговорчивым. Называл себя солдатом и держался, как старый опытный солдат: в разговоры часто не вступал, на глаза командирам не лез, но всякое поручение непременно исполнит; одинаково хорошо почистит картошку, срубит дерево, выкопает котлован для землянки или приведет «языка».

В этом бою ему приказали бесшумно снять часового у штаба. Он подполз и обнаружил, что пост спаренный: два немца стоят на двух углах дома. Ковтун подождал сигнала. Когда ракета взвилась над Погорельцами, он кинулся на ближнего часового. Но тот успел выстрелить. Пуля разбила бинокль, висевший на груди Ковтуна. Это его не остановило. Он схватился с немцем врукопашную. Они свалились, и немец оказался сверху. Второй часовой прыгал рядом, не решаясь выстрелить. Как потом рассказывал сам Ковтун, он нарочно держал немца на себе, чтобы второй не выстрелил.

А когда подбежали партизаны, Ковтун мгновенно сбросил с себя немца, вскочил на ноги и со страшной силой нанес ему удар прикладом по голове. Приклад разлетелся в щепы. Второй часовой сделал несколько выстрелов, пробил Ковтуну в двух местах шинель. Ковтун ринулся на него и заколол штыком. Тут подоспел и Гриша.

— Цел, батька? — спросил он взволнованно.

— Цел, цел, сынок, — ответил Ковтун, вырвал из оцепеневших пальцев часового винтовку и бросился в гущу боя.

Весь день после операции рассказывали партизаны об этом поединке. Сам же Ковтун помалкивал и, только уж когда очень приставали, давал солидные и точные ответы.

— А что, дядя Арсентий, тяжелый был тот немец, что на вас лежал?

— Вин не лежал. Вин на мени катался.

— Здоровый был?

— То, что здоровый, ладно. Дуже крепко вид него перегаром несло. Нажрался рому, язык, як той кобель, высунул, рыгает, икает — черт ти что...

— А как же вы приклад разбили? Неужели голова такая крепкая была?

— Так на ней же каска. И голова тоже тяжелая. Ну, и винтовка у меня

была польская. Качество не то...

Когда мы отошли от Погорельцев километров за пятнадцать и совсем уже рассвело, слышим — там опять стрельба. Минометы, пулеметы, а потом артиллерия; штук десять снарядов разорвалось. Разведчики приходят, докладывают:

— Немцы с немцами дерутся. Из Семеновки пришло подкрепление погорельскому гарнизону. Те, что в Погорельцах остались, решили, что это опять партизаны, и открыли огонь. А семеновские немцы тоже сообразили, думают партизаны укрепились в селе. Стали выбивать их артиллерией. Полчаса бились.

— Так пускай всегда воюют, — сказал наш именинник Ковтун.

С тех пор так и пошло. Если удавалось нам стравить немцев с немцами, мадьяров с немцами или полицаями, все говорили:

— Так пускай всегда воюют!

Мы вернулись в тот же лес, где располагался до погорельского боя областной отряд. Там, где раньше жили сто человек, теперь разместились триста с лишним: все взводы, да еще погорельское пополнение. Стояли морозы, часто дул свирепый, ледяной ветер. Зима только начиналась. Впереди были еще более сильные морозы, да и с продовольствием становилось хуже, запасы приходили к концу.

Но людей будто подменили. Подтянулись люди. Быстро и охотно выполняют все приказания. Идешь вечером мимо костров, ребята разбирают немецкие винтовки, автоматы, пулеметы, осваивают вражескую технику.

— Правильно, товарищи! В ближайшем будущем никто оружия нам не даст. Боец Кривда, отвечай на вопрос: кто главный поставщик украинских партизан?

Поднимается Кривда, берет под козырек:

— Гитлер!

— Отставить, плохо знаешь предмет, боец Кривда. Мальчик, а вы что скажете?

Разведчик Малах Мальчик на самом деле уже старик. Ему около семидесяти лет. Он с 1917 года в партии, бывший лесник, бывший плотник, верткий, ловкий, расторопный, на все руки мастер. Он пришел в партизаны вместе с двумя взрослыми сыновьями, дочерью и зятем. Сейчас он разведчик. В лесу он, как дома. В любом селе у него друзья.

— Главный наш поставщик, Алексей Федорович, — отвечает он, усмехнувшись, — партизанская отвага.

— Нет, — перебивает его Семен Тихоновский, большой охотник на

выдумки и сказки. — Главный партизанский поставщик — це буде уверенность. Уверен ты в победе — и добудешь, и достигнешь, и сто лет после войны проживешь.

— Ишь, какой уверенный выискался.

— Ну, а як же! Ты про то слышал, як партизан с немцем про окружение спорили?

— Расскажи, Семен Михайлович!

Тихоновского не надо упрашивать.

— Ну, встретились немец с партизаном. Немец и говорит: «Сдавайся, бо я тебя окружу и уничтожу». А партизан отвичает: «Ты есть глупый попка и больше ничего. Як ты меня окружишь, когда ты весь как есть окружен и деваться тебе больше некуда?» Немец: «Ха-ха-ха, — а сам оглядывается. Я, — говорит, — до Урала дойду, меня фюрер ведет», — а сам опять оглядывается. «Как же ты окружить можешь и победить, — говорит опять партизан, — когда ты все головой вертишь? Зыр, да зыр назад? А не оглядываться тебе тоже нельзя, бо со всех сторон глаза человеческие тебя окружают, и гнев в тех глазах и смерть твоя». Немец як завопит: «Молчать, а то убью!» — а сам не выдержал — опять оглянулся. Партизан его тут и стукнул.

Ходишь так вечером от костра к костру, слушаешь партизанские разговоры, смотришь вокруг. Как все переменилось! Каких-нибудь два дня назад люди были унылыми, молчаливыми, и в каждом взгляде встречался вопрос: «Что дальше?»

Странное дело — даже лес не тот. Красивый, оказывается, лес. А вечером, при свете костров, просто великолепный, можно сказать, величественный пейзаж. Воздух свежий, лица у всех румяные, хохот, гам, шум. Кто борется в снегу, кто песню запеваает, поднимается пар над котлами, скоро будет ужин.

Подхожу к костру, возле которого сидят молодые черниговцы, большей частью рабочие ребята. Сажусь с ними, они выжидающе молчат.

— Что, ребята, устали? Намучились в бою и переходах?

— Нет, товарищ Федоров, у нас порядок. Музыки только не хватает и надо бы песню свою, партизанскую.

— Так что ж, займитесь, сочините. Или будем ждать, пока из Москвы поэта к нам командируют?

— Это бы тоже не вредно. Но мы и сами постараемся. Придумаем. Обязательно, товарищ командир, напишем!

— Алексей Федорович! — ко мне обращается краснолицый, здоровый парень с чубом, лихо зачесанным на шапку, — у нас тут спор вышел.

Помогите разобраться...

Кое-кто улыбнулся. Некоторые не удержались, прыснули смехом.

— Да брось ты, Николай...

— Заткните ему рот...

— Нет, — продолжает здоровяк, — я скажу. По-моему, с командиром, а тем более, с партийным руководителем, можно обо всем посоветоваться. У нас тут, товарищ Федоров, один друг во время боя...

Парнишка лет девятнадцати в Длинной железнодорожной шинели вскочил, набрал в грудь воздуху, видно, хотел что-то сказать, но лицо его залилось краской, глаза обиженно заморгали; он махнул рукой и убежал в лес. Все так и грохнули хохотом.

— Видели партизана, товарищ Федоров? Это тот самый друг. Он в Погорельцах, во время боя, лег за колодой и минут пятнадцать огородное пугало расстреливал. — Ребята опять рассмеялись. — Точно, честное комсомольское, не вру. Люди по врагу стреляют, а он переводит патроны. Только тогда успокоился, когда палку пулями перешиб и чучело свалилось в снег.

Парнишка в железнодорожной шинели, видно, совладав с собой, вышел из-за деревьев, подошел к здоровяку и поднес к его лицу кулак.

— Ты не думай, — с жаром воскликнул он, — что если большой вырос, так все тебе можно. Я тебе, Николай, этого никогда не прощу... Слушайте, товарищ Федоров, я объясню. Теперь уже все равно... У меня близорукость... Но ведь я в депо работал слесарем, мог работать.

Здоровяк схватил его руку и, давась смехом, сказал:

— В том-то и дело, что там ты в очках работал. Признавайся — на обмане в партизаны попал. В армию тебя не взяли, вот и надо было эвакуироваться. Там бы ты был на месте. А то, видите ли, он книжек начитался про партизан. Куда конь с копытом — туда и рак с клешней!

— Врешь, не в книгах дело. У меня, если хочешь знать, отец... У меня, товарищ Федоров, отец погиб на фронте и сестренка изуродована во время бомбежки... Он все это знает, товарищ Федоров, он со мной вместе работал. А теперь высмеивает. Это, я считаю, не по-комсомольски!

— А где же твои очки? — спросил я слесаря. — В очках ты, верно, стрелял бы получше?

— Я их, когда верхом учился ездить, разбил. Вы Думаете, я один белобилетник? Знаете Данилу с музыкальной фабрики, маленький такой? У него туберкулез был в детстве, ему только год назад поддувание перестали делать. Так он в Погорельцах унтера уложил и двоих, наверное, ранил. Вы спросите его — он теперь, в лесу, лучше себя чувствует, чем в городе. И

еще есть, мне это точно известно, не комсомолец, пожилой человек, с язвой желудка, тоже белобилетник. Все мы просились в армию добровольно, не взяли... Но я могу воевать, честное слово. — Он сунул руку в карман и вытащил под общий смех три пары очков. — Это я вчера с немцев снимал, но не годятся. У меня восемь диоптрий.

— Ничего, — утешил я парнишку, — рано или поздно подберешь нужный номер. Ты ему, Николай, помоги. В следующем бою обязательно подбей немца с подходящими очками. И на этом, давайте, я вас помирю. Может, и лучше... Как тебя зовут?.. Александр Бычков. Так вот, Саша, может, и лучше бы тебе эвакуироваться, но теперь поздно рассуждать. Воюй!

Подходит Бессараб. Он, видимо, слышал конец разговора.

— У нас, ватого, старик один сразу двое очков носил, — говорит он.

Бычков надевает на одни немецкие очки другие. Теперь он похож действительно на рака. Даже я не могу сдержать смех. Но Бычков больше не обижается. Он смеется со всеми и радостно говорит:

— Вижу! Отлично вижу! Снайпером буду, честное комсомольское!

Бессараб берет меня под руку и отводит в сторону.

— Хорошее, ватого-етаго, настроение у людей!

— А почему, как ты считаешь?

Задумывается, шевелит пальцами усы.

— Я так считаю, Алексей Федорович, объяснить это явление следует тем обстоятельством, что мы объединились и совместными усилиями ударили по врагу...

— Значит, правильно объединились?

Но Бессараб еще не закончил своей первой фразы. Он человек крайне самолюбивый. На данном этапе он считает нужным признать свою ошибку. Но хочет преподнести это признание, как подарок:

— Труд человека поднимает. Теперь мы потрудились. Поэтому, я считаю, и настроение у бойцов на уровне.

— Значит, правильно объединились?

— Момент выбрали правильный. В этот момент надо было, ватого, выступить с общими силами. Ясно?

На этом разговор с Бессарабом прекращается. Он и теперь в душе упрямо держится прежних своих взглядов. Но факты настолько очевидны, успех так разителен, что Бессараб временно отступает.

Сразу после Погорельской операции главным достижением мы считали общий подъем духа. Партизаны стали себя уважать, поверили в свою силу. Теперь то и дело слышны были разговоры о необходимости еще

более дерзких, более крупных налетов. Но успех был гораздо шире, серьезнее, чем мы предполагали.

Мы оценивали его со своих, лесных, партизанских позиций.

Прошел день, и стали к нам докатываться волны той бури, которую мы, сами того не подозревая, подняли вокруг.

В погорельском бою, как я уже говорил, принимало участие двести сорок два партизана. Кроме того, несколько жителей села помогало нам разведать вражеские силы, часть проводников, из тех, что показывали дорогу нашим ротам, тоже были жителями Погорельцев. После боя почти все они присоединились к партизанам и последовали за нами в лес. Но не только проводники и разведчики вошли в это новое погорельское пополнение.

В бою у нас было много помощников. Мы не знали их, не рассчитывали на них. Большинство так и осталось для нас неизвестными. Некоторые до конца войны держали эту свою помощь в секрете даже от друзей и близких.

Потом-то мы уж твердо знали: если ведем бой в населенном пункте, десятки безымянных помощников воюют вместе с нами. Бой увлекает, зажигает часто и робкие души. Когда немец бежит, вдогонку ему летят не только партизанские пули. Старухи швыряют в него из окон горшки, мальчишки из-за деревьев и с чердаков стреляют в него из рогаток. Инвалиды кидают под ноги костыли. Давно накопленная ненависть находит выход.

В погорельском бою мы впервые узнали об этих помощниках. Некоторые из них так разошлись, что, не скрываясь, вступали в драку. Хватали брошенное врагом оружие, стреляли, и вдруг выяснялось, что и ранили и убили нескольких немцев. Эти товарищи тоже пришли в отряд.

— Оставаться в селе нам никак не можна, — не без сожаления говорили они.

Погорельское пополнение отряда было довольно велико — больше пятидесяти человек.

Но число это с каждым днем значительно увеличивалось. На следующий день после операции в наш лагерь пришло больше десяти добровольцев. Через день — двадцать два. И на третий день шли и на четвертый. Не только из Погорельцев. Люди шли из Богдановки, Олешни. Ченчиков, Самотуг. Старики и подростки, женщины, девушки, даже детишки двенадцати-тринадцати лет приходили и просили «записать в партизаны».

Во всех этих селах, расположенных в радиусе десяти-пятнадцати

километров, в то раннее утро, когда в Погорельцах шел бой, люди высыпали на улицы, смотрели на зарево и слушали, с надеждой и трепетом слушали отзвуки боя. Стреляют пулеметы, минометы, пушки, рвутся снаряды. Все понимали, что каратели не могли так разбушеваться. Прорвалась Красная Армия? Выбросили десант? Каких только предположений не строили.

У нас были тысячи зрителей и слушателей. И уж, конечно, мгновенно разнеслась молва. Без газет и без радио во всех ближних селах, да и в дальних тоже, узнали, что партизаны вышли, наконец, из леса и бьют немцев. Совсем недавно немцы и их ставленники повсюду трубили, что никаких партизан нет. «В лесах прячутся незначительные группы большевистских бандитов. Скоро их выловят и уничтожат». А теперь немцы бегут в панике, разбегаются по полям и шляхам в одних кальсонах... Шутка сказать, напасть на такой гарнизон! Нет, в лесах не маленькие группы, там сотни, а может быть, и тысячи партизан. У них и пулеметы, и минометы, и пушки!

Сами немцы теперь везде кричат, что на них напал мощный, хорошо вооруженный отряд. Нельзя же, в самом деле, сознаться, что гарнизон разбежался под натиском группы партизан.

В Черниговской области это было первое заметное выступление партизан. Оно показало народу, что есть у него защитники, есть мстители за поруганную его честь. Советские люди начали поднимать головы.

* * *

Мы укрепились в лесу. Чуть ли не ежедневно то с одной, то с другой стороны шли в атаку немцы, венгры; случалось, что они бросали против нас и вновь созданные полицейские части. Часов в десять-одиннадцать утра в лагере объявлялась тревога. Две или три роты отправлялись навстречу врагу: почти позиционная война.

Иногда мы производили налеты на гарнизоны противника. Не все, конечно, удачные, как в Погорельцах, однако весьма чувствительные. Создавалась видимость равновесия. Можно было думать, что оккупанты примирились с нашим существованием, согласились, что до поры лес — зона партизан.

Впрочем, мы скоро сообразили, что немецкое командование в тот начальный период сознательно не бросало против нас крупных сил. Немцы избрали провокационную тактику.

Вражеское командование было уверено, что оставшихся в лесах партизан оно сможет выловить и уничтожить в любое время. Первоочередной задачей оно считало организацию власти, полное

порабощение населения. «Вселить ужас во всех, кто останется жить. Стук немецких сапог должен вызывать дрожь в сердце каждого русского» — такую задачу поставил гаулейтер Украины Розенберг перед солдатами оккупационной армии.

Но эта программа ужаса потерпела крах, как, впрочем, и все, что придумывали выкрученные фашистские мозги. Немцы были в то время самоуверенны и наглы. Как-то приволокли наши партизаны в штаб «языка» унтер-офицера войск СС. Для допроса мы вызвали переводчика из роты Балабая — Карла Швейлика. Карл был уроженцем Украины. Его давно проверили — настоящий советский человек.

Во время допроса эсэсовец спросил нашего переводчика:

— Ты немец?

— Да, — ответил Карл, — я немец, но не одураченный Гитлером.

Эсэсовец, хотя и был связан, попытался ударить Карла ногой. И даже, когда получил оплеуху, продолжал плевать и визжать.

— Дураки! — вопил он. — Вас всех поймают через две недели и повесят.

— Почему же через две недели? Сейчас что — кишка тонка?

— Вы пока что нужны нашему командованию.

Тогда мы расхохотались. Но в словах эсэсовца была доля правды. Оккупационные власти рассчитывали, что им удастся восстановить против партизан население.

Кое-где немцы сами создавали ложные партизанские отряды.

Оккупанты дали оружие отпущенным уголовникам, отъявленным бандитам, разрешали им безнаказанно грабить и убивать население. Единственное условие, которое им ставили, — всюду кричать, что они партизаны.

Это был хоть и коварный, но глупый план. На такую удочку попадались только очень наивные люди. Большинство населения безошибочно отличало настоящих партизан от провокаторов. Народ искал защиты от этих бандитов не у оккупационных властей, не у полиции, а у нас.

С помощью населения наша разведка установила, что одна из таких банд находится в хуторе Луковицы, Корюковского района. Взводу под командованием товарища Козика и моему помощнику по обкому товарищу Балицкому было поручено уничтожить провокаторов, именующих себя партизанами.

Их захватили врасплох. Разоружили и вывели на улицу хутора. Все население собралось смотреть, как будут судить бандитов. Балицкий

прочитал народу листовку обкома «Кто такие партизаны». Тут же раздали пострадавшим все награбленное имущество, которое нашли у бандитов. А их всех до одного расстреляли в присутствии жителей.

После Погорельской операции гарнизоны окружающих местечек и сел получили значительные подкрепления. По данным нашей разведки, противник сосредоточил вокруг Рейментаровского леса до трех тысяч солдат. Они не спешили воевать с партизанами, предпочитали более легкую «работу» расправу с населением.

Запылали села. В своих плакатах и листовках немцы писали, что «уничтожают партизанские гнезда». Каратели врываются в село, выгоняли всех из домов. Тех, кто сопротивлялся или задерживался, чтобы взять необходимые вещи, тут же расстреливали. Теплую одежду, велосипеды, патефоны, часы, деньги, драгоценности отбирали. Скот угоняли. Потом одну за другой поджигали хаты.

В ближайших к нам районных центрах — Холмах и Корюковке — появились бургомистры. Начали «работать» полевые и хозяйственные комендатуры. Прибыли и расположились в домах с глубокими и обширными подвалами гестаповцы. В курортном городе Сосница, там, где сливается Десна и Убедь, расположился со своим штабом начальник полиции левобережья Украины пан Добровольский. Во всех населенных пунктах срочно создавались полицейские команды и «выбирались» старосты.

Большинство старост, поставленных немцами, были злейшими врагами народа. Партизаны вели с ними борьбу, разоблачали перед населением, а наиболее подлых и жестоких безжалостно уничтожали, но случалось, что немцы, не найдя в селе явного предателя, вынуждены были выдвигать в старосты человека, недостаточно ими изученного, лишь бы не коммуниста и не очень активного сторонника советской власти. Поэтому раньше, чем предпринимать что-либо против старосты того или иного села, мы сперва узнавали у населения, что за человек. И если он оказывался хотя бы колеблющимся, подсылали к нему своих людей, старались склонить старосту на свою сторону.

Не всегда удавалось убедить колеблющегося активно действовать в нашу пользу. Но многие из них, под страхом народной мести, умеряли свой административный пыл, становились «добрее» и «справедливее».

Кроме того, мы старались с помощью разных хитростей поставить на должность старосты своего человека. Из первой книги читатель знает, что одним из таких ставленников большевистского подполья был Егор Бодько. Он был оставлен в Лисовых Сорочинцах заранее, прямо нацелен на эту

должность райкомом партии. И теперь мы продолжали подбор новых людей для такой работы.

Как-то ночью, возвращаясь с обхода в штабную землянку, я услышал громкий смех Николая Никитича. Смеялся он всегда очень весело и заразительно. Открываю дверь, смотрю, он сидит у лампы с двумя стариками.

Взглянув на меня, Попудренко опять раскатился восторженным хохотом:

— Нет, ты послушай, Алексей Федорович. Вот депутация, так депутация!

Но старики, видимо, не разделяли его веселости. Один из них смотрел прямо-таки мрачно. Другой, увидев меня, поднялся и с обидой в голосе сказал:

— Колы мы дурны, так разъясните. Мы до вас за допомогою, за советом пришли.

Попудренко сразу стал серьезным.

— Повтори, папаша, — сказал он. — Расскажи нашему командиру. Ты не обижайся. Дело, действительно, важное, и мы его уж как-нибудь решим. То не над вами я смеюсь... Просто нравится мне то, что вы рассказываете.

Старики переглянулись, и когда я сел против них за стол, угостил махорочкой, они начали рассказ:

— Мы с хутора Гута...

— Вы бы, товарищ командир, дали распоряжение, чтобы к вам полегче доступ был. Два часа нас на заставе держали. А дело спешное.

— Мы с хутора Гута, — повторил первый. — Был, приходил от вас, от партии, чи от партизан, агитатор. Той агитатор сводку читал, спасибо рассказал нам, яки дела на фронтах, як треба нимцив бить и обманывать.

Высокий такой, чернявый. Призвище его мы не знаем. Но говорит хорошо, за душу берет...

Как, значит, немцев обманывать, щоб воны нас не дуже притесняли. Той агитатор нам сказал, что скоро придут к нам в хутор немци старосту выделять. Вроде выборы будут делать. Так нам ваш агитатор сказал, чтобы мы раньше чоловика средь нашего народа подыскали. Старосту, значит. Чтобы он, той наш чоловик, перед немцами будто для них, а перед нами свой был. Так, Степан, а? — обратился рассказчик к своему спутнику и метнул взгляд на Попудренко: мол, чего тут смешного.

— Так, — ответил Степан. — Точно так. И еще вин сказал, чтобы той наш хлопец сам к коменданту пошел, вкрутил бы ему, будто вин куркуль, сочувствует немецкому порядку. Так, Иван?

— Все так!

— Собрались мы человек семь. Стали друг друга уговаривать: пойдешь ты, Степан, пойдешь ты, Иван, ну тогда ты пойдешь в старосты, Сергей Васильевич! Все отказываются, — старик затянулся махорочным дымом и многозначительно помолчал.

— Да, — осторожно заметил я, — это дело сложное. Трудное дело. Надо так сыграть, чтобы немцы поверили. Иначе живо петля! Опасное дело! Очень смелый, самоотверженный нужен человек!

— Який вы кажете?

— Самоотверженный, говорю, нужен человек. Такой, чтобы и на смерть пошел за народ.

И я вкратце рассказал старикам о Бодько. О жизни, работе и героической гибели заместителя старосты из Лисовых Сорочинц.

Рассказ мой стариков увлек и растрогал. Помолчали они, а потом Степан сказал:

— Так-то вы правильно кажете. Смерть теперь не с косою, а с автоматом немецким ходит. Пропасть легко. Трудно с умом погибнуть. Тот товарищ Бодько, который в заступники старосты пошел, вин причину имел. Проверили точно, из партии исключен, можно такого чоловика к немецким дилам подпустить. Значит, смелость его с умом была. А у нас другое дело, товарищ командир...

— Вы, бачу, — перебил товарищ Степана, — думаете, что у нас боягузы все? Ни, це не факт. Немцы ж не таки дурни, чтоб любого на должность поставить. Они посмотрят, пощупают. Так и мы вроде как с немецкой позиции своих людей пересмотрели. Сколько у нас в хуторе мужчин осталось? Ну, Еремея, того считать не приходится, умом тронулся чоловик. Василия Кожуха тоже из списков исключили. Тому главное в жизни — самогон. Без них, без умалишенных этих, сорок два чоловика...

— И народ ничего. Хороший, советского строя народ. Имеются покрепче, имеются послабже. Так мы бы поддержали. Не то беда, товарищ командир...

Тут Попудренко опять улыбнулся. Старики смолкли. Я взглянул на него, покачал головой. Он вышел из землянки.

— И що вин смиется? — сказал один из стариков. — Вот, я бачу, вы серьезно относитесь.

— Слушайте дале... Стало быть, собрались мы, несколько человек, вместе с бывшим председателем нашей артели. Стали народ разбирать. Кто из себя что представляет. Вроде, как по памяти каждому анкету заполняем: годится вин к немцам в холуи, поверят воны в его солидарность, чи

распознают и повесят.

— Хотели сперва Олександра Петренко!

— Вин головастый парень и молодой, сорока лет нема.

— Ревизионной комиссией колхоза правил. А еще до того, годков пятнадцать тому назад, в комсомоле один из главных был; член бюро чи што...

Я прервал стариков:

— Слишком заметный человек, нельзя, товарищи, такого. Это же моментальный провал...

— Так то мы и говорим. Нельзя, нияк не можна! Другого опробовали. Хижняка Андрия. Цей — голова комиссии по госкредиту и займу. И в раскулачивании сильно участвовал. Отложили его кандидатуру.

— Потим Дехтеренко. Тихий и зовсим старый, верующий чоловик. И так соображает хорошо. «Я, — отвечае, — за народ постою. Я, мол, пожалуйста, не отказываюсь. Тилько есть заминка...» — «Яка така заминка Павел Спиридонович?» — «А та, — отвечае, — заминка, що мий старший сынок Мыкола полковник Червоной Армии, а мий средний сынок Григорий в городе — Вильнюс называется — в райкоме партии працювал, а моя дочка Варвара Павловна, сами знаете, в Киеве, в трамвайном тресте була помощником управляющего... Ну, теперь сами судите, гожусь я, их батька, в старосты?» Ну и постановили, что не годится.

— Да, положение, — вынужден был согласиться я.

Мне уже стало понятно, чему смеялся Попудренко. Трудно было и мне сдержат улыбку.

— Нет, вы погодите, товарищ Федоров. Шукаем мы Ключника Герасима. Угрюмый такой, брови, як те козырьки. Наружность его прямо понравилась бы немцам. Приходим с Иваном до него в хату — нема. Жинку пытаем — где? — «Не знаю». Тилько вышли с хаты, бачим — вин через балочку с узелком к лесу подался. Кличем: «Герасим!» Вин вертается. «Чого?» — «Послужи, Герасим, народу службу. Ты уси годы Радянської влады мовчал, ни за ни против не говорил. Тебе старостой самый раз быть. Ты мовчком управляй, мовчком с немцами, мовчком с нами. А колы что надо, так и накажи кого, будто за нарушение немецкого порядку. Главное, чтобы тайна народная була от немця скрыта. Партизан колы придет, чи сын плинный до матери вернется: его заховать от немецкого глазу...» Подумал Герасим, почесал затылок, да и отвечае: «Не можу!» — «Почему?» — «Не можу, да и все! Чого пристали? Колы б мог, с радостью», — и опять мовчит. «Да ты скажи, Герасим, мы ж свои люди». — «Эх, ладно, скажу! Соколенко знаете?» — «Який такой Соколенко? У нас

на хуторе Соколенко немає...» А сами с Иваном переглядываемся: мол, чего вин Соколенко вспомнил? Цей Соколенко, сколько Радянська влада стоит, про наши хуторские дела в газетах печатал. И в районной, и в черниговской, даже в киевской газете заметки проходили с такой подписью. Как растрату кто сделает, чи плохо працюет председатель, или еще какое безобразие: раз — статья. И вирши вин писал, той Соколенко. «Чудаки вы, — объясняет нам Герасим, — цей Соколенко я и есть! Псевдоним мой Соколенко. Поняли? Так який же з мене староста? Мени самому одна дорога — в партизаны податься!»

— И так, товарищ командир, — продолжал Степан, — за кого не визьмемось, непременно при советской власти той депутат райрады, чи член сельрады, той стахановець, а той бригадир... Куда ни повернись, все народ не гожий.

Старик замолчал и с укоризной взглянул на меня. Они оба поднялись. Но мне удалось подавить улыбку. Усадил их снова.

— Да вы поймите, товарищи, — сказал я, — то, что вы рассказываете, просто замечательно...

— Чего уж тут замечательного? Поставят нам немцы Гороха Петра, а може, того хуже, Соломенного Ивана. То ж вор. То ж хулиган такой, що не только чужие, свои стекла бье... Той в старосты пойдет. Вин к немцам тянется.

Вернулся Попудренко.

— Ну что, Николай Никитич, мы товарищам посоветуем?

— Пришлите, — стали просить старики, — кого-нибудь с дальнего села...

Но они вынуждены были согласиться с нами, что распределение кадров старост все-таки не наше дело, а также с тем, что вряд ли немцы утвердят пришедшего из других мест человека. Долго думали. И пришли к выводу, что лучшей кандидатуры, чем Соколенко, не найти. Вернее, не Соколенко, а Ключника. Тем более, что Ключник действительно пришел вчера в лес; его зачислили в одну из рот.

Дежурный его вызвал. Это был колхозник лет пятидесяти двух. Лицо крупное, тяжелое, взгляд из-под бровей, губы плотно сжаты...

— Зря вы, товарищ Ключник, раскрыли свой псевдоним. Вот мы пришли к выводу, что лучше вас никому с должностью старосты не справиться.

Он кивнул головой.

— Как вы думаете, люди, которым вы раскрыли псевдоним, вас не предадут?

— Так мы ж только двое и были, товарищ командир! — воскликнул один из стариков.

— Ну, значит, не подведут, — сказал Попудренко.

Ключник кивнул головой.

— Так вы согласны, что нужное это дело и что, кроме вас, некому его поручить?

— Теперь понял.

— Так счастливо вам! Идите, работайте... Главное — не попадайтесь.

На этом мы распрощались. Через несколько месяцев, когда начала выходить партизанская печатная газета, в ней довольно часто под сельскими заметками стояла подпись Соколенко. Никто так и не узнал, что пишет эти заметки утверждённый немцами староста хутора Гута.

* * *

Из сожженных сел уцелевшие жители разбрелись по всей области. На тележках и самодельных саночках везли детей и узлы. Сотни семей тащились по дорогам, искали приюта у родственников, знакомых, а то и просто у добрых людей. Прибудет такая разоренная семья, сбегутся со всего села люди — просят рассказать.

Такие «собрания» коменданты и старосты не запрещали. Даже поощряли. «Пусть слушают и ужасаются. Это сделает их покорными» — так, наверное, рассуждали оккупационные власти. Потом-то они спохватились. Поняли, что где бы ни собирались советские люди, с чего бы ни начинали разговор, непременно кончат тем, что надо мстить и истреблять немецкую погань.

Но далеко не все люди из сожженных сел шли к родственникам и знакомым. Десятки и сотни уходили в леса. «У нас на заставах, — шутили партизаны, — как в бюро пропусков — очереди». Особенно много приходило людей по ночам после дневного боя. Кто-нибудь из штаба дежурил — принимал новичков. Эти новички были теми самыми русскими и украинцами, в сердцах которых, по расчетам Розенберга, стук немецких сапог должен был вызывать дрожь. Они приносили с собой пистолеты, гранаты, патроны. В то время каждый желающий мог найти себе оружие на полях, где происходили бои. И каждый, кто приходил, приносил историю своего возмущения. Они рассказывали ее сперва на заставе, потом в штабе, потом новым своим товарищам в землянке или у костра.

Пришел из села Майбутня старик-колхозник Товстоног. Его кое-кто из наших знал раньше. Он оказывал партизанам разные услуги, давал приют нашим разведчикам и связным. Дорога в лагерь была ему известна. И вот как-то рано утром явился с тремя девушками. Одна из девушек привела с

собой корову.

Меня вызвали на заставу. Старик требовал, чтобы пришел самый главный.

— Так это ты и есть Федоров? — спросил меня старик, протягивая мне руку. — Слыхал. О твоём отряде добрая слава идет. Хлопцы твои у меня бывали. Ничего, хорошие хлопцы. Жаль, сынив у меня немає, а то б я благословил к тебе... Сам бы пошел, да годы не те, утомление чувствую.

Я слушал его, но не мог не смотреть на девушек: одна другой краше. Румяные, крепкие. Старшей — года двадцать два, средней — лет восемнадцать, а младшая — подросток лет шестнадцати. Она-то и держала в руках веревку, привязанную к шее коровы. Корова мотала головой, тянула девушку в сторону.

— Розка, — шептала ей девушка, — да тише ты, Розка.

— Волнуется твоя Розка, — сказал я, чтобы втянуть в разговор и молодежь. — Не привыкла зимой по лесам шататься.

После моих слов румянец залил лицо девушки до самой шеи.

— Ничего, — опустив глаза, прошептала она.

— Что, гарны мои дивчины, как скажешь, товарищ командир? Вот эта, будьте знакомы, Настя, старшая моя; девятилетнее образование имеет. А эта средняя моя — Паша, лет ей восемнадцать, но уже звеньевая в колхозе. И Шура, Александра Тимофеевна, мать любимица, со своей подружкой Розой...

— Тато, — запротестовала девушка, — не смийтесь...

— А что, плакать мы пришли? Тут, Шурочка, народ веселый. Гармонист у вас есть? Мои дивчата, товарищ командир, все три спивать мастерицы... Ну, как берешь заместо сынив? Да вот, заодно и скотину эту забирайге. Мы со старухой проживем.

Я не сразу ответил. Старик всполошился:

— Ты не смотри, товарищ командир, что они молчаливы, дивчата мои, в них сила есть.

Всех трех девушек зачислили в отряд. Старшие освоились скоро. Ходили в разведку, принимали наряду с мужчинами участие в боях. Все три оказались прекрасными певуньями. Шура стала запевалой. Но так и не смогла побороть в себе застенчивости. Нежная душа. Когда начинали рассказывать при ней грубоватые партизанские истории, она поднималась и уходила в лес. Мы определили Шуру сперва в санитарки. Она не отказалась, но была огорчена. Очень хотелось ей принимать участие в боях. Маленькая, круглолицая, розовая девушка. Через плечо — санитарная сумка с красным крестом. Сумка эта всегда переполнена.

— Что это у тебя в сумке, Шура? Больно она у тебя тяжелая!

Она покраснеет и, отведя глаза в сторону, тихо ответит:

— Це патрончики!

Добилась, наконец, Шура своего — ей дали винтовку. В первом бою, когда командир уже приказал отступать, — немцев было раз в пять больше, и группе партизан грозило окружение, — Шура не отползла с другими бойцами, а продолжала отстреливаться из-за пня.

— Давай, давай сюда, Шура! — крикнул командир. — Чего задерживаешься?

Она присоединилась к бойцам и, оправдываясь, сказала:

— Мени ж никто не казав. Командир кличе — «хлопцы, отступай», а я ж не хлопец, я — дивчина...

Пока наш отряд не уходил далеко, старик Товстоног регулярно навещал дочерей. А повидавшись с ними, заходил и ко мне. И всегда приносил подарок: несколько яиц, кисет махорки. Я, можно сказать, перешел на его табачное иждивение... Подробнейшим образом расспрашивал меня старик о поведении дочерей, о их боевых качествах.

— Похоже, папаша, что ты не в отряд отдал дочерей, а в школу.

— А як же, — отвечал он спокойно. — Нехай обучаются!

Примерно в то же время пришел в отряд старик шестидесяти пяти лет, беспартийный сельский учитель Семен Аронович Левин. Он недели две бродил по ближним селам и лесам, все искал пути к партизанам. А когда, наконец, ему удалось набрести на партизанскую тропу и попасть в отряд, он так изголодался и устал, что лежать бы ему, откармливаться и отдыхать. Седой, худенький, но бравого духа человек. Уже на следующий день он потребовал работы. Его послали на кухню — в помощь поварихе. Почистил он два или три дня картошку, приходит к командиру роты:

— Возьмите на боевую операцию, дайте повоевать... То, что стар, ничего не имею против, но испробуйте...

И добился своего. Принимал участие в нескольких боях. Помню, когда шли на операцию в Семеновку, за тридцать с лишним километров, старик всю дорогу прошел пешком. Ему предлагали:

— Сядьте в саночки, ведь вы человек немолодой, вас никто не осудит.

— Оставьте, я не хуже вас! — отвечал он почти что с возмущением. Какие я имею привилегии? Если уж вы признали меня бойцом, то разрешите быть равным.

Только после того, как он уничтожил шестерых врагов, Левин согласился перейти в хозяйственную часть.

У нас были десятки стариков-помощников. Не все вошли в отряд. Да

мы и не стремились вовлекать их, тащить в лес. Гораздо большую помощь они могли оказать нам в родных селах и как разведчики, и как связные; в их домах часто располагались явочные квартиры.

В селе Балясы, Холменского района, жил хитрющий дед Ульян Серый. Ему тогда было семьдесят шесть лет. А жив он и сейчас, рассказывает внукам и правнукам о своих партизанских приключениях. Три раза он попадал в руки немцев и полиции. Там его жестоко избивали. Он кричал во всю глотку, плакал.

— Да спросите вы людей! — вопил он в комендатуре. — Я ж тихого поведения. Года мои разве партизанские, куда мне при моих силенках... Да я сроду не видел тех бандитов лесных. — Ульян так искренне ругал партизан, что полицаи и немцы верили, и его отпускали.

А на следующий день он опять шел в лес на связь с партизанами. Помню, как-то пришел он в штаб ужасно злой. Весь аж трясется от негодования:

— Яки у вас тут порядки! Це издевательство над старой женщиной. Есть уговор — выполняй, какой ты иначе военный человек...

Сердился он, оказывается, на Балабая. Условились они, что Ульян придет на опушку леса в два часа дня и будет дудеть в пастушью свирель.

— Я ж им не хлопчик, я стара женщина. Мени мешки по снегу таскать тяжело. Я дудел-дудел, по грудь в снег забрался, никто не идет. У меня луку полпуда, махорки кило два. Весь употел. Долго ли до простуды... Дай ты ему, Алексей Федорович, выговор в приказе...

— Но, может быть, причина была уважительной?

— А ты расследуй, на то ты и власть.

Узнав, что люди Балабая были в тот день заняты строительством землянок и за стуком топоров не слышали его свирели, Ульян согласился смягчить наказание.

— Все же таки вин должен был помнить. И не давай ты ему за это ни крошки табаку из того, что я принес.

В селе Перелюб того же района хозяйкой явочной квартиры и разведчицей была восьмидесятилетняя колхозница Мария Ильинична Ващенко. В лес она ходила редко, но дома у себя принимала десятки наших людей, кормила их, обстирывала. В подвале ее хаты был склад наших листовок; за ними приходили к ней из дальних сел.

Запомнилась мне одна сцена, повторявшаяся потом и в других местах. После боевой операции мы ехали на нескольких санях по сожженному немцами селу Тополевке. Как-то удивительно перемешалось в тот час грустное и веселое, захватывающее и тоскливое. Спасшихся от огня хат в

селе было не больше пяти. Да и они закоптились, а некоторые местами обуглились, всюду торчали трубы, на холодных печах лежали, свернувшись, кошки. Из каких-то черных дыр вылезали дети и старухи. Неожиданно из таких же дыр выскочили девчата и молодые женщины. Они махали нам руками и улыбались. А наши ребята играли на гармошках, и хоть не стройно, но зато громко, пели песни. Искрился снег на солнце, хорошо бежали кони.

Из уцелевшей хаты выбежал парень в одной гимнастерке, лет двадцати пяти. Следом за ним показалась женщина.

— Куда ты, куда? Вернись!

Но парень ухватился за оглоблю моих саней и побежал рядом с конями.

— Разрешите... — задыхаясь, говорил он. — У меня оружие есть... Да отстань ты! — зло крикнул он тянувшей его за гимнастерку жене.

На бегу он з нескольких словах изложил свою военную биографию.

— Был мобилизован, товарищ командир, но не успели отправить в часть, как вдруг немцы... Разрешите присоединиться. Оружие имею.

Я кивнул головой. Парень побежал в хату, и не успели наши последние сани проехать, как он появился вновь с ватником подмышкой, с винтовкой в одной руке и двумя гранатами в другой. В сани он вскочил на ходу. Жена его еще с минуту бежала за нами. Грозила, умоляла, но муж отвернулся от нее и запел вместе со своими новыми товарищами. Это был Осмачко, впоследствии один из лучших минометчиков.

И потом почти в каждом селе, которое мы проезжали, кто-нибудь просился к нам.

Однажды мне доложили, что на заставу пришли четыре мальчика. Мальчики эти были в белых маскировочных халатах, за голенищами у них ножи и ложки, как у заправских бойцов. Я попросил привести их в штаб. Действительно, поверх курточек они накрутили на себя простыни и пеленки. Старший — лет четырнадцати — приложил руку к шапке и отрапортовал:

— Явились на ваше усмотрение, как полностью осиротевшие...

Самый маленький, худенький хотя и стоял, подражая старшим, навтыжку, трясся не то от холода, не то от жгучего желания расплакаться. Длинная зеленая капля висела у него под носом. Заметив мой взгляд, «командир» группы подскочил к малышу, деловито вытер ему нос углом пеленки и опять, вытянувшись, продолжал рапорт:

— Как полностью осиротевшие дети из села Ивановка, Корюковского района: Хлопянюк Григорий Герасимович 1926 року народження, мий брат

Хлопянюк Николай Герасимович 1930 року, а це буде его друг Мятенко Олександр, того же року, и Мятенко Михаил, дошкольник шести рокив...

Я остановил «командира», затащил всех четырех в землянку, усадил, велел принести горячего чая.

В землянку набился народ. Все наперебой задавали мальчикам вопросы. Они торопливо ели, вертели головами, а на вопросы не отвечали, поглядывая на старшего. Он растерялся. Рапортовать было уже невозможно, а к рассказу не подготовился. Расплакался «командир» раньше своих «солдат». Правда, выбежал в лес и только там, прижавшись к сосне, дал волю слезам.

История ребят была ужасна. Желу коммуниста — сержанта Красной Армии Прасковью Ефимовну Хлопянюк убили в ее же хате начальник корюковской полиции Мороз и полицай Зубов. Они забрали в доме все ценное. Ребят не тронули, может быть, только потому, что лень было за ними гнаться. Мальчики вернулись домой только к утру.

Они сами выкопали в своем огороде неглубокую могилу, сами без помощи взрослых, не приглашая никого на похороны, засыпали тело матери мерзлой землей и снегом. Родственников у них поблизости не было. Братья стали жить вдвоем. Небольшой запас картошки и муки уже приходил к концу. Как жить дальше? Куда идти?

Как-то ночью в село ворвалась группа наших партизан. Мальчики наблюдали бой. Они увидели смерть одного из убийц своей матери — полицая Зубова. Они увидели, как партизаны подожгли хату старосты. А потом они вместе со взрослыми колхозниками побежали к складу зерна, который вскрыли партизаны. Мальчики бегали раз десять домой, таская ведрами пшеницу; так и уснули на пшенице, рассыпанной по полу хаты.

Утром же они узнали, что партизаны из села ушли. И в тот же день их соседку Наталью Ивановну Мятенко увели в полицию. Она оттуда не вернулась. Осталось еще двое сирот: Шура и Миша. А тут еще пришли вести из соседнего села — Софиевки. Там полиция убивала не только взрослых, но и детей.

Тогда Гриша собрал младших своих товарищей по беде, произнес перед ними короткую речь:

— Давайте идти в партизаны. Иначе нас перестреляют.

Весьма хозяйственно подготовили ребята свой выход. Положили в торбочку по две пары белья, соли, насыпали пшеницы, взяли сковородку, ножи, иголки, нитки, коробку спичек. Два средних мальчика разведали, где нет постов полиции. Ночью все четверо, накинув на себя простыни, поползли огородами в поле, а потом пошли в лес.

Бродили они по лесу трое суток. Разжигали костры, спали возле них. И, если им верить, до того часа, пока не попали ко мне в землянку, ни разу не плакали.

Но и у меня плакали они недолго. Очень были довольны, когда специально для них завели патефон... Первым уснул малыш. А Шура Мятенко перед сном очень серьезно заявил:

— Ничего, ребята, тут если и погибнем, то за свое Отечество!

Двое из ребят — Гриша и Коля Хлопянюк — остались у нас в разведке. А братьев Мятенко мы вынуждены были в тяжелые дни оставить в одном из сел на воспитание у добрых людей.

Недели через три после боя в Погорельцах к нам приползла обмороженная женщина. Это была колхозница лет сорока, хозяйка подпольной явочной квартиры в Погорельцах, Дарья Панченко. Кто-то из жителей ее предал. И она бежала в лес. Бежала поспешно, ночью. Оделась кое-как, даже теплым платком не успела повязаться. Не удалось ей взять с собой ни куска хлеба. Шла она по глубокому снегу. Коробка спичек, которую она положила в валенок, размокла. Дарья не могла разжечь костер.

Раньше она была связана с Перелюбским отрядом Балабая. Не знала, где располагался областной. Но ей было известно, что в роднике, у корней вывернутого бурей дерева, в воде, под камешком, должен лежать пузырек с запиской — на случай, если отряд перейдет в другое место.

И отряд, действительно, перешел: объединился с нами, и теперь до него было больше пятидесяти километров. Ударил мороз — градусов в двадцать пять. Родник замерз. Дарья видела под прозрачным льдом раздавленный пузырек и краешек записки. Как-то случилось, что пузырек из-под камня вынесло и разбило. В партизанских землянках было пусто и холодно. Есть нечего. Куда идти — неизвестно. Дарья хотела уже двинуться в Орликовку, где были у нее знакомые, прошла километров пять, но вернулась: нельзя было оставить под прозрачным покровом льда записку с указанием направления в областной отряд.

Дарья решила достать ее во что бы то ни стало. Сперва она била по льду ногой. Мягкий валенок даже не оставлял царапин на гладкой поверхности. Дарья попыталась найти под снегом камень. Руки у нее замерзли, голова кружилась от голода. Вечером она увидела, что над Орликовкой занялось зарево. Значит, и там немцы.

Еще одну ночь она, голодная, провела в землянке. На утро, выйдя из землянки, она заметила волчьи следы. Все они вели к одной точке и расходились от нее в стороны. Дарья задумалась: что бы это могло быть?

Подняв голову, она увидела на высоком суку ободранную тушу барана.

Это партизаны забыли, а может, и сознательно оставили для таких, как она.

Волки не могли достать. Но и Дарья, подобно волкам, долго прыгала вокруг дерева, не зная, как добраться до мяса. Голод был так силен, что она решилась снять валенки и ползть на дерево. Тушу она достала. Она грызла твердое сырое мясо без соли. Немного насытившись, но совершенно окоченев, Дарья начала поиски. Углублялась в лес на несколько километров, а ночью возвращалась по своему следу к заброшенным землянкам. Баранью тушу — единственное, что могло спасти ее от голодной смерти, — Дарья каждый раз с мучительными усилиями поднимала на развилку сосны.

Неоднократно она пыталась разбить лед родничка сучьями деревьев. Он не поддавался. Тогда она засыпала его снегом.

Удлиняя с каждым днем свою тропу, Дарья все дальше проникала в лес. И, наконец, уже не стала возвращаться — ползла и ползла вперед. Волки преследовали ее, ждали, пока умрет. На заставу Дарья набрела только на тринадцатый день после выхода из Погорельцев.

Наш фельдшер Анатолий Емельянов, во избежание гангрены, вынужден был ампутировать у нее пальцы ног и семь пальцев на руках.

Дарья выжила. Прошла с нами весь партизанский путь. Была прекрасной разведчицей. Сейчас она председатель сельпо в Погорельцах.

Больше всего в эти дни приходило к нам молодежи. Мы не могли, разумеется, принимать в отряды всех ребят пионерского возраста, желающих стать партизанами. Их были сотни, если не тысячи. Некоторых увлекала романтика борьбы, наивное стремление «пострелять из настоящего ружья». Но большинство колхозной детворы старше десяти лет очень хорошо понимало, какой страшный враг немец. Они видели жадность, зверства, жестокость врага. Многие, подобно пришедшим к нам братьям Хлопянюк и Мятенко, остались сиротами. В их сердцах появилась острая жажда мести палачам.

С каких лет юноша может быть полноценным бойцом? Ответить на такой вопрос нелегко. Иной крепкий, мускулистый парень лет пятнадцати, отличный помощник в крестьянском доме, придет в отряд и уже на третий день разнюнится так, что надо поскорее от него избавляться. Да он и сам просится в походе: «Оставьте меня в селе, не могу больше». А то и просто убегает, но винтовку и пару гранат норовит утащить с собой. Можно ли предъявлять к нему дисциплинарные требования, обязательные для всех партизан? Конечно, нет.

Однако нередки случаи, когда четырнадцатилетний худенький мальчонка загорится такой неистребимой злостью к врагу, что становится

по народному выражению «двужилым». Такому никакие испытания не страшны. Спит на мокрой земле и вскакивает свежий, как огурчик. Стоит на посту несколько часов кряду и не жалуется. На переходах всегда весел и других веселит шуткой. Таким был у нас Вася Коробко, да и Гриша Хлопянюк не отставал.

Все же мы вынуждены были определить в своем неписанном уставе, что моложе шестнадцати-семнадцати лет в партизаны принимать не годится. Нас, конечно, старались надуть и, что греха таить, случалось, надували. Не у всех ведь есть документы. Придет здоровяк, косая сажень в плечах, говорит, что ему девятнадцать лет. Документов у него нет, не экспертизу же ставить. А потом, когда в чем-нибудь серьезно провинится — плачет, сознается, что ему всего пятнадцать, просит снисхождения. Некоторые отряды вынуждены были даже устраивать у себя чистки: исключать целые группы слишком молодых. Но это было лишь в начальный период. Позднее и сельские ребята знали примерно, кого принимают в отряд. А те, которые становились все же партизанами, принаравливались к общим требованиям. Им очень помогало самовоспитаться и закалиться наш комсомол.

Члены комсомола, приходившие к нам в отряд, даже и не очень здоровые физически, показали себя с самого же начала особенно выдержанными, дисциплинированными, а главное сознательными бойцами.

Им была более понятна классовая сущность войны. Разумеется, и комсомольцы только из книг да еще по рассказам старших знали, что такое капитализм. Но комсомольская организация еще до войны помогла им понять и осознать, что враг может придти к нам только из капиталистических стран. Что пойдет он на нас, чтобы отнять завоевания революции, навязать буржуазный строй. Имело это значение? Да, конечно же, и очень большое!

Политически грамотный молодой человек понимал, что немецкий солдат не только убивает, сжигает и разрушает. Немец несет ему ужасное будущее, возвращает его капитализму, хочет сделать рабом. Политически грамотный молодой человек понимал, что идет борьба за сохранение первого в мире социалистического государства. У политически грамотного, сознательного молодого человека гораздо больше стимулов, причин, чтобы смело идти в бой. Он не только мститель. Нет, он революционер, защитник социализма, строитель коммунизма.

После одного из боев этого периода в областном отряде появился маленький, по виду никак не больше чем пятнадцатилетний, парнишка,

худенький, лохматый, на носу, несмотря на мороз, веснушки. А глаза всегда восторженные. И голос звонкий, задиристый. Вечерами, на привале, у партизанских костров он постоянно что-нибудь рассказывал. Именно у костров. То в одном, то в другом, то в третьем месте слышен его быстрый говор. А рассказать у него было о чем.

У нас его чуть не расстреляли. В самом деле, как поступить? В разгар боя ползет по тонкому льду реки, со стороны противника, человек с двумя гранатами за поясом. И ползет не куда-нибудь, а прямо к замаскированному в кустах партизанскому пулемету. У самого берега провалился, промок до нитки, но, бесенок, продолжает ползти. Цепляется за пучки травы, за корни деревьев, лезет по самому кособоку на виду у противника. И враг щадит его, не стреляет.

Наш пулеметный расчет замечает такое дело, подзывает двух бойцов и те — наперерез. Выскакивают внезапно из-за куста, наваливаются на «вражеского лазутчика», затыкают ему рот, скручивают руки, дают сгоряча пару оплеух и тащат в штаб. Они уверены, что взяли «языка». Странно только, что «вражеский лазутчик» не только не оказывает сопротивления, а даже выражает живейшую радость и норовит расцеловать своих конвойных. Впрочем, не так-то легко убедить их, а потом и штаб, что действительно стремился к партизанам. Раздаются возгласы:

— Брешет он!

— Расстрелять гада!

Но тут, на счастье, появляется Маруся Скрипка, секретарь комсомольской организации, кидается к «языку» и кричит:

— Володька!? Откуда? Да это же Володька Тихоновский, сын Андрея Ивановича из Корюковки! — и с этими словами заключает его в объятия.

Вечером того же дня Володя начинает свои нескончаемые рассказы. Сперва ему не очень-то и верят, но слушают охотно. «Ничего, складно врет» — говорят о нем и пытаются сбить вопросами. Не так-то это легко. Называет место действия и число, и час, и фамилии людей, которые многим известны...

— Сколько тебе, Володя, лет?

— Семнадцать!.. Опять не верите. Честное комсомольское, я в девятый класс перешел — вот и считайте. Я уже два года, как член ЛКСМУ... Но меня все равно считали маленьким. Даже батька. Он сейчас в Корюковском отряде у Короткова. Вот встретимся с ними, батька сам все подтвердит...

С Корюковским отрядом мы и действительно к тому времени еще не встретились, но уже знали, что он действует в восьмидесяти километрах от нас. Было известно также, что среди его бойцов есть заместитель

председателя Корюковского сельсовета Андрей Тихоновский — отец Володи.

— Значит, не взяли тебя в партизаны, а ты сам пошел, насильно заставил себя признать?

— Не насильно, а просто добился... Немцы уже вот они, в трех километрах от села, а батька только почесывается. Другие коммунисты давно эвакуировались, а он сидит. У меня даже появилось подозрение: «шут его знает, может, надумал к немцам перекинуться». По прежнему поведению вроде не похоже. Но если бы только... Честное слово, не посмотрел бы, что родной отец, сам бы убил... Но смотрю, собрал как-то батька в котомку немного еды, с матерью пошушукался и огородами — к лесу. А я краем уха все ж таки уловил, что разговор о партизанах. За ним бегом. Догоняю, прошу взять с собой, отмахивается: «Ты еще мал». Ну, просто ужас, как обидно. Пришлось отстать.

И обидно с другой стороны на комсомольскую организацию. Почему меня забыли. Ведь ясно, что есть договоренность и насчет партизанских, и насчет подпольных действий. Я же читал о гражданской войне. Неужели теперь иначе? Неужели комсомол в стороне? Видно, и здесь меня посчитали слишком маленьким и куцом. Когда наши части отступали, нам с отцом оставили две винтовки и карабин. Мы зарыли в огороде. Значит, я все равно партизан, хоть меня и не взяли в отряд. Иду в то место и так рассуждаю: «Раньше чем меня возьмут, я двух или трех убью». Копаю, чтобы достать, а там пусто улетело мое вооружение. Мне, конечно, понятно — батька передал в отряд. Но зло взяло ужасное.

Когда стемнело, пошел к райкому комсомола. Надо хоть что-то выяснить. Подхожу, дверь открыта, в комнате свет и слышу два голоса. Я встал за дверью, вижу в щелку Марусю Скрипку и ее однофамильца, работника райкома, Федю Скрипку. Она говорит: «Значит, вы будете в Бридских дачах». Мне больше ничего не надо, бегу домой. Взял пол-литра патоки, кусок хлеба, книгу Н. Островского «Как закалялась сталь», завернул все в полотенце, поцеловал на прощание мамашу и подался в лес. Ходил с этим запасом дня два Встретил как-то на просеке людей, крикнул им издали: «Ау!» Они откликнулись автоматным огнем Еле ноги унес: оказались немцы.

Пришлось вернуться в Корюковку. Но и там немцы. Все ж таки пробрался домой Отец, оказывается, тоже не проник к отряду и прячется на колхозной конюшне. Потом перешел в коноплю. Я ему туда несколько дней носил еду. Прохожу и кричу: «Ку-ку!» Он откликается, я ползу к нему. Так мой батька жил дней восемь, пока немцы стояли. А я ходил, приглядывался

к немцам. Первый раз порадовался, что мал ростом. Они на меня не обращали внимания.

Как-то встречаю нашу учительницу немецкого языка Лего. Муж у нее тоже какой-то иностранец. «Вот, думаю, стерва, не эвакуировалась». До войны была такая активная, член месткома, а сейчас идет с немецким солдатом, что-то показывает, сама веселая... Ясно, что ждала и теперь будет нам гадить. Я тогда решил за ней следить.

На другой день идет одна. Я ее обогнал, поздоровался и пошел впереди. Подхожу к бывшему комсомольскому магазину и нарочно оторвал на ее глазах доску от крыльца. Она, конечно, реагирует: «Мальчик, поди сюда! Ах, это ты, Володя. Зачем ты, Володя, портишь имущество, это ведь теперь не советское. При новом порядке будем вас по-другому воспитывать. Где твой папа? Он не коммунист?» Отвечаю: «у меня папаша умер». Она, оказывается, ничего обо мне не помнит. «А ты не комсомолец?» Отвечаю: «Боже меня сохрани». «Заходи ко мне, Володя, в гости, ты, кажется, хороший мальчик». Значит, клюнуло. Теперь надо во что бы то ни стало найти партизан.

Немецкие части прошли, осталась только комендатура. Двигаться гораздо легче. Батяка увидел, что я кое-что соображаю, дает мне поручение: «Завтра, — говорит, — на лесозаводе назначено собрание корюковских партизан. Иди по адресам, сообщи кому надо». Я рад. Все ж таки настоящее дело. Всем сообщил и сам иду на собрание. Подхожу к лесозаводу, а дозорные кидают в меня камнями, даже близко не подпускают. Я стыжу их: «Как же так, я народ собирал, а теперь гоните...» Пустили. Так я стал партизаном. Мне дали карабин. Тот самый, что был у меня в огороде. Но вручили торжественно, и я понял, что получаю оружие для борьбы...

На этом Володя Тихоновский прекращает рассказ, медленно скручивает козью ножку... Он ждет, конечно, вопросов. Повышает интерес у слушателей.

— А как же эта немка? Ты сказал командиру?

— Вы с батяком ушли, а как же мать? Ей от немцев ничего не было?

— Во-первых, — отвечает Володя, — у меня не только мамаша, но еще и младшая сестренка. А во-вторых, мы с отцом очень даже волновались. Их бы свободно могли расстрелять и сжечь дом. Но тут вышло так: два военнопленных, которые бежали из лагеря, наткнулись возле самой Корюковки на мину. Их разорвало. Люди с нашей улицы, человек двадцать, не меньше, дали в полиции подписку, что это мы. То есть, что взрывом убило отца и меня. Так и спасли мать и сестренку.

— Не узнали, что ли?

— Как это не узнали. Отлично узнали, что это не мы. Но есть у людей солидарность. Потому и работать можно. Потому-то я и мог ходить прямо среди самих немцев. Народ не выдавал. Сволочей все ж таки мало. Их издалека видно... Вот Лего и муж ее оказались форменными гадами. Мне наш комиссар, товарищ Рудой, приказал снова проникнуть в Корюковку и втереться в доверие к этой немке. Никогда мне раньше втираться не приходилось. Знаете, как трудно! Это все равно, что подружить с ядовитой змеей. Попробуйте-ка убедить змею, что вы ее уважаете. Я пошел к Лего в гости. Сидел там часа два. Эти супруги уговаривали меня выследить руководителей партизанского отряда. «Твоей маме дадут землю, а тебе очень хорошую, заграничную одежду и красивую немецкую медаль, а кроме того, за каждого пойманного коммуниста по тысяче рублей...» Попробуйте сидеть смиренно и слушать такие слова. Я обещал супругам, что обязательно все сделаю. Только потребовал, чтобы за каждого пойманного коммуниста мне еще платили по пуду муки. Они поверили, что я торгуюсь. Согласились на полпуда. Хотели тут же вести меня к коменданту, чтобы я дал подписку. Еле отбрехался.

На следующую ночь товарищ Рудой и еще один партизан влезли к супругам Лего в окно. Я сперва начертил на бумажке внутреннее расположение комнат. Я просил Рудого взять меня, очень хотелось участвовать активно. Не вышло. Опять мне сказали, что для таких дел я маленький. Так было обидно. Я стоял на улице, чтобы в случае чего свистнуть. Через полчаса открывается дверь, выходят партизаны. «Все в порядке, Володя, пошли!» Они этих супругов кончили без выстрела. Нашли у них списки городских коммунистов и жен офицеров...

После этого мне был приказ действовать и дальше в городе. Я жил дома, но днем никуда не показывался. Батяка принес мне рулон бумаги и говорит: «Пиши». Я целыми днями писал прокламации. Меня свели еще с одним парнишкой — Леней Ковалевым. Очень смелый паренек. Мы потом такие номера откалывали! Еще с нами был комсомолец Науменко, по прозвищу Боня. Тоже ловкий хлопец. Его из отряда погнажи. Спал на посту. Если какое-нибудь живое дело — он может. А стоять на месте не хватает дисциплины.

К этому Боне пришли как-то ночью полицаи. Арестовали. Велели снять сапоги и штаны, приказали: «Иди вперед!» Он быстро пошел и сразу прихлопнул за собой дверь. Подставил полено. Так без штанов и удрал.

Сперва мы прокламации приколачивали к стенам домов молотком. Стучали громко. Нарочно, чтобы люди выходили и читали. Но это

оказалось непрактично. Люди опасались и сразу же срывали лозунги и листовки со своих домов. Тогда мы решили клеить. Мать сварила клейстер. Мы клеили в общественных местах. Клеили даже в уборных. Там человек спокойно прочитает.

Потом нам доставили книжечки: «Как бороться с долгоносиком», «Трактор СТЗ-НАТИ». С виду совершенно невинные брошюрки. Первые две-три страницы действительно о долгоносиках и тракторах. А дальше обращение товарища Сталина к народу, обращение обкома партии, призыв идти в партизаны. Мы эти книжечки подбрасывали, а в базарные дни просто раздавали.

Я держал постоянную связь с отрядом почти два месяца. Выполнял многие задания. Но потом немцы принудили отряд отойти в леса. Я не знал уже, где наши. В Корюковку опять нагнали немцев. Полиция разнюхала, чем я занимаюсь. Пришлось уходить. Вот тут мне досталось. Я восемь суток бродил по лесу голодный.

Иду по лесной тропе, качаюсь от голода. Встречаю какого-то деда. Он взял меня ночевать, уложил на печь. Они со старухой ужинают, едят картошку и огурцы, а я стесняюсь попросить. Потом дед позвал к столу. Говорит: «Гордый вы народ, партизаны!» Мне приятно. А все-таки опасаюсь сознаться, что действительно партизан. Отнекиваюсь. Оказывается, этот дед заметил, что у меня под рубашкой граната. «Я, говорит, сыночек, понимаю, кого тебе надо. Партизаны вот в той стороне». И показал мне на лес, где областной отряд. На прощание подарил мне еще одну гранату.

Утром я пошел сюда. И получилось так, что я оказался в нейтральной зоне — между немцами и вами. «Ну, думаю, пропал». И решил, будь что будет, полезу к вам. Лучше от партизанской пули погибнуть, немцы бы меня, наверное, пытали...

Володя Тихоновский, несмотря на свой малый рост, стал отличным бойцом. Он был одним из инициаторов комсомольского движения за овладение всеми партизанскими профессиями. Ходил в разведку, изучил в совершенстве пулемет, миномет, противотанковое ружье. Участвовал в нескольких подрывных операциях на железных дорогах. Кстати сказать, за три года жизни в партизанском отряде Володя очень окреп и вытянулся. Теперь его уж никак не назовешь малышом.

Но приходили в отряд не только люди с чистой совестью. Пришел хлопец, лет семнадцати, Тимофей Фамилию его называть не стану, зачем молодому человеку портить жизнь воспоминаниями об этом эпизоде.

Тимофей — хлопец видный, плечистый. А на заставе — расплакался.

— Чего ревешь, дурень?

— Вы меня бить будете.

— Значит, заслужил? Рассказывай-ка, брат, за что тебя бить?

— Ведите до командира.

Повели его в особый отдел. Такой к тому времени создали специально для борьбы со шпионажем. Во главе этого отдела стоял Новиков. Пока Новиков задавал ему общие вопросы: откуда пришел, сколько лет, кто родители, Тимофей отвечал довольно бойко.

— Теперь, — сказал в заключение Новиков, — выкладывай, зачем пожаловал.

Тут Тимофей опять расплакался.

— Мамку тебе, что ли, позвать?

— Визьмить мене до себе. В партизаны. Не могу я бильше у нимцив.

— У тебя, брат Тимоха, на душе не все что-то ладно. Говори-ка правду.

В полицию поступил?

Проницательность Новикова поразила Тимофея.

Он с минуту молчал. Потом буркнул:

— Виновен я. Бийте. Я бил и меня бийте.

— Тебя начальник к нам послал?

— Ни, сам.

Он клялся и божился, что в полицаи был завербован силой. И никому вреда не делал, только строем шагал и винтовку чистил.

— А вчера вызвал мене начальник и в сарай послал. Там пять чи шесть нимцив стоят. И Василь Коцура к лавке ремнями пристегнут. Хороший такой хлопец — Василь, дружок мий... Вин кузнецом у нас. Гляжу, морда у него сильно побита, кровь с носа капае. Так жалко мени его стало...

— Выходит, значит, ты, парень, сильно жалостливый?

— Я драку, товарищ начальник, зовсим не терплю. Ребята у нас в селе подерутся — я завсегда разнимаю. И бабы меня просили: «Иди, Тимоха, там пьяные схватились, — разведи».

— Так зачем же немцы тебя позвали?

— Тилько я в той сарай вошел, старшой немец приказывает старосте: «Зови народ». Поки народ збирался, он всем другим немцам показывает на меня, лопочет по-своему. Потим велел телогрейку скинуть и рукав у меня закатил. Потим дае мени в руку, на которой рукав закатан, плетку: «Бий!»

— И ты, сучья душа, бил своего друга!

— Да, слушайте, дядю, — голос Тимофея опять задрожал. — Я говорю тому немцю: «Це мий дружок, не могу его бити...» Так той немец пистолет до морды сует.

— И ты бил?

— Ну, а як же? Вин пистолет до морды и ногами топочет. И так лается, аж мне темно стало. Бью, а сам плачу, сильно жалко мени Василя.

— За что же ты его бил, за какое преступление?

— Не знаю. Староста объявлял, так я дуже хвилювався, не понял. Новиков привел его ко мне.

— Решайте, Алексей Федорович, что с этим субъектом делать.

Позднее в партизанские отряды пришло немало раскаявшихся полицаев. Этот явился первым. Волнение, слезы — все в нем было хоть и наивно, и глуповато, но искренно. Он повторил мне всю историю сначала.

— Что же, — спрашиваю, — друга своего битого ты, значит, там бросил?

— Ни, дядю. Я его с собой взял.

— Так где же он?

— В лисе. Вин дуже утомился. «Положь, — говорит, — меня, Тимоха. Я трохи отдохну. А ты поки сам до партизан сходи». Я его на плечах с километр ташил. Кричит: «Боль очень сильна, положь!»

— Ранен он, что ли?

— Ни. То я его так крепко побил...

Заметив наши неодобрительные взгляды, он стал торопливо объяснять:

— Немец пистолет в морду торк: «Бий, — требует, — крепче!» Я, дядю, як мог тихо бил. Да рука у мене дуже тяжела.

Я послал санитаров за Коцурой. Действительно, лежит под кустом, охает. Принесли его. Фельдшер наш положил на рубцы компресс. Потом Коцура рассказал, как все случилось. Он, несмотря на запрещение, после наступления темноты играл на гармошке. Начальник полиции приказал его выпороть.

Спросили мы потом Василя, какого он мнения о Тимофее.

— Тимоха хлопец безобидный. Не стал бы вин бить — его бы выпороли, а может, и пристрелили.

Через месяц у этого «безобидного» хлопца было на личном счету три убитых немца. Кроме того, он привел живыми двух «языков». «Языки» стали его партизанской специальностью. В разведку и на охоту за «языками» Тимофей и Василий ходили всегда вместе.

* * *

И уж совсем неожиданным был приход одной нашей старой знакомой.

Как-то рано утром на территории лагеря задержали пожилую женщину. Когда ее спросили, что она в лесу делает, ответила, что мужа

ищет.

— Кто такой, как фамилия?

— Мий муж, — отвечает, — руководящий чоловик. Вин самому товарищу Орлову друг.

— Какой еще Орлов? — спрашивают ребята на заставе. — Не знаем мы никакого Орлова.

— Ну, Орленко.

Такая осведомленность неведомой никому женщины показалась ребятам подозрительной.

— И Орленки никакого не знаем. Говори толком, кого надо? Как фамилия мужа?

— Ну, чего вы, — отвечает, — дурью мучаетесь. Федорова мне нужно. Вин и мужа моего знает. Партийный мий муж, секретный чоловик. Кличка его партийная «Серый».

Посоветовавшись на заставе, ребята решили, что вести ее ко мне так нельзя. Решили предварительно обыскать. Попросили снять полушубок. Она не захотела. Прикрикнули на нее. Она тоже за словом в карман не полезла, ответила так, что ребята окончательно разозлились, стали с нее полушубок стягивать. Она заорала на весь лес:

— Ратуйте, люди добрые, грабят!

Не знаю, чем бы все это кончилось. Но случилось так, что я находился недалеко от заставы, услышал крик и пошел на заставу. Ко мне кинулась высокая, изможденная женщина. Обрадовалась, будто родного увидела:

— Олексий Федорович, вы ли это, голубь? Да який же вы стали солидный, представительный! Значит, то верно, люди кажут, что вы тут за главного, значит, то правда, что партизаны силу имеют?..

— Подождите-ка, успокойтесь. Я что-то не узнаю...

— Да ведь Кулько я, Мария Петровна Кулько. Помните, в Левках к нам заходили, мужа моего с собой забрали?

Она с тех пор переменилась ужасно. Лицо землистого цвета, руки костлявые, и только глаза по-прежнему светятся недобрым огоньком. Платье на ней драное и грязное, на ногах огромные мужские валенки. Ребята ей вернули полушубок. Она его поспешно надела и снова обратилась ко мне:

— Разговор до вас есть, Олексий Федорович.

В моей землянке, разогревшись у печки и выпив махом полстакана спирта, Мария Петровна обратилась ко мне с такой, весьма примечательной просьбой:

— Верните мужа моего, Олексий Федорович. Дитки без таты нияк не

могут, плачут. Кушать нам нечего. Забрали все полицаи, гады прокляты. Ушла я с дитками из Левок, просто сказать сбежала. По людям ходим, кусок просим... Пожалейте, Олексий Федорович, ведь четверо у мене диток.

Я был огорошен. Ничего подобного не ждал. Хотел отшутиться и выгнать. Тем более, что не забыл характеристику, данную ей мужем: «Вредная баба! От нее любой подлости можно ждать». Но меня разобрало любопытство. Захотелось узнать, как она до жизни такой дошла. Куда девались запасы, которые оставил ей тогда муж. «Такая ведь, — думал я, — ничем не погнушается. И старосте и немцам будет служить, лишь бы имущество сберечь, а если удастся, так и приумножить».

— Что значит вернуть? — ответил я спокойно. — Вы же не глупая женщина, сами понимаете: он большевик и выполняет свой долг. Никто его насильно не тащил. Работает он с нами потому, что таковы его убеждения, таков долг перед партией и Родиной.

— То я знаю, что он сам за вами ушел. Он неразумный, як дитя. Так и до войны: скажут в райкоме — иди работать в собес, — идет. Еще ничего в собес. В загс его запихали, и тоже послушался, год в загсе руководил. Зарплата маленькая, а пользы только что на свадьбах гулял.

Зашел в землянку по какому-то делу Дружинин. Кулько он знал, рассказывал я ему в свое время и о встрече в Левках. Мария Петровна не смутилась. Поздоровалась с ним за руку.

Я предложил ей перекусить. Она приняла приглашение с радостью. А когда поставили перед ней миску каши, да еще сверху положили кусок мяса и хлеба отрезали, не жалея, и соль поставили в большой консервной банке, хоть жменю бери, лицо ее перекопилось, и она расплакалась.

— Ой, Олексий Федорович, — сказала она дрожащим голосом, растирая на щеках слезы, — не так я вас, когда вы приходили, понимала. Не то думала, не за тем гналась.

— Ешьте, Мария Петровна, — сказал Дружинин. — Ешьте, не торопитесь, а потом расскажите подробно о жизни. Нам это очень интересно.

И она действительно поела, а потом рассказала.

— Как вы тогда скрылись в ночи, а за вами мий Кулько подался, кинулась я и думала догоню. Так темно ж було, не нашла. «Ничего, решаю, — вернется». И, правда, вертается. Что же вы думаете? Так вы его, Олексий Федорович, словом своим сагитировали — опять улег. И нет день, нет два. А тут немцы в Левки пришли. Ко мне в хату офицер стал.

От перепугалась я, Олексий Федорович! Думаю, а ну, как узнает, что

муж мий коммунист. Барахло тоже не все попрятала. Нимцы как раз открыли кампанию: теплые вещи забирают для своей армии. Требуют, чтобы жертвовали. Увидел у меня тот офицер кожушки, руками показывает: «Що, мол, таке?» А я тоже руками и словами и всем стараюсь объяснить, что будто активно собрала в подарок победоносной Германии. Улыбаюсь, кланяюсь. Бачу — вин смеется: «Гут, гут».

Потим к нему хлопчика приставили из колонистов, переводчик он. Тоже у нас жил. Я им обед варила. Сам-то Шерман-майор будто вежливый и чистый. А хлопчик — такой поганый, прыщавый, злой, як змееньш.

По перву жили не дуже плохо. Майор с переводчиком в кимнатах, а я с дитмы в кухне. Шерман-майор, как вечер, ванну принимает: воды в корыто налью, губку резинову дае, тереть чтобы. Вин голый. Ну что тут робить? Терплю. Плачу, а сама тру То для детей, товарищи партизаны. Що тилько мать для диток своих не перетерпит!

Вин будто добрый був, той майор. Диткам моим ром дае, кофе дал раз чашку: сахарину дуже багато насыпал и диткам отдал. Я разбавила на три чашки, и дитки выпили.

Други нимцы чуть что по морде бьют. А наш майор ласково так: «Фрау Марусья...»

Переводчик, той обличье свое прыщаве воротит, детей толкает. Вы мий характер понимаете, Олексий Федорович, я того переводчика, колы вин до моей старшей девчонки стал лепиться, из кухни вытолкала. Вин до майора, а той смеется: «Гут, гут», — говорит.

Я было приспособилась, ночью тихенько вещи перепрятываю. Так думала и жить станем понемножку. А тут приходят до мене два полица и Андрей Сива, староста наш. Шермана-майора дома нема Сива в сарай, корову тягне. Други два за кабанчик. Я начала криком орать, да и дитки мени в помощь. Сива грозит: «Убью!» Пистолет до грудей: «Мовчать, бильшовицка зараза!» Но вы мий характер понимаете, Олексий Федорович, мени, коли до диток дойдет, последне их добро отбирают, мени тогда все чисто прах, никто не напугает. Борюсь с тем Сивой, с рук веревку, что корова привязана, рву. А тут Шерман-майор во двор иде. По военному так выступае: раз, два. Берет Шерман-майор Сиву за ворот, а другой рукой в морду, в морду того Сиву. Бачу я таке дило, к полицаям пидскочила, схватила ведро и тем поганым ведром як стала биться! Так воны со двора бигом...

Тут Дружинин не удержался, прервал рассказчицу:

— Что немцы у вас там в Левках все благородный или только один этот Шерман?

— Сама думала благородный вин, две недели так предполагала. Только то у него политика наружная, а политика внутренняя такая оказалась. Сидят раз вечером оба-два — и Шерман-майор и его переводчик. Дай, думаю, спытаю: чи знают воны, что мий муж коммунист? Тихенько так шла, слезы на себя напускаю: «Пан майор, дитки мои, — кажу, — на вулицю выйти не могут. Бьют их полицаи. И мени грозят, что не спасет тебя и офицер». Переводчик майору пересказывает, а сам смеется. Шерман серьезно слушает. Потим головой машет: «Найн». А переводчик ему снова, гаденыш, что-то говорит. Слышу: «Коммунистише». Пропала, думаю. Майор опять головой машет и долго что-то переводчику объясняет. Той мне: «У нас, — каже, — немцев (тоже без году недиля к немцам причислен, а важно так говорит), у нас, немцев, главное порядок. Есть приказ. По тому приказу установлена очередь — первыми обрабатывать евреев и коммунистов, следующий черед — все, кто связан с партизанами, третьи — семьи коммунистов, четверты — семьи офицеров Червоной Армии. Вы в третьем списке. А полицаи порядок нарушили — потому им и попало».

Мне после того разговору сразу бы утекти. Забрать бы диток, в санки корову запрячь и в ночи до родных своих в другое село перебраться. Так надеялась я, что шутит Шерман-майор, что вправду вин ко мне добрый. Я ж ему обид варила, белье стирала, мыла его самого каждый вечер резиновой губкой. Но колы пришел мий срок, стал Шерман-майор, як той кремень. Ничего не слухае. Полицаи сундуки вытягают, корову та поросенка волокут, Сива меня за ворот, а диток моих сапогами. Как не убили до смерти, не знаю...

Она замолчала. Взгляд ее теперь совсем сухих глаз был устремлен в сторону. Я с удивлением заметил на лице этой женщины признаки раздумья. Губы ее слегка шевелились, будто хотели произнести что-то непривычное, выразить новую и непонятную мысль. Но после недолгого молчания сказала она ни ей, ни нам не нужные слова:

— Вот, Олекоий Федорович, что есть немецка благодарность, фашистска благодарность...

— Так, — сказал я, — кажется, все? Или еще что-нибудь можете рассказать? Вообще-то ведь вам по сравнению с многими другими повезло. Вы живы, и дети ваши тоже пока целы.

— Так разве то жизнь? Прийшла до одних родичей в Семеновку, тетка моя там живет, характеры у нас, як зад и перед, — не сходятся. Потим в Холмы, в район перейшла до невестки.

— Тоже характеры не сходятся?

— Тоже характер, — согласилась она и вздохнула. — Мени чоловік, диткам тата нужен. Верните его нам, Олексий Федорович, сжальтесь над сиротами. Вин в Армию Червону не гожий був, билет белый ему доктора дали по желудку. А теперь от жинки в лес утек, воевать захотел...

Говорила она уже без прежней настырности и даже без слез.

— Но вы же понимаете, — попытался объяснить ей я, — мужа вашего здесь нет. Он ушел по заданию обкома. И вообще, подумайте, о чем вы говорите. Идет страшная война...

Ее вдруг прорвало:

— Я же теперь, Олексий Федорович, ясно поняла, что партизаны люди хорошие и что нет немцев добрых, а все они вороги наши и диткам нашим, — я же теперь учена стала. И что вы с немцами бьетесь, уничтожаете их, то я приветствую всем сердцем и так любому для агитации скажу... Но мени-то, мени що робить? Я-то на что жить осталась? Який з мене толк теперь? Була Мария Петровна хозяйка над домом, над мужем, над дитми. Була у мене и власть и сила. А що стало? Сила при мне, вот она, — рассказчица протянула вперед руки, сжала кулаки так, что на запястьях выступили синие жилы, есть сила, а не хозяйка я бильше в жизни...

Дружинин подмигнул мне и спросил:

— А советскую власть вы любите?

— Як же я могу Радянську владу не любить, колы и дом, и сад, и худобу[8] — все при Радянської владе мы имели. Як же мне Радянську владу не любить, колы мий Кузьма сам член исполкому и мы от цього кормились и росли, и дитей растили...

— Выходит, вы советскую власть только за то и ценили, что при ней вам жить легче; что дом, корова, сад у вас были; что муж имел крепкое положение, прилично оплачиваемую работу? Так надо понимать? — спросил опять Дружинин.

Она взглянула на него с удивлением и даже, кажется, со страхом.

Дружинин продолжал:

— А если бы немцы оставили вам все ваше имущество и дети были бы сыты, и муж бы к вам вернулся, — помогал бы вам по хозяйству, вы бы немецкую власть тоже полюбили, так надо понимать?

— Оставь, товарищ Дружинин, — сказал я. — Разговор надо кончать. Есть и другие дела. Все как будто ясно. Мария Петровна, где вы поселились, в Холмах? — Она кивнула головой. — Муж ваш знает адрес этих родственников? Ну, вот и прекрасно. Когда он вернется с задания, мы ему все расскажем. А если обстоятельства позволят, он зайдет к вам

погостить на денек.

Она ничего не отвечала. Слова Дружинина, верно, очень ее задели.

— Колы б не диты, — произнесла она медленно, — я бы до вас в партизаны пошла...

— А мы бы вас не взяли, — сказал Дружинин.

— То я для примера сказала, что до вас, — продолжала Мария Петровна. — То я на ваш вопрос о немецкой владѣ ответ даю. Характер мий вы сперва хорошо угадали, что нет мени большего на свете счастья, чем хозяйкой быть. И почуяла я теперь точно, что не может при немцах, при ворогах, никто хозяйнувати — ни Сива, староста наш, ни полицаи, а гетмана немцы поставят, як в народе балакают, так и гетмана хозяйнувати на Украине не пустят. И поки Радянська влада не вернется, не будет нам життя. Поняла я правду эту не сразу, а через разорение и унижение, так ведь и вы до командирского звания пока дошли, тоже, небось, шишек на лбу понабивали?

Я не мог сдержатъ улыбки. Отвечала она Дружинину бойко. В логике ей нельзя было отказать. Заметив мою улыбку, Мария Петровна подбодрилась, расправила перышки и перешла в наступление.

— Вот вы говорите — неосознательная у Кулько жинка. Что дальше дому, диток своих да скотины ничего не бачит, в политике слаба, одно хозяйство любит и бильше ничего. А что той Кулько, партийный чоловік, много жинку учил? Дома-то не вин меня, я его учила. В исполкоме, да на собрании, да в райкоме — вы уси партийны, а домой придете: дай, жена, обидать, почини рубашку, а что диты сыты ли? А чому поросенок худо расте? Мой-то Кузьма всюду хвалился: «Вот у меня Маруся хозяйка!» Не увидел, как я в хозяйстве, за пятнадцать лет, душу свою утопила... Так вот же теперь нет у мене бильше хозяйства, руки мои развязаны, а душа против немца загорелась. Ну, думаю, разыщу Кузьму, нехай учит, як дальше жить. Вин партийный, вин в политике силен. А при войне яка жизнь? При войне кругом политика. Так вы к Кузьме не пускаете и вид себе гоните, — она махнула рукой и замолчала.

На этом разговор с Марией Петровной мы закончили. Я дал распоряжение отпустить ей для ребятишек с продсклада муки и сахару, велел проводить до заставы. И только уже прощаясь спросил, не согласится ли она взять с собой в Холмы сотни две листовок.

— Там есть, слева от лесопильного завода, разрушенный бомбежкой дом. Под лестницей углубление. Положите листовки туда, а наши люди возьмут.

— Испытываете? — догадалась она. — Ну, хоть за это спасибо...

Давайте листовки. И смотрите, може мою старшую девчонку тоже приспособить? Ей четырнадцать рокив, пионерка...

После ее ухода мы долго спорили, что она за человек и можно ли ей доверять, действительно ли в этой жадной до глупости бабенке могли произойти за это время такие перемены. А если даже она под впечатлением всего пережитого люто возненавидела немцев, следует ли привлекать ее к подпольной и партизанской борьбе.

И мы решили, что испробовать, во всяком случае, надо. Она, может быть, не очень хороший, политически отсталый, но все же советский человек. Людей же, чье политическое сознание просыпается под влиянием войны и оккупации, немало. Люди идут к нам разные. Но они идут к нам, под наши знамена. Мы должны их принять, вооружить и повести в бой.

Тут же скажу, что Мария Петровна Кулько нас не подвела. Нельзя сказать, чтобы она очень активно работала, но когда нужно было связаться через нее с людьми, переправить кому-нибудь письмо или пачку листовок, Мария Петровна не отказывалась. Да и нельзя было требовать от нее большой активности. Жила она не у себя. И при ее довольно трудном характере жить долго у родственников было подвигом. А жила она в Холмах только для того, чтобы быть нам при случае полезной. Много сделать для нас она не смогла еще и потому, что прокормиться ей с детьми было нелегко.

Таких вот, не очень деятельных, но верных помощников подпольный обком и райкомы имели множество.

* * *

Наши разведчики, связные, новички из окруженцев подробно рассказывали о зверствах, о терроре, свидетелями которых были. Но стоило нам поинтересоваться, как хозяйничают немцы, какие методы экономического порабощения они применяют, наши люди сообщали только поверхностные сведения, которые они сами почерпнули из газет и листовок, выпускаемых оккупантами.

Еще меньше мы знали тогда, в первый период, о духовном мире, о мыслях, настроениях самих немцев и их подручных — венгров. Для партизана фашист был существом без души. О чем он думает, о чем мечтает, какие у него убеждения — да не все ли равно? Их внешний облик, одежда, выражение лиц, их речь — все вызывало у партизан отвращение. Наши переводчики, допрашивая пленных, говорили с ними нарочно испорченным языком, чтобы даже речью не походить на них.

Во время боев в Савенках мы захватили чемодан штабного офицера Августа Тюльф. Там были планы, карты, разные служебные записки. В

большом, синей кожи альбоме хранились фотографии: грузная дама в кружевах; мужчины во фраках; несколько тоненьких девушек с томными глазами; масса детей в белых прозрачных платицах; сам владелец альбома с годовалого до тринадцатилетнего возраста; под конец он держит за талию невесту: улыбка прямо-таки сахарин. Все эти морды аккуратно воткнуты в листы альбома и прикрыты бумажной вуалью. Внизу еще лежали не распределенные фронтовые фотографии: Август Тюльф надевает петлю на шею польской крестьянки; Август Тюльф стреляет в затылок человека со связанными руками; Август Тюльф с группой офицеров поднимает бокал перед портретом Гитлера... И большой, увеличенный на память снимок: Тюльф веселится в кругу друзей. Их там, этих друзей, человек пятнадцать. Тюльф — самый старший. Остальные гитлеровская молодежь. То, что они офицеры, видно по обилию выпивки и разнообразию закусок. Сами же «друзья» все до одного голые. И все изображены в каких-то неестественных и отвратительных позах.

Мы уже давно знали, что немецкое офицерство увлекается порнографией. Но это уже была не просто порнография. Душа фашистского офицерства, вся ее поганая сущность обнажилась в этом фотодокументе; он, кстати, сказать, хранится у меня и сейчас.

Тогда мы еще не знали о Майданеке, Освенциме, не знали, что фашисты изобрели душегубку. Но мы видели села, сожженные карателями, видели растерзанных детей.

В первых числах декабря группа наших разведчиков натолкнулась в лесу на труп женщины. Это была Маруся Чухно — работница Корюковского сахарного завода, коммунистка, подпольщица. Ее квартирой пользовались для связи партизаны Корюковского отряда. Немцам ее выдал предатель и впоследствии бургомистр Корюковки — бывший инженер того же сахарного завода Барановский.

На теле Маруси Чухно мы обнаружили шестнадцать колотых ран. Один глаз был вырван. Палачи подбросили ее останки в лес, чтобы напугать нас, партизан и подпольщиков.

Марусю Чухно торжественно похоронили. Сотни партизан участвовали в похоронах.

Нет, мы не могли и не хотели видеть в оккупантах ничего человеческого. Пока они здесь, на территории Советского Союза, — это не люди, а только враги.

Но для того чтобы успешно бороться с врагом, его надо знать. Мы требовали, чтобы если не все партизаны, то хотя бы руководящие и особенно политические работники и разведчики изучали попадающие к

нам немецкие документы: приказы гаулейтеров, законы, издающиеся на Украине. Как можно вести агитационную работу среди населения, как можно проникнуть в аппарат оккупационных властей, не разобравшись в их порядках?

Большинство товарищей с величайшей неохотой занималось этим предметом. «Какие, к черту, законы? — возражали противники такого изучения. — Новый порядок... Произвол — вот что означает этот оккупационный порядок. Любой комендант может делать, что хочет».

Это было, конечно, верно. Вот очень характерный для того времени документ. Объявление военного коменданта, расклеенное на стенах домов в Холмах.

«ОБЪЯВЛЕНИЕ»

1. Запрещается ходить в лес. Кто не подчиняется этому, тот *будет расстрелян*.

2. Кто поддерживает связь с партизанами, кормит их или дает им помещение, тот *будет расстрелян*.

3. Кто об имени, проживании знакомых ему партизан или о приходе чужих партизан и коммунистов не сообщит сейчас же ближайшей военной единице, тот *будет расстрелян*.

4. Кто имеет оружие или какие-либо другие военные принадлежности, тот *будет расстрелян*.

5. Кто распространяет ложные сведения, могущие напугать население, удерживает людей от работы или каким-либо иным способом мешает общему благу, тот *будет наказан строжайшим образом*.

6. Все старосты должны сейчас представить в комендатуру в Чернигове списки на чужих людей.

7. Родители, учителя и сельские старосты ответственны за молодежь. Они будут наказываться полной мерой за все преступления несовершеннолетних.

8. Кто не препятствует саботажу, если может это сделать, тот *будет наказан смертью*.

9. В отношении сел, которые не подчинятся этому распоряжению, *будут применяться самые строгие меры с коллективной ответственностью*.

Военный комендант».

Получалось так, что любого человека в любой момент можно расстрелять. Оккупационные власти издавали множество распоряжений, приказов и законов. В некоторых из них обещали всякие блага, безопасность, определенные нормы обложений. Но единственные

обещания, которые немцы выполняли, — это повесить, расстрелять, наказать.

И все же обком принял решение, обязывающее изучать систему военной, экономической и политической организации оккупантов. Был создан специальный кружок. Даже сейчас, вспоминая занятия в этом кружке, не могу удержаться от смеха. Сидят раскрасневшиеся, утомленные партизаны и с вспотевшими от напряжения лицами зубрят.

— Управление сельским хозяйством осуществляет гебитскомендатура. Четырьмя сельхозартелями или общинами управляет ландвиршафтсфюрер. Ландвиршафтсфюрер подчинен гебитсландвирту. Гебитсландвирт подчинен крайсландвирту. Крайсландвирт подчинен гебитскомиссару. Гебитскомиссар подчинен гаулейтеру...

После занятия в этом кружке люди приходили в неистовство, их можно было посылать на самые рискованные операции.

* * *

В районном центре Черниговской области — Корюковке — и сейчас еще есть люди, которые могут клятвенно подтвердить, что 6 декабря 1941 года партизанские самолеты разбросали над местечком сотни листовок.

Мы сами узнали об этом налете «партизанской авиации» из захваченных у немцев документов. В докладе районного коменданта, составленного в очень тревожных тонах, сообщалось, что партизаны имеют не только легкое вооружение, но и пулеметы, и артиллерию, и самолеты. В доказательство последнего утверждения приводились свидетельские показания немецких и венгерских солдат и офицеров, а также протоколы допросов жителей Корюковки.

Позднее у нас действительно появились пулеметы и пушки, отобранные в боях у немцев. Прилетали к нам и самолеты из советского тыла, брали наши листовки, разбрасывали над селами и городами области, но только не в декабре 1941 года. Так что, прочитав немецкий доклад, мы посмеялись и только. У страха глаза велики. Коменданты и начальники гарнизонов, чтобы получить пополнение, в своих докладах нередко преувеличивали партизанские силы.

Но потом мы вспомнили. 6 декабря в Корюковке и в самом деле с неба падали наши листовки. Стоял пасмурный день, и немудрено было подумать, что за тучами на большой высоте пролетели самолеты. Замечательно, что Корюковка была в то время набита до отказа оккупационными войсками. Накануне приехали сотни немцев и мадьяр. А как раз шестого на площадь согнали все население местечка, чтобы показать народу новые районные власти: бургомистра, начальника

полиции, коменданта.

И вот тут-то с неба посыпались сотни партизанских листовок, зовущих народ к борьбе против оккупантов.

Это было делом рук двух наших лихих разведчиков — Пети Романова и Вани Полищука.

Случилось же вот что. 5 декабря их послали на связь в Корюковку и дали им для наших подпольщиков тысячу листовок, напечатанных в лесной типографии подпольного обкома.

Об этом походе рассказал сам Петя Романов. А ему можно было верить. Это был один из самых смелых и находчивых разведчиков и диверсантов нашего отряда. И не болтун. Как многие истинно храбрые люди, Петя был человеком не то чтобы тихим или очень уж скромным, но не любил он преувеличений. Ярый сторонник справедливости, Петя всегда требовал, чтобы каждый получил по заслугам. В оценках подвигов как чужих, так и своих этот молодой партизан был очень скуп.

В июне 1942 года Петя Романов погиб вместе с двумя товарищами. Они были окружены несколькими десятками немцев, отбивались до последнего патрона. Товарищи Пети были убиты, а он последнюю пулю пустил себе в висок. Но это история последующих дней. Вот рассказ Пети Романова, как я его запомнил, о случае в Корюковке.

«Нам было дано несколько задач. Во-первых, зайти в больницу к доктору Безродному за рецептами для наших больных; во-вторых, в аптеку за лекарствами и бинтами; потом отдать на явку листовки. Кроме того, узнать новости: как ведут себя немцы, не собираются ли напасть на отряд.

Доктор нас отпустил моментально. Он, как обыкновенно, тревожился.

— Зачем, — говорит, — вы ходите ко мне с таким количеством оружия? Поймите, я не партизан и мне страшно.

Ну, ничего, рецепты выдал. В аптеке пришлось немного покричать, чтобы сделали срочно. Ничего. Сделали. Идем дальше. Теперь надо на явку, отдать листовки.

Иван говорит:

— Смотри, по-моему, это немцы.

Верно, в конце улицы топает не меньше, как рота. Поворачиваем, — с другой стороны мадьяры на конях. Это нам не подходит. А бежать нельзя: в карманах склянки и за поясом по две гранаты и пистолеты. Опять же листовки. Как быть? Нехорошо получается. Их много, а нас всего двое.

Я говорю:

— Иван, попробуем сунуться ну хотя бы в эти ворота.

Он говорит:

— Это опасно, а если там сволочь?

Я говорю:

— По-моему, нет. В этом доме, я помню, до войны жили механик МТС и пекарь. Идем.

Мы вошли. Во дворе собака. Бросается, гадость эдакая. Я говорю ей:

— Жучка!

А черт ее знает, может, она Полкан или еще как. Вдруг она стала вилять хвостом, мы прошли у нее под носом. Ничего. Не укусила. Но дверь нам не открывают. Женщина там или девчонка. Пищит и не открывает. А мы уже слышим, что в другие дворы входят немцы.

Иван говорит:

— Видишь, Петро, там в заборе дыра. Полезем?

Я говорю:

— Полезем.

Я, когда пролезал, порвал сильно карманы и склянки рассыпал. А разве можно бросать. Больные нуждаются. Иван нервничает. Я говорю:

— Все равно, если надо погибнуть, то за медицину тоже будет правильно. Ты как хочешь, а я буду собирать.

Он хоть и поворчал, но тоже стал подбирать пузырьки. Потом мы оказались в другом дворе. И очень хорошо. Там тихо. Мы вышли в переулок. Дальше я знаю дорогу к Буханову. Это рабочий. Старик. Он с детства на сахарном заводе. Он человек верный. Я за его дочкой одно время ухаживал. Неважно, как ее зовут, вам-то не все ли равно.

У Ивана один пузырек раздавился. Я его ругал. Я его так сильно ругал, что он даже обиделся.

Я говорю:

— Дурья башка. Ты пойми, если мы все лекарства погубим и растеряем еще листовки, то какие мы с тобой партизаны и разведчики. Нам тогда грош цена. Верно?

А еще это лекарство оказалось очень вонючее. Ну, ясно, если пошлют за нами собак ищек, — мы пропали.

Нам повезло. Просто счастье. Буханов сидит дома. Представляете кругом такое делается, а он спокойно пьет самогон. Нам говорит:

— Вы, ребята, не обижайтесь, я вам не дам. Самому мало.

Он такой чудак. Всегда вот так разговаривает. Потом сжалился. Налил нам по стаканчику.

Буханов говорит:

— Ну, ребята, время терять не приходится, идемте. Буду вас выручать.

Мы послушались. Он повел нас разными дворами и тропками.

Смотрим, а мы уже на территории сахарного завода. Как это?

Буханов смеется и говорит:

— Вас тут ни один черт не найдет, даже сам Барановский.

Завод сильно сожженный, развалины и всюду копоть. А нас, между прочим, ищут, за нами определенно погоня. Как могло случиться, что сразу узнали и помчались за нами? Не знаю. Думаю, что в аптеке сказали, что заходили подозрительные. Там пациент какой-то обиделся, что мы его оттолкнули, а сами взяли лекарство. Он нам сказал так смешно: «Что вы, говорит, — партизанщиной занимаетесь?» Я ответил как следует. Потом еще Иван прибавил четыре слова. Если бы этот пациент стал еще лезть, то мог и по роже схватить. Нет, в самом деле. У нас такое задание. У нас в отряде есть, которые при смерти, а этот переругивается, будто на базаре.

Вот он, верно, и пустил за нами немцев.

Буханов говорит:

— Спускайтесь сюда.

Оказалось, что какая-то лесенка в развалинах. А потом лезем трубами. Там, под сахарным заводом, очень много разных коридоров и подземных широких труб. Я технологии этой не знаю. Факт только, что там ходы и выходы и какие-то заслонки. Буханов отлично разбирается. Но ему надо бежать обратно, дома дети.

Он говорит:

— Вы, ребята, двигайтесь поглубже. Сидите там, вам ни черта не сделают. Только без меня не уходите с этого места.

Ладно, Он ушел. А у нас положение неважное. Во-первых, очень сильно откуда-то дует холодный ветер. Во-вторых, темно, как в мешке. Спичек нет, а зажигалка на ветру не загорается. Нет, не только хочется курить, но ведь надо что-то видеть. Тут ничего неизвестно, можно провалиться.

Мы не смогли сидеть спокойно. Мы пошли ощупью к концу тоннеля. Там свет.

Иван говорит:

— Давай выглянем.

Я говорю:

— Правильно! Сколько нам тут сидеть. Курить охота и с утра ничего не ели. Пошли!

Ничего. Тишина. Впереди белый снег. Но только я высунулся на волю, выстрел. Я назад. Другой выстрел. Мы тогда, конечно, поглубже. А тут бегут черт его знает сколько. Сунулись в тоннель или трубу, как она называется... Лезут, гады. Требуют, чтобы сдавались. А труба тут пока без

поворота, если начнут стрелять, определенно укокошат.

Надо уходить глубже и заворачивать.

Иван говорит:

— Я брошу.

Я говорю:

— Кидай.

И сам тоже вытаскиваю из-за пояса гранату. Но размахнуться нельзя. Мы кольца сняли и по очереди пустили гранаты низом, а сами назад, бегом, на четвереньках. Взрывная волна довольно крепко нас саданула. Но и там были вопли и стоны.

Мы кричим:

— Как раз вы нас возьмете! Попробуйте! Партизаны гибнут, но не сдаются!

А там, оказывается, сам Барановский, бургомистр. Он ведь на этом заводе до войны был инженером.

Барановский кричит:

— Вылезайте, я все здесь знаю. Я вас отсюда выкурю!

Мы ему отвечаем как следует. Все-таки и он и другие боятся лезть. Мы пошли глубже. Сколько шли и ползли, не знаю. Несколько часов болтались в трубах и тоннелях. Главное, осколки в одежде. Когда был взрыв, наши пузырьки почти все в карманах побились. Мы где-то в трубе повыбрасывали. Но потом пришлось возвращаться.

Иван говорит:

— Как нас Буханов разыщет?

Я говорю:

— Давай вернемся на то место, где он нас оставил.

Поползли обратно. Но забыли, что валяются осколки. Я порезал руки осколками, не сразу понял.

Через некоторое время потянуло дымом. Слезы, кашель.

Иван говорит:

— Это жгут солому.

Я говорю:

— Нет, по-моему, навоз.

Мы сильно поспорили. Торопливо уползаем подальше, а сами ругаемся.

Иван говорит:

— Много ты понимаешь в навозе. У него дым тяжелый, должен тянуться по низу.

Я говорю:

— Какой тут низ или верх, тут круглая труба.

Выяснили только на следующий день. Нам Буханов сказал, что Барановский привез несколько возов соломы. Они жгли до ночи. Потом Барановский сказал полиции, что он как специалист уверен, что мы давно задохнулись. Хорош инженер — не знает даже, сколько надо сжечь соломы, чтобы заполнить все заводские подземелья дымом.

Но это было потом, то есть позднее. Мы спаслись, не задохнулись потому, что сообразили: если дым не стоит на месте, значит есть тяга и выход ему. И полезли в том же направлении, куда тяга. И мы попали в котельную.

Она была совершенно завалена снаружи взорванным камнем. Ни войти, ни выйти. Топки тоже разрушены. Но вытяжная труба на месте. Это мы видели еще на воле. Труба в Корюковке знаменитая — выше пятидесяти метров. Тяга жуткая. Не верите — чуть шапку мою не утянуло. Потому-то в котельной можно было в уголке сидеть спокойно. Весь дым уходит.

У основания труба частично разрушена, дым уходит в пролом.

Тут, в уголке котельной, мы даже спали. Не от беспечности, а от большого утомления. Дым тоже подействовал. Потом холод нас разбудил. И тогда уже дыма не стало.

Головная боль, как с перепоею, и даже тошнит.

Я говорю:

— Это хорошо. Иначе мы бы сильнее чувствовали голод.

Иван говорит:

— Я бы все равно умял картошечки котелка два.

И мы опять сильно поспорили.

Я говорю:

— Тебе каждый доктор скажет, что после угара надо воздерживаться и не есть.

Иван говорит:

— Мой организм может принять еду в любое время. Даже перед казнью.

Но все-таки надо как-то кончать это приключение. Буханова нет. Он, может быть, попался. Он, когда уходил, сказал, что Барановский ему доверяет. Но ведь могли спросить, что вы тут делаете в развалинах и почему партизаны бежали через ваш двор? Были, конечно, и у нас с Иваном тяжелые мысли, не только споры.

Между прочим, тут, в котельной, из разных щелей пробивался свет. И когда посмотришь в пролом в трубе, наверху мелькает белое пятно. А тяга

по-прежнему со свистом.

Иван говорит:

— Знаешь, Петро, у тебя вся физиономия темная. Ты, наверное, порезал не только руки. Может быть, заражение. Вытри бинтом.

Он достал бинт из тех, которые мы купили в аптеке, оторвал кусок и без разрешения с моей стороны трет мне лицо.

Я говорю:

— Очень благодарен. Только думаю, что это кровь с рук, — вырвал у него бинт и бросил.

Этот кусок бинта сразу подхватило тягой и затащило в трубу. Он мигом исчез, улетел в небо.

Иван говорит:

— Вот если бы нам так улететь и прямо в лес.

Я говорю:

— Постой, у меня появилась идея, — и давай расстегиваться.

Он смеется, думает, что я продолжаю шутку насчет того, чтобы улететь через трубу. А у меня появилась настоящая идея. Я расстегнулся, чтобы достать из-под рубашки листовки.

И что вы думаете? Беру пачку листовок, кидаю. Иван смотрит. Листовки закрутило и потащило вверх. Иван понял и тоже расстегнулся.

Мы бросали понемногу. Штук по тридцать. Ясно, что листовки вылетели наружу и с такой высоты разбросались по всей Корюковке.

Мы с Иваном так хохотали и радовались, что даже голова болеть перестала. Иван про еду забыл.

Буханов нас застал за этим занятием. Мы так увлеклись, что не слышали его шагов. Он, правда, в валенках.

Буханов хохочет и говорит:

— Там совсем с ума сошли. Говорят, что партизаны летают над Корюковкой. Полицаи попрятались. Ждут бомбежки. Вы здорово придумали.

Потом закурили. У Буханова не зажигалка, а кресало и фитиль. На ветру это самое лучшее.

Иван говорит:

— Я вполне счастлив, товарищи.

Мы с Бухановым над ним смеемся. Действительно счастье. Как теперь выбраться? Попадем в руки немцев, они из нас будут крошку рубить.

Буханов становится серьезным и говорит:

— Я сам теперь должен вылезать обязательно другим путем. Меня заподозрили. Наверное, стерегут. Я тоже полезу с вами. Но это очень

отвратительный выход. Причем надо будет ждать ночи.

Когда он сказал, как он предполагает вылезть, каким ходом, у нас с Иваном испортилось настроение.

Я говорю:

— Это невозможно. Партизаны будут насмехаться над нами.

Буханов говорит:

— Ничего не будет. Я ручаюсь. Там все замерзло.

Иван говорит:

— Вы как хотите. Я предпочитаю прорываться с боем, но в дерьмо не полезу.

Буханов говорит:

— Это глупо. Канализация не работает уже несколько месяцев. Вы ребята молодые, вам жить и жить. Вам надо еще столько немцев уничтожить. Это предрассудки. А как слесари, которые ремонтируют? Нет, бросьте дурака валять!

Мы все-таки проверили другие выходы и убедились, что там сторожат.

Буханов говорит:

— Это меня, гады, дежурят. О вас уже сложилось убеждение, что вы задохнулись в дыму.

Иван взял в руку гранату и решительно двинулся к краю трубы. Но Буханов вцепился в него и потащил обратно. Так разозлился, что хотел Ивану морду набить.

— Ты, — говорит, — молокосос. Ты должен меня слушать: я отец семейства и опытный человек. Я буду командовать!

Взял Ивана в оборот, и, смотрю, Иван поддался. Тогда я тоже решил, что лучше послушаться Буханова.

Эта канализационная труба хотя и довольно сухая, но ползти было нехорошо. Все-таки аромат. Мы ползли, наверное, час. Выползли в болото. Там еще хуже, чем в трубе. Хоть и мороз, но корочка проваливается. Хорошо еще, что мы были в сапогах.

Но когда мы вошли в лес, такая охватила радость. Не потому только, что спаслись. Нет, главное — провели этих гадов.

Мы обтерлись снегом и пошли в лагерь, а Буханов домой — в Корюковку».

Вот и весь рассказ Пети Романова. Через несколько дней после этого приключения он снова пошел с листовками в Корюковку. Он хотел их разбросать тем же способом. И был очень огорчен, когда узнал, что немцы завалили все входы в тоннели и трубы завода.

* * *

Радионовостями у нас ведал Евсей Григорьевич Баскин Каждое утро на переключке, перед строем, он читал сводку Совинформбюро. Потом пересказывал последние известия и содержание важнейших статей. Баскин был у нас популярен не меньше радиодиктора Левитана.

Когда он ловил в эфире хорошие новости, сообщения о победах Красной Армии, то прежде всего бежал к нам в штаб. И мы сами шли по землянкам: уж очень приятно поразить и обрадовать товарища хорошей новостью. Мне потом рассказывали, что в советском тылу, узнав об освобождении большого населенного пункта, люди выбегали на улицу поделиться с прохожими.

У нас не было прохожих. Но и в лесу каждый хотел первым передать другому хорошую новость. Увидишь — какой-нибудь боец в глубине леса обтесывает бревно, обязательно окликнешь:

— Эй, товарищ, слышал новость?

Помню 13 декабря. Вьюга, мороз градусов двадцать. Днем узнали, что каратели уничтожили Рейментаровку и заняли Савенки. Настроение у людей неважное.

Во втором часу ночи вбегает Баскин.

— Алексей Федорович, Николай Никитич, товарищ Яременко! В последний час!! Под Москвой разгромлено несколько немецких дивизий. Фрицы драпают полным ходом.

Что тут, было! Мы, конечно, перебудили весь лагерь. Подняли пистолетными выстрелами, как по тревоге. Люди обнимались, кидали вверх шапки. Капранов выдал сверх обычной нормы по стопке и даже не ворчал. Разошлись только часа через два.

По какой уж там сон! Разговоры, мечты. По всему видать, инициативу взяла в свои руки Красная Армия — началось большое наступление. Не помню уже, кто первым предложил. Вероятно, коллективная была идея. Создали несколько групп, человек по пятнадцать, и тут же, ночью, отправили в ближайшие села.

Я тоже поехал во главе одной группы. Ворвались верхами в село Хоромное. Разбудили народ.

Минут через пятнадцать к костру, который мы разложили у здания бывшего сельсовета, сбегались крестьяне. Получилось что-то вроде митинга. Я сделал сообщение. Потом посыпались вопросы. В селе немцев не было, несколько недавно завербованных полицаев попрятались. Но кто-то из них сумел пробраться в соседний хутор, где стояла рота мадьяр. Когда явились мадьяры, нас и след простыл.

В лагере уже собрались почти все группы. Обменивались

впечатлениями. У всех восторженное настроение. Информационный налет оказался очень эффективным мероприятием. Крестьяне всюду благодарили, просили почаще приезжать и, если хорошие вести, будить когда угодно.

Не обошлось, конечно, без приключений. В селе Чуровичи, куда заскочила группа во главе с Дружининым, сперва все шло хорошо. Люди поздравляли друг друга. Кто-то даже заиграл на гармошке, и группа запела: «Страна моя, Москва моя — ты самая любимая!» И вдруг раздался выстрел. Все насторожились. Партизаны залегли, чтобы принять бой, местные девчата убежали в огороды. Минуты три спустя в той стороне, где стреляли, заголосила баба. Прибежали оттуда ребята, хохочут:

— Староста застрелился! Услышал, что Красная Армия наступает, решил, верно, что в селе уже передовые части. Схватил пистолет — и пулю в лоб. Это его жена голосит.

Позже всех вернулся в лагерь Попудренко. Он со своей группой был в Радомке. Только вошли в село, видят — в большой хате светятся огни. А так как знали, что в селе нет ни мадьяр, ни немцев, отправились к хате. Попудренко отослал всех, приказав идти дальше, будить народ, а сам рванул дверь, сорвал засов и вошел. Видит — сидят хлопцы, человек восемь. Вскочили с лавок, вытаращили на него очи и молчат.

— Товарищи! — закричал Николай Никитич. — Красная Армия гонит немцев вовсю! Под Москвой легло пять вражеских дивизий, наступление продолжается, ур-ра, товарищи!

Хлопцы очень робко пробормотали:

— Ура...

— Ну, некогда мне тут с вами, — сказал Попудренко и отправился по другим хатам.

Потом собрали митинг. Но видит Попудренко, — нет тех хлопцев, что в хате за ним «ура» повторяли. Спрашивает колхозников:

— Где, мол, такие-то? — Описывает: — Старшой у них с усами и папаха на голове.

Отвечают ему:

— Местных у нас таких усатых нема. Це инструктор из районного управления полиции. Он тут вербует и учит молодых полицаев. То у них совещание было. Они, по причине партизанской опасности, все больше ночами совещаются.

Разозлился ужасно Попудренко:

— Не может быть. Этот усатый за мной всех громче кричал!

— Так вы, — отвечают ему, — на себя взгляните: пять гранат на поясе, автомат на плече, в руке маузер... Увидишь такого дядю, не то что ура,

караул закричишь!

— За мной! — скомандовал Попудренко своим партизанам и бегом к той хате. — Закидаем, — кричит, — гадов гранатами!

Но в хате уже темно, и гады все расползлись.

Когда рассказ был закончен, Попудренко покачал головой и сокрушенно сказал:

— Не хватает нам, товарищи, бдительности!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОБКОН В ЛЕСУ

Примерно в середине декабря политрук одного из взводов обратился к комиссару отряда товарищу Яременко с вопросом:

— Что такое партизан?

Яременко взглянул на него с недоумением.

— Поздновато спрашиваешь, — сказал он. — Но если коротко ответить, мститель народный.

— Это я, товарищ комиссар, понимаю... Но, видите ли, товарищ комиссар... Тут такое дело получилось. Проводил я с бойцами беседу о задачах, какие стоят сегодня, о том, к чему нам стремиться... Вы говорите — мститель народный. Я в таком смысле и разъяснил. Но имеется недопонимание. Отдельные бойцы рассуждают так, что положение у партизан особое. Один так выразился, что у партизана нет будущего и положение у него, если сравнить с бойцами Красной Армии, просто никудышное. Мало того, что партизану отступать некуда, ему и наступать некуда.

— Ну, положим, мы ведь проводим наступательные операции. Погорельцы...

— Говорил. Возражают. То, говорят, не наступление, а наскок. Наскочим — и спрячемся в лесу. Дальше, спрашивают, что? Лес-то ведь окружен. И опять спрашивают — Красная Армия ведет сейчас наступление под Москвой, развивает его с каждым днем. Там бойцу весело...

— Выходит, что дела Красной Армии партизан не касаются? Надо было объяснить, товарищ политрук, что хоть и нет у нас сейчас связи с фронтом, мы и армия все равно вместе. Наступление Красной Армии — это и есть наше наступление.

— Это людям понятно, товарищ комиссар. Но вот, к примеру, есть боец Никифор Каллистратов. Слесарь МТС. Он всегда на беседе вопросами глубоко забирает. Он говорит, что до войны каждый знал свой план. И его старался выполнить. И что вот теперь ему тоже хочется не только на Красную Армию надеяться, а самому, как он выражается, «свою мечту

иметь, план партизанского развития, спущенный до низов».

Товарищ Яременко передал содержание этого разговора мне и другим членам подпольного обкома. Тут было о чем подумать. В самом деле, без плана, без ясной перспективы наш советский человек жить не может. План стал его потребностью, привычкой, второй натурой. В этом одно из основных отличий его от людей капиталистического общества. В зависимости от развития потребность эта ярче или бледнее выражена. И слесарь Никифор Каллистратов, сливая в одно мечту и план, в сущности был прав. Советский человек уже привык к тому, что и мечта реальна. Привык к тому, что она должна выражаться в цифрах и сроках. Во всяком случае, он хочет точно знать, куда его ведут.

Надо было показать бойцам пути нашего партизанского наступления.

В армии каждому бойцу понятно: когда мы идем вперед и гоним врага, это наступление. Когда сдаем наши позиции и враг занимает села и города, это отступление.

В армии каждому бойцу понятно: если его часть укомплектована полностью и хорошо технически оснащена, — она сильна. Чем крупнее часть, тем больший урон она может нанести противнику.

Каждому понятно — ехать лучше, чем идти. Если часть моторизована и все передвигаются на машинах, это хорошо. Да и в санях, конечно, лучше ехать, чем мерять километры шагами.

Даже такие, казалось бы, простейшие истины в лесных, партизанских условиях приходилось пересматривать.

В самом деле, что считать наступлением — движение отряда на запад, в глубь тыла, или на восток, к фронту? Считать ли наступлением захват населенного пункта? Ведь немцы нас оттуда могут вышибить. А жителей такого населенного пункта немцы жестоко карают.

Величина отряда не всегда определяет его силу. Небольшая группа смелых людей может легко прятаться и наносить временами очень чувствительные удары. Особенно сильные при помощи диверсий.

А отсюда и третий вопрос: нужно ли обзаводиться лошадьми и обозом? Ездить, конечно, приятнее, чем ходить. Но, может быть, не надо никуда ездить? Не лучше ли действовать в своем районе маленькой сплоченной группой? Район прекрасно известен. Все лесные тропки изучены...

Теперь не только бывшие партизаны, но и все, кто читал книги о партизанском движении Отечественной войны, знают, что отряды были местными или рейдирующими. Первые крепко держались своего района, вторые проводили несколько операций и уходили. Потом возвращались и

так, кольцами, совершали переходы в сотни, а то и в тысячи километров.

В 1941 году даже командирам отрядов неизвестно было такое деление. Спросил бы кто-нибудь в то время у меня, у Попудренко, у Яременко: стремитесь ли вы сделать свой отряд рейдирующим? Мы бы не сумели ответить.

Нам никто не приказывал стать таким отрядом.

Тактику постоянного движения, иначе говоря — рейда, выдвинула сама жизнь.

Иногда говорят, что партизаны такие-то долго отсиживались в лесу. Действительно, бывало, что небольшой отряд месяцами не показывается ни в населенных пунктах, ни на дорогах, ограничивается обороной. Но я не знаю ни одного отряда советских партизан, который все годы оккупации просидел бы спокойно, просто перепрыгиваясь и ничего не делая.

Если про какой-либо партизанский отряд рассказывают, что он всю войну просидел в лесу и ничего не сделал, — это либо желание очернить партизан, либо то был не отряд, а сброд уголовных преступников.

Не так уж приятно жить в лесу. Спросят: а как же, мол, охотники, лесники и другие специалисты по лесу? Живут же они годами в тайге, забираются в глушь. В том-то и дело, что они не живут в лесу, а работают. Да вообще сравнение это неудачное. В одном случае время мирное, в другом военное.

В мирных условиях, когда есть возможность как следует отстроиться, прочно укрыться от непогоды, организовать свой быт, и то жизнь в лесу далеко не каждому по душе. Попробуйте загнать в лес крестьянина-земледельца, рабочего от станка, инженера. Нет, долго ему там не захочется жить. А лютой зимой, в землянке, стены которой покрыты инеем, теснота, грязь и каждый день одни и те же лица! Да еще знать, что кругом враги. Не сегодня-завтра они могут нагрянуть и безжалостно уничтожить и тебя и товарищей. Какая это жизнь? Отвратительное прозябание. Способны на нее только оголтелые трусы или скрывающиеся преступники. Советские же люди в подавляющем большинстве органически не переваривают длительного безделья.

Конечно, не все отряды были одинаково активны. Не все одинаково хорошо воевали. Разные причины лежали в основе неудач: неумелое руководство, тактическая безграмотность, политическая близорукость. Играли роль и географические факторы. Борьба в лесных и горных условиях дает несомненные преимущества партизанам. Однако мы знаем случаи, когда в районах с идеальными географическими условиями для развертывания партизанских действий противник легко и быстро подавлял

все очаги сопротивления.

Главным условием успеха является, конечно, политическая сознательность народных масс. А в наших условиях главным, решающим была степень организованности коммунистов. Там, где коммунисты сумели сохранить за собой ведущее положение, где они не утратили связи с народными массами, звали их за собой, поднимали на борьбу, в таких районах оккупанты получили наиболее чувствительные удары. В таких районах партизанские отряды были серьезной военной и политической силой.

И уж, конечно, отряды, в которых коммунисты были организованы и сплочены, подолгу никогда не отсиживались, то есть не бездействовали. Касаюсь этой темы еще и потому, что некоторые историки партизанского движения на Украине замечают только мощные удары партизан второй половины войны. Они склонны считать весь первый, организационный период периодом отсиживания и робких действий. Они объясняют появление крупных отрядов и вообще широкое народное сопротивление оккупантам, развившееся к концу 1942 года, немецким террором и жаждой места. Тем самым эти горе-теоретики сбрасывают со счетов агитационно-массовую работу партии по вовлечению в партизанскую борьбу советских людей, оставшихся в тылу врага.

Рост народного сопротивления был прямо пропорционален усилению коммунистического влияния в массах, расширению подпольной агитационной работы и ударам партизанских отрядов. А эти удары были не чем иным, как *военной работой партии* в тылу врага.

Не сразу мы приспособились к условиям подполья, не сразу нашли новые организационные формы. В первый период, когда многие рассчитывали на короткие сроки борьбы, имелись охотники спрятаться, переждать, отсидеться. Эти настроения стали проходить после первых же наступательных боев, когда укрепилась уверенность в своих силах.

Для нас таким переломным моментом была Погорельская операция.

К середине декабря в объединенном отряде насчитывалось свыше пятисот бойцов. И с каждым днем прибывали к нам новые бойцы. Наши агитаторы повсеместно призывали к сопротивлению врагу. Первая листовка, которую обком выпустил в своей типографии тиражом в несколько тысяч экземпляров, была озаглавлена: «Кто такие партизаны и с кем они воюют». В ней мы говорили народу: «Бейте фашистов, идите в партизанские отряды». И люди шли к нам.

Однако наступил кризисный момент. Наступило такое время, когда мы уже не могли без риска лишиться маневренности и боеспособности

принимать добровольцев.

Большинство из них приносило с собой оружие, и все же мы не могли всех вооружить. Нам тащили гранаты, пистолеты — то, что легко спрятать под полый, но автоматического оружия и даже винтовок нам не хватало. У нас был острый недостаток патронов, кончался запас тола. Люди приходили неподготовленные, необстрелянные. С ними надо было очень много работать.

Крепчали морозы. Далеко не все новички были тепло одеты. Все чаще люди обмораживались. Строительство землянок занимало у нас не меньше энергии, чем бои и диверсия.

Рация была закопана на базе Репкинского отряда. Радисты погибли. Никто, кроме них, не знал примет того места, где зарыта была рация. Но мы продолжали поиски. Лучшие наши следопыты обшарили весь тот участок леса, где находилась база, вырыли что-то около двадцати ям, — и все безуспешно.

Посылать людей через линию фронта было нецелесообразно. Слишком далеко. Ни одна из групп, посланных раньше на связь с фронтом, не вернулась. Но все мы, от командиров до самого отсталого бойца, понимали, что в современной войне без радиосвязи партизанский отряд, если и не погибнет, то будет владеть жалкое существование.

Нам нужны были руководящие указания Центрального Комитета партии и Главного Командования; нам нужна была моральная поддержка Большой Земли; мы хотели постоянно чувствовать, что действия наши согласованы с действиями Красной Армии, что мы воюем плечо к плечу со всем советским народом. И если бы была такая связь и руководство, насколько бы это облегчило нашу задачу. А главное — нам нужны боеприпасы, современное оружие, тол, мины. Немцы восстанавливают железные дороги, первые немецкие поезда идут уже мимо нас на фронт. Да, связь, связь во что бы то ни стало!

Введение в бой необученных резервов увеличило число ранений. А медицинская помощь была у нас самым слабым местом. Надо признать: в Чернигове при организации областного отряда мы как-то выпустили из виду этот важнейший участок. Взяли очень мало медикаментов и перевязочного материала. И только в лесу обнаружили, что нет у нас врача. Есть фармацевт — Зелик Абрамович Иосилевич, есть несколько медицинских сестер, а врача-то, хотя бы какого-нибудь молоденького, и нет.

Перелюбский отряд имел фельдшера — Анатолия Емельянова. Его мы и назначили начальником медико-санитарной службы объединенного отряда. Очень старательный, исполнительный, чрезвычайно внимательный,

но что делать — он был не врачом, а только фельдшером и к тому же молодым. За каждым раненым и больным он ухаживал самоотверженно. Ночи не спал, бедняга. Но раненые, хотя и ценили его душевные качества, прежде всего ждали от него не доброты, а помощи.

В первое время мы крали в Корюковке врача из районной больницы. Да, именно так. Приезжали ночью к главврачу Безродному, закутывали его и везли в отряд. Безродный ставил диагноз, прописывал лекарство или делал небольшую операцию. Потом его привозили домой. И все это под носом у немцев. Безродный был уже человеком немолодым и болезненным. Жизнь в лесу ему вряд ли удалось бы выдержать. Но если бы он физически был крепче я моложе, мы бы уж как-нибудь уговорили его остаться у нас.

Однажды сделали попытку воспользоваться услугами немецкого врача. Он попал к нам в плен. Его попросили удалить минные осколки из тела раненого бойца. Он потребовал хирургический инструмент. Ему предложили кортики, ножи, бритвы. Он их почему-то отверг. Такая педантичность не понравилась товарищам. Они рассчитались с немецким эскулапом, не доведя его до штаба.

Крупный отряд не спрячешь. Он может дислоцироваться в одном районе лишь при условии очень хорошего вооружения.

Я требовал от командиров отрядов-взводов, чтобы на каждые пять бойцов они раздобыли лошадь и хорошие сани. Требование это диктовалось необходимостью подвижности — снялись в любое время и ушли из-под носа немцев.

В первые дни этот приказ выполнялся плохо. Не столько потому, что достать в наших условиях лошадей и сани дело довольно трудное, нет, многие не понимали, зачем это нужно, не понимали, что приказ этот — часть большого плана, что в этом плане наше наступление.

Только решив эти важнейшие задачи, то есть обеспечив маневренность, наладив связь с Большой Землей и значительно улучшив медицинское обслуживание, мы могли допустить дальнейший численный рост отряда.

Я говорю — допустить. А ведь мы же хотели создать партизанскую дивизию. В своих выступлениях перед бойцами, в беседах с ними члены обкома и командиры, рисуя наше будущее, нередко говорили:

— Вот когда нас будет несколько тысяч!

Но пока нас только сотни, а некоторые командиры уже побаивались дальнейшего роста. Немцев здесь, в ближайшем окружении, действительно, были тысячи. После разгрома под Москвой оккупационные власти получили приказ поскорее кончать с партизанами. Фронт требовал

пополнения. Поэтому против нас стянули артиллерию, танки, самолеты. Расчет на то, что мы сами распадемся, не оправдался, так же как и расчет на изоляцию партизан от населения.

Уже привезли для солдат сотни пар лыж; мадьяры учились, при помощи полицаев, ездить на санях. Уже падали в расположении нашего лагеря пристрелочные снаряды немецких пушек. Перевес оккупационных частей над нами был настолько велик, что немцы не считали нужным скрывать от нас подготовку наступления. В листовках-пропусках, которые они нам подбрасывали, предлагалось «прекратить безнадежное сопротивление, выходить из лесу и сдаваться».

Ни один наш товарищ этих угроз не испугался. Листовки использовали как курительную бумагу и еще для кое-каких надобностей.

Но мы понимали, что здесь оставаться мы не можем. С каждым днем наше пребывание в этом месте становилось опаснее.

В те дни подпольный обком партии провел одно из важнейших своих заседаний, определил пути нашего развития.

* * *

Что представлял собой в то время подпольный обком партии?

Посмотреть со стороны — маленькая группа людей из числа нескольких сот партизан. Ничем особенным не отличались они, эти люди, от массы. Не все занимали высокие посты. А по одежде, по манере держаться, по строю жизни — такие же партизаны, как и другие.

Но когда эта группа уединялась, все кругом знали, что собрался обком: значит, решаются важные вопросы жизни всего отряда, а может, и не только отряда. Не обязательно секретные, но уж непременно важные, очень серьезные вопросы.

Когда вызывает обком, любой партизан, будь он партийный или беспартийный, подтягивается, собирается с мыслями, просматривает свои блокнотные заметки, если они у него имеются. Ну, а если чувствует за собой какой-нибудь проступок, может и сильно струхнуть...

Не только рядовые партизаны, но и командиры и лихие вояки, когда узнают, что их вызывают на заседание обкома, бросают дела и — все равно: день или ночь, далеко ли, близко ли — немедленно отправляются в путь.

Даже из других, не подчиненных нашему командованию отрядов, из сел, где и нет никакого отряда, из Нежина, да что там из Нежина — из самого Чернигова, может вызвать обком человека. И если вызванный человек враг немцам, если он хочет активно бороться, — обязательно пойдет. Оставит жену, детей и с риском для жизни будет пробираться в тот

лес, где находится сейчас обком.

Кто же эти люди, члены обкома? Откуда у них такая власть над человеческими душами?

То, что члены подпольного обкома были в свое время избраны в легальный Черниговский обком, а большинство из них позднее утверждены Центральным Комитетом в качестве руководителей народной борьбы в тылу врага, имело, конечно, немаловажное значение. Но это не полностью объясняет, откуда у этих нескольких человек такой авторитет и влияние в массах.

Истинное объяснение в том, что рабочие, крестьяне, интеллигенция в подавляющем большинстве понимали, что на оккупированной земле есть только *одна сила, одна организация*, способная поднять миллионы советских людей на героическую борьбу против оккупантов, *Коммунистическая партия*.

В тысячах больших и малых партизанских отрядов и групп сопротивления командирами были коммунисты. Отряды, где во главе стояли беспартийные, можно по пальцам перечесть. И лишь только представлялась возможность, командиры этих отрядов вступали в партию.

Даже в отрядах, не организованных заблаговременно, в группах окруженцев или бежавших пленных, среди крестьян, возмущенных зверствами немцев и ушедших в леса, если были коммунисты, способные руководить, — они становились командирами.

В условиях оккупации особенно ярко проступают в человеке черты подлинного большевика, проверяется его убежденность, преданность коммунистической идее.

Народ это понимает отлично. Народ любит в большевике прямоту, смелость, последовательное проведение намеченной программы.

В отряд приходили из окруженцев и бежавших пленных люди, о которых мы ничего не знали.

Часовым на заставах не вменялось в обязанность опрашивать пришельцев. Часовой должен был доставить их дежурному коменданту или вызвать командира. Но часовые просто из человеческого интереса забрасывали всякого новичка вопросами. И одним из первых вопросов, который ему задавали, был:

— Член партии? Комсомолец?

И партизаны, даже беспартийные, всегда радовались утвердительному ответу. Радовались и потому, что получают сильного преданного товарища, и потому, что в ответе этом смелость и благородство. Ведь так легко скрыть принадлежность к партии. Надо только отрицать. А признание это налагало

очень большие обязанности и трудности. Все знали, что коммунист получает всегда самые опасные поручения командования. В случае же провала — ему первая немецкая пуля.

Никаких дополнительных прав или преимуществ в сравнении с беспартийными коммунисты-партизаны не имели. Не было у нас даже такого формального признака членства, как партийный билет. По решению обкома, все, кто пришел в отряд с партийными или комсомольскими билетами, сдавали их комиссару. В одной из баз был спрятан сейф. Все партдокументы мы сложили в него и закопали[9]. У секретаря отрядной парторганизации товарища Курочки был список членов и кандидатов ВКП(б), секретарь низовой организации ЛКСМУ Маруся Скрипка составила такой же список комсомольцев.

Включение в списки являлось признанием того, что вновь прибывший действительно коммунист или комсомолец. У нас каждый коммунист и комсомолец очень ревностно следил, чтобы как-нибудь не выпасть из списка.

За все время партизанской борьбы было только два случая, когда вступавшие в отряд скрыли свою принадлежность к партии. Обычно же члены партии и комсомольцы, как только их зачисляли в отряд, шли к секретарю низовой организации и просили принять их на учет.

Процедура для этого была установлена довольно сложная. Как правило, пришедшие не имели партийных и комсомольских билетов. Это не ставилось им в вину. Но для того чтобы доказать свою партийность, товарищ должен был найти трех свидетелей — членов партии, которые могли бы подтвердить, что он действительно состоял а такой-то организации.

Ко мне однажды обратились с удивительной жалобой четыре бойца из первого взвода. Подошли все вместе, и один из них так и сказал:

— Мы до вас, товарищ Федоров, с жалобой на Курочку Ивана Мартьяновича...

— Так ведь Курочка не ваш командир. Чем он вам насолил?

— Мы до вас как до секретаря обкому...

Все четверо беспартийные. Ждал, что заговорят они о неполадках в лагере, личных притеснениях, грубости. Нет, они явились по сугубо партийному, даже внутривнутрипартийному делу.

— Власенко вам, Алексей Федорович, известен?

— Знаю такого. Пулеметчик?

— Он самый, точно, Петро Власенко из Карповки.

— Мы с ним односельчане, — вступил в разговор второй боец. —

Прибыл он в отряд — скоро месяц. К нам в отделение записан и живет в той землянке, где и мы. Замечаем — сильно удрученный ходит Власенко. День, другой в таком состоянии. Даже в бою не тот. Мы, как земляка и друга, пытаем: «Какая причина? Может, выпить надо серьезнее, порции не хватает? Может, Маруся-кухарка в мечтах снится?» Отмахивается, умоляет не приставать. Все же мы добились. «Помните, — говорит, — хлопцы, меня ведь еще в тридцать девятом приняли в партию, известно вам это?» Ну, а как же, естественно, помним. «А теперь не признают. Курочка отказывается взять на учет. Я свой билет закопал при выходе из окружения. Пошел бы на то место, да ведь триста километров, не меньше».

Третий боец с жаром подхватил:

— Со стороны Курочки проявлена форменная волокита.

— Он, товарищ Федоров, должен учесть, что обидно человеку. Мы подтверждаем: действительно, состоял. В селе проявил себя активно: на собраниях агитировал; в огородной бригаде разъяснял газеты; внимательно относился. Я, к примеру, сам видел, что до войны Петро «Краткий курс» изучал. Мы секретарю парторганизации Курочке все высказали как свидетели. А вышло хуже.

— Не признал?

— Нет. Вы, говорит, не имеете прав. Если бы, говорит, Петро Власенко был действительно в партии, он бы к вам, беспартийным, по такому делу не обратился.

Я перебил жалобщиков:

— Но ведь вы же не знаете обстоятельств дела. Власенко был в армии. Возможно, что там провинился и его исключили.

Четвертый боец, который все время молчал, счел нужным вмешаться:

— Я с ним вместе из окружения выходил. Мы с Власенко из одного взвода. Не слыхал я об его исключении. Это вы неверно, товарищ Федоров, предполагаете. Выговора Власенко тоже не было.

Я заинтересовался, почему товарищи так ревностно отнеслись к делу Власенко.

— Во-первых, человек волнуется. Мы сочувствуем.

— Ну, а во-вторых?

— А, во-вторых, — главное. Нет у нас в отделении ни одного члена партии. Как вы думаете, имеет это для нас значение, а, товарищ Федоров? В-третьих, — справедливость.

Я рассказал жалобщикам, какой установлен порядок для включения в списки.

— К сожалению, товарищи, и я ничего не могу сделать. Нарушить

установленный обкомом порядок мне права не дано.

Кажется, я их не убедил. Ушли они определенно недовольные. Тот из товарищей, который вместе с Власенко выходил из окружения, минут пять спустя вернулся ко мне:

— А скажите, Алексей Федорович, если я в партию войду, тогда можно мне будет за Петра вступаться?

— Только для того и в партию хочешь вступить?

Он посмотрел на меня удивленно и ответил со всей серьезностью:

— Я предполагаю, что вы шутите, товарищ Федоров. Надо быть глупым, чтобы подавать в партию по одному этому делу. Заявление я написал еще в полку, но подать не успел. Рекомендации у меня сохранились.

— Ты где в окружении был?

— Под Киевом. Мы с Петром больше трех месяцев добирались, пока партизан нашли.

— И ты все время носил с собой рекомендации?

— Носил.

— Власенко, значит, закопал свой партбилет, а ты рекомендации при себе держал?

— Точно.

Сообразив, что это в невыгодном свете показывает его товарища, он спохватился и добавил:

— Так все ж таки разница, Алексей Федорович. У Петра членский билет, а у меня заявление только в кандидаты.

— Дай-ка сюда, покажи.

Он снял шинель, отпорол на спине подкладку и вынул аккуратно сложенные, обвернутые компрессной бумагой три рекомендации, заверенные печатями парторганизаций, и свое заявление.

— Измял, Алексей Федорович, — сказал он виноватым голосом. — Это вот писана ныне убитым лейтенантом Воронько. Эту сам полковник, товарищ Гоцеридзе, мне дал, а третья как раз от Власенки. Он был у нас первым номером на пулемете, а я вторым. Он меня в партию и сагитировал.

Я просмотрел бумаги. Потом внимательно взглянул в глаза бойцу. Нет, невозможно было предположить, что все это заранее придумано. Тем более, что вместе с заявлением и рекомендациями у него были завернуты фотографии жены, детей и грамота райисполкома за отличную работу в колхозе.

— Ну, чудачки ж вы, ведь вот доказательство, — я показал бойцу рекомендацию Власенко. — Тут даже номер членского билета и с какого

года член партии — все сказано. Зови своего дружка и скажи, чтобы тебя благодарил.

Надо было видеть, с какой радостью он меня слушал.

— Верно, верно, чудачки мы. Ведь отчего мы болели, Алексей Федорович. Человек больно хороший, а так несправедливо из партии выбыл.

Отойдя от меня, он шел сперва медленно, потом ускорил шаг и побежал. Я слышал, как он кричал:

— Петро! Давай сюда, Петро!

* * *

В заседаниях обкома принимали участие, кроме членов его: Попудренко, Новикова, Капранова, Дружинина, Яременко, Днепровского и меня, начальник штаба Рванов, помощник секретаря Балицкий, иногда и командиры взводов-отрядов и секретари райкомов.

Собирался обком в свободное от боев время в самых неожиданных местах. Зимой чаще всего в землянке, но когда отряд был в движении, и у моих саней и у костра.

Часто приходилось тому или иному товарищу по тем или иным причинам покидать совещание: нужно отдать распоряжения, разрешить неотложные дела. То и дело прибегал кто-нибудь из бойцов, чтобы рассказать о каком-либо происшествии.

Заседание, о котором я намерен рассказать, проводилось с многочасовыми перерывами, во время которых мы участвовали в боях.

Не стану утомлять читателя подробностями обстановки. Трудно сейчас вспомнить и отдельные выступления товарищей. Вопросы разбирались очень серьезные. Решения были приняты единодушно, хотя поспорили перед этим немало.

Опыт нам уже показал, что, объединившись, отряды выиграла в боеспособности. Удачно проведенная Погорельская операция многих вдохновила и обрадовала. Но когда всем стало ясно, что укрепление отряда влечет за собой движение, когда стало очевидным, что мы не можем без риска полного разгрома оставаться на прежнем месте, многие возроптали.

Бессараб кричал:

— Родные места, ватого-етаго, базы свои бросаем!

Неожиданно присоединился к нему Громенко:

— Никуда я отсюда не пойду! Здесь все кругом известно, все разведано. Бросайте меня: я и один со своими ребятами...

Дело дошло до таких пышных выражений: «Только через мой труп! Лучше я погибну в неравном бою!» и т. д. Но когда ему сказали, что

анархические действия повлекут за собой вопрос о возможности его дальнейшего пребывания в партии, Громенко задумался. Потом пришел и сказал:

— Я, товарищи, подчиняюсь партийной дисциплине.

Но сдерживать людей только силой приказа или решения обкома, приказа и решения, смысл которых остается для них непонятным, то есть рассчитывать исключительно на дисциплину, внушенную авторитетом руководящей верхушки, в условиях подполья долго нельзя.

Мы хотели создать крупный отряд. Когда я говорю «мы», то под словом этим имею в виду обком партии. Но это, быть может, каприз руководителя, желание его подчинить себе, вопреки здравому смыслу, наибольшую массу людей? Да, нашлись товарищи, которые так и говорили:

— Федорову вскружил голову масштаб его довоенной работы. Тщеславный человек, он не может примириться с тем, что под его командованием остается всего лишь небольшая группа людей — областной отряд.

Им возражали:

— Почему Федоров? Решение принял обком партии.

— Знаем, — отвечали противники создания крупного соединения. — Все члены обкома подчинены Федорову, как командиру отряда. В обкоме он же тоже занимает первое положение. Кто же решится идти против его мнения?

Так могли рассуждать только люди, в пылу спора потерявшие головы, люди, не понимающие принципов партийного руководства.

Нет, логика борьбы заставила Черниговский подпольный обком твердо держаться линии на укрупнение отряда. Принимая такое решение, обком имел в виду прежде всего выполнение организационной задачи, поставленной перед ним Центральным Комитетом партии: задачи вовлечения в борьбу с оккупантами возможно большего числа советских людей.

Ленинизм учит, что необходимо: «...нахождение в каждый данный момент того особого звена в цепи процессов, ухватившись за которое можно будет удержать всю цепь и подготовить условия для достижения стратегического успеха.

Дело идет о том, чтобы выделить из ряда задач, стоящих перед партией, ту именно очередную задачу, разрешение которой является центральным пунктом и проведение которой обеспечивает успешное разрешение остальных очередных задач» (И. Сталин, Об основах ленинизма. Сочинения, т. 6, стр. 163–164).

Для нас в тот момент таким особым звеном в цепи процессов, поднимающих советских людей на борьбу с оккупантами, было *создание мощного партизанского соединения*. Такого соединения, о существовании и действиях которого знали бы тысячи и десятки тысяч людей, оставшихся в поработанных районах. Соединения, способного впитать в себя возможно большее число советских людей, идущих в партизаны по зову партии.

Было бы глупо слить воедино все отряды Украины или даже все отряды области. Но хотя бы одно партизанское соединение в области должно было иметь достаточно сил, чтобы:

- 1) наносить врагу серьезные удары;
- 2) держать постоянную радиосвязь с фронтом и нашим советским тылом;
- 3) иметь аэродром для посадки самолетов, посылаемых к нам из нашего советского тыла;
- 4) группировать у себя кадры агитаторов, способных разобраться в сложной политической обстановке того времени, разъяснять советским людям задачи, стоящие перед ними, широко информировать население о подлинном положении на фронтах;
- 5) иметь типографию, печатать и распространять листовки и газеты;
- 6) служить базой для руководящего политического центра, направляющего всю подпольную и партизанскую борьбу в области;
- 7) служить примером стойкости и дисциплины для всех местных отрядов и групп сопротивления окружающих районов.

Ясно, что маленькие отряды, имеющие одно лишь преимущество перед большими: возможность легко спрятаться, не могли взять на себя решение перечисленных задач.

Отдельные товарищи, выражая мнение отсталых в политическом отношении партизанских слоев, возражали против намерения обкома взять в свои руки руководство всем партизанским движением в области. Они говорили, что мы сковываем тем самым инициативу народных масс. «Создавая крупный отряд, говорили они, — вы привлекаете к себе внимание немецкого командования, заставляете его концентрировать в районе действий отряда карательные и военные силы, тем самым Подвергая население еще большим тяготам и страданиям. Партизанское движение, — говорили они, — тем и ценно, что это стихийно возникающее, народное движение, вспыхивающее внезапно под влиянием возмущения, вызванного зверствами оккупантов. Зная, как люто ненавидят коммунистов оккупационные власти, крестьяне побоятся оказывать содействие партизанским отрядам, явно руководимым партией».

Пришлось напомнить сторонникам стихийности, что:

«Теория преклонения перед стихийностью выступает решительно против того, чтобы придать стихийному движению сознательный, планомерный характер, она против того, чтобы партия шла впереди рабочего класса, чтобы партия подымала массы до уровня сознательности, чтобы партия вела за собой движение, — она за то, чтобы сознательные элементы движения не мешали движению идти своим путем, она за то, чтобы партия лишь прислушивалась к стихийному движению и тащилась в хвосте за ним. Теория стихийности есть теория преуменьшения роли сознательного элемента в движении, идеология «хвостизма», логическая основа всякого оппортунизма» (И. Сталин, Об основах ленинизма. Сочинения, т. 6, стр. 91)

Обком осудил «хвостистские» настроения отдельных коммунистов. Мне же было предложено как командиру держаться линии на дальнейший рост отряда и принимать все меры для придания ему маневренности.

* * *

В ночь на 22 декабря все партизаны нашего отряда уселись в сани, командиры вскочили на коней, и колонна двинулась. Часа полтора петляли мы по глубокому снегу, а когда отъехали километров за пятнадцать от старого лагеря, проводники вывели голову колонны на дорогу, и сытые кони помчались что есть духу.

Встречные шарахались с дороги. Думали, верно, мадьяры едут. Шутка сказать — больше ста двадцати саней, и в санях люди с винтовками, автоматами, пулеметами. Кроме того, верховых человек семьдесят. В то время ни врагам, ни друзьям в голову не приходило, что партизаны могут передвигаться такими мощными колоннами.

Мы отошли со старых позиций, с насиженных мест. Отступили под давлением превосходящих сил противника. Но отход этот был в то же время и нашей победой.

К утру мы были уже километров за тридцать. Сделали остановку и услышали далекие раскаты пушечной стрельбы. Я позвал Громенко и Бессараба:

— Сколько пушек бьет?

Они согласились, что пушек много. А потом пять бомбардировщиков пошли в сторону леса, и мы услышали, как задрожала земля. Самолеты прошли над нами. Но уж, конечно, никак не могли немцы там, наверху, подумать, что колонна в полкилометра длиной — партизанский отряд. Не было раньше таких отрядов.

Тут-то я и попросил Рванова сообщить Громенко и Бессарабу данные

разведки. Больше двух тысяч немцев пошло в наступление на лагерь. Пусть-ка теперь ловят воздух!..

— Понимаете, что и отступление бывает победой?

— Сказали бы раньше! Мы бы, ватого, поняли.

— А вы понимаете, что командир отряда не председатель артели отчетом вам не обязан?

Мы устроили небольшой привал в перелеске. Поели, не разводя костров. У штабных саней собралась компания. Молча слушали, как нарастает грохот артиллерийской подготовки. Когда стало тихо, Попудренко спросил:

— У кого зрение хорошее? Кто видит, что там делается?

Оказалось, что зрение лучше всех у Дружинина. Он, правда, прижал к глазам бинокль. Но не знали мы раньше, что на тридцать километров можно видеть в бинокль.

— Рассыпались в цепь, — с самым серьезным видом докладывал Владимир Николаевич. — Прячутся за деревья. Окапываются. Пошли опять, перебежками, ползком. Теперь залегли. Видно, удивляются, что никто не отвечает на их выстрелы. Какой-то офицеришка подзывает к себе. Ползут к нему трое. Это, наверное, самые смелые: он им вперед показывает...

Очень приятно и смешно рисовать в воображении все поступки одуроченного противника.

— Вот, наконец, они в самом лагере... — продолжал Дружинин. Привязанные к деревьям стоят и смотрят на них рыбьими глазами полуодетые трупы соотечественников. В бешенстве кидают немцы гранаты в пустые землянки. Разъяренный, вопит офицер, зовет и лупит по щекам своих разведчиков. А потом посылает их во все стороны. Ну, а когда захотят похоронить своих братьев, тех, кто пялит на них мертвые очи, начнут отвязывать их от деревьев, — полетят, разорванные минами, два, три, а может, и побольше...

Да, это была наша победа. Немцы повели утром 22 декабря на пустой лагерь целый полк. Артиллерия, танки, самолеты — все было пущено в ход. И уж заранее послали в Берлин телеграммы о разгроме большого отряда «бандитов».

А мы к полудню были уже в пятидесяти с лишним километрах. С ходу ворвались в Майбутню, Ласочки и Журавлеву Буду. Население попряталось и разбежалось по полям и огородам. Вышли нам навстречу старосты. Заговорили по-немецки с украинским акцентом:

— Хутен абен!

Выстроились в шеренгу полицаи, вытянули их начальники руки с повязками на рукавах, и все за ними гаркнули:

— Хайль Хитлер!

Они, конечно, удивились. Не думали, что встречают партизан.

Когда народ разобрался, узнал, что прибыли партизаны, все вернулись в хаты. Высыпала ребятня на улицы. Девушки повытаскивали из заветных мест лучшие свои наряды. А наша братва достала гармошки. И в хатах и на улице везде плясали.

Мы и не ждали такого приема. Праздник! Настоящий праздник был и у нас и у крестьян. Давно мы не ели такого вкусного борща и вареников с сыром и сметаной. Давно не веселились так искренно. И хоть каждой хозяйке было ясно — придут, непременно явятся вслед за партизанами немцы, но не показывали они перед нами страха за будущее.

Впрочем, пировали мы недолго. На следующий же день крестьяне увидели, что партизаны — народ серьезный. Мы укрепились, выставили заставы, начали строевую и политическую учебу. Стояли мы в этих селах около двух недель. Отсюда, с этой новой нашей базы, провели несколько наступательных операций против гарнизонов соседних сел.

Отсюда же, из Журавлевой Буды, 3 января мы послали первые свои радиogramмы. Связались с Юго-Западным фронтом и лично с товарищем Хрущевым.

* * *

То, о чем я сейчас пишу в двух-трех словах, в действительности было результатом большого коллективного труда.

Где взяли сани, лошадей? Как раздобыли в конце концов рацию?

Еще в первой книге я писал, что в своем обращении к населению подпольный обком и областной штаб партизанского движения советовали колхозам раздать обобщественный скот крестьянам. А лучших из сохранившихся лошадей передать партизанам. Во многих колхозах так и поступили. Зная, что немцы отбирают лучший скот, председатели артелей передавали партизанам самых резвых, откормленных, выносливых коней.

Но, к сожалению, оккупанты зачастую были расторопнее нас. Пока в отрядах шли споры — быть им рейдовыми или местными, заводить кавалерию и обоз или ограничиться конной разведкой, — немцы и мадьяры уже конфисковали сотни колхозных коней.

Из тех двухсот с лишним лошадей, которых мы собрали к концу декабря, примерно половина была трофейной, т. е. отобранной в боях. Были среди них не только наши крестьянские лошади, но и венгерские и немецкие куцехвостые, жирнозадые кони. Они были привередливы,

изнежены, капризны. В партизанских лесных условиях они гибли, как обезьяны в северном климате. Партизаны их терпеть не могли. Особенно потому, что понукать их надо было по-немецки и по-венгерски. Упитанных «иностранок» партизаны охотно меняли на обычных крестьянских лошадей.

Так вот половина нашего конного парка была трофейной, а другую половину мы получили от колхозов. Наши «заготовители» выезжали в окрестные села — туда, где немцы еще не обосновались. Большею частью наши люди встречали сочувственное отношение и возвращались в отряд не только с лошадьми, но и с санями. В Елине и Софиевке крестьяне по нашей просьбе организовали производство саней для партизан.

Однако были и такие случаи, когда наши люди встречали неожиданное сопротивление. Каждый знает, как трудно крестьянину расстаться с лошадью! А тут еще приходилось расставаться с лучшими конями. Большинство понимало, что это военная необходимость, что у партизан кони послужат народному делу. А все-таки...

В селе Перелюб колхозной конюшней ведал Назар Сухобок — мужик злой и своенравный. Знал я его и до войны. Да не только мне, почти всем областным работникам, которым приходилось посещать по долгу службы эти места, Назар был известен как бузотер и склочник. Многие даже считали его подкулачником.

В самом деле, какое бы мероприятие ни проводили представители области или района в селе Перелюб, Назар Сухобок обязательно выступал на собрании с речью ехидной, звал, хоть не очень явно, к саботажу. Так, по крайней мере, тогда казалось. Интересно, что, несмотря на это, был у него какой-то авторитет: работал он хорошо, но главное — люди побаивались попасть на его злой язык. Было ему уже около пятидесяти лет. Потому и в армию не взяли.

Первый раз в колхозе партизаны отряда Балабая пытались получить коней еще в ноябре. С председателем колхоза уговорились и послали на конюшню двух хлопцев. Назар встретил их матом. Когда же партизаны все-таки начали отвязывать коней, Назар распетушился не на шутку, замахнулся на ребят оглоблей:

— Яки-таки еще партизаны?! Пособирались там, в лесе, дезертиры да бездельники. В армию не пошли, а теперь на шею крестьянскую садиться будете! А ну, геть отсюда!

Так и отступились тогда от Назара.

В другой раз пришли к нему в конце декабря. Уже известно было колхозникам, да и Назару, что партизаны всерьез бьются с немцами и что

немцы забирают у крестьянства все самое ценное. Но опять Назар уперся. Хотя приехал к нему сам Балабай с пятью весьма решительными ребятами. А кони у Назара были хорошие: штук десять прекрасных, упитанных, лоснящихся.

— Вот что, Сухобок, — оказал ему Балабай, — распоряжение председателя есть, и ты, брат, не крути. Знаю я тебя давно. Всегда ты был любителем воду поварить... Да и ты меня знаешь. Отойди-ка в сторону, пока цел! Берите, товарищи, коней!

Назар попытался было снова взять силой. Опять схватился за оглоблю. Но, увидев, что никого не испугал, умерил пыл и пробурчал:

— Что ж я буду здесь в пустой конюшне робить?! Берете коней забирайте и меня с ними. Обещаю...

Так он и не досказал, что обещает.

Балабай потом рассказывал, что согласился взять Назара в отряд вопреки собственному своему мнению о нем. Уж очень показалось ему искренним и взволнованным бурчание Назара. Тут же Сухобок поспешно распрощался с семьей, — а семья у него была восемь человек, — впряг коней в сани и во главе колонны двинулся с партизанами в лес.

Окажу к слову, что за конями в отряде он ухаживал так же ревностно, как и в колхозе. Бойцом он был находчивым и смелым. Через месяц Назар погиб. Погиб довольно глупо. Пошел в Перелюб навестить семью, и ночью в хате его немцы взяли. Одному он успел проломить голову табуреткой, еще двоим нанес тяжелые увечья ногами: сопротивлялся всеми силами. Той же ночью его расстреляли.

И как это нередко бывает, лишь после гибели Назара поняли мы характер и настоящую сущность его души. Задним числом односельчане его вспоминали, что никогда Назар не обманул никого. Взявшись за дело, выполнял его к сроку. Вспомнили также, что в прошлую войну молодым солдатом он слыл храбрецом. Богат Назар никогда не был. Долго батрачил, но и в батраках был очень исполнительным и аккуратным. Потому-то и пристала к нему слава кулацкого агитатора. Он затаил обиду и начал повсюду говорить, что лошади лучше людей. С лошадьми был ласков, а с людьми нарочно резок и груб.

Память о Назаре Сухобоке из Перелюба у партизан осталась хорошая.

Надо сказать — не только любой человек в партизанском отряде, но и почти любой предмет имел свою, часто весьма замысловатую историю. Все добывалось с превеликими трудностями.

Расскажу историю нашей первой рации. Найдутся люди, которые скажут: «случайность, удача, счастливое совпадение». Думаю, что

«случайность», как и зверь, на ловца бежит.

Когда мы расположились в селе Ласочки, разведчики наши сообщили, что на той стороне реки Сновь, в Орловской области, стоит небольшой партизанский отряд под командованием Ворожеева. Мы и раньше знали о его существовании. И как только мы прибыли в село, сам командир вместе со своим штабом пожаловал к нам в гости. Позднее таких гостей-партизан мы встречали часто. Ворожеев был первым. Прекрасный собеседник, он пространно рассказывал, как бы на нашем месте действовал Александр Васильевич.

— Александр Васильевич, так и знайте, не стал бы пустяками заниматься. Он бы, так и знайте, взял бы в штыки самую что ни на есть главную немецкую комендатуру этих мест. Смелым, гордым приступом пошел бы Александр Васильевич!..

Только минут через пятнадцать выяснилось, что Александр Васильевич, о котором так часто вспоминал Ворожеев и с именем которого так панибратски обращался, не кто иной, как сам великий полководец Суворов.

Что же касается непосредственных дел своего отряда, гость говорил о них преимущественно общими местами. И вдруг Ворожеев рассказал, что есть километрах в тридцати пяти отсюда село Крапивное, а в селе этом прячется на чердаке, вот уже третью неделю, разведчик Юго-Западного фронта, какой-то капитан с группой бойцов, радиопередатчиком и радисткой. Осведомленность Ворожеева простиралась до того, что он и дом указал. Он знал, что капитана этого ищут немцы. Кажется, уже и на след напали.

— Пытались вы с ним связаться? — скрывая волнение, спросил я.

Волнение мое понятно: вот, наконец, возможность установить связь с фронтом, а может, и с Центральным Комитетом партии...

— Да, так и знайте, мы никогда не теряемся. Посылал ребят, и уже выяснили, что передатчик у капитана бездействует. Нет питания.

Тема эта Ворожееву быстро наскучила. Он перешел к новым полуисторическим анекдотам о Суворове. Я извинился и вышел из хаты. Короче говоря, утром наши хлопцы доставили к нам в Ласочки и капитана Григоренко, и двух сопровождавших его бойцов, и радистку, и радиопередатчик.

Капитан Григоренко оказался человеком несговорчивым. Не очень-то он верил, что мы хорошие люди. Главный довод против нас был у него такой:

— Ничего командование фронта о существовании отрядов в этих

местах мне не сообщало. Верить вам не обязан.

— Выходит, что если нет о нас сведений у разведки фронта, значит, мы не партизанский отряд, а мираж? Так, что ли?

— Может, и похуже, чем мираж...

Тем временем наши ребята отправились по новому заданию — раздобыть во что бы то ни стало питание для передатчика. Два дня мы уламывали капитана Григоренко сообщить командованию о нашем существовании. Доказывали ему, как необходимо нам связаться с Большой Землей, рассказывали историю нашего отряда.

— Я и рад бы, — сказал, наконец, Григоренко, — но сами видите — нет питания...

Он был поражен, когда мы тут же приволокли ему штук тридцать аккумуляторов от взорванных немецких автомашин. Хлопцы обыскали район в радиусе двадцати километров, нагрузили аккумуляторами полные сани.

Тогда капитан потребовал, чтобы ему выделили специальное помещение и чтобы никто не подходил к передатчику во время работы ближе чем на тридцать метров. И это его требование мы выполнили. Освободили для него целую хату.

Ворожеев высказал мне горький упрек.

— Вы, — сказал он, — воспользовались моими данными, вырвали из-под носа. Я, так и знайте, считаю это нахальством. Суворов подобным образом никогда не поступал.

9 января 1942 года Григоренко удалось получить ответ Юго-Западного фронта. Радиограмму, посланную мне, подписали Никита Сергеевич Хрущев и Маршал Тимошенко.

* * *

Впечатление, которое произвела радиограмма, полученная нами с Большой Земли, было одним из самых сильных за все время нашей партизанской жизни.

Радость была искренней и горячей. Она коснулась всех без исключения. Может быть, кому-либо из читателей чувства наши покажутся преувеличенными. Зато меня хорошо поймут моряки и зимовщики дальних северных островов. Недаром ведь партизаны переняли у них выражение «Большая Земля».

Если до этого дня мы были одиноки и во всем предоставлены самим себе, то теперь, связавшись с Красной Армией, с Центральным Комитетом партии, мы включились не только морально, но и организационно в общий фронт борьбы против немцев.

Текст моей радиограммы был таким:

«Н.С.Хрущеву.

Черниговский обком действует на своей территории. При обкоме отряд четыреста пятьдесят человек. О результатах борьбы передадим дополнительно.

ФЕДОРОВ».

Ответ был коротким:

«Федорову.

Передайте привет бойцам и командирам. Сообщите, в чем испытываете нужду. Ждем подробностей.

ХРУЩЕВ, ТИМОШЕНКО».

Эти несколько слов вызвали бурное ликование во всех наших подразделениях. Радиограмму получили поздно вечером. Но к штабу сбежались сотни людей. Тут были не только партизаны. Жители села, старики и старухи, женщины, девочки, мальчишки. Я уверен, что не все и поняли сразу, что произошло. Просто поддались общему настроению.

Между прочим, кто-то распространил слух, что Федоров говорил с Хрущевым по радиотелефону полчаса. Нашлись даже «свидетели» разговора. Они со всеми подробностями передавали содержание никогда не происходившей беседы. И что слышимость была плохая, и что Федоров так кричал, что сорвал голос.

Забавный документ удалось перехватить нашим разведчикам через несколько дней. Они поймали посыльного из села Елино, когда тот ехал в районный центр. В его сумке ребята нашли и принесли мне докладную записку старосты Ивана Клюва районному бургомистру:

«Имею сообщить, что в ночь на 10 января в селах, где сейчас стоит Федоров, а именно Журавлева Буда, Ласочки, Майбутня, был сильный шум и крики. Жгли много костров, танцевали танцы, много пели, кидали вверх шапки, а также целовались. Я принял меры выяснения причин. Верные люди дают такие сведения, что со стороны фронта будет Федорову сильная помощь оружием и также людьми. Ожидаются самолеты с пехотой и пушками. В ознаменование чего партизаны празднуют. Другой верный человек дал сведение, что есть теперь у Федорова постоянный радиопровод со Сталиным и Хрущевым, которые все это и обещали. Этот человек сказал, что были уже самолеты и кое-что привезли. С другой стороны, никто пока самолетов не видел.

Поэтому требуется принятие мер по срочному окружению и уничтожению этих бандитов, иначе как бы не было поздно».

Сперва нас эта докладная записка очень обеспокоила. Новиков решил,

что есть в нашей среде предатель, имеющий доступ в штаб.

Нет, конечно, никаких секретных сведений из штаба староста не получил. Партизанские мечты, то, что говорилось на митингах, в беседах между собой и с крестьянами, общий подъем настроения — вот что разведал староста. А такие «сведения» скрыть невозможно, да и не к чему их скрывать.

Был еще один очень важный результат радиogramмы. Когда мы, еще не уверенные в том, что Григоренко удастся связаться с фронтом, составляли текст своей первой шифровки, нам важно было просто дать знать Никите Сергеевичу, что мы существуем. И все-таки мы долго сочиняли первое свое послание. Принесли Григоренко целую страницу. А он довольно бесцеремонно, тут же на наших глазах, сократил все вступление и оставил только самые последние строки.

Получив ответную радиogramму, я подчеркнул в ней слова «Ждем подробностей». И в своей радиogramме подчеркнул слова «О результатах борьбы передадим дополнительно». Эти две фразы стали предметом серьезного обсуждения сперва в штабе, а потом на специальном заседании обкома.

Мы и раньше вели кое-какие подсчеты. Но, честно говоря, от случая к случаю. Во время погорельского боя поручили двум бойцам сосчитать убитых немцев. Однако много было боев, во время которых никто ничего не считал. Не вели учет трофеев, даже не могли сразу сказать, сколько боевых операций провел отряд. А то, что было сделано до слияния отрядов каждым в отдельности, так сказать, в «доисторический» период, уже и вспомнить трудно. Нам такой учет и не казался особенно важным.

Короче говоря, серьезного учета мы еще не завели. Кое-кому за это попало. На обкоме и мне досталось от товарищей. Они были правы, когда говорили, что это дело штаба. Я стал кивать на Рванова. Но Дмитрий Иванович, как оказалось, давно уже пытался наладить учет, однако не получил поддержки командиров, а в их числе и Федорова.

Ошибки признали, покаялись. И решили впредь вести самый дотошный учет битых фрицев и трофеев. А чтобы установить результаты уже сделанного, вызвали всех командиров. Предложили им немедленно дать задание всем бойцам — мобилизовать свою память. Собрали у партизан дневники.

К вечеру 11 января подвели итоги.

Подошли мы к этому делу осторожно. Тем из командиров рот, кто был на подозрении по части хвастовства, скинули от двадцати до пятидесяти процентов с чисел, которые они сообщали. Сведения мы, к сожалению,

могли собрать только от тех отрядов, что соединились с нами. И все-таки мы были поражены. Урезали все, что считали хоть сколько-нибудь преувеличенным, но результат получился очень значительный.

12 января в адрес Юго-Западного фронта на имя товарищей Хрущева и Тимошенко мы передали следующие итоги боевой деятельности областного отряда и тех отрядов, которые влились в него:

«За четыре месяца силами партизан было убито 368 немцев, уничтожено 105 полицейских, старост и прочих изменников родины. Захвачены богатые трофеи. Уничтожено 29 автомашин, из них 2 штабные с документами; 18 мотоциклов; 5 складов с боеприпасами; захвачено 100 лошадей, 120 седел; взорвано 3 железнодорожных моста. Обкомом напечатано и распространено 31 название листовок общим тиражом в 40 тысяч экземпляров».

Мы просили товарищей Хрущева и Тимошенко подбросить нам вооружение. Постарались быть скромными, послали такую заявку: двадцать минометов, пятнадцать тяжелых и легких пулеметов, тысячу противотанковых гранат, взрывчатку, автоматы и как можно больше патронов для них.

В ответ мы получили от товарища Хрущева большую поздравительную радиogramму, в которой он обещал, что все наши просьбы будут удовлетворены.

* * *

Много труднее было подытожить деятельность подпольных групп, коммунистов и комсомольцев одиночек, разбросанных по всей Черниговской области. Измерить, учесть все, сделанное ими, даже и теперь невозможно. Не потому, что мы не получали и не могли получать оперативных сводок, отчетов, ежемесячных докладов. Нет, дело не только в этом.

Мы знали районные комитеты, мы знали те городские и сельские группы, которые были организованы еще до оккупации.

Судьбы их сложились по-разному.

Часто наш связной находил на месте явочной квартиры пепел и обожженные кирпичи. Приходил в село, чтобы передать подпольной ячейке директиву обкома, но не только ячейки — села уже не было на том месте. Одни лишь одичавшие кошки прятались в развалинах домов. Наш связной шел искать подпольный райком и узнавал, что организация провалилась, что секретари — и первый, и второй — пропали без вести, а члены райкома такие-то давно пойманы и казнены гестапо.

— Вот, — говорили нашему связному люди, которым он мог доверять,

прочитайте сообщение немецкой комендатуры, — и показывали плакат или же листовку, где были поименованы руководящие районные коммунисты. И было точно сказано, что такого-то числа они повешены на городской площади.

— Мы сами видели трупы с табличками на груди.

— А лица их были закрыты мешками?

— Лиц мы не видели, — признавались свидетели.

И мы не удивлялись, когда через месяц «повешенные» секретари райкома давали нам знать, что живут и действуют в таком-то селе. Обстоятельства заставляли иногда весь состав райкома покинуть свой район, уйти в лес за десятки, а то и сотни километров. И там товарищи начинали работу наново.

За это их нельзя было осудить. Если предатель выдавал полиции базы, явки, списки организации, было нелепо оставаться на месте и ждать, пока тебя схватят и действительно поведут на виселицу.

А немецким сообщениям о том, что они уничтожили такой-то партизанский отряд, поймали и повесили таких-то коммунистических агитаторов, верить было нельзя. Сколько раз немецкое радио объявляло окруженным и уничтоженным наш отряд! Сколько раз был «расстрелян полностью» подпольный обком партии!

Случалось же, районные подпольщики, чтобы замести свои следы, сами о себе распространяли слух, что организация распалась, члены ее разбрелись, прекратили всякую деятельность.

Обком узнавал, что в селе Буда или в местечке Мена регулярно появляются на стенах домов листовки, что там взлетел на воздух немецкий склад боеприпасов. А по нашим сведениям, не должно быть там никого из людей, посланных нами. Выходит, значит, что организовалась новая группа и нашего полку прибыло. Идет туда связной, возвращается и докладывает: там, оказывается, наши старые знакомые — они перешли из соседнего района. Взяли с собой пишущую машинку, запас бумаги и перекочевали.

Но появлялись, конечно, и новые группы сопротивления.

Надо, кстати, объяснить, откуда взялось это название. До войны мы знали заводские и сельские ячейки партии и комсомола, иначе говоря, низовые организации; мы знали райком, обком, Центральный Комитет. Эта же система организации, определенная уставами партии и комсомола, была сохранена в подполье. Но вот, представьте, в селе нашли себе приют несколько окруженцев и бежавших пленных. Среди них есть деятельные люди. Среди них есть и коммунисты и комсомольцы. Они хотят бороться, они встречаются, разговаривают и вербуют в селе сторонников,

вооружаются. Вот такие боевые патриотические содружества мы и называли группами сопротивления.

И, разумеется, не чуждались таких групп. А старались им помогать словом и делом. От коммунистов и комсомольцев требовали, чтобы они шли впереди, личным примером вдохновляли других членов группы.

Обкомы партии, оставив в подполье тысячи коммунистов, разбросали их по огромной территории, занятой противником. Не могли в условиях оккупации обкомы, а иногда и райкомы знать адрес каждого подпольщика. Адреса эти то и дело менялись. Тем не менее организация существовала.

Были разбросаны зерна, и они давали всходы.

В лучших условиях по сравнению с другими находились подпольщики тех районов, где сохранились и действовали партизанские отряды. Центральный Комитет заранее предвидел это, а потому и предложил еще до оккупации организовать одновременно как подпольные ячейки и райкомы, так и партизанские отряды. Они помогали друг другу, дополняли друг друга. Подпольщики собирали оружие и передавали партизанам. Подпольщики вели разведку в интересах партизанских отрядов. Когда же им грозили разоблачение и арест, они всегда могли уйти в лес к партизанам.

В начале 1942 года в лесах Холменского района, опираясь на областной отряд, действовали три подпольных райкома: Корюковский, Холменский и Семеновский. Их секретари Коротков, Курочка и Тихоновский, а также и члены райкома несли в отряде военные обязанности. Но одновременно они руководили и подпольными группами своих районов.

Деятельность подпольщиков этих районов была смелой, живой и разнообразной.

Подпольщику Мацко удалось поступить поваром в ресторан Корюковки. Он и действительно был прекрасным кулинаром. И бургомистр Барановский, и начальник районной полиции Мороз, и немецкие коменданты пили и обжирались чуть ли не ежедневно. Варить, жарить и печь они звали Мацко. Напившись, местные властители болтали без умолку. Манко мотал на ус все, что слышал. Он регулярно передавал подпольщикам, а через них и нам в отряд административные и карательные планы изменников и оккупантов.

Ни одна карательная экспедиция корюковской полиции не была для партизан неожиданностью. Кончилось тем, что и сам начальник полиции Мороз был убит партизанами.

Корюковские подпольщики выкрали в районной типографии шрифты

и передали их партизанам. Первая наша типография обязана своим существованием им.

Кроме разведочной, агитационной работы, сбора оружия, корюковцы сумели организовать широкую продовольственную помощь женам солдат и офицеров Красной Армии, бывшим рабочим и служащим сахарного завода.

Делали они это так. Несколько наших ребят, одевшись крестьянами, привозили на воскресный базар мешков двадцать муки.

В те дни на базарах торговлю вытеснил натуральный обмен. Горожане предлагали простыни, лампы, столы и стулья, крестьяне давали им за это мясо, муку, картофель. В семьях рабочих и служащих сохранились кое-какие деньги. Мужья, уходя в армию, получили расчет с выходным пособием и оставили деньги семье. Рабочие и работницы, когда сахарный завод закрылся, получили зарплату вперед за три месяца.

Так вот на базаре неожиданно появлялось два, три воза с мукой. Выстраивалась мгновенно очередь. Но «дядьки-хозяева» объявляли, что никаких вещей им не надо. Они муку не меняют, а продают и только за советские деньги. Люди сломя голову бежали за деньгами. А так как поселок сахарного завода располагался поблизости от базара, то и возвращались с деньгами прежде других рабочие, работницы и служащие — сахаринки.

Подпольщики давали каждому не больше чем по десяти килограммов. И придерживались государственных довоенных цен. Замечательно, что каждый раз, когда подпольщики продавали муку, и крестьяне, приехавшие с мукой, тоже начинали брать деньги. Тотчас распространялась кругом догадка: «Если советские деньги в цене — значит немцам скоро каюк».

Откуда же брали подпольщики муку? Сперва из партизанских баз. А потом привозили с дальних мельниц. Мельницы эти, разумеется, предварительно очищались партизанами от немецкой охраны.

За сентябрь, октябрь и ноябрь 1941 года подпольщики и партизаны Корюковского района передали семьям военнослужащих больше трех тысяч пудов хлеба, сто пудов мяса и другие продукты.

Такие «снабженческие» операции с наступлением зимы, к сожалению, пришлось прекратить. Наши базы опустели, партизан становилось все больше, и захваченного у немцев продовольствия даже и нам не стало хватать.

* * *

В Холмах с каждым днем расширяла свою деятельность комсомольская организация «Так начиналась жизнь». Еще в первой книге я упоминал о ее возникновении. Теперь комсомольцы-подпольщики то и

дело приходили к нам в лес за пропагандистскими материалами.

Заходили они посоветоваться и в обком партии, но чаще встречались с руководителями подпольных райкомов партии и комсомола — Иваном Мартьяновичем Курочкой и Петром Шутько.

Первый секретарь Холменского райкома ЛКСМУ Шутько был одним из самых «старых» партизан. Он вместе с Иваном Курочкой организовал еще до оккупации истребительный батальон.

Позднее этот батальон почти полностью влился в партизанский отряд. Шутько тогда тоже ушел в лес, стал разведчиком. Но связи с Холмами не терял. Общее руководство комсомольским подпольем района лежало на нем.

Шутько хорошо знал сельскую молодежь. Вместе со вторым секретарем Денисенко он заблаговременно отобрал руководителей сельских подпольных групп, наметил ряд явочных квартир. В Холмах, Погорельцах, хуторе Бобрик, Ченчиках, Козилровке комсомольцы и молодежь действовали активно весь период оккупации. Ценно, что в Холменском районе руководители сельских групп, несмотря на строжайшую конспирацию, были связаны между собой и регулярно приходили к нам в лес. Они работали по общему плану обкома.

Самой крупной и деятельной была группа «Так начиналась жизнь». Комитет этой организации состоял из девяти человек: Коли Еременко, Шуры Омеляненко, Фени Внуковой, Феди Резниченко, Кати Дьяченко, Леонида Ткаченко, Фени Шевцовой, Нади Гальницкой и Нasti Резниченко. Это был штаб. Десятки комсомольцев и в самом районном центре и в ближайших селах подчинялись штабу.

Уже на первом собрании, в сентябре 1941 года, через несколько дней после занятия немцами Холмов, была намечена программа действий. В протоколе этого первого собрания были записаны основные задачи организации «Так начиналась жизнь»:

- «А) Вести агитационно-массовую работу среди населения;
- Б) Мобилизовать народ на борьбу с врагом, организовать срыв мероприятий, проводимых немцами;
- В) Организовывать резервы для партизанских отрядов;
- Г) Собирать у населения и доставать оружие и боеприпасы для партизанских отрядов».

На этом же довольно широком собрании открытым демократическим путем был избран названный мною комитет организации. Этого, по условиям конспирации, делать, конечно, не следовало.

Все же организация действовала свыше полугода и сделала очень

много.

По поручению райкома партии комсомольцы раздобыли для партизанского отряда два радиоприемника с комплектами питания. Кроме того, они достали приемник и для себя. Саша Омеляненко нашел ломаную пишущую машинку, а студент Киевского индустриального института Федя Резниченко ее отремонтировал.

Листовки со сводками Совинформбюро и последними новостями из жизни района холменцы печатали регулярно, как газету, и аккуратно доставляли по определенным адресам. Там их размножали от руки и передавали дальше. За несколько месяцев было напечатано, переписано и распространено свыше пятнадцати тысяч таких листовок-газет.

К XXIV годовщине Октября ребята собрали в подарок партизанам шестьдесят восемь ручных гранат, восемь винтовок, пять тысяч патронов и четыре револьвера.

Утром 7 ноября 1941 года жители Холмов увидели на всех высоких зданиях и на вышке полуразрушенной каланчи красные флаги. Они висели несколько дней. Октябрьские дни прошли в приподнятом, праздничном настроении.

Узнав об этом, в райцентр нагрязнул отряд гестапо. Но в то время немцы еще не организовали власть и не создали агентурной сети. Найти виновников октябрьской демонстрации гестаповцы не смогли.

Шестнадцатилетний Леня Ткаченко, ученик девятого класса, возглавил группу разведчиков. Ему удалось наладить с партизанами оперативную эстафетную связь. В каждом селе на пути к отряду у Лени были свои ребята, которые, получив зашифрованное сообщение, тотчас же отправлялись дальше и передавали его в следующем селе связному. Пока мы дислоцировались вблизи Холменского района, молодые подпольщики всегда знали, где мы находимся.

В последнее время холменские комсомольцы получили через нас задание Юго-Западного фронта: разведать коммуникации врага. С этой работой они тоже блестяще справились, хотя среди них не было ни одного военного.

В начале января к нам в отряд пришли Катя Дьяченко и Феня Шевцова. Они принесли скверные известия: кое-кого из подпольной группы выследили агенты гестапо. Было принято решение временно уйти в лес. Полицейские перехватили ребят по пути. Катя и Феня убежали. Остальные члены комитета были арестованы.

Однако через несколько дней связные доложили, что ребятам удалось спастись. Их задержала районная и сельская полиция. Комсомольцев

отпустили, но потребовали, чтобы они возвратились к месту постоянного жительства. И вот тут они совершили серьезную ошибку: вернулись и, даже не переждав недели, опять начали прежнюю работу.

Между тем карательные отряды и крупные войсковые соединения заняли все села и хутора вокруг партизанского лагеря. Ни от нас, ни к нам проникнуть стало почти невозможно. Во всяком случае попытки наших разведчиков были долго безуспешными.

Вскоре мы вынуждены были сняться с насиженных мест и перейти в Елинские леса. Только в середине марта связным обкома партии удалось побывать в Холмах. Они принесли ужасную весть: организация «Так начиналась жизнь» прекратила существование. Весь комитет арестован. 4 марта пять человек из семи расстреляны. А еще несколько дней спустя поймана и тоже расстреляна Надя Гальницкая; седьмой член комитета — Анастасия Резниченко проявила на допросе малодушие. Гестаповцы ее отпустили. А нам было хорошо известно, что из гестапо никого так просто не выпускают... Анастасия и две ее подружки, в прошлом рядовые члены организации, — Мария Внукова и Александра Кострома, — появлялись теперь на улицах села только в сопровождении полицаев или немцев. А некоторое время спустя все трое «добровольно» уехали на работу в Германию.

Нашим разведчикам удалось установить, что и М. Внукова и А. Кострома были не местными, холменскими девушками, их знали недостаточно хорошо, руководители организации поступили до безрассудности неосторожно, допустив к работе в подполье чужих, малознакомых людей. Кострома не состояла даже в комсомоле.

В руки наших разведчиков попал подлинный дневник Анастасии Резниченко. Она вела его с 29 ноября 1941 года. Вести дневник в этих условиях было по меньшей мере неразумно. Правда, Анастасия не писала ничего о делах подпольной группы. Но упоминала много имен, всех, с кем встречалась. Она не называла фамилий, но записывала так, что догадаться, о ком идет речь, нетрудно. «Пришли Броня М., Оля Н., Коля Е., Саша О.» Начальные буквы фамилии она ставила действительные.

Из дневника видно, что А. Резниченко попала под влияние Костромы. Та заразила ее религиозными настроениями и, наконец, познакомила с полицаями.

Тут, между прочим, следует заметить, что в селах, местечках, да и в маленьких городах молодые люди, как правило, знают всех своих сверстников. Отношения простые: вместе учились, работали на колхозных полях, вечерами вместе гуляли, встречались в кино. Полицаев немцы

вербовали тоже из таких «знакомых». И нужны бдительность и партийная принципиальность, чтобы резко отмежеваться от старых знакомств. К тому же нередко случалось, что сельские полицаи ходили по улицам без формы и даже без нарукавников.

В условиях царской России рабочие и крестьяне с детских лет знали, что фабриканты, лавочники, помещики, чиновники, кулаки, старосты, полиция и жандармерия — это все враги. Настороженное, бдительное отношение к этим классово-чуждым людям и даже к их детям рабочий и крестьянин-бедняк всасывал с молоком матери. Рабочий говорил сыну: «Ты барчукам не доверяй». Крестьянин всегда советовал своим ребятам держаться подальше от кулацких сынков, а тем более от детей помещика, урядника, попа.

В нашем, бесклассовом обществе детвора растет в обстановке равенства. В школе, дома, на улице — всюду отношения непринужденные, естественные, душевные. Взаимная подозрительность не только исключается, но и осуждается. И это правильно. Моральные качества советского человека с каждым годом становятся выше.

Но война, а тем более оккупация резко изменили обстановку. Бдительность стала одним из законов повседневного поведения. Без дисциплины и бдительности во время войны нельзя делать ни шагу.

Необходимость военной дисциплины в партизанских отрядах мы поняли довольно скоро. Среди подпольщиков нужна такая же, если не более строгая, дисциплина. Вот этого холменцы, к сожалению, не знали. А если и знали, то не придавали этому большого значения. Не было опыта. Даже руководители недостаточно глубоко изучили историю партии. Правда, в дореволюционной России условия подполья были иными. Однако же история нашей большевистской партии учит не только необходимости дисциплины в подполье, но и тому, как ее добиться.

Коля Еременко, юноша двадцати одного года, был до войны инструктором политпросветработы. Веселый, деятельный, энергичный хлопец. Он много читал, был спортсменом: лыжник, конькобежец, первоклассный пловец и член футбольной команды спиртового завода. Его имя было одним из самых любимых и популярных среди молодежи села. Когда возникла угроза оккупации, Коля попросился в партизанский отряд. Ему предложили остаться в подполье, руководить организацией. Он согласился с восторгом. И сразу же взялся с присущей ему энергией за практические дела. Немцев он никогда в жизни не видел. Подлые приемы провокации и шпионажа были ему, конечно, неизвестны. Доверчивость — вот главный его недостаток. Но мы уже видели, что гораздо более опытный,

искушенный в классовой борьбе, пожилой человек и старый член партии — Егор Евтухович Бодько из Лисовых Сорочинц тоже стал жертвой своей доверчивости.

В селе Ченчики, расположенном недалеко от Холмов, жила беспартийная старушка — Мария Васильевна Маланшенкова, родная тетка Николая Еременко. Текстильщица из г. Подольска, она переехала сюда из-под Москвы уже после того, как ушла на пенсию. Еще до революции Мария Васильевна принимала участие в революционном и забастовочном движении. С первого же дня немецкой оккупации она связалась с партизанами и подпольщиками. Ее хатка стала конспиративной, явочной квартирой. Там довольно часто прятались наши разведчики. Старуха переправляла людей в отряд, пекла хлеб для партизан. Словом — свой человек.

Вот что рассказала Мария Васильевна о последних часах героев-комсомольцев:

— С того самого проклятущего утра первого марта, когда узнала я, что Колюшку с товарищами опять забрали в гестапо, ушла из дому и стала ночевать по людям в Холмах. Хожу я по Холмам, узнаю, что девок тех двух: Кострому Шурку и Маньку Внукову — тоже в гестапо взяли, но им будто позволены передачи и даже обещали, что выпустят.

Говорила я, говорила и Колюшке, и Шуре Омельяненко, когда они раньше до меня в Ченчики приходили, что недостаточно они понимают конспирацию. «Беречься, говорила им, надо и Костромы, и Маньки Внуковой. И не по тому одному, что они пришлые, а главное, что несерьезные это девушки, вертихвостки. Им бы только в карты поиграть, с парнями пофасонничать». А Коля мне отвечал, что чем больше молодежи, тем, значит, и лучше. Хорошо бы его правда вышла, да вот получилось по плохой моей правде.

Тюрьмы в Холмах настоящей нет. Когда мучили деточек, крики их из хаты, что заняло гестапо, далеко были слышны. Один полицейский, тоже из молодых, не выдержал, убежал. Только от вида тех пыток заболел и два дня дрожал. Через него, верно, и люди узнали, как палачи из гестапо загоняли нашим деточкам иголки под ногти, били шомполами. А на шомполах натянуты резинки, чтобы тело сильнее рвать. Федю Резниченко, народ говорил, по груди молотком деревянным били. Но все равно ничего ни один не сказал. А как я знаю? Да вот ведь сижу перед вами — жива, здорова. И другие есть, с которыми была связь. Они тоже не арестованы. Только тех и взяли, кто был известен девкам этим. Значит, все через них.

Четвертого марта вывели наших деточек на мороз и вьюгу. Был сперва

приказ вешать. Но виселицы не успели, что ли, построить, повели за реку. Ведут здоровые, краснорожие фрицы, а комсомольцы наши такие кажутся маленькие, худенькие. Все, как один, босые. Только Фене Внуковой оставили изверги туфельки и платочек, но лицо тоже раскрасавлено. Шура Омелянченко без глаза — выбили. Он и сам еле ноги волочит, а держит все-таки под локоток Феничку и шепчет ей что-то.

Народ по сторонам улицы стоит, как окаменел. Немцы расталкивают. А народ не расходится. Мария Федоровна, мать Шуры Омелянченко, прорвала немецкую цепь, грохнулась на землю, схватилась за ножки сына своего. «И меня, — кричит, — и меня возьмите! Убивайте, не надо мне жизни!» Шура нагнулся к ней, чтобы поднять с земли. Тут немцы подскочили, отбросили Марию Федоровну. Шура крикнул ей: «Мама, не всех убьют, будет наша правда! Будет советская власть!»

Колюшку, племянника, я и не узнала сразу. Седой. Ну, просто, как старик, белый. Он меня увидел и отвернулся. Я тут конспирацию не выдержала, как крикну: «Прощай, Колюшка!» А потом, слышу, в народе многие кричат, прощаются. И многие плачут. Федя Резниченко, и Шура Омелянченко, и Леня Ткаченко, хоть он и самый маленький, народу отвечают, лозунги кричат и кулаками Трясут, зовут, значит, сопротивляться немцам. Один Коля молчит, даром, что он у них главный.

У поворота улица круто берет вверх. Вот, когда поднялись на гребень, — туда немцы нас уже и не подпустили, — с самого крутого места Коля повернулся к народу и громко, как нарочно голос берег, крикнул: «Умираем, но не сдаемся! Да здравствует наша Родина!» Немцы накинулись, сшибли его. И еще до речки не дошли, терпение у них кончилось, начали стрелять прямо в селе, на дороге. И не целились...

На следующий день родным позволили взять для похорон тела. Так у каждого ран по двадцать-тридцать... Всех родные взяли хоронить, только один маленький Леня Ткаченко в реке остался. Не было у него ни отца, ни матери, ни сестер. Я на вторую ночь подговорила добрых людей взять его из реки, там место мелкое. Приходим, а его уж и нет. Потом узнала, другие сочувствующие нашлись раньше меня. Отдали последний долг...

Иду как-то, встречаю Кострому Шурку. Значит, отпустили ее. Значит, правда была моя, что она и подружка ее, Манька Внукова, наших людей выдали. Парень какой-то с ней, может, полицай. Отозвала я ее в сторонку. Она не опасается, видит, старушка, подходит ко мне. «Что, — спрашиваю ее тихонько, — девушка, верно люди говорят, что ты верующая и церковь посещаешь?» Отвечает: «Верно, бабушка!» — и бесстыжими глазами на меня смотрит. — «А верно, люди говорят, что ты, девушка, род свой берешь

от Иуды?» Она и не знает, что отвечать. Только глазами моргает. А я повернулась да пошла...

Дня три, наверное, только и прошло после казни наших комсомольцев, как вдруг снова в народе стало известно, что листовки советские по всем углам расклеены. И опять, как раньше, свежие сводки московского радио и, кроме того, последние слова Колюшки: «Умираем, но не сдаемся!» Вот когда поверил народ в бессмертие нашего дела. Вы хоть люди и свои, но и вам не скажу, кто эти листовки печатал. Врать не стану — сама не знаю.

* * *

Нам сообщили, что в Алексеевке, Корюковского района, у старушки, на краю села, умирает еврей. Спасся он каким-то чудом от немцев. Умирает от сыпного тифа. А когда бредит, часто упоминает в бреду Федорова, Батюка, Попко, Попудренко...

Может быть, это Зуссерман?

Уже давно, сразу по прибытии в областной отряд, я справился о Якове. Никто ничего не знал. За это время я уже примирился с мыслью, что Яков в пути от Ичнянского к областному отряду попал в руки немцев и погиб. Как ни тяжела мне была эта мысль, но ведь война, мало ли смертей.

Освободившись немного от своих отрядных дел, я как-то вечером пригласил с собой командира первой роты Громенко, взял группу бойцов и поехал в Алексеевку, за тридцать километров от нашего лагеря.

Посланные вперед разведчики сообщили, что в селе немцев нет, а полицаи там скромные, то есть попросту трусливые. Мы прямо пошли к указанной мне хате. Тускло горел огонек в окне. Я приказал сопровождающим бойцам расположиться вокруг, а мы с Громенко постучались в хату.

Нам открыла девочка лет двенадцати. Она вышла на крыльцо в одном платье и прикрыла спиной дверь.

— Больна Сидоровна, — сказала девочка. — Трясет ее, никого просит не пускать, а вы кто такие? Полиция?

— Родственники мы, — сказал Громенко.

Девочка метнула на него подозрительный взгляд:

— Неправда ваша. У Сидоровны родных зовсим немає, одна я с мамой... Вы лучше не входите, у нас тиф. Мама моя меня приставила к бабе Сидоровне, я ее кормлю. Кашу ей варю.

Но мы все-таки вошли. Девочка внимательно следила за нами своими быстрыми, диковатыми глазками. В хате свету было больше от луны, чем от каганца. Стены закопченные, печь тоже давно не белена. Холодно, неудобно. В темном углу заворочалась старушка и хриплым голосом

спросила:

— Ты, что ли, Настя?

— Люди до вас пришли, Сидоровна. Кажуть, родные.

— Гони. Быть не может.

Не договорив, она со вздохом повернулась, зашуршала соломой подстилки и, кажется, опять уснула или впала в забытье.

— Бачите? — промолвила девочка.

— А кто у вас тут еще есть? — И, не дожидаясь ее ответа, я сказал нарочно громко: — Я Федоров, Алексей Федорович, а это мой товарищ, тоже партизан.

И сразу же с печи спустились тонкие голые ноги.

— Ой, что вы! — услышал я слабый голос. — Алексей Федорович!!!

Да, это был Яков Зуссерман, мой давнишний товарищ по скитаниям[10]. Трудно слезал он с печи и, держась за нее слабыми, длинными руками, дополз кое-как до скамьи. Он сел к свету. Я увидел изможденного, длиннорылого старика.

А ведь Якову было всего двадцать шесть лет. Долго он хватал воздух, видно, путешествие от печи до скамьи очень его утомило. Глядя на меня, он улыбался. Улыбка была дрожащая, нескладная. Только огромные глаза смотрели с радостью.

— Алексей Федорович, — повторил Яков. — Значит, живы. Я уже слышал, но не верил. Здесь говорили, что Федоров недалеко, но я был очень болен, когда приходили люди и рассказывали о вас, и я думал потом, что это мой бред, и не верил.

Мы с Громенко, верно, смотрели на Якова, как смотрят на людей обреченных, — против воли жалостливо.

— Вы не думайте, — сказал Яков, — что я умираю. Я уже умирал два раза и погибал раз пять, но теперь, по-моему, поправляюсь. Тиф. А люди какие добрые, — продолжал он, торопясь единым духом сказать возможно больше. Старушка и вот девочка. Я не знаю...

— Как же у тебя все-таки получилось? — спросил я.

Яков взглянул на Громенко.

— Это наш партизан, говори, не стесняйся.

Громенко протянул Якову руку. Но тот не дал ему свою.

— Грязный я, — сказал он. — Не трогайте. У них сил нет меня мыть, но они и так совершенно, как святые. Вы садитесь, если есть время. Я не прошу, чтобы вы меня взяли с собой. Я должен этим людям потому, что виноват перед ними и очень благодарен.

Сделав несколько глубоких вздохов, вытерев рукавом пот с лица, он

продолжал:

— Письмо Батюка[11] я скушал. Иначе было невозможно. Я очень извиняюсь, что так получилось, виноватых бьют, но только, наверное, не таких слабых. Да, вы знаете, Алексей Федорович, вы просто невозможно мудро говорили, чтобы я вас не покидал... А где Симоненко?

— Тоже ушел.

— Он маму повидал?

— Мы у нее гостили несколько дней.

— Он был очень хороший человек. Любил, вроде меня, маму и семью. Как вы думаете, он погиб? А может быть, нет. Он, может быть, уже воюет, бьет немцев, как вы думаете, Алексей Федорович?

Мы принесли с собой немного муки, кусок сала, большой кусок сахара; у Капранова в его кладовых осталось еще с полмешка.

Яков разложил все эти богатства на скамье, пошевелил руками и с неожиданной жадностью в голосе проговорил:

— Можно я сейчас немного покушаю? Знаете, послетифозники так много едят...

Он вцепился зубами в сало, а сахар, обвернув бумажкой, протянул девочке:

— Настенька, тебе... — С натугой жуя, он говорил: — Наверное, нельзя сразу. Доктора, я слышал, советуют терпеть. Ты, Настя, не отказывайся, я знаю, что все дети любят сладкое. Она уже не дитя, Алексей Федорович, она может, будто бабушка, рассказывать детям о войне. Я так соскучился по разговору, что вы, наверное, считаете мои слова продолжением бреда. Есть у вас время слушать?

Я попросил Якова, если только хватит сил, рассказать по порядку все, что с ним произошло. Он сразу же начал. Иногда переводил дыхание, жевал сало, откладывая его и говорил, говорил. Громенко сказал, что подождет меня на улице. В хате воздух был удушливо-сладкий, как в плохих больницах. Мне тоже было немного не по себе. Я предложил Якову тут же поехать со мной в лагерь. Он покачал головой.

— Вероятно, я не имею права. Теперь я должен быть кормильцем и санитаром, эта хозяйка такая была ко мне внимательная. Вы не думайте, что не хочется Якову в партизаны. Я стремлюсь жить, чтобы отомстить за все муки населения и за своих. Я уж не верю, что жена и сынок живы, нет, не уговаривайте. А к вам обязательно приду, когда старушка поправится. Заметьте, что пока у меня не хватит сил поднять от земли винтовку, а Не то, чтобы стрелять. Так вот, слушайте и, если можно, не уходите, это будет рассказ о таких мучениях!

Я сел на хромоногий стул. Надо было выслушать Якова. Раздражала его многословность, но я понимал, что она — следствие тифа и долгого одиночества.

— А что, — спросил Яков, — разве нету опасности Или вы с охраной? Зачем еще жертвы? Если вы станете жертвой из-за меня, то это будет самое ужасное в моей жизни. Но я, конечно, не желаю, чтобы вы уходили. Дело было так: когда я ушел из Ичнянского отряда, зачем-то вспомнил, что в Корюковке живет Израиль Файнштейн, дядя моей жены. Он работал шорником сахарного завода. В отпуск он ездил в Нежин, и там мы с ним выпивали немало водки. Тогда мы были веселые. Он очень здоровый и с железной выдержкой. Пожилой человек, принимал участие в Октябрьской революции и лично видел потом Щорса, даже помогал ему сведениями. Мне пришла в голову сумасшедшая мысль, что, может быть, жена поехала из Нежина к нему, а вовсе не захвачена карателями в Нежине. И я свернул в Корюковку. Мне сообщило крестьянство, что там нет немцев, а партизаны всю распоряжаются и как будто бы даже организовали советскую власть. Это меня ужасно обрадовало. Но все оказалось наоборот. В действительности партизаны уже были вынуждены уйти под натиском превосходящих сил. Немцев, между прочим, почему-то не было. Или они боялись войти сразу. Несколько часов они еще не появлялись. На улицах ни души, как перед сильной грозой, когда уже блеснула молния.

Я шел в аптеку. Думал так: «Если Израиль еще в городе, в аптеке обязательно знают». Там провизор его товарищ. Но провизора не оказалось. Сторожиха сказала: «Быстренько тикайте, все евреи прячутся по домам и боятся расправы». — «А Израиль? — спросил я. — Вы, может быть, знаете о нем?» Сторожиха ответила, что Израиль с женой и детьми уже отправился в Нежин. То есть все наоборот. И только я так подумал, а по улице уже мчатся мотоциклисты. Вы знаете, я в то время еще не был обросший и выглядел ближе к украинскому типу: отрастил усы. Я помнил по Нежину, что мотоциклисты проносятся для сильного шума и страха, но не останавливаются из-за пустяков. Есть момент безопасности. И смело вернулся на улицу. Думаю, куда пойти. Пошел в тот дом, где жил Израиль. Этот дом рядом с больницей. Вы меня слушаете, Алексей Федорович, или уже задремали?

— Ты устанешь, Яков, — сказал я. — Поешь, не торопись.

Он опять вытер лоб. Потом с минуту жевал. В углу охала Сидоровна. Девочка положила в печь маленькие полешки, попросила у меня огня. Я дал ей зажигалку. Она раздула огонь, протянула к нему руки и долго стояла так, не оглядываясь.

— Весь ужас в том, — сказал Зуссерман, что хозяйка заразилась от меня. Добро обошлось ей дорого. Ей больше пятидесяти, а какие теперь сердца! Для тифа нет ничего хуже, чем плохое сердце. Она может помереть. Вот какая жертва с ее стороны. Заметьте, Алексей Федорович, что я ее предупредил. Но старушка заявила, что в этом вопросе может разобраться один только бог. Если он хочет взять ее душу, то все равно не избежать. Я бы ушел сам, но уже не мог двигаться от жара и болезни.

Яков говорил никак не меньше часа. Не упустил ни одной подробности. Не стану приводить его рассказ целиком. Продолжение таково:

Уже на следующий день немцы вывесили приказ: евреям явиться на сборный пункт, взять с собой все самое ценное. Немцев понаехало много. Выход из местечка был очень затруднен. Сестра аптечной сторожихи работала няней в больнице. Сговорившись с врачом Безродным, она положила Зуссермана, тогда еще совершенно здорового, на койку.

Но случилось так, что ночью немцы решили осмотреть больницу, чтобы приспособить ее под госпиталь. Оттолкнув сторожа, они прямо пошли по палатам. Зуссерман слышал, как в соседней палате они опрашивали больных:

— Откуда? Национальность?

Бежать было невозможно. Окошко выходило на улицу, дверь в коридор, а в коридоре немцы. Вот тут он и съел письмо Батюка.

— Я уже совершенно распротился с жизнью, потому что мне известно, что значит явиться на регистрацию. Я быстренько пробежал глазами письмо Батюка, чтобы запомнить, что он пишет вам, а потом поспешил его разжевать и проглотить. Поперхнулся, но немцы не услышали. В это время входит та самая родственница сторожихи из аптеки и с ней еще няня. Они с носилками. И говорят мне шепотом: «Ложись, больной, ты теперь мертвец». Я лег. Они накрыли меня простыней и понесли мимо немцев и полицейских. Я слышал голос: «Что такое?» Женщина отвечает спокойно, как дома: «Скончался от тифа». Полицейский поднял простыню. Я, наверное, по бледности напоминал труп, потому что он равнодушно сказал: «А...», и меня пронесли во двор. Но там тоже были солдаты, и женщины потащили меня в мертвецкую, сбросили на полати. Там лежало три трупа. Ибо действительно некоторые уже умирали от тифа, особенно из бежавших пленных. Я лежал, притаившись, среди мертвечов, но мне было хуже, чем им. Я так пролежал больше часа. И с тех пор в течение девяти суток, как только, немцы приближались к больнице, мчался в мертвецкую и ложился в эту ужасную компанию. А ночью мне удавалось

иногда ходить в город и агитировать евреев не регистрироваться, а бежать. На улице Шевченко, в доме номер, кажется, девятнадцать, я нашел хороших людей. Они имели связь с Марусей Чухно, вашей партизанкой. Она мне сказала, что надо вооружиться терпением, а пока я помогал ей писать листовки. И однажды, после сна, когда я пришел из мертвецкой в этот дом, там уже был только пепел. Люди передали, что Марусю Чухно утром немцы провели по улице вместе с евреями. Триста евреев и русская Маруся Чухно были расстреляны. А у меня в тот же вечер была температура тридцать девять градусов. И я решил, что теперь мне уже все равно. Появилась отчаянная смелость. Утром я пошел в город открыто и держал палец на курке пистолета, а в другом кармане — гранату.

Верховые полицаи встретились мне вдвоем у самой окраины. Я их подпустил, как учили в армии, на близкое расстояние и выстрелил сперва в одного. Другой выстрелил в меня. Он промазал, а я отбежал и кинул в него гранату. Лошадь, во всяком случае, ускакала одна. Может быть, патруль спрыгнул от страха. Я тоже побежал в поле. За мной не гнались.

Больной тифом, еле передвигая ноги, брел Зуссерман по дорогам и по лесу, сам не зная куда. За несколько дней и ночей у него была масса приключений. Наконец, он свалился у канавы, потерял сознание. Проезжие крестьяне уложили его на подводу и повезли в свое село. Очнулся он уже в хате Сидоровны.

— Она меня поила молоком, хотя не имеет коровы. Она жарила для меня картошку. И вот теперь заразилась. Ах, Алексей Федорович, я понимаю, что кругов виноват. И когда поправлюсь и приду в отряд, вы сделаете мне внушение или накажете еще сильнее.

Он передал мне содержание письма Батюка.

— Яша, то есть товарищ Батюк, диктовал это при мне. Писала его сестра Женя. Она мне сказала, что лучше, если бы я мог наизусть, как актер. Но тогда не было времени. А в пути я действительно пробовал, и кое-что вышло, но не все. До болезни я начало помнил, как таблицу умножения. Подождите, Алексей Федорович, может, выйдет...

Зуссерман закрыл глаза и долго молчал. Я тоже молчал. Девочка по-прежнему стояла спиной к нам, грела руки у маленького костра, разложенного ею на припечке. Слышно было, как дышит старуха, как потрескивают полешки и как сосет сахар Настя. Казалось, ей, этой изголодавшейся деревенской девочке, нет ни до чего дела.

Зуссерман все молчал. Я уж подумал, не уснул ли он. Вдруг Настя повернулась от печки, торопливо проглотила сахар и спокойным, деловитым тоном сказала:

— Начинается так: «Товарищ секретарь обкома, наша организация в зачаточном состоянии...»

Зуссерман вскочил со скамьи и с нескрываемым страхом уперся взглядом в Настю.

— Что? — воскликнул он. — Откуда ты знаешь?

Настя сразу поняла причину его испуга.

— Дядя Яша, — торопливо заговорила она, — вы позабыли. Когда вы сильно болели и еще думали, что можете помереть, ведь вы тогда сами просили меня запомнить. Говорили громко, чтобы я или бабушка запомнили, а потом постарались передать в отряд этому дяде, — она показала на меня.

Яков снова сел и слабо улыбнулся. Настя, облегченно вздохнув, села рядом с ним.

— Замученная девочка, — сказал Зуссерман. — Вы представляете — два больных подряд. Бабка — та хоть тихая. А я буйствовал.

— Ну, совсем будто пьяный, — подтвердила Настя. — Вы хотели убежать, а я вас укладывала.

— И я вслух произносил письмо?

— Да. А в другой раз бредили, будто дядя Федоров тут в хате, и опять читали наизусть. Я хотела записать, но вы не позволили, кричали, что я дура. Но ведь на больных не обижаются.

— Ну, спасибо, Настя, ну, спасибо... Действительно начиналось так:

«Товарищ секретарь обкома! (Фамилию вашу, Алексей Федорович, Батюк сперва продиктовал, но потом велел начать снова, сказал, что упоминать опасно.) Наша организация в зачаточном состоянии. Комсомольцев и молодежи в группе пока двенадцать человек. Но есть не только молодежь. Все горят желанием работать. К сожалению, мы потеряли связь с райкомом партии. Мы принимаем и распространяем сводки Совинформбюро, печатаем листовки, ведем агитацию пока среди знакомых. Чувствуем, что этого недостаточно, и надеемся, что скоро сумеем делать больше. Очень просим во всем, что только нужно обкому партии, полностью рассчитывать на нас. Только смерть может нас остановить...»

Зуссерман помолчал. Потом признался:

— Дальше я, Алексей Федорович, наизусть не могу.

— Содержание помнишь?

— Яков просил еще передать на словах, чтобы вы обязательно учли его физическое состояние, то есть слепоту... Нет, он не просит облегчения в работе. Наоборот. Он говорил, что имеет преимущество в конспирации.

Его, как слепого, считают беспомощным калекой. «И пусть меня, — просил Яша, обком пошлет с любым заданием, я молод, силен, вынослив...»

— Но что же было еще в письме? Неужели то, что ты прочитал, и больше ничего?

— Ой, нет, Алексей Федорович, что вы. Там были серьезные вопросы. Мне их трудно передать, но я постараюсь. Вот, например, я уже точно вспоминаю. Первый вопрос такой. Немцы позволили открыть кустарное производство: разные артели — пищевые, деревообделочные и тому подобное. Интендантство и комендатура обещают заказы. Так вот Яша задает вопрос, можно ли опираться на такие производственные точки, и он сам даже хочет организовать артель, чтобы под этой вывеской стянуть своих людей. Правильно ли это будет?

— Иначе говоря, следует ли использовать легальные формы организации для объединения наших сторонников? Так я понял?

— Точно! Потом такой вопрос. Нужно ли организовать кружки среди рабочих и кустарей?

— Какие кружки?

— По изучению истории партии и углублению марксистско-ленинских знаний. Как это было до революции, когда старые большевики руководили такими кружками на заводах... Еще такой, кажется, последний вопрос. Они, то есть группа Батюка, могли бы провести в жизнь террористические акты. Против коменданта, бургомистра и других немецких ставленников. Но Яков в своем письме говорит, что у них нашлись товарищи, которые возражают. Они доказывают, что марксисты-ленинцы против личного террора...

— Индивидуального?

— Да, правильно, там было такое слово. А под конец Яша снова пишет, что ждет ваших указаний, и группа сделает все, что им прикажет партия.

Старуха-хозяйка зашевелилась в своем углу.

— Воды, Настенька, — прошептала она.

Настя вскочила, подала ей кружку. Сделав несколько шумных глотков, старуха довольно громко пробурчала:

— Третий раз сон перебиваете. Хиба ж так можно. Дайте ж вы мени хоть помереть спокойно...

— Простите, бабуся, — сказал я. — Сейчас мы поедем. Может, все-таки и ты с нами, а, Яков? — еще раз предложил я Зуссерману. — Там у нас неплохо. Стоим в селе. У нашего фельдшера целая хата. Выздоровеешь — немцев будем вместе бить. А то ведь как знать, поднимемся, уйдем, ищи

ветра в поле.

— Ах, мне хочется, серьезно, то есть это моя мечта, но вы понимаете... — он показал головой в сторону угла, где лежала старуха.

Она не могла видеть его движения, но догадалась, о чем он ведет речь.

— Ехай, ехай, Абрамыч. Полежал, хватит. Погуляй-ка ты с партизанами. Берите его, начальник, нам и самим исты нема чего, — и после этих, казалось бы, грубых слов старуха, не меняя тона, продолжала: — Треба только завернуть его. Шинель больно тонка, продует Абрамыча на морозе.

Я сказал, что в санях у маня есть тулуп.

— Ну, так с богом. Дай ты ему, Настя, пушку его. В тряпку завернута, за образом Черниговской богоматери лежит.

Девочка принесла из темного угла пистолет, протянула его Зуссерману. Помогла надеть шинель. Дрожащими руками Яков натянул пилотку. Потом сделал несколько шагов к старушке:

— Не ходи, не надо, — предупредила она.

— Прасковья Сидоровна! — воскликнул Яков. — Вы мне, как мать! Я не забуду...

— Ладно уж, Абрамыч, — ответила старуха. — Ни я тоби не мать, ни ты мени не сын. Что можно, зробила. Так и то не для тебя, а для батькивщины[12] нашей. Будь здоров, не болей, а нимца, колы будешь быты, за меня, да вот за Настю, не пожалей, стрельни по разу.

Девочка вышла с нами на улицу. Хотела помочь усадить Зуссермана. Но подошли мои люди, и она, завернувшись в платок, молча встала у крыльца.

— Прощай, милосердная сестра, — сказал я.

— Прощай, Настенька, еще раз спасибо, и если встретимся, пожалуйста, что угодно, все мое — твое! — с чувством произнес Зуссерман.

Настя церемонно протянула руку Якову, мне и всем моим спутникам. Потом тихо сказала:

— Дядя Федоров...

— Говори, говори, — подбодрил ее Зуссерман.

— Вы там в лисе... Если только можно... Пришлите бабе нашей дровишек вязаночку. Хоть бы, говорит, перед смертью раз до тепла протопить... Я бы сама, да оставлять ее одну не годится.

Я обещал, конечно, прислать завтра же. Но вышло так, что следующим утром немцы навязали нам большой бой. Воевали мы с ними до самой ночи. И следующий день был очень напряженным. Послать бойцов с

дровами для Сидоровны я смог только через два дня. Кроме дров, Капранов собрал ей полмешка муки, сухарей и мяса.

Вернувшись, бойцы сказали, что старуха померла, хата заколочена.

Я ведь ее так и не видел. Только слышал хриплый старческий голос. Было ужасно совестно, что не исполнили мы ее просьбы вовремя.

* * *

Письмо Батюка дошло ко мне через два месяца после того, как было написано. И то не само письмо, а только его изложение. Что за это время произошло в Нежине? Действует ли группа, организованная этим храбрым и умным слепцом? Нужен ли Батюку и теперь ответ? Думает ли он по-прежнему над вопросами, которые поставил секретарю обкома партии? И, наконец, жив ли он сам?

Ни я, ни другие члены обкома этого не знали.

И если мы ответим Батюку сегодня, дадим ясную директиву, когда-то он получит ответ? У нас ведь только одна возможность — послать к нему человека. Ни телефона, ни радио, ни почты. Даже поехать наш связной к нему не может. Ни на поезде, ни на автомобиле, ни верхом на лошади. Он должен идти пешком. И не идти, конечно, а пробираться, рискуя жизнью на каждом шагу.

Руководить оперативно, то есть быстро откликаться на события, происходящие в отдаленных от нас районах, вовремя помочь советом, людьми, вооружением обком мог отнюдь не всегда. Мы ведь и сами вместе с областным отрядом вынуждены были то и дело менять место своего расположения. Посланцы райкомов шли в Рейментаровку, а некоторые даже в Гулино. Находили там только наши следы, — пустые землянки, гильзы от патронов и немецкие трупы. Некоторые связные райкомов, потеряв надежду нас разыскать, возвращались. Более настойчивые расспрашивали у крестьян, где партизаны Орленко. А крестьяне, по известным причинам, как читатель уже знает, не очень охотно дают такие сведения.

Только к началу января, через три месяца после того, как был послан, возвратился из Яблуновского района Кузьма Кулько. Он сообщил, что подпольщик, ставленник обкома, товарищ Бойко возглавил небольшую группу коммунистов и комсомольцев. Они печатали на гектографе и распространяли листовки, вели устную агитацию среди крестьян. Они систематически обрывали на большом расстоянии телефонные и телеграфные провода между Яблуновкой и Пирятином. Группа казнила двух старост-предателей. И вот, совсем недавно, по чьему-то доносу полиция арестовала товарища Бойко. Ему удалось бежать, но в лесу его

настигли и расстреляли на месте.

Теперь во главе Яблуновской низовой организации кандидат партии Зленко. Группа невелика, положение у нее тяжелое. Сейчас ограничивается слушанием радио и выпуском листовок со сводками Совинформбюро. Трудно не только потому, что преследуют немцы и полиция. Часть товарищей этой группы — люди пришлые.

— Задают вопрос, — сказал в своем докладе обкому Кулько: — як добывать средства для жизни? Партизан может боем у немцев отнять. А подпольщик, коли у него своего хозяйства нема, куда вин сунется? Надо идти работать. Ну, а яка сейчас работа? Коли бы в совхоз чи на фабрику — там для агитации, а также для разъяснения среди масс настоящего положения, для саботажа и прочего предоставляется возможность. Одна беда — нема в Яблуновке действующих фабрик и заводов. И совхозы немцы позакрывали. Из колхозов сделали общины-десятидворки, принимают только местных жителей. Ну, як тут быть?

— А что вы посоветовали?

— Остается одна возможность — помощь народных масс. Вроде того, як питаешься в пути: то ли побираешься, то ли пользуешься от щедрот крестьянства его гостеприимством. Только учтите, что одно дело человек прохожий, а другое — коли уже устроился на месте.

К слову скажу, что Кулько за это время переменился. Похудел, огрубел, очень много курил. Отказывать ему, как человеку пришлому, можно сказать гостю, было неудобно. И он выкурил, пока докладывал, мою двухдневную норму. Когда мы ему рассказали, что в Холмах его жена, что мы с ней связаны и что даже даем ей небольшие поручения, он, против ожидания, не был удивлен.

— Я, Олексий Федорович, ничому бильше не удивляюсь. Но так скажу: не давайте вы мени отпуска. Что самое трудное у подпольщика против партизана и солдата? Да то, Олексий Федорович, что подпольщик видит семью свою, что страданья детей своих видит. Отсюда и слабость. И разный человек по-разному эту слабость может преодолевать. Не пойду, и теперь ни за что не пойду!

— Да мы тебя и не уговариваем, Кузьма Иванович.

Но Кулько ужасно разволновался, руки у него дрожали, насыпая табак в огромную козью ножку, рассыпал, наверно, не меньше, как половину закрутки.

Так он и ушел опять на новое задание, не повидавшись с женой и ребятами.

Одновременно с Кулько ушел на связь с Батюком Зуссерман. Он, как

только немного окреп, сам вызвался пойти в Нежин. Сказал, что лучше него дорогу никто не знает. Я сперва колебался. Но Яков убедил меня. Действительно, никто из наших людей не знал Нежин лучше Зуссермана. Ему, конечно, и легче, нежели другим, разыскивать группу Батюка.

С тяжелым чувством отпустил я Зуссермана. Но он был весел, казался здоровым и шел на задание с большой охотой.

В начале января после долгих скитаний набрел на заставу областного отряда член Остерского подпольного райкома Савва Грищенко. Он был измучен, оборван, голоден. Но когда узнал, что при отряде находится и обком, очень обрадовался. Принесли ему поесть в штаб. Он ел и докладывал одновременно.

Он рассказывал, в каком тяжелом положении оказался Остерский подпольный райком. Заранее организованный партизанский отряд, помогая частям Красной Армии выйти из окружения, не смог потом пробиться назад на оккупированную территорию. Большинство товарищей ушло вместе с нашими войсками. И только небольшая группа во главе с секретарем райкома товарищем Глушко перешла линию фронта и вернулась в Остерские леса.

Но тут выяснилось, что продовольственные базы и тайный склад оружия выданы полиции шофером-предателем. Создать вновь партизанский отряд по этой причине было почти невозможно. Райком бросил силы на организацию сельских подпольных групп. Их было создано шесть. В каждой группе от четырех до восьми человек. Помимо того, что они распространяли переписанные от руки сводки Совинформбюро, группы эти стали ячейками будущего партизанского отряда. Они собирали в лесах и на полянах оружие. И уже собрали на общую лесную базу двадцать ящиков гранат, больше сотни винтовок, два ручных пулемета, свыше десяти тысяч патронов.

— Ах, товарищи, — сказал Грищенко, — если бы мы знали точно, что обком по-прежнему существует, насколько легче бы нам стало работать!

— Почему? — спросил Попудренко. — Чем мы вам могли помочь?

— Да разве в одной помощи дело. Вот вы сообщили мне сейчас, что от товарища Хрущева есть весточка. А помощи-то ведь пока вы тоже не получили, верно? Так вот, и нам, коммунистам в районах, сознание того, что действуем мы не маленькой своей группкой, что в области маленьких таких групп рассеяно множество и что есть областной комитет... Да что вы сами не понимаете, Николай Никитич?

— Неужели таки ничего и не слыхали о нашем отряде?

— Об отряде слышали. И даже о двух больших отрядах — Орленко и

Федорова[13]. — Но что касается обкома, — последнюю директиву получили еще в ноябре.

— А пригодилась директива, ответила на ваши насущные вопросы?

— Теперь много нового возникло. Вот, к примеру, есть в районе еще не организованные коммунисты и комсомольцы. Некоторые из них зарегистрировались в полиции. Кое-кто добровольно, у этих позиция ясна предатели, а в лучшем случае — трусы. Но есть и такие, которым не зарегистрироваться было невозможно.

— Ну, положим, я бы ни за что, никакие обстоятельства меня бы зарегистрироваться не заставили! — воскликнул с возмущением Дружинин.

— Вы, да и я тоже — дело другое, — возразил Грищенко. — Послушайте, вот я вам расскажу. Помните слесаря колхоза «Червоноармеец»? Да вы его должны помнить — Горбач Никанор Степанович. Он большой мастер. Еще в прошлом году с обращением выступал в «Большевике» насчет досрочного ремонта сельхозинвентаря к севу. Портрет его был на первой странице. Усы, трубка и большая бородавка возле носа. Ну, вот, он самый. Кандидат партии. Но, главное, известен кругом, как хороший мастер. Специалист своего дела. И не только слесарь. Он и кузнец, и токарь, и механик-самоучка. Трактор знает превосходно, любой мотор, любую машину. Природный талант. Его сколько раз в МТС звали — не шел. Привержен к своему селу, улейки у него там стоят. Но, главное, колхоз свой любил, гордился им. Казалось бы, настоящий советский человек, а вот, представьте, зарегистрировался.

— Значит, в душе был другим. Вы, районные коммунисты, проглядели его кулацкую душонку.

— Другое, совсем не то, Алексей Федорович. Он даже усы сбрил. Бородавку хотел срезать в целях конспирации. Но ему же ничего не поможет, как, скажем, вам или тому же Николаю Никитичу. Если народ человека знает, — все! Как ни переодевайся, примета найдется. Я, допустим, запомнил у Николая Никитича, извините, его нос. А вы — уши. Не один, так другой узнает. Старого же кузнеца, кроме того, всегда можно по рукам определить. Верно?

Дальше происходит следующее: Никанор Степанович эвакуироваться не пожелал. Заявил, что предпочитает партизанить. Но из лесу, как я уже говорил, пришлось вернуться. С ним условились, поскольку он человек заметный, перебросить его в дальнее глухое село. Не стал спорить, забрал свою старуху и пошел к родственникам в Зеленую Буду. Там его, конечно, приняли. В колхозе или, как теперь, общине просто обрадовались. Что это

означает? Его и там, конечно, узнали. Отвели ему хату. Хаты многие пустуют, хозяева их эвакуировались. Тогда он объясняет, что работать ему нельзя. Руку нарочно перевязал. «Ничего, поправишься — будем думать». Он извещает нас. Передает через человека, что, пожалуйста, мол, посылайте мне листовки, есть тут хороший народ. А если, мол, надо, у меня подвал большой, можно наладить печатание. При встрече с одним из наших даже предлагал, чтобы из леса перетащили к нему по частям типографский станок. Он, мол, сообразит, как приспособить. Печатная машина, между прочим, уцелела. Когда базы полиция растащила, машину они только слегка покаржили. Камнями, верно, били.

Короче говоря, станок мы к нему не повезли, потому что узнали, что он зарегистрировался. Пошел в полицию и заявил, что, действительно, кандидат партии и дает подписку прекратить всякое сопротивление и, как там установлено, обязуется доносить обо всем, что ему станет известно.

Когда мы об этом узнали, очень испортилось настроение. Кому верить, если уж такой человек, можно сказать, сознательнейший колхозник и член правления. Выходит, ему теперь надо мстить, убивать его надо. Ведь этому Никанору Степановичу известны адреса явок. Ему не только члены райкома, родственники всех членов райкома известны. Что, если вздумает, как написал в немецком документе, выполнить?

Но убивать его никто не желает. Сомневаются, что он предатель. Разумеется, так и вышло. Он сам нас нашел, сам все объяснил. Но мы его из партии исключили. Отказались признавать своим.

Как же все-таки вышло? Приезжают к нему ландвиршафтсфюрер и один бывший работник райземотдела, а теперь что-то вроде изменника — устроился при хозяйственной комендатуре. Обращаются к Никанору Степановичу: «Вы такой-то?» Он пытался отрицать, но этот бывший-то наш работник, оказывается, знает его в лицо. «Ты, — говорит, — усы сбрил». — «Что делать, — отвечает, — действительно». Сажают его в бричку, везут за тридцать километров на ток. Приказывают отремонтировать срочно локомотив. Они затеяли молотьбу хлеба. Копаются возле локомотива какой-то немецкий солдат, тоже механик. И, видно, не знает он конструкцию нашей машины. Сделать ничего не может. Пиканор Степанович показывает на руку: мол, не могу работать. Они соглашаются, чтобы он сам не делал ничего, а только объяснял словами. И вот, представьте, старик увлекся. «Сам, — говорит, не понимаю, как получилось. Ведь я себе, черту лысому, в уме твержу: ничего не делай. Они и так, и эдак крутятся у машины, ничего у них не выходит. Взялись они меня разыгрывать: как это получается, что такой знаменитый механик и

тоже пасует. Не выдержал я, поддался розыгрышу, или, может быть, перед немцами хотел показать свое превосходство. Руки, можно сказать, сами потянулись, опомниться не успел — пошла машина. Как хотите, судите, но ведь я, — говорит, — подпольщиком никогда в жизни не был, а с металлом вожусь больше тридцати лет». После этого случая с локомотивом ему говорят, что властям немецким известно, что он коммунист, но это, мол, ничего не значит, надо только зарегистрироваться. И ведут в полицию. Там он и подписывает известную бумагу. А через несколько дней является к нам и просит считать все это уловкой, доказывает, что ненавидит немцев и жизнь готов отдать за наше дело. Вот как иногда получается, товарищи.

— Но ведь это исключительный случай, — возразили мы Грищенко.

— Каждый случай по-своему исключителен. Среди коммунистов, которые зарегистрировались, далеко не все безнадёжные люди. Один товарищ, тоже из недавно вступивших в партию, учитель, нашел нас и говорит: «Пусть я виноват, пусть недостойн носить звание члена партии, но не лишайте меня звания человека. Дайте задание, испытайте. Сознаюсь, подавила меня на первых порах вся картина отступления, потерял голову. А когда собрался с мыслями, когда увидел силу духа народного, понял, что лучше смерть, чем такая жизнь».

Мы ему поручили разведать обстановку на железной дороге. Сказали, что в диверсионных целях. Хотя у нас никаких средств для этой деятельности нет. И послали его к станции. Там строжайшая охрана. Представьте, пролез ночью под колючую проволоку, начертил нам потом точнейший план: где часовые, где склад снарядов... Жаль даже было человека, что зря ползал. Нет, нельзя все ж таки подходить с такой меркой, что все оробевшие люди подлецы. А пройдет время, еще больше к нам придет таких, как этот учитель.

— А как же с механиком? — спросил, заинтересовавшись, Дружинин. Так, значит, исключен из партии и вы его от себя оттолкнули?

— Запил старик. Просто ужас как пьет. Смастерил самогонный аппарат и такой первач гонит, просто сказать — ректификат. И сивуху научился отбивать. Когда немного разбавить водой, прямо особая московская двойной очистки.

— Пробовали, значит? — смеясь, сказал Попудренко. — А говоришь оттолкнули старика. Выходит, кое в чем он вам и сейчас полезен?

Но шутки шутками, а вопросы, поднятые Грищенко, а перед тем письмом Батюка и докладом Кулько, были, несомненно, серьезны и требовали разрешения. Они носили общий, интересующий всех подпольщиков характер.

В самом деле, надо уяснить, кто такие рядовые подпольщики Отечественной войны. Чем они должны заниматься, кого могут принимать в свои группы, следует ли им профессионализироваться, то есть посвятить себя исключительно подпольной деятельности? Какие материальные возможности у них для этого есть?

Подпольные группы городов состояли из рабочих и служащих, студентов, школьников. В сельских были колхозники, рабочие МТС и совхозов, врачи, учителя и тоже школьники. Их возглавляли товарищи, посланные обкомом и райкомами. Но не всегда партийные работники профессиональны.

Опыта подпольной работы ни у кого не было. Разве только у пожилых людей — членов партии с дореволюционным стажем и ветеранов гражданской войны. Но, во-первых, таких единицы, а во-вторых, условия нынешнего подполья имели мало сходства с условиями, в которых они работали в те далекие времена.

Думаю, что вопросы Батюка, следует ли готовить террористические акты и следует ли организовывать кружки по углублению марксистско-ленинских знаний, были навеяны ему кем-нибудь из старших членов партии.

В самом деле. Мы не боролись за свержение существующего строя. Ибо немцы не ввели и не могли ввести на оккупированной ими Украине буржуазного строя, хотя, конечно, и стремились к этому. Пока же они только заняли территорию. Война продолжалась. Немцы вели ее не только против Красной Армии, но и против всего советского народа. Мы, как партизаны, так и подпольщики, были солдатами. Мы воевали. Уничтожение комендантов, ландвиршафтс-, группен- и всяких других фюреров было нашей солдатской обязанностью, а не террористическими актами. Уничтожение предателей народа — старост, бургомистров, полицейских — тоже не террор. Это человеческие подонки, не представители некой новой власти, а просто шпионы, изменники и перебежчики. Они преступники, мы их не убиваем, а казним в соответствии с законами Родины.

Подпольщики Отечественной войны — это те же партизаны. И разделение на партизан и подпольщиков имеет лишь тот смысл, что первые живут и действуют значительными военизированными группами, а вторые вынуждены жить порознь и действовать более конспиративно.

Советский народ на оккупированной территории отлично разбирался в том, кто его враг. Даже самые Отсталые крестьяне вскоре поняли истинные цели и намерения оккупантов. Соппротивление народа захватчикам неуклонно росло.

Но если бы миллионы наших людей, оставшихся на оккупированной территории, знали всю правду о немцах, если бы они знали хотя бы то, что на Украине, где хозяйничает враг, уже в первый год войны *мертвых немцев было больше, чем живых*, — сопротивление возросло бы во много раз.

Вот почему главной задачей подпольщиков, то есть коммунистов и комсомольцев, не ушедших в лес, а оставленных в городах и селах, *была пропаганда правды*.

Рассказывая народу о действительном положении на фронтах, систематически распространяя сводки Совинформбюро, разоблачая тактические маневры немцев: их земельные законы, игру в «друзей вильной Украины», их националистическую пропаганду и прочие уловки, подпольщики поднимали дух народа и содействовали созданию партизанских резервов.

Подпольщики в городах и селах должны были всеми мерами препятствовать проведению в жизнь немецких законов, постановлений, распоряжений; организовывать саботаж на предприятиях и в сельскохозяйственных общинах; разоблачать предателей, собирать и передавать партизанским отрядам оружие и боеприпасы, вести разведывательную работу для наших партизанских штабов и для Красной Армии.

Впрочем, вряд ли я сумею перечислить здесь все обязанности подпольщика-воина. Другое дело, его права и материальные возможности, они были гораздо ограниченнее. На вопрос подпольщиков Яблуновки, где доставать средства для существования, мы могли ответить только одно: ищите, товарищи, не чурайтесь никакой работы. Живите так, как живет народ, будьте всюду с народом. Идите, если надо, в батраки к новоиспеченным кулакам и помещикам, идите в артели, на железную дорогу, в административные и хозяйственные учреждения немцев. Нам везде нужны свои люди, чтобы взрывать немецкую оккупационную машину изнутри. Но помните идти в такие места можно только по направлению организации.

Что же касается коммунистов и комсомольцев, под влиянием страха или каких-то «личных обстоятельств» пришедших на регистрацию и поступивших на службу к немцам, им оправдания нет. Как ни симпатичен слесарь Никанор Горбач, остерская организация права, отказавшись считать его коммунистом. И учи гель, о котором рассказывал Грищенко, тоже должен быть немедленно исключен из партии.

Для того чтобы искупить свою вину перед народом, у них, в условиях оккупации, есть только один путь — в партизанский отряд. Здесь, если их

примут, они могут под пристальным наблюдением товарищей пойти в бой.

Но почему так строго? — спросит читатель. Ведь Никанор Горбач и тот учитель, что сам сознался в своем малодушии, пришли в райком партии с повинной, они только дрогнули на мгновение, изменниками их считать нельзя.

Если бы они были изменниками, их бы расстреляли. Не могло быть тогда и речи, чтобы позволить им сражаться в рядах партизан. Нет, мы не только подтвердили исключение их из партии, но просили товарищей рассказать народу о том, что они исключены. Коммунист не может совершать сделок со своей совестью. Коммунист не имеет права забывать ни на минуту, что народ видит в нем представителя руководящей партии. Когда коммунист или комсомолец совершает малодушный поступок, он наносит большой ущерб нашему делу, гораздо больший, чем беспартийный, совершивший такой же поступок.

Регистрацию коммунистов немцы обставляли торжественно. Они вывешивали большие плакаты-указатели: «Регистрация членов партии и комсомольцев производится здесь». Да и сама регистрация ими была придумана не для того, чтобы учесть и обезопасить коммунистов. Добровольно приходили на регистрацию единицы. И немцы, конечно, заранее знали, что придут только предатели и люди малодушные, стало быть, для них, немцев, и без того безопасные. Нет, они придавали этой регистрации другое значение. Они хотели нанести удар авторитету Коммунистической партии в народе.

Слесарь Никанор Горбач впоследствии действительно доказал, что он не только не предатель, но даже храбрый человек. Он пришел в отряд и, несмотря на преклонный возраст, хорошо воевал. Его тогда, как он выразился, гордость заела, не захотел уступить немецкому мастеру. Стало быть, профессиональная гордость механика была в нем сильнее гордости патриота и коммуниста.

А народ особенно высоко в это время ценил непреклонную гражданскую гордость советского человека. Как могли мы прощать коммунистам даже маленький поклон в сторону немцев, когда сотни и тысячи безымянных героев, беспартийных рабочих и крестьян шли часто на смерть только для того, чтобы показать свое презрение оккупантам.

Рассказы об этих подвигах можно было слышать и в хате колхозницы, и где-нибудь на пепелище сожженного села, и у партизанского костра. Народ очень любил рассказы о беззаветной храбрости, о людях, погибших с удалью, о том, что еще Максим Горький назвал безумством храбрых. Такие истории повторяли, дополняли, передавали из уст в уста.

Вот, например, рассказ о старике Мефодьевиче из Орловки. Я сам слышал его не меньше десяти раз. В основе его лежит действительный случай, происшедший в начале 1942 года. Но фамилию Мефодьевича я так и не смог узнать.

Группа наших комсомольцев-разведчиков — Мотя Зозуля, Клава Маркова и Андрей Важецев — отправилась по селам, чтобы собрать нужные командованию сведения, а попутно разбросать и передать нашим людям для распространения листовки; сотен пять листовок, направленных против немцев, засунули за пазуху разведчики.

В Орловке — большом селе — они шли посредине улицы — обыкновенные крестьянские девушки, молодой парнишка с ними. Навстречу им попадались старухи, старики и такие же, как они сами, девушки и парни. Разведчики здоровались, спрашивали, как пройти к мельнице, и совали, между прочим, в руки прохожих маленькие квадратные листки бумаги.

На вопрос о том, далеко ли немцы, разведчикам отвечали, что все, мол, в порядке, давно их тут, извергов, не было.

В этот момент со скоростью пожарной команды в село ворвалась на нескольких грузовиках группа немецких солдат. Нашей тройке нельзя было бежать: они бы обратили на себя всеобщее внимание, и уж тогда, наверное, немцы бы погнались за ними. Медленно продолжали разведчики идти по дороге, надеясь, что немцы сочтут их за здешних.

Солдат прибыло в село человек пятнадцать. Вели они себя странно: соскочили с машин и разбежались в разные стороны. Они хватали всех, кто попадал под руку, — стариков, старух, подростков, — гнали к машинам и, поощряя ударами прикладов, заставляли лезть в кузова. Не обыскивали, ни о чем не спрашивали, ничего не объясняли, набили машины и полным ходом двинулись в сторону районного центра — местечка Холмы.

Наши разведчики попали на последний грузовик. Людей в кузов набили человек двадцать пять. Стояли, держась друг за друга, все перепуганные, с бегающими глазами, бледные. Сперва только переглядывались, но минут через пять стали перешептываться: «Что бы это могло значить? Куда нас везут? Почему брали первых встречных?»

Людей в машинах качало, толкало, они падали, садились на дно кузова, уплотнялись. Девушки повизгивали, старухи побряхтывали; уже стали осваиваться со своим новым положением.

— Надька, чего с размаху плюхаешься? — кричала какая-то женщина. Знаешь ведь, черт, что у меня коленка ушибленная!

— Ничего, тетки, привыкайте, — раздался из гущи тел чей-то

надтреснутый старческий голос. — Скажите спасибо, гроши за провоз не берут. Раньше до Холмов ехали — считай тридцатка из кармана долой, а немцы-благодетели за свой счет в петлю везут...

— Ну, пошел брехать наш артист, — откликнулся женский голос. Помолчал бы ты, Мефодьевич, без тебя тошно.

Но старичок за словом в карман не лез. Он ответил какой-то шуткой. Несколько человек с готовностью рассмеялось. Вероятно, был этот Мефодьевич из комиков-старичков, которые ни в какой обстановке не теряются.

Наши разведчики не прислушивались, им было не до разговоров. Они стояли все трое у борта, шепотом обсуждали, как быть. За пазухой у каждого осталось по сотне с лишним листовок. Не надо и обыскивать. Достаточно потрясти за ворот — и посыпятся.

Машины шли со скоростью никак не меньше, чем сорок километров в час. По населенным пунктам мчались, оглушающе сигналила, ну, совсем, как пожарные. Солдат в кузове не было. Однако на подножках стояли автоматчики. Они хоть и смотрели большей частью вперед и переговаривались с теми, кто ехал в кабине, спрыгнуть на ходу незаметно, конечно бы, не дали.

Мотя Зозуля, наиболее опытная разведчица из нашей тройки, оглядев окружающих и подмигнув своим, осторожно вытащила из-за пазухи пачку листовок. Она опустила руку с листовками за борт и с силой бросила их на землю. Неожиданно ветер подхватил бумажные квадратики, закрутил, и они взвились за машиной, поднялись облаком.

Мотя покраснела и съежилась, будто ожидая удара. Все в машине молчали. Листовок уже не было видно, а в машине продолжали стоять напряженные, притихшие, смотрели испытующе друг на друга.

И опять раздался надтреснутый голосок:

— Фрицы-то не только, значит, народ хватают. Заодно и агитацию разводят. Вроде, как комбинат на колесах!

Шумел мотор, скрипела, покачиваясь на рытвинах, машина, но ребятам нашим показалось, что они услышали общий вздох облегчения.

Кто знает, поверили арестованные, что листовки действительно разбрасывают сами немцы или просто обрадовались хорошему объяснению. Во всяком случае, старичок разрядил обстановку. Снова начались разговоры.

Мефодьевич выбрался из гущи тел и устроился рядом с разведчиками. Он оказался маленьким, сухоньким. Седая растрепанная бороденка трепыхалась на ветру, нос от холода покраснел. Но шапка сидела у него

набекрень, один ус воинственно задрался кверху, в глазах горел лукавый огонек. Снова он пустился в громкие рассуждения. Говорил, видно, не задумываясь, лишь бы не молчать.

— А что, паны, — воскликнул он, закручивая ус, — едем мы теперь в одной машине с иностранцами! Думал ли, мечтал ли я когда о таком новом порядочке...

Пока ему кто-то отвечал, он прижался плечом к Моте и быстро стал шептать:

— Ты, дивчина, зря по степу не кидай. Предназначено для народа, верно понял?.. Значит, среди народа и сей... Вот будем ехать селом, тогда и бросайте...

Когда поровнялись с каким-то селом, Мефодьевич стал с азартом толкать под бока наших ребят:

— Кидайте, чего же вы! Да не бойтесь, я отвечаю!

Что говорить, был в нем талант озорника, и других он умел зажечь. Ребята выбросили в селе часть листовок. В машине теперь все уже, конечно, понимали, что кидают не фрицы, но, как будто сговорившись, делали вид, что ничего не замечают.

За машиной бежали мальчишки, ловили в воздухе листовки. Арестованные хохотали. Все — и старые и малые — увлеклись этой игрой. Когда немцы подозрительно зашевелились на подножках, женщина с длинным и скорбным лицом крикнула:

— Ховайтесь!

Над бортом появилась голова солдата. Он ничего не понял. С недоумением смотрели глаза немца на этих странных русских: «Чего они смеются?» Зло сплюнув и выругавшись, он отвернулся. Но уже нельзя было, конечно, бросать листовки. Немцы повысили внимание.

Мефодьевич разошелся. Он был в ударе. У разведчиков осталось еще сотни три листовок. Старик стал упрашивать:

— Отдайте мне... Да вы не бойтесь, я выкручусь, давайте, да ну, скорее. У нас в селе почитают. Не пропадать же...

Он сунул оставшиеся листовки за ворот рубахи, запахнул свой кожушок и самодовольно улыбнулся, да так лукаво прищурился, что всем стало ясно: сейчас он что-нибудь отчебучит, отколет номер.

И верно, Мефодьевич полез чуть ли не по головам к кабине.

— Расступись! — кричал он. — Да пропустите же, люди добрые, пропадаю!

Еще не понимая, что он собирается делать, ему давали дорогу. Он пробрался вперед и бешено заколотил по крыше кабины. Все притихли.

Машина резко затормозила.

По обе стороны дороги лежало поле. За кюветом торчало несколько обтрепанных, заснеженных кустов. Солдаты соскочили с подножек. Вылезли и те, что были в кабине. Заорали гортанными голосами. Смысл их вопросов был понятен:

— В чем дело, кто стучал?

Мефодьевич кивнул головой в сторону кустов, согнулся пополам, схватился за живот и при этом скривил такую жалкую, страдальческую гримасу, что даже немцы не удержались, прыснули со смеху.

— Почекайте трохи, подождите, битте, битте, я зараз, сейчас, пробормотал он и торопливо слез на землю.

Немцы продолжали смеяться. Они и в самом деле подождали, пока Мефодьевич спрятал за кустами листовки, посидел там еще с минуту и вернулся с лицом счастливым и глупо самодовольным.

Один из немцев даже потрепал его по плечу:

— Гут, гут, корош колхоз, правильни!

В Холмах всех выгрузили на площади. Оказалось, что туда, по приказу гебитскомиссара, свезли первых попавшихся крестьян из десятков сел. Свезли лишь для того, чтобы они выслушали речь этого самого комиссара. Как только разведчики наши узнали, что они свободны, сейчас же постарались ускользнуть от своих спутников. Лучше подальше от свидетелей. Одно дело в машине, другое в райцентре.

Они и совсем бы ушли. Но оказалось, что площадь оцеплена. До конца митинга никого не выпускали. Наши стали в сторонке, выбрали место, с которого быстрее всего можно было убраться. Минут через десять после их прибытия на деревянную трибуну влезло несколько немцев. Один из них начал речь.

Он ругался, плевался, угрожал минут десять. И хоть ораторствовал он по-немецки, люди стояли притихшие, подавленные, понимая, что гебитскомиссар хорошего не скажет. Потом говорил переводчик, тоже немец.

— Вас имели позвать сюда в целях вашей трансляции родственникам и знакомым, что мы, немцы, шуток абсолютно не любим...

Кто-то в толпе неестественно громко чихнул.

— Мы шуток не любим, — повторил переводчик. — Наши агенты, наезжая на села, не имеют среди крестьян радушной встречи. Что это есть? Это есть признак агитации лесных бандитов, которые не советуют давать немцам продовольственных продуктов, свиней и хлеба. Это считается нами, как саботаж. Это считается нами, как проявление подчинения

уничтоженной большевистской власти. За указанное проявление мы больше миловать не пожелаем и поторопимся безжалостно уничтожить гнезда. Расстреливать. Казнить...

Совершенно в тон ему, как бы продолжая речь переводчика, кто-то в толпе сказал:

— Резать и засаливать...

— Что там произнесено? — строго спросил переводчик.

Все молчали.

— Я имею решительную просьбу повторить. Я недостаточно слышал. Кто произнес слова?

Поднялась рука, и наши ребята увидели Мефодьевича. Старик, видно, вошел в роль, не мог остановиться, успех в машине его вдохновил.

— Это я произнес слова, господин переводчик.

— Какой смысл вы хотели изложить?

— Я хотел поддержать ваше начинание. Вы сказали «расстреливать и казнить». А я считаю, что этого мало, как имеются люди, которые подчиняются неправильно, трохи путают, гнут в противоположную и так и далее. Вредят крестьянству и новой власти, которая... В общем я поддерживаю от всей души ваше мероприятие...

Вряд ли переводчик разобрал все, что говорил Мефодьевич. Но решил, видно, что старик этот — голос народа и этот голос его поддерживает.

Переводчик продолжал свою речь, а Мефодьевич время от времени выкрикивал:

— Правильно! Хап буде так! Дуже гут, дуже битте!

При этом он сохранял поразительно спокойное выражение лица.

Переводчик, окончив речь, пошептался с гебитскомиссаром, с бургомистром Холмов, с каким-то полицейским. Потом поманил к себе пальцем Мефодьевича. Старичок поднялся на трибуну. Он стоял перед гебитскомиссаром, как царский солдат: выкатил грудь колесом, ел глазами начальство. Переводчик пошептал ему что-то на ухо. Мефодьевич выразил на своем лице понимание и готовность. Потом повернулся к народу, начал говорить.

Сперва и крестьяне сочли, верно, что старик этот немецкий холуй, слушали его хмуро.

— Граждане! — воскликнул Мефодьевич, как заправский оратор, но тут же повернулся к переводчику и сказал: — Извините, выскочило по старой привычке. Пань! — воскликнул он снова. — Уважаемое крестьянство! Нам что сказано? Нам сказано, что Германия хочет народу добра, чтобы швидко окончить войну и разбить остатки Червоной Армии.

Правильно сказал пан немецкий комиссар, что для цього потрібно усим взятися сообща за наше крестьянское дело и наплевать на политику. А что мы бачим? Мы бачим, что народ помогает лесным бандитам, разным там нашим братьям и сестрам и деточкам. Разве это новый порядок? Я предлагаю поддержать инициативу пана комиссара и с сегодняшнего дня, коли придет из лесу чи твой чоловік, чи мий сын, чи брат, хватать его за шкуру и тащить в полицию. А буде сопротивляться, — уничтожать его на месте, як бандита, который мешает нашим благодетелям немцам.

Говорил все это Мефодьевич удивительно серьезно, то и дело оглядываясь на немцев. Он, конечно, подметил, что переводчик знает русский язык плохо. Народ тоже раскусил трюк Мефодьевича. Лица оживились. Кое-кто улыбался. А некоторые, наиболее благоразумные, делали ему знаки: морщили брови, кивали головами в сторону, мол, потрепался и хватит. Мефодьевич не внял рассудку.

— Я считаю, — продолжал он, — что мы хоть и стали теперь панами, все-таки недопонимаем, что немцы нам принесли освобождение. Пора нам прекратить ненавидеть, а вместо этого дать победоносному германцу все, что вин пожелает. Коли ко мне пришли немцы забирать корову, кабанчика, гусей та курей, вы думаете я дрался? Ни, я усе отдал с радостью. А вчера пришли, просят теплу одежду, чтобы не мерзнул немецкий солдат пид Москвой. Так я с пониманием и радостью отдал штаны, а надо будет немцам, и пидсподники отдам. Бо я горжусь, что немец буде бить Червону Армию и партизан с моей куркой в животе и в моих штанах.

В толпе уже многие улыбались, а кое-кто еле сдерживал смех. Гебитскомиосар с недоумением поглядывал то на оратора, то на переводчика. Мефодьевич обернулся к немцам и сказал:

— Я прошу вас, пан переводчик, сказать начальству, что украинцы не пожалеют для победы немецкой армии ни штанив, ни курей, ни жинок, ни дитей...

Он подождал, пока переводчик выполнил его просьбу. Комиссар, видимо, успокоился, улыбнулся и похлопал в ладоши. Мефодьевич тоже улыбнулся и продолжал, возвысив голос:

— Как честна стара людина, я должен сказать в порядке самокритики, что сам еще не полностью проявил любовь к немцам. Коли б я був помоложе, ну як той хлопец, чи як та дивчина, — он показал на кого-то в толпе, — то пошел бы в лис и стал бы уничтожать эту сволочь, что рушит наше счастливе життя!..

Теперь в толпе уже никто не улыбался. Слушали внимательно и очень серьезно. Переводчик испытующе взглянул на оратора. Но опять

успокоился. Мефодьевич оказал:

— Записался бы добровольно в полицию, получил бы винтовку, пулемет и доказал бы тем бильшовикам, что попрятались в лисе, что не одни воны могут пользоваться оружием. Будь бы я помоложе, так не сидел бы с бабой в хате, да не глушил бы горилку, як то роблят некоторые полицаи. Я б показал немцам, что мы, украинцы, умеем ценить свободу, что есть еще у нас смелые люди!

Бургомистр, украинец из какой-то западной области, хотя и не очень хорошо понимал смешанный русско-украинский язык старика, сообразил, что в речи его таится подвох. Он наклонился к переводчику и стал ему что-то шептать. Но переводчик в ответ презрительно улыбнулся. Он был убежден, что и сам прекрасно владеет языком. А Мефодьевич все больше входил в роль и забыл осторожность. Зря он затронул полицию. Тут присутствовало несколько этих предателей с повязками на рукавах. Они ведь и в самом деле не столько боролись с партизанами, сколько пьянствовали и грабили население. Один из них, что стоял неподалеку от трибуны, крикнул:

— Эй, старик, ты что это агитировать вздумал?! Ты эту самокритику забудь!

Но Мефодьевич не растерялся. Обернувшись к переводчику, он с возмущением сказал:

— Пан офицер, чи я не правильно говорю? Треба усилить борьбу за нашу перемогу, верно?

— Очень прекрасно, — ответил переводчик, — гут, но заворачивайтесь, и он подал Мефодьевичу знак, чтобы тот сошел с трибуны, но старик сделал вид, что не понял.

Он крикнул полицаю:

— Что, съел? Правильно я говорю, что зря вам, сволочам, дали оружие. На партизан-то вы боитесь идти... Ну, чего кулаком грозишься? Что, неправда скажешь? Почему те штаны, что у меня забрали, не отправлены пид Москву на поля сражения, а попали на задницу начальника полиции? Ах, не знаешь?.. Для чего у старухи Филиппенко пуховый платок забрали? Для немецкой армии, что ли? Нет, брешешь, меня не проведешь!

Переводчик, раздражаясь, сказал:

— Прекратите. Жалобы в сторону действий полиции надо относить комендатуре от часу дня до двух по вторникам.

— А вы ему скажите, пан переводчик, чего вин причепился. Я дело говорил, а вин лезет... Я вам прямо окажу при всем народе: в полиции одни воры и сволочи. Коли бы воны были честны люди, то не боялись бы

самокритики и не затыкали бы рот.

Несколько полицейских собрались в кучу и стали подниматься по лестнице трибуны, чтобы схватить старика. Но комиссар сделал им знак отойти.

— Извиняйте, я разволновался, — заискивающе протараторил Мефодьевич. — Разрешите продолжать?

— Найн, найн, идите.

С торжествующей, самодовольной улыбкой Мефодьевич прошел мимо полицейских. Толпа расступалась перед ним и тут же смыкалась. Маленький, сухонький, он сразу же потерялся среди людей.

— Митинг имеет быть конченным! — крикнул переводчик.

Народ стал торопливо расходиться. Наши ребята тоже, конечно, не теряли времени. Они уже отошли метров на двести, когда на площади сзади них раздался выстрел. Они обернулись и увидели несколько полицаев, бегущих за маленькой человеческой фигуркой. Было ясно, они гнались за Мефодьевичем. Старик удирал от них зигзагами, как лисица.

Полицаи что-то орали и стреляли ему вслед.

Старик подбежал к высокому плетню, попытался через него перелезть, но упал, подсеченный пулей. Ему удалось разогнуться.

— Каты, нимицьки прихвостни, подлюги прокляты!!! — успел еще крикнуть он.

Полицейские уже были возле него. Раздалось еще несколько выстрелов. Старик больше не кричал.

На обратном пути наши ребята взяли под кустом спрятанные Мефодьевичем листовки.

Ни одна из них не пропала даром.

* * *

И каждый раз после того, как у партизанского костра кто-нибудь рассказывал эту историю, начинались споры.

Одни говорили, что зря старик так разбушевался, не стоило лезть на рожон. Он ведь и о листовках забыл. Не было в его поведении разумного, твердого расчета.

— Зато красиво, — восхищались другие. — Посадил в галошу и немцев и полицаев!

Помню, крепко попало от Попудренко Санину — отделенному командиру, а в прошлом работнику милиции.

— Я бы, — заявил Санин внушительно, — на месте руководства приказом вытравил такие разлагающие рассказы. Прекратить надо, товарищи. Полное отсутствие сознательности и дисциплины в действии...

— Давай, давай! — крикнул ему Попудренко. — Продолжай, обосновывай!

Санин не понял, что в словах Николая Никитича был вызов. Напротив, решил верно, что тот его поддерживает. И с еще большей важностью произнес:

— Этот старик просто, как это выразиться...

Попудренко не сдержался:

— Ты мысли выкладывай, а не выражайся. Выражаться каждый из нас умеет. Ты что скажешь? Что старик неорганизованный, политически неграмотный, что надо бы ему действовать втихомолку и он бы тогда прожил до ста лет. А что ж ему делать, когда он лекции читать не умеет! Понимаешь ли ты, что плевков в фашистскую морду при большом стечении народа тоже воспитательная работа?

Санин поднялся, взмахнул рукой, но сдержал себя и медленно пошел от костра.

— Нет, — крикнул ему Попудренко, — вернись! Ты со мной спорь, имей мужество продолжать.

— Я с вами спорить на людях не имею права, — хмуро сказал Санин. — Я человек политически грамотный и дисциплинированный.

— А я тебе разрешаю, я тебе приказываю спорить! — воскликнул Попудренко. — А не можешь спорить, так слушай. И заруби себе на носу, что презрение к смерти, что гибель за правду на глазах у народа очень многого стоит. И ум для этого тоже необходим. А что старик Мефодьевич был умен, что жизнь свою отдал прекрасно, это факт. Он, может, всю жизнь шуткой промышлял среди народа. А погиб героем. И то, что рассказываем мы о нем, это значит, что вписал он себя в историю.

У костра было много народу. От других костров бежали сюда бойцы, чтобы послушать. Попудренко не умел говорить тихо и пресно. Он любил вызвать спор. И я видел, что Дружинину не терпится, Яременко тоже вот-вот вступит в разговор.

Но в этот момент мы услышали крик дежурного:

— Воздух!

Гул вражеских самолетов приближался к селу. Мы раскидали костры.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

БОЛЬШОЙ ОТРЯД

Наш отряд был несколько раз на краю гибели. Не то, чтобы отдельные группы, взвод, рота; нет — все погибли бы. Потому что сдаваться мы бы не стали.

И каждый раз, когда это случалось, то есть когда мы были на волосок

от полного разгрома, спасало нас не чудо и не слабость противника. Нас выручали сплоченность, народная сметка, мастерство командиров, массовый героизм, сознательная дисциплина — все то, что двумя словами называется: большевистская организованность.

В первый раз, читатель уже знает, черниговские отряды находились в отчаянном положении в конце ноября 1941 года. И виной тому была не столько действительная угроза военного разгрома, сколько организационная слабость, неуверенность в своих силах. Обком соединил тогда мелкие отряды в один крупный и повел его в наступление.

Второе, куда более серьезное, испытание началось теперь и длилось три месяца: февраль, март и апрель.

Началось это второе испытание почти непосредственно после радостных дней. Мы хорошо, прямо-таки уютно устроились в селах Майбутня, Ласочки, Журавлева Буда. Мы совершали отсюда удачные набеги на соседние полицейские гарнизоны. Нам удалось связаться с Большой Землей, подвести итоги нашей деятельности и передать их Центральному Комитету партии. Нам обещали прислать самолеты с дополнительным вооружением.

Мы, безусловно, окрепли. Бойцы обстрелялись, прошли хороший практический курс партизанской войны. Важно было, что многие оторвались от своих родных сел, от насиженных мест, от семей: солдат лучше воюет, когда жена и дети от него подальше. Командиры наши накопили серьезный опыт.

Плохие командиры, назначенные до оккупации в соответствии с занимаемым до войны положением, отсеялись. А те, кто к этому времени сохранили у нас командные посты, почти все хорошо воевали. Пять месяцев не продали даром даже для Бессараба.

И вот тут-то немцы стали нас теснить. Совершили несколько бомбардировочных налетов на села, в которых мы дислоцировались. Обстреляли тяжелой артиллерией.

После трезвых размышлений штаб принял решение уйти всем отрядом из населенных пунктов в лес. Было, впрочем, немало охотников остаться в селах. Действительно, покидать теплые хаты в тридцатиградусный мороз, лезть в снежные сугробы... Нашлись товарищи, которые свое желание остаться пытались оправдать теорией, что мы, мол, не имеем права покидать без боя села, где так долго стояли. Что мы должны защищаться сами и защищать население до последнего. Уходя, мы подводим стариков, женщин и детей под удар врага.

Это, разумеется, было по меньшей мере несерьезно. При таком

соотношении сил укрепляться в открытых со всех сторон населенных пунктах значило подвергнуть и себя и жителей риску полного уничтожения.

Мы погрузились в сани и двинулись за сорок с лишним километров — в Елинские леса. Выбрали участок, где до того некоторое время стоял отряд нашего нового товарища — Ворожеева. По его словам, и землянки в тех местах сохранились. Правда, наши разведчики внесли существенную поправку: не землянки, а всего лишь одна большая, плохо покрытая траншея. Но и это лучше, чем ничего. А главное, густой лес с преобладанием ели — с воздуха трудно заметить, да и на земле не легко нас оттуда будет выбить.

Коней мы пустили рысью, временами и галопом. Так, с ветерком, проехали километров двадцать. Командирам еще ничего. У них тулупы или уж, во всяком случае, хорошие кожушки и валенки. Раненых мы тоже укрыли надежно. Однако рядовые бойцы не все были тепло одеты. Кое-кто в рваных сапогах, в ботинках с обмотками. Многие соскакивали и бежали по дороге, держась за сани. Скорость пришлось поубавить. Некоторые стали просить остановиться на часок, развести костры, погреться. Но вдруг обстоятельства переменялись, так что мы согрелись без костра.

На опушке леса нам перекрыли дорогу немцы. Они хорошо замаскировались, и наша разведка подкачала — не обнаружила их вовремя. Немцы воспользовались партизанской тактикой. Напали на колонну из леса и внезапно.

Тактика эта была для них, видно, непривычной или в русском лесу чувствовали они себя неважно: огонь открыли на две-три минуты раньше, чем следовало. И еще одного немцы не учли: мороз так разозлил наших ребят, что они не только не испугались, а даже обрадовались возможности подраться.

Впрочем, быть может, не только мороз нам помог, но еще и то, что пока мы стояли в селах, Рванов не терял времени даром. Каждый день он требовал от командиров рот, чтобы те занимались боевой подготовкой.

Я сам поразился молниеносности нашего ответа. Внезапность немцам не помогла. Никто у нас не растерялся. Командиры давали четкие приказания. Бойцы рассыпались в цепь. И не позднее как через две минуты мы ответили пулеметным и автоматным огнем такой плотности и прицельности, что немцы сразу бросились наутек. И тут мы обнаружили, что было их никак не меньше двух рот.

Бой длился всего десять минут. Возбужденные, веселые, гордые успехом двинулись мы дальше. Ехали еще несколько часов. Когда свернули

с дороги в лес и стали путаться между деревьями в глубоком снегу, бойцы соскочили с саней: надо было помогать коням. И люди и лошади порой проваливались в рыхлый нетронутый снег по шею.

К месту новой дислокации мы добрались часам к трем. Хорошо еще, что выдалась лунная ночь. Впрочем, не очень нам помогал и свет луны. В этом месте росли старые ели. Их большие заснеженные лапы затеняли почти все пространство.

Нашли заброшенную землянку отряда Ворожеева. Отряд жил здесь больше месяца тому назад. Вход пришлось откапывать. А откопали, вошли — длинная, грязная траншея. Ни столов, ни скамей. Перед уходом они все, оказывается, сожгли. А главное, печь развалена. Хорошо, у нас были свои печники. Гриша Булаш уже через час затопил, а еще через полчаса в землянке было жарко. Но, пожалуй, не столько от огня, сколько от перенаселенности.

Землянка была рассчитана человек на пятьдесят, а у нас одних только лежащих раненых и больных насчитывалось сорок пять. Несколько бойцов обморозилось в пути. Их тоже надо было поскорее отогреть. И начальство, и медико-санитарные работники, и наиболее энергичные любители тепла набили землянку так, что пришлось кое-кого попросить удалиться.

Мороз, между прочим, партизану не союзник. Может, и удерживал он немцев от наступления, но мы от него страдали куда сильнее. А в тот раз мороз повел такое наступление на нас, что нужно было крепко держать дисциплину.

Теперь, когда вспоминаешь эти несколько дней и ночей тяжелой борьбы со снежной стихией, кажутся они почему-то очень бодрыми, почти что и веселыми. Человеческая память охотно выталкивает драматические эпизоды и, напротив, сохраняет радостные и смешные.

В самом деле, когда сейчас собираются бывшие партизаны и вспоминают, как окоченевшие, голодные, злые зарывались в снег, всегда начинается хохот.

— Помнишь, как Бессараб орал? На усах сосульки, борода заиндевела, изо рта пар столбом, а он кричит. «Я, ватого, не желаю! На кой мне это сдалось? У нас в Рейментаровке замечательные остались землянки!»

— А помнишь, как Арсентий Ковтун вырыл в снегу медвежью берлогу, уплотнил ладонями, залепил вход, лег и задал храпуна? К утру его жильё припорошило, замело. Где Ковтун, куда пропал? Только по храпу его и нашли.

— А помнишь, Капранов собрал медсестер и говорит: «Кто, дивчата, заревет, спирту не получит. Держитесь, дивчата, докажите равенство с

мужчинами!»

И верно, ведь ни одна не плакала. Хотя спиртом большинство из них не интересовалось, раздавали свои порции ребятам.

Да, так вот и вспоминается всегда веселое, смешное. А положение было очень тяжелым. Лопат у нас оказалось на весь отряд лишь семь. Топоров пять, лом — один. Земля промерзла глубже чем на метр. Раскладывали костер, часа через два сдвигали его в сторону, а отогретую землю копали. Углубившись на полметра и наткнувшись на мерзлый слой, опять разжигали костер: хорошая тренировка для развития терпения.

Строительные работы могли вести далеко не все. И на заставы надо было послать людей, и в разведку, и на хозяйственные операции. И вот в этих-то условиях за неделю с небольшим мы построили шестнадцать просторных землянок. В них соорудили полати, поставили печи, сделали скамьи и столы.

Сказать по совести, в этих землянках жилось не так-то уж хорошо. Главное — тесно и темно. Освещались каганцами, заправленными воловьим жиром, жгли лучины, а то просто собирались у печного отверстия и в часы отдыха рассказывали друг другу всякие истории. Но даже в самые лютые морозы от костров не отказывались. И хоть ночевали в землянках, вечерами большей частью гуторили у костров.

Здесь, в Елинских лесах, записанных в нашей истории как «Второй Лесоград», мы партизанили до конца марта. Зима, все это помнят, выдалась суровой. Мороз даже до двадцати градусов спадал редко! Мы радовались таким дням. Термометра у нас не было, определяли, что называется, на глазок. Был, правда, у нас один дед, но жил он с нами недолго. Его все звали градусником. Думаю, что настоящего уличного термометра он в жизни своей не видал и о градусах имел весьма приблизительное представление. Но если спрашивали, он, не задумываясь, отвечал:

— 24 градуса.

— Как же ты, старик, определяешь?

— Да по тому, за что мороз хватает. Уши у меня двадцатиградусные, нос при двадцати трех начинает мерзнуть, а когда большой палец правой ноги закрутит, значит, за тридцать перевалило.

Тянулась эта зима мучительно долго. На Черниговшине не редки затяжные, снежные зимы, но такой на моей памяти не было. Если бы только морозы и снег. Тут опять, хочешь не хочешь, сравниваешь положение партизана и солдата. Не спорю, в ту зиму бойцам и командирам Красной Армия тоже пришлось хлебнуть горя, тоже натерпелись. И мерзли, и, случалось, неважно питались, и, конечно, уставали от больших

переходов.

У партизан ко всем этим лишениям прибавлялась еще унижительная бытовая бедность. Ведь куда ни сунься, за что ни возьмись — все достается с огромным трудом. Я уже рассказал, как мы строились, обходясь несколькими топорами. Но я забыл сказать, что гвоздей у нас и вовсе не было. Двери землянок продалбливали по краю и вешали на сыромятные ременные петли.

Нам не хватало ведер. Что ни день, приходилось разбирать споры о том, какому отделению принадлежит ведро. Кружка, ложка, кастрюля — все это надо где-то разыскать, помнить в горячке боя, что с немца следует снять не только автомат, сапоги и шинель, но хорошо бы прихватить спички, и нож, и ложку, и походный фонарь.

Умывались мы снегом и большей частью без мыла. Стирка белья была одной из самых мучительных операций. Стирать на морозе, сами понимаете, невозможно. Стирать в землянке, где сидят друг у друга на головах, где и так-то дышать нечем, тоже не лучше. Построили баню-прачечную. Но долго не могли найти ни котла, ни корыта, ни шаяк для мытья. Шайками стали служить немецкие шлемы, корыта выдолбили из толстых бревен, котел сделали из железной бензиновой бочки. А сколько на это ушло времени и труда!

Очень туго приходилось нашим женщинам и девушкам. Надо сознаться, не все и не всегда у нас понимали и хотели понимать их особое женское положение. Возвращаются бойцы с операции. Ребята идут отдыхать, а девушки, бедняжки, принимаются за варку пищи, за стирку. Был приказ — мужчинам обстирывать самих себя. Но ведь не за всяким приказом проследишь. Да и не любили девушки, когда в прачечной вместе с ними стирали ребята. Стеснялись. А некоторые жалели мужчин. Посмотрят, как они беспомощно тыркаются возле корыт, прогонят, скажут: «сами сделаем». А ребятам только того и надо.

Здесь, в Елинских лесах, мы узнали голод. Позднее бывало и похуже. Но длительное недоедание здесь мы переживали впервые, да еще после обильной, разнообразной пищи. Кончились запасы. Из партизанских баз мы выбрали все уже, даже соль.

Пытались некоторые товарищи возобновить всем нам знакомые разговоры, что если бы, мол, не принимали людей со стороны, могли бы дотянуть до весны. Но за это им здорово влетало от командования, и теперь они делились своими размышлениями только шепотом. Однако и шепот имел весьма неприятные последствия. У нас появились первые дезертиры. Пришлось приказом предупредить, что дезертирство будет караться так же,

как в армии, расстрелом.

Жители окрестных сел и тут не отказывали нам в поддержке. Так, например, крестьяне села Елино отдали нам все, что имели, — скот, и запасы картофеля, и лишнюю одежду. Героическое село! Самое единодушное из всех, какие мне пришлось наблюдать. Из Елина немцы не получили ни одного килограмма зерна. Из Елина в полицию не пошло ни одного человека. Когда немцы сожгли Елино, женщины, дети, старики — все ушли с нами. Часть из них, те, кто физически не мог воевать, впоследствии устроилась в других селах. А боеспособные мужчины и женщины партизанили до прихода Красной Армии.

В Елинском лесу наш отряд вырос за месяц до девятисот человек, главным образом за счет жителей Елина.

Крестьяне окружавших нас сел тоже поддерживали нас, как могли. Но немцы их так обобрали, что жители питались исключительно картошкой. Картошка пока была. Картошкой они с нами не прочь бы и поделиться. Но передать ее в отряд стало делом чрезвычайно трудным. Елино близко примыкало к лесу. Немцы совершали на него налеты, но в нем не было немецкого гарнизона. А в Турье, Глубоком Роге, Гуте Студенецкой и других селах, расположенных в радиусе двадцати-шестидесяти километров, они сосредоточили в общей сложности до трех дивизий.

В Ивановке стоял батальон мадьяр, в Софиевке — сильный наряд полиции. Причем полиция эта была завербована в дальних районах. Это было сделано с той целью, чтобы затруднить населению всякую связь с полицейскими.

На этот раз кольцо оккупационных войск окружило лес довольно плотно. Все опушки патрулировались. Продовольствие мы добывали только боем. Чтобы достать два мешка картошки, приходилось иногда терять трех, а то и четырех человек. Проводить большую, серьезную операцию, налет на гарнизон только с той целью, чтобы добыть продовольствие, было, по военным соображениям, нецелесообразно. Поэтому мы предпочитали отправлять засады на дороги, чтобы завладеть продовольственными обозами немцев. Но лесными дорогами немцы ездить остерегались.

Прокормить девятьсот человек непросто. Аппетит у всех — только дай. Работали много, и все на морозе. Расход энергии огромный. В таких условиях даже самый щуплый боец легко справляется с килограммом хлеба, а дай ему столько же вареной конины, он и ее съест. Все реже перепадали нам овощи. Молока и масла мы и совсем не видели. А так как лошадей тоже нечем было кормить, мы стали питаться преимущественно

кониной.

В эти дни наш фармацевт, Зелик Абрамович Иосилевич, начал готовить настой из хвои. Я отдал приказ — пить его всем обязательно. От цынги только этим и спасались.

Настой из хвои был единственным лекарством, запасы которого никогда не истощались. Через несколько месяцев, когда сошел снег, Зелик Абрамович начал собирать травы, варить их, настаивать на спирту. А пока болеть просто не рекомендовалось.

И ведь болели действительно редко. Даже застарелые язвы желудка не давали себя знать. А такие распространенные болезни, как грипп, малярия, ангина, почти никогда не трогали партизан. Я, к примеру, до войны (и теперь — после нее) то и дело болел ангиной. А в лесу — ни одного приступа. И это характерно не только для нашего отряда. Закалка, стерильный воздух — вот что оберегало партизан от инфекционных болезней. Подобно полярникам, страдали мы чаще всего от ревматизма, цынги, пеллагры, фурункулеза и зубной боли.

Ох, уж эта зубная боль! Я не говорю лечить — вырвать зуб было нечем. Я как-то пять суток не мог заснуть ни на секунду. Началось воспаление надкостницы, вообще черт знает что. Ходили возле меня и наш фельдшер, и фармацевт, и лекари-любители из бойцов. Всякую дрянь совали мне в рот. Спас меня бывший директор судоремонтных мастерских, наш оружейный мастер Георгий Иванович Горобец. Спасибо ему — догадался пустить в ход кузнечные клещи. Вырвал подряд два зуба, после чего я почти мгновенно уснул и проснулся через сутки обновленным, свежим и бодрым.

Горобец очень много сделал для наших больных и раненых. Когда появилась угроза сыпного тифа, он сконструировал из бензиновой бочки аппарат для пропарки белья. Это дало возможность в два дня провести санобработку поголовно всех бойцов и командиров: предупредить эпидемию.

Был Горобец и плотником, и столяром, и механиком. При участии нескольких партизан разобрал и вывез из Елина просторную хату, поставил ее среди наших землянок. В этом единственном настоящем доме устроили госпиталь. Забота о раненых вообще была у нас на первом месте. Отдельные койки, постельное белье, усиленное питание. Но этого, к сожалению, было недостаточно. У нас не было в то время хирурга и даже инструментов, чтобы произвести простейшую операцию.

Вот случай, о котором можно рассказывать как о примере беспредельного мужества, железной выдержки. Боец Григорий Масалыка

подорвал на дороге автобус, уничтожил тридцать немецких офицеров. Но один из них, недобитый, ранил Масальку выстрелом из пистолета. Перебил ему кость левой руки. Масалька почему-то не обратился вовремя в госпиталь. Продолжал ходить на подрывные работы с больной рукой. Недели через две, когда рука почернела до локтя, он пришел к фельдшеру.

Спасти его могла только ампутация. Надо было перепилить кость, но вот вопрос — чем? Горобец узнал, что в Ивановке есть кузница. Пробрался ночью в это местечко, упросил кузнеца дать ему ножовку для резки металла. Она оказалась ржавой. Ее вычистили золой, прокипятили и, конечно, без всякой анестезии отпилили парню руку. Пилили по очереди — фельдшер, механик, а когда раненому стало невтерпеж, он сам взял ножовку и в несколько взмахов закончил операцию. Я присутствовал при ней. Масалька морщился, вздыхал, изредка стонал, но ни разу не вскрикнул. Культяпку ему зашил фельдшер. Через две недели Масалька уже принимал участие в боях.

Случай этот можно считать примером мужества. Однако лучше было бы, чтобы такие примеры больше не повторялись. Если боец уверен, что в случае ранения его будет лечить квалифицированный врач, а у врача найдется все необходимое для операции, он и воюет смелее.

Бои, участие в диверсионных актах, огромные переходы, голод, холод, теснота, ежедневное барахтанье в глубоком снегу — все это, разумеется, закаляет человека. Но радости такая жизнь не доставляет. Немного вы найдете людей, которые назовут годы партизанской борьбы счастливыми годами своей жизни. Мы, конечно, радовались своим удачам, искренно торжествовали, когда нам удавалось как следует насолить врагу. Но все мы, или почти все, мечтали о скорейшем окончании войны, ждали со страстным нетерпением перелома, начала большого наступления Красной Армии.

* * *

Люди, окруженные в лесу, вынужденные питаться и одеваться почти исключительно за счет трофеев, рискуют не только жизнью. Их подстерегает опасность не менее страшная — опасность разложения. Относится это прежде всего к людям слабой воли, неустойчивой морали, плохого или недостаточного политического воспитания.

Настала пора, когда партизаны, заранее отобранные, оставленные партией в тылу врага, оказались в меньшинстве. Окруженцы, бежавшие пленные, крестьяне ближних сел — вот из кого в основном состояли теперь наши подразделения. И пришельцы вовсе не были инертной массой. Из них выдвинулись превосходные бойцы, разведчики, диверсанты, выдвинулись и

командиры прекрасных боевых качеств. Но не о них я хочу сейчас рассказать.

Среди бежавших пленных был разный народ. Некоторые сдались немцам добровольно. А когда узнали, чего стоят все немецкие посулы, покормили вшей в лагерях, наелись в досталь зуботычин, их обуяло раскаяние. Они бежали. Они стали партизанами. Не всегда от них удавалось узнать всю правду. И уж, конечно, редко кто признавался, что в плен к немцам пошел по доброй воле.

Такой человек и в партизаны пошел только потому, что другого выхода у него не было. Обратного к немцам он не стремился, но и против них боролся не очень-то активно.

Из окруженцев попадали к нам и «приймаки». Это были отставшие по тем или иным причинам от армии и принятые одинокими крестьянками. Попадались среди них и хорошие ребята: был ранен, его приютили, а когда поправился, партизанского отряда сразу не нашел. Но лишь только представился случай он хозяйство побоку и воевать. Но встречались и такие: он и рад бы до конца войны отсидеться за женской юбкой, да немцы мобилизуют или на работу в Германию, или в полицию. Пораскинет мозгами такой дядя и делает для себя вывод, что выгоднее все же податься в партизаны.

Начали к нам прибывать и раскаявшиеся полицейские. Мы их и сами звали, подбрасывали им листовки. Писали, что если не оставит полицию, — убьем, как собаку. Такие, впрочем, когда попадали в отряд, долго ходили под особым наблюдением. Не агентов, конечно, к ним приставляли. Просто все товарищи внимательно приглядывались к ним.

К несчастью, и некоторые другие партизаны были подвержены разложению.

Наша беда состояла в том, что необходимость заставляла нас не только брать те трофеи, которые доставались в бою, но специально охотиться за трофеями. Одно дело — подорвать эшелон, сделать засаду на группу немецких автомашин для того, чтобы уничтожить врага, другое — произвести такую же операцию, но в целях получения добычи.

Партизан идет воевать не для того, чтобы обогатиться, и не для того, чтобы одеть себя и накормить. Он — ратник народного дела, мститель народный. Было бы просто замечательно, если бы партизаны снабжались так же, как армия. Но это исключено.

Между прочим, нелегко товарищи привыкали, к тому, что одеваться и обуваться приходилось во все немецкое и мадьярское. Позднее, когда самолеты стали подбрасывать нашу русскую одежду, с какой радостью

освобождались партизаны от зеленых мундиров и штанов, с каким ожесточением втапывали их в грязь или бросали в костры!

В то время, о котором я сейчас рассказывай, самолеты еще не прилетали. Мы жили полностью за счет немцев. Захватив продовольственный обоз, мы считали, что выиграли бой. И это верно — противнику нанесен урон, а мы получили оружие, одежду, муку и другие необходимые нам предметы. Значит, мы стали сильнее.

Основная масса бойцов понимала, что это не грабеж, а война. Но попадались и такие, которых больше, чем бой, увлекал процесс изъятия ценностей. А такое увлечение особенно опасно, когда операция проводится в населенном пункте. Отобрать продовольствие, одежду в доме полицая или старосты — значит, взять трофеи. Отнять хотя бы кринку молока у честного крестьянина — это гнусный разбой. Он должен караться беспощадно и публично. И для того, чтобы другим неповадно было, и для того, чтобы население видело, что партизаны — люди честные.

Неприятно об этом вспоминать, но были случаи, когда кое-кто из наших бойцов уводил с крестьянского двора кабанчика или телка. Впервые мы встретились с таким явлением в феврале 1942 года. Но совсем плохо, когда у этих воришек нашлись адвокаты. «Что, мол, особенного, — говорили такие защитники, — ребята голодают. Если не они, так все равно немцы отберут».

В этом «все равно» главная опасность и состояла. Проповедывал такую беспринципную линию один из друзей Бессараба — Ян Полянский. Он командовал взводом. И как-то раз боец его взвода стащил у старухи поросенка. Он не сам его съел, поделился с товарищами. Я потребовал назвать виновного. Товарищи из ложной солидарности решили покрыть преступление. Вызвал я самого командира.

— Снимайте меня с должности, наказывайте, как хотите, — не окажу!

Сняли его с должности, сделали рядовым бойцом. Но в глазах взвода он «пострадал за правду».

И только недели через две, когда самого Полянского поймали на мародерстве, тогда и бойцы поняли, что вел он их по страшному пути.

Надо было его, конечно, расстрелять. И я уже подготовил приказ судить перед строем.

Но Полянский застрелился сам.

Пришлось нам все-таки через некоторое время двух человек из его бывшего взвода расстрелять перед строем.

Попустительство к преступлениям и беспринципность всегда ведут к перерождению.

Конечно, не расстрелы и угрозы расстрелом, а только хорошо поставленная политико-воспитательная работа могла привить бойцам отвращение и к мародерству, и к мародеру, и к тому, кто покрывает мародеров.

Обком принял решение — усилить воспитательную работу в отряде, особенно среди нового пополнения. Зимой, в глубоких снегах Елинского леса, начал еженедельно выходить печатный боевой листок «Смерть немецким оккупантам!» Не реже одного раза в декаду в каждой роте выпускали стенную газету.

Уверен, что читателю сообщение о выходе стенгазеты покажется просто мелочным. Нашел, мол, чем удивить. Да где они у нас не выходят, стенгазеты? В каждом колхозе, в чайной, в детских яслях и уж, конечно, в каждой роте Советской Армии.

Но пусть читатель представит себе на минуту, что живет он в захваченном фашистами селе, что изо дня в день надругаются над ним молодчики со свастикой на рукавах, а предатель-староста и полицейские следят за каждым его шагом, за каждым словом. Что о советской власти и ее порядках ему приказывают забыть навсегда. Но вот ему удалось бежать. Он идет в лес, к партизанам. Он мерзнет, проваливается в сугробы, прячется за каждое дерево. Наконец люди с красными лентами на шапках приводят его на утоптанную сотнями ног площадку. И на площадке этой он видит раньше всего прибитый к дереву щит с большим, раскрашенным, наполненным рисунками листок бумаги. Стенгазета. Скромный, обычный кусочек советской жизни. И сразу становится ясно — он пришел домой, на советскую землю. Значит, и порядки здесь советские — изволь их придерживать.

У нас выход первых стенгазет произвел на бойцов огромное впечатление. Да и позднее, хоть и относились к ним более спокойно, ждали выхода каждого номера с нетерпением, писали активно и очень опасались стать объектом для карикатуры.

А когда немного потеплело, у нас появилась еще и живая газета. Ее делали наши актеры, поэты и журналисты.

Это был эстрадный номер — веселый и зажигательный. Лодырям, трусам и людям, склонным поживиться на чужой счет, просто житья не стало.

* * *

Одной из главных тем наших пропагандистов и агитаторов была разница между войной империалистической, которую ведут наши враги, и войной освободительной, которую ведем мы.

Помню, в стенгазете второй роты было напечатано письмо, найденное у захваченного разведчиками немецкого офицера.

Кто-то из наших художников сделал над этим письмом жирный зеленый заголовок:

УБЕЙ ЕГО!

Заголовок относился, конечно, к фашисту вообще. Чаще всего гитлеровский солдат да в равной степени и офицер, в которого стрелял или бросал гранату партизан, был в наших глазах обезличен. «Фриц» — вот и все. Мы ненавидели каждого оккупанта. Все преступления фашизма, все ужасы, пережитые нашей Родиной и нашими близкими, и каждым из нас, мы ставили в счет тому немцу, которому посылали пулю.

Но на этот раз нам попался особый экземпляр.

Наши разведчики взяли его на шоссе Гомель — Чернигов. И хотя это был всего лишь лейтенант, да еще с интендантскими погонами, бойцы нюхом определили, что поймали птицу высокого полета.

Отличался лейтенант от обычных немецких лейтенантов и одеждой, и манерами, и еще повышенной трусостью. Мундир, брюки на нем новенькие, сшитые по заказу хорошим портным. Против правил, поверх шинели на нем была надета длиннополая меховая шуба с бобровым воротником. На полверсты несло от него духами. А под мундиром у него мы обнаружили тонкое шелковое белье с французской маркой.

Сам же он был маленького роста, жидковолосый, сорокапятилетний человек. Усики, золотые очки, застывшая улыбка. Он так хотел жить, что соглашался решительно со всем, о чем его спрашивали. То, что Гитлер мерзавец, нам обычно говорили после десяти-пятнадцати минут допроса почти все пленные немцы. А этот фрукт не заставил себя просить. Сразу объявил, что русские — молодцы. Гитлер, Геринг, Риббентроп и вся их банда давно обречены, разгром Германии неизбежен. «Поверьте мне, я знаю хорошо, я сам чувствую на себе дух растления». Он охотно отвечал на все вопросы, но так старался нам угодить, что верить ему было невозможно.

Когда же переводчик вытащил из его огромного бумажника уже запечатанное толстое письмо, адресованное в Берлин, лейтенант съежился, будто ожидая удара. Между тем, письмо его военных секретов не содержало. Лейтенант писал тестю.

Надо, между прочим, заметить, что лейтенант был взят не в бою. Он ехал в легковом автомобиле, сопровождали его какой-то штатский немец и денщик. Машина соскользнула с дороги в сугроб, забуксовала в снегу. Спутники лейтенанта и шофер вылезли, чтобы вытолкнуть машину. Тут-то

их и настигли партизанские пули. Живым остался один лишь лейтенант.

По дороге к лагерю он сообщил разведчикам на довольно разборчивом русском языке, что в армии не служит. И в штабе на допросе повторил:

— Я коммерсант, представитель деловых кругов. Вам понятно? Я мирный человек. Военной должности у меня нет. Форма только для удобства передвижения по прифронтовым районам. Я представитель большой торговой фирмы. Налаживание коммерческих связей в оккупированных странах, если хотите — коммерческая разведка, — вот в чем состоит моя задача.

Напоминаю: письмо было к тестю — владельцу некой торговой фирмы. Наш пленный, видимо, тоже состоял в ней пайщиком. Он отчитывался перед шефом и главой семьи, он сообщал оккупационные новости, он делился впечатлениями, мыслями, коммерческими проектами. Но главное — был откровенен без оглядки на военную цензуру.

«После трех месяцев пребывания на Украине, — писал лейтенант, — я, наконец, понял, что в этой стране многолетний человеческий и мой профессиональный опыт не имеет никакого значения. Это признают все думающие люди. Офицеры тоже. Я говорю об офицерах наци, современных людях, понимающих, что война и личная выгода неотделимы.

Отсутствие комфорта — первое, что меня поразило. В больших городах, в частности в столице Украины — Киеве, я останавливался в первоклассных отелях. Там я нашел приличные, хорошо меблированные номера. В них есть ковры, люстры, дорогая посуда. Но комфорт делают люди. В этой стране богатый человек может придти в отчаяние. Здесь нет людей, делающих комфорт, здесь нет вышколенной прислуги. Во Франции и у нас, в Берлине, лучшие лакеи — русские белоэмигранты. Те из них, которых наша армия взяла с собой, используются не по назначению.

Здесь все абсурдно. Чтобы разобраться в происходящем, надо ходить на руках. Во Франции, в Бельгии, в Польше через два дня после того, как проходила армия, можно было найти деловых людей. Умных, рассторопных коммерсантов, понимающих, что время не терпит и капитал не должен лежать без движения. Француз, бельгиец, норвежец, поляк может быть в душе патриотом и ненавидеть меня как немца. Но если он торговец или фабрикант, или банкир, или даже просто чиновник, — с ним всегда можно найти общий язык.

Я нужен ему так же, как и он мне. Я предлагаю партию крестьянской галантереи. Я забочусь о продвижении по железной дороге. Я спрашиваю, что вы можете предложить нашей фирме. Он предлагает шерсть или масло, или, наконец, как это было с нашим коллегой в Афинах, участие в

организации публичных домов для солдат.

В России мне ничего не предлагают. Я не нахожу коммерсантов, я не нахожу фабрикантов и даже чиновников, имеющих коммерческие связи. Я не могу продать нашу крестьянскую галантерею. Нет контрагентов. Это неслыханно! Я не нашел ни одного русского оптовика, ни одного человека с капиталом. За три месяца я не встретился ни с одним порядочным русским таким, которому фирма могла бы открыть кредит. Русская или, как ее здесь считают нужным называть, украинская администрация, то есть люди, которых наши военные привлекли к участию в управлении, — о, это поголовно свиньи!

Это уголовники, это бандиты, вернувшиеся из ссылки, освобожденные из тюрем. Все или почти все они говорят, что были в прошлом богатыми людьми. Некоторые называют себя дворянами. Только самые старые из них умеют откусить кончик сигары. Остальные сразу суют ее в рот, и я всегда потешаюсь, когда они не могут прикурить. Ни один из них не в состоянии принять порядочного человека у себя в доме. У них нет домов. Это голодная братия, это алкоголики на восемьдесят процентов. От них дурно пахнет, они носят бумажное белье и нитяные носки».

Лейтенант-коммерсант писал своему тестю еще довольно много о разного рода предателях от сельского старосты до претендента на губернаторский пост. Он высмеивал их зло, со знанием предмета. Вряд ли понимая, что делает, он давал социальные, к л а с с о в ы е оценки той обстановки, с которой встретился в оккупированных районах нашей страны. Его наблюдения давали и тестю — немецкому буржую — и руководителям его партии обильный материал для весьма печальных выводов. А мы неожиданно получили косвенное подтверждение удивительной силы сопротивления нашего строя. Силы, вытекающей из колоссальных экономических и социальных преобразований, происшедших за двадцать четыре года строительства социализма.

Лейтенант писал о потугах гебитскомиссаров наладить сельскохозяйственное производство, подготовиться к весеннему севу, организовать систематический поток продуктов в фатерланд. Он, этот лейтенант-коммерсант, встречался с десятками ландвиршафтсфюреров, крайсландвиртов и так далее. Он встречался с «помещиками» и кулаками, возвращенными немцами на землю. Выводы он делал печальные:

«Мы завели картотеки в гебитскомендатуре. Это, может быть, очень хорошо. Будет порядок. Все берется на учет: дома, коровы, полуразрушенные тракторы, мальчики и девочки, гуси и куры. Но ведь ничего нет здесь постоянного. Дома горят, старухи и дети умирают с голоду

или под нашими бомбами. Вы спросите: почему в сотнях километров от фронта взрываются наши бомбы? Поверьте, что это необходимо. Эти села служат прекрасными прицельными объектами для нашей авиационной молодежи. А чем больше будет уничтожено этих рассадников сопротивления, тем лучше. Гусей, кур, поросят с каждым днем тоже становится меньше. Их едят наши офицеры и солдаты, и чиновники; я тоже ем их каждый день. Коров армия забирает на мясо. Население их режет, чтобы нам не досталось, и отдает партизанам. Вот видите — учет летит к дьяволу.

При всем уважении к порядку, у меня достаточно широкий взгляд, чтобы не очень огорчаться плохим учетом. С этим недостатком можно вести борьбу административными средствами. И через год наладилось бы воспроизводство. Но ничего не выйдет, абсолютно. Вы уже знаете, почему Розенберг отказался ввести капиталистические порядки в украинской и белорусской деревнях. Мы же сперва обещали раздать землю. Мы во всех листовках писали, что дадим землю каждому крестьянину. Этого нельзя делать. Нет крупных частных держателей хлеба, скота, птицы. Нет помещика, нет богатого фермера, по-здешнему кулака. Вообразите, какой чудовищный, громоздкий, неповоротливый заготовительный аппарат должна содержать империя, чтобы взять хлеб у миллионов мельчайших хозяев! И вот — оставлены колхозы. Изменено только название. В селе по-прежнему коллективный труд, следовательно, повседневное общение масс, партизанская агитация».

«О, эти партизаны! — писал он в другом месте. — Вы спрашиваете: неужели их до сих пор не усмирила наша доблестная армия? Я отвечаю: их становится все больше! И не потому, что мы грабим. Мы грабим везде. Мы не можем не грабить. Зачем же пошел воевать солдат? Нет, вся беда в том, что мы ни с кем из авторитетных лиц в народе не можем сговориться. Все та же песня. В других странах мы находим общий язык с собственниками, часть своих дивидендов они отдают нам. Неправда ли — просто?

Во Франции и Бельгии, в Нидерландах и Скандинавии во главе правительства и бургомистратов мы держим политиков, известных обывателю. Депутаты и бывшие министры уговаривают свой народ подчиняться нам. Но вообразите, что во Франции у власти были бы коммунисты, эти политики без собственности, разве можно было бы тогда привлечь их к управлению оккупированной территорией? Разве они пошли бы на сговор с нами?

Наши оккупационные власти не нашли ни одного популярного русского, ни одного широко известного политика, который пошел бы с

нами. Депутаты и руководители партии — в подполье, в армии или во главе партизанских отрядов. Мы зовем их, мы обещаем им землю и поместья, мы обещаем им власть и богатство. Но эти люди воспитаны в презрении к собственности: их можно только уничтожать!

Я смотрю в будущее и невольно обращаюсь в прошлое. Англичанам в Индии, голландцам в Индонезии, американцам на Филиппинах — никому не приходилось встречаться с такими проблемами, какие выпадут на долю моих соотечественников после войны. Торговать с русскими, колонизировать русских? Это утопия. Есть только один путь: истреблять. Пусть несколько десятков русских останутся в заповедниках. Пусть все произойдет, как в Америке с индейцами. Это лучшее решение вопроса».

Письмо было длинным. В стенгазете поместили только выдержки из него. Семейные нежности, приветы, лирические отклонения редакция, разумеется, вычеркнула. В конце лейтенант со злорадством писал:

«Наш Отто и муж Марты погибли в страшных мучениях в снегах Подмосковья. Я сейчас под другим древним городом русских — Черниговом. Сразу же после рождества войска генерала Фишера начали операцию по безжалостному истреблению здешних партизан. Вот уже две недели, как их главные силы вместе с большевиками-руководителями окружены в лесах. За это время не было ни дня, когда мороз был бы меньше тридцати градусов. Генерал сказал мне, что костры только затягивают агонию. Он уверял меня, что у черниговских партизан не осталось и тысячи человек без отмороженных рук или ног. «Я очень рад, — сказал генерал, — что они не сдаются. Мне пришлось бы тратить на них боеприпасы, а потом зарывать их тела. Земля слишком тверда, много работы нашим солдатам. В лесу они сами хоронят своих замерзших».

«О, я много бы дал, — такими были последние строки письма лейтенанта, — чтобы посмотреть, что делают в снегах эти обреченные!!!»

И он действительно пытался «много дать». Этот представитель деловых кругов предлагал выкуп за освобождение. Он уверял, что тесть его в близких, чуть ли не в родственных отношениях с крупными.

Через полчаса после расстрела лейтенанта-коммерсанта вернулась из дальней разведочной операции группа наших бойцов. Разведку они вели по заданию Юго-Западного фронта. Теперь почти ежедневно мы передавали по радио данные о продвижении войск противника, о строительстве немецких аэродромов и многое другое.

Во главе вернувшейся группы был Семен Ефимович Газинский. Он рассказал, что на обратном пути, скрываясь от преследования, они забрались в гущу леса, но разжечь костер не могли, боялись привлечь

внимание.

— На мне ботинки, — рассказал Газинский, — а мороз страшный. Просидели ночь под сосенкой. Я вскочил, стал прыгать на одном месте. Попросил ребят. «Считайте до тысячи, я, может быть, отогреюсь».

А потом опять лег. Стал засыпать. И помню, повторялся один и тот же сон. Будто я в хорошей квартире с обоями, посредине ореховый стол и жена ставит на него для меня стакан крепкого чаю. Слышу вдруг кричит меньшей сын, что я замерзаю. А это мой товарищ Нургели Есентимиров кричит: «Товарищ политрук, снимите ботинки!» Я ничего не понял. Тогда он сам снял с меня ботинки, расстегнул свою шинель, поднял рубашку и на свой голый живот положил мои ноги. Так он спас меня.

Казах Есентимиров стоял тут же и посмеивался. Это был бесстрашный воин, глубоко ненавидевший фашистов. Мы передали ему содержание письма лейтенанта, и спросили, что он об этом думает. Постояв минуту молча, он ответил:

— Наш народ помнит хромого Тимура, и Чингизхана тоже помнит наш народ. Много крови помнит наш народ и мало счастья. Аксакалы говорят: «Быстро шагаешь — штаны сломаешь». Ты спрашиваешь, начальник, что думает Нургели о фашисте? Нет души у него, а есть руки, как у бая, — давай, давай! Хочет отнять у нас фашист советский закон, хочет стать баем надо мной, так пускай жрет землю! Зачем мне бай? Правильно, начальник?

Мы с ним согласились. Потому что это было действительно правильно.

* * *

Вскоре нам сообщили из Москвы, что пришлют самолет с людьми, вооружением и рацией. Надо было строить аэродром. Условные обозначения, систему сигналов — все это нам сообщили, но не могли, конечно, преподать нам по радио, шифром, науку строительства аэродромов.

Нужна гладкая площадка — это всем ясно. Ясно также, что следует подготовить ее скрытно от врага, значит, подальше от населенных пунктов. Но кроме этих ясных сторон, были и темные. Какой величины должна быть площадка? Не мешают ли подходам деревья? Как выложить посадочный знак? Можно ли принимать на рыхлый снег? Да мало ли специальных условий, о которых мы и не могли догадаться.

Тогда вспомнили, что на попечении фельдшера Емельянова, в госпитале, есть у нас специалист. Самый заправский пилот, да еще командир корабля. Беда только в том, что он уже пять месяцев не может ходить.

История командира тяжелого бомбардировщика Володина и трех членов экипажа была удивительной. Их называли у нас людьми, упавшими с неба.

Еще до моего прихода в областной отряд, недели через две после занятия этих мест немцами, а точнее — 3 октября 1941 года, в 16 часов, партизаны Перелюбского отряда заметили, что в сторону Гомеля пролетели три больших самолета со звездами на крыльях. Дежурный, волнуясь, доложил командиру:

— Товарищ Балабай, наши летят!

Давно уже не видели партизаны советских самолетов. Они провожали их восторженными взглядами, кричали, махали шапками, хотя, конечно, понимали, что летчики их не видят.

Балабай собирался в ближнее село, там был намечен митинг. Сейчас он расскажет колхозникам последнюю новость: немцы брешут, что уничтожили советскую авиацию. Только что пролетели наши бомбардировщики!

Командир отряда уже сел на коня, когда в воздухе опять появились наши самолеты. Теперь они шли назад. Но их было только два. А минут через пять над лагерем, не выше двухсот метров, пролетел и третий наш бомбардировщик. Правое крыло его тянуло вниз. Партизаны заметили, что один из моторов не работает.

До линии фронта было никак не меньше полутора километра.

— Дотянет или не дотянет? — задавали себе вопрос партизаны.

Самолет скрылся из виду. Партизаны разошлись по своим делам. Балабай со своим комиссаром поехали на митинг.

Но их догнали. Встревоженные вестники сообщили: километрах в пятнадцати, в стороне села Погорельцы, самолет упал.

Конечно, митинг был отменен. Балабай, а с ним человек десять верхами поскакали к Погорельцам. На окраине села, недалеко от церкви, уткнулся в землю большой двухмоторный самолет. Оба крыла, ударившись о деревья, вырвались из тела фюзеляжа.

Фюзеляж лопнул по всей длине, и, как внутренности из вспоротого брюха, на траву вывалились белые свертки. От них то и дело отрывались и улетали квадратные листки бумаги.

Мальчишки их загребали охапками. Это были, конечно, советские листовки. Кто-то из ребят пытался открыть дверцу, но в этом не было нужды — можно было проникнуть в кабину и через щель.

Партизаны немедленно организовали охрану. Фельдшер Емельянов полез внутрь. Но летчиков там уже не было. Оказывается, крестьяне

отвезли их в сельскую больницу. Оттуда вернулся связной и рассказал:

— Крови, крови! У двух головы побиты, а у старшего ноги, как плети. Один только ходит. Но вроде чумной, кричит, головой крутит, глаза мертвые, як те пуговицы... Четвертый только зубами скрежещет... Ох, страшно! Доктора немає, а сестры забегались, и все, як одна, трусятя...

В селе у больницы стояла толпа. Балабай спросил:

— Немцы далеко?

— Подъехала машина, да только им сказали, что тут партизаны, — они мигом развернулись и обратно.

Старичок-фельдшер доложил Балабаю, что положение командира корабля очень тяжелое:

— Перелом обеих ног, глубокие ссадины на голове. Уже сорок минут не приходит в сознание. Его товарищ тоже без сознания: поврежден позвоночник.

Какой-то молодой парень в крестьянской одежде, увидев Балабая, вытянулся перед ним. Балабай был в форме офицера Красной Армии, только без знаков различия.

— Позвольте обратиться, товарищ командир! — Получив разрешение, он умоляющим голосом произнес: — Увезите нас, товарищ командир, в лес. Не бросайте. Смотрите — ребята пропадают.

— Кого это вас? Вы-то кто тут?

Парень опять вытянулся, приложил руку к шапке и отрапортовал:

— Стрелок-радист Максимов.

— Почему же вы, товарищ радист, не в форме?

Парень оглядел себя, захлопал глазами, секунд пять молчал, потом схватил Балабая за руку и с дрожью в голосе, торопливо заговорил:

— Вы не верите мне, да? Пойдемте. Я вам покажу избу. Идемте, идемте, ну, пожалуйста, товарищ командир! Там у меня документы, все там — и одежда, и часы с надписью. Я — Максимов. Стрелок-радист!

— Успокойтесь, товарищ Максимов, и расскажите по порядку.

Но Максимов и сам не очень хорошо понимал, что с ним произошло, как попал в село и как переоделся. Сбиваясь, путаясь, он все-таки рассказал.

Как только самолет грохнулся на землю и Максимов сообразил, что жив и может двигаться, он выбрался в трещину фюзеляжа и сломя голову побежал к ближайшей хате. Он ворвался в нее и, не отвечая на вопросы хозяев, стал раздеваться. Скинул с себя все. Остался в одном белье.

— Дайте! — крикнул он хозяевам.

Он высыпал на стол часы, бумажник с деньгами и документами и

опять потребовал:

— Дайте же, дайте скорее что-нибудь! Да спасите же советского летчика, чего вы стоите?

Ему дали старые порты, шапку, разбитые сапоги, ватную телогрейку. Наскоро одевшись, он побежал обратно к самолету. Он действовал не вполне осознанно, под влиянием нервного шока.

Понемногу Максимов пришел в себя и смог уже членораздельно объяснить историю катастрофы.

— Сегодня, в 14.00, звено бомбардировщиков вылетело с аэродрома из-под Иванова. Нам был дан боевой приказ произвести бомбометание по уничтожению вражеских эшелонов на дороге Гомель — Брянск. Отбомбившись и повернув обратно, мы заметили, что правый мотор объят пламенем. Резким виражом командир корабля удалось сбить пламя. Но мотор вышел из строя. Самолет начал терять высоту. Стало ясно, что до фронта не дотянем. Командир, товарищ Володин, предложил: «Лучше давайте разобьемся, но не попадем в лапы к немцам». Мы дали согласие, Володин повел машину в лес. Но оказалось, что это сад с редкими деревьями, и мы не разбились...

В беседу вступил штурман Рагозин. Он отделался ушибами. Но ходить еще не мог.

— Товарищ командир, — спросил тихим голосом Рагозин, — а сколько людей нас охраняют? Всего три человека. Надо усилить. Распорядитесь, пожалуйста, чтобы усилили охрану.

Максимов его перебил:

— Товарищ командир, поставьте на крышу больницы пулемет, снимите с корабля. Там у нас крупнокалиберный... Поймите, ведь мы же летчики, немцы нас растерзают. И там рация на машине, возьмите рацию и сообщите...

Могло показаться, что и стрелок и штурман ужасные трусы. Но, как выяснилось, они уже двенадцатый раз вылетали на бомбежку в глубокий тыл. Их состояние объяснялось, увы, скверной информацией. Там, в советском тылу, совершенно неверно представляли себе положение на занятой немцами территории. Воображали, что здесь все кишит немцами, что нужно ежесекундно озираться, ложиться на землю, ползти. А сейчас летчики были уверены, что, не пройдет и пяти минут, в больницу обязательно ворвутся немцы.

Через час прибыл фельдшер отряда Емельянов с двумя подводами. Балабай приказал отправить всех четырех летчиков в расположение отряда. Он приказал также снять все вооружение с самолета; рация, к сожалению,

оказалась разбитой вдребезги.

Командир корабля Володин очнулся только у костра в лесу. Поняв, что находится среди советских людей, он был несказанно обрадован. Ему захотелось непременно чем-нибудь отблагодарить партизан. К нему в изголовье положили его чемодан. Превозмогая ужасную боль, Володин открыл его, Достал папиросы, шоколад и свежие московские газеты. Раздал окружающим и опять на некоторое время потерял сознание.

Двое из четырех членов экипажа через три недели выздоровели. Их переправили через линию фронта. Второй пилот Рябов уже ходил, только Володин все еще не мог подняться. Ему выделили специальные сани и лошадь. Ноги его были в гипсе уже пятый месяц.

Так, лежа, Володин выехал в феврале 1942 года на лесную поляну и руководил из своих саней всеми работами по устройству аэродрома.

А еще через два месяца Володин уже ходил, опираясь на палку. Он очень подружился с Емельяновым, называл своим спасителем. И в самом деле, наш молодой фельдшер много ночей просидел у походной койки летчика. Он спас ему жизнь, он поднял его. Но, к сожалению, не сумел правильно наложить гипс. Володин ходил несколько месяцев пятками вперед.

В ноябре 1942 года самолет отвез его в Москву. Там в госпитале искусные хирурги выправили кости ног.

В 1943 году Володин вернулся на фронт. До конца войны он совершил еще сотни боевых вылетов.

* * *

Аэродром мы построили. Вырубили десятка два деревьев, выровняли сугробы. Назначили дежурных, снабдили их флажками. Потом решили, что вряд ли самолеты появятся днем, и сделали для дежурных фонарики. Володин их забраковал и посоветовал заготовить побольше факелов.

— Это очень просто. Намотайте тряпки на палки, обмакните в мазут или керосин...

Распорядившись так, он и сам рассмеялся. Палок сколько угодно. Тряпку тоже нетрудно найти, но керосин или мазут... Все же факелы мы сделали. Несколько дней соскребывали с елей засохшую смолу, растопили ее, обмакнули палки с тряпками. Впрочем, если бы Володин сказал, что нужно достать бриллиант в двадцать пять карат или расстелить ковры по всему аэродрому, а без этого, мол, самолеты не сядут, думаю, что мы вышли бы из положения.

На определенном расстоянии друг от друга, согласно заданной нам по радио фигуре, мы расположили кучи хвороста. Разумеется, это был самый

лучший, образцово-показательный хворост, и под ним лежала самая лучшая солома, готовая вспыхнуть от искры. Но кроме того, у каждой кучи хвороста стояла кружка со спиртом, и дежурным было строго приказано, чтобы они даже глотка не смели выпить. Этим спиртом они должны были облить хворост, как только зашумят моторы самолетов, и сейчас же зажигать...

Ждали долго. Несколько ночей кряду обком и штаб в полном составе выезжали на аэродром (от нашего лагеря он располагался в пяти километрах). Снег заваливал заготовленный хворост. Потом ветер разносил кучи, потом спирт оказывался пролитым или высохшим, а самолеты все не появлялись. Шумом моторов казались нам самые разнообразные звуки. Это, впрочем, преувеличение. Не такое уж большое разнообразие звуков в зимнем лесу да еще ночью. Но при напряженном ожидании и распаленном воображении за шум приближающегося самолета может сойти ветер, качающий верхушки деревьев, разговор дежурных, тикание карманных часов и даже стук собственного сердца.

Уж на что Володин должен был хорошо разбираться в этом родном для него шуме, но и он путал. Как-то раз дал команду. И спирт был вылит, и костры запылали... Только один костер не запылал, нужной фигуры не получилось. Тут-то и выяснилось, что дежурный возле этой кучи хвороста заснул. Его храп Володин и принял за рокот авиационного мотора.

По радио нам сообщали: «Прилетят завтра, ждите». — «А почему, спрашивали мы, — не прилетели вчера?» В ответ нам снова сообщали: «Ждите, прилетят завтра». И мы понимали, что причин бывает много, не все нам надлежит знать.

В ночь на 12 февраля мы услышали ровный и очень солидный гул. И услышали его не только на самом аэродроме. В партизанском лагере подняли веселую тревогу. Раненые, даже самые тяжелые, выбрались из госпиталя, чтобы посмотреть, и все спящие, конечно, проснулись.

Мы послали самолетам навстречу несколько ракет: две зеленые, одну красную и три белые. Это означало: «Аэродром в порядке, посадка возможна». Это означало, кроме того, что если самолеты не сядут, завтра нам придется с боем доставать у немцев новые ракеты и обязательно разных цветов. Условные обозначения ведь каждый раз меняются.

Самолеты не сели. Не знаю, по какой причине. Снизились, сделали над лесом два круга, развернулись и ушли. Самолетов было три. Вернее, мы видели в небе девять ярких, быстро мигающих звездочек. Уже стал стихать шум уходящих машин, и мы уже успели разочарованно ругнуться, когда кто-то крикнул:

— Парашюты!

Ночь была морозной, безветренной. Прямо в костер довольно быстро падал какой-то человек в новых белых валенках, ватном костюме и большой меховой шапке. Он что-то кричал и махал рукой.

Потом мы увидели еще одного человека. Он подтягивался на стропах, делал отчаянные усилия, чтобы не застрять на вершине ели. Ему кричали:

— Держи правее!

Все-таки он зацепился за ветку и повис метрах в трех от земли. И этот тоже был в ватном костюме и белых валенках. Когда к нему подбежали, он сдавленным голосом спросил:

— Вы партизаны?

— Свои, друг, свои! — ответили ему.

Слышно было, как он облегченно вздохнул. Потом совсем другим тоном гаркнул:

— Ну, так снимайте ж меня, черти! Пустите к костру погреться. Самолеты не отапливаются.

Следом за людьми с неба стали спускаться ящики, свертки, мешки. Они падали с хорошей прицельностью, в радиусе двух километров. Мы подобрали этой ночью двенадцать посылок.

Оба парашютиста оказались радистами, хорошими молодыми ребятами. Впрочем, какое там хорошими! Они были ангелами в ватниках, они были чудом, и каждый норовил их похлопать по плечу или хотя бы потрогать, убедиться, что они действительно люди. Впрочем, Капралов тут же распорядился сложить парашюты, пересчитал их и, кажется, даже пронумеровал. Он огорченно качал головой, когда обнаруживал в шелке дыры. А к ящикам и мешкам запретил прикасаться без него кому бы то ни было.

Только после того, как все посылки были снесены в одно место, Капранов позволил их открывать.

Наш старый поэт Степан Шуплик той же ночью уединился на час и вернулся в самый разгар торжества со стихами. Сам он их читать не стал, а для пущего шику передал актеру Черниговской драмы Василию Хмурому. Тот забрался на самый большой ящик и, дождавшись тишины, прочитал:

Ми почули самолёт
Над сосновым гаєм,
Як зробив він поворот,
Зраділи безкраю.
У землянці навіть хворі
Позабули свої болі,

Бо велика ім охота
Глянути на самольота.
Це ж бо наш, радянський,
Изнайшов дорогу,
В табір партизанський
Привіз допомогу.
На здмлі горят огні,
А вгорі — ракети,
Самольоту ми дали
Умовні примети.
Долетів до нас близенько,
Та почав кружляти,
А спустившись низенько,
Сброю став спускати.
Протитанкові рушниці,
Всі боеприпаси,
Та ще и добрый нам гостинець
Тютюн та ковбаси.
Медикаментів нимало
Хворих лікувати.
Веселіше теперь стало
З німцем воювати.
Два товарищі спустились.
З фронту їх послали,
Вони в таборі лишились,
Все нам рассказали.

Мы получили много хороших подарков. Две новейшие рации с питанием для них, восемь ручных и три станковых пулемета. Несколько противотанковых ружей и десятков автоматов. Признаться, партизаны немного поворчали, узнав, что в общей массе посылок преобладали продовольственные и вещевые. Хотя это было трогательно. Мы ведь понимали, что наш народ там, в советском тылу, не очень-то хорошо питается. А нам прислали такие деликатесы, как настоящую копченую московскую колбасу и зернистую икру, и фруктовые консервы, и высшие сорта папирос. Лучше бы, конечно, побольше махорки. Тем более, что укладывалась она компактнее. Красивые коробки были нам просто ни к чему. Впрочем, нет. Потом нам и коробки пригодились. И, как это ни странно, в агитационных целях. Помню, как-то на марше мы заехали в село, и, когда собрались вокруг меня старики, я раскрыл перед ними новую

коробку «Казбека». Впечатление было очень велико. Я пустил коробку по рукам, и все увидели на ней кружочек с маркой «Ява, Москва».

— Вот как, значит, вы с Москвой и вправду связь имеете?

Вещественное доказательство действует на крестьян убедительнее тысячи слов.

Самыми дорогими подарками, полученными нами тогда, были пять ящиков с толом и три пачки свежих московских газет.

Они были сегодняшними. Нет, ошибаюсь, они были за 11 февраля, а распечатали мы пачку в 5 часов утра 12 февраля. Но никто в лагере эту ночь не опал, и день для нас продолжался. Это было поистине колдовством. В лесу, за тридевять земель от Москвы, свежий номер «Правды»! В Чернигове в мирное время редко мы получали в такие сроки центральные газеты. А ведь «Правда» и «Известия» печатались с матриц в Киеве. Более полугода я не читал газет, вцепился в них, как краб. Ничего не мог делать, пока не прочитал все, до объявлений включительно.

Читали все. Партизанский лагерь превратился в огромную лесную читальню. Но был отдан строжайший приказ: ни одной газеты на закурку. Триста пятьдесят экземпляров центральных газет из четырехсот, полученных нами, на следующий же день мы отправили в районы. Четырнадцать связных ушли со специальным выпуском листовок, посвященных установлению авиационной связи с фронтом, и с сильнейшим взрывчатым материалом — нашими большевистскими газетами.

А другой взрывчатый материал — тол — дал нам возможность начать подготовку серьезных диверсионных актов на железных дорогах. Мы создали специальное подразделение — взвод диверсантов. Вскоре на дорогу Гомель Брянск вышла первая группа наших подрывников.

* * *

Немцы продолжали подтягивать силы. Из Ново-Зыбкова, из Гомеля, Бахмача, из Чернигова в спешном порядке подбрасывали войска на поездах и машинах. Наши разведчики сообщили, что в Щорске, Новгород-Северске, Корюковке вновь прибывшие части долго не задерживают, дают сутки передохнуть и тотчас отправляют в села неподалеку от места нашей дислокации.

Нетрудно было догадаться, что готовится решительное наступление.

По предложению Рванова было решено применить такую тактику: бить противника по частям, совершать налеты преимущественно на вновь прибывшие, еще не освоившиеся с обстановкой части.

В ночь на 8 марта мы разгромили гарнизон полиции в Гуте

Студенецкой большом селе, отстоящем от нашего леса на шесть километров. В этом бою был пойман и казнен начальник полиции Корюковского района Мороз. В его документах нашли распоряжение какого-то немецкого майора. В распоряжении указывалось, что полицейские части должны действовать под руководством командира мадьярского батальона старшего лейтенанта Кемери, штаб которого будет располагаться в местечке Ивановке. Послали туда наших разведчиков. Они подтвердили: в Ивановке не менее двухсот мадьяр и столько же полицейских.

И 9 и 10 марта над нашим лагерем то и дело появлялась «рама» разведочный самолет немцев. Жечь костры и топить печи я запретил.

11 марта к 4 часам утра три наши роты под общим командованием Попудренко выгрузились из саней за семь километров от Ивановки. Дальше двигались пешим порядком по глубокому снегу; лыж не хватало. Большинству бойцов пришлось идти по грудь в снегу. Но все трудности окупались большой удачей. Мадьяр застали врасплох. Настоящее сопротивление они смогли оказать только минут через сорок.

Бой был очень напряженным. Противник имел, по крайней мере, шесть станковых пулеметов, две малокалиберные пушки, несколько минометов; автоматами они были снабжены, конечно, гораздо лучше нас. А к концу боя им удалось вызвать и самолеты и подкрепление из Щорска.

Впрочем, этому подкреплению тоже сильно досталось. И мадьяры и полицаи бежали. Ивановкой мы овладели полностью и взяли большие трофеи: четыре станковых пулемета, восемь ручных, двадцать тысяч патронов, много продовольствия и, что было весьма кстати, свыше полуторста шерстяных одеял.

На улицах и в хатах насчитали сто пятьдесят три убитых солдата и полицейских.

Мы потеряли одиннадцать человек. В этом бою погиб командир первой роты Громенко.

Он был убит, когда поднимал бойцов в атаку. Пуля пробила ему лоб. Он упал навзничь в снег.

Политрук роты товарищ Лысенко принял на себя командование и повел бойцов вперед. Свою задачу рота выполнила блестяще.

Ночью, после боя, в нашем Елинском лесу мы хоронили товарищей.

Гроб с телом Сидора Романовича Громенко — командира первой роты — был обернут парашютным шелком. Лес освещался смоляными факелами. В почетном карауле стояли поочередно все члены обкома и все командиры.

После речей, посвященных подвигам погибших товарищей, когда тела их опускали в братскую могилу, партизаны салютовали в их честь выстрелами из четырехсот винтовок.

А потом бойцы разошлись, и в партизанском лесу стало непривычно тихо. Люди легли в землянках на свои нары. Они очень устали после многочасового боя, после большого перехода. Но долго не могли уснуть. Лежали, думали, шепотом делились мыслями, рассказывали друг другу все, что помнили о погибших.

В землянках роты, которой командовал Громенко, настроение торжественной печали было особенно заметно. Женщинам было легче. Они плакали. На лицах многих бойцов как молодых, так и старых можно было прочесть недоумение и даже некоторую растерянность.

Когда гибнет любимый, справедливый и храбрый командир, трудно заставить себя до конца поверить в его смерть. Его ум, храбрость кажутся гарантией неуязвимости. Кажется, что он должен быть награжден за свои достоинства если не бессмертием, то, по крайней мере, долголетием.

Попудренко, Яременко, Дружинин, Рванов и я зашли в землянку, где жил Громенко. Формальным поводом для этого была необходимость собрать и просмотреть его документы. Но, правду сказать, хотелось еще раз взглянуть на маленький уголок, который принадлежал лично ему, и представить его себе живым в кругу своих бойцов.

В землянке на сорок человек, отделенный от общих нар проходом шириной в один шаг, стоял грубо сколоченный топчан. Угол был срезан неровно. Круглый бок серого валуна торчал из земли над изголовьем постели.

Рядом с валуном вылезал из земли зачищенный, обрезанный с концов, но все еще живой корень сосны. Он раздваивался, загибался кверху и был похож на олений рог. Попудренко вспомнил, что Громенко говорил, будто корень этот растет. За два месяца, которые мы здесь, вытянулся на пять сантиметров.

На кроне висели планшет и летняя серая кепка. Кепку Громенко носил в Чернигове, когда работал заведующим контрольно-семенной станцией.

Вместо подушки на топчане лежало несколько книг. Они были покрыты чистой, но не глаженной гимнастеркой. Кусок черного сукна заменял одеяло. На нем мы увидели забытую впопыхах перед боем пластмассовую мыльницу табачницу. В ней, кроме двух щепоток махорки, лежали кусок напильника, обожженный, туго свернутый кусок тряпки и осколок кварца: известное приспособление для высекания огня.

Вот и все имущество агронома Громенко, ставшего в войну

партизанским командиром.

В планшете мы нашли общую тетрадь, наполовину заполненную короткими карандашными записями, фотографию жены и сложенную вчетверо газету «Правда» за 4 июля 1941 года с речью товарища Сталина.

Вернувшись в штабную землянку, мы просмотрели книги и тетрадь Громенко. Книг было что-то около десяти. Случайный подбор. Все — взятые в бою, найденные в разрушенных хатах. Второй том «Войны и мира» Л. Толстого, учебник по пчеловодству, «Разгром» Фадеева, какой-то справочник... Громенко любил читать. В селах, во время операций, и сам искал и бойцов просил, если найдут, обязательно приносить ему книги.

В тетради — тезисы бесед, которые он проводил с бойцами, схемы уже проведенных операций, и короткие, видимо, сделанные наспех, личные заметки. Они мне напомнили первые дни борьбы, мои разговоры с Громенко, его колебания и переживания. Они мне напомнили, что при первой встрече я не увидел в облике Громенко ничего партизанского и решил, что командира из него не выйдет.

Надо признаться — я ошибся.

В Громенко и действительно не было ничего партизанского в том значении, которое мы придавали этому слову в первые дни. Мы знали партизан по литературе. Только самые старшие — по личным воспоминаниям. Но каждая эпоха дает свой тип бойца.

Громенко был одним из средних командиров. Очень храбрым, решительным и толковым. Но не в этом дело, не это отличало его от партизанских командиров прошлого.

Он не был ни партизаном, ни командиром по призванию. Он был агрономом, строителем жизни. И, конечно, не война, а именно мирный творческий труд в полной мере раскрывал способности этого человека.

На место Громенко пришел педагог, бывший заведующий областным отделом народного образования. Командиром второй роты был директор школы, историк. Третьей ротой командовал председатель колхоза, четвертой — секретарь райкома. Они научились командовать, научились бить немцев, научились терпеть лишения. Всех их, так же как и Громенко, воевать заставила необходимость. Они стали хорошими партизанскими командирами потому, что необходимость была ими осознана. Но все они, конечно, предпочли бы мирный, созидательный труд.

Вот несколько записей из тетради Громенко. Я отобрал те, которые, как мне кажется, могут дать представление о его характере.

«Декабрь 14. Допрашивали немца. Говорит «камрад». Утверждает, что рабочий, да еще металлист. Показывает руки. Верно, черные мозоли. А в

сердце нет к нему ни капли жалости. Он кричит: «Тельман, коммунистише, Карл Маркс». Задаю вопрос через переводчика: «Почему же ты предал Тельмана?» Он отвечает, что иначе не мог, что заставили. Спрашиваю: «Что будешь делать, если отпустим?» Отвечает, что будет готовить революцию. А у самого под носом усики на манер гитлеровских.

Декабрь 19. Вызывали в обком. Пропесочили так, что стало жарко, хотя мороз больше двадцати градусов. Первым взялся за меня Николай Никитич. Даже раскричался. Крика его ничуть не боюсь. Человек он — душа. Бояться его, по-моему, может только враг. Покричит, а потом обязательно улыбнется. Легко отходит. Его любят. И я люблю. Взял меня в оборот за то, что не хочу уходить с Рейментаровских дач: «Ты что думаешь, нянчиться с тобой станем?! Слышите — у него особое мнение, выискался присяжный заседатель... Передал тебе приказ Рванов подготовиться к выходу? Почему медлишь?» Я все ж таки стоял на своем, оказал, что не уйду. Федоров посмотрел своими глазищами и оказал: «Признавайся — почему не хочешь идти, что семья здесь недалеко? Вы, товарищ Громенко, базу под свои дела не подводите. Имейте в виду, что так можно оказаться вне рядов партии». Ну, я, конечно, лапки кверху.

В чем дело? Испугался я, что ли, Федорова? В тот момент я ведь и сам недопонимал, что именно из-за близости семьи хочу задержаться. Подводил другую базу. Только задние мысли копошились, что надо иногда пойти к своим. Прав Федоров, что поделаешь. Диагноз поставил точный. После обкома подошел ко мне один мудрец и шепотком: «Какое дело — исключат из партии. Они потеряют больше. Твой взвод — один из лучших. Ребята за тобой пойдут. Сам себе будешь хозяин...» Я его обложил крепко и не знаю, как еще не стукнул. А оргвыводы пусть делает обком.

Январь 9. Били полицаев в Погорельцах. Мы сюда нагрязнули второй раз. Население встречало, как родных. В хате, где стоял командир взвода, пулями расщеплен весь потолок. Спрашиваю хозяйку: «Что это, бабушка, за люди полицаи?» Она пожевала губами и говорит: «Нехристы, фулюганы, совесть пропили, бога забыли. Мой-то Никитка смотри, что придумал...» Показала икону, пробитую пулями. Спрашиваю: «Родственник тебе этот Никитка? Мы его, бабушка, расстреляли». — «Яка жизнь, така и кончина. Внук он мне считался...» — «Выходит, отмежевываешься, так, что ли, бабуся?» Она серьезно посмотрела и ответила: «Прокляла я его. Он такесенький еще був, а уже дурные слова говорил. Из школы его, подлеца, выгнали, из комсомола исключили, в колхозе — лодырь последний. Только в пивной в компанию зачисляли».

Я говорю: «Вы все, бабушка, бога упоминаете. Ведь и я в бога не

верую. Коммунисты, вы знаете, и комсомольцы в бога не верят». — «А кто ж того не розумиет? Вы людей признаете. Вот со старухой как говорите хорошо. Уж мы вас ждали, ждали. Сидайте, опробуйте сыру, пожалуйста...»

Февраль 1. Был разговор с командиром второй роты Балабаем. Мы с ним дружим. Стоящий человек. Не погасила в нем война ничего человеческого. У него есть кинжал побольше полуметра. Я видел, как этим кинжалом Александр Петрович протыкал фашистов насквозь, бил, как свиней. Спрашиваю: «Как ты считаешь, Александр Петрович, портит тебя война, ожесточает характер? Ведь раньше ты никогда не убивал людей». Улыбается. Улыбка у него добрая. Ответил так: «Я человека и сейчас не могу убить. Ты понимаешь?» Я попросил объяснить. Он подумал и прибавил: «Предположим, я окажусь в сильной нужде. Бандитом и убийцей все равно не смогу стать. Или поссорюсь с товарищем, я ведь не кинусь на него с ножом, женщину из ревности тоже не убью, ребенка не обижу». Я продолжаю спрашивать: «В таком случае, какое влияние оказала на тебя война, переменился у тебя характер?» — «Что за вопрос, конечно...» Разговор не кончили, его вызвали. Я потом думал сам, что в нас переменилось.

Никогда не воображал, что стану партизаном. Во-первых, с радостью узнал, что нет во мне труса. Во-вторых, могу подчиняться, признать авторитет старшего командира. Даже, когда очень трудно и считаю, что он не прав, преодолеваю себя и не позволяю потом никому настраивать. Т. меня подзуживал против Федорова, заваривал склоку. Я предложил ему прекратить. А главная перемена вот в чем: мы все, даже и Федоров и комиссар, хотя они партийные работники, стали еще больше коммунистами. Проходим практический курс политграмоты.

Февраль 2. Нет, это время и любовь к Родине делают нас командирами. Хотя бы и Федорова. Откуда он командир? Он рабочий человек и, когда вчера с бойцами вместе подтесывал бревна для землянки, стал такой веселый. Рабочий и крестьянин всегда строители. А мы еще приучены видеть будущее. Война, конечно, не главное в жизни.

Февраль 8. Перечитываю «Войну и мир». Не понимаю этих людей. Совсем не думают о будущем, как будут строить жизнь после войны. О работе совсем не говорят.

Март 3. Мишка принес мне запеченную в костре курицу. Это было после боя часа через три. В бою он был молодцом, и я его хвалил перед товарищами. Это, что ли, подействовало? Курицу мне сунул тайно. «Где, спрашиваю, — взял!» Отвечает, что бежала по улице без головы, наверное,

осколком мины оторвало ей голову. Он забыл, что недели две перед этим то же самое рассказывал насчет гуся. Будто и гусю оторвало голову миной. Я беру курицу, иду к костру. Говорю ребятам, что вопрос считаю политическим. Спрашиваю, как они относятся. А все голодные. В глазах восторг перед курицей. Коцура выступает: «Это со стороны Мишки двойное преступление. Ложь и потом подхалимаж к командиру». — «А что курицу утащил, это ничего?» Коцура отвечает: «Курица до войны стоила в селе три рубля. Неужели мы в бою три рубля не заработали?» Товарищ Лысенко, политрук, тогда взял слово и долго, убедительно говорил, что народ по этим мелочам судит о нас, партизанах. Все согласились. Мишка просил прощения. Потом я опросил ребят, что делать с курицей. Все кричат: «Ешьте, товарищ командир, какой смысл делить?» Я швырнул курицу в огонь. Мишка кинулся в середину костра, достал и побежал. За ним помчались, но не догнали. А потом узнали, что он отнес курицу в госпиталь, отдал раненым. Вот тут и разберись.

Март 4. Рассказывал молодым бойцам об опытах академика Лысенко. Потом вообще об урожаях будущего и о том, как советская власть борется за высокую производительность. Приводил слова Ленина о том, что производительность труда в конечном счете самое важное для победы коммунистического строя. Подошли к тому, что такое коммунизм. Слушали очень внимательно. Свистунов, мальчишка лет девятнадцати, спросил: «Вот я или Вася Коробко, может, и доживем. А вы, Попудренко, Федоров навряд ли можете надеяться. Пятилеток пятнадцать, пожалуй, не меньше, надо еще до коммунизма?» Не успел я ответить, ребята закричали: «Меньше, что ты, Свистун!» Вася Коробко быстро подсчитал: «Если пятнадцать по пять семьдесят пять, значит, и ты, Свистунов, не доживешь».

Свистунов возразил: «Каждая пятилетка будет выполняться в четыре, а может, и в три года. Так что я доживу». Тогда Вася Коробко добавил: «Ученые борются за долголетие. Вы обязательно доживете до коммунизма, вот увидите, товарищ командир». Я понял — ребятам обязательно хотелось загладить бестактное замечание Свистунова, а меня утешить. Я сказал: «Спасибо, товарищи». Они тоже стали благодарить за беседу. А дожить действительно хочется!»

23 марта, перекрыв все дороги и тропы, ведущие из Елинского леса, немцы повели решительное наступление на партизанский лагерь. Семь тысяч немцев и полицейских двинулись против девятисот партизан, чтобы окружить их и уничтожить.

Командование оккупационных частей давно готовило этот удар. Готовились к нему и мы. Однако разница в подготовке была довольно

существенной.

В чем заключалась подготовка немцев? За прошедшие месяцы оккупации они во всех районных центрах и крупных населенных пунктах посадили своих комендантов, организовали полицию и сплели шпионско-разведывательную сеть. В каждом селе они имели теперь старосту и его заместителя. Почти во всех селах и хуторах создали группы вспомогательной полиции.

Их попытки заслать шпионов в партизанские отряды и наладить с ними постоянную агентурную связь неизменно кончались провалом. Шпионов мы разоблачали быстро. Как это делали, расскажу в другом месте. Немцы не знали планов нашего командования, расположения штаба, аэродрома, радиостанции, наших тайных троп.

О численности отряда, системе организации и нашей вооруженности они имели весьма противоречивые данные.

Примерные границы наших владений им были, конечно, известны. Такие сведения скрыть невозможно. План их был прост: блокировать район нашей дислокации, накопить побольше сил и в определенный день стянуть кольцо окружения, прочесать лес и таким образом покончить с наиболее крупной группировкой черниговских партизан.

Наша разведка действовала много успешнее немецкой. О намерениях оккупантов и даже о сроках намеченных ими операций мы имели почти всегда точные сведения. Это признавали и врали. Вот, например, что писал в своем инструктивном письме начальник венгерского королевского генерального штаба генерал-полковник Самбатхей:

«Хорошо развита служба разведки, информации и связи партизан. Действует исключительно быстро и безотказно. О происходящем на фронте имеют сведения раньше, чем части, охраняющие оккупированную территорию, а о мельчайших продвижениях наших частей от них ничего не остается в тайне».

И в другом месте того же перехваченного нами документа:

«Нет необходимости добывать детальные и основательные сведения о партизанах потому, что пока результаты разведки дойдут до командования частей, предназначенных для очистки данной территории, и части начнут свои действия, отдельные партизанские отряды, через свою исключительную информацию, наверняка будут извещены о приближении наших частей и все равно не будут уже на том месте, где разведкой установлено их пребывание».

22 марта мы тоже знали о намерениях противника, однако не ускользнули заблаговременно, а решили принять бой.

Быть может, немцы действительно воображали, что в Елинском лесу скопилось свыше трех тысяч партизан. Мы-то не могли ошибаться. Нас было вместе с ранеными и больными девятьсот двадцать три человека. Мы были голодны, плохо одеты, нам не хватало боеприпасов.

Как же мы допустили, что немцы смогли нас окружить и начать операцию на уничтожение? Было ли это промахом командования, результатом беспечности и, что того хуже, пониманием безнадежности нашего положения?

Если бы задали эти вопросы командованию противника, то, конечно, получили бы ответ, что тактика партизан обанкротилась, жить им осталось считанные часы.

Вот этого-то нам и надо было, этого мы и добивались. Пусть немец воображает, что мы глупы и самонадеянны.

Основа партизанской тактики — движение. Но не просто передвижение с места на место, а движение, которого противник не ожидает. Партизаны всегда в меньшинстве. Без хитрости им не обойтись. Внезапным должно быть не только наступление, но и отступление.

Впрочем, отступление, в том понимании, которое придается этому слову в армии, к партизанам неприменимо. Отступать нам было некуда. Мы могли только ускользать.

Но хорошо ускользать незначительному отряду человек до ста. Отряд в тысячу бойцов с пулеметами, минометами, госпиталем, обозом, типографией, как может он уйти незаметно?

Если еще располагается он в сплошном лесном массиве, тянущемся на сотни километров, ночью можно сделать бросок километров в тридцать-сорок. Противник не сразу разберется, в какой участок леса перешли партизаны.

Елинский лес, хоть и считается одним из больших в Черниговской области, на самом деле не так уж велик. Примерно — пятнадцать на двадцать километров. Он почти вплотную подходит к лесам Орловской (ныне Брянской) области, перелески соединяют его с Рейментаровским лесом и с урочищем Гулино, в которых мы находились до прихода сюда. Но перейти незаметно из одного лесного массива в другой такому отряду, как наш, было невозможно.

Особенно в тот период, когда во всех без исключения окружающих селах стояли подготовленные к встрече с нами карательные части. Я уже говорил, что пока эти части накапливались, мы колотили их поодиночке. Тогда еще они плохо наладили взаимосвязь и скверно ориентировались. Теперь кольцо замкнулось, лес патрулировался, самолеты противника

кружились над нами от зари до зари. Пробриться можно было только с боем.

И мы бы, конечно, пробились. Могли бы перейти обратно в Рейментаровские или же в Орловские леса. Но для этого пришлось бы нам вести серьезный бой на марше. Противник сделал бы все от него зависящее, Чтобы встретиться с нами в открытой местности. Тут он мог бы пустить в ход танки, бронемшины; бомбардировщикам и штурмовикам тоже было бы несравненно легче расправляться с нами.

Оставалось еще — уходить мелкими группами. На совещании командиров нашлось несколько сторонников такого плана. Нет, это не годилось. Это значило подвергать риску существование большого отряда. Группы могли потерять друг друга. Обком партии твердо стоял на той позиции, что большой отряд нам необходимо сохранить. И, как бы в доказательство нашей правоты, мы получили радиogramму из Москвы, в которой сообщалось, что в ночь на 23 марта шесть самолетов доставят нам боеприпасы, оружие, продовольствие и людское пополнение. Нам предлагалось держать в готовности аэродром.

Ну, куда ж тут уходить?

Я категорически запретил радистам сообщать что-либо об активизации немцев. Если узнают, что мы ждем в эту ночь наступления врага, еще, чего доброго, откажутся вылетать. Нет, пусть лучше думают, что все в порядке.

Вот какой план был принят на совещании в обкоме, а потом и в штабе:

Дать возможность частям противника углубиться в лес. Создать три линии обороны. На первых двух открыть огонь, подпустив противника на расстояние не больше пятидесяти-семидесяти метров. Все дороги, тропы и просеки заминировать. Взрыв мин считать сигналом к началу боя. Только после того, как противник подойдет к третьей линии обороны, то есть к непосредственным границам лагеря, отходить. Ротам отходить поочередно, согласно приказу, и каждой не раньше, чем через пятнадцать минут после предыдущей.

Да, уходить мы все-таки решили. Рассудили так. Большинство сельских гарнизонов немцев примут участие в операции. Следовательно, на пути нашего отхода мы к концу боя не встретим активного сопротивления. Тем более, что предпримем кое-какие меры, чтобы создать у врага ложное представление о направлении нашего отхода.

Главное же — надо было устроить немцам такую встречу, чтобы отбить у них охоту к окружению нашего отряда. Нанести им мощный ответный удар, вызвать замешательство, воспользоваться этим замешательством и в полном составе перейти на место новой дислокации.

Обычно к концу марта на Черниговщине начинается весна. В этом

году и признаков ее не было. Ни одной оттепели за все это время. Правда, мороз уже не сорок и не тридцать градусов, как в феврале, но ниже пятнадцати не спускается. Здесь обжились, и вот опять надо покидать свои землянки, опять на новом месте приниматься за строительство. Но кое в чем на этот раз нам мороз помог. Если бы распустило, быстрый бросок нам бы не удалось сделать. Мы ведь на санях, ни одной телеги пока не заготовили.

О предстоящем бое знали все. Каждому подразделению наметили участок обороны. Но нельзя, разумеется, заранее всех оповестить, что планируем отход. Это создавало бы плохое настроение. Приказ отдали — стоять насмерть, защищать лагерь до последнего патрона.

Кстати, о патронах, да и вообще о боеприпасах. Для трофейного оружия патронов мы захватили в последних боях солидное количество. А русских патронов и мин осталось очень немного. Самолеты не прилетали уже около месяца. И такое счастливое совпадение — как раз этой ночью должны прилететь.

В своей радиограмме мы просили: шлите больше оружия и боеприпасов. Хоть и очень подвело животы, но что поделаешь, приходится терпеть. Сообщили в Москву, что на питание не жалуемся. Просили только соли, ее много не надо.

В этом вопросе царило полное единодушие. И бойцы, и командиры, получая груз с Большой Земли, радовались вооружению куда больше, чем консервам, сахару и муке. Пожалуй, только махорочка вызывала не меньший восторг, чем пулеметные ленты.

В ночь на 23 марта никто из нас не ложился ни на минуту. Бой, собственно, начался еще двадцать второго. Часа в три группа полицаев человек в пятьдесят приблизилась к лагерю со стороны села Елина. Им навстречу направили роту Бессараба. Он ловким маневром зашел этой группе в тыл, захватил врасплох и почти всех скошил пулеметным огнем. Тринадцать полицаев сдались в плен. На допросе подтвердили: немцы не позднее завтрашнего утра пойдут в наступление. К вечеру противник занял Елино.

Состояние у всех нас было очень напряженным. Нервничали. Нашелся один чудака, который затеял предсмертное прощание с товарищами. К чести товарищей надо сказать, они взяли в такой оборот этого паникера, что он всю ночь потирал бока и охал. Нет, настроение обреченности имелось, может быть, всего у двух, трех человек. И они помалкивали. Даже склонный к панике Бессараб после дневного успеха так разошелся, что предложил не ждать, пока немцы нападут, а самим начать бой.

Нервничали больше потому, что надо было терпеливо ждать, создать у противника впечатление, что мы ничего не знаем. Под утро на аэродроме разложили костры. Зажгли их часа на два раньше назначенного часа прилета наших самолетов. Тут же на аэродроме зарезали трех лошадей, сварили конину, большими кусками в ведрах, накормили перед боем людей почти досыта. Правда, заправить было похлебку нечем. Да и посолить до нормы не удалось. Но ничего, поели. Один только парень, бедняга, совсем не переносил конину. Ни сырую, ни вареную, ни даже обжаренную на вертеле. Просто беда с ним. Он в последнее время начал пухнуть с голодухи. Хорошо, что у захваченных полицаев нашли немного хлеба. Накормили человека.

Над кострами появились немцы. Прилетели их разведчики. Бросили несколько бомб, наделали на аэродроме воронок. Но обошлось без жертв. Наверное, нас немецкие летчики сочли этой ночью круглыми идиотами. Сами освещаем цель. Но мы не могли затушить костры. В прошлый раз мы подожгли их в тот момент, когда слышали рокот наших самолетов. В эту ночь разведчики и бомбардировщики немцев все время летали, шум их моторов не прекращался ни на минуту. Мы не смогли бы услышать, когда подойдут свои.

Конечно, мы беспокоились. Как же, ведь прилетят наши! Немцы, чего доброго, их обстреляют. Мало нам своего боя, начнется еще бой в воздухе. Время шло. Приближалось утро. Напряжение усиливалось. А наших самолетов все не было. Правду сказать, мы хоть и бодрились, но понимали, что если самолеты не подбросят боеприпасов, положение очень осложнится.

Тогда мы не хотели признаваться в этом друг другу. Даже на совещании командиров и среди членов обкома не высказывали мысли, что вся надежда на помощь из Москвы. Помощь эта не была еще регулярной. Строить расчеты на нее, обнадеживать себя и бойцов, — нет, это не годится. И все же мы надеялись. Каждый думал и прислушивался, смотрел в черное звездное небо. Куда ни пойдешь, всюду разговоры:

— Наши зовсим не так, наши спокойно, без нытья гудут.

— Фриц у-уу-уу-у. А наши весело рычат, симпатично.

Небо начало бледнеть. Теперь все уже понимали, что помощи не будет, надо держаться своими силами. Я поймал себя на мысли, что зря мы, пожалуй, не смотались заблаговременно. Все-таки, если бы ночью ударили собранным кулаком в одном направлении, пробили бы кольцо окружения и были бы сейчас уже далеко, в относительной безопасности.

Но я не сказал ничего товарищам. И они мне только через несколько

дней признались, что в эту минуту думали о том же.

В начале седьмого в направлении Гуты Студенецкой загремели взрывы. Это немцы подорвались на минном поле. Николай Никитич тотчас вскочил на коня и помчался в ту сторону. И началась суматоха боя. Одиночные винтовочные выстрелы раздавались теперь то и дело в разных сторонах леса. Ухнула пушка. Первый снаряд, задевая ветви деревьев, пронесся над нашими головами. Закокотал пулемет. По звуку мы узнали — это наш «максим». И вдруг я увидел со своего командного пункта плавно спускающийся парашют.

Никто мне еще не успел доложить, что самолеты прибыли. Как я их не заметил? Впрочем, Рванов, Балицкий, Яременко — все, кто был в этот момент на КП, тоже не заметили, как прилетели наши самолеты. Кто-то даже крикнул:

— А может это немецкий десант?

Парашюты спускались кучно, значит, грузы были сброшены с небольшой высоты. Тут подбежали сразу два связных. Один с аэродрома. Он сообщил, что немецкие разведчики, как только появились наши самолеты, немедленно смылись. Другой связной, прибежавший из первой роты, сообщил, что немцы по просеке идут в полный рост, орут, сразу видно, что пьяные. И легло их уже не меньше пятидесяти.

Прибежал еще один связной с первой линии обороны, от Балабая. Он сказал, что ребята держатся хорошо, и клялся, что наши самолеты сбросили на скопление противника несколько бомб.

— А один прошел совсем по-над землей на бредущем и дал очередь из крупнокалиберного. Трассирующими по немцам, ох и здорово!

Эту новость мгновенно подхватили и разнесли по всем нашим частям. Я по себе чувствовал, как должен был подняться дух у бойцов. Как же, прилетели самолеты и вступили вместе с нами в бой!

Мешки и ящики, падающие с неба, распаковывали с молниеносной быстротой. Пулеметы и минометы тут же на месте собирали и тащили на линию огня.

Они были густо обмазаны тавотом. Чтобы пустить их в дело, надо было, раньше чем собрать, все части обтереть тряпкой, снять тавот. Но в спешке и общем возбуждении, которое царило в лагере, тряпки искать было некогда. Бойцы окидывали с себя телогрейки или шапки, обтирали части минометов и пулеметов, собирали их наскоро, потом надевали свою запачканную одежду и снова шли в бой.

Подносчики боеприпасов брали мины и патроны прямо из ящиков, свалившихся с неба. Один пулемет в плотном брезентовом мешке повис на

верхушке дерева. За ним полезли сразу трое бойцов. Хорошо дрались в этот день ребята. Каждое дерево, каждая ложбиньяка стали нашими дотами. Снайперов в настоящем смысле этого слова у нас не было. Но метких стрелков — сколько угодно. Многие, как белки, влезли на сосны и ели, били оттуда немецких пулеметчиков и офицеров.

Немцы шли с четырех сторон. Часа через два вынудили нас отойти от первой оборонительной линии. Впрочем, это заставило противника прекратить артиллерийский огонь, чтобы не бить своих. К этому времени противник потерял уже не меньше двухсот человек убитыми. Не стало и у нас многих людей. Погиб Арсентий Ковтун. Погиб командир отделения Мазепа. Одна из бывших наших лучших медсестер Клава Маркова вытащила девять тяжело раненых, а когда поползла за десятым, была подкошена нулей.

Немцы упорно лезли вперед. Не считались с жертвами, гнали под огонь полицаев и мадьяр, а сами укрывались за их трупами и так продвигались. Бой шел без перерыва. У нас не было никакой возможности приготовить пищу. Бойцы и командиры дрались голодными. Продовольственные посылки, сброшенные с самолетов, никто не распаковал. Капранов с трудом нашел людей, чтобы собрать их и погрузить на сани. Больше всех страдали, конечно, раненые. Их не успевали даже как следует перевязать.

Часам к двум нам удалось найти брешь в цепи окружения и вывести обоз. Саней пятьдесят вывели из леса, дали им направление на Гулино, место самой первой стоянки областного отряда. Это нам удалось только потому, что одновременно в противоположную сторону, к Брянским лесам, направили другие двадцать саней. Внимание немцев было рассредоточено.

На этих двадцати санях сидело всего лишь шестьдесят бойцов во главе с политруком второй роты Нахабой. В каждые сани запрягли пару лучших лошадей. Они понеслись с большой скоростью. Этой группе дали особое задание. От того, как она его выполнит, зависело очень многое. Наши разведчики сообщили, что группе удалось оторваться от преследователей. Все шло, как мы рассчитывали.

Немцы продолжали наступать. К 3 часам им удалось прорвать вторую линию обороны. Однако прочесать лес они не решались. Прочесать — это ведь означает пройти по всему лесному массиву, как гребенкой по волосам, не оставить ни одного участка. Но как только воинская часть углубляется в лес, каждого солдата отделяют от соседей деревья. Каждый становится одиноким. А это очень страшно. За любым деревом может оказаться партизан.

Наступление обычно ведется перебежками. А в лесной чаще как побежишь? Глубокий снег, сваленные деревья, кучи хвороста, того и гляди — мина. Вот почему немцы наступали просеками, захватывали квадраты. Потом шли колоннами по тропам, стреляли вправо и влево. Стоит им заметить поляну спешат собраться на ней, радуются, что видят друг друга, могут занять круговую оборону.

В начале пятого, когда стало темнеть, наступательный пыл немцев ослабел. За десять часов боя им так и не удалось подойти к нашему лагерю. Тяготение наступающих к просекам и полянам так запутало линию их позиций, что немецкое командование уже не могло разобрать, где у них фронт и где тыл. Тем более, что наши отделения перебежали по тропам в уже «прочесанные» участки.

И вот тут-то стала осуществляться заключительная часть *нашего плана*.

Немцы начали поспешно отводить некоторые свои роты, концентрировать их на северо-восточном направлении. Это означало, что группа политрука Нахабы выполнила задание.

Ей было приказано проскакать в направлении Брянских лесов по шести, семи селам, там паниковать, рассказывать жителям, что Федоров разбит, сам он и Попудренко утром улетели в Москву, остатки партизан бегут в Злынковские леса.

Немцы попались на приманку. Послали наперерез «бегущим партизанам» несколько рот на машинах.

Теперь можно было и отходить. Я отдал приказ: выходить повзводно из боя, с наступлением темноты покидать лес и по следу обоза направляться в Гулино.

Так как выходы из леса мы во всех направлениях заминировали, а искать мины в темноте было невозможно, каждая партизанская группа гнала впереди себя лошадь с санями. Эти несчастные лошади взрывались и тем открывали путь людям.

Километрах в двадцати пяти от Елинского леса, в глубоком, заросшем кустарником овраге, мы остановились, чтобы стянуть свои подразделения. Мы не знали еще своих потерь. Бойцы измучились до предела. Капранов со своими ребятами из хозяйственного взвода распаковал ящики с продовольствием. На этот раз не его просили, он сам ходил и раздавал махорку, консервы, куски колбасы. Но товарищи больше, чем курить и есть, хотели спать. Ложились в снег и сразу впадали в забытие.

Пришлось назначить специальных дежурных, которые должны были расталкивать спящих. Мороз стоял свыше пятнадцати градусов. А многие

товарищи в пылу боя сбросили, да так и оставили в лесу свои ватники. Долго ли закоченеть? Костры разжигать нельзя, даже курить надо осторожно, тщательно пряча огонек самокрутки: немецкие самолеты продолжали кружить в темном небе.

Часа через два собрались все наши роты. Следовало, не медля ни минуты, отправляться дальше. Но силы у нас иссякли. Даже самые выносливые просили отложить выход на час, полтора.

И тут произошло чудо.

Лежавшие пластом на снегу, обессиленные и онемевшие от усталости люди поднялись, раненые перестали стонать, а некоторые из них, преодолевая боль, слезли с саней и пошли... Я сам, помню, был так утомлен, что руку поднять или голову повернуть казалось мне тяжким трудом, а через несколько минут пустился, наравне с молодыми, в пляс.

Чудо же было вот какое. Наши радисты шарили в эфире, ловили новости. И вдруг поймали концерт по заявкам партизан. Это был первый такой концерт, пойманный нами. Конечно, немедленно привязали к ближайшему дереву репродуктор и оповестили всех.

Мы давно уже сделали по радио свои заявки. И теперь было очень интересно — упомянут нас или нет.

Диктор объявил: «По просьбе партизана Семенистого из отряда, где командиром Ковпак, передаем «Песню о Родине» Дунаевского».

Потом:

«По просьбе пулеметчика-партизана отряда Бати Петра Глушика передаем «Каховку»».

Летели к нам по эфиру из Москвы звуки рояля, пел для партизан хор Пятницкого, пела народная артистка Валерия Барсова, читал стихи поэт Симонов. «По просьбе партизан отряда Сабурова; отряда Маликова; отряда имени Щорса, где командиром Марков; отряда имени Хрущева, где командиром Сычов...»

Концерт длился долго. И после каждого номера следовало наименование какого-то нового отряда. Только в самом конце диктор объявил:

«По просьбе Карпуши — командира взвода отряда имени Сталина, где командиром Федоров, передаем украинский гопак».

Что тут делалось! Ребята кричали «ура», моментально расчистили от снега площадку и прежде всего вытолкнули на нее Карпушу. А потом плясали все, толпой. Хорошо, что быстро кончился этот гопак. Уверен, что хлопцы плясали бы до утра. Я, признаюсь, тоже размял косточки и несколько раз стукнул каблуками об мерзлую землю. Откуда только силы

взялись!

Если бы немцы могли видеть, как пляшут при луне партизаны, за которыми они гонятся в противоположном направлении! Их самолеты-разведчики противно рычали над нашими головами, словно нарочно пытались шумом сбить ритм танца. Но ничего у них не вышло, плясали ребята здорово.

А когда концерт кончился, возбужденные, веселые мы сели на сани и помчались дальше, к месту нашей новой стоянки. К утру мы были в урочище Гулино. Там приняли по радио сообщение из Берлина:

«На участке Центрального фронта разбита и уничтожена мощная группировка бандитов численностью три тысячи двести человек. Взято в плен двенадцать комиссаров. Главарям удалось скрыться на аэропланах...»

Нам было ясно — речь идет о нас. Оккупационные власти передали в Берлин заведомую ложь. В плен они не взяли ни одного человека. Цели не достигли — ни окружить, ни прочесать лес им не удалось. Они вели бой без малого сутки, потеряли убитыми около пятисот человек, а добились только того, что мы перешли из одного леса в другой.

Но этого не они добивались, а мы.

Наш план был полностью выполнен.

На перекличке мы узнали, что наши потери составили всего лишь двадцать два человека убитыми и пятьдесят три ранеными.

Мы оторвались от противника, замели следы и теперь могли разжечь костры, отдохнуть, подкрепиться и приняться за решение очередных задач.

* * *

Так был создан большой отряд.

Да, именно мартовский бой мы считаем решающим испытанием большого отряда. Он был очень тяжелым, этот бой. Но теперь каждый понимал: оккупанты не могут с нами справиться. Прошел тот период, когда немцы представляли себе партизан затравленными остатками армий, скрывающимися партийными и советскими работниками.

Мы стали крепкой военной организацией, действующей по плану, получающей помощь Красной Армии и советского тыла, систематически черпающей резервы из народа.

Я уже приводил выдержки из инструктивного письма генерал-полковника Самбатхея — начальника венгерского королевского генерального штаба.

Этот весьма секретный документ мы захватили в начале апреля, подорвав штабную машину на дороге Гомель — Чернигов. Когда мы его прочитали, наше партизанское самоуважение очень повысилось.

Инструкцию Самбатхея обсудили на политзанятиях во всех подразделениях нашего отряда.

Вот эта инструкция в несколько сокращенном виде:

**«НАЧАЛЬНИК ВЕНГЕРСКОГО КОРОЛЕВСКОГО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА**

IV ОТДЕЛ

№ 10

**ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОПЫТОМ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ
ПАРТИЗАНСКАЯ БОРЬБА**

1 глава

Общее ознакомление с партизанским движением

Борьба против Советов близко познакомила нас с особым и безжалостным средством борьбы — «партизанским» движением. Удивительным является проявленные русским народом при этой форме борьбы фанатизм, презрение к смерти и выносливость, с которыми мы столкнулись; потрясающими являются те масштабы, в которых русские применяют этот способ.

Развивающееся на все большей территории партизанское движение уже принимает форму народного движения.

Партизанское движение выступает как народное движение за линией нашего фронта, не только непосредственно, но и за несколько сот километров за линией фронта в тылу... Партизанская борьба вспыхнула с особой силой, когда русская армия с началом зимы открыла наступательные действия. Оборона против действий партизан означает для нас тяжелые дни, недели и даже месяцы».

Признание в том, что оккупанты *обороняются* от партизан, было нам, конечно, очень приятно. Как бы спохватившись, Самбатхей дальше пишет:

«Не будем преувеличивать, но нельзя и легкомысленно преуменьшать значение партизанского движения! Познакомимся с ним основательно, чтобы избежать неприятных сюрпризов, чтобы противостоять ему там, где оно поднимает голову. Тогда это движение не будет иметь решающего успеха!»

Во второй главе, которая озаглавлена «Защита против партизанского движения», Самбатхей пишет:

«Во время красного господства население привыкло к постоянной пропаганде и к тому, что его информируют о ежедневных происшествиях. Когда этого сейчас нет, тогда народ легко верит распространяемым партизанами и их помощниками слухам. Средствами контрпропаганды служат: радио, объявления, украинские газеты, инструктивные доклады и

кинофильмы. Целесообразно для этой работы строить материалы на следующих тезисах, которые могут... привлечь к нашим идеям...»

И дальше идет программа циничной игры, смысл которой — «разделяй и властвуй».

А вслед за этими «тезисами», в разделе «Как вести борьбу против партизан», говорится:

«...Сведения о партизанах, как правило, достигают до властей и командования в сильно искаженном и преувеличенном виде. Обычное явление, что население всегда знает о каких-либо действиях партизан в соседних или дальних местностях и никогда не хочет и не смеет знать о происшествиях в своей деревне.

На поприще добываний сведений наше поведение по отношению ко всем должно быть недоверчивым. Мы должны всегда помнить, что надежных русских нет! Русский человек по природе не болтлив. Кто охотно и много говорит, тот подозрителен. Молодая женщина всегда подозрительна, если же она чужая, то наверняка является агентом партизан. Среди старост попадаетсся значительное число таких, которые являются сторонниками партизан. Но и среди украинской вспомогательной полиции попадаютсся товарищи партизан. Поэтому их полное обезвреживание совершенно в наших интересах.

Нам должно быть ясно, что патриотически настроенные слои украинского населения не чувствуют никакой общности судеб с властями центральных держав. В конечном счете наши власти и части означают для них враждебную оккупацию и чужих господ...

Борьба с партизанами означает не только уничтожение отдельных партизанских отрядов. Надо отнять у них возможность к дальнейшей организации, снабжению и пополнению своих людских и материальных ресурсов. В противном случае, постоянно питаемое, несмотря на все старания административных властей, и связанное с постоянными потерями перебрасывание оккупационных частей возродит движение снова, и оно снова будет поднимать голову. Ввиду этого нет места пощаде в отношении кого бы то ни было. Только беспощадное и коренное истребление населения приведет к достижению цели...»

Часто спрашивают: как могло случиться, что армия, покорившая столько государств, оснащенная первоклассной военной техникой, накопившая солидный опыт оккупации других стран, не раздавила партизанское движение в самом зародыше? Почему оккупанты дали возможность разрастись этому движению, превратиться в грозную силу?

Теперь ответить легче, чем в 1942 году. Это пробуют сделать многие

партизанские командиры, выступающие в печати со своими воспоминаниями. Попробую ответить на этот вопрос и я. Но даже в те годы, о которых я сейчас пишу, мы, конечно, тоже задумывались над этими вопросами.

Думали, разумеется, не как историки. Не искали точных формулировок. Нам нужна была уверенность в непобедимости нашего дела. Эта уверенность увеличивалась в нас с каждым месяцем, с каждым днем. Увеличивалась потому, что никакие зверства, никакие кары, никакие посулы и «реформы» оккупационных властей не только не ослабляли притока новых людей в наши ряды, а, напротив, усиливали.

В одной инсценировке, сочиненной неведомым партизанским автором и поставленной нашим самодеятельным театром, встречались и разговаривали два «немецких коменданта». Написана сценка довольно неуклюже, но партизаны смотрели ее с удовольствием. А главное — мысль была в ней правильная.

Первый комендант был сторонником всяческих обманчивых ухищрений, посулов, уговоров и «реформ». Второй знал только одно слово: «расстрелять!» И вот они поспорили, кому из них удастся скорее покончить с партизанами.

Под конец сценки выяснилось, что как в районе первого коменданта, так и в районе второго партизан становится все больше. Партизанский отряд нападает на селение, в котором коменданты ведут опор. Оба хватаются за головы, кричат «Майн гот!» и убегают.

В том-то и дело, что партизанское движение возникло и развивалось не потому, что оккупанты дали возможность ему развиваться. Оккупанты ничего нам не давали. Советские люди не желали терпеть рабства в какой бы то ни было форме.

Никакие трудности и лишения не останавливали их. Число отрядов и численность их увеличивались с каждым месяцем.

Областной отряд после мартовского боя вступил в полосу новых трудностей. Противник нас вскоре обнаружил и стал преследовать. Мы приняли решение не обосновываться в урочище Гулино, не строить землянок. Через несколько дней перешли опять в Рейментаровские леса, оттуда вскоре вернулись в Елинские. На месте мы теперь стояли не дольше пяти-шести дней. Избрали тактику почти непрерывного движения.

Началась весна, разлились реки. Нам пришлось бросать сади и срочно заготавливать телеги, брочки, возы. На это ушло немало времени и сил. Только к концу мая нам удалось заготовить нужное нам количество подвод. До этого времени переходы совершали пешим порядком.

Весной питание партизан не только не улучшилось, но даже ухудшилось. Крестьяне нам почти ничем не могли помочь. У них тоже кончились все запасы, припрятанные в свое время от немцев. Распутица и непрерывные дожди не давали возможности часто прилетать к нам самолетам.

И все же отряд рос. Нам даже пришлось временно ограничить прием. Не хватало боеприпасов, особенно, как всегда, патронов для автоматов и русских винтовок. А столкновения с немцами у нас происходили почти ежедневно.

Тактика частых переходов сбивала немцев с толку. Они полагали, что партизаны во всех черниговских лесах. А это областной отряд кочевал туда и обратно. Следы наши, после того, как сошел снег, обнаружить было много труднее. А к середине мая распустилась листва, и маскироваться нам стало легче.

Когда, после мартовского боя, мы услышали в лесу концерт по заявкам партизан, нам впервые стало известно, как много отрядов действует. Конечно, мы предполагали, что они существуют, не могут не существовать. Но теперь мы уже твердо знали, что в орловских и в киевских, и в белорусских лесах — всюду, где есть хоть какая-нибудь возможность группе вооруженных людей скрыться от вражеских глаз, обязательно организовывались отряды.

Оккупанты поняли после мартовского боя, что окружить и прочесать леса им не под силу. Единственно, что им оставалось, — блокировать места скопления партизан. Начиная с лета 1942 года, опытные, так сказать, кадровые оккупанты, те, что уже долго занимали должности комиссаров, разных комендантов и фюреров, сообразили, что ликвидировать партизанское движение, как того требовал Гитлер, в советских районах нельзя.

Время от времени, получая приказы центра, оккупанты предпринимали попытки наступления на леса. Но главные свои усилия они направили на то, чтобы стать хозяевами хотя бы в городах, селах и на дорогах. Они разработали сложную систему обороны железных и важнейших шоссейных дорог. В населенных пунктах, в кварталах, где размещались оккупационные части, они вырубали деревья и кустарники, ломали заборы и заменяли их изгородями из колючей проволоки.

Немцы вынуждены были теперь держать в тылу и на своих коммуникациях весьма значительные силы. Каждый пост охранялся, по крайней мере, взводом солдат. На железнодорожных узлах, даже на второстепенных, таких, как Прилуки, теперь стояло по целому полку.

Если в начале войны попасть в тыловые части считалось большой удачей, то теперь в карательные и охранные отряды посылали в наказание за проступки. Особенно боялись назначения в сельскую местность и в маленькие районные города, на которые часто совершали налеты партизаны.

Партизанские отряды стали грозной силой, вторым фронтом. В начале 1942 года в Москве был организован Центральный штаб партизанского движения. Все сколько-нибудь значительные отряды Украины, Белоруссии, Орловщины, Курской области, а впоследствии и отряды южных районов страны наладили систематическую радиосвязь с Москвой, с Главным Командованием Красной Армии, получали указания и в трудные моменты необходимую помощь.

Я не ставил себе задачу написать историю нашего отряда. В этой книге я стремился показать, как коммунисты Черниговщины, оставшиеся в подполье, преодолев трудности первого периода, организовали и возглавили народное сопротивление оккупантам. Как обком партии *создал большой отряд*.

В конце марта к нам присоединился отряд орловских партизан под командованием Маркова. Точнее говоря, не Марков к нам, а мы к нему пришли в Злынковские леса. Там же мы столкнулись с еще одной довольно крупной группой партизан под командованием Левченко. И эта группа стала действовать в согласии с нами. Тут впервые был создан партизанский гарнизон.

Название это было принято для того, чтобы сохранить за вновь присоединившимися отрядами автономию внутреннего управления. Оба эти отряда начали свою жизнь до нашего прихода, у них были свои традиции, свои порядки; кроме того, они — орловцы, мы — черниговцы. Большого, принципиального значения это не имело, однако сразу мы не могли решиться на слияние отрядов разных областей. Меня как командира наиболее крупного из отрядов назначили начальником гарнизона, заместителями — Яременко, Маркова и Левченко.

На совместном совещании всех командиров и Черниговского обкома партии было решено, что главной задачей является сейчас организация диверсий на дорогах, питающих фронт.

Во главе диверсионного взвода встал Алексей Садиленко — самый высокий человек во всем нашем отряде. Он попал к нам из числа окруженцев. Имел специальную подготовку. В армии тоже занимался минно-подрывным делом. Взвод этот подчинили непосредственно штабу. В него вошли добровольцы. Люди отчаянной смелости. Первыми записались:

Сергей Кошель, двадцатидвухлетний сапер, комсомолец; Миша Ковалев, тоже сапер; девятнадцатилетний Вася Кузнецов, сибиряк, золотоискатель. Интересна его судьба. В отряд к нам он попал недавно, после боя в Старой Гуте. Там он женился на девушке-колхознице Марине. Тихо жил, надеялся, верно, отсидеться до прихода Красной Армии. Но молодая жена его Марина решила по-другому. Однажды велела ему собираться и повела в лес. Короче говоря, заставила молодого мужа воевать. И сама стала очень неплохим бойцом и разведчиком.

— Я ее жалел, — рассказывал потом Вася. — Думал — обидится, если заикнусь об уходе в отряд. А Марина про себя решила, что я трус. Одним словом, недоразумение.

И Вася Кузнецов действительно скоро доказал, что он не трус. С самых первых дней пошел в диверсанты. Сперва ставил мины на шоссейных дорогах, а потом взялся и за «железку», то есть стал выходить с группой на железную дорогу.

Записались во взвод диверсантов одними из первых еще директор средней школы Цимбалист, парашютист Николай Денисов, старший лейтенант инженер Всеволод Клоков, наш старый знакомый Петя Романов, студент Московского института инженеров транспорта Володя Павлов.

Наша тактика диверсионных налетов была довольно простой. В каждой операции участвовало всего двое-трое, но не больше пяти специалистов-диверсантов. Их обязанностью было ставить мины. Но ведь выходили на большие расстояния, иногда за сто с лишним километров от лагеря. Отправляться в такую экспедицию одним лишь диверсантам было бы слишком рискованно. К тому же на всех немецких эшелонах следовала охрана, человек тридцать-сорок автоматчиков и два-три пулеметчика. Почти каждая диверсия на железной дороге сопровождалась боем. Поэтому диверсантам придавалась группа бойцов — человек двадцать-двадцать пять, называвшаяся группой поддержки. Во главе ее ставился кто-нибудь из наших командиров.

С самого начала специализировался как руководитель таких диверсионных экспедиций Григорий Васильевич Балицкий. Он уходил со своей группой иногда на две-три недели. А однажды пропал больше месяца. Человек исключительной, дерзкой храбрости, Балицкий стал душой наших диверсионных операций.

В мае и июне 1942 года наши диверсанты свалили под откос двадцать шесть эшелонов. Из них на долю группы Балицкого пришлось одиннадцать.

Теперь каждый из нас считает, что в 1942 году наши диверсионные

операции были всего лишь слабыми ученическими попытками. В то время у нас не было еще настоящей системы. Другое дело в 1943 и 1944 годах. Тогда мы уже стали действовать по графику, за день сваливали под откос до десятка эшелонов. Но летом 1942 года мы еще и мечтать не могли об ударах такой мощности.

И все же сделали немало. В марте из Елинских лесов, когда еще лежал снег, выходили на полотно железной дороги за десятки километров от лагеря и в тяжелых зимних условиях сутками ждали поездов. Тогда из-за снежных заносов движение почти совсем приостановилось. Нашим диверсантам приходилось выполнять нелюбимую ими, как они ее называли «черную» работу: взрывать мосты, железнодорожное полотно и трубы водосточков.

Однако и это наносило хозяйству оккупантов ощутительный урон. В марте и начале апреля наши хлопцы подорвали пять мостов и свыше четырехсот метров железнодорожного полотна. Не в одном, конечно, месте все четыреста метров, а по небольшому куску в разных местах.

В мае, когда мы дислоцировались в Злынковских и Новозыбковских лесах, ближе к железной дороге, нам удалось сделать гораздо больше. Снег сошел, поезда ходили нормально. По линии Гомель — Брянск в сторону фронта ежедневно проходило до шестидесяти эшелонов. А после выхода наших диверсионных групп немцы вынуждены были совершенно отменить ночное движение поездов; днем стали проходить только восемь, самое большее десять эшелонов.

После того как нам стали подбрасывать самолетами тол и аммонал, вкус к «взрывным работам» в отряде очень усилился. Теперь при каждом налете на сколько-нибудь значительный населенный пункт наши подрывники выводили из строя промышленные предприятия, силовые станции, склады, расположенные в каменных зданиях.

В районном центре Гордеевка во время операции, которая длилась лишь полчаса, пока другие роты и взводы вели бой, диверсанты взорвали спиртозавод, маслозавод, электростанцию, склад продовольствия и несколько автомашин и тракторов.

В Корюковке, тоже во время одной из операций, хлопцы из диверсионного взвода разгромили целиком железнодорожную станцию. Порвали в двадцати четырех местах рельсы, уничтожили все крестовины и стрелки, аппаратуру связи и сигнализации, взорвали и сожгли лесопильный завод, склад лесоматериалов, склад горючего и фуража.

* * *

С тех пор как начали прилетать к нам самолеты, очень дорого стала

цениться чистая бумага. За лист писчей бумаги некоторые товарищи соглашались даже отдать щепотку махорки, достаточную для большой самокрутки. Товарищи писали письма. Надеялись, что сядет же когда-нибудь самолет и возьмет почту.

Писали теперь во всякое свободное время. А самолеты так и не садились. Многие накопили пачки писем, целые книги. Некоторые из этих писем с продолжением я прочитал. У Володи Павлова, одного из наших смелых диверсантов, я отобрал письмо, в котором он рассказывал о своем первом выходе с группой для подрыва эшелона.

Володе не было тогда еще и двадцати лет. До войны он учился на первом курсе Московского института инженеров транспорта. У нас, как видите, он тоже занимался транспортными вопросами. Но не строительством и не эксплуатацией железных дорог, а их разрушением.

Теперь Павлов Герой Советского Союза, перешел в этом году на пятый курс того же института. Будет скоро строить мосты.

Письмо, отрывки из которого я привожу, отобрано мною у Володи. Слишком много «технологических» подробностей он в нем сообщал. Конечно, в письме этом сейчас уже нет военных тайн.

«14 июня 1942 года.

Дорогая моя, драгоценная мамочка!

Не знаю, отправлю я тебе когда-нибудь это письмо или оно так и будет валяться по карманам... Помню, что ты всегда любила подробности, просила, чтобы я описывал обстановку. Пишу я тебе в палатке. Только это не обычная палатка, какие ты видела в военных или пионерских лагерях. Наша палатка маленькая, очень низкая. Стоять в ней нельзя, даже когда сидишь — голова упирается. Живем мы вдвоем с Володькой Клоковым. Очень хороший парень. То есть он инженер, а не парень. Старше меня на несколько лет. Но веселый, остроумный, живой, а главное храбрый. Со мной держится просто и без снисходительности. Это очень приятно. У него есть чему поучиться. Кстати, он не Владимир, а Всеволод. Но все его здесь называют Володькой, и я тоже.

Он первый мне рассказал о диверсиях, вовлек меня в эту группу. Я ему бесконечно благодарен. Работа интересная, увлекательная. Диверсанты у нас самые уважаемые люди. Не только потому, что опасно. Ты не думай, мамочка, это нисколько не опаснее другой партизанской работы. Нас потому уважают, что мы наносим серьезные удары немцам.

Ты не ворчи, мамуся, что я так разбрасываюсь. Трудно сосредоточиться. Рядом ребята сидят и дуются в карты. Только, пожалуйста, не воображай, что на деньги. Это у нас невозможно. Вообще

нет у нас никаких денег. Абсолютно не нужны.

Я начал рассказывать о палатке. Она сделана так: деревянные столбики, на них натянут парашютный шелк, а поверх шелка лежит кора от пихты. Мы ее срезаем так: один другому становится на плечи и острым ножом делает глубокий продольный надрез почти до самого низа. Наверху и внизу надрез кругом дерева. Сучки все срубаем под корешок, гладенько. Потом осторожно сдираем кору вместе с кожей — знаешь, под корой такая скользкая... Когда сняли, кора получается вроде согнутого листа фанеры. В ней остаются дыры от сучков. Их мы затыкаем. Потом кладем кору поверх шелка. Такую крышу не берет никакой ливень. Палатки делаются нарочно очень низкими. Я пишу лежа...

...Теперь, мамочка, я хочу написать тебе, как первый раз ходил в далекую операцию на железную дорогу. У вас, врачей, операцией называется вмешательство при помощи хирургического ножа. Мы тоже режем железнодорожное полотно. Но не ножом, а взрывчаткой... Раньше я участвовал только в подрыве мостов и немецких автомобилей. Мне еще поручали ставить мины против живой силы немцев, иначе говоря, против пехоты. Но это просто. Ты могла бы научиться в полчаса.

На первую железнодорожную операцию я пошел не как подрывник, а просто в роли бойца. Нас провожал сам Федоров. А во главе группы, ее командиром, был Григорий Васильевич Балицкий. Это очень смелый человек. Прямо-таки безумно храбрый человек. Единственно, чего он очень боится, чтобы кто-нибудь когда-нибудь не мог заподозрить его в трусости. Кроме того, в группе было еще двадцать человек. Очень разных. Среди нас одна девушка и замечательный проводник. Пожилой колхозник Панков. Он знает здесь все леса и все дороги, тропки, звериные следы. Вроде «Кожаного чулка». Помнишь Фенимора Купера?

Когда нас провожали на операцию, девушки плакали. Почему? Да потому, мамочка, что они чувствительнее мужчин. Панков говорит: «Бабе что заплакать, что чихнуть». Когда мы отошли километра за четыре от лагеря, Балицкий предложил всем сесть на траву. Сам тоже сел, очень значительно помолчал, потом предложил внимательно слушать.

— Предупреждаю. Кто в себе не уверен, идите обратно в лагерь. Потом будет поздно. Никаких лишних разговоров, никаких жалоб на трудности быть не может. Смелость, дисциплина, безоговорочное выполнение всех моих приказаний! Ясно? За малейшее нарушение, за трусость — расстрел на месте. Я вас не пугаю, а просто Предупреждаю, что без соблюдения этих условий на диверсии идти нельзя. Пожалуйста, кто хочет, может вернуться, никаких к вам претензий не будет, и смеяться

над вами никто не станет.

Ни один человек не сказал, что хочет возвратиться. Хотя Балицкий и уверял, что не будут смеяться, на самом деле трусость у нас в лагере вызывает всеобщее презрение и даже ненависть. Вернуться — это значило расписаться в собственной трусости. За это могут даже продрать с песочком в стенной газете.

Мы поднялись и пошли тропами через лес. Всего надо было пройти километров двадцать пять. Местами переходили через шоссейные и проселочные дороги. Их пересекали пятками вперед. Нас специально учили так ходить. Надо, чтобы получились нормальные шаги и проходить так быстро, не задерживаться. Ты понимаешь, зачем? Если немцы увидят следы, подумают, что мы шли в противоположном направлении.

Один раз мы ждали, пока пройдут немецкие автомашины. Их была целая колонна, не меньше роты солдат. Мы не стали ввязываться с ними в потасовку. У нас другая задача.

Толовый заряд, или, иначе, мину, каждый из нас нес по очереди. Она весит немного — двенадцать кило. Но партизаны не любят, когда руки заняты. Каждый старается весь груз распределить так, чтобы висело на спине или на поясе. Руки должны быть свободны, чтобы в любой момент можно было начать стрельбу. Автомат мы носим тоже не как красноармейцы. Он висит на левом плече, под рукой, дулом вперед.

Партизанская самодельная мина — это просто деревянный ящичек длиной сантиметров в сорок, а шириной и высотой сантиметров двадцать. В ящике этом лежит похожий по цвету на сухую горчицу, но не порошок, а просто кусок толу. Чтобы ты не боялась, скажу, что он сам взорваться не может, даже если его жечь или если в него попадет пуля. Он взрывается от детонации. В толе вырезано квадратное или круглое углубление. Туда перед самой установкой мины вставляется запал, детонаторная трубка. Устроена пружинка, боек и капсуль... Этих премудростей ты без рисунка не поймешь, да тебе и не надо. Вряд ли ты будешь когда-нибудь пользоваться такими штуками.

Километров за шесть от железной дороги мы остановились неподалеку от села Камень. Там есть у нас свои люди. Там в полицейском участке служит связной нашего отряда. Порядок такой: по пути к месту диверсии группа ни в коем случае не должна заходить в населенные пункты. Можем встретить негодяя, который побежит к немцам и скажет, в какую сторону пошли партизаны.

Но один или два разведчика обязательно должны зайти в село. В этот раз пошел Панков. Узнал у полицая, нашего связного, что на участке

Злынка — Закоптыть сейчас довольно спокойно, нет большого количества немцев. Он узнал также, как безопаснее всего пробраться к железной дороге.

Балицкого очень огорчило одно сообщение Панкова. Оказалось, что совсем недавно в сторону Брянска прошел эшелон с бензином. Видишь ли, мамочка, нам совсем не одно и то же, какой эшелон взорвать. Правда, если даже состав с каким-нибудь маловажным грузом наскочит на мину и полетит под откос, — участок на несколько часов выйдет из строя. Но мы экономим взрывчатку, каждый килограмм на учете. Считается большим шиком подорвать эшелон с войсками или с танками, автомашинами, самолетами, бензином. Потому Балицкий и огорчился. Он подумал, что если прошел один эшелон с бензином, другой пойдет не скоро.

Мы вполне благополучно подошли к полотну. Оно тут плохо охранялось. Лес отстоит от линии метров за двести. Мы залегли на опушке, в траве и кустах, замаскировались. Балицкий нас распределил один от другого метров на десять. Чтобы, если придется стрелять, охватить сразу весь эшелон.

Понимаешь ли, еще не все взорвать паровоз и свалить вагоны. Надо уничтожить груз. А если едут немецкие солдаты, — перебить их возможно больше. Как только паровоз окатится от взрыва и поезд остановится, все мы открываем огонь по вагонам. Самое главное по заднему вагону, особенно если состав с грузом. В хвосте поезда всегда едет охрана.

Ты, наверное, там в Москве сейчас за меня переживаешь, как я себя вел, не опозорился ли на первый раз. Если бы я был один, может, и подкрался бы к сердцу страх. Но ребята все были хорошие. Шли весело, много шутили.

Если бы ты, мамочка, взглянула на своего Вовку! Я теперь так же похож на городского студентика, как медведь на ягненка. Я имею заливчатый вид. Одет по партизанской моде. Венгерская безрукавка на меху. Так называемая «мадьярка». Сапоги с загнутыми голенищами. На них свисают широкие, цвета бордо, брюки из шерстяного немецкого одеяла. Фуражка с широкой красной лентой на тулии. На поясе гранаты, на ремне автомат. Интересно бы самому взглянуть в большое зеркало, увидеть себя во весь рост.

Сейчас я расскажу тебе, между прочим, смешную штуку. Один раз, когда партизаны напали на немецкий гарнизон в селе и еще шел бой, несколько ребят застряли надолго в хате. Это была хата старосты. Был приказ — ее поджечь. Попали в хату самые заядлые партизанские пижоны. Собрались у большого зеркала и отталкивают друг друга, чтобы

посмотреться. Я в той операции не участвовал. Но им, тем ребятам, Федоров дал такую распеканцию, что я им не завидую. Назвал их кокетками. Теперь их так все называют, разыгрывают каждый вечер.

Стоп. Писать больше нельзя. Тревога.

18 июня. Знаешь, мамочка, как только начинаю тебе писать, вспоминаю Москву. Какая она сейчас? К нам сбросили несколько парашютистов. Двое из них были в Москве. Рассказывают, что зимой было плохо с топливом. Бедная, замерзла ты там! Все равно я очень скучаю по Москве. Хотел бы глянуть хоть одним глазом. И, если бы разрешили и поставили такое условие, я бы, кажется, на карачках дополз.

Прочитал начало письма и буду продолжать. Я не видел железной дороги несколько месяцев. Мы только залегли, спрятались, вдруг идет по полотну обходчик. Бородатый старикан. У него на плече винтовка, но когда к нему стали подходить ребята, он даже не пытался ее снять. Поднял руки. Я смотрю со своего места, как его обыскивают. Вдруг все побежали к нему. А приказа не было. Балицкий тоже бежит и ругается.

Через полминуты появился над всей группой густой дым, и у всех счастливые лица. Понимаешь теперь, в чем дело? У обходчика оказался полный кисет махорки. А мы уже давно курим всякую дрянь, соскучились по табаку ужасно.

Куришь пробовали и мох, и гречаную солому, и сухие дубовые листья. У этих последних даже название было «дубек». А когда удавалось разжиться махоркой, табаком или сигаретами, становились в круг и одну завертку курили вдесятером.

Появились такие выражения: «дай на губу», «оставь мне, я брошу», «губу печет, носу жарко, а бросить жалко...» У нас даже сочинили такую песенку:

Курили б мы табачок,
Так у нас нэмае.
Мы курино дубнячок,
В лисе выстачае.
Дубнячок, березнячок,
Гречану солому.
Ризный пробуем листок,
Щоб избыть оскому.

Ну, от Балицкого, конечно, всем попало. Хорошо еще, что он и сам хотел курить. Обходчика связали, отняли у него винтовку. Убивать не стали. Говорит, что служит под страхом расстрела.

Потом опять залегли. Лежали часа полтора. Слышим — поезд. Еще

далеко, а уже характерное стукотание. Сердце забилося ужасно, никогда раньше не ждал поезда с таким волнением. Всюду стучало сердце, даже под пальцами пульсировало — я с такой силой сжимал в руке автомат.

Мину побежал ставить Сережка Кошель. Поставил очень быстро и протянул к лесу шнур, чтобы дернуть. Ставить мину — почетная задача, но не очень-то приятная, от волнения можно зацепиться за шнур и подорваться.

Только Сережка успел спрятаться, — из-за поворота появился паровоз. Это самый напряженный момент. Получится или нет? Все натянуты, как струны. Мина может отказать, не взорваться. Причины бывают разные.

Писать об этом гораздо дольше. Все произошло в момент. Поезд шел с большой скоростью. Очень длинный состав.

Грохот получился от взрыва не слишком сильный. Из-под паровоза огонь, и паровоз повалился. А потом ужасный треск и скрежет от вагонов, которые полезли друг на друга. Тут же началась стрельба. Все стреляли по бочкам... Я забыл написать, что эшелон опять был бензиновый. Нам повезло: второй подряд. Немцы возят на фронт бензин не в цистернах, а в железных бочках, чтобы потом быстрее заряжать танки и автомашины. Бочки ставят на платформы с высокими бортами, в несколько рядов. Мы стреляли по нижним бочкам. Они взрываются, подбрасывают на несколько метров верхние бочки. И все это горит, брызжет огнем.

Вдруг, смотрю, бежит к хвосту поезда Балицкий. На фоне огня он кажется очень страшным. Он бежит и кричит: «За мной!» И когда подбегает ближе к заднему вагону, сразу же начинает стрелять. У него не автомат, а легкий французский скорострельный карабин. И он держит его не прижав к плечу, а на вытянутой руке; приклад упирается в сгиб локтя.

Немцы в заднем, классном вагоне. Стреляют из окон автоматы, пулеметы. А пламя все выше, весь состав горит и трещит. Классный вагон тоже загорелся. Пламя наверху черное. От него, как от солнца, отлетают протуберанцы: длинные языки во все стороны, метров по пятьдесят. И кверху тоже метров на пятьдесят.

Немецкая охрана раздирающе вопит и все реже стреляет. Тогда Балицкий командует отход, и все бегут.

Когда мы собрались в лесу, оказалось, что у нас только двое раненых. Их быстро перевязала наша сестра. Мы шли обратно с песнями, и такое настроение: пьяный от восторга. Тут был у меня неприятный случай. Когда бой уже кончился и стало ясно, что опасность миновала, меня почему-то вырвало. Ты, как врач, обязательно объясни, какая может быть причина.

Так вот, мамочка, настроение. Мы, когда идем обратно, невольно

оборачиваемся, смотрим на пожар. Разгорается все сильнее. Даже в лагере, представь, видели дым. Обратно идем быстро, рассказываем, стараясь один другого перекричать. Почти совсем не маскируемся. Дух у всех боевой, свирепый, что угодно в азарте могли бы сделать.

Зашли в то же самое большое село Камень. Там есть мельница. Мы прямо к ней. Ничего не остерегаемся — дуем по улице. Полицаи все разбежались; не знаю, сколько их там было. Но у мельницы все-таки подстрелили двоих, которые охраняли. Сломали замки на складах зерна и муки. Зовем население. Все бегут к мельнице и запасаются. Тащат мешками, ящиками, ведрами и в подолах. Мальчишки тоже тут вертятся, сыпят себе в шапки.

Мы кричим: «Тащите, товарищи, прячьте! Немцы придут — валите все на нас, на партизан! Наша марка выдержит!»

Организовали митинг. И я говорил. Такую речугу закатил, что ты и не подозреваешь. Я, когда возбужден, честное слово, оратор. Меня поздравляли я говорили, что надо перевести в агитаторы. Это, конечно, шутки. Я теперь с диверсионной работы ни за что не уйду.

Одно лишь величавое зрелище дает такое счастье. Знаешь, что и ты к этому руку приложил. Дух захватывает. Ведь пожар всегда красив. А тут пожар и возмездие немцам! Кроме того, возбуждает риск. Нет, мамочка, если кто не видел, никогда не поймет, до чего это здорово.

Но ты не беспокойся, дорогая мамочка, вовсе это не так опасно. В Москве, на крышах, когда бросают бомбы, по-моему, куда опаснее. Там ведь полная неожиданность, правда? Там ведь невозможно ответить на огонь противника. Нет, не волнуйся, твой Вовка, честное слово, не пропадет!»

ГЛАВА ПЯТАЯ

СОЕДИНЕНИЕ

Немцы вели наступление на юге. Радио приносило нам тяжелые вести. Красная Армия отходила к Сталинграду. Казалось, на Украине оккупанты могли чувствовать себя спокойнее, чем когда бы то ни было. Казалось, население такого глубокого немецкого тыла должно было, наконец, смириться. Сводки о положении на фронтах, даже наши советские сводки говорили, что враг, не считаясь с жертвами, лезет вперед.

Но не только не смирялось население оккупированной земли, а ожесточеннее сопротивлялось, все больше партизанских отрядов поднималось на борьбу.

Не знаю, как в других областях, но и в Черниговской области, и на Орловщине, и в юго-восточных районах Белоруссии, то есть в местах, по

которым мы рейдировали летом 1942 года, народ, несмотря на быстрое продвижение врага к Кавказу, чувствовал, что скоро немцы будут сломлены и побегут. Здесь народ ежедневно видел доказательства плохой организации немцев, их военного и экономического ослабления.

Наш отряд, а точнее — те несколько черниговских и орловских отрядов, которые соединились, совершали теперь очень часто рейды — переходы по несколько десятков километров. Общее наше число перевалило далеко за тысячу. А когда к нам примыкали местные партизаны, доходило и до двух тысяч человек. На марше колонна растягивалась километра на полтора. Иногда мы ходили скрытно, болотами, лесами. Но чаще двигались прямо по населенным пунктам. Демонстрировали свою мощь. И почти в каждом местечке, в каждом селе мы проводили митинги, раздавали листовки, заходили в хаты и беседовали с народом.

Встречали нас радушно. Гордились партизанами. Преувеличивали наши силы. Народ говорил нам, и это было, конечно, правдой, что встречи с отрядом поднимают дух. Мы, в свою очередь, во встречах с народом черпали уверенность в непобедимости нашего дела.

Помню, в одном из сел я разговорился со стариком. И упрекнул его полушутя в том, что он не партизанит. Было тому старику лет пятьдесят пять. Сильный, здоровый человек. Людей его возраста партизанило много. Так что упрек мой он принял всерьез, и в ответе его звучала обида.

— То не правда, начальник, что я не партизан. Погляди ты, начальник, на поля наши. Сунься во дворы общественные, побачь, як працюет народ. В полсилы, в четверть силы, а то и зовсим против того, что дело подсказывает. Як же мы, начальник, не партизаны, коля немец с автоматом и плеткой не расстается...

Старик был прав. Достаточно было взглянуть на крестьянские поля, чтобы понять, как плохи дела оккупантов. Следы массового саботажа лежали на всем. Не прошло еще и года, как немцы вступили в эти районы, а сельское хозяйство было страшно запущено. Оно разрушалось не только крестьянами, но и самими немцами.

История этого разрушения была такой. Превосходный Урожай 1941 года был частично убран и вывезен до прихода немцев. Хлеб, оставшийся на полях, вытаптывали и сжигали армии. Но его было так много, что и немцам кое-что досталось. Убрали они его, конечно, не своими силами. Немецкая организация уборки в 1941 году выражалась в единственном «мероприятии» — под страхом всяческих репрессий они требовали от крестьянства, чтобы хлеб был убран. Потом немцы его конфисковали. Крестьянам осталось только то, что удалось зарыть в ямы, скрыть от глаз

оккупантов и предателей.

Осенью 1941 года фронт был еще близок. Озимых поэтому почти нигде не сеяли. Но фронт отдалился, немцы утвердили свою власть, провели так называемую «реформу», начали по-своему организовывать сельскохозяйственное производство.

С недоумением и нарастающим презрением следило крестьянство за потугами гебитскомиссаров и новоиспеченных помещиков. В своих газетах и листовках немцы, при помощи националистов и потерявших стыд продажных писак, всячески хаяли колхозы, совхозы и всю систему социалистического земледелия. Ну и, конечно, превозносили свои организационные способности.

Они говорили крестьянству: «Вот увидите, как поставим дело мы на основе германского опыта, германской индустрии, германской точности, аккуратности, культуры...»

Но еще зимой крестьяне поняли, что все это болтовня. Прежде всего оккупанты забрали зерно. Кое-где в общинах оставляли семена, однако, начиная с декабря, стали вывозить и их. Боялись, что попадет к партизанам. Рабочих лошадей отобрали почти всех. Оставили волов. Но сколько тех волов в колхозном селе? Разве можно на них провести весеннюю пахоту? Разве можно пробороновать и засеять огромные колхозные просторы этими дедовскими средствами?

МТС были эвакуированы. А те тракторы, которые вывезти не удалось, почти все были выведены из строя. Кое-где немцы пытались наладить зимний ремонт оставшегося тракторного парка. Но из этого ничего не вышло. В своих газетах они писали, что скоро из Германии придут тысячи новых машин, что машины эти не чета советским. Повсеместно была объявлена мобилизация трактористов, механиков, шоферов.

И что же, пришла весна. Гебитскомиссары, ландвиршафтсфюреры, коменданты потребовали от крестьян, чтобы те вывели на поля быков и коров. Ни тракторов, ни автомашин оккупанты не привезли. А мобилизованных шоферов, механиков и трактористов под стражей усадили в вагоны и отправили в Германию.

— Яки ж то хозяева, — говорили крестьяне. — Воюют за землю, мало им своей немецкой земли, а вот она теперь пустует, бурьяном зарастает, а наших хлопцев та дивчат к себе везут пахать.

Зерно для сева в некоторые общины привезли. Приставили специальных немцев-контролеров, чтобы те следили за расходом посевного материала. Но семена дали скверные, плохо отсортированные, зараженные клещем, амбарным долгоносиком и сорняками. На работу в общинах

выходили только по принуждению. Часть людей саботировала сознательно, не желая работать на немцев. Другая часть — просто не видела никакого смысла работать. Немцы обещали тем, кто будет активно помогать в борьбе с партизанами, с советским активом, с коммунистами и комсомольцами, тем, кто отличится, кто будет выполнять нормы на севе, дать самые лучшие участки земли при распределении. Но уже никто не верил ни одному слову немцев. Даже полицаи. Их немцы тоже заставляли выходить на общинные поля. Но и они работали кое-как.

Пришла пора уборки. В конце июня и в июле, проходя по полям, мы видели картину страшного запустения. На общинных посевах сорняки нигде не выпалывались. Да и засеяно-то было никак не больше половины колхозных земель. Только на приусадебных участках, да и то не везде, крестьяне следили за своими посевами. Убирали тайком, ночами. Молотили цепами во дворах, а то и в хатах.

Вся надежда крестьян была на картошку. На нее оккупанты охотились не так рьяно.

И крестьянство делало, на основе своих наблюдений, следующие выводы.

— Зарвались немецки гадюки. Не могут воны хозяйнуваты. Яки ж то хозяева, колы воны тилько тягнут; за землей не ходят, не смотрят. Пришли, усе забрали, повытапывали, пожгли. И с этим-то справиться не могут, дальше грабить идут. Так воны долго не продержатся, побегут!

В городах немецкая экономическая политика сводилась также к грабежу. Крупные предприятия повсеместно были закрыты. Только в некоторых цехах располагались ремонтные мастерские танковых, автомобильных и авиационных частей. Остатки оборудования и даже металлический лом вывозили в Германию. Железные изгороди садов, памятники, кладбищенские кресты и плиты — все забрали, ничем не брезгали. В первый период еще пробовали наладить кое-где производство. Но летом 1942 года начали массовую мобилизацию молодежи для отправки в Германию. В первую очередь отправляли квалифицированных рабочих.

Это не было признаком немецкой мощи. Украинский народ переживал трагедию, но видел, что немцы слабеют с каждым днем.

Соппротивление усиливалось. В леса уходили новые сотни и тысячи людей. Бежали от мобилизации, бежали из общин, бежали из немецких поместий.

Не все, кто приходил в леса, присоединялись к большим отрядам; некоторые группы спасались просто от преследования немцев. Плохо вооруженные или даже безоружные, такие группы пользовались

щедротами природы: теплом солнца, тенью лесных деревьев, речной водой. Вот только природа, к сожалению, накормить их как следует не могла. Недостаточно сильные и решительные, чтобы нападать на немецкие обозы, они обращались за продовольствием в села. Иждивенцев у крестьян появилось довольно много. Беда состояла в том, что некоторые такие группы не имели политически выдержанных вожаков. Голод не тетка. Под влиянием голода они, случалось, таскали кур, гусей, а то и бычка у крестьян. Сами того не понимая, они наносили этим вред партизанскому движению.

Обком обсудил вопрос о таких группах. Положение было двойственное. Самый факт роста лесного населения свидетельствовал об усиливающемся сопротивлении немцам. Это хорошо. Но группы, которые только скрываются, гуляют по лесам, — это же еще не партизаны. Было решено привлекать их в областной отряд, вооружать и включать в наши части. Проводить среди них политико-воспитательную работу.

28 июля в Рейментаровских лесах было окончательно оформлено соединение партизанских отрядов.

Не знаю, где впервые появилась такая организационная структура. Мы к этому времени встречались только с отрядами. Правда, незадолго до того наши разведчики связались с отрядами Героя Советского Союза Ковпака и Сабурова. И у них и у нас было большое желание встретиться, познакомиться, провести совместную серьезную операцию. 7 июля наша дальняя разведка доложила, что соединенные отряды Ковпака и Сабурова ведут бои на левом берегу Десны. Некоторые их части форсировали Десну и заняли районный центр нашей Черниговской области — село Гремяче. Мы двинулись им на помощь.

Прошли уже свыше сотни километров, когда узнали, что немцы бросили против Ковпака и Сабурова крупные силы, блокировали подступы к Гремяче и 11 июля заставили партизан вернуться за Десну. Наша встреча не состоялась. Встретились мы только в 1943 году, когда шли в рейд на запад.

Наши разведчики, побывавшие у Ковпака, рассказали, что отряд его, так же как и наш, состоит из многих отрядов. У него единое командование. Все подчиняются Ковпаку и комиссару Рудневу. Называлось ли такое содружество соединением, — не знаю. Да это и не важно.

Жизнь подсказала нам решение соединить группы черниговских отрядов еще в конце 1941 года. Они стали сперва взводами, а позднее ротами единого большого отряда имени Сталина. В марте 1942 года в Злынковских лесах мы действовали совместно с орловскими партизанами

Маркова, Ворожеева и Левченко. Для согласования плана оборонительных и наступательных операций мы организовали тогда партизанский гарнизон. Ворожеев со своим отрядом от нас ушел. Марков и Левченко с той поры сопровождали нас повсюду. Присоединился к нам еще один довольно значительный отряд под командованием Тарасенко. Кроме того, как я уже сказал, небольшие группы советских людей, скрывавшихся в лесах, которые называть партизанскими отрядами было еще рано, тоже присоединялись к нам.

Почему мы не сделали их просто ротами или взводами одного отряда? Ведь, казалось бы, такое решение было самым простым и естественным. Тем более, что некоторые самостоятельные отряды были меньше роты, а некоторые даже меньше взвода.

Этого не следовало делать. Причина в том, что организовались эти отряды не в Черниговской области. У каждого из них была своя славная история возникновения. Каждый из них в районах организации имел связи и часто пополнялся за счет своих районов. Колхозники, уходившие в леса, искали «свой отряд». Этого одного было достаточно, чтобы сохранить за ними старое название.

Вторая, не менее важная, причина была в том, что слово «соединение» показывало небольшим отрядам и группам, действующим порознь в ближних лесах, что и они могут присоединиться к нам, в названии этом была видна и наша конституция.

Командиром соединения обком утвердил меня, комиссаром — товарища Дружинина, начальником штаба — Рванова. Командиром областного отряда имени Сталина был утвержден Попудренко, комиссаром остался Яременко. В состав соединения вошли отряды: областной имени Сталина, имени Ворошилова, имени Кирова и имени Щорса. Были созданы службы соединения: диверсионная, разведочная, минометная батарея, хозяйственная часть, особый отдел, управление связи, отдел пропаганды, кавалерийская группа.

Одновременно с созданием соединения все отряды в торжественной обстановке приняли общую партизанскую присягу. Среди нас появились уже бойцы и командиры, отмеченные правительственными наградами: 18 мая 1942 года 46 наших партизан были награждены орденами и медалями, а мне было присвоено звание Героя Советского Союза. Тут же было установлено обязательное ношение красной партизанской ленточки на головном уборе.

* * *

В конце июля мы узнали о новом приказе Гитлера. Он требовал

уничтожить партизан к 15 августа. Выделил для этой цели шестнадцать дивизий «по наведению порядка». Дивизиям были приданы танковые, авиационные и артиллерийские части.

Действительно, вскоре на Украину стали прибывать новые полки и дивизии. Среди них были теперь не только немцы и венгры. Появились финны и итальянцы.

Разумеется, приказ Гитлера выполнен не был. Однако преследовать нас стали большими массами войск. Столкновения с ними участились. И еще один существенный результат приказа: так как вновь прибывшие войска жгли села и грабили население со свежими силами, разруха и голод значительно увеличились. Не могло это не отразиться и на продовольственном положении партизан.

Начиная с конца июля, противник не оставлял нас в покое. Преследовал по пятам. Мы находились в почти непрерывном движении. И, случалось, попадали в очень тяжелые переделки. Особенно скверно пришлось нам во второй половине августа. Мы потеряли тогда значительную часть своего конского поголовья в болотах. Многих лошадей вынуждены были съесть. На некоторое время из-за отсутствия аккумулятора мы даже потеряли связь с Москвой и фронтом. Однако и в этот период мы не ослабляли своих ударов по врагу.

В каждом отряде нашего соединения, по приказу командования, велся дневник боевых действий. Дежурные «летописцы» назначались командирами отрядов. Менялись они ежемесячно, а некоторые охотники писать становились как бы штатными историками отрядов. Писали, разумеется, не регулярно, а когда позволяла обстановка. Факты каждый летописец подбирал по своему вкусу. Единственное требование, которое к нему предъявлялось командованием, — правдивость.

На привалах наши «летописцы» подзывали к себе бойцов, опрашивали их, делали заметки, а на больших стоянках писали. Нам удалось сохранить дневники почти всех отрядов. Но установить сейчас, кто является автором того или иного отрывка, совершенно невозможно.

Период с конца июля по ноябрь 1942 года хорошо и достаточно подробно освещен в дневнике областного отряда. Привожу его, начиная со знаменательного дня 28 июля, когда было создано соединение и принята присяга.

ДНЕВНИК

***боевых действий областного отряда имени Сталина
соединения партизанских отрядов под командованием
Героя Советского Союза А. Ф. Федорова***

После читки приказов и принятия присяги состоялся концерт художественной самодеятельности. Его организовали и сами принимали в нем участие артисты Черниговского областного театра имени Шевченко — партизаны Хмурый, Коновалов, Исенко.

Вечером ожидали самолет и жгли костры. Но ожидания наши были напрасны.

Разведка донесла, что в Холмы и Корюковку прибыло большое количество немецких войск. Днем со стороны Богдалаевки наступала группа мадьяр и немцев. Под натиском партизан противник отошел, бросив крупнокалиберный пулемет и несколько человек убитыми, в том числе одного офицера.

29 июля начались бои у переправы из села Савенки. Противник обстреливал нашу оборону из артиллерии и минометов, но переправиться ему мы не дали. На наших глазах немецкий офицер расстрелял солдата, который отказался выполнить какое-то его распоряжение.

Ночью немцами были заняты села Рейментаровка, Савенки, Самотуги, Желтые, Сядрино, Олешня, Богдалаевка. Всю ночь был слышен гул машин. В Савенки прибыли танки.

Тридцатого немцы перешли в наступление и дошли до заставы лагеря. Завязался жаркий бой под Богдалаевкой, где стояла вторая рота Сталинского отряда под командованием Балабая. Всю тяжесть боя принял на себя второй взвод этой роты под командованием Быстрова. Он не дал немцам пройти к лагерю. В этом бою сам Быстров был ранен в ногу. Бойцы Попов и Гончаренко в упор расстреливали немцев со стороны Савенок. Особенно надоедал нам один миномет.

Наш минометчик товарищ Мазепов вступил с ним в поединок. Победа осталась за Мазеповым.

Пошли в наступление танки, но застряли в болоте и остались на месте. К ночи противник окружил лагерь засадами. У нас патроны на исходе.

Четвертой роте приказано пойти на аэродром принимать самолет, но там оказались немцы. Пришлось с боем уходить. Всю ночь маневрировали, а к утру вышли в лес.

Усталые люди падали под деревья. За прошедшие сутки никто ничего не ел.

Вдруг послышался лающий крик немецкой команды. Противник подошел к нам вплотную и не успел открыть огонь, как заработало партизанское оружие. Немцы стреляли куда попало, удирали, бросив своего крикливого офицера с дыркой в голове.

Было приказано занять круговую оборону. Вокруг нас все время

слышался гул автомашин. Это противник готовился наступать на лагерь со стороны села Жукли. Показались конные разведчики, посмотрев в бинокли, вернулись в село.

Часов в одиннадцать показалась немецкая колонна.

Партизаны хорошо замаскировались. Васька Курносый (так его все звали, фамилию его знал только штаб) из Кировского отряда влип в ручки станкового пулемета, когда-то отнятого Авксентьевым у мадьяр.

Колонна подходила все ближе. Мы открываем ураганный огонь. Немцы падают, бегут, ползут, стараясь укрыться. «Ура-а-а!..» Партизаны пошли в атаку и загнали фрицев в село Жукли.

Возвращаясь обратно, подбирали трофеи и вытряхивали дохлых фрицев из их обмундирования.

Было подобрано два ротных миномета, три ручных пулемета и тысячи две патронов. Битых фрицев насчитали более шестидесяти. С нашей стороны потерь не было.

Из Жуклей начала бить пушка. Снаряды падали невдалеке от лагеря. На них никто особого внимания не обращал, так как обед был готов и все старались утолить голод.

С наступлением темноты лагерь был нами оставлен. Артиллерия усилила обстрел места нашей дневки. Ребята в сторону взрывов показывали кукиши: «на, мол, выкуси».

Нашлись нытики, которые трусили. Над ними смеялись, не отвечали на их многочисленные трусливые вопросы. Большинство нытиков — новички.

Старые партизаны были уверены, что наше командование из окружения выведет. Бывало с нами и похуже.

31 июля расположились между хутором Кистер и Жуклями. День прошел спокойно.

Дан приказ: оставить повозки для раненых, остальные бросить и с наступлением темноты, соблюдая абсолютную тишину, двинуться в путь.

Прошли между Богдалаевкой и Ченчиками, недалеко от впадения реки Олешня в Убедь. Остановились в старом лагере возле хутора Будущее.

В полдень послышался гул машины и одиночные выстрелы со стороны Радомки.

Противник нас преследовал.

Ночью на 2 августа пошли старым своим маршрутом в Блешнянские леса и стали на дневку. Часов в двенадцать послышалась артиллерийская

стрельба. Это фрицы обстреливали Тополевские дачи, думая, что мы там.

— Лупи! У вас боеприпасов хватит, — шутили ребята.

3 августа, форсировав реку Сновь, мы дневали уже в Соловьевском лесу Орловской области. Путь наш проходил по давно известному маршруту.

Днем немцы бомбили Блешнянский лес.

В 20 часов двинулись в путь через Соловьевку. Население радостно встречало бойцов. Выносили молоко, хлеб, табачок, спрашивали, скоро ли придет Красная Армия. Искренно удивлялись, что так много партизан.

Дежурный по соединению — Балицкий. Когда колонна прошла село, он вернулся, чтобы проверить, не застрял ли кто. Навстречу ему попала старушка; он ее спрашивает:

— Тіточко! Чи не було тут у вас партизанів?

— Булы.

— Скилько?

— Мільон.

— Тіточко, а вы до тысячи можете считать?

— Та чога вы до мене придираетесь. Мільон не мільон, а земле було тяжко.

Днем обнаружили в лесу ямки, в них спрятаны патроны, а вскорости пришли к нам их хозяева — группа парашютистов, которая недавно здесь высадилась.

С темной лагерь переменял место и расположился между Софиевкой и Великими Лядами.

До 14 августа с немцами шли бои на отдельных участках обороны. Патронов становится с каждым днем меньше. Пополнять неоткуда. Противник занял все окружающие села.

Продуктов нет. Питаемся кониной. По двести граммов на душу.

Утром 15 августа не успели ободрать очередную лошадку, как немцы начали артиллерийскую подготовку одновременно с трех сторон. Били из минометов и пушек. Потом показались солдаты с собаками-ищейками.

Партизаны дали хорошего перцу и фрицам и их бобикам, в лагерь не пустили.

Командир соединения Герой Советского Союза Федоров дал приказ оставить повозки, груз забрать на вьюки, для раненых сделать носилки, вынести раненых на плечах. Приказ был выполнен быстро.

Наступила абсолютная темнота, и мы двинулись в путь. Перешли шлях Воронова Гута — Софиевка и потом по болоту.

Носилки с ранеными несли на плечах. На болоте большие кочки, часто

спотыкались. Раненые стонали, умоляли их не трясти.

Перешли шлях, остановились в лесу. Сразу все легли отдыхать, выставив заставы и дозоры, а повара начали варить конину. По воду ходили километра за два в канаву.

Отдохнув и поев мяса, многие пошли к воде, чтобы помыться и постирать белье.

Начальник хозчасти Капранов радовался: «От накормив сьогодні хлопців! Дав по 500 грамів конини!»

А во вчерашнем нашем лагере бегали сородичи Геббельса и щелкали фотоаппаратами, снимали брошенные повозки и ненужное тряпье, чтобы поместить в газете очередную фальшивку с заголовком: «Партизаны уничтожены все до единого. Вот что от них осталось».

Разведка выяснила обстановку на пути дальнейшего нашего движения. Простояли мы здесь два дня, после чего пошли на север по густому, болотистому лесу к железной дороге. Перешли ее у хутора Красный Уголок.

Во время перехода колонны промчался поезд на восток, и у многих чесались руки хотя бы обстрелять его. Но обстановка не позволяла.

У хутора Медвежье остановились, чтобы нарыть картофеля. Рыли руками и ссыпали в сумки, мешки, карманы. Картофель очень давно не ели.

Несколько дней вели разведку, искали брод через реку Ипуть. Пришлось прибегнуть к помощи старика-лесника. С этого момента мы следили за каждым его Шагом, так как сын его служит в полиции.

По приказу командования соединение двинется дальше. А здесь для отвлечения внимания и диверсионной работы остается группа во главе с Балицким.

23 августа распрощались с группой Балицкого. К 19 часам приготовились к движению. В 19.30 — шагом марш.

Колонна бесшумно двинулась, только изредка под ногами слышно похрустывание сухих веток. Идем болотистой местностью. Идти трудно, каждый партизан несет на себе свои вещи, боеприпасы, оружие, только кухня на вьюках. Пройдя восемь километров, сделали привал вблизи домика лесника. Здесь начинается переправа через реку Ипуть.

Берега топки. Навьюченные лошади, утомленные в походах, еле вытаскивают ноги. Часть обессиленных лошадей так и не смогла выйти. С них снимали вьюки и распределяли по бойцам.

К полуночи достигли реки. Бойцы разделись донага. Глубина больше полутора метров, поэтому весь груз надо нести над головой.

Реку форсировали благополучно. Теперь мы на белорусской земле.

Утро. Не спуская глаз смотрели бойцы на село, думая про себя, как бы выйти из колонны, чтобы достать кусочек хлеба или вареную картофелину. Но без разрешения никто не имеет права никуда уходить.

Вскоре достигли места дневки, и отряд наш начал размещаться. После размещения стали рыть колодцы, чистили картофель, чтобы сварить завтрак, а некоторые легли отдыхать.

Отряд, посланный на уничтожение противника, окружил общежитие полицаев и начал вести огонь по дому. Ошеломленные предатели, не ожидавшие партизан, начали вылетать из здания в одном белье. Меткий огонь партизан уничтожил их тут же. В этом бою был убит политрук Леоненко, ранен Миша Егоров и без вести пропал пулеметчик Есентимиров.

Партизаны забрали все продукты, приготовленные немцами: масло, хлеб, мед. Завтрак был вкусный и богатый.

На пути движения было много рябины. Мы с жадностью срывали кисти с ягодами и ими питались на протяжении дня и ночи.

25 августа форсировали реку Беседь. Отряд не делал привала, стараясь скорее оторваться от противника, который подтягивал силы. Ребята еле передвигают ноги. Через каждые двести-триста метров падали на сырую землю от усталости.

Командование разрешило отдых на четыре часа, чтобы сварить обед.

Заготовили дрова, вырыли колодцы, как вдруг передается приказание: «Отставить варить обед, будет только отдых на два часа».

Не зная причины, бойцы начали ругаться. Но приказ есть приказ. Делать было нечего, пришлось ложиться на мокрую землю. Уснули, как мертвые.

Через полтора часа команда: «Приготовиться к движению».

Третьи сутки идем с боями почти без пищи и сна.

С нами вместе шагают Федоров, Попудренко, Дружинин, Яременко, Рванов. Своих лошадей они отдали бойцам, которые не могут идти.

Километров за десять до Чечерских лесов влево село. Командование решило произвести хозяйственную операцию.

Выделили боевую группу под командованием политрука третьей роты Кудинова. Несмотря на усталость и голод, партизаны с радостью, пошли на эту операцию. Полицейские после первых же выстрелов разбежались.

Партизаны узнали у крестьян, где хаты полицаев, где хата старосты.

В хате заместителя старосты разведка обнаружила бочку меда, приготовленного немцам. Ребята, видя, что разведчики несут мед, быстро ввалились в хату. Там получилась неразбериха. Крик, шум, ругань — все смешалось в одно.

Некоторым бойцам меду не досталось, и они спросили у хозяйки, есть ли еще. Она сказала, что больше нет. Но в кладовой нашли еще две бочки меду. Потом обнаружили еще пять бочек. Эти пять бочек доставили в лагерь и организованно распределили по подразделениям.

26 августа. Вошли в Чечерские леса. Расположились между хутором Ямицким и селом Высокая Грива. По лесу ходили неизвестно чьи коровы, и начальник хозчасти соединения Капранов этому очень обрадовался.

Хозяевами коров оказались светилковские и чечерские партизаны. Их командир после неудачного боя ушел через линию фронта. Отряд, разбившись на небольшие группы, сидел в кустах, никуда не показывая носа.

Командиру соединения удалось собрать эти группы и создать Светилковский и Чечерский отряды. Они примкнули к нашему соединению.

Отсюда совершили удачные налеты на полицейские гарнизоны сел Полесье и Казацкие Болсуны.

В первых числах сентября перешли реку Покоть.

На дороге Чечерск — Сидоровичи подорвали несколько автомашин.

11 сентября навязали нам бой. Мы замаскировались на опушке леса южнее села Сидоровичи. Вскоре из села вышла колонна гитлеровцев. Подпустив их метров на пятьдесят, мы открыли огонь из пулеметов, автоматов и винтовок. Гитлеровцы побежали назад. Пали убитые, орали раненые.

Медсестра Валя Проценко внимательно следила за немцами, ползавшими по полю, и указывала пулеметчику на каждого немца, старавшегося скрыться. Валя была ранена в плечо, пулеметчику Саше Широкову пуля разорвала ухо и поцарапала голову.

На шляху у мостика поставили мину с таким расчетом, что крестьянская повозка может пройти, а грузовая автомашина обязательно должна подорваться. Пулеметчики легли в засаду. Показался грузовик. Наехал на мину задним левым колесом.

Оглушительный взрыв — и машина с патронами и мост полетели в воздух. Пулеметчики подобрали обрывки документов, газет и вернулись в лагерь.

12 сентября. Приказ приготовиться к дальнейшему движению.

Непроглядная ночь, проливной дождь. Наша колонна движется на север. В пути несколько раз останавливаемся, так как колонна разрывается. Приходится держаться за хвост лошади, чтобы не оторваться от своих.

Утром такой же дождь. Возле хутора Гута Осиповская остановились, чтобы сварить обед. Над лесом поднялось облако дыма. Это заметили фрицы. В лагерь полетели снаряды. Из хозчасти прибежал во взвод диверсантов какой-то боец, спрятался от снарядов за ящиками с толом. Это вызвало общий хохот.

Вечером колонна двинулась в путь. Прошли поселок Криничный, южнее Михайловки. Здесь на лугу паслись немецкие лошади, и ребята воспользовались этим, чтобы заменить своих измученных лошадей.

Обошли с юга Ларневск, свернули на северо-восток, с юга обошли село Медведи и там, на двух ветряных мельницах, забрали муку, а вместе с ней и дежурного полицейского.

15 сентября остановились в лесу юго-восточнее села Попоротня. Воды не было, пришлось рыть глубокие колодцы и дежурить с кружкой, пока натечет вода, чтобы ее зачерпнуть и вылить в ведро. Боец Лопачев рассказал: «Я сидел в колодце, ведро стояло наверху почти полное. Еще наберу одну кружку и понесу на кухню. Зачерпнул, поднимаюсь, и... на меня смотрит благодарными глазами худая кляча, роняя изо рта капли драгоценной влаги. Ведро пустое».

16 сентября вечером шагали. Лес кончился. Поле. Ясная лунная ночь. Трава белая от мороза. Подошли к реке Беседь между местечком Хотимок и Киселевкой. Началась переправа. Бойцы быстро раздеваются и входят в воду, неся свои пожитки над головой. Шуму нет, только слышен плеск воды, да у ребят стучат зубы от мороза.

Два дня отдохнули и начали готовиться к большой операции, которую нам обещали. Идти в бой рвется каждый партизан и очень огорчается, когда почему-либо получает отказ.

Гордеевская операция.

23 сентября 1942 года вечером группа партизан человек в триста вышла из лагеря с задачей разгромить гарнизон районного центра — Гордеевки.

Кроме того, предстояло уничтожить спиртозавод в поселке Творишино. Командовать операцией назначен Попудренко.

На спиртозавод отправлялась рота отряда имени Ворошилова во главе с Марковым.

Основной удар по райцентру наносили первая и вторая роты отряда имени Сталина. Несколько групп отряда имени Щорса залегли у дороги.

К 4.00 24 сентября подразделения подошли к исходному положению. Зазвенела пила, и телеграфные столбы повалились на землю. Связь была прервана.

Щорсовцы разошлись по засадам. Оставалось еще два часа до начала операции, поэтому почти все бойцы улеглись в придорожную канаву, чтобы отдохнуть и хоть немного укрыться от холодного осеннего ветра.

Командиры собрались возле Попудренко, который давал последние указания.

Скоро командиры начали поднимать свои подразделения, чтобы принять боевой порядок. Все, ежась от холода и стараясь не шуметь, занимали свои места.

На правом фланге была первая рота, на левом — вторая. Вытянувшись в шеренгу, пошли, зорко вглядываясь в улицу местечка.

В 6.00 ударил наш батальонный миномет. Это сигнал к атаке. Мина просвистела, и утреннюю тишину разорвал резкий взрыв. Все бросились бегом к домам, бежали по улицам. Вот треснуло окно, и из него выскочил полицейский, пробежал немного и повис на заборе, как платье для просушки.

Подбежали к дому начальника полиции. Он в одних подштанниках со своей квартиры проскочил на квартиру учительницы, откуда выпрыгнул в окно.

Один из партизан крикнул: «Стой, не стрелять, ребята, я его догоню», и бросился со всех ног за перепуганным начальством.

Иудушка был пойман и тут же расстрелян.

Первая рота подошла к комендатуре. Фрицы, спрятавшись за кирпичный гараж, стали перебрасывать через него гранаты, не давая партизанам подойти.

Сколько командир роты ни кричал, ничего не получилось. Ребята сами орали, но вперед не шли. Тут двинул дело Сережа Мазепов. Изловчившись, он убил немца, который метал гранаты, и крикнул: «Ребята, немцы удирают, за мной, бегом!» И комендатура была занята.

Остатки немцев удрали на мельницу, где нашли свою смерть.

Партизаны вошли в центр. Бой в основном прекратился, только по огородам и окраинам местечка партизаны вылавливали поодиночке фрицев и их слуг. Был пойман также брюхатый бургомистр.

Освободили арестованных. Среди них оказался учитель. Он по приказу немцев собрал на районное совещание учителей и там вдруг завел патефон и начал проигрывать пластинки с советскими песнями.

Население, не ожидая окончания боя, вышло почти все на улицу. Нас жадно расспрашивали о фронте, о Советском Союзе, о Красной Армии. Охотно помогали нам вылавливать немцев и полицейских. Один житель проткнул вилами немецкого следователя.

Тут нам показали немецкую листовку. В ней за голову Федорова обещали пятьдесят гектаров удобной земли и пятьдесят тысяч деньгами. Кроме того, соль, спички, неограниченное количество рому или водки по выбору. За живого или мертвого — все равно. За Попудренко обещали тридцать тысяч деньгами. За средний комсостав по десять тысяч. За рядового партизана пять тысяч и тоже соль, спички и керосин.

Мы открыли склады и роздали населению соль, спички и другие товары.

3 октября после операции отдохнули сутки и повернули назад. Противник из засады обстрелял нашу колонну. Немедленно развернулись первая и вторая роты сталинцев.

Заработал пулемет Авксентьева, Сережа Мазепов метко долбил противника из миномета. Бывшие в засаде немцы побежали, бросив сорок солдат убитыми и четыре горящие автомашины.

С нашей стороны были потери — двое убитых и трое раненых.

Быстро перешли мост, а затем железную дорогу, прошли хутор Соколовский и остановились в лагере местного отряда Шемякина.

Тут простояли дней десять. Народ отдыхал, веселился. Вечером танцевали под гармошку и пели песни. Отделом пропаганды был подготовлен очередной номер живой газеты.

В этом лесу пришла к нам группа военнопленных из тринадцати человек во главе с Костей Лысенко, служивших в немецкой армии и бежавших оттуда, чтобы перейти к нам; они принесли с собой тринадцать винтовок и три ручных пулемета.

Вскоре мы оставили гостеприимный лес.

Пошли по маршруту Осинка, Вьюково, Садовая, Котолино, где опять форсировали реку Ипуть. В селе Николаевка нас встретила партизанская застава.

Догнала нас группа Балицкого. Мы не виделись с нашими лучшими диверсантами больше двух месяцев. В последнее время не имели о них никаких сведений. Устроили им торжественную встречу. Командиры

расцеловались с каждым бойцом по очереди и каждому поднесли французского вина, а тем, кто попросил, дали еще и спирту.

Храбрый командир диверсантов прочитал рапорт в присутствии всех партизан соединения:

«За время с 23 августа по 25 октября диверсионной группой, оставленной по вашему заданию на железных дорогах Бахмач — Брянск и Гомель — Чернигов, сделано следующее.

Убито 1487 немецких оккупантов, из коих 327 офицеров и один генерал. Ранено 582 немца. Уничтожено девять вражеских эшелонов: 10 паровозов и 125 вагонов. Приостановлено движение на этих магистралях в общей сложности на 191 час. Подорвано на шоссейных дорогах пять грузовых и одна легковая машина. Казнено десять старост и полицейских».

Лес, в который мы прибыли, в народе называется Клетнянскими дачами.

Размеры его довольно внушительные. Тянется он сплошной полосой, соединяясь на севере с Мухинскими и на востоке с Брянскими лесами.

Сразу же по прибытии стали строить землянки и другие подобные сооружения.

Кроме нашего соединения, в этих лесах обосновались многочисленные отряды, большие и малые. В общем лес этот представлял собой гигантский партизанский лагерь.

Во все стороны расходились дороги и тропы к соседним отрядам: Шемякина, Шестакова, Зебницкого, Еремина, Горбачева, Антоненко, Клетнянскому районному, Мглинскому районному и др.

Тысячи непокоренных собрались здесь, чтобы мстить ненавистному врагу за поруганную землю, за кровь своего народа.

Эта территория в несколько сот квадратных километров поистине представляла собой партизанский край. Десятки сел и поселков жили свободной жизнью советских граждан, не зная гнета немецких оккупантов.

Население помогало партизанам продовольствием, теплой одеждой, средствами транспорта.

В деревне Котолينو работала водяная мельница производительностью в 300 пудов в сутки, обслуживала все партизанские отряды.

В деревне Николаевка был организован пункт обработки шерсти. Жители этих сел охотно давали партизанам хлеб, картофель, сено, молоко для раненых. В своих хатах размещали госпитали.

В свою очередь партизаны охраняли труд и покой советских граждан, несли гарнизонную службу во всех селах вокруг леса в радиусе

пятнадцати-восемнадцати километров.

Молодежь окружающих сел помогала бойцам нести гарнизонную службу, вместе с бойцами-партизанами дежурила на заставах, в дозорах, секретах, выделяла проводников. Девушки вязали рукавицы, шили-маскировочные халаты.

Партизаны доставляли в эти села газеты, регулярно снабжали их сводками Совинформбюро, а когда наладилась связь с Москвой, стали демонстрировать кинокартины, читать лекции силами квалифицированных лекторов, прилетавших к нам из советского тыла.

На поле у села Николаевка был оборудован аэродром для приемки самолетов с посадкой.

По приказу командования быстро расчистили площадь. Охрану аэродрома поручили второму взводу первой роты. По условному сигналу каждую ночь на поле вспыхивали костры.

10 ноября 1942 года ожидается первый самолет с посадкой. Все для этого подготовлено. В 11 часов вечера послышался гул моторов. Ближе и ближе. В темноте вырисовывается силуэт самолета-гиганта. Несколько приветных кругов, и огромная машина садится на нашем аэродроме. Крики «ура».

Ликуют партизаны. Летчики охотно рассказывают им о Большой Земле, Москве, о заводах и колхозах. Угощают партизан папиросами.

В разгар беседы подъезжает командир соединения Герой Советского Союза Федоров.

Веселым взглядом окидывает он присутствующих.

«Ну, — говорит он, — до свидания, желаю успеха», — и быстро карабкается по лесенке в кабину.

Бойцы-партизаны ходят вокруг самолета, разглядывают его и гладят рукой. Заревели моторы, включен яркий свет прожекторов. Самолет дрогнул и побежал по белой глади поля, затем легко оторвался от земли и, сделав несколько прощальных кругов, взял курс на восток.

* * *

Стрелок-радист втащил лестницу, захлопнул дверцу. Я бросился к окну, но успел только увидеть, как мелькнул костер. Моторы взревели, самолет застучал, запрыгал на буграх: аэродром все-таки был далеко не идеальным. Еще несколько секунд, стук прекратился — мы оторвались от земли.

Мы оторвались от Малой, от Партизанской Земли и, если верить летчикам, через три часа будем на Большой Земле — в Москве.

Поверить в это очень трудно.

Даже теперь. Хотя самолет уже в воздухе и холод высоты все настойчивее лезет за пазуху.

Впрочем, холод это пустяки. Чувство, которое испытываешь, гораздо сложнее. Тут смешались и ликование, и мальчишеский задор, и задумчивость, и страх.

Не страх перед возможной катастрофой и смертью. Нет, страх перед мыслью о том, что можешь не долететь и Москвы никакой не будет. Много рисуешь сейчас в воображении, закрыв глаза: Красная площадь, Большой театр, улица Горького и как ты идешь, и как открываешь дверь кабинета, и навстречу тебе поднимается из-за стола Никита Сергеевич Хрущев... Все это пока воображение: страшно, что вдруг что-нибудь случится и так оно и останется воображением.

Скажу по совести, — очень я завидовал Ковпаку, Сабурову, словом, всем тем партизанским командирам, которые попали в Москву в августе. Мне было известно, что я тоже был в числе приглашенных на совещание партизанских командиров в Центральный Комитет ВКП(б). Читатель уже знает, что радиосвязь с нами была в то время потеряна. Центральный Комитет и штаб партизанского движения направили в немецкий тыл одну за другой две группы со специальным заданием найти отряд Федорова. Одна из них героически погибла, попав в расположение противника, а другой, после долгих блужданий по лесам, удалось в конце октября найти нас. Эти товарищи доставили нам новую портативную рацию и они же рассказали об августовском совещании в Кремле. Но если бы связные прибыли даже и вовремя, мне все-таки не удалось бы вылететь в Москву: немцы тогда нас так прижали, что мы не решились бы принять самолет.

Конечно, я, как и все мои товарищи, был очень взволнован известием о том, что в Москве состоялось совещание партизанских командиров. Связные, разумеется, не могли рассказать нам никаких подробностей об этом совещании. Но нам стало ясно, что ЦК ВКП(б) и ЦК КП(б)У обеспокоены потерей радиосвязи с нами и отсутствием оперативных данных о нашем положении и наших действиях. Было также ясно, что партия ждет от нас подробного отчета.

Все мы понимали, что пройдет неделя, две, месяц и, как только представится возможность, к нам прилетит из советского тыла самолет, заберет тяжело раненых и, быть может, передаст мне приказ вылететь в Москву с отчетом.

И действительно: не прошло и двух недель, а я уже находился на пути в Москву.

В тяжелой полевой сумке, лежавшей у меня на коленях, я вез в

Центральный Комитет партии отчет о боевой и политической деятельности нашего подпольного обкома. Последние две недели в условиях тяжелых переходов и непрерывных стычек с наседавшими на нас карателями обком неоднократно собирался. То ночью в хате на окраине села, то в поле у костра мы подолгу обсуждали каждую страницу отчета. А однажды, укрываясь от осеннего дождя в брошенном итальянском фургоне, мы размышляли... Да, именно размышляли, хотя составляли отчет. К тому времени мы уже знали, что Ковпак и Сабуров получили какое-то новое задание. Мы понимали, что отчет — это не только подытоживание прошлого, но и взгляд в будущее. В зависимости от того, как оценит партия наши боевые дела, нашу работу с народом, определится, что нам можно доверить в будущем.

Я раскрыл полевую сумку и перелистал отчет. В его скупых и лаконичных строчках воплотились все наши мысли, чувства, надежды, мечты... Я снова представил себе Москву и снова испытал страх, подумав о том, что с самолетом может что-нибудь случиться.

Густая тьма за окнами и тусклый свет малюсенькой лампочки в кабине, слабые голоса товарищей. Кто-то из них трогает за плечо, спрашивает... Что-то ему кричишь в ответ...

Часто смотришь на фосфор циферблата, но не замечаешь, сколько прошло времени. Стараешься запомнить в другой раз, но когда опять взглянешь, оказывается, уже забыл, сколько было перед этим. Становится душно и очень холодно. Открывается дверца отделения летчиков. Второй пилот сообщает, что летим над линией фронта.

Я зашел к летчикам. И вдруг увидел фронт. Мы летим на высоте в четыре тысячи метров. Ночь ясная, но звезд нет. Скорее всего, я их не замечал: так много ярких огней сверкало над землей. Думаю, что радиус обзора был километров сорок. Зеленые, красные, фиолетовые, желтые ракеты прочерчивали темноту во всех направлениях. По земле ползли в разные стороны длинные лучи... Я не сразу догадался, что это фары автомобилей. Чувство тревоги пропало. Его заменило восхищение. Никогда я не видел такого фейерверка. Вероятно, салют победы в Москве был еще более ярким, но тогда о салютах нам ничего не было известно, а окончательная победа была еще далека.

Второй пилот прокричал мне что-то в ухо, и в то же мгновение лес лучей поднялся в воздухе. Столбы прожекторного света стали шарить вокруг нас. Блеснуло серебристое крыло нашего самолета. Красные шары стали лопаться совсем близко, немного выше и чуть ниже. Шум моторов, свирепый вой и свист ветра заглушали все звуки. Я довольно долго

развлекался, глядя на эти красные шары. И вдруг понял — это снаряды. Это же и есть то самое, чего больше всего нам нужно бояться.

Самолет, по-видимому, шел вверх. Холод стал нестерпимым. Я вернулся в общую кабину и встал на колени у окна. Все, кроме тяжело раненых, тоже прилгнули к стеклам. Вскоре разрывы стали редеть. Мы пытались делиться впечатлениями. Дышалось легче: самолет резко снижался. Сердце уже не так быстро стучало. Мускулы болели: оказывается, все это время я был крайне напряжен.

Прошло минут сорок. Снова открылась дверца кабины летчиков, второй пилот сообщил, что приближаемся к Москве.

Аэродром был освещен очень скупо. Незнакомые лица окружили нас. Мне кто-то жал руки, я расцеловал какого-то незнакомого усача, потом встречающие расступились, женщина в военной форме протянула мне руку. Рукопожатие ее было резким и сильным. Она громко представилась:

— Подполковник Гризодубова.

Потом мы шли по лесной, слегка заснеженной аллее. Открылась дверь... Яркий свет, десятки белых столиков и масса людей в комбинезонах и меховых куртках... Нам все жали руки. Мы ели, поднимали стопки, говорили, отвечали на множество вопросов, хохотали.

Это была столовая летчиков подмосковного Монинского аэродрома. Оказывается, не для нас специально готовили пищу: тут в любое время суток прилетевшие из далеких рейсов могли пообедать.

В седьмом часу утра подполковник Гризодубова сообщила нам, что можно отдохнуть. Приготовлены койки. Я спросил, как устроены наши раненые, хотел пойти к ним. Но Гризодубова сказала, что они все уже в аэродромном госпитале и все спят.

В маленькой комнате я разделся и лег между двумя изумительно белыми простынями. Лег, отлично понимая, что не усну. Но с наслаждением вытянулся и вдыхал свежий запах чистого белья. И вдруг расхохотался: на стуле я увидел странные доспехи: огромную шапку с красной лентой, мадьярку куртку из пышной венгерской цыгейки, кожаное пальто, а поверх всего лежали автомат, четыре запасных диска, маузер, парабеллум...

Все это минуту назад было на мне и весило, наверное, не меньше пуда. Вот почему мне сейчас так легко. В последнее время я почти никогда не снимал с себя всей этой амуниции.

Ждали представителей ЦК КП(б)У и Украинского штаба партизанского движения. Товарищ Гризодубова сказала, что уже соединилась по телефону с гостиницей «Москва»: там нам приготовили

номера. Сейчас приедут за нами машины.

Но машин не было. Мы лежали часа два, разговаривали. Потом Володин он был москвичом и все здесь знал — предложил не ждать, а ехать электричкой.

Идея нам понравилась. Мы быстро оделись и, распрощавшись с гостеприимными хозяевами аэродрома, пошли на станцию Монино.

* * *

Монино — конечная станция. В поезде сперва было свободно. Одновременно с нами в вагон вошло только несколько женщин и школьников. Потом рядом со мной сел старый рабочий.

Мальчишка лет восьми тыкал в нашу сторону пальцем. А потом, когда народ стал прибывать, мы заметили любопытные взгляды, обращенные на нас. Первым заговорил со мной старик:

— Откуда вы, сынок, такие?

— Какие такие, папаша?

— Кто вас поймет — оружия повесили, будто в бой собрались. По одежде будто не солдаты...

Чумазый ремесленник вмешался и звонким голосом сказал:

— Партизаны.

— Как ты узнал? — спросил Яременко.

— Автоматы немецкие, усы, ленточки. Каждый грамотный человек поймет. Бороды вы, наверное, сбрили, да?

Так завязалась беседа. Минуту спустя нас обступили. Входящие на других станциях жались к центру вагона. Мы стали предметом всеобщего внимания. Посыпались вопросы. Пожилая женщина крикнула через головы людей:

— А нет ли у вас Морозова? Виктор Николаевич Морозов. По радио передавали, что служит в партизанском отряде, а где — не сказали.

Интересовались решительно всем. Когда кто-нибудь из наших ребят говорил, в вагоне становилось необычайно тихо, как на лекции. Внимание людей нас взволновало и растрогало. Мы заметили, что у москвичей преувеличенное представление об опасностях, которым подвергаются партизаны. Когда мы пытались развеять эти страхи, слушатели протестовали:

— Это вы скромничаете, знаем...

Я сказал ремесленнику, что ребят его возраста у нас в отряде больше двадцати. Мальчик сперва загорелся:

— А можно к вам записаться, правда? Я бы очень хотел, у меня два брата на фронте, я бы им помог!

Кругом рассмеялись. Он смутился, покраснел:

— Нет, я понимаю, — сказал он, глядя в окно, — надо быть совсем другим...

— Правильно, — подтвердил мой сосед — старик. — Надо быть героем. Партизаны — это, брат ты мой, люди особого закала и выдержки, мы с тобой мало каши ели.

Это в сущности очень вредное представление о партизанах, как о каких-то чудо-богатырях, внушали газетные очеркисты и литераторы. Я позднее, почитав в Москве газеты и журналы, увидел, что рассказы о партизанских подвигах нередко преувеличены. Герои этих очерков так безгранично храбры и необыкновенны, что даже совестно: почему ты не такой. И, конечно, рядовой читатель думает: «Куда мне равняться с такими смельчаками». Преодоление страха — вот о чем мало пишут. А это и есть самое главное. Обидно было также и то, что нет в наших рядах писателя, который мог бы правдиво рассказать о том, как самые обыкновенные люди работают и учатся в лесах, как героизм становится необходимостью, частью общей дисциплины и сознания.

А мы в свою очередь удивлялись всему тому, что видели. Я, по всей вероятности, не очень деликатно разглядывал худую высокую женщину в очках. На плече она держала, как ружье, лопату с надетой на нее папкой для бумаг; даже ленточки были завязаны вокруг черенка. Улыбнувшись, она сказала:

— Вы так на меня смотрите...

— Откровенно говоря, — не на вас, а на лопату...

— В самом деле? Да ведь правда, это, должно быть, смешно с непривычки. А вы посмотрите вокруг...

Я последовал ее совету и тут только заметил, что лопаты были у многих — завернутые в тряпки, в бумагу... И почти все пассажиры — на коленях, за плечами, в руках — держали наполненные мешки и кошелки.

— Картошка-кормилица, — серьезно объяснила молодая работница. — Мы, товарищи партизаны, герои лопаты... А что вы думаете, — разгорячившись, продолжала она, — зачем смеяться? Тут, поди, каждый той же лопаткой траншеи вокруг Москвы рыл...

Замечательна эта способность советского человека — просто и душевно разговаривать во всех условиях. Десять-пятнадцать минут общения — и мы уже прекрасно понимали друг друга, и казалось, что знакомы много лет.

— Жалко, что немецкие поезда не ходят с такой скоростью! — воскликнул Балабай.

И не только мы, почти все пассажиры его поняли и рассмеялись.

— Вы, небось, приучили фрицев ездить медленно! — с пониманием дела заметила проводница вагона. — На таком ходу, если мина, — каша получится, верно, папаша? — обратилась она ко мне.

Я взглянул на нее с интересом. Было ей никак не меньше тридцати лет.

— Рано вы меня в папаши...

— А сколько вам?

— Сорок.

— Да ну! Не верится что-то... И вы, верно, не поверите, что мне двадцать два. Вот и считайте.

Она весело расхохоталась, и я с ней, и кругом все стали улыбаться. Почему? Казалось бы, надо грустить...

— Вот ведь мы какие, советские люди, — объяснил все старик.

Ехали довольно долго. Я захотел курить, свернул папиросу и поднялся, чтобы пойти в тамбур.

— Сразу видать партизан, — сказала проводница. — Дисциплинки не хватает. Да ладно, вы гость, курите здесь, я контролеру, в крайнем случае, объясню.

Когда мы вышли на Комсомольскую площадь, всеобщее внимание заставило нас подтянуться. Мы и сами не заметили, как выстроились и пошли в ногу. Так, строем, мы вошли на станцию метро.

Через десять минут мы расцеловались со Строкачем, Корнийцом, Спиваком, Старченко, Гречухой — многие руководящие работники ЦК КП(б)У и правительства Украины жили в то время в гостинице «Москва». Потом Леонид Романович Корниец организовал по случаю встречи торжественный завтрак.

Я слушал речи и тосты, а с улицы доносились звонки трамваев, сигналы автомашин...

— Слушайте, товарищи! — неожиданно воскликнул, прервав всех, Балабай. — Да ведь это же, черт возьми, Москва! Мы ведь в Москве. Ведь рукой подать — Кремль! Давайте же выпьем за Москву!!!

В Москве в это время действовал Украинский штаб партизанского движения, фактическим руководителем которого был Никита Сергеевич Хрущев. Несмотря на большую работу, которую он проводил как член Военного Совета юго-западного направления, а затем Воронежского и 1-го Украинского фронтов, товарищ Хрущев непосредственно руководил партизанским движением на Украине. Начальником штаба партизанского движения являлся товарищ Строкач. Кроме того, в Москве действовал Центральный штаб, начальником которого был секретарь ЦК КП(б)

Белоруссии товарищ Пономаренко. Штабы были подчинены Климентию Ефремовичу Ворошилову.

Здесь, в Москве, встречаясь с работниками Центрального Комитета партии и партизанских штабов, я увидел, как велики партизанские силы, какой гигантский размах приобрело народное сопротивление в тылу врага. И, что, может быть, еще важнее, я увидел и почувствовал, что в общей сумме вооруженных сил государства партизанское движение занимает очень значительное место, что оно планируется и направляется Центральным Комитетом ВКП(б).

В армии роты, полки, дивизии, фронты повседневно чувствуют соседство других рот, дивизий, фронтов, единство не только целей, но и действий. Партизанские отряды, всегда разобщенные, всегда окруженные врагом, часто преувеличивают свое одиночество. Радио и авиация — вот и все, что связывает их с Большой Землей, с армией. Нити этой связи легко рвутся, и тогда-то уж одиночество кажется полным.

В Центральном и Украинских штабах я познакомился с высококвалифицированными офицерами, повседневно и оперативно работающими с далекими, затерянными в лесах партизанами. Поговорив со Строкачем и Пономаренко, я узнал, что, когда мы потеряли связь с Москвой, это было не только нашим несчастьем.

В Москве волновались не меньше нас. Поиски были обоюдными. Но мы только слегка попискивали, когда находили радиопитание, а Москва круглосуточно посылала в эфир тревожные сигналы. Просила другие отряды, военных разведчиков, подпольщиков: «Сообщите, где Федоров?»

Я узнал, что инженеры думают изо дня в день над специальными видами партизанского вооружения, конструируют мины, глушители для огнестрельного оружия. И если бы мы не потерялись, то получили бы кое-что из оригинальных новинок.

Я узнал, что тысячи добровольцев со всех концов страны шлют в Москву заявления — просят, а некоторые даже требуют: «Направьте нас к партизанам». Нет, не только украинцы и белорусы, которым хотелось участвовать лично в борьбе за освобождение родных областей. Такие заявления приходили от людей всех или почти всех национальностей СССР.

Все эти заявления в партизанских штабах систематизировались, люди, их приславшие, изучались. И многим, очень многим, после проверки, посылали вызов в Москву.

Я узнал, наконец, что в Москве есть специальный партизанский госпиталь. Сотни наших товарищей по борьбе во вражеском тылу уже

вылечились там и улетели обратно, в свои отряды...

Прямо скажу, в Москве мое партизанское самоуважение очень повысилось. Особенно после того, как товарищи Пономаренко и Строкач показали кое-какие суммарные цифры. Познакомили с некоторыми общими итогами партизанской борьбы. Дух захватывало от этих цифр. Публиковать их, разумеется, пока не следовало. Но мне очень захотелось поскорее увидеться с товарищами, рассказать в отрядах, что такое партизанское движение.

Да, именно так, рассказать партизанам, что такое партизанское движение. Об этом они знали очень мало. Только то, что видели и делали сами. А между тем в Москве каждый человек, который узнавал, что я «оттуда», задавал мне тот же самый вопрос: «Что такое партизанское движение? Расскажите подробнее...»

12 ноября 1942 года меня принял товарищ Ворошилов. После того как Пономаренко меня представил, Климентий Ефремович пожал мне руку и сказал:

— Садитесь. Доложите и возможно подробнее.

* * *

Я докладывал больше двух часов. В сущности это был не доклад, а живая, непринужденная беседа. Атмосферу непринужденности создал сам Климентий Ефремович. В самом начале беседы, обратившись к генералам и полковникам, которые тут присутствовали, товарищ Ворошилов сказал:

— Должен вас предупредить, что товарищ Федоров не военный специалист, а секретарь обкома. В некоторых специфически военных вопросах он имеет право на ошибки.

Я постарался, конечно, не очень широко пользоваться данным мне правом. Вопросов Климентий Ефремович Задал множество. И хотя готовился я к докладу долго и серьезно, некоторые из них застали меня врасплох.

Когда я кончил докладывать, Климентий Ефремович поднялся из-за стола и, внимательно, испытующе глядя мне в глаза, сказал:

— Вы, вероятно, понимаете, что в Сталинграде сейчас решаются Судьбы войны и что... в недалеком будущем фронт приблизится к вам. Наступление Красной Армии будет стремительным. Думали вы над тем, как должна измениться ваша партизанская тактика в условиях Широких наступательных действий Красной Армии? — Не дав мне ответить, он продолжал: — Ваша помощь будет очень нужна Красной Армии.

Климентий Ефремович вышел из-за стола. Он подвел меня к стене, почти сплошь закрытой шелковыми шторами. Раздвинув их и открыв

большую карту-десятикилометровку, всю исчерченную цветными карандашами, товарищ Ворошилов взял указку и обвел ею районы, где смыкаются Гомельская, Черниговская и Орловская области, то есть районы наших действий. Я, вероятно, не сумел скрыть удивления, когда увидел намеченный синими стрелками весь путь нашего движения за последние полгода. Замечательно, что сообщение, которое я только вчера сделал в штабе о наших действиях в самое последнее время, уже нашло отражение на этой карте. Климентий Ефремович, подметив мое удивление, улыбнулся.

— Близко к истине?.. Так вот, не думаете ли вы, что вам пора отсюда двинуться в направлении какого-нибудь крупного железнодорожного узла, оседлать этот узел, стать там хозяином и не пропускать на фронт вражеские эшелоны?

Я не нашел сразу, что ответить. Товарищ Строкач меня опередил:

— Разрешите, товарищ Маршал? Мнение Украинского штаба — возможно скорее вернуть соединение Федорова из Клетнянских лесов в Черниговскую область...

— Бахмач? — с живостью откликнулся Климентий Ефремович и, подумав, продолжал: — Можно и Бахмачский узел, но можно и Коростеньский, и Шепетовский... Вы, между прочим, знаете, товарищ Федоров, что Ковпак и Сабуров вышли в рейд на запад? Тоже неплохое дело. Здесь близость фронта будет вам мешать. Не лучше ли отойти поглубже? Там меньшая концентрация немецких войск... Хватит у вас сил на большой рейд? Мы, разумеется, вам кое в чем поможем... Хорошо, не отвечайте сразу, подумайте. Но только учтите, что пора значительно усилить диверсионную деятельность. Это сейчас главное. У вашего соединения есть уже некоторый опыт, не так ли?

— Сорок шесть эшелонов, — оказал я.

— Какими средствами вы пользуетесь? Где берете взрывчатку?

— Мы получали тол. Мины делаем сами. В последнее время и взрывчатку добываем из немецких снарядов и неразорвавшихся авиабомб.

Климентий Ефремович заинтересовался нашими кустарными опытами. Я передал некоторые подробности: как выплавляем тол из снарядов, как охотимся за неразорвавшимися бомбами.

— Немцы, Климентий Ефремович, учат своих летчиков прицельному бомбометанию и посылают для этого бомбить хутора, мельницы, маленькие населенные пункты, а то и большие. При этом много бомб не взрывается. Как только наши диверсанты завидят звено таких «учеников», так скачут в населенный пункт «ловить бомбы». Народ даже сердится на ребят: «Вы, говорят, — черти, радуетесь, видно, когда нас бомбят...»

Радость, конечно, не велика, но тол нужен.

— Так, значит, просто, в порядке учебы и бомбят? Даже не в наказание за партизанские действия? — Покачав головой, Климентий Ефремович после паузы добавил: — О таких фактах надо писать, надо рассказывать нашему народу, солдатам... Но вернемся к нашему разговору. Итак, — продолжал Климентий Ефремович, — что нужно еще, чтобы вы могли выйти в глубокий рейд? Вы уже обдумали этот вопрос, согласны, что выходить надо?

Я действительно уже принял такое решение, но только не успел его высказать. И я перечислил наши нужды. Просил побольше автоматов, пулеметов, противотанковых ружей, несколько пушек, несколько радиостанций, походные типографии, бумагу. Рассказал о наших бытовых нуждах. Но как-то случилось, что я забыл упомянуть взрывчатку.

— Вот видите, товарищ Пономаренко, — обратился Климентий Ефремович к начальнику штаба: — недооценивают ваши командиры диверсионную работу.

Это был досадный промах. Тем более досадный, что важность этой стороны партизанской деятельности я вполне осознал. Пришлось оправдываться. Климентий Ефремович оказал:

— Обсудите с товарищами Пономаренко и Строкачем, какое избрать направление, продумайте маршрут.

И опять товарищ Ворошилов вернулся к подробностям партизанской жизни. Интересовался тем, как организован отдых бойцов, питание, как работают наши госпитали. Особенно большое внимание уделил связи с населением:

— Создавайте по пути следования партизанские резервы и резервы Красной Армии. Вы понимаете, о чем идет речь? Впечатление, которое вы, проходя, оставите у народа, ваша пропагандистская и агитационная работа подготовят и вам и нам тысячи помощников. Это важная часть дела. Очень важная.

Прощаясь, Климентий Ефремович спросил:

— Вы, наверное, захотите встретиться с семьей, поедете к ней?

Я сказал, что не предпринимал еще никаких попыток связи, не знаю пока даже точного адреса. Но если выберу время, конечно, поеду.

— А может быть, лучше привезти семью сюда, к вам? В самом деле, товарищ Строкач, организуйте это дело. Насчет самолета я распорядюсь. Устраивает вас такое решение, товарищ Федоров? Вот и хорошо... Готовьтесь к рейду. И ничего не забывайте.

На этом мы распрощались.

Через два дня на центральном аэродроме я встретил жену и троих своих дочерей.

Они, между прочим, утверждают, что хотя я ужасно изменился и был одет в немыслимый партизанский тулуп, узнали меня еще из окна самолета. И что, когда они, выйдя из машины, кинулись ко мне, то правая щека у меня дрожала, как телеграфный аппарат.

До сих пор не знаю, стоит ли им верить.

* * *

Через некоторое время в Москву приехал Никита Сергеевич Хрущев. На заседании ЦК Коммунистической партии (большевиков) Украины я сделал доклад о полуторагодичной работе Черниговского подпольного обкома и боевых действиях нашего партизанского соединения. На этом же заседании Центральный Комитет решил разделить наше соединение на два и одно из них послать в большой рейд на Западную Украину.

Книга третья

ВПЕРЕД, НА ЗАПАД!

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ДАЛЬНИЙ РЕЙД

Больше месяца пробыли мы в столице — знакомились с новым вооружением, принимали его; участвовали в ряде совещаний, на которых специалисты помогали нам разработать тактику будущих боев; Украинский штаб партизанского движения вместе с нами намечал маршрут предстоящего рейда... Дел было много.

В двух номерах гостиницы «Москва», где мы жили, за месяц скопился целый арсенал оружия и боеприпасов. Стоял там и ящик с орденами и медалями. Я должен был от имени Верховного Совета вручить их награжденным партизанам нашего соединения. У дверей наших Комнат стояла охрана, не пропускавшая посторонних. Даже уборщицам вход к нам был воспрещен, и мы подметали сами. В общем, навели в гостинице партизанские порядки. Посторонние могли зайти к нам только с особого разрешения, зато своих, то есть партизан, собиралось у нас множество — выздоравливающие из партизанского госпиталя, товарищи с курсов, командированные в Москву представители других соединений. Ну и, конечно, не обходилось без конфликтов с администрацией гостиницы. Соберемся после дневной беготни, только начнем душевный разговор — стук в дверь: «Не живущих в номере просим удалиться!» Приходилось объясняться с дежурной. К концу месяца нашего пребывания в Москве дежурная по этажу уже вздыхала:

— Когда ж вы, наконец, улетите?!

И вот последнее совещание, потом нас принимает Никита Сергеевич Хрущев и вручает приказ.

На прощание Никита Сергеевич говорит:

— Указание о том, чтобы предоставить вам самолет, уже дано. Вылетайте без замедления. Метеорологи предсказывают раннюю весну. Прилетите — и тут же в поход. Если Днепр вскрыется, разольется, партизанскими средствами трудно будет через него перебираться. Не медлите, вы рискуете не выполнить задание Центрального Комитета. На вас, партизан, партия возлагает сейчас большие надежды; много, небывало много доверяет вам партия!..

Мы хотели вылететь в тот же день. Позвонили на аэродром. Нам ответили, что о вылете сегодня и думать нечего. Все же мы погрузились на машины, выехали в Монино. Думали этим способом воздействовать на аэродромное начальство. Не помогло — нас вернули в гостиницу. А там в наших номерах уже происходила генеральная уборка, несмотря на мороз, были открыты окна — выветривался махорочный дух.

На следующий день нам сообщили с аэродрома, что самолет есть и синоптики хоть и со скрипом, но все же разрешили вылет. Это нас сразу помирило с самыми яркими блюстителями гостиничных порядков. Кое-кто из них даже проводил нас на аэродром.

Мы расположились в самолете, поднялись, сделали круг над Москвой и... опять сели. Нам долго объясняли, что куда-то «вторгся арктический воздух», что «на пути следования видимость не превышает...» Разве могло это нас успокоить! Стараясь быть сдержанным, я спросил метеоролога:

— А можете вы, молодой человек, гарантировать, что этот самый арктический воздух задержит таянье, льда на Днепре?

Метеоролог обиделся, сказал, что он не молодой человек, что от него лично ничего не зависит. Вылет опять отложили.

Нервы уже больше не выдерживали. С досады я напал на одного нашего хорошего товарища из провожающих. Он командовал у нас ротой, потом был ранен. В московском госпитале его поставили на ноги, но партизанить больше не рекомендовали. Товарищ послушался врачей, решил остаться в Москве и получил уже другое назначение.

У меня вдруг возникло подозрение, что дело тут не в одном здоровье. Ведь вот Балицкий глаз в бою потерял. И сейчас еще повязка не снята, и боли его еще не оставили. Балицкому тоже предлагали неплохую должность в Москве. Врачи объявили его невоеннообязанным, выдали белый билет. Однако же летит с нами. И в рейд пойдет.

— Знаешь, от души тебе говорю, Коля! — сказал я товарищу, который

оставался. — Не летишь ты, дорогой мой, с нами только потому, что жена уговорила... Врачи, конечно, тоже не врут — довольно взглянуть на твою перевязанную голову и грустное выражение лица — инвалид — в этом сомнений быть не может. Но что жинка твоя, Коленька, тут роль играет, не отрицай!

Не знаю, что бы я еще наговорил ему в раздражении, но тут, при выходе с аэродрома, произошел эпизод, который исправил настроение у всех нас.

Был второй час ночи, мы шли по широкой, утоптанной дорожке среди елей, что ведет с аэродрома к шоссе, и тут из-за деревьев выскакивают три девушки и преграждают нам путь.

— Разрешите обратиться?

Все три — в валеночках, в подпоясанных ремнями ватниках, в теплых шапках искусственного меха. Для полноты картины не хватало им автоматов да еще, пожалуй, красных ленточек на шапках. Кругом охрана, луна светит — как они проникли сюда? Сопровождавший нас боец комендантского взвода кинулся к ним:

— Вы откуда?

Одна из девушек отодвинула его рукой.

— Не мешайте, товарищ. Не умеете охранять, так теперь не суйтесь...

Потом к нам:

— Товарищи партизаны? Верно?

— Допустим.

— Мы тоже партизанки, познакомьтесь, пожалуйста: Лена Хворостина, Шура Петрова, а я Субботина Александра.

— Выходит, значит, вы руководитель группы, начальник?

— Почему это?

— Потому что подруга ваша Шура, а вы Александра. Как, простите, отчество? Скажите, прошу вас, заодно, из какого отряда? Что-то я не слышал о партизанах в этих лесах!

Выступила вперед Шура.

— Мы, товарищи, действительно партизаны, только будущие. Нам стало известно через ее брата, — она ткнула пальцем в сторону Александры, — что отсюда часто улетают партизаны. Мы заявления уже писали... Как это куда?! В ЦК комсомола. Но ответ пришел такой, чтобы сперва получили разрешение низовой фабричной организации. А наш секретарь отказала категорически. Потому, что мы ткачихи. Это же несправедливо. Сами подумайте. Если бы мы, например, были чернорабочими, тогда можно и на фронт, и в партизаны. А если добились,

вышли вперед, тогда, значит, сиди в тылу, хоть и совершеннолетние... Мне уже исполнилось восемнадцать.

— Стахановки? — спросил Дружинин.

— Вот и вы также. Получается, если стахановки, значит, не имеешь права защищать родину? Тогда нам ничего не остается — только писать товарищу Сталину.

— А вы почему молчите? — спросил я третью девушку.

— Она у нас застенчивая.

— Ничего я не застенчивая, а чего зря говорить? Не могут они решать сами — брать или нет. На то есть командование. Пошли, девушки, домой! Лена круто повернулась, но никуда не пошла.

— Ишь ты, — заметил один из наших спутников, — яка бука выискалась. К нам попадешь — живо обломаем!

Лена ответила через плечо:

— Это вы-то обломаете? Небось, сами впервые летите — все новенькое со склада. И партизан-то, наверное, не видели. Они знаете какие?..

Лена запнулась в замешательстве.

— Какие же? — улыбнулся я.

Девушка вдруг стала торопливо расстегивать телогрейку. Из внутреннего кармана она вытащила комсомольский билет в картонном переплете, вынула из него небольшую фотографию.

— Вот какие! — сказала Лена, показывая фотографию. Я узнал нашего партизана Петю Смирнова, геройски погибшего месяца два назад.

— Брат? — спросил я.

— Нет, я с ним никогда не виделась. Вы не смейтесь, — почти крикнула она, хотя никто из нас и не Думал смеяться. — Я от Пети только два письма получила, а потом от товарищей сообщение, что погиб смертью храбрых. И хочу, понимаете, ну то есть не только отомстить. Я хочу заменить его, вот...

— А как же вы познакомились?

Вместо Лены ответила Шура:

— Она через посылку познакомилась. Мы, когда в прошлом году на Октябрьские торжества отправляли подарки, захотели партизанам послать. А он, то есть Петя, получил ее посылку и прислал «спасибо» и свое фото — эту вот, значит, карточку.

Выяснилось, что девушки пришли на аэродром из Ногинска — за двадцать с лишним километров, — и мы решили подвезти их на своей машине к фабричному общежитию. По дороге рассказывали им о Пете

Смирнове, о его подвигах и геройской гибели.

Приехав, девушки попросили нас минутку обождать. Вскоре они привели к нам знакомиться заспанного секретаря комсомольской организации фабрики. Это была очень милая девушка. Разобрав, наконец, в чем дело, она сказала:

— Они ведь девушки, а не девчонки, должны, кажется, понимать... Фабрика наша вырабатывает шинельное сукно, они втроем одевают сто бойцов каждый день. И я против. И буду до конца, даже перед ЦК комсомола ставить вопрос решительно: не пускать и дать выговор за...

Она не могла определить за что. Мы рассмеялись, она тоже не удержала улыбки. Когда же мы распрощались и уже отъехали, она озорно крикнула нам вслед:

— Ждите, и я, может, к вам прилечу!

Не знаю, удалось ли им стать партизанками или они так до конца войны и одевали солдат, но я не сомневаюсь, что у каждого из нас встреча с этими москвичками оставила на душе хороший, теплый след.

* * *

На следующий вечер мы вылетели и часов в десять пересекли фронт. Когда подлетали к Брянску, увидели его освещенным. Четко видны были вокзал, фонари паровозов, блестящие рельсы. Пришла, конечно, мысль, что если в шестидесяти километрах от фронта немцы ведут себя так вольно, не соблюдая светомаскировки, то что делается в районе Ковеля, куда нас направляет теперь партия? Там, в глубоком тылу, они, верно, совсем распоясались.

Однако гитлеровские слухачи не зевали. Свет внезапно и повсеместно погас. В ту же секунду поднялись в воздух прозрачные мечи прожекторов. Наш самолет пошел круто вверх, стал пробивать плотный слой облаков. Облака освещались теперь снизу: видны были большие пятна мутного света, бродившие где-то под нами. То и дело выскакивали из-под облаков красные шары зенитных снарядов. Так длилось минуты три. Потом самолет погрузился в полную темь. Включили фары. Это ничего не изменило: впереди плотная белая масса. Самолет немного снизился, тогда стали видны крутящиеся хлопья снега, больше ничего.

Я прошел в кабину летчиков. Она освещалась маленькими лампочками многочисленных приборов. Работал автопилот. Командир корабля кричал что-то в ухо второму пилоту, отчаянно при этом жестикулируя. На меня они не обратили внимания.

«Как ведут они машину, как разбираются в направлении?» — думал я. Чувство восторга охватило меня. Какие люди! Мы, партизаны, правда,

часто их поругивали: неточно сбросят груз или, того хуже, парашютистов. А сколько ночей дежурили мы напрасно у костров, ожидая их! Но какое нужно мастерство, какая нужна смелость, чтобы лететь ночью (только ночью), в непогоду, и верно определить точку приземления — партизанский аэродром!

Большая группа летчиков гражданской авиации специализировалась в войну на полетах к партизанам. Они доставляли нам боеприпасы, оружие, продовольствие, медикаменты. Они привозили к нам новых боевых товарищей, увозили от нас раненых. Сколько раз выручали они нас в последнюю минуту!

Командир корабля поднялся, увидел меня и сделал большие глаза: «Что это, мол, вы, куда забрались!» Я поспешно отступил к двери. Но командир, огромный, запакованный в меха так, что ничего, кроме глаз, не видно, остановил меня, положив руку на плечо. Я сел на какой-то ящик. Он — рядом. Только я, чувствуя свою вину, хотел сказать, что другие летчики не были так строги, разрешали входить к ним, как командир наклонился к моему уху и произнес одно слово:

— Обрато...

Я не понял, пожал плечами. Он повторил:

— Обрато в Москву. Сигналов все равно не увидим!

И этого человека я только что превозносил до небес, восхищался его мужеством, искусством!.. Я поднялся. Сказал тоже только одно слово:

— Нельзя!

— То есть как это нельзя? Кто здесь командир?

— Я командир партизанского соединения, и мне предписано приказом... Да знаете ли вы, что уже три дня назад мы должны были... Словом, я не обязан вас информировать, даже права не имею. Ваше дело выполнять приказ. Не видны сигналы посадки — выбросимся на парашютах!

— Мы уже пятнадцать минут кружимся над целью. Не видно костров, не видно ракет. Снег. Вы понимаете, что это такое? Здесь нет командиров, кроме меня. Порядок вам известен? Я мог вам и не говорить, узнали бы в Москве.

— Вы говорите — кружимся над целью. Откуда вы знаете?

— На то есть расчет и приборы.

— Прекрасно. Будем прыгать! — И я поднялся, чтобы отдать приказание своим товарищам. — Грузы потом сбросите вы! — оказал я командиру.

— Вы не откроете дверцу. Прекратите!

Мне хотелось крикнуть: «Трус!», или крепко выругаться. Не знаю, как я сдержался и ушел в пассажирскую кабину.

Самолет сделал резкий вираж. Ясно было, что он поворачивает, ложится на обратный курс. Мы опять летим в Москву. Это был единственный случай в моей жизни, когда я не хотел в Москву.

Я убеждал себя: ничего, мол, не поделаешь, приходится покоряться, не поднимать же бунт против командира корабля. Старался отвлечься, но мысли возвращались все к тому же.

Подумать только — под нами, на шестьсот метров ниже, дежурят у костров, прислушиваются наши партизаны. Сидит, конечно, у костра и Николай Никитич Попудренко, и Новиков с ним, и Рванов. Меня еще черт дернул радировать им, что везу награды. Там гадают, волнуются. Писем тоже ждут: вот он, рядом со мной, мешок писем для наших ребят... Это-то ладно, потерпят, хуже, что снег идет хлопьями. Я хоть и не метеоролог, но и мне понятно, — мороз уменьшается. Где гарантия, что завтра не потеплеет еще больше? «Если вскрыется Днепр, — предупреждал Никита Сергеевич, — вы рискуете не выполнить задание. Торопитесь, не теряйте ни одного дня!»

И тут у меня возникла новая мысль. Я вскочил. Как можно было раньше об этом не подумать! Постучался к летчикам. Командир вышел ко мне.

— Ну, что? — Он не смотрел мне в глаза.

В нескольких словах, не раскрывая, разумеется, секретных сведений, я объяснил суть дела. Потом хлопнул себя по левой стороне груди, по тому месту, где лежали у меня под полущубком сложенные вчетверо листки приказа.

— Вот здесь... Расстегните шлем, товарищ командир корабля. Пододвиньтесь ближе, не могу громко... Здесь у меня лежит приказ. Он предписывает нам форсировать большую реку, двинуться на запад. Вы же сами сообщили, что дует юго-западный ветер. Поймите, если река вскрыется...

Не дождавшись, когда я кончу, летчик подозвал к себе штурмана, начал о чем-то горячо спорить с ним. Потом отдал распоряжение второму пилоту и стрелку-радисту. Вернувшись ко мне, он сказал:

— Мы сделаем еще одну попытку. Инструкция запрещает снижаться до такой высоты в ночных условиях. Пойдем на риск. Если зацепимся пузом за деревья... сами понимаете.

И вот, начались поиски. Мы делали широкие круги, постепенно снижались. Фары были выключены. Но сколько мы ни напрягали

зрение, — нигде ни огонька. Тяжелая машина дрожала, скрипела, проваливалась в воздушные ямы, взлетала на горки. Альтиметр показывал уже стометровую высоту, и стрелка пошла еще ниже. «Прыгать с такой высоты нельзя, — подумал я, значит, будем садиться». Вдруг что-то мелькнуло. Светлое, расплывчатое пятно прорезало снежную пелену. Ракета, вторая, наконец мы увидели и условный рисунок партизанских костров.

Машина развернулась против ветра и пошла на посадку. Видно было, как бегут от костров партизаны, машут руками, шапками, ветками деревьев.

Мы приземлились благополучно.

* * *

В дороге мы переволновались, смертельно устали, но чтобы лечь отдохнуть, об этом и речи не могло быть.

Есть выражение: «новости в воздухе носят» — то есть уже чувствуешь, что по-старому быть не может, должны произойти важные перемены. И тут вот так же. Товарищи чувствовали, что командир с комиссаром обязательно привезут из Москвы приказ, изменяющий всю их жизнь. Все знали, что Красная Армия совершила за зиму огромный скачок. После разгрома у Сталинграда немцы покатались назад под стремительным натиском наших дивизий. Весь Северный Кавказ и уже многие города Украины освобождены Харьков снова наш. Красная Армия движется к Киеву, Чернигову... Значит, скоро конец партизанской жизни. Может быть, надо собрать партизанский кулак и стукнуть с тыла, чтобы ускорить соединение с Красной Армией?

Соединиться, зажить одной жизнью со всей нашей Советской державой, свободно переписываться с родными, а может, если отпуск дадут, и увидеться с женой, матерью, братьями, друзьями. Ведь с первых дней войны люди не видели своих близких, многие и по почте не могли связаться с ними. Война разбросала семьи. Тот в эвакуации, другой в армии, третий задержался на оккупированной земле, четвертый погиб. Узнать, скорее узнать...

Десятки партизан толпились у штабной землянки. Командиры отрядов, политруки — те уже давно вошли. Поздороваются и отойдут в сторонку, сядут или стоя слушают — только бы не пропустить слова.

— Алексей Федорович, Владимир Николаевич, не томите!

Я прежде всего потребовал, чтобы доложили о главных происшествиях в соединении.

За время нашего отсутствия соединение ушло с Орловской земли, вернулось на Черниговщину, в Елинские леса. Много событий произошло

за это время.

Попудренко начал:

— Во-первых, — встретились с Лысенко...

— То есть как это встретились? Я чего-то не понимаю. Можно подумать, что у Лысенко целый отряд...

— Так оно, Алексей Федорович, и есть. Он тут, на Черниговщине, пока мы уходили в Орловскую область, тоже не зевал. Когда разведчики доложили, что в Елинских лесах действует отряд имени Щорса под командованием какого-то Лысенко, я, конечно, догадался, что это наш Федор Ильич. Думал, придется его из партии исключить. А некоторые товарищи требовали даже расстрела...

Лысенко был у нас командиром роты. В августе прошлого года, когда нас окружили крупные силы карателей, его рота оказалась отрезанной от наших главных сил. Позднее части его людей удалось пробиться к нам. По их рассказам, получалось так, что Лысенко растерялся, запаниковал и распустил свою роту мелкими группами. У нас считали его чуть ли не предателем.

— Представьте, Алексей Федорович, — продолжал Попудренко, — Лысенко без нас так развернулся, что его не то что наказывать — награждать надо. С ним отбилась тогда от нас группа в пятьдесят с чем-то человек. А мы встретили отряд в триста двадцать бойцов с пулеметами, пушками. Они тут за это время провели десятки операций. Как теперь быть с ним? Окончательного решения у нас нет. Но я так считаю, что отряд его следует принять обратно...

Я переглянулся с Дружининым. Он меня понял. Если бы Попудренко знал, о чем мы думаем!

В Москве, как только мне стало известно, что наше соединение будет разделено, что на Черниговщине останется меньшая его часть, я усомнился выдержат ли? С приближением фронта, естественно, увеличивается и насыщенность всего прифронтового района войсками. В глубоком тылу противника действуют против партизан специальные карательные части и авиация. А здесь и отступающие немецкие части, и прибывающее пополнение... Разве потерпят они соседство партизан?

То, что произошло с группой Лысенко, успокоило и обрадовало меня.

— Да вот он и сам — Лысенко, — сказал Попудренко.

Действительно у двери нерешительно топтался наш старый товарищ. Я пошел к нему навстречу. Мы расцеловались, как принято у партизан после долгой разлуки. Он, конечно, понял, что это хороший знак. Так же сердечно поздоровался с ним и Дружинин.

— Сколько уже у вас бойцов, говорят, больше трехсот? Верно это?

— Теперь уже триста семьдесят два, Алексей Федорович. — Будет нужно еще найдем. Многие просятся в отряд. Валом идут.

В этом-то и дело. Наступление Красной Армии воодушевляло народ, активизировало. В легенду о непобедимости немцев теперь никто уже не верил.

И те, что прятались по углам, переживали да раздумывали, обрели мужество, искали оружие, шли к партизанам.

— Полицаи целыми табунами перебегают к нам, — сообщил Рванов.

— И без полицаев обойдемся!

— Надо принимать, — оказал Дружинин. — Ведь в листовках-то мы призываем их переходить на нашу сторону...

Было ясно, что, если оставим мы здесь с Попудренко человек пятьсот, отряд быстро вырастет.

Рассказали товарищи и о наиболее значительных боевых операциях, проведенных в наше отсутствие. Самым интересным и удачным был налет на Корюковский гарнизон. Не забывали наши партизаны этот городок!

— Разрешите, товарищ Федоров, — перебил рассказчиков Попудренко. Это надо подробно, а время уже шестой час утра. Мое мнение — рассказы отложить, а сейчас начать заседание обкома.

Так и сделали.

* * *

И вот, ранним мартовским утром в старой партизанской землянке осталось несколько человек — члены Черниговского подпольного обкома, начальник штаба, два или три командира. Как было шумно только что! А стоило мне вытащить из кармана, положить у лампы, разглядить ладонью листки приказа, воцарилась мертвая тишина.

Припомнился мне июльский вечер 1941 года, когда члены бюро обкома собрались в моем кабинете, чтобы ознакомиться с директивами, которые я только что привез из ЦК КП(б)У о создании подполья, об организации партизанских отрядов. Двадцать месяцев отделяли нас от того заседания обкома. Двадцать месяцев самой тяжелой войны, какую пришлось когда-либо вести нашим народам, двадцать месяцев борьбы в тылу врага.

Вот сидит против меня Николай Никитич Попудренко. В тот далекий вечер он первым поднял руку, когда я задал вопрос — кто изъявляет согласие остаться во вражеском тылу. Семен Михайлович Новиков — он тоже был тогда среди нас, — и Василий Логвинович Капранов, и Василий Емельянович Еременко, и Петрик. Директива, которую дала нам тогда партия, — выполнена. Отряды партизан, созданные обкомом, подпольные

организации городов и сел действуют...

— Что это ты медлишь, Алексей Федорович? — спросил Попудренко. — А то давай, я почитаю! — И он потянулся за приказом.

— Подожди, Николай Никитич... Раньше, чем начать, хочу предупредить и тебя, и Семена Михайловича, и товарища Короткова — всех, кто остается...

— Как это «остается»?.. Кто остается? Где? — посыпались со всех сторон вопросы.

— Спокойно, товарищи!.. Так вот, раньше, чем читать приказ, должен предупредить, что Центральный Комитет партии назначил новый состав Черниговского обкома. Все. Теперь читаю.

И я прочитал приказ.

В нем говорилось, что Федоров, Дружинин и Рванов должны сформировать из лучшей части соединения группу отрядов и повести их на Правобережную Украину;

что в данный момент главная задача командования отрядов, выходящих в рейд, — вывести их на правый берег до разлива Днепра;

что после выхода на Правобережье отряды должны двинуться на территорию Волынской области и путем организации систематических крушений поездов блокировать Ковельский железнодорожный узел;

что командиром остающихся на Черниговщине отрядов и секретарем подпольного обкома назначается Попудренко...

Попудренко до сих пор слушал спокойно, а тут вскочил, взмахнул рукой, опять сел. Лицо его покраснело. Конечно же, при его темпераменте, заманчиво было пойти в рейд. Но, с другой стороны, и тут, на Черниговщине, люди остаются не для отдыха. К тому же такое доверие Центрального Комитета партии... В общем причина волнения Николая Никитича всем была понятна.

— Николай Никитич, — начал Дружинин, — ЦК, как видишь, оставляет коренных черниговцев. Как только подойдет Красная Армия, область будет освобождена — кому поручить восстановление народного хозяйства? Кто лучше тебя, Новикова, Капранова, Короткова знает людей, здешние места, обстановку?..

— Ты что, никак, взялся меня агитировать? — прервал Дружинина Николай Никитич. — Что такое приказ, мне известно. Не захотел меня брать... Молчу, молчу... Терять время не приходится. Будем делиться... Товарищ Рванов! Ах, да, Рванов с тобой идет. Кто ж у меня теперь будет начальником штаба?.. Давайте так, товарищи, рассядемся по разным сторонам стола и начнем спор.

— Какие могут быть споры? — рассмеялся я.

— Как это какие? Нет, спорить я буду! Я с тобой, товарищ Федоров, за каждого человека, за каждый пулемет буду драться. Я тебе ни одного автомата без спору не отдам. Ты что на приказ киваешь? Никто его нарушать не собирается. Но мои немцы не хуже твоих. Твоих, ты считаешь, надо бить из автоматического оружия, а моих можно из одних винтовок? Да мой прифронтной немец, если хочешь знать, требует утроенной плотности огня!

Зная его отходчивый характер, я подумал — пусть немного побушует, и сейчас же, вместе с Дружининым и Рвановым, сел за составление приказа по соединению. Выходить в рейд надо было никак не позднее, чем через три дня. А работы предстояло пропасть. Споры и дележка имущества, распределение людей — это хоть и займет время, но главное сейчас в другом. Надо перековывать лошадей, запастись фураж, готовить сани, чтобы можно было посадить на них всех бойцов. Решено было: пока не форсируем Днепр, — ни одного пешего. И Попудренко, пошумев немного, подсел к нам.

— Эх, Алексей Федорович, значит, навсегда расстаемся!

— Брось каркать! Почему навсегда, до победы!

— Я так и говорю — до конца войны, воевать то есть вместе больше не будем... Ладно, — прервал он сам себя, — хватит, приказ нам нужно писать вместе. Учесть каждого человека и остальное. Лошадей, черт с вами, берите самых лучших...

Приказ мы писали до вечера. Как ни сдерживался Николай Никитич, как ни старался быть великодушным, но то и дело вскакивал, хватался за голову:

— По живому мясу режете. Не отдам Авксентьева! И Балицкий пусть остается... Мало ли, что он упомянут в приказе. Там сказано, чтобы он с вами вместе вылетал из Москвы, а насчет рейда нет ничего. Вы думаете, мы тут поезда не будем взрывать? Вы его спросите, он и сам, я уверен, захочет остаться. Остаешься, Гриша? — Балицкий отрицательно покачал головой. — Ах, так, значит, дружба врозь?!

В том, что такие люди, как Балицкий, будут рваться в рейд, нельзя было сомневаться. А вот как отнесется к рейду основная масса партизан, рядовые бойцы?

Я побаивался, что многие из них не захотят покидать родные края. Приказу подчинятся, но в душе будут против. Оказалось, что опасения мои напрасны.

Общий приказ я зачитал на митинге, где собралось все соединение,

более двух с половиной тысяч человек.

Сперва выстроились в несколько рядов на большой заснеженной поляне. В торжественной обстановке я вручил Николаю Никитичу от имени ЦК КП(б)У знамя Черниговского обкома. Принимая его, он опустил на колено, поцеловал его край. После этой церемонии я вручил награжденным ордена от имени Верховного Совета СССР. Ряды на некоторое время расстроились. Товарищи поздравляли друг друга, обнимали, целовали. Потом снова воцарилась строгая тишина. Дружинин прочитал приказ о разделе соединения и о выходе в рейд таких-то и таких-то подразделений. После команды «Вольно» шум поднялся невообразимый. Еще бы! Ведь многие товарищи, стоявшие рядом, узнали, что через несколько дней им придется расстаться.

— Возьмите меня, — просит Горелый, — Сергей Мазепов идет, а мы же с ним друзья.

— Ну, если уж вы такие неразрывные друзья, пусть он останется с тобой, Николай Никитич не будет возражать.

Нет, Мазепов не соглашается оставаться, он пойдет в рейд.

Осаждали меня даже женщины, старики, подростки: они тоже хотели в рейд. От желающих не было отбоя. Пришлось сказать, что никаких заявлений разбирать не будем.

Однако некоторые просьбы нельзя было не удовлетворить. Вот, например, была у нас медицинская сестра и разведчица Нонна Погуляйло. Она должна была остаться у Попудренко вместе со своей ротой. Приходит ко мне:

— Найдите время, хоть две минуты, для секретного разговора.

— Знаем мы эти секреты! Приказ слышала?

— Алексей Федорович, отойдем на минуточку. Я вам объясню, и вы согласитесь.

— Так уж и соглашусь... — Но я все-таки отошел в сторонку. Смотрю, приближается к нам Авксентьев. — Подожди, — говорю, — у меня тут с Нонной сердечный разговор.

— Ему, Алексей Федорович, можно, — говорит вдруг Нонна и вся заливается краской.

— Знаете, друзья, секрет мне ваш понятен. Только это что у вас между прочим или всерьез?

Клянутся, что любят друг друга уже давно.

— Как до первого загса дойдем, товарищ командир, просим вместе с нами — как это — посаженным отцом?..

В песне поется «...ей в другую сторону», однако мы, если это не

вредило делу, старались не разлучать любящих. Составляя приказ, мы назначали членов семьи в один отряд. А семей у нас было немало: Ковтун отец с сыновьями. Глазок с сыновьями и дочерью, Пастушенко с женой, Олейники — муж, жена, дочь и сын...

Олейников всех четверых мы предполагали оставить в отряде Попудренко, но сын стал горячо проситься в рейд, и мы его взяли с согласия родителей, не выразивших желание идти с нами.

Каково же было мое удивление, когда уже в походе мне сообщают:

— И Мария Андреевна Олейник с нами.

— Как так? Ведь ей был приказ остаться у Попудренко!

Оказывается, она бегом пустилась за последними санями, вскочила в них на ходу.

Мария Андреевна работала при штабе кухаркой, кормила вкусно и была не труслива — хоть и бой близко, сидит у котла, чистит картошку.

В походе мне сообщили о Марии Андреевне, когда уже было поздно отправлять ее обратно. Что делать? Подумали и решили закатить ей выговор, но к котлу допустить.

Так семья Олейников разделилась: сын и мать пошли в рейд, а отец с дочерью остались на Черниговщине с Попудренко.

* * *

Не только люди, но и кони нашлись упрямые — не пожелали подчиниться приказу начальства.

Мой верховой конь Адам будет памятен мне на всю жизнь.

Случалось мне видеть умных, преданных своему хозяину, терпеливых, выносливых лошадей. Читал я также немало об этих друзьях человека. Но такой экземпляр, как Адам, попался мне впервые.

Наши хозяйственники получили его в колхозе имени Кирова Мало-Девицкого района, Черниговской области. Там делал он обычную работу таскал плуг, борону, возил лес, навоз, словом, ничем не выделялся, а у нас вдруг проявил удивительные качества. Казалось, его долгое время дрессировали специально для службы в партизанском отряде.

В болотах, где лошади проваливались, тонули, один Адам умел выбирать крепкие кочки. Раньше чем прыгнуть, он вытягивал шею, обнюхивал кочку, разглядывал ее внимательнейшим образом. И никогда не ошибался. Поэтому, когда шли через болото, на Адама навьючивали самый ценный груз — штабные документы, соль, спички, медикаменты.

Возвращаясь на нем из любой поездки, я мог опустить поводья и спокойно спать — Адам найдет дорогу. Сперва я думал, что ориентируется он при помощи обоняния. Но были случаи, когда мы уходили по сухой

земле, а возвращались по только что выпавшему снегу. Все равно Адам безошибочно шел домой.

Каждое утро в час завтрака Адам подходил к штабной палатке, вызывал меня характерным тихим ржанием: требовал угощения. Я выносил ему кусок хлеба или сахара. Он съедал и с достоинством удалялся.

Адам любил угощения, но к пище был не требовательным, мог переносить долгие голодовки. Зимой он откапывал себе траву из-под снега. Когда не было ни травы, ни овса, ни сена, Адам ел березовые веточки. А бывало, что и этого нельзя было достать, — тогда обгрызал кору осин.

Нрав у него был спокойный, но не без странностей. Зимой, когда подходили к реке и пробивали лунку во льду, — лошади бывало терпеливо ждут, пока люди сами напьются, а потом достанут ведрами воду и принесут им. А Адам не ждет: просунет меж столпившихся у лунки партизан свою морду, встанет на колени и пьет. Сперва его отталкивали. Потом привыкли. Знали, что Адама все равно не отгонишь. Бойцы жаловались мне на Адама — озорной конь.

Не дай бог оставить на костре котелок с похлебкой, а самому уйти. Адам — тут как тут. Ударом копыта собьет котелок с костра или с рогатины, обнюхает вылившееся содержимое, а если найдет картошку, — покатает ее по траве или по снегу и с удовольствием слопает. Если же увидит, что приближаются хозяева, — отбежит в сторону, будто он тут не при чем.

Адам был силен и очень вынослив. На рыси ни одна лошадь не могла его обогнать. Но что было в нем особенно ценного, — никогда он не паниковал в бою. Адам мгновенно определял — с какой стороны стреляют. Если был без седока, сразу же ложился, норовил спрятаться за деревом или бугорком.

Как-то наскочили немцы на хвост колонны. Партизаны спрыгнули с саней — и в лес, спрятались за деревьями, отстреливаются. Адам был запряжен в сани. Лошади переминались с ноги на ногу, мотали головами, потом помчались по дороге — прямо под пули. Адам же сразу свернул в лес, протиснулся между соснами. Сани не пролезали — он так рванул, что они поломались.

За несколько дней до выхода в рейд Адам поранил ногу и стал слегка прихрамывать. Я решил, что брать его с собой в рейд нельзя. Адам будто почуял недоброе. Чаше чем обычно он подходил ко мне, ласкался, казалось, хотел сказать, что оставаться здесь не желает. Когда его привязывали, он перегрызал привязь и мчался ко мне. Мне стало жаль его, и я решил — пусть идет с нами. И об этом не пожалел. Прошло несколько дней, Адам

поправился и по-прежнему верно служил мне.

* * *

Я забежал немного вперед. Перед выходом в рейд произошло еще кое-что, о чем следует рассказать.

Привезли мы с Большой Земли, между прочими новостями, и весть о введении в Красной Армии погонов. В штабе партизанского движения нам сказали, что многим нашим командирам присвоят воинские звания. Те, которые получают их, будут носить погоны. Это известие произвело на некоторых товарищей сильное впечатление. Особенно взволновался наш «удельный князь» Бессараб. Помня его местнические настроения, мы решили оставить Бессараба на Черниговщине.

— А меня аттестуют, Алексей Федорович? — спросил он, услышав о погонах.

— Ты же остаешься и пойдешь, как только Черниговщину освободят, на хозяйственную работу. Зачем тебе воинское звание?

— Так... Бессарабу, выходит, погоны не пристали. Меня, етого, по шапке!

— Странно ты, Степан Феофанович, рассуждаешь...

Но Бессараб ничего не хотел слушать. С горячностью, какой никогда раньше я в нем не замечал, он стал выкладывать свою обиду:

— Я что, етого, трус? Или, етого, не доказал? — Меня, кто хотите, поддержит, что нет во мне трусости и разных уклонов. У меня было мнение, а нарушений никогда. Теперь вы за мое мнение мстите? Пусть. Я привык, что со мной так поступают. Но майора мне, ватого, все равно должны дать. Или, етого, минимум капитана. И в рейд я пойду, как это движение будет уже не партизанское.

— В рейд вы, положим, не пойдете, приказ мы отменять не станем. Насчет звания вам тоже торговаться никто не позволит, будем лучше считать, что вы пошутили. Остается нам с вами выяснить — почему вы считаете, что рейд это уже не партизанское движение?

— Могу объяснить. — Он задумался, покрутил ус. Потом, хотя мы сидели в землянке один на один, поднял руку и торжественно произнес: — Мы есть особая часть Красной Армии!

Наблюдение он сделал верное. Действительно крупные партизанские соединения к этому времени стали своеобразными воинскими частями. Несколько месяцев спустя в приказах Украинского штаба партизанского движения нас так и стали называть: «воинская часть № 0015». Это показывало, что организационно мы выросли, что в действиях наших нет ничего случайного, что порядок, существующий в армии, и наш порядок,

что Устав Красной Армии — и наш устав.

Бессараб же сделал отсюда несколько неожиданный вывод:
— Партизанское движение, ватого-етаго, ликвидируется.

Полтора года прошло с того дня, когда при помощи крутых мер пришлось внушить Бессарабу, что стремление к автономии и местничеству ни к чему доброму привести не может. Все это время он воевал вместе с нами. Не всегда хорошо, но честно. Подчинившись приказу, Бессараб в душе остался прежним.

И один ли он? К сожалению, нет. Вольно или невольно Бессараб выражал точку зрения отсталых партизан, не понимавших новых организационных принципов партизанского движения, необходимости строгого подчинения отдельных отрядов единому руководству.

И если в первый, организационный, период отдельные, стихийно возникшие отряды не входили еще в общую систему партизанских войск, то к началу 1943 года таких неучтенных отрядов почти не осталось. Самовластие одного партизанского командира в новых условиях могло стать губительным для многих отрядов, и его следовало квалифицировать как тягчайшее преступление.

Я уже говорил, что за то время, пока мы с Дружининым были в Москве, наше соединение перешло из Клетнянских лесов на Черниговщину. Когда о партизанском соединении говорится, что оно «перешло» или «передислоцировалось», нельзя представлять себе просто марш из одного пункта в другой. Партизаны всегда окружены врагом, передислоцирование всегда происходит с боями.

В Клетнянских лесах, кроме нас, дислоцировались в конце 1942 и начале 1943 года еще очень многие отряды. Там возник тогда крупный партизанский край, действовали и белорусские, и местные — брянско-орловские, — и украинские партизаны. В начале января немцы сосредоточили вокруг Клетнянских лесов силы, равные нескольким дивизиям. Часть этих дивизий отошла сюда под нажимом Красной Армии, другая часть прибыла из тыла; немцы строили новую линию обороны. Уничтожить, а если не удастся, то хотя бы выгнать отсюда партизан — таков был приказ, полученный ими.

В это самое время Попудренко получил радиogramму Украинского штаба, предписывающую соединению вернуться на Украину. Для прорыва мощного кольца противника нам был придан отряд брянских партизан под командованием майора Шемякина, состоявший в основном из белорусов. На оперативном совещании, при разработке плана прорыва, этому отряду и двум нашим отрядам — имени Калинина во главе с Балыковым и имени

Щорса № 2, который возглавлял Тарасенко, — была поставлена задача замыкать колонну, иначе говоря, прикрывать тылы.

Бой был тяжелый. Немцам удалось отрезать отряды Шемякина, Балыкова и Тарасевко от головной колонны, и вот тут-то повторилась история, описанная еще Крыловым в басне о лебеде, раке и щуке. Надо было, не теряя времени и не распыляя сил, найти наиболее слабое место в цепи противника, прорвать ее и догнать соединение. Однакож Шемякин попятился назад, Балыков увильнул в сторону. Один лишь Тарасенко настаивал на том, что нужно догонять соединение, послал на его поиски разведчиков, но и он скоро пал духом.

В армии ни один из этих командиров не решился бы нарушить приказ, а тут они возомнили себя удельными воеводами и стали действовать по собственному усмотрению. Раздоры среди командиров немедленно сказались на боеспособности партизан. Командиры взводов по примеру командиров отрядов тоже вспомнили, что год назад они действовали самостоятельно. Начался разброд, дисциплина расшаталась. В результате все три отряда попали в жестокую переделку и понесли тяжелые потери.

На счастье, разведку отряда имени Щорса № 2, посланную на поиски головной колонны, возглавлял человек твердого характера. Это был Геннадий Мусиенко. После долгих мытарств разведчики догнали соединение, и вскоре, когда я уже прилетел из Москвы, Мусиенко вывел из окружения весь возглавляемый Тарасенко отряд щорсовцев.

И тут произошла сцена, которую никогда не забуду.

Выйдя из лесу на большую поляну, отделявшую их от нашего лагеря, щорсовцы минут десять топтались в нерешительности.

Верховых у них было мало, не больше десяти. Обоз тоже невелик. Почти все партизаны пришли пешими. Конечно, они очень устали, намучились, наголодались. Все это мы понимали, всем нам приходилось не раз попадать в такие переделки. Но почему же они там медлят?

И вот, наконец, от массы столпившихся на поляне партизан отделилось несколько всадников. Во главе их скакал на худющем жеребце Тарасенко. Спешившись, он пошел мне навстречу. Вытянулся, отдал честь, стал рапортовать. Лицо его выражало смертельную усталость: черные мешки под глазами, кожа влажная, обвисшие щеки. Я пожал ему руку. И его люди сразу же стали приближаться к нам.

Сообщу одну подробность, которая дала мне ясно понять, до какого состояния дошли эти люди.

У многих были сорваны красные партизанские ленточки с шапок. А след остался. И вот ребята подходят, прикрывая руками шапки, думают, что

так не заметят. Но один не видит, что другой делает то же самое.

— Смотри-ка, друг, — сказал я стоящему поблизости Бессарабу, — они погоны посрывали. — Ленточка — это ведь наш партизанский погон. — Что ты на это скажешь, а, Степан Феофанович?

Он ничего не ответил. Плюнул, резко повернулся и пошел.

— Эй, вернись, Степан! — крикнул ему Попудренко. — Ты, милый, со мной вместе воевать будешь, а твои теории мне известны. Смотри, Степан!

— Нечего смотреть! — кинул тот через плечо. — Народ-то с бору по сосенке. Партизаны сорок третьего года — полицаи да приймаки...

— Но, но, Степан, давай без лишних разговоров! — остановил я Бессараба.

Дело в том, что мы давно уже приняли решение: полицаю, перешедшему к партизанам, напоминать о его прошлом строжайше воспрещается. Если преступления его были велики — судили партизанским законом. Если же простили и приняли, и воюет хорошо — кончено, он равноправный товарищ. Но, что и говорить, с новичками из неустойчивых элементов, всякими «бывшими», надо было держать ухо востро. В тяжелые минуты они первыми терялись, некоторые могли снова перекинуться на другую сторону.

В отряде Тарасенко было много новичков. А сейчас, по пути к соединению, он принял еще сто с лишним человек. Разумеется, не все там были из полицаев. И бежавшие пленные, и молодежь, подросшая за годы войны, и старики из сожженных немцами сел. Работать надо было с ними много. И все же, посоветовавшись, мы решили взять отряд имени Щорса № 2 с собой в рейд.

Пока что послали их в баню. Кого могли, переобмундировали, других постригли, верхнюю их одежду пропустили через дезинсекционный котел.

Отряд имени Калинина остался в Чечерских лесах. О дальнейшей судьбе его мне неизвестно. Что касается отряда Шемякина, то он, оторвавшись, попал в самую гущу немецких войск. Из окружения выходили мелкими группами. Спаслись немногие.

Вот они, результаты партизанского своевластия, желания действовать по собственному усмотрению!

* * *

В Елинском лагере нас собралось около трех тысяч человек. Зная, что долго мы тут не пробудем, землянок не строили, пользовались несколькими старыми. Подремонтировали их, и только. Партизаны устраивались, кто как мог: в палатках, в шалашах из веток, а большинство просто на санях или на подстилке из сена под открытым небом. А тут еще, в связи с подготовкой к

рейду, мы запретили жечь костры по ночам.

Весна, конечно, принесла облегчение. Но мы ей не радовались. Ругали и теплый ветер, и ласковые солнечные лучи. В прошлом году мы располагались неподалеку от этих мест. Мороз стоял трескучий, не собирался отступать. Он тогда действовал в союзе с немцами. В этом году, как назло, природа опять была против нас.

Утром девятого марта мне доложили, что прилетели грачи. Какой это вызвало переполох в нашем штабе! Рванов неистовствовал:

— Скорей, скорей!

Дружинин и я весь день объезжали отряды, инспектировали их готовность к рейду. Вечером вызвали всех командиров, объявили, что выступаем в поход послезавтра утром.

— Надо завтра! — бушевал Рванов. — Да не завтра, сегодня в ночь, иначе будет худо. Разведка докладывает; лед на Днестре покрылся трещинами.

— Да, надо, конечно, — говорит Дружинин, — и не завтра и не сегодня, и даже не вчера, а неделю назад. Но перед выходом мы еще проведем во всех отрядах партийные и комсомольские собрания. Это обязательно.

Собрания на следующий день провели. Говорили не на общие темы, не о задачах рейда, которые уже были всем известны, а о совершенно конкретных деталях подготовки: у всех ли в порядке обувь, одежда, подкованы ли лошади, готова ли сбруя, на всех ли бойцов хватит саней, как распределить вооружение.

Два самолета выбросили нам прошлой ночью взрывчатку, несколько пулеметов, десятков автоматов, но этого было явно недостаточно. Обещали, и твердо обещали, направить к нам не сегодня-завтра еще пять-шесть самолетов с грузом, но ждать мы больше не могли.

Особое внимание на этих последних собраниях коммунистов и комсомольцев мы обратили на массово-политическую работу среди населения. Нам предстояло пройти многие села и местечки, в которых не знали еще партизан, во всяком случае не видели больших отрядов — в эти места мы понесем вести о скором освобождении, поднимем советских людей на борьбу с оккупантами... Уже сейчас мы печатали в нашей новой походной типографии листовки.

«А что же, — спросит читатель, — немцы? Неужели они так ничего и не пронюхали о предстоящем рейде? Почему они дали возможность спокойно готовить такое серьезное наступление партизан?» Вопрос естественный. Мы и сами его задавали. Нет, немецкая разведка, разумеется,

не спала. Но и наша не бездействовала.

Во-первых, мы кое-что предприняли для того, чтобы создать видимость подготовки движения не в том направлении, куда нам надо было идти, а в обратном, к фронту. И это дало свои результаты. Немцы начали стягивать силы в населенные пункты между Новгород-Северским и Коропом.

Во-вторых... Об этом сказать трудно. Приказ о рейде и выходе в Волынскую область, полученный нами от товарища Хрущева, был весьма секретным. Но ведь с того момента, как мы начали подготовку к маршу, после митингов и собраний, на которых мы говорили партизанам о предстоящем тяжелом пути, приказ был в известной мере рассекречен. Теперь о нем знали тысячи людей. И среди этих тысяч могли оказаться и одиночные агенты врага. Как же все-таки получилось, что разведка оккупантов была дезориентирована, как партизанские массы сохранили тайну?

Могу объяснить это только тем, что чувство бдительности у партизан, особенно у тех, которые прошли полугодовую практическую школу войны в тылу врага, чрезвычайно обострилось.

Все мы были разведчиками в стане врага, все были и следопытами, и знатоками человеческих душ. Предателей самого различного калибра и качества, от профессиональных шпионов до слабонервных осведомителей, партизаны видели близко, по мельчайшим признакам обнаруживали врага: по тому, как и чем человек живет, как ведет себя в бою, о чем рассказывает у костра, как ест и как спит. Да, да. Тот, кто пришел в партизаны по заданию врага, и ест и спит по-другому. Все у нас научились распознавать человека, и это помогло нам сохранить тайну.

Вечером десятого марта прощались.

Были, конечно, и слезы. Не только женские. Мужчины пролили не меньше слез, и не только потому, что некоторые товарищи хватили чарку сверх нормы.

Русский этот обычай — целоваться на большое прощание, хороший обычай. Но один наш весьма серьезный товарищ целовал не только мужчин и женщин, а даже деревья. Причем пьян не был, разве только чуть-чуть... Спросил я его:

— Что ты, чудак, делаешь? Неужели, кроме осины, тебе и обнять некого?

— Эх, Алексей Федорович, — ответил он, махнув рукой, — черствая у вас душа, не понимаете вы, что значит расставаться с родными местами. Может, и не увидим никогда...

Самому, конечно, трудно судить, какая у меня душа. Обнимать деревья мне в голову не приходило, но расставаться с Черниговщиной и действительно было нелегко. Если обнимать все, что любил, чем дорожил, что защищал и отбивал у врага, надо бы и землю охватить руками, многострадальную нашу колхозную землю Черниговщины, и в города пойти — на заводах, в мастерских тоже часть моей души... Да что там, не объять необъятного! А всего труднее расставаться было все-таки с людьми, с теми, которые вместе начали еще в Чернигове, в обкоме...

Ночью собрались члены двух подпольных обкомов — черниговского, в котором я уже не состоял, и нового — волынского, которому еще только предстояло пройти на свою территорию за сотни километров. Собрались и командиры отрядов. Заседание? Нет, в этот раз мы не столько говорили, сколько пели. Члены обкома, и секретари райкомов, и начальники штабов пели в эту ночь старые революционные песни.

* * *

Колонна двинулась в первом часу дня 11 марта. Солнце светило и грело, и птицы радостно попискивали, капало с деревьев. Но в лесу еще лежал толстый слой снега. А вот, когда выехали в поля, на проселочные дороги, досталось нашим коням. Полозья скребли землю. Пришлось подгрузить обоз: выбросить лишние пожитки.

Да они-то, конечно, не лишние. Хозяйственники наши христом-богом молили ничего не трогать, сами готовы были впрячься рядом с конями. Тут были и стекла — небольшие осколки для окошек в землянках; и чугуны, и кринки, и лопаты. Мелочь, кажется, а когда по всем отрядам соберешь выходит несколько десятков тонн. Пока дошли до Днепра, чистку устраивали три раза. И каждый раз находили что выбросить.

В первые сутки проехали без особых приключений семьдесят километров. Попадавшие на пути группы полицаев либо поспешно разбежались, либо уничтожались. Сила двигалась такая, что остановить ее они, конечно, не могли. Колонна растянулась на десять-двенадцать километров. Ехали с песнями, на специальных санях собрали гармонистов. По селам разнесся слух: «Красная Армия прорвалась». Встречать нас выходили за несколько километров, просили задержаться хоть на часок, поговорить с народом.

Кое-где мы собирали митинги, кое-где читали лекции и показывали кино; уже месяца два назад прислали нам из Москвы кинопередвижку и несколько новых картин. Но подолгу стоять на месте, отдыхать мы не имели права. Скорей, скорей к Днепру!

Немцы шли за нами следом. Над нами кружились разведывательные

самолеты. Иногда насакивали на хвост колонны танкетки и броневики. Обстреливали из пулеметов и удирали. У нас теперь были пушки, противотанковые ружья, и меткие наши стрелки подбили два броневика, танкетку и шеститонный грузовик; этот попал случайно: ехал груженный колхозным добром и нарвался на колонну. Пришлось нам его разгрузить.

Когда наша колонна подошла к железнодорожной линии Бахмач — Гомель, подрывникам было приказано местами в двадцати заложить под рельсы небольшие порции толу — разворотить железную дорогу и поскорее догонять своих. Но не успела перейти линию и половина колонны, как вдруг со стороны Гомеля на Бахмач подходит эшелон вагонов на сорок.

Подрывники наши не выдержали, поддались соблазну — дернули шнур под паровозом. Заряд был для такого дела недостаточен. Паровоз сошел с рельсов, но не упал. Некоторые вагоны свалились, большинство же осталось на пути. Грузен был эшелон танками, автомобилями, мотоциклами. На каждой платформе охрана — человек по шесть. Они залегли и стали отстреливаться. А тут еще пожаловал встречный поезд — из Бахмача на Гомель, груженный железным ломом, разбитыми самолетами и тайками. Его тоже подорвали.

В первый эшелон мы пустили несколько зажигательных снарядов. Немцы, надо сказать, возили по железным дорогам автомашины, танки и мотоциклы с наполненными баками. Они вспыхнули мгновенно. Когда колонна прошла через линию, и от первого эшелона остался только металлический лом...

...За три дня, которые мы двигались к Днепру, немцы нападали на колонну пять раз. Особенно сильный бой пришлось выдержать в селе Пазнопалы, расположенном километрах в восемнадцати от Днепра. Действовали против нас и немецкие части, и венгерские, и итальянские, и местная полиция. Артиллерия, танки — все было пущено в ход. Бой длился несколько часов. Мы рвались к Днепру, зная, что весна наступает, на Днепре темнеет лед, трескается и вот-вот тронется и что в ледоход нам на ту сторону не пройти...

И раньше мы не раз с боем прорывали вражескую блокаду. Это были вынужденные бои, мы прорывались, чтобы спастись, переходы и рейды наши были тоже почти всегда вынужденными. А здесь, в Пазнопалах, мы дрались за Днепр, за то, чтобы вовремя выйти к нему и форсировать его. Мы вели наступление и вели его по плану, предписанному нам Верховным Главнокомандованием. Этот план был согласован с общим наступательным планом Красной Армии.

За Днепром нас не ждал отдых, не ждало облегчение. Наоборот, мы знали, что нам предстоят тяжелые испытания. Но мы были горды тем, что действуем как регулярная воинская часть, идущая в наступление на запад.

Наши артиллеристы подбили средний танк и три танкетки. Пулеметным и автоматным огнем мы положили не меньше сотни гитлеровцев. Но силы противника были велики, и штаб полагал, что бой продлится еще долго. Как вдруг, без всякой видимой причины, противник стал отступать. Батальон под командованием Балицкого принялся было преследовать отступающих, но я дал команду прекратить преследование. Было не до того. Путь к Днепру противник очистил. Наша задача ясна — вперед, на запад, скорей вперед!

Конечно, мы выделили сильное тыловое охранение, произвели тщательную разведку на флангах. Нет, противник по нашему следу не пошел. Может быть, на Днестре нас ждет ловушка? Нет, не заметно, что и на Днестре кто-нибудь готовился нас встретить. В чем дело?

Наш новый начальник разведки Солоид высказал предположение, не лишнее остроумия:

— На правом берегу Днестра у них другой гебитскомиссариат. Здесь Черниговский, а там — Полесский (Мозерский). Черниговский гебитскомиссар будет рад-радешенек, если мы уйдем с его территории. Он тотчас же пошлет рапорт в Берлин: «Ликвидировал, дескать, прижал к Днестру, многочисленный отряд партизан».

Так или иначе — в ночь на четырнадцатое марта мы вышли на берег Днестра.

* * *

Когда вспоминаешь сейчас картину переправы нашего соединения через Днестр, кажется, что все было просто и легко. Прежде всего вспоминается торжественность момента, радость удачи.

Вот передо мной дневник, записи устных рассказов многих участников переправы, отчеты отрядов. И в них форсирование Днестра выглядит необычайно легким. А ведь какое огромное физическое напряжение мы перенесли в ночь после боя в Пазнопалах, когда все до единого, кроме лежащих раненых, впряглись вместе с лошадьми в сани и тащили их по прибрежному, слегка замерзшему болоту!

Разведка сообщила, что лед у берегов Днестра оттаял: надо с обеих сторон перекидывать мосты. Вот мы и нагрузили сани срубленными тут же деревьями. Для такой лесозаготовки трелевочные бы тракторы, мощные трехосные автомашины. А мы все на себе да на усталых, плохо кормленных партизанских коняках. Механизация, можно сказать, отсутствовала

полностью.

И вот, наконец, перед нами освещенный луной Днепр. А ведь сказать любому из нас «Днепр» — то же, что сказать «Украина». Надо бы остановиться, надо бы и полюбоваться, но на это не было времени. На несколько секунд оторвется человек от дела, выпрямится, окинет взглядом серый лед, холмистый дальний берег, вздохнет — и опять за дело: тащить, толкать.

Вчера, как сообщили нам крестьяне, два полица пошли на тот берег и оба утонули: провалились в трещину. А нам ведь с лошадьми, с грузом и не двум человекам — двум тысячам. И что ни час, лед становится все рыхлее, подвижнее. Нет, никаких остановок. Переправляться с ходу.

Мы разделились на колонны, чтобы не топтать, не пробивать всей массой одну колею. Помосты в два наката бревен от берега ко льду вязали на воде телеграфной проволокой. А дальше, по льду, до самого противоположного берега, уложили деревца и еловый лапчатник. Рядом с санями, груженными боеприпасами и оружием, шло по десятку человек с толстыми кольями рычагами: начнут проваливаться — сразу подсунут, удержат сани.

Центр колонны — штабные повозки — проходил на рассвете. Лед по всей поверхности стал уже рыхлым, ноздреватым, местами просто мокрая каша. Не было человека, не промокшего до пояса. Помню, пока сани наши тащились через Днепр, я два или три раза выжимал воду из усов.

Но, повторяю, настроение было приподнятым. И, хоть не ели мы с прошлого утра — некогда было хлеба кусок сжевать, — силы и бодрость не оставляли.

Самое трудное — втащить по крутым тропкам правого берега лошадей. Мы не выпрягали их — подхватывали канатами и тащили.

Ни один человек не утонул, ни одна повозка. Единственный груз, который был потерян по дороге, и почему-то одновременно в нескольких наших подразделениях — бочонки со спиртом. Сани, на которых они лежали, остались невредимы. Бочонки просто соскользнули с них. И как-то никто этого не заметил. Подозрительная утрата!

* * *

Поднявшись на правый берег, я отошел в сторонку, встал на гребне холмика и отсюда наблюдал в бинокль переправу последних наших подразделений.

Последним досталось больше всех: лед был уже сильно разбит. В поисках нового пути бойцы разбрелись вширь. В неразведанных местах могли оказаться разводья. Я с опаской приглядывался к тем, кто уходил

далеко в стороны. Смотрю, один совсем отделился. Идет все левей, заворачивает назад. Думаю, не может иначе, трещины не пускают. За ним, гляжу, еще трое. Бегут. И он бежит. И вдруг выстрел. В чем дело? Я послал одного товарища выяснить и доложить, что там, на льду, произошло.

Оказалось, что хотел отстать от колонны, и даже перепрыгнул для этого через большую трещину, один наш новичок со странной фамилией Галюй, бывший полицейай. Он пришел к нам после того, как в присутствии многих свидетелей застрелил двух немецких офицеров.

Ему удалось тогда бежать от немцев вместе с тремя другими полицейайми. Вся эта группа на протяжении месяца вела себя безупречно. Сам Галюй участвовал уже в двух боях, и многие партизаны свидетельствовали, что он держал себя смело, целился метко. Почему он вдруг решил уйти от нас?

Мы с ним как следует поговорили. Нет, шпионом он не был и, вернувшись на левый берег, рисковал бы жизнью. Если б немцы или венгры его схватили, — не миновать ему петли.

— Куда ж ты рвался, дурья башка? — спросили его. — Или ты думаешь, немцы тебя кашей накормят и спать уложат?

— А мне все равно!

Наклонив быковатую свою голову, он на все вопросы отвечал одно и то же: «Мне все равно».

— Да кто ты такой, наконец, есть, расскажи толком, а то ведь и расстрелять недолго!..

Он рванул рукой рубаху, оголил грудь:

— На, стреляй!

— Может быть, он водки нажрался? — спросил кто-то.

— Вам бы все водка... Да не пил я водку. Просто не хочу с вами дальше идти и не пойду. Режьте, колите, стреляйте — не пойду я на вашу эту партизанскую каторгу!

— Как, как? — спросил я его. — А ну, повтори.

И он повторил, не побоялся:

— Каторга это у вас, а не война! Да разве человеку можно так воевать?

— Ну, выкладывай, только до конца! Раз ты говоришь, не трус объясняй свою позицию. Рассказывай и как воевал, и как в полицейай попал, и что у нас делаешь.

А мужчина он был довольно видный. Выше среднего роста, плечистый, взгляд осмысленный, даже твердый.

— Дайте закурить.

Дали. Он свернул цыгарку, застегнул рубаху и, отведя глаза в сторону,

заговорил спокойнее:

— Как вы меня можете понять, когда я и сам себя не понимаю. Все во мне перепуталось, концов не найду. Сколько мне, думаете, лет?

— Да ты что! — крикнул Солоид. — Ты у костра байки, что ли, треплешь? Твое дело отвечать, а не спрашивать.

Галлой глянул на Солоида.

— Бей, ну бей, если хочешь... Я почему спрашиваю, сколько лет — знаю, что скажете под пятьдесят. С этим согласны?.. Уже хорошо. А мне тридцать девять. Я — человек у-том-лен-ный! Ясно? Мне, если хотите знать, даже водку пить уже не интересно. Потому и жизнь не ценю. Я от нее, от жизни этой, удовольствия давно не вижу никакого. А вы говорите — идем через Днепр и дальше. Не надо мне идти, устал, надоело. Какие будут еще вопросы?

Почему я рассказываю об этом человеке? Уж очень поразил он тогда нас всех своими рассуждениями. Откуда у него это все? Что с ним вдруг случилось?

Стали расспрашивать и выяснили, что за свой не такой уж долгий век перебрал он несколько профессий. Был табельщиком на металлургическом заводе в Днепропетровске, потом два года официантом в разных ресторанах...

— Это дело сытное, но выносливости требует большой и умения подойти, шаркнуть ножкой. А если не шаркать и салфеткой не махать — будешь курить «бокс» и носить рубашки не выше зефирных...

— Вот ты каких, значит, взглядов!

— Да, таких, — подтвердил Галлой. — А главный недостаток официантского ремесла — ноги гудят... Служил я в последние восемь лет маркером. Нет, маркер не официант, ему шаркать не нужно. Маркер в коммерческой биллиардной, если он человек самостоятельный и не трус, — бог, судья и воинское начальство... Женился я, товарищи дорогие, квартиру отделал под шелк, шифоньер красного дерева приобрел. Девчонка моя, как все одно жена завмага: чернобурка, опять же крепдешиновых платьев восемь штук... Да у меня, если хотите знать, — крякнул он с неожиданной силой и чувством превосходства перед нами, — у меня самого две пары лаковых туфель имелось, не считая шевровых; шевиотовый костюм, бостоновый костюм и летний, кремовый, чистой шерсти. Так что была у меня жизнь, было что терять. И любовь была, как святое сильнейшее чувство. Эх, да что там говорить!..

— В Красной Армии служили?

— Не пришлось. Мобилизовали за день до прихода немцев в

Днепропетровск. Пустили меня вечером домой для устройства личных дел, а к утру все кувыркком пошло... Желаете — могу и дальше рассказывать, как мы с женой уехали к ее родителям в Сосницу, как бывшая жена моя оказалась мещанкой, за тряпки к австрийцу перебежала, как меня грозились в Германию Отправить будто квалифицированного токаря: был такой донос, что маркер Галюй в действительности токарь седьмого разряда. И как я разоблачил эту клевету — все могу в подробностях рассказать...

— А полицаем-то почему стал?

— Так и стал. Я этого дела не отрицаю. И заявляю, что на том отрезке жизни иначе поступить не мог. Я это сделал, если хотите знать, в интересах получения оружия. И добился. Сожителя этого Валерии моей и дружка его решил на ее глазах. По ней тоже выстрелил, но промазал... — Рассказывая это, Галюй тяжело дышал, лицо его перекошилось от злости. Потом он опять затянул свое:

— Теперь мне все равно. Дальше идти не намерен. Немца я, как такового, ненавижу; гадость эту, полицаев, которых знаю, как облупленных, презираю и тоже ненавижу. Вы меня стрелять заставьте. Буду. Лягу и стану истреблять до последнего патрона... У меня прицельность первого класса потому я маркер. А что это — четвертый день, как все равно каторжники: толкай, тяни, тащи... Здоровый будто человек, а ведь осталось от меня одно дрожание.

Тут все рассмеялись, а он вдруг произнес жалобным, просящим голосом:

— Я против вас ничего не имею. Вам надо. У вас идея. А я-то тут при чем? Отпустите вы меня. Я немцев сам буду бить. Немного отлежусь и буду бить своим беспартийным способом.

Перед нами был мещанин, все свои тридцать девять лет живший для себя и только для себя. Война для него была всего лишь его личным несчастьем. Мстил он исключительно за себя, за свои страдания.

Все было ясно — не предатель это, не трус, а просто человек, не привыкший к труду, искавший всюду легкой жизни. Впервые ему пришлось испытать сильное физическое напряжение — и вот он уже раскис, размяк, потерял всякий интерес к жизни.

Может быть, Галюя следовало расстрелять за дезертирство, но мы этого не сделали, ограничились тем, что отняли у него оружие — пусть пилит и колет дрова на кухне, в бою таскает снаряды и ящики с патронами. Для него это будет лучшим средством воспитания — решили мы.

* * *

Едва мы закончили переправу, как на Днепре начался ледоход. Путь назад был отрезан.

На правом берегу Днепра, пройдя двенадцать километров, мы заняли довольно значительный населенный пункт Бывалки. Местный немецкий гарнизон попробовал оказать нам сопротивление, но был рассеян. Дальше ехать на санях стало невозможно. Спасибо крестьянам Бывалок и прилегающих к ним сел: они дали нам телеги, брички, бестарки — все, что нашли, — подвод двести. Мы взамен отдали все свои сани да в придачу еще десятка три коней. Обоз наш пришлось сильно подсократить, почти все бойцы спешились.

После отдыха в Бывалках километров двадцать прошли спокойно, борясь главным образом с засасывающей глиной оттаявших дорог. Вдруг из лесу налетела на головную заставу колонны большая разведывательная группа немцев. Бой был недолгим. Противник в беспорядке отступил, потеряв двенадцать человек и бросив станковый пулемет. Не бой, собственно говоря, а стычка. Но в этой стычке погибли два наших хороших товарища: командир пулеметного взвода Ефим Дорошенко и медсестра того же взвода — Нонна Погуляйло.

Тела их мы уложили на подводы, чтобы похоронить с почестями в ближайшем населенном пункте. Таков был партизанский обычай — хоронить погибших в бою товарищей не тут же, на месте боя, а на большой стоянке, по возможности у села. Мы всегда старались провести эту печальную церемонию торжественно и красиво. И местных жителей звали: пусть услышат о жизни и боевом пути наших героев. Они провожали их вместе с нами, возлагали на могилы венки.

Тяжело, очень тяжело, когда в колонне на подводах везут покрытые знаменами тела погибших и их друзья идут рядом. А ведь часто наша колонна превращалась в похоронную процессию.

Война, говорят, ожесточает. Смерть сечет направо и налево, и поневоле как будто начинаешь привыкать к тому, что завтра, а то и сегодня кто-нибудь погибнет, может быть, и ты сам. «Как будто» привыкаешь, но разве смиришься с мыслью, что друг твой или жена могут через минуту погибнуть?

Илья Авксентьев шел рядом с нами, взявшись за борт телеги, на которой лежала убитая Нонна Погуляйло, его жена. Ему тогда только исполнилось двадцать шесть лет.

Я был намного старше его. Моя любовь началась в мирных условиях, мне повезло — не стояла за спиной смерть. Никто не мешал нам гулять до утра по степи. Никто не командовал: «Налево!», «Направо!», «Шагом

марш!» День на работе, а вечер наш. Иногда, правда, собрание. Но можно ведь погулять и после собрания.

А Илье Авксентьеву ни разу не пришлось так погулять.

В октябре 1941 года он пришел к нам во главе двадцати шести красноармейцев и командиров Красной Армии. Стал у нас командовать пулеметным взводом. Это был умный, храбрый и очень строгий человек прежде всего к самому себе. Особенно полюбили его партизаны за сдержанность, никогда на бойца не повысит голоса... Но и повеселиться не откажется.

И вот он идет, худенький, чернявый, держится за телегу, потыкается; слезы против воли застилают ему глаза.

Я подъехал к Илье, спешил, мы несколько минут шли рядом молча. Я положил ему руку на плечо, искал и не находил нужные слова.

— Одного не могу себе простить, — не поворачивая лица ко мне, проговорил Авксентьев. Он, может быть, даже больше к себе обращался. Зачем разрешил со мной идти...

— Выговорись, Илья, может, легче станет.

— Ведь Нонна, Алексей Федорович, только ради меня в рейд пошла. Помните? Останься она у Попудренко — может, и не погибла бы...

— Подумай, что ты говоришь, Илья Михайлович!

Он меня не слышал, продолжал свое:

— И вот лежит, я этого не понимаю, вдруг мертвая, значит — я виноват... У меня ведь никого, кроме нее, нет, ни одного близкого человека...

— Ой, не нравятся мне, товарищ Авксентьев, такие речи. Возьми себя в руки. Подумай, дружище, подумай — как это ради тебя одного в рейд пошла...

Он спохватился и даже как будто обрадовался:

— Ну да, конечно, по моим словам получается, что слишком большое значение я себе придаю, персоне своей...

— Ты ведь еще молодой, жизнь впереди...

Надо же было мне такое оказать! Не очень это у меня хорошо получилось.

Как он на меня глянул! Я почувствовал, что, если буду продолжать в этом духе, он сильно рассердится на меня. Минутой позже он сказал тихо:

— Не верите, значит, и вы, Алексей Федорович, в большую любовь на войне. Мне дружки-приятели говорили, что слишком ты, Илья, серьезно относишься, слишком себя отдаешь. В полевых, военных условиях так, мол, нельзя. И у вас, товарищ Федоров, вроде того получается. Знаете,

товарищ Федоров, я бы с радостью за нее три раза погиб. Что там будет потом, откуда мне знать. Но сейчас, сейчас-то ведь остудить я себя не могу и не хочу... И вообще, если можно, если это по уставу позволено, отойдите от меня, дайте самому, — он закрыл лицо руками, но тут же опустил руки и сказал очень спокойно:

— Действительно, не для меня она пошла в рейд. За это разъяснение я вам благодарен. Для народа пошли, как и я, и вы... Дайте я вас на Адама посажу, Алексей Федорович, вы, небось, разволновались, вам трудно...

* * *

Хотел было я рассердиться на Илью Авксентьева за излишне крутое выражение чувств, но махнул рукой, поехал дальше к голове колонны. Обогнал всего четыре повозки — и опять драма. На повозке с мукой, прямо на мешках, лежат ничком и режут два мальчика — братья Ступак. Ревут не очень громко, но все-таки рев их прорывается сквозь шум движения. Рядом с повозкой идут женщины. Они глядят мальчиков, шепчут им что-то, сахар суют — ничего не помогает. Старшего, Мишу, просто судороги сводят от рыданий.

Тут же идет смущенный и растерянный командир отделения Семен Торадашов.

Я подозвал его.

— В чем дело? Ведь успокоились, кажется. Я вчера сам видел — старший на немецкой губной гармошке играл.

— Представляете, Алексей Федорович, нашелся дурак, — кто именно не добьешься, — рассказал им о батяке. Как погиб и все подробности. Чего люди язык распускают? Ведь утихомирились ребятки, в норму вошли, а теперь снова.

За несколько дней до моего возвращения из Москвы специально выделенная группа партизан по указанию Попудренко совершила налет на Корюковку.

Там в то время свирепствовали каратели — расстреляли двести пятнадцать и собирались расстрелять еще сто восемьдесят заточенных в тюрьму советских граждан.

Надо было освободить осужденных на смерть. На рассвете 28 февраля наши партизаны ворвались в местечко. Застигнутые врасплох немцы и полицаи не смогли оказать сколько-нибудь серьезного сопротивления. Их побили в Корюковке более трех сотен.

В этом налете Ступак командовал взводом. У него была особая причина рваться вперед, не считаясь ни с какой опасностью. В начале 1942 года полицейский карательный отряд захватил жену Ступака — Татьяну

Ивановну. Ее долго мучили в гестаповских застенках, потом расстреляли. У Татьяны Ивановны осталось трое детей: тринадцатилетний Миша, одиннадцатилетний Петя и четырехлетний Толя. Каратели забрали всех трех мальчиков, посадили их в тюрьму.

Но, на их счастье, местные партизаны разгромили гарнизон городка, где была тюрьма. В общей суматохе ускользнули из рук и братья Ступак. Они вернулись к бабушке в Тихоновичи.

Однако, как установила наша разведка, в январе 1943 года Мишу и Петю снова арестовала полиция. Их посадили в тюрьму, и 28 февраля в шесть часов утра гестаповские палачи намеревались вместе со всеми заключенными расстрелять и этих детей.

В пять часов утра бойцы взвода Ступака начали обстрел корюковской тюрьмы. У ворот было два дзота. Один разбили пушкой, стрелявшей прямой наводкой. Другой молчал. Партизаны решили, что в нем никого нет, и пошли на приступ. Впереди всех — Ступак.

В это время со стороны молчавшего дзота раздались несколько выстрелов.

— Федор Матвеевич, товарищ Ступак! — кричали партизаны. — Идите, открывайте, входите первым, встречайте детей!

Но Федор Матвеевич лежал на земле, распластав руки. Он был убит выстрелом в затылок. Оказалось, что в дзоте притаился полицейский.

Отперли двери тюрьмы. Навстречу партизанам вышли, упали им на руки, изможденные узники. Они обнимали и целовали своих освободителей. Вышли из тюрьмы и Петя с Мишей. Худенькие, дрожащие. Они сразу же стали искать среди партизан отца. Им сказали, что отец их погиб. Но скрыли, при каких обстоятельствах; он, мол, погиб уже давно, месяца три назад. После освобождения мальчики отлеживались в госпитале. Ухаживала за ними Нонна Погуляйло. И они очень полюбили ее за ласку, за доброе сестринское отношение.

Ребят решено было вывезти в Москву. Но самолетов с посадкой не было. Поэтому Авксентьеву, в роте которого устроились дети после выхода из госпиталя, пришлось взять их с собой в рейд.

Гибель Нонны подействовала на них очень тяжело. А тут еще кто-то рассказал, как был убит их отец.

— Видите ли, товарищ командир, товарищ хотел, верно, сделать лучше: пусть дети знают, как отец их любил: жизнь за них отдал.

Я попробовал утешить ребят, заговаривал с ними, обещал дать обоим по карабину. Ничего не вышло, даже не глянули в мою сторону.

— Вызовите ко мне Авксентьева.

Авксентьев подошел. Подчеркнуто официально отдал честь.

— Командир роты Авксентьев слушает.

— Ваши дети?

— Мои... То есть причислены к моему подразделению.

— Видите, что с ними. Примите меры, чтобы успокоились...

Авксентьев согнал возчика, взял у него кнут и вожжи, уселся на мешки. Женщинам приказал отойти. Ребята продолжали плакать, но уже тише. Они ведь слышали весь разговор. И их, наверное, заинтересовало — что может сделать дядя Авксентьев. Тот самый дядя, который все эти дни был с ними так ласков и внимателен. Не кнутом же станет он их стегать!

Лицо Авксентьева было не то что злым, но сосредоточенным и хмурым.

Передние вozy огибали в этот момент широкую лужу. Дорога была очень вязкой, лошади еле тянули. Авксентьев же направил лошадь в самую середину лужи. Колеса погрузились в грязь выше ступицы. Лошадь дернула воз и остановилась.

— А ну, братцы, слезай! — крикнул Авксентьев и первый соскочил в лужу. — Авария, помогайте толкать!

Мальчики подняли головы, вопросительно глянули на Авксентьева — к ним ли это относится.

— Чего смотрите, партизаны? — весело оказал Авксентьев. — Слезам перерыв. Видите, всю колонну держим. А ну, взяли!

И мальчики подчинились, сползли с воза и стали подпирать худенькими плечиками телегу.

— Раз-два, дружно! — командовал Авксентьев.

Лошадь усердно тянула, но воз крепко засел в глине. Подбежали на помощь другие партизаны. Кто-то из них оттолкнул было мальчиков.

— Эй, там, брось! Подойди с другой стороны. Ступаков моих не тронь, они парни крепкие!

И мальчики действительно старались, покраснелись от натуги.

Хорошо придумал Авксентьев, как отвлечь мальчиков от горя.

— Давай, бери, чертушки! Н-но, родимая! — кричал он не своим голосом. — Ступаки! Чего молчите, кричите громче! Лошади крику боятся.

И мальчики, вытерев слезы, сперва робко, а потом все уверенней и громче стали понукать лошадь.

Через две недели братьев Ступак мы отправили самолетом в Москву.

Сколько же горя, человеческого страдания шло с нами, в нашей большой, многокилометровой партизанской колонне!

* * *

Когда мы подошли к Припяти, было уже совсем тепло. Зеленела молодая травка, распускалась листва на деревьях и кустах, густо разросшихся вдоль полноводной реки. Припять уже очистилась ото льда, но воды ее не совсем еще вошли в берега — ширина реки была тут 400–500 метров. Все ближайшие мосты уничтожены, паромов нет. А время не терпит, надо скорее перебираться на ту сторону. Мы разослали и вверх, и вниз по течению разведчиков искать наиболее подходящее место для форсирования реки.

И уже решили было переправляться у села Кожушки, когда вернулись из разведки наши конники — все, включая начальника группы Илью Самарченко, веселые, шумные, подвыпившие. Солоид выстроил их в шеренгу перед штабом.

— Гляньте на этих разведчиков, товарищ Федоров! — Повернувшись к ним, Солоид скомандовал: — Смирно! Как стоите? Убрать ухмылки! Разведчики называются!..

Я с удивлением поглядывал на ребят, так как знал, что Самарченко твердо держался правила: пока задание не выполнил — спиртного ни капли! Разведчик не должен терять трезвого рассудка.

— Да какие ж мы пьяные, товарищи командиры! — глядя с укоризной на Солоида, проговорил Самарченко. И опять не удержался, распустил на лице улыбку. — Разрешите доложить, товарищ Федоров... Мы выпили потому... ну нельзя иначе — колпаки угостили. Сам дед поднес...

Оказывается, наши конные разведчики встретились с разведкой Ковпака.

Узнав об этом, мы сейчас же потянули Самарченко в штаб, чтобы расспросить его поподробнее.

— Удивительное дело, — заговорил он возбужденно, — встретились и будто нюхом учуяли, все разом поняли — необычные хлопцы...

— Что это вы могли учуять? Духами от них пахнет? Давай к делу! подгонял Солоид.

Новый наш начальник разведки Солоид, прибывший со мной из Москвы, важнейшим качеством командира считал строгость, шуток не признавал, даже улыбку на лице считал проявлением распушенности.

Недавний партизан — он не мог, конечно, понять нашего повышенного интереса к новости, принесенной Самарченко.

Вот и не видели мы Ковпака и ковпаковцев, а что-то роднило нас с ними больше, чем с партизанами других отрядов и соединений. Потребность встретиться, поговорить с ними, посоветоваться что ли, обменяться опытом была очень велика. И не только у командиров, а и у

рядовых партизан.

Повышенный интерес к ковпаковцам вызывался тем, что ковпаковские отряды формировались недалеко от нас, на бывших черниговских землях, Сумская область недавно была частью Черниговской. Наши два соединения были самыми крупными на Украине; и мы и они рейдировали; и, наконец, потому еще питали мы родственные чувства к ковпаковцам, что немцы в своих приказах, листовках, воззваниях то и дело упоминали нас рядом: «бандиты Ковпака и Федорова».

— Почему мы так подумали, что хлопцы эти неместного отряда? Смотрите-ка: у них у всех до одного папахи. Плохонькая, но папаха! Еще скажу — вооружение: на двенадцать человек четыре автомата. Дальше. Местные партизаны из мелких отрядов предпочитают знакомиться из-за деревьев. А эти вышли на поляну. Разговор у них самостоятельный: «Кто это тут в нашем лесу шляется?» Будто и не видят на шапках у нас ленточек партизанских. Мы даже, — тут Самарченко сказал то, что считал, верно, высшей похвалой, представляете, подумали — не нашего ли это соединения люди?.. Уж больно дерзки на язык! Но у них ленточки на шапках шире...

— И, конечно, — прервал Самарченко Солоид, — по чарке вам поднесли со встречанием.

— Я же докладывал, — с обидой в голосе ответил Самарченко. — Сам! То есть Ковпак Сидор Артемьевич поднес собственной персоной. Чокнулся с нами. Вы бы, товарищ Солоид, тоже при таком случае не удержались.

Встреча наших разведчиков с Ковпаком произошла в селе Аревичи. Ковпак пригласил их в штаб, расспрашивал вместе со своим комиссаром Рудневым. Узнав, что мы ищем переправу, Ковпак предложил переправляться вместе.

Как только Самарченко сообщил мне об этом, я вызвал Маслакова и велел ему наладить связь со штабом Ковпака. Сделать это было не так-то просто. Пришлось действовать через Москву.

6 апреля к нам прибыли посланные от Ковпака люди с приглашением пожаловать завтра в гости. Они сообщили нам, что в ближайшие дни немцы намереваются открыть навигацию на Припяти. Не сегодня-завтра со стороны Мозыря должен пройти головной отряд судов. Ковпак подготовил им хорошую встречу, просит нас пропустить их мимо, не обстреливая, бить только в том случае, если они станут удирать.

Шутка сказать: спокойно пропустить мимо пароходы и баржи с фашистами. Но чего не сделаешь ради дружбы... Утром 7 апреля

Дружинин, Рванов, Солоид, Мельник, Балицкий и я с небольшой группой бойцов выехали в Аревичи, в гости к Ковпаку.

* * *

Наши проводники — три ковпаковца, — ехавшие впереди, то и дело отчаянно свистели. Мы думали, что это своеобразный пароль, предупреждение, чтобы ненароком не обстреляли... На свист выбегал из-за деревьев партизанский люд. Потом мы узнали, что означал свист. Это наши провожатые вызывали людей расположенных на нашем пути отрядов посмотреть на нас. Несколькими днями позже, когда Ковпак и Руднев поехали к нам с ответным визитом, люди из наших отрядов тоже сбегались посмотреть на них.

В Аревичах, большом прибрежном селе, в этот день был праздник. Девчата ходили рядами, взявшись под руки. Местные парни, смешавшись с партизанами, — за ними следом. Перебрасывались шутками. Несколько гармошек, перебивая друг друга, выводили плясовые мелодии. Старики нам объяснили: сегодня, мол, благовещенье. Но мы-то знали — не будь в селе партизан, — не было бы и благовещенья. Уж так повелось: если стоят в селе партизаны — праздники следуют один за другим, в церковном же календаре их найти нетрудно.

Только мы въехали на сельскую улицу, — навстречу нам несколько верховых. И впереди всех старик: шуба внакидку, папаха на затылке, борода клинышком. Он ловко, на ходу, соскочил с коня. Я тоже спешил.

Не таким я представлял себе Ковпака. Партизанские командиры, которых я знал, вольно или невольно придавали себе воинственный, внушительный вид. Один обилием оружия, другой — заученным выражением отчаянной смелости и неприступности. Третий щеголял своей молодцеватостью. В Ковпаке же все было удивительно просто. Стоптаные валенки, к которым привыкли его ноги, старенькая, но, видать, легкая и удобная шуба. И папаха не для лихости, а потому, что в ней тепло. А сейчас хоть и весна, нет-нет и подует холодный ветер.

Ковпак не присматривался ко мне. Он, видимо, с одного взгляда прищуренных глаз составил свое мнение о моей персоне.

— Так вот ты який, Федоров! — воскликнул он и заключил меня в объятия.

Мы по-братски расцеловались, потом он заговорил:

— Мне хлопцы докладывают — пришел на правый берег Днепра Федоров. Думаю — так неужели не повидаемось? А ведь есть о чем погутарить. С Сабуровым встречались, с Наумовым тоже... Нам связь надо держать, опытом меняться...

Тут подошел Руднев. Высокий, смуглый, сдержанный. Но как улыбнулся сразу стало видно, что человек он и добрый, и сердечный, и даже конфузливый. К нам присоединился начальник ковпаковского штаба Базыма, и мы пошли гурьбой к большой хате. Игры, пляски — все оборвалось. Народ сбежался, стал разглядывать нас.

Ковпак помахал рукой:

— А ну, расходитесь по своим делам! Мы що вам, цирк?

Я смотрел на него, смотрел да вдруг вспомнил: мы ведь с Сидором Артемьевичем познакомились еще в 1938 году. Путивль входил тогда в состав Черниговской области. Сумская — образовалась позднее. Я приезжал на строительство шоссейной дороги Путивль — Конотоп. Ковпак заведывал районным дорожным отделом, руководил строительством. И тогда уже был он человеком немолодым. Но поражал легкостью, подвижностью.

Знакомых нашлось много. Командир одного из отрядов Ковпака — Кульбака работал незадолго до войны в Черниговской области. Заместитель начальника штаба Войцехович, в прошлом зоотехник, тоже был нашим земляком. Бывшего секретаря Черниговского облисполкома Сильченко мы считали погибшим и вдруг обнаружили у Ковпака. Были тут и два секретаря наших райкомов Олишевского и Козелецкого. Их перебросили из советского тыла на аэродром Ковпака с тем, чтобы они пробились в свои районы; им еще предстояло в одиночку или с небольшими группами перейти на левый берег Днепра.

Разговор начался за накрытым белой скатертью столом. Не то завтрак, не то обед. Нас, гостей, посадили в красном углу, рядом с Ковпаком и Рудневым. Атмосфера была самая что ни на есть радушная, простая. Выпили за победу, за партизанские успехи. Потчевали нас хозяйева и жареной рыбой, и вареной по-партизански картошкой в мундире, и кислой капустой; все жалели, что не скоро, видимо, еще на нашу долю выпадет такая хорошая закуска, как селедка.

За первыми гостевыми разговорами пошли и деловые. Как бы между прочим Ковпак спросил нас, что мы решили насчет флотилии, если пойдет она мимо нашего лагеря. Узнав о моем приказе, он потер от удовольствия руки.

— Це добре решение. За то вам спасибо... Их ведь спугнуть було б недолго. Хай воны в гуцу нашу заберутся. Тут мы им дадим рыбки покушать!

Ковпак стал рассказывать, как их разведка обнаружила подготовку немцев к навигации. Уже не первый день ждали партизаны эти корабли.

Катер-разведчик был потоплен неделю назад.

— Думали — спугнули мы немцев, не полезут. Нет, Вершигора, наш командир разведки, вчера доложил, пушки на пароходы ставят. Значит, пойдут...

Тут вошла в комнату повариха, принесла на огромной сковороде румяную, аппетитно зажаренную телятину и поставила на стол возле меня. Поставила, а сама не уходит, теребит в руках тряпку.

— Что, тетя Феня, — спросил Ковпак, — понравился хлопец? Одного его теперь будешь кормить? Знакомьтесь, Олексий Федорович, наша кухарка Федосья Павловна Ломако. Не больно молода, но красива...

— Не смийтесь, Сидор Артемович, я спытать гостя хочу... Може есть у вас, товарищ Федоров, дочка моя? Настя зовут, а фамилия, як и в мене, Ломако.

Я такой не помнил. И хотел было уже ответить, что я, конечно, помнить всех не могу, что по возвращении к себе разузнаю, но вмешался Рванов.

— Опишите-ка ее подробно.

Тетя Феня разволновалась, голос даже переменялся:

— Полненька, середнего росточку, круглолица, чернява, брови як ласточки. В туфельках кофейного цвету, на высоких каблучках. Кофточка на ней шелкова — сама вышивала: птички малесеньки на рукавах, а по грудям цветы красны...

Все рассмеялись. Я тоже не удержался. Никто из нас не хотел, конечно, обидеть тетю Феню. А она рассердилась, швырнула в угол тряпку и выскочила за дверь. Еле ее вернули.

— Вы прямо скажите: чи есть у вас Ломако Настя, чи нет? Стыдно, хлопцы, над старой людиной смеяться! — крикнула сквозь слезы тетя Феня. Як оно, дитятко мое, вышло тогда з дому, так и стоит у меня перед глазами.

В самом деле, не так-то легко описать даже родную дочку (и дочку-то может быть особенно трудно), если нет в ее внешности ничего резко характерного.

Рванов знал Настю Ломако — медсестру четвертой роты. Но, быть может, она всего лишь однофамилица. Стоит ли вызывать надежды, чтобы тут же разочаровывать!

— Як вам ее описывать? — продолжала тетя Феня: — Може, вона тоща тепер, як та цепля; може, поседела через горе лютое та через немецьки пытки; може, руки или глазу у ней тепер нет — мне хоть какую, а тилько б живую, хоть некрасивую, стару, да ридну дочку!

— Есть у нас Ломако, — решил, наконец, сказать Рванов. — И, кажется, действительно Анастасия. Не седая, не хромая и оба глаза у нее целы...

Тетя Феня вцепилась в мое плечо, больно сжала его. Руки ее тряслись. Лицо побледнело.

— Я сейчас назову вам одну приметку, если подходит — значит, она. Во время боя... — продолжал Рванов.

— Да разве видела я ее когда во время боя...

В этот момент мы услышали, как зацокал вдалеке пулемет. Короткая очередь, еще очередь. Ударил пушка. Все насторожились. Тетя Феня, вздохнув, отпустила мое плечо. Я глянул на нее. Она непроизвольно, резко, по-птичь, подняла плечи и сунула в рот косточки пальцев.

— Ваша, ваша дочка! — воскликнул Рванов. Он тоже заметил это движение тети Фени. — Не сомневаюсь. И она тоже — стоит выстрелу раздаться — кулак в рот сует. Просите командира, возьмем вас с нами. Сегодня же вечером и встретитесь.

Но в этот вечер матери и дочери Ломако встретиться не удалось. Услышанные нами выстрелы были началом большого боя. К Ковпаку подбежал ординарец, шепнул что-то на ухо.

— От це добре! — воскликнул дед. — Новы гости прибулы. Кто хоче пидемо встречать!

Сидор Артемьевич взял меня под руку, мы вместе вышли, вскочили на коней и поскакали к берегу Припяти. Там мы забрались на кучугур. С него хорошо была видна река с ее ярко-зелеными берегами, заросшими кустарником и камышом. День стоял солнечный с ветерком, выйдя из накуренной хаты, приятно было вдыхать весенний свежий воздух, любоваться на реку. Красиво плыли по реке маленькие кораблики; за ними тащились длинные железные баржи: мирная картина! Но вот дымок, другой, донесли до нас и раскаты выстрелов и взрывов. Запенилась, забурилась вода возле кораблей. С них тоже начали стрельбу по нашему берегу. Но стреляли, конечно, бесцельно, просто по зелени кустов.

Катера оторвались от барж — наверное, обрубив канаты, стали кружиться, петлять, пытаясь уйти от артиллерийского и минометного огня. Минут через десять два катера загорелись. Команда попробовала спустить шлюпки, но все, кто вышел на палубу, тотчас же были срезаны пулеметным огнем. Вскоре загорелись еще два катера и баржа.

К Ковпаку то и дело подбегали связные, докладывали то, что он и сам видел.

— Эй, смотри, утечет тот левый. Передай Кульбаке: огонь из всех

орудий! — свирепо кричал Ковпак, потом, поворачиваясь ко мне, хохотал: Здорово чесанули!

Об этой операции ковпаковцев подробно написал в своей книге «Люди с чистой совестью» Вершигора, рассказал о ней в своих воспоминаниях и сам Сидор Артемьевич. Не стану их повторять. Ни одно судно флотилии не спаслось. До ночи горели остатки кораблей и барж. Из команды судов выбрались на берег всего семь человек. Утром следующего дня их поймали партизаны нашего соединения.

Эти семь мокрых, насмерть перепуганных солдат не смогли нам объяснить, для чего их командование отправило флотилию на верную гибель.

— Знали ваши командиры там, в Мозыре, что между Кожушками и Юревичами расположились партизаны Ковпака и Федорова?

— Нам говорили, что партизаны ничего не могут сделать бронированным кораблям. Нам говорили, что у вас только старые винтовки и несколько пулеметов. Нас отправляли в рейс торжественно, с музыкой, которая играла в честь открытия навигации... Боже, что с нами сделали!

Немецкие самолеты летали над нами каждый день, отряды и наши, и ковпаковские сталкивались и с разведочными группами немцев, и с оккупационными гарнизонами ближайших сел.

Как же так они решились открыть навигацию?

Дело, видимо, в том, что они не смогли объединить все свои разведочные данные, сопоставить разрозненные сведения. Во всяком случае ясно — немцы недооценили партизанские силы на Припяти.

К такому выводу пришли мы, обсуждая в штабе Ковпака итоги разгрома флотилии. Это очень повысило наше настроение. За ужином Руднев предложил ознаменовать встречу соединений совместным ударом по городу Брагину.

Предложение показалось всем заманчивым. Базыме и Рванову тут же было поручено разработать план совместного налета на Брагин. В целях совместных действий мы с Дружининым отдали приказ о передислокации нашего соединения поближе к Аревичам. Свой штаб мы разместили в одной из хат этого села, в ста метрах от штаба Ковпака.

Следующий день почти целиком Дружинин, Руднев и я объезжали сперва ковпаковские, а потом наши подразделения, обменивались опытом.

Любопытно, что, не получая на сей счет никаких указаний сверху, наши соединения организационно были построены так, что почти ничем друг от друга не отличались. Поменяйся командование соединений и отрядов местами, можно было продолжать действовать без путаницы.

Такую форму организации диктовала сама жизнь. Объединяясь и разрастаясь, партизанские отряды сохраняли все же автономию, как бы земляческие ячейки. Это было особенно важно в связи с необходимостью постоянной взаимопроверки, неустанной бдительности.

Два дня мы пробыли с Рудневым и за эти два дня успели подружиться, даже фуражками поменялись. И до сих пор хранится у меня фуражка Семена Васильевича. Надо бы отправить ее в музей партизанского движения, но не могу расстаться, очень дорога память об этом человеке.

Много о нем рассказано и написано людьми, которые и дольше и лучше меня знали Семена Васильевича. Но хочется и мне поделиться своими впечатлениями о нем.

Вспоминаю я не усы, не глаза, не стройный его стан, а прежде всего голос, его интонации. Семен Васильевич картавил, но даже картавостью своей будто подчеркивал значение слов и согревал их. Смеялся с детской непосредственностью, хорошо, от души смеялся, хотя и негромко.

Право жаль, что не вел я дневника. За дни, в которые встречались мы с Рудневым, он много сказал такого, что следовало бы записать. Был у него природный дар комиссара. Он умел будить в людях высокие мысли и чувства не только на митингах, но и в простом повседневном разговоре.

Когда мы ходили по ковпаковским ротам и взводам, я видел, с какой радостью встречали его люди и в палатках, и на учениях, как ждали его слова, оценки, совета. Руднев мой ровесник, но военный опыт у него гораздо шире. Свыше двадцати лет служил он в Красной Армии, еще в гражданскую войну комиссарил. Потом окончил Военно-политическую академию, служил на Дальнем Востоке. Но опыт опытом, хоть он и имеет значение немалое, — в Рудневе блеснул, искрился талант проникновения в души человеческие. В память врезались некоторые мысли, высказанные Семеном Васильевичем как бы между прочим, но, видно, давно выношенные им. Политруку взвода он сказал при мне: «Вы должны в каждом партизане видеть не только воина, но и послевоенного работника, воспитывать в нем строителя».

Днем позднее, когда мы ехали верхами из одного подразделения в другое, Руднев остановил коня и долго смотрел на правый берег Припяти. Там корова тянула соху, на которую из всех своих сил налегала худенькая пожилая женщина. Поманив пальцем молодого парня, сопровождавшего нас, комсорга одной из ковпаковских рот, Руднев спросил его:

— Что видишь?

— Женщина пашет.

— Больше ничего не видишь? — Парень молчал, не зная, что

сказать. — А немцев там не видать?

— Нет как будто... Может, замаскировались.

— А ты, друг, вообрази, что то родная твоя мать пашет. Сразу, небось, и немцев увидишь. Учти, товарищ комсорг, картина, которую сейчас видишь, хуже пожара и бомбежки. Это называется немецкая сельскохозяйственная «политика».

Когда мы с Рудневым объезжали наши подразделения, он пытливо присматривался к установленным у нас порядкам. Вопросы задавал подчас совершенно неожиданные:

— Многие женщины у вас курят?

— Драки между партизанами бывают? Из-за чего?

— Все горожане научились лошадей запрягать?

Одного нашего командира отделения разведки, славящегося своим щегольством, Руднев сильно смутил, спросив, хорошо ли он умеет стирать белье.

— Нам девчата стирают, — ответил наш щеголь.

— Понимаю. Они вам, а вы — им. Только, по-моему, свое белье стирать приятнее, чем чужое.

Руднев откровенно позавидовал нашей походной типографии, дававшей нам возможность регулярно выпускать газету и большими тиражами печатать листовки. Он долго беседовал с нашими редакционными работниками и лекторами. К этому времени при обкоме была создана у нас специальная лекторская группа. Озерный, Лидия Кухаренко, Сербин выезжали в соседние села, читали доклады о положении на фронтах, о политике наших «союзников».

— Это дело у вас обязательно перейдем.

Запомнилась мне и речь Руднева, обращенная к бойцам, которые шли на боевую операцию в Брагин. Речь его была коротка, спокойна и в то же время зажигательна. Вот слова, которые особенно запали мне в душу, и думаю, что так же запали они в душу всех, к кому обращался комиссар:

— Не забывайте, товарищи, что идете вы сейчас не в немецкий, не в мадьярский, а в наш, советский город. Немцев и полицейской сволочи там меньше, чем советских людей, придавленных силой оружия. Ваш налет должен стать радостным для них событием, торжеством над врагами. Так ведите себя так, чтобы малые мальчики и девчонки до старости своей помнили, что в черные дни оккупации был у них большой праздник — налет партизан. Так воюйте так, чтобы все честные люди в Брагине оказали: это наши пришли!

* * *

Десятого апреля в Аревичах Ковпак, Руднев, я и Дружинин подписали приказ о совместном выступлении для уничтожения вражеского гарнизона в Брагине. Мы выделили для участия в этой операции 535 человек, Ковпак 650. Нашей ударной группой командовал Лысенко.

Брагин — большой районный центр, в прошлом уездный город, стоит в междуречье Днепр — Припять. Он окружен лесами. В Брагине располагалось несколько гитлеровских окружных учреждений, переброшенных сюда из Гомеля, чтобы они не подвергались опасности налетов советской авиации. Вероятно поэтому противник сосредоточил здесь довольно большие силы.

От Аревичей до Брагина приблизительно 65 километров. По приказу марш надо было совершить за четырнадцать часов. Задача нелегкая, принимая во внимание, что предстояло идти лесами и болотами, что дело было ранней весной, когда все дороги и тропы превратились в жидкую кашу.

Десятого апреля в два часа дня колонны партизан углубились в леса; кроме ударных групп, в операцию двинулись для наблюдения за ней и для общего руководства ковпаковский и наш штабы. Пошли с нами и хозяйственные подразделения во главе с Михаилом Ивановичем Павловским — заместителем Ковпака по хозяйственной части.

К тому времени Михаилу Ивановичу было уже за пятьдесят. Невысокого роста, крепкий, плотный дядька; хоть и не носил он больших усов, но при взгляде на него невольно вспоминался тип запорожского казака. Усевшись на лошадь, он сразу как бы прирастал к ней. Сейчас, кажется, вырвет из ножен саблю и помчится в атаку.

Однако, вспоминая о партизанских делах, товарищи связывают чаще всего имя Павловского с «битвами» за пайку хлеба, чарку водки, мешок овса, кусок мяса. Верно, что оберегал Михаил Иванович партизанское добро с самозабвением, переходящим в скардность, но делал он это, разумеется, только в интересах самих же партизан. Никто, как он, не знал, что значит для партизана хорошо сохраненный и припрятанный «нз».

Еще в годы гражданской войны Михаил Иванович командовал партизанским отрядом на Украине. И в 1941 году, когда немцы подошли к Днепру, Павловский, занимавший тогда должность директора совхоза в Бериславском районе, Херсонской области, возглавил небольшой отряд. На Херсонщине нет лесов. Партизаны попали в очень трудное положение. Окруженные в днепровских плавнях в десять раз превосходящими их силами карателей, не имея никакой связи с населением, бериславокие товарищи долго держались тем небольшим запасом сухарей и консервов,

который у них был.

И, дождавшись момента, когда бдительность немцев ослабла, вырвались ночью из кольца.

23 человека привел из Херсонских степей в леса Сумской области Павловский. У Ковпака он стал ведать хозяйством. Но нет-нет да и уговорит деда, получит боевое задание. Во многих операциях Михаил Иванович шел под пули впереди бойцов. Рассказы о его храбрости в партизанском мире передавались из уст в уста.

Это он на Припяти с другим партизаном-ковпаковцем, Сердюком, в разгар боя, под прикрытием береговых пулеметов, подплыл на лодке к вражескому кораблю, забрался на верхнюю палубу и, бросив гранату в иллюминатор, поджег судно.

Сейчас Павловский шел с нами на Брагин, чтобы пополнить из немецких складов продовольственные и фуражные фонды партизан.

Из Аревичей, как я уже сказал, мы выступили в два часа дня. Обычно партизаны совершают налеты и начинают большие переходы ночью, под покровом темноты. Нам же в этот раз было важно выйти к ночи на подступы города.

В Аревичах остались отряды Ковпака, прикрывающие переправу через Припять. Несколько наших отрядов, не участвующих в Брагинской операции, постепенно, небольшими группами перебирались на пароме, лодках и плотах на правый берег Припяти. Внимание немцев было привлечено к ним. Укрепившись на правом берегу, километрах в шести от переправы, немцы с небольшими передышками били из орудий по Аревичам и по реке. С часу дня начала нас беспокоить и авиация. Два звена штурмовиков заходили поочередно, вели с бреющего полета пулеметный огонь по переправе и сыпали на село десятки мелких бомб. Потом они заметили наше движение лесом в сторону Брагина и перенесли удар на нас... Здесь между прочим немцы применили «новое оружие». То ли у них исчерпался запас бомб, то ли они шумовыми эффектами думали вызвать у нас панику, только вдруг с неба полетели какие-то странные предметы. Падая, они свистели, выли, дребезжали. Лесное эхо дробило и множило шум. В первые минуты от неожиданности действительно кое у кого заскребло на душе. Но скоро страх сменился всеобщим смехом. Ломая ветки деревьев, в лес падали пустые железные бочки с пробитыми боками, куски рельсов и еще какой-то железный утиль.

«Утильная бомбардировка» была, как нам потом сообщили пленные, частью общего плана немцев, готовивших ковпаковцам и нам «мокрый мешок». План этот не был секретом для партизанского командования.

Местные брагинские партизаны через своих людей несколько дней назад узнали, что в город прибыл генерал-лейтенант, командующий всеми экспедиционными войсками по борьбе с партизанами Украины и Белоруссии.

Разведав, наконец, что между устьем Припяти и Днепром сосредоточились три партизанских соединения, немцы решили использовать преимущество, данное им самой природой. Они спешно укрепляли правый берег Припяти и левый берег Днепра, чтобы не дать нам переправиться к Ковпаку. А на линию Мозырь — Брагин — Днепр стягивали большие силы, как бы завязывая «мокрый мешок». Замысел немцев нетрудно было разгадать. Им, конечно, и в голову не могло прийти, что вместо того, чтобы как можно скорее переправляться, мы вдруг предпримем удар по их центру. Летчики-наблюдатели, увидев, что мы углубляемся в лес, доложили своему начальству, что партизаны, спасаясь от бомбежки, разбегаются по лесам. «Усилить панику»! — приказал генерал-лейтенант, и вот на лес полетели бочки и рельсы.

К вечеру авиация от нас отцепилась. Сделав только два получасовых привала, наши ударные группы продолжали движение и ночью. Труднее всего пришлось артиллеристам. Колеса пушек облепила грязь. Тяжелую шкотовскую пушку, помогая лошадям, тянули на канатах, как бурлаки, больше пятидесяти человек.

В три часа ночи за двенадцать километров от Брагина ударные группы разделились: наши отряды под командованием Лысенко пошли на север, отряды ковпаковцев Вершигора повел в обход города на юг. Вместе с ними до намеченного заранее командного пункта поехали и мы с Ковпаком.

Во время боя за Брагин я наблюдал за его ходом, сидя вместе с Рудневым в траншее на огневой позиции. Мы получали время от времени донесения радистов и конных связных. Городок, окруженный лесами, выглядел с командного пункта однообразно серым. После первых же оружейных выстрелов к утреннему туману примешался дым пожаров: наши зажгли спиртовой завод и махорочную фабрику...

Бой длился до самого вечера. Донесений приходило множество и довольно противоречивых. Уже к двенадцати дня группа отрядов под командованием Лысенко захватила северную часть города, уничтожила гарнизон противника, расположившийся в школе, сожгла мельницу, электростанцию, кожевенный завод, маслозавод, захватила оклады с продовольствием и военным имуществом. Казалось бы, все шло хорошо, но одна из рот, перед которой стояла задача помешать отходу противника по реке Брагинке, преждевременно открыла огонь и тем самым принудила

значительную часть гарнизона вернуться в окопы, доты и дзоты. А оттуда их вышибить было нелегко. С помощью ковпаковской артиллерии разбили до 25 дзотов и три дота. Но крупнокалиберных снарядов не хватило, и поэтому полностью овладеть городом не удалось.

Были взяты большие трофеи, уничтожено несколько сот гитлеровцев, и все же общую оценку операции как штаб Ковпака, так и наш дали весьма сдержанную.

Но можно ли только с оперативно-тактических, штабных позиций оценивать партизанский налет на город, да еще такой налет, каким была Брагинская операция наших соединений? Мы ведь не ставили себе целью захватить город и удержаться в нем надолго. Мы заранее знали, что, разгромив гарнизон противника, его склады, захватив оружие, боеприпасы, продовольствие, освободив из тюрьмы советских граждан, уйдем из Брагина.

Партизанский налет на хорошо защищенный оккупантами город, даже если и не приносит полной победы, полного разгрома противника, если успех только частичен, дает участникам такого налета ощущение силы, дерзости, уверенности в себе. Отчет штаба нашего соединения говорит, что налет на Брагин не был удачным. Но в моей памяти Брагинская операция сохранилась как праздник, как партизанское торжество. Почему? Да уже хотя бы потому, что операцию эту мы проводили вместе с отрядами Ковпака. И мы действовали монолитно, как единая дисциплинированная воинская часть. К кому бы из участников этого боя я ни обратился, — все, как один, говорят: «Славная была операция».

Вот, например, что вспоминает о брагинском бое рядовой партизан Георгий Кидаш. Привожу отрывок из его воспоминаний:

«...Рано утром город был окружен партизанами. В течение часа две трети города оказались в руках партизан. На улицах валялись сотни вражеских солдат и офицеров. До самого неба полыхало пламя от горящих складов с боеприпасами и другим немецким имуществом.

Возле большого здания виднелись пушки разного калибра. Наше подразделение находилось за небольшим домиком. А из второго этажа большого дома немцы сильным огнем закрывали подход к пушкам.

Партизан Гриша Мельник нашел в домике длинный канат, обвязал свою ногу и сказал:

— Я полезу к пушкам, если меня ранят или убьют, тяните за канат к себе.

Гриша накачал в себе ярости и полез к пушкам. По нему с верхнего этажа выпустили сотни пуль, но Гриша был цел и невредим. Долез до

крайней пушки, зацепил ее канатом, а сам возвратился обратно. У нас не хватало сил, чтобы подтянуть к себе пушку. Грохот, пулеметные очереди, взрывы снарядов ни на минуту не прекращались. Гриша командовал:

— Давайте пушку на цыганка, то есть на вороток!

Трое партизан схватили два дрючка, накрутили цыганка, и пушка вмиг оказалась в наших руках. По такому же способу Гриша вытащил и вторую. Из большого дома слышались крики полицаев:

— Берегите пушки, партизаны крадут их магнитом!

Мы развернули немецкую пушку и стали стрелять по дому. Вверх полетели камни, поднялась пыль.

Вдруг я увидел, что фашисты бегут через улицу, во двор дома, тащат с собой седла и что-то в мешках. Командир послал туда меня и Николаенко. Мы подошли, заглянули. Во дворе было полно немцев. Они суетились, седлали лошадей. Офицеры сидели на бричках и покрикивали на своих солдат по-немецки. Наверное, кричали? «Давай быстрее, быстрее!» Ворота были прикрыты, мы все это видели через щель.

Николаенко сказал:

— Давай завяжем проволокой ворота и калитку.

А проволока у него уже была в руке. Завязали ворота и калитку. Немцы бросились на выезд и не смогли открыть ворота.

Началась беготня, у ворот собрались офицеры. Двор был обнесен высокой каменной стеной. Николаенко мне шепотом говорит:

— Давай по паре гранат бросим!

Приняли такое решение, и вмиг внутри двора рвануло четыре взрыва. Послышались стоны и вопли. Мы открыли калитку, застрочили наши автоматы. Когда во дворе уже не стало живых, мы вошли в калитку. Заглянули в сарай: офицер сидит верхом на лошади и щелкает себе пистолетом в ухо. Так как пистолет у офицера был не заряжен, мы с Николаенко помогли ему прикончили его из автоматов. Забрали во дворе много спиртных напитков, сала и других продуктов. Сели на немецких рысаков и доложили командиру, что задание выполнили.

После этого командир послал нас, трех человек, к небольшой речушке, которая протекала недалеко от сарая. У берега стояла копица сена. Задача нам была дана — не пускать немцев через речушку. Товарищ Николаенко, сядя на сено, обнаружил что-то твердое и говорит: — «Ребята! В сене кто-то спрятал бочонок спирта». Откинули сено, и сразу показалась фуражка немецкой жандармерии... В этой копице было нами найдено еще четыре оккупанта.

Над местечком Брагин с утра до вечера вертелись «мессершмитты».

Бросали, наверное по бедности, гранаты, мины, связки рельсов и круглые цементные галушки...

Особенно у нас прославились командир второй роты отряда им. Щорса Гриша Сентяй и командир отряда Николай Зибницкий. Им удалось подбить три танка и два броневика. После этого немцы стали разбегаться, и мы брали их в плен группами по двадцать-тридцать человек.

В начале десятого вечера мы ушли из города. Наша ударная группа взяла шесть станковых пулеметов, две пушки, двенадцать пулеметов, вывезла много сахара, ветчины, колбасы, кожи, подсолнечного масла, взорвала маслозавод, спиртзавод, махорочную фабрику. По пути из города мы все время раздавали населению сахар и колбасы. Масло не давали потому, что в движении невозможно было его разливать».

Так рассказывает об операции рядовой ее участник. Есть у меня еще один документ, относящийся к этой операции, документ не совсем обычный. Я получил его уже после войны.

В Киеве, на вечере, посвященном встрече бывших партизан со студентами, я рассказывал между прочим и о бое в Брагине. Потом получил записку от студентки Строительного техникума Тани Иваницкой: «Я жила в Брагине, когда партизаны на него напали». Мы познакомились, и Таня обещала мне прислать подробное письмо со своими воспоминаниями о том дне.

Вот это письмо:

«Вы просите, чтобы я подробно описала весь день, как я его помню. Пожалуйста, товарищ Федоров. Я постараюсь.

Во-первых, я начну, как проснулась. Мы жили тогда с дедушкой и бабушкой и сестрой моей Аней в летней кухне. Было очень тесно, потому что плита большая и полки. Дедушка с бабушкой на плите, — у них был сенник, а я и Аня вместе на полу. Аня эту ночь вообще не спала. Ворочалась, вздыхала, тихонько плакала. Ее вызвали повесткой в здание школы, где происходила регистрация молодежи. Ане тогда исполнилось восемнадцать. Она боялась, что ее пошлют в Германию или в солдатский дом; я тогда еще не понимала, что это такое. Теперь она замужем, у нее двое детей, они всей семьей живут в Калининграде. Я, если хотите, могу вам прислать адрес. Она, конечно, больше помнит, чем я. А дедушка с бабушкой писать не раскачаются. Другое дело, если поехать к ним.

Как мы жили? Вставали всегда очень рано. Нас будили хозяйские собаки — скребли дверь. Их было две овчарки, они всю ночь носились по дворику и лаяли, а часов в пять утра начинали скрести дверь, чтобы их кормили. В это утро 11 апреля вместе с собаками пришел их хозяин, стал

рвать ручку двери. Он всегда злился, что мы запираемся. Что он пришел, мы не удивились, так как «хозяин» часто играл до утра в карты с другими немцами.

Я его называю «хозяин» — его так дедушка прозвал по горьковскому рассказу. Он тоже был толстый, краснорожий, только у Горького русский, а этот немец. И тоже до страсти любил свиней. «Хозяин» был не военным немцем, а из колонистов, служил в гебитскомендатуре. Он прибыл в Брагин в феврале 1942 года, выгнал из дедушкиного дома солдат, завел чистоту, нам разрешил жить в летней кухне. Дедушка, бабушка и Аня считались его личной прислугой. Кроме них, приходили работать другие русские из тюрьмы и с биржи труда. Тех сторожил солдат или полицей.

Одиннадцатого апреля «хозяин» пришел в начале шестого утра. Он колотил ногой в дверь и ругался скверными словами. Уже было светло... Дедушка отворил дверь, и «хозяин» стал тыкать в дедушкин живот пистолетом. «Вы врете, что спали. Вы нарочно притворились потому, что слышали стрельбу!»

Может быть, дедушка с бабушкой действительно притворялись, а я крепко спала. «Хозяин» разбудил меня да как закричит: «Ты маленькая девчонка и всюду лазаешь, беги узнай, что за стрельба на улице!» Дедушка сказал: «Нет, она не пойдет, господин Кугельман». Бабушка крикнула: «Я пойду, только не трогайте детей!» В этот момент на улице, совсем, наверно, близко, взорвался снаряд. Мы все, и «хозяин» тоже, попадали на пол Обе овчарки моментально испачкались. Обычно страшно злые, они сейчас вертелись, как выюны, и скулили. Скоро опять взорвался снаряд, и опять. Дедушка поднялся с полу первым. Я никогда не видела, чтобы лицо у него было такое восторженное. А «хозяин» лежал на полу у печки, уткнувшись носом в нашу с Аней постель. Тут вдруг — дзинь стекло. Бабушка крикнула: «Ложись, старый дурень!» Дедушка шлепнулся прямо на «хозяина». Они стали кататься, вцепившись друг в друга, стали орать, ругаться. Дедушка кинул в угол что-то черное. «Хватай, Анька!» — крикнул он. Это оказался пистолет, который дедушка вырвал у «хозяина». Аня вскочила и прижалась к углу с пистолетом. Собаки стали на нее кидаться, лаять, но не очень сильно — ведь она их кормила. Я никогда не думала, что Аня такая смелая — она выстрелила в собак.

«Стреляй в эту сволочь тоже!» — хрипел дедушка. На него насел «хозяин». Бабушка тоже вскочила и дубасила по спине «хозяина». Я сама не помню, как до этого дошла: бью кастрюлькой по голове «хозяина» и плачу, а он все больше душит дедушку. Тут Аня прижала к голове немца пистолет. Я ужасно визжала и бабушка тоже. Выстрела не слышу, но вижу

— «хозяин» весь в крови, а дедушка поднимается, у него тоже на лице кровь, но он какой-то вроде даже радостный. Аня бросила пистолет на пол, намочила полотенце в ведре и начала тереть дедушке лицо. Он хохочет. Бабушка говорит: «Как ты можешь в такой момент смеяться, перестань сейчас же!»

Между прочим собаки не совсем подошли. Они выползли на двор и там ужасно скулили, визжали. Аня хотела пойти их прикончить, но дедушка не позволил. «Подожди, может быть, патроны еще пригодятся». Из «хозяина» все текла и текла кровь. Мы перебежали через дворик в подвал нашего дома. Сидим там и рассуждаем: неужели Красная Армия?

Бабушка больше всех беспокоилась, что вот «хозяин» убитый, вдруг сюда войдут сейчас немцы. У Ани глаза черные от возбуждения. «Пусть сунутся, у меня в пистолете еще три патрона!» Потом слышим стук в ворота и треск, во дворик ворвались люди. Голоса, топот. «Русские, русские!» — закричала первая Аня и выскочила из подвала. Я тоже за ней, а потом и дедушка с бабушкой. Это были партизаны. Дедушка бросился с ними целоваться, а им целоваться некогда. Они спрашивают: «есть немцы?» Дедушка им открыл летнюю кухню и показал на «хозяина», а потом на Аню. Партизаны похлопали Аню по спине, похвалили. Дедушка стал показывать на сарай: «Тут свиней много, шестнадцать штук, забирайте, товарищи!» Партизаны сбили с сарая замок. Свиньи выбежали. «Ну, мы пойдем, — сказали партизаны. — Вы пока прячьтесь, бой еще не кончился». Но они все-таки постреляли штук пять свиней из автоматов. Четыре туши погрузили на подводу. Пятую оставили нам. Остальные свиньи разбежались.

Недалеко от нас был кожевенный завод. На нем выделывали кожи и отправляли в Германию. Он горел, искры летели к нам во двор. Потом была очень сильная стрельба у школы, потом у тюрьмы. Мы в этот день ничего не ели, не хотелось. Аня требовала, чтобы ее отпустили с партизанами. Бабушка плакала, просила Аню остаться. А тут как раз вносят на шинели раненого партизана, молоденького мальчика. Кричат: «Дайте скорее воды промыть рану и тряпку чистую!» Бабушка и Аня стали перевязывать этого мальчика. Он пришел в себя и стонет, а когда увидел Аню, стиснул зубы и перестал стонать. Потом его унесли. Я уже писала, что дедушка ходил на улицу, разговаривал с партизанами и получил подарки — муку, мыло, спички и флягу рома. Мы все выпили, даже мне дали глоток.

Вот видите, что я запомнила, товарищ Федоров. А общей картины боя вам описать не могу. Аня в партизаны не попала, не знала, как это сделать. Ей было очень досадно.

А теперь опишу, как вы просите, что было, когда партизаны ушли.

Мы не сразу об этом узнали. Когда стало тихо, то сперва даже обрадовались, что не стреляют. Дедушка первым, а за ним и мы с Аней и бабушкой вошли в дом. Туда нас «хозяин» не пускал, а это был наш дом. Уже стемнело, дедушка стал зажигать лампу, а у самого руки дрожат; он стекло разбил. Увидел две свечи на столе и разбросанные карты. Зажег свечи. Вдруг дедушка застонал (я даже испугалась) и давай кидаться вещами. Топают ногами, ревет и сбрасывает со стола немецкую посуду. Бабушка стоит бледная. «Господи, да ты сдурел совсем, Миша!» А он подбежал к кровати, содрал с нее кружевное покрывало, тоже бросил на пол, стал топтать ногами, рвать. Мне тоже захотелось что-нибудь разбить. На столе еще оставалась пепельница — чисто немецкая: в виде горшка из уборной и внутри горшка тоже из фарфора сделано. Дедушка крикнул: «Да чего ты хватаешь эту гадость, сейчас же брось, Танька!» Я с удовольствием разбила эту штуку. Дедушка еще долго буянил. Выбросил из комода все белье на пол. Бабушка одну скатерть схватила: «Не дам! Они у нас все ограбили, хоть что-нибудь пусть остается!» «А где Аня?» — схватился дедушка. И тут оказалось, что Аня перевязывает во дворе овчарку. Одна из них оказалась жива.

Потом мы ужинали за столом, как раньше, когда еще немцы не приходили. Только перед этим все консервы, которые нашли у «хозяина», и сало, и кофе закопали под навозом в сарае, где раньше были свиньи. «Хоть день, а наш!» — сказала вдруг бабушка.

Прибежала соседка. «Пойдите, посмотрите, у меня в хате какой ужас!» Но мы не пошли. У нее жил немецкий лейтенант — начальник биржи труда. О нем было известно, что по ночам он ходил в тюрьму и там любил заниматься пытками. Наша соседка Любовь Никитична рассказала, что тоже, как и мы, решила войти в свой дом. Никого нет. Только лужа у дивана. Она сразу же поняла. Взглянула под диван, а там этот лейтенант и рядом с головой пистолет. Застрелился. Сперва, наверное, прятался под диваном, а потом уже так испугался, что, не вылезая, покончил с собой.

Спать мы легли, будь что будет, у себя в комнатах, как господа. И хотя перед этим столько переживали, все уснули крепко, до утра.

Вы извините, товарищ Федоров, что письмо получается длинное, хотя вы просили сами, чтобы подробнее. Что было дальше? Очень ли забоялись, когда узнали, что партизан в городе ни одного нет? Я была маленькая, со мной не советовались и не все при мне говорили. Но я знаю, что никогда раньше, то есть до вашего нападения, так не сходились для разговоров жители нашей улицы. Теперь при встречах стали смотреть друг на друга

открыто и весело. Ночью выходили куда-нибудь на огород, беседовали, узнавали новости с фронта. Неподалеку от нас жил бывший начальник отделения милиции из Витебска. Он жил с тремя детьми. Его жену убили за него. Это было еще в Витебске. Пришли его искать, а он хорошо спрятался. Тогда немцы забрали его жену и убили. А ему удалось с детьми уйти, и он добрался до Брагина. Здесь он отрастил бороду; она оказалась совершенно седая, хотя сам он был не старь. Он стал водовозом у немцев. И вот теперь он всех своих трех девочек роздал другим жителям, а сам побрился и ушел к партизанам.

Раньше, если исчезнет человек — значит, угнали в Германию или посадили в тюрьму. Теперь стало по-другому. Бабушка говорит: «Виктор Иванович, фельдшер, пропал». А дедушка сразу: «К партизанам подался. Помяни мое слово — там».

Из немецких учреждений почти все русские, украинцы и белорусы после вашего нападения поуходили, больше служить немцам не вернулись. Многие совсем убежали из города, кто куда. Некоторые стали партизанами. С немцами остались только самые закоренелые.

Что еще, какие были последствия? Тех немцев, которые раньше хозяйничали, руководили в городке, — на девяносто процентов убили. Кто схоронился — убежали в Мозырь, в Гомель и даже просились на фронт. А с семьями немцев после вашего налета никогда уже больше не было. Немецкие жены и дети со всего нашего края эвакуировались обратно в свою Германию.

Дедушка и бабушка раньше, если с кем-нибудь разговаривали о партизанах, что мол такой то в партизанах, как будто жалели этого человека. Я хоть и не понимала почему, тоже, например, жалела Сережу Петрова, моего двоюродного брата. Он был в Брагинском отряде. Я почему-то всегда представляла, что они все сидят зимней ночью тесным кружком на замерзших болотных кочках и говорят друг с другом шепотом, а кругом залегли немцы и их караулят. Нет, почему действительно жалели партизан? Да потому, наверное, что немцы разъезжали смело и всюду — жирные, красномордые, веселые и спали на кроватях; перед сном умывались душистым мылом. И редко было слышно, что партизаны кого-нибудь из них убили. А после 11 апреля, я, например, так гордилась, что у меня двоюродный брат партизан, что в разговоре с девчонками всегда вверну об этом. И все теперь гордились партизанами. Стали считать их сильными, смелыми, говорили о них с уважением, как все равно о Красной Армии.

На бирже труда списки молодежи все сгорели, а начальство, которое

занималось вербовкой, было убито. Новые немцы не скоро наладили дело. Теперь, если они забирали, то без списков, а просто ходили отрядами по дворам. Учета у них не стало, они подолгу в своих учреждениях не служили. Месяц-два, потом уезжают. А у населения солидарность выросла. Если мобилизационный немецкий отряд идет по улице, — вся улица до конца об этом знает. Я, например, как малолетняя, вроде играю, бегу с листом лопуха, как с флагом, это значит: молодежь, прячься! Наша Аня пряталась в конуре, ее загораживала та самая овчарка — она теперь откликалась на русскую кличку «Динка».

У нас в доме больше «хозяина» никакого не было. Иногда ставили солдат, а это все-таки лучше, чем помещик.

Вот и все, товарищ Федоров; вы знаете, что я после войны кончила семилетку и поступила в техникум. Папа вернулся с фронта и нашел нас всех живыми.

Если вам мое письмо пригодится, я буду очень, очень рада. Если еще будут вопросы, я на все отвечу. Да, совсем забыла: мой папа, Иван Семенович Иваницкий — военный служащий, майор. Мой дедушка, с которым мы жили в Брагине, — печник, бабушка — домашняя хозяйка».

ГЛАВА ВТОРАЯ

ПАРТИЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Теплая, солнечная весна выдалась в 1943 году. После брагинского боя, распрощавшись с ковпаковцами, благополучно переправившись через Припять, наша колонна двинулась дальше на запад. На пути к Ковелю нам предстояло найти соединение Сабурова — одно из самых крупных на Украине. Мы знали, что дислоцируется оно где-то на берегу реки Уборть. Разведчики вышли вперед. Основная колонна шла не спеша.

Все-таки сельского люда, землеробов, колхозников было у нас куда больше, чем горожан. Тянулись их руки к земле, к работе. Куда ни глянут все напоминает им, что настала пора пахать, сеять. Но все напоминает и о разрухе, принесенной гитлеровцами. Подряд сожжены села. Пусто в них. Опаленные яблоньки и вишни в приусадебных садах робко выпускают листочки с одного боку. Кружат скворцы у расщепленной снарядом березки. Поля лежат непаханные, только у лесной опушки то там то здесь — взрытые лопатой крохотные участки.

Где же люди? Они появляются внезапно. Высыпают на поле или же на лесную дорогу из-за деревьев, из-за кустов. И, конечно, первыми мальчишки. За ними женщины, а потом, наконец, и деды. Мужчин моложе пятидесяти лет совсем не видно.

— До партизан подались. Колы и остался кто — больные в землянках

лежат.

— Все села здесь немец пожег?

— Та ни, як к Уборти подойдете — там и нетронуты есть. Туда немцы идти боятся. Там, близ Картенич, сам Сабуров стоит и кругом него весь лес дышит. До него самолеты из Москвы летают.

Мы знали, что у Сабурова на Дубницких хуторах — большой аэродром. Туда нам сбросят грузы: взрывчатку, вооружение, боеприпасы. Так обещали нам в Украинском штабе партизанского движения... Еще два, три перехода встретимся с сабуровцами.

Немцы нас сторонились. А полицаи как только узнавали о движении нашей колонны, разбегались. Да и мало их было теперь в селах. Во многих населенных пунктах не осталось уже ни одного полицая. Старосты, и те, если только не жили в дружбе с народом, удирали с насиженных мест. Немецкая разведка потеряла многие источники информации.

Только самолеты днем и ночью кружили над нами. Но трудно было увидеть нас с воздуха: леса здесь хоть и невысокие, но густые. Немцы сбрасывали бомбы наугад.

В конце апреля, когда сошел снег, подсохли прошлогодние листья и травы, немцы применили «новую» тактику.

Остановились мы как-то ночью на привал в лесу. Переход был длинным, тяжелым, привязали лошадей к деревьям и, не зажигая костров, повалились спать. Чувствовали перед сном, что пахнет гарью, что лес какой-то особенный, но только на утро увидели, куда попали. Проснулись, а перед нами все черно. Деревья обуглились, закоптили, трава вся сожжена, а кустарник, которого в Полесье очень много, стал похож на щетку. Глянули мы друг на друга, боже ж ты мой! Арапы, трубочисты, одни только глаза да зубы блестят. И смешно, и зло берет. Как нарочно поблизости речки нет помыться негде. Не годится в таком виде входить в села.

Оказывается, это гитлеровцы набросали впереди нашей колонны зажигательных бомб. Запалили лес. Совсем-то он не сгорел, — земля сырая, кругом болота, пожар скоро кончился, — однако километра четыре мы шли, как по угольному складу. Когда набрели, наконец, на болотное озеро, часа три чистились и мылись. Дня через два опять такой же горелый, черный участок. Тоскливо и жутко в погорелом лесу! Все мертво, не шелестит листва, не поют птицы. Старайся или не старайся идти осторожно, все равно весь измажешься в саже. Людей узнать нельзя, и тебя никто не узнает.

* * *

26 апреля встретились мы с разведкой Сабурова и под вечер прибыли в

большое село Картеничи — один из центров Сабуровского соединения. Здесь были политотдел, редакция, типография. В просторной, светлой хате работал и жил вместе со своей женой комиссар соединения Захар Антонович Богатырь. Он нас встретил, как это и положено по партизанским обычаям, на краю села. Заночевали у него дома, хорошо поужинали, слушали два-три часа Москву. У Богатыря был «телефункен» самого последнего образца. А мы в походе и «последние известия» не всегда могли послушать.

Сам Сабуров со штабом расположился в лесу, километрах в четырех от Картенич. Меня удивило, что комиссар живет вдали от командира. Оказалось, что у них в соединении давно заведен такой порядок. Отряды, а в иных случаях и роты, и даже взводы, разбросаны в радиусе тридцати, сорока километров. Связь поддерживается по радио и конниками.

Из того, что рассказывал Богатырь, я понял, что в соединении Сабурова отряды действовали вполне автономно. Они могли самостоятельно совершить налет на вражеский гарнизон, затеять и прекратить бой. Случилось же нужно подкрепление — посылали связного в штаб.

Мы такой тактики до встречи с Сабуровым не применяли. И, насколько мне известно, Ковпак тоже ее не применял. У него, как и у нас, партизаны действовали монолитной массой.

Утром мы поехали к командиру. Ехали густым ельником, потом пробирались через кустарник. И вдруг увидели большой дом. Сабуров и его командиры определенно умели устраиваться с удобствами.

Я слышал, что Александр Николаевич Сабуров — человек резкий, нелюдимый. Говорили, что генеральская форма пришлась ему во всех отношениях впору, что у него в штабе царит строгий порядок — тишина, никто без доклада не входит и без доброго внушения не выходит. И действительно от его штаба веяло административным холодком. Но встретил нас Сабуров приветливо, даже радушно. По случаю нашего приезда на штабном столе появилось хорошее угощение. Обед прошел непринужденно. Узнав, что мы расположились неподалеку и что нам нужно отправить самолетами раненых, Сабуров тут же дал нужные указания своему начальнику штаба Бородачеву. Я сказал, что мы думаем строить аэродром. Сабуров стал отговаривать:

— Какой смысл? Вот вы поедете, увидите — у меня отличная площадка. Я могу принять хоть двадцать тяжелых машин в ночь. Да нет, оставьте, Алексей Федорович. Будете получать свои грузы на моем аэродроме. Авань, не поспоримся.

— Может быть, к вам уже прибыло кое-что в наш адрес? По моим расчетам, должны были уже выбросить снаряды для сорокапятимиллиметровых пушек и патроны к автоматам.

— Товарищ Бородачев, проверьте и завтра же мне доложите.

На следующий день подтянулась наша колонна. Мы расположились в трех километрах от села Боровое, на берегу не очень широкой, но глубокой и живописной речки Уборть. Красивое место — художников бы сюда! Могучие столетние дубы, пышные липы, а пройдешь немного — сосновый бор, еще немного — ельник. На площадке, где мы расположились со штабом, — густая трава. Весна, но кажется, что уже июнь — так тепло и тихо.

Мы почувствовали себя будто на курорте. Было объявлено три дня отдыха — как раз подоспело Первое мая. Праздник начали с «крещения Руси». Все, кроме больных и раненых, полезли в воду. Кто не хотел, того товарищи тащили купаться силком. Не праздновали мы еще во время войны Первое мая так спокойно и радостно.

Гитлеровцы нас в эти дни не тревожили. Ближние гарнизоны уже разгромил и разогнал, с помощью местных белорусских партизан, Сабуров. Только в местечке Скрыгалов, за пятьдесят с лишком километров, отсиживался, окружив себя дзотами, хорошо вооруженный гарнизон. Наши разведчики сообщили, что в городке большие склады продовольствия. Ну что ж, это означало, что мы можем в наш советский праздник и завтракать и обедать, распустив ремни: запасы через некоторое время пополним.

Быстро строились кухни. Над плитой натягивали парашютную палатку. Вокруг кухни очищали от дерна площадку, утрамбовывали ее и обильно посыпали речным песком. Еще быстрее строились столовые. И что самое замечательное, и столы, и скамьи без единой доски.

Изобретение простое: прорываются канавки, чтобы, опустив в них ноги, можно было сесть на землю, как на скамью. «Скамьи» немного углубляются, так что можно и спиной опереться, будто на диване. И стол земляной, и скамьи земляные. Стол, если есть скатерти, можно и накрыть; на скамьи, для тех, кто не терпит сырости, — положить сено или сухой мох. Конечно, в дождь и столы, и скамьи расплываются. Но ремонт прост: вычерпать из канавок воду, подровнять края. А еще того проще — построить столовую наново.

* * *

Отдых наш на Уборти затянулся. Тут, в партизанской зоне, нашему соединению делать было нечего — вблизи ни железнодорожных узлов, ни промышленных объектов, ни серьезных административных центров. По

указанию штаба партизанского движения, нам надо было как можно скорее выйти к Ковелю, чтобы блокировать ковельский железнодорожный узел и держать его в блокаде до подхода наступающей Красной Армии. Но выйти к Ковелю мы не могли — ждали обещанные нам боеприпасы и вооружение. Проходит неделя — ни одного мешка с толом, патронами, снарядами, без которых нельзя идти к Ковелю. Запрашиваем по радио Украинский партизанский штаб. Отвечают: обещанные грузы высылаются вам на аэродром Сабурова. Штаб Сабурова отрицает это. И вот однажды из нашего отряда, стоявшего на охране аэродрома, мне сообщают, что в стороне от посадочной площадки упал в лес, где были наши хлопцы, мешок с патронами, на котором написано: «Федорову-Черниговскому»[14]. Упал — давай сюда! Вскрыли — там пулеметные ленты. Очень хорошо! Но Дружинин и Рванов почуяли неладное:

— Как же так получается? Не один же мешок привез самолет.

Тут кто-то из ребят нашего отряда, стоявшего на аэродроме, подлил масла в огонь:

— Там у них сложены в одном месте ящики со снарядами для сорокапятимиллиметровых пушек. У Сабурова и пушек таких нет.

Опять обращаемся к Сабурову и опять без толку — Сабуров защищает честь своего соединения, не может поверить, что его аэродромное начальство перехватывает наши грузы. Еще раз связываемся по радио с Москвой, еще раз нам отвечают — такие-то и такие-то грузы высланы. Что делать? Решили командировать в Москву Балицкого. Пусть выяснит там, наконец, где наши грузы.

Так проходили дни, недели. И не только командиры, рядовые партизаны стали уже поговаривать, что отдых затянулся, что слишком хорошо, легко живем. Правда, мы провели одну довольно крупную боевую операцию: разгромили гарнизон того самого городка Скрыгалов, о котором я уже упоминал. Операция прошла успешно. Гарнизон мы уничтожили почти полностью и продовольствием обеспечили себя на долгое время: склады там были действительно большие — разведка нас не обманула. Хватило в этих складах продовольствия даже для наших соседей. Хозяйственники Сабурова послали десятка три подвод в Скрыгалов за мукой, сахаром, спиртом и кое-каким другим товаром.

Скрыгаловскую операцию высоко оценил Украинский штаб партизанского движения. Мы получили поздравительную телеграмму...

Однако, прочитав ее, мы с Дружининым решили повременить с публикацией этого радостного документа. Сказали редактору газеты товарищу Сербину, что он получит телеграмму только после заседания

обкома.

Мы провели это заседание обкома совместно с активом.

Я зачитал текст поздравительной телеграммы. Товарищи встретили его аплодисментами. У многих участников боя появилось на лицах выражение самодовольства. Но тут взял слово Дружинин.

— А мне, — сказал он, — правду говоря, немного-совестно. Вот мы тут советовались с командиром я пришли к единодушному мнению, что хвалиться нам нечем. — Да, правильно, рапорт Украинскому штабу мы составляли и подписывали. Я и сейчас не отказываюсь от этого рапорта: операция была проведена хорошо, цель достигнута... Но ведь это же для нашего соединения — просто семечки. Неужели затем послали нас за Днепр, чтобы мы били такие ничтожные гарнизоны оккупантов да еще гордились этим? Сколько их там было в этом гарнизоне — семьдесят? Сто солдат? А нас в соединении больше двух тысяч...

— Так ведь не все же соединение, только часть ходила в Скрыгалов, перебил Дружинина Рванов.

— Я и об этом скажу... Конечно, были доты, дзоты. Конечно, товарищи наши дрались героически. Но в том-то и дело, что Рванов прав — участвовало в операции меньше четверти наших бойцов. А чем занимаются остальные?

— Отдыхают, и вполне заслуженно, — сказал Лысенко.

— Вся жизнь в лагере проходит по точному расписанию, — прибавил Рванов. — Боевая подготовка...

— Вот именно, — продолжал Дружинин. — Отдых, боевая подготовка... Но вот вчера мы с командиром прочитали последние записи в дневнике первого батальона. Послушайте... Вы не возражаете, товарищ Федоров?

— Читайте, читайте!

И Дружинин стал читать:

«...После физзарядки раздается команда: «К реке бегом!» Бойцы раздеваются на бегу, а те, кто недостаточно расторопны, бросаются в воду в брюках. После купания все бодро, с песнями, возвращаются в свои подразделения.

В восемь часов утра завтрак, во время которого политруки оглашают сводку Совинформбюро, потом — наш боевой печатный листок. Там статьи, заметки и стихи о нашей внутренней жизни.

После завтрака тактические учения. С занятий на обед возвращаемся с песнями, по которым всегда можно определить, кто идет. Обед состоит из двух блюд, а случается, что повариха сварит что-нибудь и на третье. Едим

сейчас вволю. Далеко позади остались голодные дни.

Послеобеденную тишину (- Это что же, мертвый час, что ли? — спросил Дружинин, но никто ему не ответил.) нарушает крик, смех, доносящиеся со стороны спортплощадки. Там происходят соревнования по волейболу. Команда, руководимая товарищем Креницким, держит первенство. Она сегодня выиграла у щорсовцев и у штабной команды. Победители катаются верхом на побежденных.

К вечеру на танцевальной площадке собирается молодежь. Играют баян, скрипки. Начинается пение, а потом и пляска. Баянист исполняет колхозную польку».

Тут все зашумели. Лысенко, помню, сказал, что этот дневник искаженно передает партизанский быт, что если бы товарищ, его писавший, остановился подробнее на трудностях боевой учебы, то не создалась бы такая идиллическая картина.

— Да что говорить, — сказал Рванов, обращаясь к комиссару. — Вы же сами великолепно знаете: наш выход задерживает одно — нет боеприпасов, нет обещанного вооружения. В чем же нас можно упрекнуть?.. А штаб и сейчас перегружен работой. Мне, например, за последнюю неделю ни разу не удалось выкупаться. Мы же приняли из соседних сел свыше четырехсот новичков. И все молодежь — ребята и девчата от шестнадцати до двадцати трех лет. Народ в военном отношении совершенно неподготовленный. Некоторые, правда, пришли с оружием: ходили по лесу группами, кое-когда постреливали, имеют на личном счету по два-три оккупанта. Но ведь дальше десяти, пятнадцати километров от родного села они не отходили. Мы от строевых занятий отказаться не можем, товарищ Дружинин... Эта молодежь пойдет в серьезный рейд...

— Во-во! — воскликнул Дружинин. — Я как раз и хотел задать, не вам одному, товарищ Рванов, всем нам вопрос: только ли недостаток боеприпасов мешает нам выйти?

Начался общий разговор о том, как лучше использовать вынужденный отдых для учебы новичков, и о том, что нельзя обойтись одной строевой подготовкой — надо каждому дать партизанскую специальность. Не должно быть уже партизан вообще. При случае, конечно, каждый должен уметь выполнить любое поручение, но какую-либо специальность каждый должен знать в совершенстве — артиллерист, минометчик, пулеметчик, разведчик, медсестра, радист, минер-подрывник...

Решено было разработать подробный учебный план и программы с тем, чтобы в кратчайший срок подготовить не менее трехсот пятидесяти новых подрывников.

Уже спустя два дня режим лагерной жизни стал совсем другим.

* * *

И все же, когда вспоминаешь те полтора месяца, которые простояли мы на берегу Уборти, в памяти всплывают прежде всего красивые поляны с сочной травой, тихие рощи, песчаные речные пляжи. Таких спокойных и легких дней в своей партизанской жизни не видели мы ни до того, ни после. И погода все время, будто по заказу, стояла отличная.

А ведь эти дни были днями напряженной учебы. Полураздетые загорелые хлопцы маршировали, стреляли по мишеням, ползали попластунски, подбираясь к полотну узкоколейной железной дороги, которая была построена специально для учебы подрывников. Еще в пути на Уборть на каких-то заброшенных торфоразработках мы сняли два звена узкоколейного полотна — рельсы, шпалы, погрузили на подводы и повезли с собой. Теперь старшие товарищи, опытные подрывники имели на чем показать молодежи, как надо вести «войну на рельсах».

Не смолкали выстрелы и взрывы. Днем практиковались пулеметчики и минометчики, ночью — подрывники. Им ведь всегда приходится работать в темноте.

Поспали три-четыре часа и хватит — сигнал к подъему. У партизана сон должен быть крепким, но коротким. Старые партизаны приучают к этому новичков — иногда слишком разнежившегося на травке товарищи волокут за ноги по земле метров десять, пока он проснется.

Привыкли не спать по ночам и жители сел и хуторов, окружавших наш лагерь. Как тут уснешь, когда летят самолеты, включают фары, идут на посадку. А на аэродроме горят костры. Взвиваются ракеты разных цветов: красные, зеленые, желтые. Разве можно упустить такое зрелище, особенно мальчишкам. Если самолет почему-либо не садится, — он бросает парашюты с людьми и грузами. Иной парашют занесет ветром в лес километра за четыре, а то и больше. Бегут за ним партизаны, бегут сельские мальчишки. Застрял парашют с грузом на вершине дерева — первым взбирается на него босоногий парнишка. Лезет по тоненьким веточкам, готов шею сломить, только бы помочь партизанам. Да и рассказать потом будет что. Он уже чувствует себя героем.

Садилась на партизанский аэродром и наши дальние бомбардировщики, возвращавшиеся из Берлина, Лейпцига, Гамбурга. Ночи стояли короткие, до своих аэродромов, которые расположены где-нибудь под Москвой, а то и поглубже, до рассвета не дотянешь. И летчики гостят у партизан. Отдыхая, рассказывают о своих приключениях, расспрашивают бойцов и жителей окрестных сел.

* * *

Дорога к аэродрому от нашего лагеря лежит через село Погребище. Оно до последней хаты спалено немцами. Но уже построено много землянок. И вокруг землянок огороды: надо же кормиться!

За селом молодой лесок, тоже отведавший бремени войны. Он весь обгорел снизу. Но не засох. Болотистая почва не дала разгуляться огню. Молодая трава на черном фоне пожарища как бы показывает: жизнь не заглохла. Никакие оккупанты не спялят ее и не затопчут...

Жители села Погребище и других соседних с ним сел и хуторов Боровое, Печи, Дубницкое, Чияны, хоть и не числились в наших отрядах, но по существу все были партизанами.

...Как-то на рассвете пришли в хату на краю села Боровое шесть гитлеровцев из тех, что спаслись после боя в Скрыгалове. Пришли из лесу помятые, всклокоченные, растерянные. Где они прятались, чем питались? Жили в хате старик шестидесяти двух лет — Василий Иванович Хоменко и дочь его Прасковья лет сорока. Немцы вошли, поставили винтовки в угол и сразу:

— Мамка, млеко, мамка, яйки!

Сели за стол, дремлют, ждут. Прасковья стала колоть щепу, чтобы растопить печь. А старик подошел к винтовкам, сгрэб пять штук и выбросил в окно. Одну себе оставил и тремя выстрелами уложил трех своих гостей. Прикладом — еще одного. Двое успели залезть под печку, кинули оттуда гранату. Несколько осколков врезались в ногу старика. На шум прибежали наши партизаны и вытащили непрошенных гостей из-под печки.

Василия Ивановича отнесли в партизанский госпиталь. Мы с комиссаром пришли поблагодарить его. Старик лежал со строгим, торжественным выражением на лице. Дочь сидела возле такая же строго-торжественная.

— А награда мне будет? — спросил старик.

Я пообещал представить его к ордену и предложил отправить в Москву для лечения. Старик обиделся, подумал, что над ним смеются.

— Что вы, товарищи командиры, шуткуете! Разве поезда ходят через фронт?

А когда узнал, что полетит самолетом, взволновался, сел на своей койке.

— А то правда, товарищи командиры?.. Разрешите только и Проне со мной полететь. Одному страшно.

И улетел старик со своей дочкой в Москву...

* * *

Постоянные споры о том, кто более метко стреляет, кто незаметнее может подкрасться к объекту, кто быстрее поставит мину, увлекали всех во время нашей вынужденной стоянки на Уборти. С особенным рвением учились новички из непрерывно вливавшегося в наши ряды пополнения, в большинстве ребята школьного возраста. Однако именно с ними хлопот и забот было больше всего.

Нельзя было мириться с настроением и привычками, которые принесли с собой многие из них, такие, например, как семнадцатилетний Володя Даниленко.

Этот парень, как у нас говорили, пришел с «той стороны».

До освобождения западных областей Белоруссии неподалеку от нашей стоянки по Уборти проходила государственная граница. В 1940 году сюда переселилось немало народу из районов, оккупированных панской Польшей. Пришел тогда и поселился на хуторе Печи Петро Даниленко с племянником Володей. За короткое время прославился Петро на весь район как неисправимый пьяница и скандалист. Называл он себя шорником, но никто в его руке шила не видал. Его племянник Володя пришел к нам, как только мы расположились тут лагерем. Его приняли, обогрели, дали кое-что из одежды и сапоги. Первые сапоги во всей его жизни. Спросили:

— Что ты, Володя, умеешь?

— А что я умею?.. — он задумался. — Терпеть... Ничего не боюсь!

— Это как же так, почему?

— Да так и не боюсь. Колы matka с баткой сем рокив назад от холеры померли, забрал мене дядько. От того часу вин мене каждый день лупил. Я к боли сильно привычный. Вот потягнуть меня за волосся — не вскрикну.

Первым боем, в котором он принял участие, был налет на Окрыгалов. Вернулся Володя из городка с ручными часами. Часы оказались дамскими. Нашлись ребята, которые видели, что Володя отнял их у старушки-учительницы. Командир взвода послал его обратно, велел отдать часы. Он вернулся и сказал командиру, что часы отдал. А через день ребята увидели, как сидит Володя за кустом и крутит стрелки: «учится понимать часы».

Привели Володю ко мне. Я сделал ему перед строем строгое внушение, оказал, что за мародерство у нас расстреливают, и приказал любым способом пробраться в Скрыгалов.

— Найдешь там нашу связную Зину Дробот, вместе с ней отправишься к учительнице. Отдай часы, а заодно узнай, что делают теперь остатки разбитого гарнизона. И пусть Зина запиской подтвердит, что часы вручены хозяйке. Без этого не возвращайся!

С риском для жизни Володя пробрался в Скрыгалов, выполнил все, что было приказано, принес записку Зины. Кажется, искупил вину. Но партизаны не так-то легко прощают подобные преступления.

С тех пор Володю раз по сто в день окликали и спрашивали:

— Володя, который час?

А Володя, если б даже имел часы, не мог бы ответить. В хозяйстве его дядьки даже петуха не было. Время они измеряли по восходу и заходу солнца.

Прошел месяц. Володя показал такое старание в учебе (он готовился стать бронбойщиком), так внимательно слушал своего учителя, так аккуратно чистил доверенное ему оружие, что постепенно отношение к нему стало меняться. Успел он за это время научиться и грамоте, стал читать по складам. Но хоть и видели партизаны, что на глазах меняется человек, нет-нет и спросят:

— Володя, который час?

Каково же было их удивление, когда однажды Володя в ответ на этот вопрос вытащил из кармана гимнастерки часы кировского завода и с радостной улыбкой ответил:

— Двадцать минут четвертого!

Володю сразу окружили партизаны. Посыпались вопросы:

— Откуда взял? Опять спер?

И поволокли Володю ко мне. Впрочем, тащить его не пришлось, он сам пошел да при этом еще посмеивался.

Много народу собралось у штабной палатки. Всем хотелось узнать, что будет.

Я вышел, пожал руку Володе и громогласно объявил, что самоотверженной учебой и отличным поведением Володя заслужил полного прощения. Командование решило в знак этого наградить его часами.

Кроме того, я обещал Володе, что после победы, если нам удастся встретиться, зайдем к граверу сделать на часах надпись: «От бывшего генерала бывшему бронбойщику. Володя, который час?»

* * *

Хотя и напряженно работал на Уборти наш партизанский «университет», но оставалось, конечно, ежедневно по два-три часа для отдыха. От волейбольных командных состязаний мы отказались, но ничего не имели против того, что ребята поиграют в мяч, поплавают, побегают. Случалось, что и спляшем, споем. Однако усталость брала свое. Теперь многие товарищи предпочитали свободные часы посидеть, побалагурить у

костра. Получили широкое признание шахматы, шашки, домино и другие игры.

Как-то вечером в свободный час я прогуливался по лагерю, заходил в палатки к партизанам. Посижу у одних, наслушаюсь разных историй, потом зайду к другим. Так набрел я на небольшой костер, у которого играла в карты группа молодых партизан. Никого я тут не знал по имени, кроме одного пожилого человека; его, впрочем, я узнал тоже не сразу. Лишь приглядевшись, понял, что передо мной Галюй. Тот самый маркер, что при переправе через Днепр пытался дезертировать.

Карты вообще-то у нас не запрещались. Любимейшей игрой был подкидной дурак. Играли чаще всего на щелчки. Многие ходили с синяками на лбу. Однако попытки заводить азартные игры мы решительно пресекали. Покончили с этим еще в прошлом году. Правда, на деньги и тогда играли редко. Ставили табак, пайку хлеба или соль, часы — вообще все, что ценилось у партизан. Пришлось кое-кого серьезно наказать. После этого азартные игры прекратились. Новичков предупреждали: «Если заметим, что дуетесь в очко, штос или что-нибудь подобное — помните, будет плохо».

Так вот — сидят у костра человек пять молодых партизан и среди них, как король, наш старый знакомый Галюй. После Скрыгаловской операции, в которой Галюй проявил себя неплохо, признали его партизаны полноправным товарищем. Попытку удрать предали забвению. Он ожил. Увидев меня, Галюй вскочил первым, вытянулся, но не мог согнать с лица лукаво-торжествующего выражения. Вскочили и другие. Только один хлопец продолжал почему-то сидеть. Я заметил, что одет он странно: завернут, будто бедуин, в какую-то тряпку.

— А вы что? — спросил я его.

— Он у нас болен, — сдерживая смех, оказал стоявший рядом с ним.

— Рехнулся, — сказал другой.

— Вставай, вставай, товарищ! — приказал я. — Что с тобой, а? Болен действительно?

Хлопец медленно поднялся. Все расхохотались. Не удержался и я. Фигура действительно была комичной. Представьте длинного, худого, совершенно голого парнишку, который пытается задрапироваться в тряпку размером не больше квадратного метра. Причем от растерянности не поймет, какое место следует прикрывать, когда приветствуешь генерала.

— Вы что, не проходили, что ли, санобработку? — спросил я, полагая, что новичок занялся истреблением паразитов.

Это меня встревожило. В последнее время наши санитары объявили

паразитам жесточайшую войну. И бойцы сами следили: если кто чешется отправляли на проверку в санчасть.

Новый взрыв хохота.

У хлопца задергалось лицо — вот-вот заплачет. Я ему разрешил сесть. Он отвернулся. А товарищи его никак не могут сдержать смех. Первым взял себя в руки Галюй.

— Тут мы играли, товарищ генерал-майор. В подкидного. Ну вот он проиграл.

— Что проиграл?

— Мы на раздевание играли. Кто дураком остался — снимай фуражку, сапоги, все по очереди. Федя вот уже двенадцатый раз остается. — И почти без паузы Галюй предложил. — Хотите, товарищ генерал-майор, я вам фокус покажу?

Он вытащил быстрым движением колоду новых карт.

— Откуда у вас такие?

Он протянул мне колоду.

— Возьмите себе, товарищ командир, я еще сделаю. Да у меня и в запасе, кажется, есть.

Карты были нарисованы от руки. Материалом для них послужили немецкие плакаты. Рубашки карт Галюй расчертил так, что трудно было отличить их от фабричных. Талант!

Заметив, что я со вниманием рассматриваю карты, сравниваю одну с другой, любуюсь мастерским исполнением, Галюй сказал:

— Это что! Вот в тюрьмах есть специалисты!

— А вы что, и там побывали?

— Приходилось, — без тени смущения признался Галюй. — Давно. В таком вот возрасте, — он показал на парнишку в тряпке. — По пустому делу — за хулиганство. — Взяв из-за пня кучку одежды, Галюй кинул проигравшемуся. Одевайся и больше против меня не садись. Тоже игрок!.. Разрешите на минуточку...

Взяв у меня колоду, Галюй пустил ее как пружину из одной руки в другую, потом ловко перетасовал, показал нижнюю карту.

— Что видите, товарищ генерал-майор?

— Король треф.

Галюй подал мне короля рубашкой кверху.

— Держите крепко. И вот вам еще — дама бубен, так? И валет черный, правильно? Держите, не выпускайте... Раз, два, три. Теперь переворачивайте на лицо...

Я перевернул. В руке у меня оказались совсем другие карты.

Все рассмеялись. Галюй торжествовал. Он показал еще несколько фокусов, каждый раз ловко дурача меня и вызывая общий смех. Смеялись надо мной. Смеялись молодые ребята, всего лишь неделю пришедшие в партизаны. И, хотя смех их был беззлобным, однако в этот момент они во мне уже не видели ни командира, ни генерала. Превосходство Галюя было для них несомненным. Мне же приходилось и самому улыбаться. Сердиться в таком положении еще глупее.

Галюй развязно, как равному, подмигнул мне и, оглядев молодежь сонным, полупрезрительным взглядом, сказал:

— Мы с вами, генерал, видали виды, знаем жизнь и какая сладость в ней есть, ради которой через горечь проходишь. Так?

Я ничего не ответил, но уже начал кипеть и думал: «Сейчас он меня либо за плечи обнимет, либо по спине похлопает. Трудно будет сдержаться...» А между тем хотелось до конца понять — что ж это все-таки за экземпляр...

— Эй, Федюшка, оделся? — крикнул Галюй через костер. — Ну, расскажи нам с товарищем командующим, зачем ты воюешь.

— Немца выгнать, — весело ответил Федя. Он теперь, одетый, чувствовал себя гораздо свободнее.

— А война кончится, что будешь делать?

— В колхозе робить, на тракториста учиться.

— И женишься?

— Женюсь.

— А что жене, когда деньги будут, купишь?

— Сапожки куплю хромовые, платок шелковый, радио куплю.

Федя отвечал искренне, просто, не чувствуя подвоха. А Галюй уже хохотал, хлопая себя по ляжкам, поглядывая на меня, приглашая взглядом разделить его веселость. Но никто не смеялся, и он осекся, лицо его стало серьезным, даже злым.

— Деревня, ты и есть деревня! Я им, товарищ генерал-майор, тонкость жизни описывал. Как женская нога красивей от туфельки и чулочка становится. Как женщину украсить можно. Сколько можно из личной жизни счастья получить при помощи одеколona, красивого кольца и кружев. И как женщина от белья зависит. Но такому Федюшке — говори — не говори, толку чуть. Вот где есть подлинный разрыв между городом и деревней... Люди гибнут за металл, — неожиданно кончил Галюй и махнул рукой.

«Нет, — думал я, — он не только собой занят, этот Галюй. Сознательно или бессознательно — он ведет борьбу за нашу молодежь, воспитывает ее,

склоняет к своим идеалам. Он разжигает похоть, старается вызвать азарт, рисует молодым людям жизнь, как погоню за наслаждением, сильными ощущениями, внешним блеском. Орел и решка для него выше закона.

Ведь вот игра на раздевание, которую он затеял, выглядела будто шуткой. На самом же деле он, и я в этом не сомневался, готовил ребят к тому, чтобы в следующий раз пуститься в игру на ценности. Шулерской ловкостью, анекдотом, описанием всякого рода непристойностей, смелой бесшабашностью и главное безапелляционностью суждений старался вызвать он к себе внимание и уважение молодежи. Он умел показать себя человеком опытным, интересным.

О тюрьме такие, как он, говорят, как о месте, куда попадают люди по случайности, либо по недостатку ловкости, называют тюрьму ласковым именем «тюряга», вспоминают о ней, как о месте не очень приятном, однако наполненном людьми яркими, сильными, умеющими жить. Люди, подобные Галюю, не уголовные преступники, но близко, очень близко стоят к ним. Ими в больших городах наполнены биллиардные, всякого рода «забегаловки», они постоянные посетители привокзальных ресторанчиков. Если они работают, так тоже в этих ресторанчиках, «забегаловках» или биллиардных. И работать, конечно, не, умеют, не хотят. Стремятся сорвать побольше чаевых, обсчитать пьяного, обмануть приезжего «мужика».

Случилось как-то, что эта категория людей и по сию пору остается вне общественного внимания. Отданы они на попечение милиции. Милиция приглядывает за ними. Но поскольку на явное нарушение закона такие галюи идут редко, милиция не в силах что-либо с ними сделать. Партийные и комсомольские наши организации чураются мест, где бывают и процветают эти люди. А следовало бы руководителям комсомольских организаций иногда заглядывать в подобные злачные места, присматриваться к тому, каким путем уголовные и полууголовные элементы затягивают в свой омут молодежь. Одним запрещением дела не исправить. Надо вызвать отвращение, презрение к пьяной, похотливой, азартной жизни подобных людей...»

Галюй продолжал говорить. Я, задумавшись, не слушал его.

— ...так можно будет? Товарищ генерал-майор?

— Что можно?

— Я прошу перевести меня в отряд Зибницкого.

В отряде Зибницкого, который шел с нами вместе от самой Клетни, а здесь собирался отделиться, было довольно много людей, близких по духу Галюю, — бывших штрафников и уголовников. Зибницкий умел с ними управляться, но кое в чем им потакал. Командовал так:

— Джаз-банда, за мной!

У него в отряде было много кавалеристов. Когда шли в атаку, вместо седел клали подушки. Несутся кони, а кругом перья летят. Возвращаются — от подушек одни наволочки остались...

Пустить Галюя к Зибницкому все равно, что щуку пустить в пруд. Конечно, мы от него избавимся, но это же не выход из положения. Признаться, хотелось мне тут же, не сходя с места, набить ему морду. А если говорить откровенно, не пожалел бы я для него пули: не верил, что можно из него человека сделать. Нет, так не годится! Надо взять себя в руки, надо придумать... Что придумать?

И тут пришла мне забавная мысль. Я спокойно ответил Галюю:

— К Зибницкому?.. Что вы, разве можно!.. Простите, как ваше имя отчество?

— Николай Данилович, — ответил тот, не чувствуя подвоха.

— Так вот, Николай свет Данилович, — продолжал я, рассматривая нарисованные им карты, — люди талантливые нам нужны... Культурных кадров нам не хватает. Что это вы играете только вшестером? Следует распространить ваш опыт... Федя! — подозвал я проигравшегося паренька. Сбегай моментально в штаб, к Дмитрию Ивановичу Рванову, там есть сверток немецких плакатов. Те, которые в Брагине взяли. Скажи — пусть даст.

Пока Федя бегал, Галюй занимал нас фокусами. Успели мы с ним сыграть и партию в «66». Я заметил, что мой партнер передергивает. Однако сделал вид, что все в порядке. Снял даже, когда проиграл, ремень с гимнастерки... Надо бы ремнем его, пряжкой! Но я и тут сдержался. Мы же играли на раздевание. Воображаю, какое удовольствие получил бы Галюй, если б сумел и меня раздеть донага!

На мое счастье, вернулся с толстым свертком плакатов Федя.

— Сколько, Николай Данилович, как вы считаете, можно из этих плакатов сделать карточных колод? Тут листов, верно, не менее пятисот.

— Из каждых двух плакатов колода, — со знанием дела ответил Галюй. Надо склеить, потом разрезать, потом...

— Вот и отлично. Займитесь этим. Освободим вас от всех обязанностей... Идет?

Галюй смотрел на меня, не зная, как принимать мои слова.

— Значит, тут, — продолжал я, — получится двести пятьдесят колод, так?.. За пять дней чтобы все было сделано! Понятно?

— Но... товарищ генерал...

— Никаких «но». Исполняйте приказание! Нет ножниц? Ничего,

режьте ножом, рубите топором, грызите зубами, дело мастера боится, сумели же вы сделать эти две колоды...

Когда Галюй понял, какое наказание я ему готовлю, лицо его вытянулось, губы задрожали. Он постарался меня растрогать:

— Простите...

Но тут я, уже не сдерживая ярости, сказал:

— День и ночь, сволочь, будешь лепить, рисовать, клеить, чертить, пока тебя самого не станет тошнить от этих карт! Приступай немедленно!.. А ты, Федя, принимай работу... Смотри, чтобы все карты были не хуже этих.

Галюй преобразился. От нахальства его ничего не осталось. Мальчишки откровенно над ним потешались, Федя настолько осмелел, что делал ему рожки, высовывал язык.

— Вин може и в два дня зробыть! — кричал он с восторгом.

Три дня с утра до позднего вечера Галюй разрисовывал и клеил карты. Партизаны делали физзарядку, купались, шли на строевые учения, потом отдыхали — играли, пели, а Галюй все клеил и рисовал. Федя добросовестно выполнял роль технического контролера. Если заметит, что в колоде не хватает карты или фигуры нарисованы недостаточно четко, — заставлял переделывать. Партизаны толпами ходили смотреть на Галюя. Смеялись над ним. В ротной стенгазете появилась карикатура: сидит, скрестив ноги, как султан, Галюй и льет слезы. Утешают его карточные короли, валеты и дамы.

На четвертый день Галюй прислал ко мне записку со слезной мольбой его принять. Когда он пришел, голос его дрожал. Этот нахальный, развязный, циничный человек действительно готов был расплакаться.

— Ладно, черт с тобой, тащи все, что сделал.

Мы разожгли костер и публично сожгли и эти двадцать три, и все те колоды, которые он успел сделать раньше и распродать в отрядах. Галюй сам с радостью бросал карты в огонь.

Нет, он не исправился. Но в карты, конечно, больше не играл и карт не делал. Самое же главное — авторитет свой у молодежи потерял навсегда.

...История с Галюем показала нам, что и досуг партизан нельзя оставлять без внимания. Надо чем-то заинтересовать, увлечь хлопцев.

Однажды пришла ко мне Маруся Коваленко, комсорг ЦК ЛКСМУ в нашем соединении. Предложила организовать «большой костер».

— Это что такое?

— Знаете, Алексей Федорович, ведь у нас немало есть хороших рассказчиков. Особенно среди «старичков». Послушайте-ка ночами.

Улягутся разве сразу уснут. Обязательно начинаются рассказы. И о трудных делах, и о подвигах, и о довоенной жизни. Делятся наболевшими, задушевными мыслями. Есть такие говоруны, что хоть пять ночей кряду слушай — не выговорится. А чаще всего у костров. Не знаю почему, но у костра русский человек молчать не может...

— Так что ж вы предлагаете, соревнование, что ли, — кто кого переговорит?

— Думаю, что надо бы организовать беседы у костров. Как бы хорошо, например, если б наши товарищи «старички» рассказали молодому пополнению о своем пути. И о трудностях, и о радостях, и о том, как учились на собственной шкуре...

Подумав, мы с Дружининым сказали Марусе: «Действуй!»

* * *

Было это в конце мая, двадцать третьего или двадцать четвертого числа. Вдруг прибыли к нам связные от Ковпака. Не думал я, что мы снова встретимся. Оказывается, соединение Ковпака, двигавшееся сначала на север, повернуло на запад, второй раз форсировало Припять и остановилось в районе села Селезневки, за пятнадцать километров от нашего лагеря. Впрочем, связные-то были хоть и ковпаковские, но поручение выполняли не его. Привезли записку от товарища Демьяна.

Демьян передавал привет и просил приехать. Связные шепнули мне, что это не кто иной, как секретарь подпольного ЦК КП(б)У Демьян Сергеевич Коротченко, Он прилетел к Ковпаку через неделю после нашего ухода в рейд.

Мы с Дружининым немедленно выехали в расположение Ковпака. По дороге обдумывали, что скажем Демьяну Сергеевичу — он ведь, вероятно, потребует от нас отчета.

Ехали спокойно, не опасаясь нападения. С нами было всего четверо наших ребят. Давно ли мы мечтать не могли о такой поездке? Но тут ведь в радиусе по крайней мере пятидесяти километров — зона партизанского владычества.

— А ты, Владимир Николаевич, прямо скажу, посвежел за это время.

— Да и ты, Алексей Федорович, таким стал гладким, да еще форму генеральскую надел — прямо на парад или женить... Но шутки шутками, давай-ка лучше рассудим всерьез — есть нас в чем упрекнуть, бездельничали мы все это время или нет? Конечно, объективных причин для задержки достаточно. Первое — не подбросили нам вооружения, второе...

— Подожди, Владимир Николаевич, не в оправдании дело.

— Я и говорю...

И мы стали раздумывать, как Демьян Сергеевич отнесется к нашему партизанскому «университету».

Но вот и застава ковпаковского соединения. Тут нас уже ждали. Показали на дальнюю очень красивую поляну, где виднелась группа людей.

Демьян Сергеевич лежал на траве, опершись на локти. Тут же лежали и сидели, видимо отдыхая после обеда, Ковпак, Руднев, Базыма, Сабуров. Мы спешили. Раньше, чем поздороваться, Демьян Сергеевич крикнул:

— Подождите-ка, Алексей Федорович... Да нет, станьте, остановитесь на минуточку. Хочу посмотреть, хороша ли вам генеральская форма... Ничего, честное слово, неплохо. Бравый получается генерал! Как вы считаете, товарищи?

Потом, поднявшись, он сердечно с нами поздоровался и пригласил усаживаться рядом.

Мы пожали всем руки. Здороваясь с Сабуровым, я смотрел в сторону, чтобы не выдать злости.

— Вот, товарищ, — обращаясь ко мне с Дружининым, — продолжал Демьян Сергеевич, — думал здесь найти суровую, полную лишений и ежеминутного риска, партизанскую жизнь, а на самом деле отдыхаю. Честное слово, давно так хорошо себя не чувствовал!

Руднев возразил:

— А на переправе через Припять? Нет, и на вашу, товарищ Демьян, долю пришлось... Там нас, Алексей Федорович, немцы так чесанули, мое почтение! Товарищ Коротченко был и за бойца, и за командира, и за плотника, и за паромщика. Покачало нас на волнах от бомб.

— Ну, что было, то прошло... — прервал Коротченко. — Слышал я, товарищ Федоров, о ваших делах. Так, значит, возите с собой полкилометра узкоколейного полотна?

Я рассказал Демьяну Сергеевичу о нашем партизанском «университете».

— Я так сразу и понял, — сказал он. — Вообще вы очень правильно сделали, товарищи, что занялись серьезной подготовкой людей, всесторонней учебой. Для этого времени жалеть не следует, оно себя окупит. Кстати, на днях прилетит товарищ Строкач и с ним полковник Старинов. Помните такого?

Мог ли я не помнить Старинова! Он в июне 1941 года в Чернигове учил нас, тогда еще только будущих партизан, обращаться с взрывчатыми веществами. Давал первые уроки. На одном из этих уроков в кармане у меня воспламенилась коробка с термитными спичками. И сейчас еще у

меня есть памятка об этом на ноге.

— Старинов останется с нами? — с надеждой спросил я. Заполучить такого мастера подрывного дела было бы очень хорошо.

— Вряд ли. Вам мы, конечно, пришлем, как и другим крупным соединениям, специалиста по этой работе. Товарищ Строкач подбирает людей... Вам направят талантливого молодого человека — Егорова. И вот на что я хотел бы обратить ваше, товарищ Федоров, и особенно ваше, товарищ Дружинин, внимание. Надо подобрать материал обо всем, что относится к сельскохозяйственной «политике» немцев, к порядкам, которые они насаждают. Мы должны знать как боевое, так и экономическое, организационно-хозяйственное оружие врага... На днях соберем совещание, товарищ Федоров. И очень прошу выступить с сообщением о деятельности всех этих сельскохозяйственных, «культурных» и других подобных комендатур.

Мы еще долго беседовали, прошлись по новому лагерю Ковпака. Улучив минуту, я спросил у Руднева:

— Откуда Демьян Сергеевич узнал о том, что у нас делается?

— Сабуров рассказал. Очень хвалил ваш народ и все ваши мероприятия...

Так вот оно что! Это было приятно. Я еще раз подумал, что сам Сабуров, наверное, не знает о том, как его люди перехватывают посланные нам грузы. И решил, что пока не поговорю еще раз с Сабуровым, не буду поднимать этого щекотливого вопроса перед Демьяном Сергеевичем.

Вечером того же дня мы выехали к себе. Предстояло подготовиться к партийной конференции соединения, к совещанию командиров всех дислоцирующихся здесь отрядов, к заседанию членов подпольного ЦК.

* * *

Вернувшись от Ковпака, мы попали на первый «большой костер».

Разожгли его у старого дуба, на опушке леса, под пологим холмом. Слушатели сидели и лежали на поросшем травой склоне. Рассказчик устраивался поближе к огню. Его было хорошо видно. А он своих слушателей за костром почти не видел. Так что даже стеснительный человек не робел.

Выступали товарищи, повидавшие и пережившие немало. Они знали, что перед ними молодежь, ребята и девчата, которым придется еще много шишек на лбах понабивать, чтобы стать настоящими партизанами.

Когда мы с Дружининым подошли, разговор только начинался. Говорил командир взвода подрывников Алексей Садиленко. Он с кем-то спорил. И то ли для затравки, чтобы расшевелить народ, затеял Садиленко

этот спор, то ли действительно увлекся, но только говорил он очень горячо:

— ...А мой принцип... — Он повернулся к массе слушателей. — Может быть, кому-нибудь из молодежи неизвестно, что означает слово «принцип»? Объясняю: убеждение. Мое твердое убеждение: не следует рисковать зря, без толку. Я не хотел бы и жить, если бы допускал возможность такой бесцельной гибели, как погиб... — Он подумал, чтобы подобрать пример. — Ну вот хотя бы так, как погибла Кара-Стойнова...

— Что, что! — это крикнул во всю мощь легких, вскочив с места, Володя Павлов. Он растолкал товарищей, подбежал к костру. — Я тебя, я вас уважаю, Алексей Михайлович, вы это знаете, Алексей Михайлович, но думать надо раньше, чем говорить.

— А я как раз сижу и думаю: что это ты кипятишься?

— Бросаетесь фразами: «Кара-Стойнова погибла зря...»

— А разве не зря? Сама не выстрелила ни разу, ни одного гитлеровца не подбила...

— Ну... Ну так и что? — крикнул все более входивший в раж Володя. Она была корреспондентом «Комсомольской правды». У нее другое оружие. Ее оружие — перо!

— Так она и в газету не успела написать!

— Алексей Михайлович, не любили вы Кара-Стойнову! Не любили, так вот честно и скажите!

— Твоей любовью не любил. Но я ее уважал. И жалею, что она так погибла. Хороший была человек.

— Ну, а почему, отвечайте, почему она в бой полезла?..

— Сам отвечай!

— Могу! Ей не терпелось все увидеть, записать, а потом рассказать через газету миллионам комсомольцев, всей нашей советской молодежи, о вас написать, о Балицком, о Васе Коробко... Не знаю, как другие, а уж мы-то с вами, Алексей Михайлович, подрывники, Лилю Кара-Стойнову узнали за два месяца очень хорошо. Она к нам чуть не каждый день приходила, расспрашивала, спорила. Она, помните, должна была вместе с нами на железку идти и просила, чтобы ей разрешили мину подложить...

Володю перебила Маруся Коваленко:

— Ты не воспитывай Алексея Михайловича, а лучше расскажи молодежи.

— Я не собирался рассказывать.

— А ты, Володя, без сборов. Лиля стоит того, чтобы о ней рассказать нашим молодым товарищам. Они-то ведь ее не знали... В общем ты прав. Я, например, тоже считаю, что погибла она героически, как настоящая

революционерка. Выстрелить действительно не успела. Так я вам скажу, Алексей Михайлович, недавно несколько товарищей вылетели из Москвы сюда к партизанам. Специально готовились — агитаторы, пропагандисты, подрывники, журналисты, один молодой талантливый писатель Иван Меньшиков... Самолет взорвался, развалился в воздухе... Несчастье... Все эти товарищи погибли. Так что ж, будем считать, что зря? Не могу согласиться. Ты, Володя, понял мою мысль?..

— Продолжай, товарищ Павлов, — сказал Садиленко. — Ты ведь хорошо знал Лилию, был, кажется, даже влюблен.

— Пусть вам не кажется, — залившись краской, сказал Володя. — Прямого отношения к делу это не имеет... Ну, а если и был влюблен! — кинул он с вызовом. — Мне она, как человек, как настоящий крупный человек, как образец женщины, как комсомолка... Ну, нравилась она мне! Смелая, прямая! — после каждой фразы Володя бил кулаком правой руки по ладони левой: — Надо понять, что на войне можно погибнуть и в первый день, и в первый час, а не то что через два месяца, как Лиля. Пограничники, на которых в ночь на двадцать второе июня сорок первого года огромными силами навалились фашистские войска, что — разве эти пограничники, те из них, которые получили первые, неожиданные предательские пули, разве они зря погибли? Разве глупо? Конечно, среди вас, новичков, немало таких, которые постарше меня. Скажут: «Молод еще учить!» Правильно, молод. Я и не собираюсь учить. Давайте только разберемся. Можно идти в бой, да и вообще идти в партизаны и рассчитывать при этом, что обязательно останешься живым, а если погибнешь, то непременно красиво, как говорят, «с музыкой». Вот такой расчет действительно глупость. И мы, по-моему, должны одинаково чтить и Петю Романова, погибшего в бою, где было трое против сотни оккупантов, и тех, кто в разведке случайно подорвался на немецкой мине...

— Разведчик чувствовать должен, — прервал Володю Самарченко. Разведчик нюхом должен определить мину. Это, если каждый будет подрываться...

— Да подожди ты, — отмахнулся от него Володя. — За что все мы, я спрашиваю, полюбили ее? Вот к нашему командиру, Алексею Федоровичу, сколько раз приходила Лиля в гостиницу «Москва», уговаривала, упрашивала возьмите в отряд. Молодая журналистка, сын у нее. «Вы же слабенькая, а у нас тяжелые переходы, иногда и голодовка. Приходится сырую конину без соли есть. А вы такая нежненькая...» Верно, Алексей Федорович?

Я кивнул головой. Володя продолжал:

— А на следующий раз она приходит в белом полушубке, в валенках, в шапке. «Теперь я не такая нежненькая?» Рассказала Алексею Федоровичу, кто ее родители, какое у нее было детство. Тогда наш командир согласился. «Полушубок, — говорит, — всяким может надеть, — это разве доказательство силы? Вот то, что вы рассказали, другое дело. Действительно имеете право быть партизанкой!» Понимаете, товарищи, право! Лиля редко рассказывала о себе, о прошлом, о родителях. Вы, Алексей Михайлович, тоже, верно, не знаете ее биографию? Признайтесь.

— Признаюсь...

— Она болгарка. Папа ее, то есть отец, был известным революционером. Александр Кара-Стоянов, соратник Димитрова, народный герой. Его расстрелял Цанков. За подготовку восстания в городе Ломе на Дунае... А мать, его жена, Георгица Кара-Стоянова[15], вы думаете, домашняя хозяйка? Нет, и она профессиональный революционер!.. Она помогала мужу, хотя были у нее на руках две маленькие дочки Лилия и Лена. Ее забрали все равно и приговорили к смерти. Помиловали только потому, что в то время была она беременна...

Теперь Володю слушали, затаив дыхание. Садиленко тоже по-другому на него смотрел, уже без тени иронии и напускного спокойствия. И я не все знал из того, о чем рассказывал сейчас Володя. Кара-Стоянова тогда, в Москве, действительно сообщила мне кое-что из своей биографии, но по скромности, наверное, не касалась подробностей.

— А Лиля? Ей исполнилось тогда всего семь лет, но и она попала в тюрьму вместе с матерью и сестрой. Ей разрешали ходить в церковь, через год стали пускать в школу. Так вот Лиля стала связной, бегала к товарищам отца и матери, носила записочки...

Потом, когда мать выпустили по какой-то там амнистии, она переправила Лилю в СССР. Об этом позаботился МОПР. Везли тайно — через Вену, через Тюрингию... Она училась в детском доме, в Москве... Стала нашей советской гражданкой, окончила Институт журналистики... Сколько она просила редактора «Комсомольской правды» — отправьте в партизаны, я хочу мстить за отца, я хочу в бой!.. Ну что же... Вы знаете, Лиля попала в партизанский отряд и погибла. Алексей Михайлович говорит «зря».

— Нет, нет, я уже не говорю...

— Разве только в этом дело, Алексей Михайлович? То есть разве нет у нее личных достоинств, а только имена родителей? вспомните, Алексей Михайлович, хотя бы, как спорила она с Цимбалистом... Цимбалист, товарищи, храбрый хлопец, он остался у Попудренко. Он один из

первых пошел на железку, на взрывы. Дело еще не было освоено. Риск большой... Он имел право считать себя героем. Так вот он недооценивал работу советского тыла, говорил, что слишком много там бездельников, зря только хлеб едят... Помните, Алексей Михайлович, как его Лиля убеждала, как рассказывала ему и всем нам о работе на эвакуированных заводах. После споров с ней Цимбалист совсем по-другому стал смотреть!.. А как она читала нам книги вслух и стихи!..

— Все-таки ты, Володя, — прервала его Маруся Коваленко, отвлекаясь. Ты ответь Садиленко насчет смерти, что не зря погибла. Ты был при этом?

— Я не был. Я вернулся через два дня. Ходил с Геннадием Мусиенко в разведку... Тоже была история, но об этом пусть Мусиенко расскажет... Возвращаемся. Я ей подарок привез. Она сама любила делать подарки, сюрпризы. Я ей маленький итальянский пистолет привез... Встречаю Васю Коробко. Он говорит: «Лилия погибла!» Я так и подскочил: «Не может быть!» «Вот, — говорит, — смотри, узнаешь?» — И вытаскивает из кобуры пистолет «Тэтэ». Это был Лилин пистолет, я сразу узнал. «Вот, — объясняет Вася, — я забрал. Не было у меня раньше пистолета... Но ты, Володя, не думай, я очень ее жалею. Она хорошая была девка!» И рассказал все. Как сидели в хате, как вдруг совсем близко выстрелы, но скоро кончились. Это нарвались на партизанскую нашу засаду немцы. Ехали и сдуру нарвались. Их быстро расчехвостили... Товарищ Горелый, комиссар первого батальона, выходит. Лилия за ним, Коробко тоже. «Можно, — спрашивает Лилия, — с вами?» Горелый подумал (у нас был строгий приказ командования беречь Лиллю, в опасные дела не пускать), прислушался: там уже все кончилось — «можно» сказал. Подъехали они туда. Убитые немцы, лошади валяются. На повозке миномет. Откуда-то вдруг та-та-та — значит, немцы спрятались. Вася Коробко сам лег и Лиле приказал. Она легла, но глаз не спускает с миномета. Помнит, что для партизана значит боевой трофей, да еще оружие... Уж очень ей хотелось взять свой первый трофей. Она на локтях тянется к тем саням, приподнимается, берет за миномет... И тут опять выстрел... Вот и жизни нет... Тут же, на месте, без единого крика... Что же, Алексей Михайлович, разве это зря? Разве не в стремлении, не в душевном желании виден человек?!

— К этому надо уметь. А не умеешь, не берись!

— Правильно! А вот эти молодые ребята и девчата, они ведь тоже не умеют, будем учить их. Будем обязательно! Только вот, если завтра бой и они потребуются! По-моему, будут биться пока и без большого умения! По с революционной яростью, с любовью к Родине и без страха смерти, без

боязни, что убьют зря. Так, ребята? Девчата?

И все, кто здесь собрались, крикнули Володе в ответ:

— Правильно! Правильно!

* * *

Попросили рассказать кого-нибудь из девчат. В землянке, в своей небольшой компании, они делились воспоминаниями. А на больших собраниях уговорить их выступить было дело нелегкое.

Стали медсестры выталкивать вперед Марусю Товстенко — одну из самых опытных наших партизанок. Молодая, крепкого сложения, смелая, ловкая, она пользовалась всеобщим уважением и как медсестра, и как боец, и как комсомолка-общественница. Маруся долго не ломалась. Вышла в освещенный костром круг.

— Хорошо, — сказала она, — могу рассказать и я. Только пусть Алексей Федорович, и товарищ Дружинин, и другие командиры не обижаются. Я буду больше к молодежи обращаться, к девчатам больше, чем к хлопцам. Можно считать, что и я не старая, если мне сейчас двадцать два года... Правильно, говорите? Ну, вот и хорошо.

Я до войны горя не знала, благополучно жила. И все-таки было сознание, что это не просто так, а завоевано для меня партией большевиков. Если война — значит я, крепкая, молодая девчина, должна тоже драться за свою власть и за свою партию. И, хотя я на себя много приняла горя в партизанском отряде, трудных дней и слез, моральных и физических страданий, я ни разу не жалела, что пошла. А я пошла в партизанки добровольно. Как я пошла?

Мы здесь делимся опытом, рассказываем. И я сейчас расскажу, не жалея себя и других. Потому, что настоящей партизанкой я не сразу стала. Возьмем хотя бы и Гришу, то есть извините, Героя Советского Союза Григория Васильевича Балицкого. Он тоже не с первого дня стал партизаном, хорошим бойцом, а потом командиром.

Вот как было у меня. Я работала в Чернигове начальником мастерской по ремонту противохимических костюмов при областном совете Осоавиахима. Председателем был у нас товарищ Кузнецов. Он меня однажды спрашивает:

— Ты, Маруся, согласна пойти в армию?

Это было в августе 1941 года, когда немцы уже близко подходили.

— Знаете, — говорю ему, — моих уже два заявления в райвоенкомате.

— Я тебя с собой заберу, если ты согласна. Ты прямо отвечай: могут ранить и, если нельзя вылечить, — пристрелят свои же товарищи... Ты на такие условия согласна?..

- Согласна, согласна!
- ...и по болотам ходить?
- ...согласна.
- ...и что будут пытаться враги, если поймают?

Я тогда поняла, что он меня вербует в партизаны. Екнуло сердце. Он продолжает:

- Ты добровольно согласна?
- Да, я добровольно согласна!
- Быстро собирай чемодан — и поехали.

Вот так я и стала партизанкой в августе 1941 года, когда немцы наступали на Чернигов. Взяли тогда меня, Веру Дободу и Нонну Погуляйло, которая недавно погибла... Настоящая боевая девушка, комсомолка!.. Когда нас Кузнецов привел в лес, мы поняли, что тут и будет партизанский отряд.

На третий день мне было поручено взять в Корюковке медикаменты. Я поехала на легковой машине. В Корюковке шум, большое движение, наши части отступают, госпиталь эвакуируется. Но я получила все, что нужно. Едем уже к лесу. Вдруг догоняет нас грузовая машина. Соскакивает Григорий Васильевич Балицкий. Он жил в Чернигове рядом со мной, я знала его как соседа. Спрашивает:

— Ты чего здесь болтаешься, комсомолка? — Он работник обкома партии. Имеет право так спрашивать. Но я все-таки не могла сказать, что в партизанском отряде, говорю:

- Ушла в армию.
- Как же ты в армии, а здесь болтаешься?

Я и ответить не успела — он уже сам догадался.

— Ну тогда вот что, соседка, у меня еще другие дела, я потом приеду в ту армию. А ты принимай мою машину, тут оружие и боеприпасы, а твоя сзади поедет. Прощай пока, соседка!

Он решительно сказал. Я повиновалась, почувствовала, что он будет настоящим командир.

Теперь я расскажу о первом бое, в котором принимала участие. Какие мы все тогда еще были неопытные, неумелые. Товарищ Громенко повел нас на боевую операцию. Нас разбили на два отделения. Мы пошли на шоссе, чтобы уничтожить немецкие автомашины. План такой: передовая машина — первому отделению, вторая машина — второму отделению. Залегли, слышим гул машин. Непонятно, почему мы решили, что будет только две машины? Смотрим, три, четыре, пять, шесть и под конец — броневик и мотоцикл. Мы лежим за пеньками, на пятьдесят-шестьдесят метров лес

вырублен, нас видно. У нас одно противотанковое ружье и винтовки. Гранат было на всех штук восемь.

Останавливается одна машина. Тишина. Я все равно, как мотор на мельнице, — так дрожала. А боец, лежавший возле меня, вовсе струсил убежал.

Операция не удалась. Возвращаемся в лагерь. А того бойца, что убежал, нет. Меня спрашивает Громенко, спрашивает Попудренко. Я рассказываю, как он удрал. К вечеру он вернулся.

— Ты чего? — спрашивает Громенко.

— Да, товарищ командир, в первый раз сдрейфил.

Громенко смеется, а я говорю:

— Ах ты, мерзавец. Я бы тебя расстреляла.

Попудренко отводит меня в сторону.

— Какое бы ты имела право расстрелять?

— Раз он удирает — значит, он дезертир. Дезертиров расстреливают.

Попудренко слушал, слушал.

— Я с тобой согласен... Но так, сразу, нельзя. Ну тебя, ты еще перестреляешь у меня всех людей!.. Знаешь, что, Маруся, я и сам, если вижу трусость, хочу этого человека уничтожить на месте. Но об этом надо предупредить всех, чтобы знали...

После того случая всех предупредили, что трусость карается на месте.

Это было уроком всему нашему отряду потому, что, если говорить правду, — все тогда струсили, а не один только этот боец.

Маруся вздохнула. Лицо ее покраснелось не то от жара костра, не то от смущения... Она махнула рукой, как бы желая сказать: «Вытащили меня на разговор, так уж слушайте все». Глядя поверх голов собравшихся, продолжала:

— Расскажу и о другом времени, о совершенно другом деле. Отряд уже был очень большой. Мы двигались в Злынковские леса. Раньше я знала про эти места только, что там есть спичечная фабрика. Теперь мы тут воевали. Я была медсестрой при штабе. Двадцатого мая пришли мы в Злынковские леса. Тепло. Землянки строить не стали, потому что распустилась листва — есть где прятаться. А завтра, может быть, опять в путь.

Двадцатого мая 1942 года — очень тяжелая для меня дата. Родила сына...

Скажу вам, девушки, про любовь. Балицкий Григорий Васильевич стал моим мужем. Я перед вами раскрываться не буду, он меня завлекал или я его. Разве в этом дело! Я хочу сказать про любовь и жизнь, что в

партизанском отряде и то, и другое есть. И даже узнаешь счастье и красоту.

Я сказала, что день, когда я родила сына, был для меня тяжелым. Это я говорю про физическую тяжесть. Когда надо было рожать, в тот день я сделала переход в тридцать километров и ни перед кем не плакалась. А в дни перед самыми родами выполняла все требования командиров. Меня жалели, видели мое состояние, но понимали также и мою гордость. Поэтому давали задания. Конечно, некоторые товарищи все-таки незаметно делали часть моей работы.

Федоров предполагал забрать меня в штабную землянку, чтобы окружить вниманием. А Григорий Васильевич был против. Он требовал: «Я ей муж, где буду я, там и она!» Вы знаете, как я его за это любила!

Зато потом какая была радость! Это было событие для всех людей отряда... Я вас не агитирую, девушки, чтобы обязательно рожать в партизанских условиях. Но бороться мужественно за свои права, за то, чтобы чувствовать счастье жизни, я вам советую. За то, чтобы жизнь была полная, настоящая и красивая!

Сколько давала эта молодая жизнь, этот ребенок партизанам, моим товарищам в суровых лесных условиях! И какое внимание я имела! Нежность женщин и мужчин, даже самых строгих и сердитых. Они подходили часто, играли с мальчиком, подкидывали его, говорили ему ласковые слова, тетешкались целыми часами. Алексей Федорович был кумом, повариха Мария Андреевна кумой; покумились.

Но все-таки командование решило, что я должна вылететь в тыл, в Москву.

В августе начались сильные бои, нас окружили. Три ночи подряд я выезжала с мальчиком на аэродром, три ночи Григорий Васильевич меня провожал, но все эти ночи немцы окружали площадку: наши самолеты не могли приземлиться. Пришлось отказаться от вылета в тыл, только бы выйти из окружения. Сыну было три месяца. Наш командир говорил: «Береги его, ты понимаешь, какой это хлопец будет! Три месяца, а он уж и смеется!»

Мы стали выходить из окружения, раненых тащили на руках. Я несла санитарную сумку, винтовку и сына. А кормить сына нечем — грудь пустая. У нас в те дни с питанием очень плохо было, съели уже и неприкосновенный запас. Григорий Васильевич заскочил в одно село, достал для меня творогу, масла... Поела я, и у меня появилось молоко, накормила голодного сына. Он кричал, а кругом немцы. Все дрожат, боятся, что немцы услышат. Тут даешь ему грудь, только бы молчал.

Утром Григорий Васильевич встает: «Как спокойно сын в эту ночь

спал!» «Да, говорю, очень спокойно».

Посмотрела: какой он бледный! Стала слушать, а он не живой. Животик у него вздулся. Я крик подняла, но не так я плакала, как Григорий Васильевич.

Был большой дуб, старый. Григорий Васильевич взял лопату и под этим дубом вырыл могилку. Похоронили нашего мальчика, обложили могилку зелеными листьями...

Мне казалось, что не смогу идти дальше, расстаться с этим местом.

Тут Маруся долго молчала и слушатели молчали. Балицкий подошел к ней сзади, положил руку на плечо. Она руку мужа сняла, не глядя на него и ничего ему не сказав. Заметив, что кое-кто из новеньких партизанок утирает слезы, она сказала:

— Я не для того рассказываю, девушки, чтобы вы плакали. Иногда, конечно, можно и зареветь от обиды и отчаяния, но я считаю, что слезы лучше скрывать от людей, хотя бы и близких. Все-таки я тоже не всегда могла сдержаться.

Сложилась обстановка тяжелая — такая даже, что надо бросать раненых с ними не уйти от немцев. А уходить надо — иначе погибнем все. В этот трудный для отряда момент вызывает меня Алексей Федорович, приказывает идти в другую сторону с группой раненых. Он мне говорит:

— Мы будем пробиваться, а ты, Маруся, и Тихоновский Иван Федорович, который был тут недалеко секретарем райкома партии, должны сбегать и вылечить наших раненых. Мы вам их доверяем.

— А муж мой, — спрашиваю, — как же мой муж Балицкий? Он тоже остается?

— Нет, он будет пробиваться с нами.

— Если вы берете мужа, я с ним пойду!

Тогда Федоров серьезно меня предупреждает:

— Если ты не останешься с группой раненых, — я тебя расстреляю!

Вот тут я все забыла от волнения и жалости к себе. То, что давала партизанскую присягу, то, что я комсомолка, — все куда-то улетучилось. Говорю:

— Я еще такого командира не видела, который бы стрелял в своих боевых сестер. Нет, Алексей Федорович, если вы хотите меня расстрелять, — лучше пристрелюсь своим пистолетом.

Вот, девушки, до чего можно себя потерять. Никому этого не желаю. Потом я еще побежала к своему Григорию Васильевичу, кинулась со слезами на грудь. Он тоже разволновался, стал ругать Федорова. Но все-таки Григорий раньше пришел в себя, вспомнил о дисциплине партизана.

Он мне посоветовал:

— Иди, Маруся, докажи! С тобой все равно мы встретимся. Я в это верю!

Мы с ним сурово попрощались. С Федоровым тоже. Руку Федоров мне пожал, посмотрел в глаза, но я отвернулась, считала, что он меня очень обидел.

Теперь слушайте, что я поняла. Обижаться может каждый человек и партизан тоже. Волнуйтесь, девушки, и обижайтесь, только все равно делу это не должно вредить. Нельзя из-за того, что обиделась, плохо перевязывать и промывать рану. Нельзя распускаться перед раненым товарищем, который от тебя ждет возвращения к жизни. Душевная храбрость может быть даже важнее в таком вот случае, чем в бою. Ломай себя, отойди, если чувствуешь, что не можешь сдержаться, спрячься — в лесу деревьев много. Постой две минуты за деревом одна, а потом возвращайся к раненому с улыбкой. Вот за это ордена дают медсестрам!

И я пошла с группой Ивана Федоровича, чтобы доставить двух тяжело раненых в Семеновский район, где он работал секретарем райкома партии. Было задание: устроить раненых у наших людей в селах. Когда устроим, догонять отряд. Но вышло не так.

Продвигались ночами, раненых несли на носилках, на плечах. Во всей нашей группе было одиннадцать человек. Среди них и легко раненые, и больные; были тоже три беременные женщины и одна с ребенком. Эти женщины пристали к отряду, когда мы, за несколько дней перед тем, проходили через уничтоженное карателями село. Там каратели всех расстреливали. Женщин расстреливали вместе с детьми. Эти трое спаслись. Федоров надеялся отправить их самолетами в тыл. Но самолетов не было. Теперь наша группа должна была спрятать их у своих людей. А у четвертой женщины на руках был пятимесячный мальчик. Ее муж — партизанский проводник из местных людей погиб от немцев. Ей тоже нельзя было оставаться на старом месте.

Вы представляете, какое положение? Я своего мальчика две недели, как похоронила, а этот мне его напоминает. То и дело прячусь за деревьями, чтобы не видели, как плачу. Ребенок пищит — выдает нас. Кроме того, усталость. Так мы все устали, что спать могли в любом положении. Сказали бы мне: «Маруся, вот борона — ложись». Легла бы и уснула.

Вы, девушки, можете подумать: «зачем она рассказывает нам о таких ужасах и трудностях, пугает нас? Лучше мы вернемся домой к маме и к папе. Не всех же перебьют немцы. А если отправят в Германию, откуда знать — там тоже люди — как-нибудь выживем до конца войны».

Нет, я вам рассказываю все это, как родным советским сестрам, боевым подругам. Не жалуясь, но говорю: вот что может и должен преодолеть человек, если он предан Советской власти и партии! Это борьба за свободу перед самой зверской мордой фашизма. Это борьба не только в бою, когда стреляют. Это и потом борьба, когда каратели мучают голодом, и холодом, и лесной сыростью. Вот на что мы должны быть готовы. Может быть, легче даже умирать, когда ведут на виселицу при народе. Там можно красиво держаться, гордо. Если придется, вы, я знаю, выдержите и я тоже. Только раньше надо выдержать борьбу за жизнь и не только за свою, за жизнь раненых наших товарищей, которые стонут от боли в ночной темноте, под проливным дождем.

Было два тяжело раненных — Гулак Андрей и Помаз Сергей. Приносим их в хутор, где живет брат одного нашего партизана. С ним был уговор, что он возьмет одного раненого к себе. Наши товарищи пришли к нему ночью, говорят, что мы прибыли, раненый в лесу, можем через час принести. А он отвечает:

— Знаете, Красная Армия все отступает и отступает. До тех пор, пока Красная Армия не будет наступать, я не хочу помогать большевикам.

— Зачем же ты раньше обещал?

— Я, — отвечает, — не скрываю, я думал, что Красная Армия сильнее.

Оказалось, что он уже работает управляющим у немцев, окончательно им продан.

Делаем вторую попытку устроить раненых. В Блешне была партизанская семья Станченко Степана. Его дочка Проня была в отряде. Другая дочка Тося, учительница, жила пока с ним. Пошла в село наша разведка — двое партизан. Старик им сказал:

— Я согласен, одного раненого возьму. Завтра Тося придет грести сено, принесет хлеба и еще кое-что. Останется с вами до темноты, потом вместе с ней приходите, приносите раненого.

Тося приходит, приносит в кошелке еду и рассказывает, что два часа как прибыли в Блешню немцы — больше ста карателей. Проверили действительно так. Остается только устраиваться в лесу, копать себе землянку.

Старик Станченко привез нам кирпич, глину: построил печку. Потом муки привез. Беременных от нас увел — устроил у разных людей. Ту женщину с ребенком Тося и старуха Станченко отвели в другое село, за пятнадцать километров. Потом вдруг пропали Станченко. Не приходят больше недели. Узнаем: стариков гитлеровцы схватили, увезли в Новгород-Северский. Обоих пытали в тюрьме, они от пыток умерли. Тося сбежала от

немцев, жила некоторое время в другом селе, дней через десять к нам пришла в лес, стала вместе с нами партизанить.

Наша землянка была в глубине ельника, в самой гуще. Никто нас тут не заметил. Топили мы рано утром, на рассвете. Я вставала в три часа утра, растапливала, потом готовила раненым перевязки. Пойдешь в Блешню, ходишь как странница, попросишь старую простыню или рушник. Все-таки давали и не спрашивали, зачем. Знали, наверное, кто я. Гулак начал поправляться немного. Такая радость! Значит, не напрасны наши труды. А ведь он был, можно сказать, труп: сплошные ожоги, все лицо, грудь, спина. И вот мой Гулак стал ходить, даже просится стоять на посту.

А у Сережи Помаза кость в бедре перебита. Мог только лежать. Так физически здоровый, но подняться нельзя. Я за ним выносила, мыла его... Очень боялись гангрены, я он сам боялся — от этого страха не мог есть, худел, во сне ужасно бредил, так что и нас пугал. А днем ничего бодрился. Больше пяти месяцев рана его не заживала. А потом ничего. Помогло, наверное, что мы ее облучали под солнцем даже в морозные дни. Когда стала рана затягиваться — смотрю и Сережа мой улыбается. Начал просить, чтобы хоть немного мяса принесли. Значит, поправляется.

Мы пошли, украли у старосты барана. Зарезали, печенку поджарили. Радовались — «вот теперь несколько дней будем все сыты» Повесили тушу на ветку дерева. Иван Федорович говорит:

— Сегодня ты вари холодец, то да се, чтобы наелись ребята.

Я иду к нашему барану, прихожу — одни кости торчат. Сороки все расклевали. А мы только облизнулись... Кости, правда, я сварила, бульон был жирный. А за другим бараном не пошли. В селе и без того уже поднялся переполох.

Шесть месяцев мы так жили. В конце февраля уже этого, сорок третьего года, в два часа ночи слышим топот. Я поднялась. У меня было две гранаты. Я так решила: «одну брошу в Сергея, чтобы убить его, а другую буду бросать в дверь, пистолетом пристрелю себя». Тихоновский и еще трое наших ребят играли в домино. Вдруг дверь открывается и входит мужчина в белом халате. Иван Федорович — раз за пистолет. Я гранатой замахваюсь.

— Стой, Тихоновский, не стреляй!

Это были наши. Отряд вернулся в Елинские леса, и Попудренко сразу послал искать раненых и всю группу. О нас пошли слухи, что все мы попали к немцам, что всех почти поубивали, а меня тяжело ранили. И будто потом на мне женился немецкий офицер. Такая чепуха! Попудренко не верил.

Нас всех взяли в сани — повезли в лагерь. Какая была встреча — все, наверное, помнят! Нас целовали, обнимали. Повариха нам особо готовила... Но это потом...

А в первый день я узнаю, что Гриши нет.

— Где Гриша? Как его здоровье?

Говорят — в Москве.

Думаю: «В Москву отправляют только тяжело раненых». Спрашиваю:

— Куда он ранен?

— Почему ты спрашиваешь об этом? Может, он прославился и его отправили в Москву отдохнуть!..

Мне все-таки сказали, что у него задета переносица и глаз... А через несколько дней прилетает самолет. Мы бежим встречать. Когда подбежали к аэродрому, уже все вышли. Я бегу, ищу Балицкого... Он стоит, смотрит на меня, а я мимо него пробежала... Федоров со мной поздоровался, обнял.

— Почему ты Гришу не встречаешь?

— А где он?

Вижу — стоит передо мной красивый мужчина, нарядный, полный, в кубанке. Думаю, какой-то новый, а это Гриша. А когда уходила с нашей группой, Гриша был в ватных штанах, в кепке...

— А я, — говорит, — смотрю — к кому она побежала, кто ей всех дороже?

Тогда я обхватила его, спрашиваю:

— Как твой глаз?

У него слеза покатилась, но он говорит:

— Вижу тебя, больше мне ничего не надо!

Вот и конец моему рассказу. Теперь пусть другие говорят.

* * *

После рассказа Маруси Товстенко долго молчали. Слышно было, как потрескивает хворост в костре, как лошади рвут зубами траву. Маруся отошла в тень, села за чьей-то широкой спиной. Я думал, что ее начнут расспрашивать. Нет, все будто согласилось, что после такого душевного рассказа нужно собраться с мыслями. Многие поглядывали на Балицкого, который стоял тут же, в позе уверенного в себе человека. Мне показалось, что рассказом Маруси он не доволен и хочет даже что-то опровергнуть. Во всей его фигуре, в одежде, манерах видно было щегольство. На голове у него еле держалась черная барашковая кубанка с алой лентой. Давно уже установилась теплая погода и смешно было ходить в зимней шапке, но Балицкий не из тех, который позволил бы над собой посмеяться.

Слава его была у нас в тот период самой яркой, слава бесстрашия и

военного счастья. Его щадили вражеские пули. Правда, он потерял глаз, но это — случайность: разорвалась гильза патрона в собственном автомате.

...Балицкий не сразу стал рассказывать. Пришлось его просить. Быть может, ему не хотелось говорить при мне. Утром мы с ним поспорили. Вчера он вернулся из Москвы. Доложил о выполнении задания. А сегодня вдруг вручил приказ Украинского штаба, которым мне предписывалось выделить ему определенное количество людей: рядовых и командиров, а также вооружение, боеприпасы, рацию — создается новый отряд во главе с Балицким, и отряд этот пойдет по самостоятельному маршруту.

Что ж, приказу — нравится тебе он или нет — надо подчиняться. Я сказал Балицкому, что каждый командир батальона выделит ему часть своих людей. Но Балицкий потребовал, чтобы я отдал приказ о выделении первого батальона, которым он командует. Первый батальон мы считали лучшим в соединении, в нем было больше всего старых партизан, черниговцев, и я категорически отказался выполнить это требование. Запросили по радио Украинский штаб. Там поддержали меня. Кончилось тем, что Балицкий от самостоятельного задания отказался. Было решено, что он останется в нашем соединении командиром первого батальона.

Но и сейчас, видно, он еще не остыл. Нет, нет и покосится хмуро в мою сторону. Все-таки уговорили: стал рассказывать. Рассказывал он с видом человека, которому все прежнее кажется не стоящим большого внимания. Слушатели чувствовали, что обращается он к ним немного свысока, но и это ему прощали. А некоторые, может быть, считали, что так и должен говорить прославленный партизан.

— Мы вот трогаем прошлое, перебираем, подсмеиваемся даже над собой. Каждый из нас, старых партизан, много смертей прошел. Я сам лично, если даже скромно считать, двадцать две смерти миновал и продолжаю действовать. Бывает, спрашиваю себя: «Почему ты, Григорий, еще живой? Уберегся или посчастливилось?» Ответ даю такой: остался цел после боя — не твое это личное счастье и не для отдыха ты остался или славы, а для дальнейшей борьбы за окончательную победу!

Если же касаться лирического и поэтического, — то самое для меня поэтическое до конца войны — это смерть и гибель врага... Нет, почему же? Я и человеком остаюсь, но я нацеленный человек и об этом буду с вами беседовать.

Знал я одного товарища. Был он смелым. Но все подсчитывал: «Я, мол, один, другой, третий и четвертый раз прикоснулся к своей гибели, значит, шансы мои с каждым разом прогрессивно уменьшаются — перелет, недолет, а ведь накроет когда-нибудь и цель». С каждым боем он

становился все осторожнее и дошел со своей прогрессией до того, что проснулся раз среди товарищей, вскочил с черными от страха глазами и как заорет: «Немцы!» Пистолет к виску — и готов. Не успели его удержать. А немцев как раз и не было.

Вот я слышу такое слово «осторожность», будто партизан должен быть осторожным. Но где тут граница осторожности и трусости? Граница, конечно, есть. Осторожность — это мысль, человек еще думает, понимает, как оберегаться. Трусость — это бессмысленное бегство, паника. Пример: лежим однажды в цепи, за укрытием, видим, как идет на нас немецкая пехота, подпускаем. Вдруг один наш уважаемый товарищ кричит: «Братцы, автоматчики!» Сорвался и побежал. И все за ним побежали. Что такое? Мы ведь и раньше знали, что в немецкой пехоте много автоматчиков. Нет, дело тут не в автоматчиках, а в голосе паникера — подействовал на нервы.

Трусость — самый лютый враг партизана. А что касается осторожности... Осторожность действует по-другому. Она сестра трусости, но хитрая, все умеет объяснить и оправдать и постепенно партизана превращает в труса.

Как это бывает? Дает командир задание. Идет партизан и видит — ужасно трудно и опасно. И вот он уже не идет, а ползет. Это правильно, надо ползти. Но ведь придется когда-нибудь и встать. Одним ползанием дела не кончишь. А голову он поднять не может. Прижимает ему голову к земле неведомая сила. Он ее в душе уважительно определяет, как осторожность, а она уже давно выросла в трусость. Возвращается такой партизан и докладывает: «Товарищ командир, оказалось невозможным». И все так аккуратно объяснит, что только и остается похвалить его за осторожность. А цель? Цель не достигнута. Целью стала осторожность.

И вот закон партизана: вышел на задание — и твоя жизнь, и твой ум, и твое сердце, и твоя мысль, и твое оружие — все для достижения цели. Действуй и умом, действуй и расчетом, можешь даже применить осторожность, а дело сделай!

От этого я и перейду к своему случаю. Тоже, как и другие, из первых дней моего личного опыта. У вас первые дни проходят среди старших товарищей, мы же старших товарищей не имели. Командиры тоже не имели партизанского опыта.

Вот в сентябре сорок первого года Попудренко говорит, что есть мельница, на которой работают немцы. Надо взорвать ее — не дать врагу молоть зерно. Дает мне задание: «Ты продумай, подбери себе группу». Поехали втроем: Петька Романов, Ваня Полещук и я. Петька Романов получает роль агронома, Ваня Полещук крестьянином сделался, кепку

надел, а я в роли народного учителя; так я всегда ходил в разведку. На повозку положили мешок ржи, мешок ячменя. Берем шнур, тол, автомат. Все это кладем вниз.

Выезжаем из лесу. Только выехали на опушку — лошадь выпряглась. Я в жизни ни разу лошадь не запрягал и мои товарищи тоже. Ваня Полещук хочет бежать в лагерь. Хорошо тут на нашей заставе оказался товарищ из колхозников. Он запряг. Мы потренировались: несколько раз запрягали и распрягали. Потом поехали.

Приехали в Александровку. Вечер. Надо где-то переночевать. Попросились к одной крестьянке, дочь у нее. Переночевали. Утром стали запрягать — не получается. Дочь посмеялась над нами. Запрягла нам лошадь. Тут старая хозяйка спрашивает:

— Куда это вы едете?

— На мельницу едем.

— Эх, вы. Как же вы не умеете ничего? Как же вы — три человека, а два мешка везете!

— Это мой мешок, я учитель, а это Петьки мешок, а это — наш возчик.

— Зачем, — спрашивает с усмешкой, — трем человекам ехать два мешка молот?

Она учила нас предусмотрительности. Мы поняли, что нас легко разоблачить. Хозяйка хорошая — муж на фронте. Просим ее: дайте нам еще мешок, мы разделим зерно на три доли.

Дальше поехали с тремя мешками. В пять часов вечера приезжаем в райцентр Мену. А я уже бывал тут как разведчик. «Вдруг кто-нибудь заметит!» — думаю. Поставили свою лошадь, а сами пошли на мельницу. Один немецкий солдат — у входа, другой — у машинного отделения. Но пропуска не надо, разрешают ходить. Нам интересно машинное отделение взорвать. Мельница двухэтажная, вальцевая, перерабатывает зерно для немецкой комендатуры. Но и крестьянам мелет за четыре килограмма с пуда и одно яйцо.

Мы вошли на мельницу, понюхали муку, немного подкрасились. Особенно Ваня — весь мукой вымазался. Я прошел в машинное отделение. Там работали два немца. Увидев меня, они что-то залопотали. Я вынул из кармана кусок хлеба, стал жевать — вроде не обращаю на них внимания.

В машинное отделение можно пройти, но обратно, если взорвать, — уже не уйдешь. Только один выход — наложить толу в карманы и самому взорваться.

Пошел к своим ребятам, говорю им:

— Если мельницу взрывать, значит, только погибнуть.

Они молчат, думают. Нас уже подозревают. Во дворе один прямо на нас пальцем показал. Решаю:

— Будем уходить, товарищи!

Полкилометра отъехали. У дороги — кустарник. Слышим погоню. Свернули в кустарник. Погоня ближе. Мы автоматы в руки, гранаты по карманам, лошадь бросили к чертовой матери — и бежать.

Им лошадь не интересна. Они стали в нас стрелять. А лошадь Машка идет себе спокойно, хоть бы что. Тут начало темнеть, пошел дождь. Мы уж, верно, с километр пробежали. Стрельба прекратилась. Выскочили на дорогу, залегли в кювет. Что за чудо — идет Машка. Ей по кустам неловко телегу тащить выбралась на проселок. Посмотрели — никого нет. На Машку — и поехали.

От погони удрали, но задание так и не выполнили. Знаете, как это мучительно — ругаешь себя последними словами. Но от этого не легче. Стали думать: что делать?

В селе Забаровке спрашиваем: «Далеко до железной дороги?» Оказывается, в трех километрах отсюда. Идея! Пойдем на дорогу — все ж таки вернемся с результатами.

Метрах в тридцати от моста большая кирпичная будка. Там охрана, как потом узнали — восемнадцать человек. А у самого моста, с обеих сторон, деревянные грибы — под ними часовые. Они меняются через каждые два часа. Мост большой, высоко стоит, Если его удастся взорвать, — прекратится всякое движение.

Мы подобрались к мосту поближе, чтобы все рассмотреть. Руки стали черными от земли, колени черные. Помыли руки, заготовили палки, чтобы прикрепить тол. Пошел дождь и все сильнее. Лошадь по лугу ходит. Повозку мы поставили под куст... Время идет. Мы ждем полной темноты. Дождь и дождь. Мы хоть мокнем, но нам даже лучше от дождя — темнее.

И вот мы полезли. Насыпь там высокая. Надо пробраться под носом часового и потом ползти на коленях по мосту тише червя.

Задача осложняется потому, что спичку на мосту зажигать нельзя, шнур надо поджигать папиросой. А мост длинный, пока до середины доползешь, папироса сгорит. Все трое приготовили по самокрутке. Один докурит — даст другому прикурить, потом третьему. А махорка, такая гадость, крупная — при движении высыпается из самокрутки. И ужасно неудобно курить — руки заняты, передохнуть невозможно, того и гляди, закашляешься.

Наконец доползли до середины. Я на колени встал у самого края, даже

перегнулся над водой. Привязываю тол к тому месту, где всего больше крупных заклепок. А ребята меня оберегают и поочередно курят. Я прикрепил, вставил детонатор, взял у ребят папиросу, зажег шнур. Приказываю:

— Готово, пошли!

Ребята полезли обратно, а я хочу подняться и... не могу. Не разгибаются ноги, затекли. Я так увлекся, что не чувствовал. Вот положение! Ребята уже далеко отползли, им возвращаться нельзя. Гибнуть так одному. Такая мучительная картина. Нервная система, знаете, как работает, когда думаешь, что взорвешься вместе с миной, с этим мостом к чертовой матери.

Если шнур вырвать с капсулом — не будет взрыва, но и весь труд тогда пропал. Стараюсь подняться или хотя бы как-нибудь ползти. Тру ноги изо всей силы, некогда о шнуре думать. Потихоньку стали ноги отходить, и я подтягиваюсь на руках. А потом и ноги пошли. Я встал и побежал. Чувствую вот-вот будет взрыв. Колени трясутся, но бегу. Чувствую — конец моста. Вниз головой и — кувыркком по насыпи. Только скатился, и тут взрыв — волной шибануло.

Я вам рассказал, товарищи молодые партизаны, об одной из своих смертей. А их было двадцать две. Таких, которые я сам заметил, а сколько пуль роилось вокруг головы!

Какое отсюда заключение? Вы, как молодые ребята, можете, конечно, и не знать дореволюционных песен трудового народа. Вот как начиналась одна песня: «Смело, товарищи, в ногу! Духом окрепнем в борьбе!» Это очень правильные слова. Мы именно крепнем в смелой борьбе. А чем мы становимся крепче, тем труднее смерти нас прикончить; как случайной смерти, так и специально нам предназначенной. Этому учит меня мой опыт жизни и партизанской борьбы.

И еще другое заключение. Тут многие наши молодые товарищи учатся, как подкрадываться к железной дороге, как подкопаться под рельс, поставить заряд и так далее. Но все это шуточки, потому что нет здесь настоящей опасности и тревоги за собственную жизнь. На практике мы будем с вами на поезда нападать. Мы будем крадучись подползать, но для того, чтобы потом подняться и стрелять. Смелость — вот что есть главное оружие подрывника и минера! А смелость — это такая штука, которая в теории очень проста, а на практике сложнее какого угодно технического новшества.

Я не противник техники, когда это наша социалистическая техника для народа. Но в условиях, когда вся техника исключительно вражеская, когда

глядишь из-за дерева на поезд, который победно шипит и тащит против нашей армии и советского народа снаряды или фашистов — сам бы лег, только его остановить и уничтожить!

Вот из вас некоторые скоро пойдут со мной на железку. Мы понесем с собой небольшие ящики с толом. И знайте, с того первого случая, о котором вам рассказал, я ни разу тол обратно в лагерь не приносил и зря не закапывал. Это запомните. Осторожность мы с собой возьмем тоже, но и она будет вести нас только вперед, к выполнению цели. Ее достигли, задание выполнили — вот тогда мы люди, тогда будем возвращаться домой с песнями, праздновать жизнь!

* * *

Слушали Балицкого очень внимательно и уважительно. Когда он кончил, задумались. Потом попросили Семена Тихоновского сыграть на гармошке. Он не отказался. Человек артельный, балагур, весельчак, Семен Михайлович, никогда ни отчего не отказывался. Хоть и числился он за хозяйственной ротой, но в бою занимался не одним лишь сбором трофеев.

Он взял сразу плясовую, русскую. Стал вызывать:

— А ну, дивчатки, хлопчики, кто спляше... Эх, кабы не жалко мени чеботов, сам бы пошел! Алексей Федорович, може, вам полечку?..

Но настроение у всех было не плясовое. Семен Михайлович понял это и отложил гармошку в сторону.

— Може, и мени чого рассказати?

— Просим, просим, Семен Михайлович!

— Так я расскажу вам. Связи с рассказом Балицкого Григория Васильевича это будто не имеет. А може имеет? — И он так хитро, с таким задором глянул в сторону Балицкого, что все рассмеялись, а сам Балицкий погрозил ему пальцем:

— Ты не очень-то критикой в мою сторону бросайся. Помни, Семен!

Семен Михайлович махнул рукой и начал:

— Тут касаются хлопцы разных дел. Только одного вопроса не трогают относительно черта. Есть черт, чи нет его? Проблема, скажут некоторые, не актуальна. Так я вам расскажу байку.

Лег я под вечер у нашей штабной палатки на сено. Один глаз у меня спит, а другой, как то по партизанскому неписанному уставу положено, кругом поглядывает. И видит мой глаз, что со стороны звезд, с самого неба, приближается то ли сторож в тулупе, то ли бычок-трехлетка, ряженный в сочельник под дьячка. Двигается та фигура прямым маршрутом ко мне, опускается возле самой моей головы, садится на корточки и начинает вопросы пытаться, чисто анкету заполняет:

— Вы — Тихоновский?.. Семен Михайлович Тихоновский из Корюковки?.. В милиции служили?

— Э, — думаю, — что ж это творится, с воздуха прибыл, документы не показывает, подумаешь, инспектор выискался! Хотел хлопцев кликнуть, а язык будто прирос. Лохматый этот смеется.

— Я, — говорит, — черт. Буду вас, гражданин Тихоновский, в таком положении держать, пока мы не придем к соглашению.

— А я в вас, чертей, не верю. Ни в чертей, ни в богов, ни в ангелов!

А черт до самого уха мого притиснулся, жаром дышит и такие начинает речи:

— Семен Михайлович, меня сюда командировали до вас, поручено выяснить три вопроса. Поскольку Гитлер доводится деверем самому сатане, то он, сатана значит, лично заинтересован в развертывании стратегического успеха его войск. А вы, партизаны, в этом деле ему сильно мешаете. Формы вы не носите, и бес вас знает, откуда беретесь. И что ни месяц, вас все больше. Так вот это и есть первый вопрос: откуда вы беретесь?

Слушайте дале. Другой вопрос (тут черт полез куда-то в свою мохнатую шкуру, сверился с бумажкой): что такое партизанская отвага и как с нею бороться? И третий вопрос (опять черт глянул в свою шпаргалку): чего вы, партизаны, ищете и что считаете за счастье? Ответьте, Семен Михайлович, на эти три вопроса и требуйте себе какой хотите награды.

«Ах, — думаю, — шпион ты проклятый. Да неужели ж ты и вправду считаешь, что я отвечу на твои вопросы. Да ты режь меня, жги — слова тебе не скажу. Ты и не черт совсем, а новейшее приспособление вражеской разведки!» Думаю так, а против воли в мозгу отвечаю на его вопросы. Языком не шевельнул, только в уме.

Что беремся мы из народа за счет его сознательности. И с каждым месяцем больше нас потому, что сознательность растет, а партия нас организует. И за счет молодежи подрастающей, вроде вас, тоже увеличиваются отряды. Так я думаю. Но молчу. Черт впился в меня зеленым, как в радиоприемнике, глазом и подгоняет: «Говори, говори!» А я ничего не говорю, а только про себя думаю.

Вот и другой вопрос, насчет отваги партизанской. Это, думаю, страданье народное, и боль детей и женщин, и пожары. Черт смотрит на мене, и в глазу его вижу уголочек совсем тоненький становится, как в ту секунду, когда станцию нужную поймал. «Говори, говори», — толкает он меня под бок.

А моя мысль работает уже над третьим вопросом, насчет того, что ищем мы, партизаны, и что считаем за счастье. «Чего мы ищем, ясно — свободы от фашистского угнетения, от оккупации, от всякого насилия над трудящимся народом. А когда этого добьемся, будем бороться дальше до полной победы коммунизма. Это и будет счастье трудового народа, а значит, и каждого из нас».

Смотрю, — в глазу моего черта уголок расширился до ста восьмидесяти градусов. Что означает: потерял он станцию и ничего больше не слышит, не понимает.

— Эх, — говорит он, — дал ты мне, Семен Михайлович, ответы на все три вопроса, только не знаю, как эти ответы буду докладывать нашему чертячему штабу.

— Не говорил я ничего, брешь ты!

Горько он так рассмеялся и копытом махнул.

— Не знаешь ты, Семен Михайлович, нашей техники. Мне голоса твоего не надо. Я все и так услышал. Только ответы твои совсем не секретные и ничем штабу нашему не помогут.

Я тут соображаю: «А и в самом деле, какие секреты я открыл! Нехай знает бесово отродье, что партизанская армия — непобедима!»

Черт продолжает:

— Хоть и не годны мне твои ответы и не порадуют они сатану, только ты задание выполнил честно и можешь требовать награды.

Ничего мне от тебя не надо, пошел к черту!

Хитрая такая улыбка вытянулась у него от уха до уха и зашептал он:

— Я тебе одну тихую награду дам. Никто и не узнает, а тебе та награда будет для души, как масло для машины... Слухай, Семен Михайлович. Дам я тебе такую награду: будут тебя отныне все только хвалить. И начальство, и товарищи. Никогда тебя никто ругать не станет, никто про тебя слова дурного не скажет, и будешь ты до самой своей смерти освобожден от критики и самокритики. Такая будет ровная и тепленькая жизнь, что все, на тебя глянув, станут радостно улыбаться...

Тут я задумался. «Плохо ли? И мне приятно, и другим не вред. Что ни сделаю — все хорошо. Трезв ли, пьян ля, поздно ли до дому пришел — жинка всегда с улыбкой встретит. Товарищи ласковы ко мне. Эх — хороша жизнь!». Только так подумал — черт, готово дело, смекнул: «Будь по-твоему!» — И вскочил, чтобы улететь.

Но тут, в самый последний момент, ухватил я его за копыто. Вцепился что есть силы и ору: «Отдай обратно мое желание. Ничего от тебя, вражья сила, не хочу!» Трясу его, трясу, аж рука заболела. А почему требую

обратно? А потому, дорогие товарищи, я спохватился, что страшно мне вдруг стало: как же я, если меня никто ругать, никто критиковать не будет, как же тогда узнаю, правильно сделал, угодно для народу или совсем напротив? Если меня только хвалить да гладить, — превращусь в куклу, которая хоть и улыбается постоянно, а ее кто хочет, тот туда и ставит и кладет. Хитрый тот был черт, хотел меня лишиться самой что ни на есть жизненной силы критики и самокритики. «Эй, — требую, — отдай мое желание! Отдай, гад, отдай, пока цел!» — и трясусь, трясусь чертово копыто.

Проснулся я от крика:

— Ты что, Семен, с ума спятил!

Открываю глаза, вижу — командир стоит.

— Ты чего, — говорит — палатку трясешь? На головы нам свалить хочешь?..

Я, оказывается, в стояк палатки вцепился и что есть силы трясусь. Ничего со сна не понимаю. Хотел, когда очухался, рассказать про командировочного черта — не решился: а вдруг командир скажет: «Что это у тебе, Семен, у коммуниста, сны таки дурны?!»

А он меня ругает, а он меня чистит:

— Ты что, пьян напился? Нашел место спать... Да ты знаешь, что это сено Адаму положено, он тебя уже целый час будит — не добудится!

И в самом деле стоит надо мной мерин Адам и ржет точь-в-точь, как тот черт.

Ругает меня командир, а мне — чисто он коржиками кормит. Радуюсь. Значит, отнял я у черта свое желание...

Вот вам и байка вся! Слышь, Григорий Васильевич! Я тебя не касался, верно? От то и хорошо. Кто ее, критику, любит? Да ведь вона не барышня, чтоб ее любить. Только, сказать по-серьезному, без ней и действительно жить нельзя.

На этом закончил Семен Михайлович и почему-то Даже нахмурился.

Все немного посмеялись, поглядывая на Балицкого. Он сдержанно улыбался. Потом шагнул было к костру, сделал даже глубокий вздох, будто желая что-то сказать, но махнул рукой и пошел прочь, в темноту.

От выступления Балицкого у меня остался неприятный осадок. Зовет он как будто к хорошему: воспекает презрение к смерти, беспредельную смелость. Но не слишком ли он полагается на удачу?

Тихоновский правильно подметил некоторую заносчивость Баляцкого, нелюбовь его к критике. В Григории, видимо, нарастало какое-то глухое недовольство командованием. Правда, оно пока выражалось только в стремлении уйти, стать самостоятельным...

Отпускать Балицкого мне очень не хотелось: все-таки самый опытный у нас и самый смелый подрывник и настоящий партизанский командир.

«Что ж, время покажет!» — подумал я...

* * *

Готовилось совещание присутствующих у нас членов подпольного ЦК КП(б)У совместно с командованием соединений.

Никогда еще не было такой концентрации партизанских сил. Вот далеко не полное перечисление партизанских соединений и отрядов, дислоцировавшихся в период совещания в этих местах.

Соединения: Ковпака, Федорова, Сабурова, Бегмы, Шушпанова, Малика. Самостоятельные отряды: Кожухаря, Мирковского. Кроме того, несколько местных, белорусских отрядов. Они хоть и не принимали участия в наших совещаниях, но, разумеется, случись большой бой, — действовали бы вместе с нами.

Не преувеличивая, могу сказать, что собралось партизан никак не менее двадцати двух тысяч. Немцам, если бы у них явилась мысль разгромить наши силы, пришлось бы собрать несколько дивизий. Впрочем, они много раз посылали и по три, и по пять дивизий для уничтожения партизан. Читатель знает, что из этого получалось.

По заданию Демьяна Сергеевича мы с Дружининым собирали и обобщали к совещанию материал о сельскохозяйственной «политике» немцев.

До форсирования Днепра, на территории своей Черниговской области, мы систематически собирали информацию о жизни крестьянства. Но в свои сводки, посылаемые Украинскому штабу, мы редко когда включали эту информацию — не хватало времени на обобщения. Один только вывод был для нас совершенно ясен — уже в конце 1942 года оккупанты потерпели на хозяйственном и прежде всего на сельскохозяйственном фронте полное поражение. Многие колхозы, как я уже писал, они сохранили, назвав их «общинами». Оккупационные власти рассчитывали, что с общин-колхозов будет проще взимать «подати», чем с мелких, разобщенных хозяйств, и это было единственной целью, которую они преследовали, сохраняя колхозы-общины. С помощью налогов, разного рода обложений и обязательных поставок они выгребали из общинных амбаров все, что туда попадало.

В несколько лучшее положение были поставлены свежее испеченные кулаки и украинские помещики. Это было дикое племя давно деклассированных, потерявших вкус к хозяйствованию, отвыкших от земли людей. Семена весной 1942 года они получили в долг из немецких складов, но где же взять батраков? Где взять лошадей или тракторы? Где взять плуги

и прочий сельхозинвентарь? Опять же за счет колхозов, и без того разоренных войной. А колхозам-общинам ландвиртшафтсфюреры прислали свои обязательные планы. Короче говоря, весенний сев провалился. Больше половины земли осталось необработанной. Так как и вспахана и засеяна земля была из рук вон плохо, ухода за посевами почти не было — урожай повсеместно собирали ничтожный.

Даже самые пытливые из немецких агрополитиков не имели ни малейшего представления о том, как организовано советское коллективное хозяйство. Они искренне думали, что это всего лишь механическое сложение многих мелких хозяйств. Оставив общины на месте колхозов, немцы сохранили только форму, скелет, лишив его плоти, крови, лишив идеи, цели...

Подпольщики Корюковского района в прошлом году сообщили обкому о весьма характерном случае.

Сельхозкомендант района собрал совещание приехавших из Германии специалистов сельского хозяйства, а также всякого рода заготовителей и офицеров, которым надлежало по роду службы общаться с крестьянством. На этом совещании доклад о «производственно-экономической структуре колхозов» делал агроном райзо Розенко.

Он стал рассказывать о том, что такое производственный план колхоза. Как его составляют. Какое участие в составлении плана принимает агроном, представитель МТС, представители земельных и других районных организаций. Как, наконец, этот план утверждается общим собранием. Докладчик рассказал о севооборотах, детально разработанных и продуманных в каждом колхозе с учетом всех природных данных района и потребностей государства. Дальше докладчик стал разъяснять участникам совещания, как представители власти руководители районных и областных организаций — систематически помогают каждому колхозу организовать производственный процесс и добиться выполнения плана. Он объяснил, что такое трудодень, как строится система прогрессивной, поощрительной оплаты труда. Сам того не желая, он вынужден был сказать о силе примера передовиков, о социалистическом соревновании, о значении общественного контроля...

Он говорил долго. Сперва некоторые из его слушателей делали заметки в блокнотах, другие перебивали его, задавали ему вопросы. Потом наступило общее молчание. Офицеры откровенно зевали, агрономы недоуменно переглядывались. Наконец председательствующий не выдержал.

— Послушайте, как вас там... — сказал он с холодной злостью. — Вы

что-то уж очень разболтались. Вам оказали честь, пригласили, чтобы вы сообщили господам основные организационные принципы коллективной системы... Да вы просто потешаетесь над нами, стараетесь запутать. Большинство сидящих здесь — люди, имеющие у себя на родине земельную собственность или же принимающие участие в управлении сложным помещичьим хозяйством... И вы хотите заставить нас поверить, что рядовой украинский крестьянин был сознательным участником всей этой системы планов, графиков, отчетов, контроля, взаимных вызовов на какое-то соревнование. Вы хотите нас, взрослых людей, уверить, что все это так невероятно сложно, недоступно... Вы или сумасшедший, или... Впрочем, мы потом разберемся. Идите, сейчас мы в вас больше не нуждаемся...

Дрожащими руками собрав свои заметки, Розенко двинулся к двери. Вдруг вскочил офицер СС, подошел к нему весь красный от бешенства и наотмашь стукнул резиновой дубинкой по лицу.

— Не здесь, не здесь! — воскликнул председатель.

Но эсэсовец, стукнув ногой упавшего Розенко, стал кричать:

— Вот так, вот так мы будем приучать к работе, вот это наша система прогрессивной оплаты, и попробуйте только не работать! — Открыв двери, он позвал солдат. — Вынесите господина докладчика!

Действительно так и только так немцы организовывали труд в общинах. Что ж, они получили в результате тысячи новых партизан. Но смешно думать, что, появившись даже добренькие, гуманные оккупанты, они могли бы организовать труд на общественной основе. Для этого они должны были бы отказаться от капиталистической системы. А это, разумеется, не входило в их намерения.

Нашему разведчику в стане врага, бывшему учителю немецкого языка Александру Ивановичу Ивину, один гитлеровский майор, в припадке откровенности, брызгая слюной, говорил:

— Нам нужна Индия! Нам нужны кули, рикши, на которых мы будем ездить. Рабы, понимаете, рабы! Гитлер кричит о мертвом пространстве, зоне пустыни. Нет, англичане лучше устроились. Они заставили народы работать на них. Наша задача состоит в том, чтобы сделать из России Индию. Индия — не мертвое пространство! Русских, украинцев и других, кто тут есть, сделать индусами. Мы все шли сюда, чтобы разбогатеть. Получить не только землю, но и рабов, даровую рабочую силу.

Одна наша новая партизанка Валя Петренко, работавшая раньше в учебно-производственном хозяйстве Сосницкого сельхозтехникума, которое стало при оккупантах помещьем некоего Эйльгарта, рассказала

нам, что во время сбора фруктов немцы надевали всем работницам намордники; сетки вроде тех, которые применяют фехтовальщики.

— Ни одной вот такой вишенки не дали съесть...

Наше соединение прошло по оккупированной территории тысячи километров. Наши разведчики, наши подпольщики охватывали пространство на десятки километров в стороны. Мы сами не видели, и никто ни разу нам не рассказывал о существовании хотя бы одного процветающего хозяйства. Да что процветающего, даже сколько-нибудь налаженного, систематически работающего хозяйства не видели мы на всем своем пути.

В последние два месяца мы действовали на территории Белоруссии. Постоянной связи с местными подпольщиками обком не поддерживал. Информация о жизни населения, естественно, теперь не могла быть такой полной, как в своей родной Черниговской области. Но, как всегда, работали наши разведчики — ходили и вперед, по намеченному штабом дальнейшему маршруту, и назад, по пути, который мы уже прошли, и в стороны. И суммируя все, что они рассказывали о жизни крестьянства, мы с Дружининым увидели, что этот год принес коренные изменения в сельскохозяйственной «политике» немцев. Какие? Это было не так-то просто определить. Вот некоторые данные, на основе которых следовало сделать заключение.

После разгрома немецких армий под Сталинградом немецкие помещики стали один за другим возвращаться в Германию. Они оставляли вместо себя управляющих. Но если управляющий был тоже немцем, то проходил месяц-полтора, исчезал и управляющий. И что особенно интересно — помещики, вернувшиеся в Германию из оккупированных районов Украины и Белоруссии, не пытались даже хотя бы при помощи почты руководить делами в «своих поместьях». Они плюнули на них, махнули рукой, поняв, что барыша из них не извлечешь; хорошо, что ноги удалось унести.

Ставка фашистских политиков на возрождение капиталистических порядков в оккупированных районах Советского Союза провалилась. Рабов из советских людей им сделать не удалось. Русские, украинские, белорусские крестьяне, те самые крестьяне, которые, по замыслу фашистских политиков, должны были выращивать под кнутом немецких надсмотрщиков хлеб для «высшей расы», организовались в партизанские отряды. Вот они вокруг нас. Только здесь, на Уборти, в наших отрядах, тысячи крестьян. А сколько их во всех партизанских отрядах! Сотни тысяч. И что самое замечательное — в партизанском движении принимает участие

наиболее активная, сознательная, квалифицированная сила крестьянства: председатели колхозов, трактористы, комбайнеры, бригадиры, звеньевые.

Дошло ли это до фашистских агрополитиков? Вряд ли. Но факты — упрямая вещь. А факты были таковы: ни от помещиков, ни от кулаков, ни от «общин» не получили они того потока сельскохозяйственных продуктов, который, по замыслу гитлеровцев, должен был прокормить всю Германию. А организаторы этого «потока» — всякие там гебитсландвирты, бургомистры, полицаи, старосты и прочая сволочь, — если только не были еще уничтожены партизанами, бежали, прятались, перекрашивались, оставляя на произвол судьбы и поместья, и «общины».

Отказавшись от попыток наладить сельскохозяйственное производство, оккупанты продолжали выкачивать продовольствие из сел. Разгромив гарнизон Скрыгалова, мы захватили в штабе весьма секретный документ: приказ ставки Гитлера о создании продовольственных крепостей.

В вводной части приказа говорилось, что затруднения, вызываемые диверсиями партизан на железных дорогах, привели к тому, что отступающие части не получают нужного количества продовольствия, что некоторые части дошли до состояния полного истощения и «в результате солдаты, унтер-офицерский состав, а в некоторых случаях и средний офицерский состав, забывая о своих прямых обязанностях, рассеивается по окрестным селам с целью добыть себе пропитание».

Приказ обязывал оккупационные власти немедленно создать в небольших городах и местечках хорошо защищенные базы — продовольственные крепости, в которых должен всегда сохраняться достаточный запас таких-то и таких-то продуктов (следовало перечисление) «на случай стратегического отступления и выпрямления линии фронта». Скрыгалов, который мы недавно разгромили, был как раз такой крепостью.

Никакой системы в заготовке продуктов у оккупантов уже не было, остался один способ — бандитские налеты.

Наши разведчики, ходившие в село Тонеж, рассказали о трагедии, которая произошла в этом селе. Отряд оккупантов-«заготовителей», оцепив село, согнал в церковь под предлогом паспортизации большинство взрослого населения. Многие женщины пришли туда с детьми. Собралось 270 человек. Тогда оккупанты заперли дверь церкви и стали расстреливать в упор из автоматов всех, кто там был. Только одна женщина случайно спаслась. Она была ранена, но ей удалось выползти из-под горы трупов. Четверо ее детей остались в церкви мертвыми.

В то время как одни «заготовители» расстреливали загнанных в церковь, другие гонялись по улице за оставшимися в селе жителями. Они убили на улицах еще сорок человек. Нагрузив на машины все продовольствие, найденное у крестьян, все сколько-нибудь ценные вещи, «заготовители» подожгли село.

Большинство окружающих сел было также разграблено и сожжено.

Вот, значит, какую «агрополитику» избрали теперь оккупанты! Политику ограбления и полного уничтожения. Политику создания мертвого пространства, зоны пустыни.

Мы доложили на совещании членов подпольного ЦК наши наблюдения и выводы.

На этом же заседании были определены задачи каждого соединения, каждого самостоятельного отряда на ближайшие месяцы.

* * *

С того времени как прилетел товарищ Коротченко, грузы в наш адрес стали приходиться ежедневно тоннами — оружие, боеприпасы, взрывчатка, мины мгновенного и замедленного действия, мины для подрыва эшелонов и для подрыва мостов, противотанковые, противопехотные и т. д. Аэродром Сабурова принимал в иной день по десяти тяжело груженных самолетов. А кроме того, многие самолеты сбрасывали груз на парашютах.

Наше соединение готовилось к выходу на место боевых действий — в район Ковеля. Грузы тщательно укладывались на подводы, надежно увязывались и маскировались сверху пышными ветвями кленов. Некоторые товарищи так наловчились маскировать возы зеленью, что сами партизаны иногда принимали в сумерках возы за кусты.

Из того, что нам было обещано, недоставало еще нескольких ротных и батальонных минометов, ящиков с автоматами и, что, пожалуй, самое главное, патронов для берданок, с которыми приходили к нам молодые партизаны, и для польских винтовок, которых тоже было у нас немало, и, видимо, будет еще больше — ведь мы направлялись в районы прежних польских владений.

И тут опять наши грузы стали исчезать: радисты Украинского штаба сообщают, что ящики с патронами выброшены такого-то числа, а мы их и не видели. Ну нет, больше терпеть это невозможно, — решили мы, и я, Дружинин, Рванов, Балицкий, Лысенко и еще несколько товарищей выехали в расположение отряда Сабурова в весьма воинственном настроении. Попадись нам навстречу кто-нибудь с сабуровского аэродрома, мог бы произойти крупный скандал.

На границе сабуровских владений мы увидели сближавшуюся с нами

конную группу. Впереди — генерал. «Не иначе Сабуров», — решил я и поскакал вперед, чтобы высказать ему прямо в глаза все, что накипело.

— Что это с вами, товарищ Федоров? — С такими словами встретил меня генерал. — Да не смотрите на меня так грозно. Давайте лучше поздороваемся, ведь уже несколько месяцев не виделись.

Это был начальник Украинского штаба партизанского движения генерал-майор Строкач — мое непосредственное начальство. Рядом с ним ехал его заместитель, полковник Старинов, и еще несколько военных, среди них капитан Егоров, назначенный к нам на должность моего заместителя по минно-подрывным делам.

Строкач только что прибыл с работниками своего штаба из Москвы, ехал к нам. Просто неудобно было с места в карьер жаловаться на пропажу грузов. Но Строкач увидел, что мы чем-то возбуждены.

— Выкладывайте, что у вас. Не встречать же вы нас выехали? Мы прибыли без предупреждения.

— Да нет, так, пустяки...

— Кажется, догадываюсь. Грузы? — Строкач рассмеялся. — Догадываюсь я потому, что нет соединения и отряда, в котором я не слышал бы подобных жалоб. Все друг друга обвиняют. Как бороться с перехватыванием грузов? Учредить инспекцию? Прислать следственную комиссию?.. Ваш брат, партизан, как попадет к нему ящик или мешок — сейчас же норовит его припрятать. И не то, что чужому соединению — соседней роте своего же соединения и то не отдаст. Каждому хочется, чтобы его рота, его отряд, его соединение было самым сильным, самым обеспеченным, боеспособным. Поменяйся вы местами, ну если бы аэродром был вашим, а сабуровцы бы ходили к вам за своими грузами, ручаетесь вы, что они все получают?

— А как же!

— Что ж, если у вас так хорошо поставлена воспитательная работа поздравляю! — улыбнувшись, сказал Строкач. — Вы поднимаете важный вопрос о честности. Боюсь только, что в этих условиях решить его так быстро не удастся. Ведь существует на протяжении многих лет такое учреждение, как Госарбитраж. Споры, и чаще всего как раз имущественные споры, то и дело возникают между заводами, фабриками, трестами. Происходит это от плохо понятого ведомственного патриотизма, от излишней ретивости отдельных работников... Вам бы, конечно, следовало, во избежание недоразумений, с самого начала построить собственный аэродром... — добавил он и, резко меняя тему разговора, спросил: — Когда думаете выходить на Ковель?

— Нас задерживает только то, что мы не получили несколько ящиков нужных грузов! — ответил Рванов.

— Вот как? И больше, значит, ничего?.. Значит, вы уже вполне овладели новой тактикой минно-подрывных действий? Вы уже ясно представляете, как распределите свои силы в районе ковельского железнодорожного узла?

С Тимофеем Амвросиевичем Строкачем я познакомился еще в довоенные времена, когда он работал заместителем Народного Комиссара внутренних дел Украины. Встречались мы несколько раз и во время войны в Москве. Простота и сердечность никогда не мешали ему быть требовательным, а в случае необходимости и холодно-строгим. Говоря сейчас с Рвановым, он обращался и ко мне, и к Дружинину. Напоминая о необходимости освоения новой техники, умелом использовании ее, он как бы подчеркивал, что никогда не следует путать главное с второстепенным. И в последующие несколько дней, которые он пробыл у нас, Строкач много раз возвращался к вопросу об освоении новой минно-подрывной техники. Признаться, только несколько месяцев спустя мы по-настоящему поняли, как это было важно.

А вот совету Строкача построить собственную посадочную площадку для самолетов мы последовали сразу. Теперь мы не зависели от Сабурова, и наши отношения с соседями сразу стали лучше.

— Вот что значит ликвидировать обезличку! — сказал мне при встрече генерал Строкач.

Некоторые летчики уже после того, как мы получили все, что нам полагалось, ошибочно выбросили на наш аэродром довольно много чужих, сабуровских и ковпаковских ящиков и мешков. Так как сбрасывали их чаще всего ночью, было трудно прочесть адрес. Или, того хуже, наши люди распаковывали ящик в темноте, а доски сжигали на костре. Виновных мы старались воспитывать. Говорили им, что они поступают нехорошо. Нашего начальника аэродрома мы стыдили особенно часто. Но поздно. Груз увязан, на подводе, замаскирован, попробуй его найти. Когда приезжали представители Сабурова, я с полной откровенностью говорил, что ничего не видел, не слышал, не знаю.

* * *

Что говорить! Конечно, каждый командир, как и каждый директор предприятия, руководитель учреждения, старается заполучить, пусть в ущерб другим, в первую очередь «для себя» и припасы, и транспортные средства, и оборудование, то бишь вооружение, и прежде всего людей — нужных ему работников высокой квалификации.

На партизанской нашей земле появился удивительный человек. Мне сперва даже показалось, что их несколько и что все они похожи, как близнецы. Все небольшого роста, все в фуражках флотского образца, все размахивают руками, кричат, что-то требуют и крутят ручки трескучих аппаратов. На самом деле это был один Михаил Глидер — кинооператор «Союзкинохроники». Он прилетел к Ковпаку, но сейчас бродил по всем соединениям и отрядам. Да и не бродил он, конечно, а носился с предельной скоростью, так что даже двоился и троился в глазах.

Полчаса назад он снимал совещание командиров, а сейчас уже сидит на дереве и, рискуя свалиться, целится объективом в стирающих белье девушек. (Для меня до сих пор остается тайной — почему, чтобы снять женщину у корыта, сапожников за их верстаками или марширующих партизан, надо повиснуть на ветке дерева, лечь на живот, забраться в яму. Во всяком случае именно эти сложные телодвижения кинооператора вызывали у всех чувство удивления, восторга, а у многих и преклонения перед его профессией.) Несомненно было, что Глидер любит свое дело, никогда не упустит сколько-нибудь интересного эпизода из жизни партизан.

Летит парашютист — Глидер тут как тут. Подрывники глушат рыбу на Уборти — из гуци кустарника торчит его объектив. Разведчики собираются в поход, Глидер просит: «Возьмите меня с собой». Это производило особенно сильное впечатление: значит, парень не трусливого десятка. Значит, зритель увидит и бой, и подорванный вражеский эшелон, и бомбежку партизанского лагеря.

Зритель увидит... В этом-то и состояло главное. Мы скоро уходим, расстанемся с Ковпаком. Значит, зритель увидит ковпаковских партизан, а наши действия не будут запечатлены! Зритель — это ведь наш советский народ. Миллионы наших братьев и сестер. Как хочется показать им смотрите, мы действуем. В своем глубоком тылу враг ни минуты не чувствует себя спокойным. Кроме того, ведь это история, живая история. Через год-два в спокойной, мирной обстановке мы сами увидим себя. Через десять лет дети, внуки увидят нас живыми, не подкрашенными гримом, не придуманными драматургом или романистом. Такими, какими мы были.

Однажды Глидер подошел ко мне.

— А ведь я вас давно знаю, товарищ Федоров.

— Ну а как же, конечно!..

— Помните, мы вместе в пятьдесят восьмой стрелковой дивизии в 1919 году выступали против Деникина. Вы тогда командовали под Николаевом пятьсот двадцатым полком.

Тут только, приглядевшись, я увидел, что Глидер не так уж молод. Он,

пожалуй, даже старше меня лет на пять. Профессиональная подвижность, живость речи, лихо задранная на затылок «капитанка» — вот что его молодило. Да, признаться, лица-то его раньше я не видел. Оно почти всегда было скрыто наполовину или полностью киноаппаратом.

— Вы в бою под Варваровкой, как сейчас вижу, — продолжал Глидер, выхватили саблю и на всем скаку ворвались в гущу бандитов!

— Помню, товарищ Глидер. Конечно, помню. Вы в это время...

— Я был у вас коноводом...

— Так это ты?!

— Конечно я, Миша...

— Мишенька, дорогой, как же я тебя сразу не узнал?

Мы обнялись будто старые друзья. Одного только я боялся: как бы новообретенный мой соратник по гражданской войне не стал касаться подробностей и спрашивать, сколько мне лет. Я в те дни, которые он вспоминал, работал санитаром в госпитале, о воинских подвигах не помышлял.

Но все обошлось хорошо. «Старый мой друг» Миша сам заговорил о том, что надо бы нам и теперь вместе воевать. А так как он не надеялся перетащить меня к Ковпаку, то речь зашла о том, как бы перетащить его от Ковпака.

Мы вместе, чуть ли не в обнимку, пошли к Строкачу. Миша рассказывал, как мы двадцать три года назад, бок о бок проливали кровь. Я поддакивал. Потом Глидер поведал трогательную историю нашей дружбы Демьяну Сергеевичу Коротченко.

В результате решение было принято: Михаил Глидер переведен из соединения Ковпака в соединение Федорова. А что касается дружбы, то ошибка Глидера, о которой я ему впоследствии сказал, не помешала. Мы дружим и до сих пор. Потому что Глидер оказался хорошим боевым товарищем и великолепным кинооператором. Он был с нами, работал не покладая рук до самого расформирования нашего соединения.

* * *

Итак, мы готовы к выходу в дальний, быть может последний, рейд.

Все необычайно празднично, торжественно. Отряды-батальоны выстраиваются в каре на большой лесной поляне.

— Смирно! — командует Рванов.

И репродукторы с ветвей деревьев повторяют, как эхо, его команду.

Рванов в полной армейской форме капитана, с погонями на плечах, идет навстречу начальнику штаба партизанского движения Украины. Рапортует:

— Товарищ генерал-майор, воинская часть номер ноль-ноль пятнадцать выстроена для выхода в рейд!..

Генерал-майор Строкач тоже в полной форме, он принимает рапорт, потом приветствует партизан, обходит их ряды вместе с Демьяном Сергеевичем Коротченко.

Скажи нам, ну хотя бы полгода назад, что в глубоком тылу врага, под небом, контролируемым его авиацией, на земле, которую он считает завоеванной, мы будем чувствовать себя так свободно, будем так хорошо организованы — пожалуй, и не поверили бы.

Демьян Сергеевич перед строем партизан выступил с напутственным словом. Потом генерал Строкач от имени Правительства СССР вручал партизанам ордена и медали.

Когда колонна двинулась по дороге, наш новый товарищ, Михаил Глидер, встал со своей трещеткой на небольшом холмике. Он грозил партизанам кулаком и кричал: «Не смотрите в объектив, вы мне портите пленку!» На привале Глидер ходил по ротам и всем говорил: «Если вы видите, что я кручу ручку аппарата, не смотрите в мою сторону, отворачивайтесь, занимайтесь своим делом!» Но хлопцы его не слушали, перебивали. Каждый старался узнать — попал ли он в будущую кинокартину.

— Я попал?

— А я?..

...12 июня во второй половине дня трехтысячная наша колонна вступила в село Тонеж и, равняясь направо, прошла мимо братской могилы, в которой похоронен прах расстрелянных и сожженных жителей этого села.

Могила была вырыта на месте сгоревшей деревянной церкви. На могиле водружен большой крест. Мы возложили на нее венки из полевых цветов.

Когда колонна проходила мимо могилы, возле нее в почетном карауле стояло командование нашего соединения, старшие из оставшихся в живых крестьян села и та единственная женщина, которой удалось спастись от расстрела в церкви.

Село осталось далеко позади, а партизаны все еще шагают молча — не слышно ни песен, ни разговоров.

Вскоре мы пересекли старую польскую границу. Пошли хутора один другого бедней.

Кругом прекрасный строевой лес, а хаты — из тонких, кривых бревен, все крыты соломой. Окошки маленькие. В некоторых вместо стекол натянуты воловьи пузыри. За полтора предвоенных года, освободив

украинские и белорусские районы от польского гнета, Советская власть начала переустройство крестьянской жизни: провела земельную реформу, стала организовывать бедноту и середняков для борьбы с кулачеством, начала ликвидацию почти стопроцентной неграмотности, внедрение культурного земледелия. Сразу же после захвата этой территории немцы уничтожили все завоевания трудового народа. Вот уже два года оккупанты беззащитно грабят население.

Одеты здесь очень бедно. Лапти, залатанные домотканые свитки, подпоясанные веревкой, а то и лозой. Питаются в селах тоже очень плохо, а многие так просто голодают. У детишек кожа бледная, хотя и бегают они весь день голенькие по солнцу. Некоторые опухли: голодная водянка. Нажмешь пальцем — и долго на коже остается ямка.

— Советы, — говорят крестьяне, — привозили гас (керосин), серники (спички). При панах цього не було. Советы коров бесплатно раздавали. А зараз ничего нема — усе нимцы позабиралы.

В хатах пахнет терунами — это оладьи из сырой картошки, которые жарят прямо на плите без масла.

В селах с населением в тысячу с лишним человек коров осталось два-три десятка. Да и те сохранились потому, что пасутся в лесу и там же ночуют. Домой их не приводят и зимой, устроили им шалаши в лесу. Поросят, кур, гусей тоже держат в лесу. Многие крестьяне и сами переселились из своих хат в лесные землянки.

С нашим появлением в этих местах разнесся слух, что прорвалась армия Буденного — вероятно, старики вспомнили прорыв Буденного 1920 года — и народ начал готовиться к встрече с нами, как к большому празднику.

В некоторых селах, опасаясь, что мы пройдем мимо, не остановимся, крестьяне загораживали улицу от плетня до плетня столами. На столы выставлялось все, что было: творог, молоко, яички, масло, картошка в разных видах, свежие огурчики, самогон.

Во время нашей стоянки в селе Бухча мы увидели возле одной хаты толпу старушек. Оказалось, что в этот день поп должен был служить обедню, старушки сошлись из соседних сел.

— А почему же обедни нет?

— Да вот партизаны пришли — батюшка обедню отменил. Говорит, что большевики против бога.

Пришлось разъяснить, что церковной службе партизаны не препятствуют. Узнав об этом, поп собрал верующих и, так как немцы церковь сожгли, отслужил обедню на поляне. В проповеди он призывал к

борьбе против немцев, к поддержке освободителей и защитников народа партизан. Он называл нас православным воинством. Две старушки подошли к нам и стали допытываться долго ли мы простоим в селе.

— А зачем вам знать? Такие сведения партизаны никому не дают.

— Ну до завтра-то хоть постоите?

— Постоим, постоим, бабуся!

На другой день эти две старушки и еще много других пришли к нам с большими корзинами, полными лесной земляники и черники.

— Угощайтесь, деточки. Вы наши защитники. Мы подарок хотели сделать, а больше нам дарить нечего...

...Проходили через хутор Вишневый. Восемь полуразрушенных хат. Две из них заколочены, окна выломаны вместе с рамами. Все население — несколько стариков и старух да стайка маленьких опухших от голода ребятишек.

— А где же, — спрашиваем, — молодежь?

— Кто спасся, — отвечают, — все в лесу. Весной приезжали солдаты на автобусах, молодых хлопцев та девчат будто курей ловили. Пятнадцать, шестнадцать лет девчине чи хлопцу — берут всех в ниметчину. Руки, ноги вяжут и, як мешки, в машины кидают...

Вдруг из одной хаты выбегает пожилая женщина, плачет, кричит:

— Рятуйте!

За ней выбегает старик, старается ее успокоить:

— Тихше, Семеновна. Це ж наши, це ж партизаны. Идемо до командиру, вин розберетя.

Из той же хаты выходят два наших хлопца. Они тоже шумят:

— Идемте, идемте к командиру. Посмотрим, что вы за птицы! Смотрите, что у них в хате на стене висит!

Хлопцы развешивают большой красочный плакат. На фоне цветущей сирени изображены два молодых украинца — парень и девушка. Они в новых костюмах, радостно улыбаются. А внизу призыв: «Молодежь Украины! В Германии тебя ждет работа на самых лучших заводах мира. Каждый, кто приезжает в Германию, получает хороший паек и одежду, прочную и красивую. Вы получите специальности механиков, слесарей, ткачих. Вы увидите европейские города, вам покажут кинокартины с участием знаменитых актеров. Вы будете жить в уютных, чистых комнатах...

Записывайтесь добровольно в трудовые бригады, отправляемые в Германию!»

Женщина яростно кидается на Мишу Нестеренко:

— Отдай картину! Товарищу командир — прикажите, чтобы вин отдал!

Со слезами на глазах говорит, что ее дочку угнали немцы, что муж в Красной Армии, а брата убили во время допроса в гестапо.

— Вот она — моя дочка! — тычет пальцем женщина в плакат.

Она долго объясняет, что у нее нет карточки дочери и этот плакат единственная память о ней.

— А вы читали этот призыв? Знаете, что тут написано?

— Да ни, — говорит старик. — Видкиля вона може знаты? У нас на хуторе одного даже грамотного нема.

Балицкий читает вслух подпись под плакатом. Женщина плачет.

— Моя Дуся не добровольно пошла. Ей солдаты руки повязали, товчками до машины гнали... Отдайте мени цю картынку, а надпись срежьте, соби визмите.

На шум собралось много крестьян. Пришлось всем разъяснять, что такие плакаты оккупанты выпускают для обмана народа.

— А не може пан командир почитать листа[16], який мени Дуся из ниметчини прислала? — спросила вдруг женщина, у которой наши хлопцы нашли плакат.

Она побежала в хату и принесла открытку с изображением ангела, благословляющего златокудрую девочку в длинной рубашке.

«Мамо, ридна! — писала Дуся. — Живу я в ниметчине, в городе, що Мюнхен прозывается, як в раю. Одета я зовсим як дивчинка на цьей открытке, тилько кружево и по спине, и по грудям. Це шоб жарко не було. А хлибом нас кормлять с такой биллой-биллой муки, якою у дяди Степана много».

Старик пояснил:

— Дядя Степан — це я. Опилоч у меня много, да стружек, плотник я.

«Сплю я на такой перинке, що у Василя с кольцом да с цепью була...»

— Василь — бык наш колхозный, — догадался старик.

Много таких иносказательных, замаскированных от немецкой цензуры писем приходилось нам читать в Селах на своем пути в район Ковеля.

...Ночью перешли реку Горынь по мосту своего партизанского производства. Сюда была выслана на сутки раньше группа наших саперов и подрывников во главе с новым заместителем командира соединения по диверсиям товарищем Егоровым. Эта группа навела за одни сутки такой мост, что по нему можно было пропустить даже тяжелые танки. Помогли жители села Велюнь — они Возили к реке сваленный немцами вдоль дороги лес. Оккупанты, чтобы затруднить партизанам подход к

железнодорожной линии, вырубали лес по обе стороны насыпи на 50–80 метров. Знали бы немцы, что срубленные ими деревья пригодятся партизанам! Кстати, гитлеровцы от нашего моста были всего в трех километрах — на станции Бяла. Там стоял большой гарнизон, но он не осмелился помещать нашей переправе.

...Подходя к хутору Дрынъ, мы слышали музыку: гармошка, кларнет и бубен. Это хуторяне справляли свадьбу. Но странное дело — на свадьбе одни старики.

— Где же молодые? — спрашивают партизаны.

Оказывается, кто-то принес слух о том, что Немцы приближаются к хутору, и молодые спрятались в лесу.

Узнав, что в хутор пришли партизаны, они вернулись из лесу: жениху лет девятнадцать и семнадцатилетняя невеста.

Наш начхоз выделил в подарок новобрачным несколько тарелок, вилки, ножи, две подушки, одеяло и в добавок к этому килограмма полтора соли, соль здесь большая ценность, — плитку шоколада из госпитального запаса и несколько литров спирта.

Поздравили молодых, понемножку выпили, началось веселье.

Но долго веселиться мы не могли. Через час двинулись дальше.

* * *

На пути в район Ковеля мы сменили несколько проводников. Одним из них был благообразный Старичок Фома Довжик. Старичок этот запомнился мне тем, что ходил он очень быстро и при этом совершенно бесшумно. Запомнились и его белая бородка, бесцветная домотканная рубашка, плетеный из лыка светлый пояс, светлые, чистые лапти и две пары запасных, висевшие на пояске. Лицо у него было румяное, глазки маленькие, веселые. Казалось, он все знает, все понимает. И когда слушает тебя, по-птичьи наклонив голову, ждешь — сейчас подмигнет и скажет: «Я, дорогой мой, все це давно пройшов!»

Случилось как-то, усомнился Фома, правильно ли ведет отряд, и мигом забрался на высоченную сосну. Было ветрено, верхушка сосны раскачивалась, а Фома держался одной рукой, другую прижал ребром ладони ко лбу, всматриваясь вдаль. Спустился он еще быстрее — будто съехал по стволу, отряхнулся и пошел своей мягкой походкой.

— Ну что сапог? — говаривал он. — Тяжко и ногу трет. А сколько на сапоги грошей надо. Я, колы молодым був, сам мечтал — обуюсь в сапоги. А як стал розум во мне появляться, понял — нема ничего в тех сапогах доброго. Лаптя да валеночки — от то обувка! Я б и солдат усих в лапти обул: легко и дешево! — потом добавлял громким шепотом, прикрывая

ладонью рот: — Правду сказаты — не було у мене никола грошей на чеботы...

— Где семья твоя, Фома? — спрашивали партизаны.

Он отвечал спокойно, с улыбкой:

— Маты вмерла, батьку в революцию гайдамаки вбыли. Потим польски паны прийшли. Я робыл, робыл, а грошей все нема, хатыны своей нема, подушки нема. Наволочку сшил, а пера за двадцать пять рокив на подушку не накопил. Яка девка на соломе спать со мной пойдет? Нема в мене семьи, бобылем живу. Так воно легше. Люблю легку жизнь!

— А хотелось тебе, Фома, жениться? Деточек своих иметь?

— Ну, а як же. Кому цьего дила не охота! Тилько заробыть на подушку да на хатыну не смог... Вот, когда тут в 1920 роци Буденный проходил, говорили его комиссары народу: «Ждите, скоро у вас радяньска влада буде то счастье для бидняка та наймыта». Вот и думал я — приде радяньска влада — женюсь!

— А ты слышал, Фома, что Красная Армия наступает, гонит немца вовсю, скоро будет здесь. Теперь-то уж она Советскую власть установит на веки вечные.

— Це дуже добре. От тогда мени, може, хатыну дадут. От тогда и женюсь!

— Ты ж старый уже, Фома.

— Ни. Я не старый. Я хоть белый, а крепкий. Я себя сберег!

Вот этот самый Фома Довжик как-то вечером на проверке подошел ко мне. Выражение лица у него было смущенным и встревоженным.

— Тут так дило, так дило... Мени нужно... — он осторожно огляделся: не подслушивает ли кто, потом махнул рукой, но и после этого не сразу начал. — Це в моей жизни первый раз. Никола я в жизни своей на людей не доносил ни панам, ни старосте, ни полицаям. А теперь думал, думал — «це ж, говорю собі, Фома, твое начальство, твоя влада». Так я собі уговариваю, а душа не позволяе...

Я понял, в чем дело и что смущает Фому, спросил его, о ком идет речь:

— Местный человек?

— Их двое, товарищ генерал.

Я подумал, что Фома заметил лазутчиков, которые сидят где-нибудь в кустах, ждут удобного случая, и рассердился на него за то, что он теряет время.

— То зовсим не местны люди, — зашептал Фома. — То ваши стары партизаны. И таки воны с виду гарни, та добры — никола б не казал, шо воны другого классу.

— Как, как?

— Кажу другого воны классу — куркули, чи паны.

— Фамилии их знаешь?

— Перший Гриша — молодой, высокий такой. Другий — Василь Петрович товстый. Земляки воны. Оба черниговские...

— Где они, в каком батальоне?

— Оба из батальону Лысенко. В одной со мною палатке. Тот высокий, Гриша, — минометчик, а товстый в хозчасти робит.

Я начал догадываться, о ком говорит Фома. Но, если это действительно те ребята, о которых я думал, — тени сомнения-не вызывали они у меня. Старые наши партизаны, оба награждены. Гриша был тяжело ранен, лечился в Москве, потом вернулся к нам, бригадир колхоза, Василий Петрович — кузнец из соседнего колхоза...

— Воны, — многозначительным полусшепотом продолжал Фома, снова с тревогой оглядываясь, — тилько кажутся крестьянской пращи люди и так просты: «Фома друг, Фома хороший человек, сидай, Фома, с нами вечерить. А вчера в ночи...

Фома говорил длинно, подыскивал выражения, запинался. Некоторые слова ему было трудно произносить. Не стану приводить его рассказ целиком. Существо же заключалось вот в чем.

Прошлой ночью, после большого перехода, впервые расставили мы палатки и легли спать по-человечески. Василий Петрович, о котором говорил Фома, человек обстоятельный, натянул палатку из парашюта, раздобыл сена, позвал своего дружка Гришу и, так как в палатке оставалось еще место, пригласил и Фому.

Повечеряли, легли, поговорили о том о сем. Фома заснул. Но через час проснулся. Слышит — ребята все разговаривают. Хотел вступить в разговор, но, услышав несколько слов, решил лучше помолчать, притвориться спящим.

— Лежу, слушаю и прямо зло бере: ах бисово отродье, куркули проклятые, пробрались до радяньских партизан...

Я вызвал двух названных Фомой товарищей. Они уже позабыли свой ночной разговор — так мало значения ему придавали. Но слово за словом вспомнили. И Фома подтвердил.

— Так воно и було.

Перебирали они довоенную свою жизнь. В тот момент, когда Фома проснулся, Василий Петрович говорил:

— Полетела наша жизнь и вернется ли когда такая? А хорошо жили, дуже гарно! Вспомни-ка, Гриша...

— Вы, Василий Петрович, крепче жили, но и нам, конечно, грех жаловаться...

Так начался этот разговор. Что могло в нем вызвать подозрение?

Василий Петрович вспомнил, как его сын Мишка извозил на мотоцикле два костюма, Гриша посетовал на то, что перед войной купил фотоаппарат, а проявлять снимки не успел научиться, и новую железную крышу не успел покрасить, пожаловался на свою жинку — ругала его, что он много денег тратит на книги, а сама сколько извела их на крепдешин, чулочки, туфельки...

Вот этот обыденный разговор двух колхозников и привел ко мне Фому. Его подозрение было вызвано такими словами, как «мотоцикл», «крепдешин», «костюмы», «фотоаппарат» и особенно «железная крыша» и «книги».

Вечером уже, собравшись все вместе, долго мы втолковывали Фоме, что книги есть у нас в каждом, даже самом бедном крестьянском доме. Он был убежден, что книги, так же как железная крыша, могут быть только у панов.

* * *

...21 июня во время нашей стоянки в лесу у Гуты Степан-Гоудской к нам пришли крестьяне из соседних сел и пожаловались на жестокость немецкого гарнизона во Владимирце. Это местечко находилось в двадцати пяти километрах от нас. Наши разведчики уже успели побывать там, и поэтому мы тут же приняли решение: «Уважить просьбу населения, отметить двухлетие войны, развязанной немецкими фашистами против Советского Союза, разгромом гарнизона Владимирца».

Проведение операции поручили батальону Балицкого.

Гарнизон оккупантов был разгромлен, каратели, глумившиеся над населением, уничтожены, в окладах местечка партизаны взяли богатые трофеи. В общем можно было бы сказать, что операция проведена хорошо, если бы она не закончилась излишне весело. При отходе из местечка Балицкий не построил партизан. Все шли и ехали вразброд, кто пел, кто плясал. Один молодой партизан нацепил на себя дамское платье, надел шляпу и в таком виде проехал верхом по главной улице.

Есть такое выражение, оставшееся еще с времен гражданской войны: «партизаны гуляют». И у нас бытовала песенка, в которой были такие строки: «Зимней ночью, в мороз и в мглу, гуляет Орленко в немецком тылу...» Пришлось кое-кому из наших товарищей разъяснить, что в данном случае слово «гулять» надо понимать не так, как они понимают его, напомнить им о дисциплине.

* * *

...Мы подходили к конечному пункту нашего движения — маленькому, затерянному в лесах селу Лобному. Неподалеку от него, у села Езерцы, наши разведчики наткнулись в лесу на заставу местного отряда. Их схватили.

— Кто такие?

— Партизаны федоровского соединения.

— Ешьте землю!

Наши разведчики были черниговцами, здешних партизанских обычаев не знали. Они переглянулись и рассмеялись. Это чуть не стоило им жизни. Оказывается, «ешьте землю!» означало «поклонитесь». Для того, чтобы поверили, — надо было взять немного земли, пожевать ее и проглотить...

Отряд, который мы встретили у Езерцов, входил в бригаду Брынского наиболее крупное партизанское соединение этих мест. Все командиры тут назывались «дядями». Я не сдержал улыбки, когда ко мне подошел командир и, протягивая руку, назвал себя:

— Дядя Саша, заместитель дяди Пети!

«Дяде Саше» было никак не больше двадцати пяти лет. Он долго не хотел сказать свою фамилию.

— Мы не можем раскрыть нашу конспирацию, — говорил он.

Только после того как я объехал с ним наши отряды, показал ему, сколько у нас народу, сколько пушек, минометов, пулеметов и автоматов, «дядя Саша» осмелился объявить свое звание, имя и фамилию — «капитан Александр Первышко!»

Наша численность и наше оружие произвели на него сильное впечатление. Однако, когда мы сказали, в каком направлении собираемся двигаться, «дядя Саша» руками замахал.

— Что вы, товарищи, там ужасная концентрация противника! О железной дороге и не думайте, охрана дает огонь ужасной плотности!

Немало удивлен он был также, узнав, что с нашим соединением следует Волынский подпольный обком партии, что обком намерен спросить у коммунистов его отряда отчет о их действиях.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ПАРТИЗАНСКИЙ КРАЙ

В дни, когда командование немецких армий готовило удар в районе Орловско-Курской дуги, когда там сосредоточивались десятки дивизий, тысячи танков и самолетов и мощная артиллерия, в эти самые дни за несколько сот километров от места предстоящего грандиозного сражения остановились в лесу три тысячи вооруженных людей.

Щебетали птицы, бегали косули, зайцы, лисы, волки. Тут, в этих местах, и воевать, казалось, не за что. Несколько бедных хуторков, деревенок, стоящих друг от друга на десятки километров, разбросанные по лесу клочки пахотной земли. Есть, правда, неподалеку и города — Любишов, Любомль, Камень-Каширск, но что это за города! И шоссейной-то дороги приличной к ним нет, а железная — дальше, чем в пятидесяти километрах.

Нет тут и больших оккупационных сил. В поместья-фольварки вернулись польские хозяева. Они бунтовать не станут. Аккуратно сдают все, чего требуют от них немецкие приказы. Правда, в лесах бродят партизаны. Но вооружены они неважно, ведут себя довольно тихо, у городов и железных дорог почти не показываются. Состоят эти партизанские группы в большинстве из беглых пленных.

Но вот прибыло и расположилось в этом лесу большое партизанское соединение. Может быть, это вовсе и не партизаны, а переодевшиеся советские десантники? Может, прорвалась дивизия Красной Армии? Оккупационные власти Ковельского округа во главе со своим гаулейтером были, конечно, весьма обеспокоены. Уж не на Ковель ли движутся эти силы? Остановились, ждут, пока подтянутся другие подразделения, а завтра послезавтра ударят по городу...

Мы не сомневались в том, что немцы знали о нашем движении сюда, что их разведка следила за каждым нашим шагом. Да мы и не скрывались. Шли днем, громили по пути мелкие гарнизоны противника. Иное дело — цель нашего движения. Об этом немцы не должны были знать и не знали. И уже, конечно, они не могли предполагать, что конечным пунктом движения мы избрали маленькое село вдаль от железной дороги, такое бедное, малолюдное, что даже их заготовительным отрядам тут нечего было брать. А именно тут, в селе Лобном и на прилегающих к нему лесных полянках, 30 июня 1943 года возник новый центр Волынской области.

Тут, глубоко в лесу, возвели мы свой город палаток и землянок. Отсюда мы должны были направлять работу всех коммунистов, комсомольцев, всех жителей области, желающих принять активное участие в борьбе против фашистских захватчиков.

Почему мы избрали Лобное? Почему обосновались вдаль от сколько-нибудь значительных городов и даже вдаль от железной дороги? Ведь задача, поставленная перед нами, заключалась прежде всего в том, чтобы парализовать Ковельский железнодорожный узел. Возле Ковеля тоже густые леса. Чего ж, казалось бы, лучше — в них и расположиться!

Год назад мы, наверное, так бы и сделали. Но меняются времена,

меняется тактика. До сих пор мы были рейдовым соединением, не имели постоянного пункта дислокации. Били и уходили, скрывались до следующего удара. Этот, следующий удар, мог быть нанесен нами за десятки, а то и за сотни километров от предыдущего. Теперь — иное дело. Штаб партизанского движения приказал нам оседлать Ковельский узел, стать на нем хозяевами. Что ж это за хозяин, если после каждого удара он будет уходить! Нет, старая тактика в новых условиях была уже неприменима.

Лобное должно было стать местом нашего долговременного пребывания. Вернее, не само село Лобное, а окружающий его район — междуречье Стохода и Стыри. Эти реки станут отныне оборонительными линиями нашего партизанского края. У Лобного будет стоять штаб и батальон охраны, а другие батальоны-отряды разойдутся, подобно тому, как это было у Сабурова, на большие расстояния...

Сабуровская тактика, при которой батальоны-отряды располагались на расстоянии 70 — 100 километров от штаба соединения, подсказала нам нашу новую тактику. Но задача у нас была иной... И причины, побудившие нас разослать свои батальоны, тоже были иными.

Еще в Боровом, после совещания с товарищем Коротченко, Строкачем, Стариновым, мы поняли, что тактика наскоков не даст должного эффекта. Стали думать, но в рейд вышли, еще не определив окончательно, как будем действовать. И в пути продолжали думать, совещаться. Много проектов было отклонено. Однажды Дружинин и Рванов пришли ко мне с картой.

— Вот, Алексей Федорович, треугольником мы обозначили место расположения штаба, а кружками те пункты, где надо постоянно находиться нашим батальонам с подразделениями подрывников. Каждому батальону, под полную его ответственность — одну железнодорожную линию.

— А как же поддерживать связь?

— По радио. Маслаков берется обеспечить постоянную двухстороннюю связь. Радиотелефон... При такой тактике, — горячо говорил Дружинин, — все разветвления куста будут под нашим контролем. Ковель, вот он в центре, окажется отрезанным от мира...

— А если большой бой? Если противник соберет большие силы?

— Предусмотрено! Силы-то ведь надо подвозить. А при этом расположении батальонов шоссейные дороги, так же как и железные, под нашим постоянным наблюдением. Раньше, чем немцы подтянут большие резервы, мы будем уже все знать и успеем собраться!

По плану Дружинина — Рванова каждый батальон получал под свое

наблюдение участков дороги протяжением в 150–200 километров. Группы подрывников будут выходить всякий раз на новое место в пределах своего участка и ставить мины замедленного действия.

— Кроме того, каждый батальон, — продолжал Дружинин, — будет центром организации разведки, политической работы среди населения. Парторганизациям батальонов мы поручим создание подпольных райкомов партии и комсомола, ячеек, групп сопротивления. Они установят связь с местными отрядами... На Черниговщине мы были дома, знали все районы, заранее заслали туда людей. Здесь надо заново знакомиться, организовывать, изучать...

Предложение было заманчивым. А подумав, я понял, что лучшего способа держать под постоянным партизанским контролем все линии ковельского железнодорожного узла не найдешь.

Все стало ясно — штаб, если он хочет оперативно руководить операцией, рассчитанной на месяцы, нужно поместить в отдалении от железной дороги, организовать при нем госпиталь, аэродром, редакцию и типографию газеты, радиостанцию, постоянно действующую школу подрывников. Здесь будут сосредоточены склад боеприпасов, арсенал соединения...

...И вот мы прибыли к месту назначения. Прибыли теплой лунной ночью. Штабные повозки остановились на широкой, некошеной поляне. Помню, слез я со своего. Адама — густая, сочная трава по колено, поблизости нет ни одной тропки, только впереди промятый нашим авангардом темный след. Но только остановились — забурлило, зашумело все вокруг. И уж через полчаса наша штабная поляна была вытоптана сотнями ног. Выросли палатки из парашютов, застучали топоры, загремели ведра, потянуло дымом костров. Хвост колонны еще не подтянулся, а в штабной палатке плотники уже сколотили большой стол, расставили скамейки. И уже развернул на столе свою огромную карту Рванов, и уже спорили Балицкий с Лысенко — чей отряд имеет больше прав расположиться у речушки...

Все, и командир и рядовые партизаны, уже знали, что рейд кончился, что мы прибыли на место. А раз так — старые партизаны торопились подыскать для своей роты, для своего взвода местечко посуше, но поближе к воде; повыше, но чтобы авиация не проглядывала; поровнее, но чтобы шалаш или палатка не были на ветру...

И вдруг Рванов объявил приказ: «Располагаться по-походному. Землянок не рыть, палатки ставить только для раненых и больных... Через час чтобы все спали!»

Замечательная эта способность спать по приказу. Ясно, конечно, что спят не все, а те, кому положено, кто не дежурит, не пошел в разведку, не имеет срочного задания. Но уж те, кому можно спать, получив такой приказ, выполняют его тотчас, — разговоры будут прерваны на полуслове, даже ужин оставлен недоеденным.

К часу ночи наши отряды уже спали, а в штабной палатке собрался, впервые на своей территории, Волынский подпольный обком партии.

На заседание были приглашены командиры и комиссары отрядов.

Раньше чем объявить приказ, мы решили поговорить о новой тактике на обкоме. Поговорить и о новых задачах обкома.

Рванов сообщил о решении командования. Изложил соображения, заставившие нас изменить тактику. Предложил задавать вопросы.

Для большинства командиров сообщение начальника штаба было неожиданным. Но разумность новой тактики была настолько очевидна, что не вызвала серьезных возражений. Командиры батальонов поняли, конечно, что, получая большую самостоятельность, они берут на себя и большую ответственность.

К чести наших командиров — ответственности они не убоились. Правда, командир роты Илья Авксентьев довольно резко высказал свои опасения:

— А не ошибка ли, товарищи? Помните, как боролись за объединение, за большой отряд? А нынче опять расчленяться, дробить силы и тем более в малоизвестной нам области. Где контакт? Говорят, что радио. Если нагоняй от начальства — я его по радио выслушаю и ухом не поведу. И так любой. А обмен опытом? Но главное — у нас большой, сильный коллектив. Гордиться можно. А что будет? Не разбредемся ли, не растеряемся?..

Скрынник, большой друг и единомышленник Бессараба, пустился в другую крайность. Будь у него только возможность, дал бы, наверное, телеграмму Степану Феофановичу: «Наши идеи торжествуют, ура!»

— Я приветствую и поддерживаю! — восторженно говорил Скрынник. Давно пора. Кроме того, я так считаю: батальоны подобрать следует по районам, где создавались отряды: корюковский батальон, рейментаровский батальон, холменский батальон. Если будет кулак своих, давно известных людей — никогда не пропадем! Но только если не принимать никого со стороны.

Он договорился до того, что предложил ликвидировать штаб и самое соединение и обком партии. Пусть мол батальоны действуют непосредственно по указанию Москвы.

Пришлось объяснить как Авксентьеву, так и Скрыннику, что никто

соединения, общей организации и обкома партии и штаба упразднить не собирается. И руководство, разумеется, будет осуществляться не только при помощи радио. И командир соединения, и комиссар, и начальник штаба будут систематически посещать батальоны. Отсюда, из общего центра, будет планироваться вся работа.

Обком признал новую тактику правильной. Пришлось поспорить с некоторыми товарищами и при обсуждении вопроса о работе обкома в новых условиях — станет ли он подпольным комитетом партии Волынской области или будет лишь носить это наименование, а выполнять функции партийного бюро воинской части № 0015?

Мой новый заместитель по подрывным действиям, капитан Егоров, если судить по тому, что он говорил на заседании обкома, полагал, что мы направлены сюда исключительно с одной целью — закрыть движение на железных дорогах. Иначе говоря: подрывники ставят мины, рвут железнодорожное полотно, сбрасывают под откос эшелоны, а все остальные — это подсобные силы. Они, эти остальные, должны охранять подрывников, снабжать их взрывчаткой, минами, оружием, продовольствием, одеждой, готовить им резервы, развлекать в часы отдыха, а старшие товарищи — воспитывать.

Я спросил Егорова — не думает ли он, что мы предприятие по производству взрывов на железных дорогах? И не кажется ли ему, что на этом «предприятии» слишком много подсобников, людей, которые только удорожают производство, так как не всегда способствуют производственному процессу?

— Вы гиперболизируете, товарищ Федоров, — ответил Егоров.

— Да, преувеличиваю. Преувеличение часто помогает увидеть ошибку, осознать ее, справиться с ней.

Военная задача важна, очень важна, и на данном этапе это, несомненно, было главной задачей из всех, поставленных перед нами. Но мы бы не решили эту задачу, если бы рассматривали ее узко, делячески. Оттого, что мы ушли с территории, на которой возникло наше соединение, и даже оттого, что официально оно именовалось теперь воинской частью, партизанским оно быть не перестало. А партизаны, которые теряют связь с народом, не опираются на его сочувствие и помощь, не черпают из народа резервов, такие партизаны успеха иметь не будут.

Взял слово Дружинин. Он сказал:

— Придя сюда, обком партии принял на себя ответственность за область. Мы отвечаем перед партией, перед всем советским народом за организацию всех патриотических сил области. Создать всюду, где будут

наши люди, подпольные райкомы партии и комсомола, низовые сельские и городские организации, вызвать к жизни группы сопротивления в каждом селе поблизости от района наших действий, иметь свой актив, иметь явочные квартиры, связных — вот что значит подпольная работа. И вести ее будут все коммунисты и комсомольцы независимо от партизанской специальности: разведчики и санитары, пулеметчики и бронбойщики. И пусть не думают подрывники, что обком освободит их от работы с народом, от агитация, пропаганды, от организации подполья.

Маслаков, начальник связи соединения, внес предложение радиофицировать ближайшие к нам населенные пункты.

— Как это можно осуществить? Мы своими силами соберем несколько простейших приемников. Радиоцентр соединения в определенные часы и не реже двух раз в сутки будет передавать сводки Совинформбюро. Наши люди в селах их будут слушать, записывать и распространять среди народа. К центральным сводкам не мешало бы прибавить и областные сводки, в которых рассказывать населению о делах отрядов, о боях, об успехах наших подрывников, а также и о деятельности местных подпольных организаций.

Потом мы занялись практическими делами, такими, например, как сочинения паролей и отзывов для явочных квартир и лесных явок.

Казалось бы, дело простое. Но мы уже знали по своему опыту, как легкомысленно относятся иногда к этому наши товарищи. В одной подпольной организации сочинили пароль: «Куда держите путь?», на который должен был последовать отзыв: «Из праха былого в прекрасное будущее». Такой разговор заставил бы насторожиться каждого, кто услышал бы его со стороны.

Пароль должен легко запоминаться, быть прост, не привлекать внимание любопытных. Но этого, конечно, еще мало. Вот, например, пароль и отзыв, которые запомнить нетрудно: «Вы проживали в Ковеле?» «Нет, в Ковеле я не жил!» Так ответит любой, вовсе и не член организации, если он не жил в Ковеле.

За сочинением паролей и отзывов нас застало утро. Уже солнечные лучи пробивались сквозь листву деревьев, уже щебетали птицы, просыпался лагерь, когда дежурный по соединению шепнул мне на ухо:

— Товарищ генерал, тут один батрак из фольварка. Пришел с поручением, хочет говорить только с самим командиром.

— Вы его проверили? — спросил я.

— С этой стороны порядок. Он невооруженный и вид у него безвредный. В общем внушает доверие.

— А что же он вам-то не доверяет? Или вы ему не внушаете доверия?
Дежурный усмехнулся, пожал плечами.

— Ну и личность, товарищ генерал! Интересуетесь посмотреть?

Личность оказалась действительно любопытной — немолодой человек в довольно странном одеянии: городской сильно потрепанный и кое-где залатанный костюм, лапти, замазанные для чего-то ваксой.

Сняв фуражку, он приближался к нам робкими шаркающими шажками, будто боялся, что его сейчас прибьют.

Я протянул ему руку. Он быстро изогнулся и чмокнул ее. Это было так неожиданно и так неприятно, что меня всего передернуло.

Поняв, что совершил оплошность, он покраснел.

— Проше пана...

— Что вы дрожите? Не понимаю, как это вы решились идти к нам сюда.

— Пан генерал сердится?

— Да не сержусь я, говорите, что вы хотите. Откуда вы?

— Я из фольварка пана Свитницкого. Пятнадцать километров отсюда.

— А вы кем у него?

— Я пролетарий, пан генерал, угнетенный...

— Из-за угла мешком пришибленный, — заметил командир роты Карпуша под хохот товарищей.

— ...Которому нечего терять, кроме своих цепей, — с полной серьезностью продолжал посланец пана Свитницкого.

— Ну что вы ломаетесь?.. Зачем вы привели его? — спросил я не без раздражения у дежурного.

— Пан Свитницкий и мы, все его работники и служащие, обращаемся к вам с просьбой... Дело в том, что мы в фольварке доведены голодом до полного отчаяния. И пан Свитницкий, хозяин имения, тоже. У нас есть и свиньи тридцать четыре головы, и коровы — девятнадцать голов, и куры восемьдесят три штуки, и...

— Так почему же голодает пан Свитницкий?

— Он такой неприспособленный, он не умеет воровать.

— Так чье же имение-то?

— Пана Свитницкого... Но вы понимаете — представителя гебитскомиссариата инвентаризировали все до последнего куренка, все записано, заприходовано. Мы не имеем права, и пан Свитницкий тоже, взять что бы то ни было. На каждой свинье, лошади, корове тавро, на каждой курице и утке металлический номерок. Если не досчитаются — сейчас же в гестапо... Пан прислал меня, может быть, вы согласитесь

совершить на наше имение небольшой налет? Свиньи у нас хорошо откормленные и коровы тоже, и есть бычки, телята... О, совсем небольшой налет с выстрелами в воздух... Мы все вам отдадим, а вы дадите нам немного для наших детей. И пану Свитницкому тоже...

Было решено оставить этого странного человека в лагере на денек, а завтра, если ничего подозрительного не обнаружится, послать с ним в фольварк группу партизан. Я подмигнул дежурному, и он, конечно, понял, что надо нашему гостю развязать язык.

— Покормите этого пролетария! — приказал я. — Потом разберемся.

Панский посланец, рассыпаясь в благодарностях, призывал в свидетели и «матку боску», и «Иизуса», называл меня «светлейшим паном».

— Проше пана, проше пана! — повторял он, пятась от меня и непрерывно кланяясь.

Как я узнал потом из рассказов товарищей, выпив перед едой стакан самогона, он мгновенно захмелел и пустился в разглагольствования. Оказалось, что он русский, зовут его Афанасием Петровичем, лет ему пятьдесят пять, служит у панов Свитницких уже тридцатый год в лакеях. Сам он из-под Житомира, где у Свитницкого было до революции имение.

Выпив еще, Афанасий Петрович расплакался и стал жаловаться на свою лакейскую судьбу: «Скоро всюду будут Советы. Панов побьют, а куда, матка боска, денемся мы, лакеи? Нас очень много, миллионы. В Англии, клянусь Иизусом, лакеев больше, чем крестьян. И мы ничего больше не умеем делать только приносить, уносить, стоять с салфеткой и молчать, когда нас ругают и даже когда бьют...»

Не вызвав сочувствия партизан, он умолк и вскоре уснул.

На следующее утро группа автоматчиков во главе с заместителем начальника нашей разведки Ильей Самарченко пошла с Афанасием Петровичем на фольварк пана Свитницкого. Сам пан и члены его семьи на время партизанского налета предусмотрительно скрылись. А батраки встретили партизан радушно. Выгнали из хлева несколько штук свиней, привели шесть коров, трех лошадей.

— Вы же говорили, — обратился Самарченко к Афанасию Петровичу, — что у вас скота гораздо больше...

Он только пожал плечами. И все просил:

— Стреляйте, стреляйте, проше пана, стреляйте в воздух! — и умолял партизан, чтобы они подожгли хотя бы хлев. — А то немцы не поверят...

Самарченко поджигать отказался. Когда наши автоматчики отошли в лес метров на пятьдесят, ветер принес запах дыма: дворовые Свитницкого

сами подожгли хлев.

* * *

Днем было жарко, тихо, спокойно. Партизаны строили землянки, косили на лесных лужайках траву и делали все это не торопясь. Чувствовалось, что такая работа для всех — праздник, удовольствие. Даже те, кто вскоре должны были уходить отсюда, пилили деревья, обрубали сучья, таскали бревна для помещений штаба и госпиталя. Им был разрешен отдых, и вот они отдыхали в свое удовольствие. Для партизана и солдата — строительный труд большая радость и действительно отдых.

Щебет птиц, ветерок, шевелящий листву, тихие песни работавших на кухнях женщин — все создавало иллюзию мира. Помню, встретила меня босая женщина в шелковом цветастом платье и с двумя ведрами воды на коромысле. Я даже остановился от неожиданности — откуда такая? Оказалось, что это Маруся Товстенко.

— А ты где ж такое платье взяла? — спросил я.

— Разве плохо? — засмеявшись, сказала она.

— Да нет, совсем не плохо. Непривычно... Легко, наверное, приятно, правда?

— Очень приятно... Я это платье перед самой войной сшила. В Чернигове только раз и надела. С собой взяла и, верите, влезла в него впервые за два года... Хорошо! — воскликнула она и засияла улыбкой.

Ни одного выстрела не слышал я весь этот день. И людей встречал все больше с топором, с пилой, с ведром воды, с гармошкой. Можно было подумать, что не партизаны пришли в лес, а переселенцы.

Вечером в мою палатку принесли свежее, только что просохшее сено. Большой батарейный фонарь, должно быть железнодорожный, лежал в углу. Свет его отражался от белоснежного парашютного шелка палатки. Над входом в нее висели еловые ветви. Я лег, распустил ремень, расстегнул ворот гимнастерки и даже стало совестно — так было мне хорошо и удобно.

Я лежал, думал. Было уже часов двенадцать. Вдруг услышал рокот моторов, рука потянулась к фонарю, чтобы потушить его. Но тут же вспомнил, что это наши самолеты: нас по радио предупредили, что сегодня прилетят. «Ах, жаль, — подумал я, — что не построили еще аэродрома». Вскочил и, застегиваясь на ходу, пошел к кострам. Они разложены были километра за два от нашего лагеря. Партизаны бежали к ним со всех сторон, радостно перекликались. Когда я подошел к кострам, над ними уже висели парашюты с мешками.

Через час я опять лежал в своей палатке: придвинул фонарь и держал

перед собой толстый конверт, на котором адрес написан был рукой моей старшей семнадцатилетней дочери Нины. Долго не разрывал я конверта, разглядывал его со всех сторон, смотрел на почтовые печати, на надпись «воинское», которая заменяла марку. На печати я прочел «Орск» и дату. Письмо ко мне из далекого приуральского города шло всего пять дней.

Долго вертел я в руке конверт — смаковал удовольствие. Потом нащупал в сене тоненький и твердый, хорошо просохший стебелек, проткнул им конверт и стал осторожно его разрезать. Выпала плохонькая, любительская фотография младшей моей дочки — пятилетней Ирины. Вместе с фотографией выпала сложенная отдельно бумажка. Я развернул ее, увидел крупные, в четверть страницы, каракули: «Папа стреляет фашистов». Ниже была приклеена картинка, изображавшая прицеливавшегося в кого-то охотника, с другой стороны страницы была приклеена газетная карикатура на Гитлера — вот в кого охотник целится!

Старшая, Нина, писала, что продолжает работать на военном заводе. О жизни своей мало рассказывала. Больше упрекала меня за то, что я обманул ее. Еще в Москве, осенью прошлого года, просилась она со мной: хотела стать партизанкой. Я сказал тогда шутя, что по возвращении в отряд пришлю ей вызов. А она, оказывается, приняла мои слова всерьез — все это время регулярно ходила в заводский тир, упражнялась в стрельбе из боевой винтовки.

Средняя дочь моя, Майя, сообщала, что экзамены сдала на четверки и пятерки, перешла в шестой класс. «Прости, папочка, пишу коротко, потому что завтра утром уезжаю в пионерский лагерь. Наш лагерь будет в лесу, и мы уже сговорились, что обязательно будем играть в партизаны. Все мои подружки знают, что ты Герой Советского Союза. У нас есть мальчик Вася коренастый и сильный. Я ему приклеила усы из пакли. Он будет у нас изображать Федорова...»

Жена рассказывала о буднях семьи. Деньги по аттестату она получает теперь регулярно, прикрепил ее к хорошему распределителю. И вообще продуктов теперь стали давать больше, карточки отовариваются полностью не то, что в прошлом году. Рассказывала о детях: чем болели зимой и как себя вели. Писала немного и о тоске по родным местам. Немного потому, что была уверена — скоро вернутся в Чернигов.

Все письма были спокойные, и чувствовалось, что спокойствие это не деланное, не то что б старались не волновать «папку». В будничности этих писем была, пожалуй, самая большая радость для меня.

Конечно, и тесно живут эвакуированные, и одеты не очень хорошо, и, бывает, недоедят. Но ведь вот, приходится нам употреблять трудное,

незвучное слово «эвакуированные» потому, что старое русское слово «беженцы» в данном случае совершенно не подходит. За этим старым словом видна беспорядочная толпа, шалаши, пыль, грязь, эпидемии тифа и холеры, нищенство детей и женщин и помощь «Христа ради».

А мы, я и все мои товарищи по соединению, семьи которых эвакуировались, знали, сердцем чувствовали, что там, в далеком советском тылу, наши близкие не будут брошены на произвол судьбы, что о них позаботятся — и накормят, и обогреют, и детей учить будут.

Конечно, поначалу семье моей пришлось трудно, даже очень трудно. В первые месяцы, пока не было у нас еще радиосвязи с Москвой, моя семья не получала никакой денежной помощи. Но уже со следующего лета командиры-партизаны были приравнены к офицерам Красной Армии, и семьи их стали получать аттестаты. А семьи рядовых партизан — государственное пособие.

Долго я читал и перечитывал в ту ночь письма родных. Так и заснул, сжав конверт в руке. И приснилась мне, как сейчас помню, большая миска горячей гречневой каши и будто я, еще маленький, тянусь ложкой к этой каше и другие мои сводные братья и сестры — приемные дети лоцмана Костыри, тоже тянутся своими ложками к миске. А сам приемный батька наш Максим Трофимович стоит в латаной-перелатанной куртке, пропахшей рыбой и днепровскими ветрами, стоит и широко, счастливо улыбается...

* * *

Наша разведка доложила, что в Любешове, Владимир-Волынке и даже в Ковеле и Луцке немцы в спешном порядке пополняют гарнизоны и ведут работы по укреплению оборонительных линий. Значит, нам удалось обмануть оккупантов. Им, видимо, почудилось, что мы собираем силы для нападения на города и районные центры. Но вот наши батальоны стали расходиться, чтобы начать боевую деятельность на железнодорожных линиях. Конечно, все было сделано, чтобы идти скрытно. Однако немцы кое-что заметили, всполошились, ввели во всех гарнизонах чрезвычайное положение, увеличили количество войск на железных дорогах от одной роты до батальона на каждые 100 километров. Навстречу же нашим отрядам оккупанты послали своих помощников — банды украинских буржуазных националистов, бендеровцев и бульбашей, оторвав их на время от основной «деятельности» — погромов польского трудового населения.

Командир третьего батальона Петр Андреевич Марков сообщал мне с пути, что ему то и дело приходится разгонять группы бандитов, устраивающих засады против партизан. В одном из своих донесений он рассказывал о таком случае. Из большого села, через которое предстояло

пройти отряду, прислали с мальчиком ультиматум, подписанный начальником бендеровской сотни неким Гайдаенко.

Он требовал, чтобы «партизаны-москаляки» не смели приближаться к селу ближе, чем на пятьсот метров, угрожая в противном случае пустить в ход артиллерию и тяжелые минометы. Но одновременно с этой бумагой мальчик передал командиру отряда другую, подписанную пятью крестьянами, с просьбой к партизанам прийти в село и выгнать бандитов.

Крестьяне сообщали в своем письме, что два месяца назад группа бандитов, человек двадцать, во главе с Гайдаенко, вооруженная винтовками и гранатами, захватила в селе несколько лучших домов. Бандиты назвались «украинскими партизанами», обещали защищать жителей от немцев, не пускать в село ни заготовителей, ни карателей. Оккупанты действительно после этого не появляются в селе, но бандиты Гайдаенко стали грабить народ почище оккупантов. Большую часть отобранного имущества, продовольствия, скота они увозят, говоря, что сдают «партизанскому штабу». Но это вранье — все награбленное попадает прямым путем на немецкие склады.

В письме сообщалось также, что бандиты мобилизовали всех мужчин в возрасте от 16 до 50 лет, вооружили палками, граблями, вилами, выдали им жестяные трезубцы для шапок, и Гайдаенко проводит с ними строевые занятия, натравливает крестьян на поляков: «Грабуйте, жгите, рижьте усих!»

«...А польских панов та помещиков в их фальварках не трогае цей Гайдаенко тому, что тих оберегают немци... Придуть до нас, не хвилюйтесь ниякой артиллерии и минометив у цього бандита Гайдаенко немае и вин сам сыдит и трусится...»

Конечно, партизаны Маркова вошли в село. Сопротивление бандитов было ничтожным. На пятнадцатой минуте боя они оставили свои «укрепленные точки» и бежали куда глаза глядят. Население, а в том числе и подавляющая масса мобилизованных в банду, встретила партизан восторженно.

Но не всегда обходилось так легко. Некоторым батальонам на пути к цели пришлось вести бой. Балицкий сообщал, что его батальон встретил довольно значительный карательный отряд. Николенко тоже с боями пробивался к месту своей дислокации.

Батальон Балицкого, самый крупный, насчитывающий в своих рядах свыше пятисот человек, сосредоточился поблизости от села Берестяны Цуманского района, чтобы парализовать железнодорожную линию Ковель — Ровно.

Батальон, которым командовал Марков, численностью в триста семьдесят пять бойцов обосновался в Щацком районе у деревни Бутмир.

Батальон Николенко численностью в 246 человек расположился в Устилугском районе вблизи села Мосур. Его «попечению» мы поручили железнодорожный участок Ковель — Владимир — Волынк.

На линию Ковель — Брест пошел отряд имени Щорса № 2, командовал которым по-прежнему Тарасенко. Линия эта была одной из самых оживленных, поэтому штаб соединения решил на другой ее участок направить вновь организованный, специальный минно-подрывной отряд под командованием Федора Кравченко.

* * *

Вернемся назад, чтобы рассказать о том, как появился у нас не знакомый еще читателю Федор Кравченко.

...В начале июня 1942 года, когда нашему соединению пришлось очень солоно — нас теснили несколько немецких дивизий, Совинформбюро передало такое сообщение:

«Партизаны Гомельской области восстановили советскую власть в 103 населенных пунктах. 30 мая партизанами уничтожен карательный отряд».

Посоветовавшись, обком принял тогда решение двинуться в эти районы, хотя до них было примерно 150 километров. Мы надеялись оторваться от преследователей. А главное: надо было дать нашим людям хоть немного отдохнуть, подкормиться, привести себя в порядок, хотелось также установить связь с Москвой, чтобы эвакуировать раненых, получить вооружение, боеприпасы...

Соединение с боем прорвало немецкую блокаду и густыми лесами, болотами, в обход немецких гарнизонов, вышло в Добружский район Гомельской области.

Перейдя в окрестностях Злынки железную дорогу, мы выслали вперед разведку. Первой, кого она встретила, был небольшой отряд Федора Кравченко. Он и его комиссар Коробицын пришли к нам. И тут выяснилось, что не будь их группы в этих лесах, — наше соединение сюда бы не попало.

Пришли-то ведь мы сюда только потому, что услышали сводку Совинформбюро. А сводка, как выяснилось, появилась так.

В район Гомеля была направлена группа в пять человек во главе с опытными разведчиками Федором Иосифовичем Кравченко и Алексеем Павловичем Коробицыным. Группа партизанить не собиралась. Задача ей была поставлена чисто разведывательная. Но случилось так — когда пятерка разведчиков выбросилась на самолете в лес возле Гомеля, парашют

с радиопитанием не раскрылся, питания, которое было при рации, хватило всего на шесть передач. И что же еще больше было делать разведчикам, потерявшим связь с штабом, как не стать партизанами?

Вскоре к ним начали присоединяться оказавшиеся поблизости окруженцы. Они совершают налеты на полицию, на немецкие транспорты. И, наконец, нападают на след местного отряда, возглавлявшегося третьим секретарем Гомельского обкома партии товарищем Куцаком.

Происходит встреча. Кравченко и его товарищи в восторге: их прекрасно приняли, накормили, обогрели. Отряд большой, в нем около четырехсот бойцов. Они хорошо вооружены. Есть не только винтовки и автоматы пулеметы, минометы, даже противотанковые ружья... Но, что самое главное, у отряда есть запас аккумуляторов. Можно связаться с Большой Землей, со своим штабом.

— Успеется, — говорит Куцак. — Сперва отдохните, поспите спокойно хоть одну ночь... Устроим вас в своей бане... А вы как думали, есть у нас и баня, и прачечная, имеется даже библиотека... Между прочим, товарищи, придется вам сдать оружие. Такой уж у нас порядок. Гостей мы охраняем сами... Нет, беспокоиться вам решительно не о чем. Все будет в полной сохранности...

Разведчики не наивны, они понимают, что их хотят проверить. В самом деле, может ведь показаться подозрительным, что вооружение у них большей частью иностранного образца: французские карабины, английские пистолеты, японские и польские винтовки. Есть в группе люди, великолепно говорящие по-немецки. Два товарища даже не скрывают, что они австрийцы. А документы? В этих документах, например, у Кравченко, сказано, что он сидел в тюрьме за растрату...

Утром выясняется, что баня окружена надежной охраной. Через час приходят работники штаба отряда.

— Давайте, — говорят они, — выкладывайте все! Не стесняйтесь! Бить мы вас не собираемся, надеемся — сами все расскажете. Когда завербовались к немцам и от кого посланы к нам — от какой-нибудь воинской части или от гестапо? Ну!

Разговор длился три дня. Это и действительно был не допрос, а разговор. Группу Кравченко подозревали в недобрых делах. Было, однако, немало признаков того, что они честные советские разведчики. Вот ведь они просят радиопитания, чтобы связаться с штабом Красной Армии, но...

— А как мы узнаем, — спрашивают штабные работники отряда, — что вы с советским, а не с немецким штабом свяжетесь? Ведь у вас шифр... Нет, так дело не пойдет... Товарищ Иванов, отнесите аккумулятор

обратно!..

Наконец пришла товарищу Куцаку хитрая мысль:

— Вот что, товарищи, а может и господа. Договоримся так: мы вам питания для передачи дадим. Но условие: вы должны передать наши сведения о том, что мы разгромили крупный карательный отряд, освободили 103 населенных пункта и создали Советский район. Согласны?

— Да, пожалуйста!

— Э, нет, вы не торопитесь. Освободим мы вас, а хотите и в свой отряд примем, только после того, когда это сообщение будет передано по радио в сводке Совинформбюро. Согласны?

Условия тяжелые... Как знать, а вдруг Совинформбюро не пожелает передавать в эфир это сообщение?

— Думайте, думайте! Но учтите, между прочим, что если на протяжении десяти дней сводки своей мы по радио не услышим, — значит, вы немецкие шпионы. А как поступают с шпионами врага, и вы знаете, и мы догадываемся. Все. Точка!

Что было делать? Коробицын и Кравченко, получив радиопитание, передали штабу не только сообщение Куцака, но и весьма важные разведывательные данные, собранные ими за все это время. Передали, конечно, и то, что ждет их, если не появится в сводке Совинформбюро сообщение гомельского отряда... День, другой, пятый, восьмой...

Наконец сообщение гомельского отряда было передано по радио.

Группу Кравченко освободили из бани, вернули все имущество и оружие, признали товарищами, даже предложили присоединиться к отряду. Но разведчики предпочли действовать самостоятельно. Вышло даже так, что несколько партизан гомельского отряда перешли к ним.

Вот как мы познакомились в июле прошлого года с Кравченко. Его группа присоединилась тогда к нам, стала действовать вместе с Балицким. Они подорвали за два месяца 29 эшелонов противника; на долю Кравченко лично пришлось тринадцать. Правительство наградило его за это орденом Ленина.

Месяца три спустя разведуправление Красной Армии отозвало Кравченко в Москву. Я думал, что до конца войны с ним больше уже не увижусь.

И вот, несколько дней назад, на пути из Борового в Лобное, нам сообщили по радио, что к нам вылетел самолет, на котором следует Федор Кравченко и с ним наш старый товарищ, лечившийся в партизанском госпитале, Владимир Бондаренко и высококвалифицированный хирург Тимофей Константинович Гнедаш. С тем же самолетом отправлен груз:

медикаменты, взрывчатка, пять коротковолновых радиостанций, триста посылок с подарками трудящихся. Самолет сядет в Боровом.

С нетерпением ждали мы самолета. Обрадовало нас и то, что к нам летит Кравченко, и то, что возвращается Бондаренко, и что с ними едет хирург, о котором мы уже давно хлопотали. Что же касается радиостанций — они нам нужны были, как воздух, без них нам трудно было бы связать все батальоны с штабом соединения. Правда, Маслаков обещал как-нибудь соорудить самодельные передатчики, но и сам он говорил, что эта кустарщина ненадежна... Зная характер наших соседей, мы стали беспокоиться, как бы кто-нибудь из оставшихся после нашего ухода на Уборти не переадресовал себе и наши грузы, и наших людей...

В Боровое сейчас же была послана радиограмма генералу Строкачу с просьбой немедленно сообщить нам о прибытии самолета — мы готовы выслать в Боровое для сопровождения людей и грузов целый отряд. Ответ Строкача был кратким: «Ваше пожелание будет учтено». А «учтено», как, известно, еще не значит «выполнено». И вот, проходит двенадцать дней, на Уборти, куда должен был прибыть самолет, никого уже нет, генерал Строкач улетел в Москву, партизанские соединения разошлись по своим маршрутам... Считай не увидим мы ни наших людей, ни наших грузов.

Как вдруг на рассвете 2 июля, только я лег отдохнуть после ночной работы над приказом, является дежурный по штабу:

— Товарищ генерал, прибыл старший лейтенант Кравченко. С ним еще двое...

— А?.. Что?.. Откуда прибыл?.. — Я вскочил, протер глаза. Крикнул: Федя! Где же ты? Заходи!

— Он с Маслаковым воюет, — сказал дежурный. — Маслаков кинулся к грузам — хотел по старой дружбе подойти, посмотреть рации, но Федор Иосифович его так пуганул... Да вы его знаете, товарищ генерал, — пока приказа нет, никого не подпустит к подводам.

— Какие подводы?

В эту минуту я услышал:

— Старший лейтенант Кравченко прибыл в ваше распоряжение! Разрешите доложить?

И тут выяснилось, что Кравченко, Бондаренко и Гнедаш прибыли вовсе не самолетом, как я перед тем думал, а действительно на подводах из Борового. Триста с лишним километров эти трое товарищей ехали по занятой врагом территории, меняя в селах лошадей.

— ...Пять радиостанций, пять динамо-машин к ним, медикаменты, шестьдесят килограммов консервированной крови для раненых,

раскладной хирургический стол, пятьсот килограммов тола, патроны, почта, посылки трудящихся... — продолжал свой рапорт о том, что привезли с собой, Кравченко.

Я не выдержал, прервал его:

— Ты с ума сошел, Федя! А если бы нарвался на немцев?..

Он, как всегда, сдержанно улыбнулся:

— Такая встреча не входила в наши расчеты, товарищ генерал.

— Расчеты расчетами, но мог же ты нам радировать. Мы выслали бы навстречу охрану, бойцов хотя бы двадцать, тридцать...

— Рации все запакованы, товарищ генерал.

Вошел в палатку новый наш товарищ, хирург Гнедаш. Это был немолодой уже человек, крепко сбитый, уверенный в себе. Представившись, он сказал:

— Я в тылу врага первый раз, и мне, как видно, повезло. С таким проводником, как Федор Иосифович, можно хоть до Берлина шагать! Он не только немцев за несколько километров чует, даже мины видит сквозь землю. Чудеса! Нет, посудите сами, мы тут на подступах к вашему лагерю через заминированную поляну проехали...

— Это очень просто, — перебил Кравченко...

— Вот верно! — воскликнул Гнедаш. — Для него все просто...

— Мы узнали от крестьян, — продолжал Кравченко, — что неподалеку и как раз на нашем пути подорвалась на mine корова. Значит надо быть начеку. Подъехали к поляне. Я стал думать: где бы сам расставил мины? Ясно, что по проезжей части. Значит, надо ехать там, куда никому и в голову не придет гнать лошадей. Вот и все!

Это объяснение было совершенно в характере Кравченко. Он никогда не рядился в тогу героя, не шумел о своих делах. Если ему верить, то все на свете просто: «Надо только подумать!»

Предстояло решить — куда теперь назначить Кравченко. Он прибыл с назначением на должность начальника штаба самостоятельного отряда Балицкого. Но Балицкий, как я уже говорил, решил от нас не отделяться. Он остался командиром батальона и вышел на выделенный ему участок железной дороги.

— Ясно, Федя... Я могу, конечно, и теперь направить тебя начальником штаба к Балицкому. Он со своим батальоном будет действовать не то, чтобы самостоятельно, а все же отдельно, в стороне, — я объяснил Кравченко, какую мы избрали тактику на будущее. — Но, по правде сказать, не советую тебе идти к нему. Знаю я твой характер, знаю и его. Люди вы разные, Гриша в последнее время малость взлетел. Не

пережил еще своего награждения. Понял? Не уживетесь вы, хотя ты и выдержанный человек. Знаешь, посоветую я тебе идти на самостоятельный батальон. Подберем мы тебе хороших хлопцев человек сто, отведем участок на железной дороге. Действуй!

— Я в вашем распоряжении, товарищ генерал.

— Так, значит, согласен?

— Приказывайте!

— Ладно, посоветуемся с Дружининым и Рвановым. Завтра получишь приказ.

Так поспать в то утро и не удалось. Надо было побеседовать еще с вновь прибывшим хирургом. Он рассказал кое-что о себе. Работал в Шостке. Эвакуировался далеко, в один из сибирских городов. Работал в госпитале, жил неплохо.

— К нам по мобилизации?

— Нет. Несколько раз сам ставил вопрос, требовал. Ответ один: «Вы нужны здесь». Был как-то в наших краях заместитель наркома здравоохранения. Я к нему: «Хочу в партизаны. Чтобы воевать на своей земле. Там, знаю, хирурги нужны дозарезу». Может быть, ошибся? — Гнедаш быстро, испытующе глянул на меня. — Может, я вам не очень-то и нужен?

— Мы ждем вас давно...

— Значит, мечта сбылась! Простите, товарищ генерал, может, я потом договорю о себе. Разрешите познакомиться с вашим госпиталем.

Я представил его нашему начальнику медико-санитарной службы Григорьеву. Гнедаш пожал ему руку и сразу же попросил провести его к тяжело больным...

— Вы, наверно, заняты, товарищ генерал. Я потом вам доложу о своем впечатлении и, если разрешите, представлю список всего необходимого.

Получилось так, что он меня отпускает: «Идите мол, занимайтесь своими делами, здесь вы пока ни к чему». Это мне понравилось.

* * *

На следующий же день после прибытия Кравченко я отдал приказ выделить из каждого батальона по пятнадцать-двадцать лучших бойцов (в то время еще не все батальоны вышли к местам своего назначения). Так сформировался новый отряд, которому было дано имя прославленного соратника Богдана Хмельницкого — Богу на.

Прошло несколько дней. Как-то утром, зайдя в штаб, Дружинин, обращаясь к Рванову и ко мне, сказал:

— Комедия да и только! — При этом рассмеялся, но по выражению его

лица я понял, что смешного в том, что он сейчас скажет, мало. — Был я сейчас в отряде Богуна... Дмитрий Иванович, надо разобраться.

— А в чем разбираться? — спросил Рванов.

— Что за народ там собрался?.. Да ты пошли за Кравченко, а пока посыльный будет ходить, я расскажу, — и Дружинин опять усмехнулся.

Посыльный ушел. Дружинин качал головой, посмеиваясь, глядя то на меня, то на Рванова.

— Подобрался отрядик — молодец к молодцу!

— Был приказ трем батальонам — Тарасенко, Маркова и Лысенко выделить лучших людей, — сказал я.

— Во-во! — продолжал Дружинин. — Прихожу... Стоят у опушки Федя, друг его Бондаренко и комиссар отряда Накс, а бойцы сидят на полянке полукругом. Человек шестьдесят... Ничего, конечно, ребята, если на торфоразработки посылать. Кравченко спрашивает: «Кто из вас в бою был?» Из всех шестидесяти один всего руку тянет. «В каком бою участвовал?» «Участвовал, — отвечает, — в операции по взятию Владимира, в засаде сидел». — «За сколько километров от места боя?» — «В полутора километрах, товарищ командир... Вы не смейтесь, товарищ командир, к нам тоже пули долетали!» Спрашивает Кравченко: «Кто стрелять из винтовки умеет?» Опять поднимается одна рука. «Где стрелял?» В селе, откуда этот хлопчик, оказывается, перед войной Осоавиахим тир открыл. Ну, хлопчик из малокалиберки не то шесть, не то восемь раз пульнул... Вот вам и отряд подрывников... Что же это такое!

Батальоны разошлись, сегодня на заре вышла на дорогу и подрывная группа батальона Лысенко, и спецрота... Где брать людей для Кравченко?.. Не годится, товарищи! Мы приказы подписываем, а кто проверять будет?

— Что проверять, зачем?! — загорячился Рванов. — К кому приходили посланные из батальонов люди? Ко мне или к Кравченко? Видел Кравченко, кого ему давали? Мог прийти ко мне, к Алексею Федоровичу? А теперь, когда батальоны на марше...

— Но ведь это же специальный отряд, — перебил Дружинин, — да еще подрывников! И Тарасенко, и Марков так тебе и отпустят подготовленных людей. Отобрали зеленую молодежь, тех, кто пришли к нам в Боровом перед самым выходом, необученных...

— Не кипятитесь, Владимир Николаевич, Кравченко действительно должен был прийти. Пусть на себя теперь пеняет... — сказал я.

— Да ты что, Федю не знаешь?! - воскликнул Дружинин.

В этот момент вошел Кравченко. Отдал честь.

— По вашему приказанию явился!

Лицо у него было изжелта-бледное. Я знал, что Кравченко страдает язвой желудка, что у него нередко бывают приступы жесточайшей боли, хотя он никогда не жаловался на них. Думалось мне, что и в этот момент схватил его приступ. Знал я также, что и его друг Бондаренко вернулся из Москвы недоленным после тяжелой болезни — трихиноза; она осложнилась у него мокнущей экземой. «Как же поведут они с собой эту молодежь? Как выдержат испытания пути и как будут руководить опасным и сложным делом — подрывом поездов?.. Нет, мы что-то тут недодумали. Придется поставить вопрос о расформировании отряда».

Пока я размышлял об этом, Рванов допрашивал Кравченко, почему он не сообщил, что батальоны не выполнили приказа, почему принимал необученных людей.

— Отвечайте же, товарищ Кравченко, почему?

— Вопрос не ясен! — сказал Кравченко.

— То есть как это не ясен?

— Мне известно — генерал отдал приказ выделить в отряд Богуна лучших бойцов. Батальоны присылают людей. Какое я имею право думать, что они не выполняют приказ. Присылают — значит, считают этих людей лучшими. А вы, товарищ начальник штаба, спрашиваете, зачем я их принимал. Вопрос, по-моему, лишний.

— Я ж говорил! — воскликнул Дружинин. — Что вы, характера Федино не знаете! Дайте ему ребят из детского сада, он и с ними пойдет подрывать поезда. Был бы приказ. Правильно, Федя?.. Да ты садись, давай потолкуем по душам. По-моему, вас следует рассыпать по другим батальонам.

— Есть поговорить по душам! — сказал, слегка улыбаясь и садясь на скамью, Кравченко. — У нас на весь отряд три автомата, остальные люди с винтовками, а человек двадцать пришли вовсе без оружия. Говоря опять-таки по душам, считаю, что остающемуся при штабе соединения хирургу Гнедашу автомат ни к чему. И кинооператор может обойтись без автомата. Прошу также пулемет, хотя бы ручной, и совсем хорошо, если дадите два.

— Стой, Федя, не о том, — положив ему руку на плечо, проговорил Дружинин. — Ты не обижайся, но я-то видал твоих ребят.

— Вы же приказали, товарищ комиссар, чтобы я говорил по душам. Считаю, товарищ комиссар, что, поставив передо мной задачу организовать из неподготовленных молодых ребят минно-подрывную группу, командование оказало мне честь. Спасибо за доверие. Все сделаю, чтобы его оправдать!

— Ох, и упрям же ты, Федя! — сказал Рванов.

— Упрям не только я. Прошу, пойдите к нам на поляну. Увидите ребят. Они тоже упрямы, и они знают, что нам поручен определенный участок железной дороги. Они уже чувствуют себя подрывниками, гордятся...

— Ты их научил гордиться, товарищ Кравченко? — спросил я.

Он только глянул на меня и продолжал:

— ...Гордятся и радуются, что им доверено такое задание! Накс дал им кусок кумача и четыре иголки с нитками. Сидят сейчас и по очереди ленточки пришивают на шапки и фуражки... Среди моих ребят ни одного нет, чтобы фашисты отца, мать или брата не убили. Все пришли добровольно, все просто зубами скрипят: научите бить, научите стрелять, рвать... — Кравченко увлекся, говорил громко, с жестами. Но тут же сам себя осадил, сказал совсем тихо: — Хотите расформировывать — дело ваше. Только идите к ним сами, а я не пойду. Я перед ними дурачком выглядеть не намерен!

Кравченко нас убедил. Через несколько дней после этого разговора мы провожали его отряд. Лил отчаянный дождь, и было по-осеннему холодно. А ребята бодро проходили мимо и, самозабвенно сжимая винтовки, размашисто шлепали лаптями по лужам.

* * *

Маслаков принес радиограмму, полученную из Москвы: «В ночь на 7 июля в бою, при выходе из окружения, погиб командир Черниговского партизанского соединения и первый секретарь Черниговского подпольного обкома Николай Никитич Попудренко».

Ох, Николай, Николай Никитич! Вот ведь знаешь — война, любого из нас завтра, а может, и сегодня настигнет пуля, бомба, снаряд. Знаешь, а в смерть не веришь.

В смерть Попудренко как-то уж очень не хотелось верить. До того он был счастливый в бою!

Подробностей его гибели мы еще долго не знали. «Погиб в бою...» А как же иначе? И представить себе невозможно было, чтобы Попудренко умер в постели. Как только я прочитал радиограмму, в моем воображении сразу же возник вздыбленный конь и Николай Никитич верхом с шашкой наголо.

Вошел в палатку Дружинин. Я дал ему листок с радиограммой. Рука комиссара задрожала. Рванов, самый молодой из нас, прочитав радиограмму, выбежал из штабной палатки. Пришлось за ним посылать — дела не ждали.

Вместе с этой печальной радиограммой Маслаков принес и две

другие: от Балицкого и от Егорова — и тот и другой подорвали первые на ковельском узле немецкие эшелоны. Первый успех! Принес бы Маслаков эти известия до радиogramмы из Москвы — сколько было бы торжественных возгласов. А теперь Дружинин ограничился одним словом:

— Хорошо!

Но дела действительно не ждали. Пришел дежурный и сообщил, что прибыли к нам еще две группы местных партизан, что вернулся из дальней разведки Илья Самарченко, что явился с рапортом об окончании строительства аэродрома Лысенко, Гнедаш принес программу краткосрочных курсов хирургических медсестер. Я пытался читать эту программу, но строчки расплывались.

— Вы слышали, Тимофей Константинович: погиб Попудренко!.. Впрочем, ведь вы не знали Николая Никитича!

— Знаком не был, но знал. За неделю, пока здесь, слышал о нем очень много! И в Москве слышал...

Хоть и разделились мы с Попудренко уже четыре месяца назад, но до сих пор было такое чувство, будто он по-прежнему воюет вместе с нами. Дня не проходило, чтобы не вспомнили мы о том или другом из наших черниговских товарищей. О Попудренко же не только вспоминали. Когда обсуждали в штабе предстоящую операцию, кто-нибудь из «стариков» обязательно говорил: «А вот Николай Никитич предложил бы такой вариант...» Мы как бы советовались с ним.

Гнедаш неожиданно спросил:

— А как в черниговском соединении, хорошо поставлена медслужба? Хирурги серьезные есть?

Я понял, о чем подумал Гнедаш, горько усмехнулся и махнул рукой... Если уж Попудренко ввязался в бой, то, конечно, он был на самом опасном участке, в самой гуще. Вряд ли санитары могли его вынести. Когда я был его командиром, мне приходилось силой приказа удерживать Николая Никитича от излишнего риска. Но и приказ не всегда действовал.

Я уже рассказывал о том, как в бою Попудренко выходил на переднюю линию и в упор расстреливал из пистолета ползущих навстречу врагов. В Гордеевке он ворвался вместе с тремя партизанами в немецкую комендатуру. Комендант выстрелил в него на расстоянии нескольких шагов и промазал. Попудренко выбил у него пистолет. Тот выхватил из ножен кортик... Когда мы с Николаем Никитичем расстались, этот кортик висел у него на поясе.

Другой раз Попудренко с четырьмя автоматчиками на тройке, запряженной в рессорную коляску, днем ворвался в село, где стояло не

меньше трехсот гитлеровцев. На улице шло учение. Попудренко и его товарищи полоснули автоматным огнем по рядам солдат и совершенно невредимыми ускакали из села... А ведь он занимал в то время должность заместителя командира соединения, был вторым секретарем обкома. Не его делом были такие налеты.

Но Николай Никитич был убежден, что командир, Как бы высоко он ни стоял, обязан показывать подчиненным пример личного героизма и презрения к смерти. Случалось, попадало ему и от обкома, и от меня лично за то, что в бою он превращался в рядового — не командовал, а только дрался. Чем ближе он сходил с противником, — тем яростнее становился. Больше всего его увлекал рукопашный бой, горячая схватка.

Могу ли я сказать, что у Николая Никитича не хватало дисциплинированности?

В наступлении он был в высшей степени дисциплинированным, если дисциплиной считать добросовестное и горячее выполнение боевого приказа.

Но вот, когда надо было сдержаться или сдержаться других, когда надо было отступить, Николай Никитич это не умел. А точнее — не мог.

— Признаю, — говаривал он мне, — большой это мой недостаток! Я петух драчливый... Учтите, буду и лавировать, и отступать, но трудно, ох, трудно мне эта наука достается!

Если обсуждался в штабе план предстоящей операции — Николай Никитич предлагал всегда самый дерзкий и чаще всего лобовой удар. Он понимал, конечно, что партизанам нужно уметь и ускользать от врага и совершать обходный маневр, но это было не очень по душе ему.

Мы любили Николая Никитича за кристальную честность, преданность коммунистической идее, за страстность и за беззаветную храбрость.

Обстоятельства гибели Попудренко я узнал только в конце войны, когда встретился с Новиковым, Коротковым, Капрановым и другими участниками боя 6 июля.

Сохранилась фотография, сделанная за несколько часов до гибели Николая Никитича. Командиры совещаются у карты. Николай Никитич водит по ней карандашом, что-то говорят. Все внимательно слушают. Он спокоен, и все командиры тоже спокойны.

А ведь лагерь, в котором шло совещание, уже вторые сутки был под артиллерийским огнем. Карательные части общей численностью до сорока тысяч солдат окружили черниговское соединение. И кольцо окружения стягивалось с каждым днем. «Вырваться ночью из кольца или погибнуть»

— вот как ставился вопрос на этом совещании.

Получив эту последнюю фотографию Попудренко, я долго вглядывался в черты лица так хорошо знакомого и дорогого мне человека. Я знал его десять лет. Знал его только что выдвинутым с комсомольской работы агитпропом Городнянского райкома партии, потом первым секретарем райкома; перед войной работал вместе с ним в Черниговском обкоме, а когда пришли на землю Украины войска оккупантов, мы вместе остались в подполье, вместе партизанили больше полутора лет. Много ли может сказать фотоснимок, да еще сделанный в такой обстановке, в такой момент? Но я видел командирскую властность, уверенность и решимость. Четыре месяца отделяло Николая Никитича, которого я видел на этом снимке, от того дня, когда мы прощались и когда он сказал мне: «Навсегда!»

За эти четыре месяца под руководством Попудренко отряд в четыреста человек вырос до партизанского соединения в тысячу двести человек. За это время черниговское соединение провело в тягчайших условиях прифронтовых действий несколько больших рейдов и не один раз прорывало кольцо окружения. Десятки карательных отрядов были разгромлены молодым соединением, больше двадцати эшелонов сброшено под откос — и это на ходу, в непрерывных рейдах!

Конечно, фотография не очень точно передает душевное состояние людей. Вряд ли товарищи были так уж спокойны в тот день. В предыдущую ночь никто из них не спал, и уже третьи сутки люди не разжигали костров, а значит не получали горячей пищи, даже кипятка не пили. И, хоть шел июль, день за днем лил холодный дождь; все промокли и озябли. Нет, не спокойны они были — сдержанны.

На этом совещании, как потом рассказывали мне Новиков, Яременко, Коротков, Петрик, между другими делами решили, что во время прорыва вражеского кольца командный пункт будет в центре колонны. Товарищи по обкому предупредили Николая Никитича: «Не рвись вперед, не увлекайся! Командиры отрядов должны в любую минуту знать, где ты!» Попудренко молча кивнул головой. Потом он подписал приказ. В 17 часов его получили все командиры отрядов, а в 22 часа, с наступлением темноты, колонна двинулась на прорыв блокады.

Первая группа прошла благополучно. Когда же двинулась вторая противник ударил пулеметным огнем с флангов. Наступило временное замешательство, колонна дрогнула, попятилась. И в ту же минуту Попудренко дал шпоры коню и помчался в темноту, в самую гущу боя.

— Вперед! — крикнул он. — За Роди... — И тут голоса его не стало

слышно.

Он был убит, упал под ноги своего коня.

Когда я стою у обелиска, воздвигнутого над его могилой на площади в Чернигове, — не могу не волноваться, навертывается слеза. А все-таки скажу: у него были недостатки, красивые, мужественные, но были, с этим ничего не поделаешь!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ПОДРЫВНИКИ

Взрывы на железных дорогах Ковельского узла начались в дни, когда немцы развернули наступление в районе Курска — Белгорода. До семидесяти эшелонов в сутки проходило к фронту по линиям, на которые вышли наши подрывники. Поезда шли со скоростью 40–50 км в час, точно и аккуратно по графику, составленному немецкими диспетчерами.

С начала июля диспетчерские функции присвоил себе штаб нашего соединения. Но диспетчерские распоряжения давались машинистам паровозов не в виде письменных приказов и даже не при помощи световой сигнализации. Наши диспетчеры-подрывники «регулировали» движение на железной дороге с помощью мин. Не подчинявшиеся им эшелоны сбрасывались под откос.

С 7 июля, когда раздались первые два взрыва, до 1 августа на вверенном нам узле железных дорог было подорвано, сожжено и частично разрушено 65 поездов. Скорость движения снизилась до 25–30 км в час. Отныне по ночам поезда стояли на крупных станциях под охраной больших гарнизонов, тем самым пропускная способность узла и всей железной дороги резко сократилась.

В складах, в вагонах застряли сотни тысяч тонн зерна и другого продовольствия, заготовленного для отправки в Германию. Но что еще важнее — людское пополнение для фронта, немецкие солдаты и офицеры, сутками просиживали на станциях. Составы с боеприпасами, танками, орудиями и другим военным грузом стояли на запасных путях, подолгу дожидаясь своей очереди на отправку.

С начала августа сбрасывалось ежедневно по шесть, восемь и даже десять эшелонов.

Как первые наши крупные бои на Черниговщине привлекли к нам внимание всех жителей, создали нам славу и вызвали мощный приток людей, так и здесь взрывы всполошили весь народ. Весть о том, что на железных дорогах то и дело происходят крушения, быстро пронеслась по области. Охота за вражескими поездами увлекла и другие партизанские отряды. Люди из соединения «дяди Пети» — Героя Советского Союза

Брынского — раньше редко выходили на железную дорогу. А в августе и они подорвали несколько эшелонов. Отголоски взрывов на Ковельском узле прозвучали и в Белорусском полесье, и на Житомирщине, и за Бугом в Польше. И вот пошел к нам люд со всех сторон. Приходили одиночки, приходили группы бежавших пленных, целые отряды, пожелавшие присоединиться к нам. И все, ну решительно все, хотели принять то или иное участие в действиях на железной дороге.

Между партизанами начались споры о том, кому принадлежат те или иные участки железной дороги. Еще до нашего прихода в эти места в районе Киверцы — Лыка располагался отряд Медведева. Туда теперь пришел Балицкий, самый, можно сказать, ярый наш подрывник. Медведеву же, «ловцу немецких генералов», как его называли партизаны, нужна была тишина. Он нанес визит Балицкому и сказал, что надо мол вам отсюда перебираться — место занято. А если, дескать, станете возражать, если увижу на подходах к железке ваших людей с толом и прочей музыкой, извините, буду принимать свои меры.

Заявил свои претензии и «дядя Петя». Он считал, что в том районе, где располагается его отряд, он хозяин всех сел, местечек, всех дорог, как железных, так и шоссейных, словом, всего недвижимого и движимого имущества, включая солдат и офицеров противника. Так что, если бы мы совершили на «его» территории налет на немецкую комендатуру, он тоже поднял бы шум.

Вскоре мы примирились и с Медведевым, и с «дядей Петей» — правда, не без вмешательства Центрального штаба, но, к сожалению, местничество в партизанских делах так и не прекратилось.

В августе, в дни, когда я находился в инспекторской поездке, разъезжал по своим батальонам, прибыли к нам в Лобное командир ровенского соединения Бегма, его комиссар Кизя и еще кто-то из их штаба. Ждали-ждали и уехали. Передали мне и Дружинину, что просят в гости.

Надо сказать, что командиры соединений и отрядов не так уж часто могут встречаться и, конечно, радуются такой возможности. Получив приглашение Бегмы, мы с Дружининым, как только нашли время, отправились к нему.

Встретили нас очень радушно, хорошо угостили, познакомили с лагерем, с командирами отрядов. Познакомили и с моим однофамильцем Иваном Филипповичем Федоровым (его называли Федоров-Ровенский), командиром большого отряда. И вот мой однофамилец в довольно в общем добродушном разговоре начинает намекать, что, мол, нехорошо — ваши ребята нас обижают.

— Что такое, где, когда?

— Да знаете ли, Алексей Федорович, залезают ваши подрывники на наши линии.

Я ответил:

— Били врага, бьем и будем бить там, где его обнаруживаем, где считаем удобным!

Василий Андреевич Бегма улыбнулся (он вообще-то человек мягкий, очень вежливый, сердечный) и возразил:

— А все ж таки тебя послали в Волынскую, а меня в Ровенскую область, а не куда попало. Значит, есть разница. Может, ты завтра захочешь вообще к нам передислоцироваться?

— Если обстоятельства потребуют...

— Какие такие обстоятельства?

— Представляешь — нажмет враг вдесятеро большими силами.

— Тогда-то конечно. Тогда-то мы тебя примем с дорогой душой и будем вместе драться. А в этом случае с твоим тезкой — надо бы его права уважить.

— Не согласен я с тобой, Василий Андреевич, но думаю — не подеремся... А кстати, район, о котором вы с тезкой моим говорите, кажется, вовсе не Ровенской области. Давай-ка посмотрим карту.

— Давай! Позовите, — попросил он адъютанта, — полковника Григорьева! Где он пропадает?

Адъютант побежал. Вернувшись, доложил, что полковника Григорьева не нашел.

— Говорят, уехал в Чапаевский отряд.

— Странная штука, — сказал Василий Андреевич, — чего это его вдруг понесло туда? Да постой, постой... Не ты ли тот Федоров?.. Ну да, конечно же ты! Вспомнил. Григорьев мне как-то рассказывал, что в начале войны сколачивал с Федоровым партизанский отряд, что ты, то есть тот Федоров, погиб в бою... Он будто сам видел и пытался тебя спасти... Получалось даже вроде того, что ты на его руках дух испустил.

— Вот ведь бывают какие вещи. А я живой! И собираюсь еще пожить.

Никак не думал я, что начальник штаба Бегмы — тот самый начальник артиллерии корпуса полковник Григорьев, который сколачивал со мной отряд, а потом ушел с моим автоматом в неизвестном направлении. Немудрено, что он сейчас избегает встречи со мной.

Гостали мы у Бегмы три дня. И только на третий день увидел я этого Григорьева.

Человек военный — он умел скрыть волнение, но все же по

выражению его лица было видно, как неприятна ему встреча со мной. Представились:

— Полковник Григорьев!

— Генерал Федоров!

В этот момент, надо признаться, мне было очень и очень приятно, что я ношу это звание.

— Что ж это вы?! — спросил я. — А! Да отвечайте же, я вас спрашиваю, как это вы тогда к немцам переметнулись?

Он ответил со спокойной дерзостью:

— Отчетом я вам не обязан...

— Нет, вы посмотрите на него!.. — рука моя невольно потянулась к пистолету.

— Подожди, Алексей Федорович, — ровным, обычным голосом оказал Василий Андреевич и взял мою руку своими теплыми, мягкими пальцами. Давай тихонько разберемся. Садитесь, товарищи... И вы садитесь, товарищ Григорьев.

Сели. В первые минуты смысл его слов до меня не доходил, так был я взбешен. Он говорил:

— ...И вот, понимаете, мотоциклисты. Назад, к вам, ходу нет. Я пробовал бежать в другую сторону. Заметили. Окружили. Автомат дал осечку. Все. Плен... А дальше — это очень длинно, вы не захотите слушать...

— Нет, нет, продолжайте, — сказал Василий Андреевич.

— Что ж дальше, я командиру соединения — вам, товарищ Бегма, все рассказал. Факты проверены. Люди отряда Брынского знают. Я из плена бежал. Удалось найти добрых людей. Спрятали. Потом устроился в пекарню. Заведовал. Как только появились партизаны вблизи Любомля... Да, работал в Любомле... Только появились в лесах партизаны — пошел к ним. Спросите Брынского, я у него был несколько месяцев. Потом передали вот — генералу Бегме. Служу.

— Нет, Алексей Федорович! Ты зря кипятишься, — сказал Василий Андреевич. — Полковник в плену и потом в пекарне намучился. Я им пока доволен...

— Но зачем, слушайте, — перебил я Василия Андреевича, — зачем это вам, полковник, понадобилось делать из меня убитого, хоронить на Полтавщине? К чему это все?

— Виноват. Были слухи. Я предположить не мог, что тот Федоров и вы одно лицо. Такой ужасный тогда был у вас вид — я был уверен: все для вас, как и для меня, кончено. Вы бы видели себя в тот день! — Он помолчал и

повторил: — В тот день!

Я все понял. Передо мной был человек, «в тот день» признавший себя побежденным. Подобные люди погибали, если не физически, то морально. Хорошо еще, что у Григорьева хватило честности, чтобы вовремя перейти к партизанам.

— В общем — партизан 1943 года! — сказал я и махнул рукой.

В слова «партизан 1943 года» я волей-неволей вложил то чувство, с которым партизаны-старики относились к примкнувшим к ним в 1943 году — в пору сокрушительного наступления Красной Армии, чувство своего превосходства над ними. Чувство это понятно. «Где ты был, когда Красная Армия отступала? Прятался, переживал, а то еще и перед гитлеровцами выслуживался! Ну хорошо — приняли мы тебя, признали, дали оружие, чтобы ты искупил свою вину и все-таки полного доверия и уважения ты у нас не вызываешь». Так примерно рассуждали мы и, конечно, далеко не всегда правильно.

Ведь сюда, на Волынь, мы пришли не только для того, чтобы взрывать железные дороги, но и для того, чтобы поднять народ, вовлечь его в наши ряды, внушить ему веру в победу, дать ему оружие против врага. В своих листовках мы обращались и к полицаям, и к бульбовцам, и к тем, кто добровольно сдался в плен, а теперь бежал из немецких лагерей: «Хотите искупить свою вину, хотите снова обрести Родину, получить великое право стать гражданином Советского Союза — идите к нам, бейте вместе с нами оккупантов и предателей всех мастей!»

И люди к нам шли. Одни по велению сердца, другие под давлением обстоятельств, третьи, чтобы прикрыться званием партизана.

Со временем мы разбирались в каждом. Однако в повседневных отношениях с нашими новыми товарищами нельзя было выражать недоверия к ним — ведь тех, кто пришел к нам, чтобы прикрыться званием партизана, было не так уже много.

Прощаясь с полковником, я пожал ему руку без особого энтузиазма, но время показало, что он пришел к партизанам без камня за пазухой. Работал честно, был ранен в бою.

После ухода полковника мы с Василием Андреевичем и моим тезкой вернулись к вопросу о том, можно и следует ли действовать на «чужой» партизанской территории.

Развернули карту. Оказалось, что наши ребята и впрямь забрались в Ровенскую область. Поставили две мины. Подорвали два эшелона...

— Так, что ж, разве это плохо? — спросил я. — По-моему, если и плохо, то для оккупантов, не так ли? Там же не было в это время ваших

минеров!

— Мы собирались их послать. Вы нас опередили.

— Выходит, что мы вам помогли!

Так или иначе с Бегмой, Кизей, Федоровым-Ровенским, как и с Медведевым, мы дружбу не потеряли и месяца три спустя нанесли совместный удар по направленным против нас войскам оккупантов.

* * *

На обратном пути в Лобное ехавшие впереди хлопцы увидели на тропинке двух человек.

— Стой! — крикнули им наши хлопцы. Оба бросились в сторону, в лес. Их догнали, вернее, они сами вернулись, поняв, что мы — партизаны.

Оказалось, что один из них — наш разведчик Василий Трофимов, которого вот уже две недели считали погибшим. А второй... Это был весьма странный субъект. В лесу мы таких никогда не видели. Клетчатый голубой пиджак, серые брюки гольф, ярко-красные полуботинки, чулки с замысловатым рисунком — ни дать ни взять цирковой актер. Но эта франтоватая одежда была сильно помята, на полуботинках кое-где роса смыла краску. Вид он имел жалкий, лицо его обросло серой щетиной, глаза выражали тоску, отчаяние, голод и страх.

— Откуда ты взялся, Трофимов? Мы тебя давно похоронили. И что это за тип? «Язык» или новоявленный партизан?

И Трофимов рассказал весьма примечательный случай. Раньше, чем привести его рассказ, несколько слов о самом Трофимове.

Это был человек очень выдержанный, дисциплинированный. Но только до той поры, пока не хватит лишку. А тогда его начинали одолевать стремления к самостоятельным действиям. Например — пройти незамеченным перед носом немецкого патруля, что ему было вовсе не легко при его видной фигуре.

Недели три перед тем Василий был направлен с небольшой группой в Любомль. Там, после выполнения задания, позволил себе выпить у неведомой шинкарки самогону и на обратном пути отстал от своей группы. Его товарищи по разведке говорили, что они услышали стрельбу, потом крики, решили, что погиб парень... И вот мы его встретили. Худой, обросший, весь в синяках... Сделали привал.

Поев, Василий стал рассказывать про своего «спутника», которого мы сочли за «языка» и держали в стороне.

— Вы спрашиваете, что это за человек? Я и сам не пойму. Спас мне жизнь. Это факт. За это ему надо спасибо сказать. А мог погубить. Не буду касаться, как и что было перед тем; за мой проступок мне еще придется

держат ответ, это особая сторона...

...Ну, сидим мы, значит. Тюрьма — не тюрьма, просто картофельный подвал. Вода по стенкам бежит, свету чуть-чуть. На окошке борона вместо решетки. Мое дело ясное: расстрел или петля — вот и весь выбор, да и тот не за мной. Личность моя пострадала от предварительного разговора с полицаями, да еще и с похмелья голова шумит наподобие камнедробилки. Нехорошо! Одна радость, что и на тех полицаях кое-что удалось повредить. Почему сразу меня кончать не стали? Известно — полиция. Самостоятельно принимать решение сомневается. А немецкий следователь отбыл в округ, скоро вернется. У него, как те полицаи объяснили, имеется аппаратура. Будет заниматься мною по правилам науки. Одним словом: «физиотерапия». Что же, я лежу и сам с собой рассуждаю, что в данных условиях руки — ноги не помогут, вспоминаю, как жил, как воевал и как сдуру вляпался. Себя я не миловал: все ж таки, если ты разведчик, имей мужество в крепких напитках держаться нормы, а не надеяться на авось. Так вот и гибнут лучшие люди!

Лежу я, значит, на спине, раздираю пальцами свои распухшие веки, оцениваю обстановку. Рядом, как раки ползают, шелестят на соломе еще двое. Вечер. Свету из окошка так недостаточно, что разглядеть лица нет никакой возможности. Люди стонут, страдают без слов. Им тоже там наверху кое-что повредили, но все же заговаривать с ними надо с осторожностью.

Утром просыпаюсь — одного уже нет, а другой, вот этот, сидит на тощеньких коленках, кланяется в сторону окошка, крестится и сопит. Я, конечно, уважаю религиозное чувство и потому не вмешиваюсь. Потом вижу, что интеллигент этот переходит от церковных молитв к обычным жалобам на судьбу, и спрашиваю его, чем могу помочь. Он отвечает, что мол ни в чем не нуждается.

Тут открывается дверь и полицай протягивает нам по кружке кипятку, а также по куску хлеба. Что значит в данных условиях кусок? Сто граммов. А хлеб этот в переводе на русский язык — глина, в которую для видимости замешано немного теста и овса. Мой сосед говорит спасибо и вежливо спрашивает полицаю, не воскресенье ли сегодня? Но тот молча и грубо захлопывает за собой дверь.

Я вмешиваюсь и говорю, что не воскресенье, а пятница. Но этот не слушает. Он буквально в минуту сглатывает весь хлеб, свою, а также и мою порцию. Смотрит на меня дрожащими глазами, думая, наверно, что я его буду бить. Тогда я вынимаю из порточки завалившийся кусок сала, мой энзе, и предлагаю: «Может, не побрезгуете?»

Он берет себе скибочку сала, другую скибочку кладет передо мной, протягивает мне руку: «Будем знакомы — художник Консторум Казимир Станиславович», и ест, ну просто наслаждается. «Вы, — спрашивает, — по какому делу замешаны?» Я не говорю ему, что из партизанского отряда. Говорю, что бежали группой из немецкого плена, кое-кого стукнули, другие товарищи уже спаслись, а на мою долю пришлась такая вот судьба. Потом я спрашиваю: почему его интересует воскресенье? Он отвечает, что по воскресеньям дают суп. «Значит, вы давно уже здесь?» Он отвечает, что около месяца, но что когда придет немецкий следователь, эта неприятность должна кончиться. Мне это не понравилось — выходит, что он на немца надеется.

Потом мы больше молчали, но дня так через три стали понимать, что нам особенно друг друга побаиваться нечего. Его, то есть этого хлопца, надо было остерегаться исключительно в те моменты, когда полицай приносил два раза на день хлеб. Тут Казимир этот совершенно терялся, думал почему-то, что я потребую от него ту порцию, которую он в первый раз сожрал. В последние дни у меня тоже сильно подвело живот. Я привык все-таки к приличной пище: или каша, или рыба — партизанский стол. Если мы, помните, голодовали, то по-другому. У нас все вместе, и песня выручает, и всегда чем-нибудь занят. А в этих условиях о чем думать: только о прошлой жизни, о будущей смерти или об еде. Так что и я стал вроде психа: перебираем с Казимиром в памяти разные блюда. Например, он скажет, что в таком положении хорошо бы чашку горячего бульону, а я в ответ, что неплохие пирожки мамаша пекла по шестнадцати штук на пуд.

Казимир все-таки рассказал про себя и за что в полицию попал. Это удивительная история. Он до войны из глины лепил разные фигуры для городского сада или на могилы. Жил в Львове и не слишком плохо, мог кормить семью, а когда продукты подорожали, решил переехать в Ковель. Работал по заказам, а потом напала Германия, фашисты заняли Ковель, и никаких заработков не стало. Он и раньше, говорит, ненавидел фашистов, а тут ненависть у него, как он мне сказал, переполнила чашу. Статуй много, но их никто не покупает. Он когда рассказывал, все смеялся. «Это, говорит, — смех от нервов». У него все от нервов. От нервов и в полицию попал.

Как это вышло? Поехал он по селам достать что-нибудь из продуктов. Повез разные дамские трикотажные штаны, рубашки, галстуки. Захватил и маленькие статуи Наполеона в шляпе. На базаре в Любомле полиция спрашивает его: «Почему вы наполеонами торгуете, а гитлерами нет?» Ему бы не связываться с полицией, а он от нервного раздражения и недоедания

распсиховался и ответил, что не считает Гитлера достаточно великим, чтобы делать его статуи. Тут Казимира и взяли. Вот так и оказался он рядом со мной в подвале.

Еще проходит дня четыре. Казимир этот уже плачет от голода. Ну что нам дают? Хлеба около двухсот граммов на весь день... А немецкий следователь все не едет.

И вот один раз Казимир говорит: «Если бы мое преступление было такое сильное, как у вас, я бы бежал, я знаю, как можно совершить побег. Но без меня вы не сможете, а мне рисковать нет смысла».

Тогда я стал расписывать его преступление, убеждать его, что ему один путь — на виселицу.

И он, наконец, сообразил, что рассчитывать на немецкого следователя глупо. Стал рассказывать свой план бегства. Один из наших сторожей имел фигуру наподобие моей. Надо его обезоружить, раздеть, связать.

Как обезоружить? А вот как: сделаем из хлеба пистолет, напугаем охранника.

Договорились. Я описываю форму, размер нашего «тэтэ». Художник возражает: «Это очень крупный пистолет, нельзя ли вроде «бульдога»? Но ему приходится согласиться, что в нашем полутемном помещении такое ничтожное оружие, как «бульдог», не напугает полиция.

Вот мы не съели один раз свою порцию и Казимир начал лепить. Но двух наших порций оказалось мало. Прибавляем вечерние. Получается очень похоже на пистолет. У меня даже настроение становится веселым, я хлопаю Казимира по плечу, жму руку, соглашаюсь, что он очень талантливый. А ночью слышу жует. Потом запивает водой. Я ему шепчу: «Казимир, вы что кушаете?» Он молчит, будто оглох. Ну, конечно, он скушал пистолет «тэтэ»! Вы понимаете, как хотелось его стукнуть! Удерживаюсь. Утром, наоборот, успокаиваю его. Оправдываю его предательство тем, что он больше истощен, чем я. Говорю ему: «Давайте снова будем не есть, только, пожалуйста, лепите!»

А тут еще новость. Охранник, когда принес хлеб, сказал, что следователь уже приехал и виселица готова. Художник окончательно понял, что надо бежать. Лепит снова «пистолет» и клянется своей католической клятвой, что больше не съест его. Но я все-таки прячу «пистолет» себе под пиджак...

Ночью, представляете, лезет. Думает, что я сплю, и щупает на моей груди. Я со злости локтем его как садану. «Ах, вы вот какой! — и началось... — Вы пользуетесь моим талантом, а потом избиваете...» Я ему затыкаю рот, а он крутится под рукой, мычит. Вырвался на минуту и как

завизжит — будто кошку дверью придушили... Слышу — бежит охранник и к нам с фонарем:

— Что тут такое?

А я ему:

— Руки вверх! — и дуло к носу.

Он растерялся, я с него автомат снял, кинул пистолет художнику: «Жря!» Охранник смотрит, думает, что такое? Но мне объяснять ему некогда. Я его слегка прикладом угостил, он лег. Ладно. Говорю Казимиру: «Идем!» А он, как полоумный — трясется, губа на губу не попадает, слова не вымолвит. «Идем, — повторяю, — глупый ты кутенок, несчастье мое!» Пошел. Для верности я на него автомат наставил. Одежду с охранника не снимал, взял только фуражку с трезубцем, надел на себя и фонарь забрал. Держу его светом вперед, чтобы самому находиться в тени. Так и вышли.

Когда идем по двору, от ворот ко мне тулуп движется: «Куда ведешь?» Отвечаю сердито: «Хиба не знаешь!» Пропускает. Думаю — налево сейчас или вправо? А Казимир уже поворачивает. «Куда, сволочь?» — орет тулуп и я за ним: «Бери, растак твою, налево!..» Понял, изменил направление. Тулуп полез в свою будку, а я художника за шиворот, фонарь об мостовую. «Ну, бегом, Казимир, а будешь визжать, пулю в затылок!» Ничего, побежал. Он вообще-то сообразительный...

Казимир оказался человеком, не лишенным чувства юмора. Мы спросили его — так ли все было, как рассказал Трофимов? И он, смеясь, подтвердил, что все так и было, и что он с голоду мог бы еще и не то натворить.

Он доехал с нами до Лобного. А когда неделю спустя пошел в разведку на Ковель Илья Самарченко, художник пошел с ним. Мы дали ему для его ребятишек сала, немного соли, сахару.

* * *

Охота на вражеские эшелоны продолжалась. Вскоре наши минеры стали поднимать вражеские поезда на воздух и днем несколько не хуже, чем ночью. И хотя количество составов, направляемых через Ковельский узел, значительно уменьшилось, число сброшенных под откос в августе возросло до 209, то есть больше, чем втрое.

Мы стали получать в изобилии новейшую подрывную технику. Для достижения успеха это имело решающее значение. Однако мы не забывали сталинского указания, что «техника без людей мертва». Овладеть передовой минно-подрывной техникой и полностью использовать ее возможности на железнодорожных коммуникациях — вот в чем мы видели свою цель.

Я уже говорил, что еще в Боровом было подготовлено свыше трехсот подрывников-минеров. Теперь их распределили между всеми нашими батальонами и ротами. Но все-таки подрывников было мало. Новый отряд Кравченко мы уже не смогли обеспечить подготовленными кадрами. Кравченко, его комиссар Накс, начальник штаба Разумов, старый подрывник Владимир Бондаренко вынуждены были сами готовить минеров. А немного погодя у нас образовалось еще несколько отрядов, батальонов, бригад — и все они тоже сами готовили для себя подрывников.

Главной задачей, поставленной обкомом и командованием, была задача массового применения новых, только что полученных нами мин замедленного действия, с электрочасовым механизмом. Раньше подрывник дергал за шнур, когда паровоз уже наезжал на мину. Минер и все, кто ему помогали, все, кто его охраняли, должны были присутствовать при взрыве, отходили только после того, как эшелон слетал с рельсов. А мины замедленного действия можно было устанавливать на разное время, даже на несколько суток вперед, установить и уйти. Мина, поставленная ночью, взрывалась днем, вечером, когда наступал заданный ей срок действия. Нужно было только так спрятать мины, чтобы обходчики, немецкие саперы, специально натасканные собаки — никто не мог их обнаружить.

Потом мы поставили перед собой новую, не решенную конструкторами, задачу: сделать мину неизвлекаемой. Пусть вражеские саперы найдут ее вытащить или обезвредить мину они не смогут, только взорвать, а это значит разрушить какой-то участок пути.

И мы решили эту задачу. Сто двадцать предложений сделали партизаны-подрывники, и вот коллективными усилиями была создана кнопка неизвлекаемости, приспособление весьма совершенное — крупные специалисты, командированные из Берлина, поплатились жизнью за попытку раскрыть этот секрет.

Массовые крушения выводили из строя сотни паровозов, вынужденное снижение скорости требовало увеличения подвижного состава в пять-семь раз против нормы. Топлива тоже расходовалось несравненно больше. Гитлеровцам пришлось значительно расширить парк паровозов и вагонов, следовательно, уменьшить производство танков, орудий, автомобилей.

То, что немцы, несмотря на колоссальные потери, упорно посылали по партизанским дорогам и грузы, и людское пополнение, говорило о том, что они готовы идти на любые жертвы, лишь бы не удлинять путь к фронту. С началом мощного неудержимого контрнаступления наших войск на орловско-курском направлении и на Украине потери гитлеровцев стали

умножаться с небывалой скоростью. Приходилось подбрасывать в гораздо больших количествах и войска, и технику, и продовольствие. Южные железные дороги были, конечно, для немцев безопаснее, но по ним большей частью перевозились зерно, фураж, мясо. Балканские страны стали основными поставщиками продовольствия как для германского тыла, так и для фронта. Вот почему немцы не могли отказаться ни от украинских, ни от белорусских железных дорог, которые теперь даже в официальных штабных документах оккупационное командование именовало «партизанскими».

Никогда еще за всю нашу историю партизаны не уделяли так много внимания технике, изобретению разного рода приемов минирования. Генеральному штабу германской армии пришлось создать специальное бюро по борьбе с партизанской техникой. В него вошли и представители железнодорожных компаний, и инженеры-саперы, и разведчики-диверсанты. Начиная с середины июля 1943 года, недели не проходило, чтобы не появилось какое-нибудь организационное или техническое новшество для борьбы с нашими минерами. Надо было быстро отвечать на хитрости, уловки и технические новшества немецких специалистов... До самого конца партизанской войны, до тех пор, пока мы не выдворили оккупантов за пределы нашей Родины, изо дня в день работала партизанская смекалка, давая все новые и новые примеры находчивости.

В первое время, когда мы только начали установку мин замедленного действия, части охраны железных дорог полагали, что взрывы производятся обычными средствами — минами на шнур, на палочку или конструкциями нажимного действия.

На участке между Луковом и Люблином партизаны установили семь новых мин на разные сроки. Через два дня первый эшелон полетел под откос. Немцы расстреляли сторожа и усилили охрану, состоявшую из поляков. Взорвался второй поезд — немцы сняли местную охрану и поставили своих солдат. Взорвалось еще два поезда — прибавили к солдатам группу эсэсовцев. Но и это не помогло — опять полетел под откос поезд. Немцы оградил весь этот участок колючей проволокой — и крушения прекратились. Оккупанты расхвастались — послали командованию торжественный рапорт. А дело было просто в том, что мины на этом участке кончились. Они стали взрываться на другом участке.

У железных дорог всюду появились грозные надписи: «Запретная зона! За нарушение расстрел!» Солдат стали премировать деньгами и отпусками за поимку людей в запретной зоне.

Через каждые пять километров охрана соорудила стрелки-переводы с

одного пути на другой. У насыпи возвели дзоты, вырыли окопы. Не хватало солдат, и оккупанты стали собирать по окрестным селам собак, привязывать их к кольшкам, вбитым в насыпь. При подходе эшелонов сельские собаки, никогда не видевшие паровозов, срывались с цепи, бесились от страха. Были случаи, когда ночью на привязанных собак нападали волки. Собаки скулили, лаяли, визжали почти беспрерывно. Толку от них немцам было мало.

Тогда на железных дорогах появились выдрессированные на запах тола ищейки. Партизаны стали посыпать подходы к закопанной мине нюхательным табаком — растертой махоркой. Но махорки самим не хватало, и вскоре был найден другой способ борьбы с ищейками: начали разбрасывать и закапывать вдалеке от установленной мины крохотные кусочки тола. Собаки бросались из стороны в сторону, рыли лапами насыпь там, где ничего не было. Разъяренные солдаты хлестали своих породистых псов нагайками — не могли понять в чем дело: тол — желтый, маленькие его кусочки в песке человеческому глазу незаметны.

Впереди паровоза немецкие железнодорожники ставили одну или несколько груженых камнем и песком платформ. Однако мины рвались не под ними, а под паровозом. Для достижения этого наши товарищи произвели расчет прогиба рельс. Убедившись, что перевозка камней не приносит никакой пользы, противник бросил эту затею, стал пропускать специальные контрольные составы: паровоз или автодрезина и один вагон, за которым тянулись цепи, оставляя на песке насыпи желобки. Это, чтобы патрули, обнаружив перерыв в таком желобке, приняли меры. Но, во-первых, такие следы цепи оставляли только в сухую безветренную погоду (дождь желобки размывал, ветер заметал), а во-вторых, это «изобретение» доставляло патрулям массу хлопот — партизаны разрывали и прерывали желобки местах в двадцати слева и справа: попробуй тут разбери, где мина!

Пробовали немцы красить балластный слой мелом, и это не помогло: партизаны запаслись ведерками с разведенной краской.

На железной дороге Ковель — Сарны, близ станции Трояновка, охрана применила такой способ: с наступлением темноты на каждые триста метров пути поставили по человеку, мобилизованному из местных жителей. Всем дали по железному ломику и приказали раз в десять минут ударять по рельсу. Если же увидит такой стукач что-либо подозрительное — он должен ударить дважды. Остальные тоже стукнут по два раза, и так двойной этот стук дойдет до ближайшей охранной будки. Оттуда немедленно выедет бронедрезина, а с ней охранный отряд. Тогда нашим командирам подрывных групп был дан приказ незаметно снимать стукачей

в четырех-пяти местах одновременно и на двух освобожденных участках ставить мины, а на других копать ложные ямы с сюрпризами против патрулей противника.

После того как было снято сорок стукачей и несколько патрулей взорвалось на сюрпризах, противник отказался и от этого способа охраны дороги.

На железных дорогах Брест — Пинск и Брест — Ковель охрана пыталась скрытно расставлять засады вдоль полотна дороги. Раньше рота охраны шла пешком по шпалам, на каждом участке отделялась группа. Команда давалось громко, и мы, как правило, знали все «точки». Теперь солдат с наступлением сумерек развозили на поездах и заставляли их группами спрыгивать на ходу поезда. Такая группа, обычно 11–12 человек, соскакивала сразу из нескольких вагонов и тут же залегала в кустах. Но оккупанты не учли, что солдат, ошеломленный прыжком с поезда, да еще в темноте, может стать легкой добычей партизан. Наши засады против прыгающих немецких засад оказались настолько выгодным мероприятием, что некоторые подрывные группы увлеклись им в ущерб работе по минированию. В самом деле — поймать и разоружить несколько охранников дело прибыльное: у каждого автомат, на худой конец винтовка, гранаты, запас патронов. Наш штаб уже готовил приказ, предупреждающий против чрезмерного увлечения такой охотой. Однако немцы сами догадались прекратить нам массовую доставку «языков» и вооружения.

И все же нашим подрывникам становилось работать все труднее и труднее. Уже на втором месяце нашей Ковельской операции вдоль железнодорожных насыпей валялось огромное количество спущенных под откос вагонов и паровозов. И вот в этих-то обломках собственных эшелонов оккупанты начали прятать группы противопартизанской охраны. Обнаружить их там было нелегко, а обнаружив — выбить оттуда тоже было не просто, особенно после того как оккупанты повырубали вдоль железной дороги леса, попалили кустарник и понастроили бункерные башни: высокие сооружения с двойными дощатыми стенами, между которыми засыпали песок. На таких бункерах устанавливались мощные рефлекторы, освещающие линию на сотни метров. Башни были оснащены пулеметами и минометами...

* * *

На втором месяце нашей «железнодорожной» практики выработался список обязательных предметов, которые подрывник, выходя на работу, должен брать с собой. Это (кроме, конечно, мины, приспособлений к ней и оружия): лопата, плащ-палатка или одеяло, веничек, фляга с водой. Плащ-

палатка или одеяло для того, чтобы вынести на них всю землю, которую вынет минер: веничек, чтобы заровнять и загладить место, где заложена мина; вода, чтобы побрызгать это место, — тогда не видны будут края... Накапливался опыт, его обобщали, делали достоянием всех наших подрывников. Знание выработанных приемов становилось частью квалификации минера, освобождало его от *ненужного риска*, давало гарантию успеха.

На курсах наши минеры-подрывники получили только самые необходимые сведения. И не только потому, что курсы эти были краткосрочными, лесными, походными. Нет, надо признать, что и самые опытные инструкторы никогда раньше не действовали в таких широких масштабах и никогда не встречали такого организованного технического сопротивления противника. Инструкторам и самим пришлось переучиваться в процессе работы.

Мой заместитель по минно-подрывному делу Егоров ежедневно получал рапорты всех батальонов, рот, групп. Он требовал, чтобы в рапортах этих были не только сообщения о количестве подорванных эшелонов, но чтобы подробно рассказывали, как минировали, как подходили к полотну железной дороги, как маскировались, как разгружали поезд и т. д. Все новое, все ценное Егоров обсуждал в штабе соединения и писал потом инструкции-приказы. Собрав, их и сейчас можно использовать как учебное пособие.

Партизаны-подрывники — это люди, которым, выходя на операцию, приходится смотреть смерти в глаза. Противник их очень боится: они несут на железную или шоссейную дорогу, или к военному объекту снаряд, который, будучи пущен в ход, почти всегда попадает в цель и производит разрушения огромной силы. Поэтому противник принимает все меры к тому, чтобы отклонить удар: уничтожить подрывников и обезвредить мину. Засады, ловушки, мины на путях подхода к коммуникациям, сильная охрана... Пройти к намеченному объекту, добиться результата — то есть произвести нужные разрушения и вернуться невредимым — такова задача подрывника. Это требует ловкости, выдержки, хладнокровия, упорства в достижении цели, презрения к смерти. И, конечно же, риск, которому подвергается подрывник на пути к цели, а также возвращаясь с операции, — очень велик. Это риск, неизбежная, обязательная принадлежность его военной специальности. С увеличением количества проведенных операций риск этот не только не уменьшается, но увеличивается. Противник усиливает охрану, придумывает новые способы борьбы с подрывниками; внезапности достигнуть с каждым разом труднее.

Но, кроме неизбежного риска быть пораженным пулей противника, есть еще другой риск: погибнуть от собственной мины. Существование этого риска тоже в высокой степени романтизирует профессию подрывника-минера, окружает ее ореолом мужества.

«Минер ошибается только раз!» Поговорка эта хоть и не совсем верна, однако в ней отражен тот риск, который принимает на себя человек уж одним тем, что повседневно имеет дело с взрывчатыми веществами.

Человеку, не умеющему обращаться с миной, гранатой, бомбой, брать их в руки, разумеется, не следует. Мы ведем речь о людях, хорошо знающих, с чем они имеют дело. И вот эти умелые люди, подрывники, минеры, идут на операцию. Минер, преодолев все препятствия, ползет к объекту. Он заложил мину. Теперь ее надо соединить с взрывателем. Опасно ли это, рискует ли он жизнью?

Минер лежит на животе или стоит на четвереньках, торопится, чтобы его не обнаружил противник, да еще дождь или мороз, или ветер и всегда темная ночь... Он помнит: малейшее неверное движение — капут... Хорошо, если мина замедленного действия, а когда на шнурок, на палочку... нахальная мина! Тут о немецких пулях надо забыть. Мина, она хоть и своя, а так шибанет, рук и ног не соберешь. Кроме того, действует сознание, что если она до времени сработает, так мало минера — и товарищей приголубит!

Значит, и риск второго рода обязателен?

Он есть. С этим спорить нельзя. Но чем лучше подрывник знает свое дело, чем он опытнее, спокойнее, хладнокровнее, тем риск этот меньше. Не гордиться им надо, а добиваться, чтобы сделать его минимальным, свести на нет, сохранив тем самым жизнь наших людей и нанося противнику больше ударов.

* * *

В 1941 и 1942 годах, когда не было у нас новейшей минной техники и очень немногие умели обращаться с толом, тех, кто шел на подрывную работу, считали отчаянными ребятами. В то время рвали поезда исключительно на шнурок и на палочку. Минер ставил мину, когда уже видел поезд, и чем позднее он ставил мину — тем больше была и гарантия успеха. Машинист, увидев человека на рельсах, немедленно тормозил. Приходилось так близко подпускать поезд, чтобы и тормоза не помогли.

Репутацией отчаянных хлопцев наши подрывники очень гордились. Бравировали своей храбростью и неуязвимостью. Держались особняком. Подрывники были выделены у нас тогда в особое подразделение. Руководили подрывными операциями люди исключительной личной

храбрости — такие, как Балицкий, Кравченко, Артозеев.

Не знаю, удалось ли Георгию Артозееву, ныне Герою Советского Союза, хоть под конец войны немного умерить свое лихачество, вызывавшее чрезмерную растрату взрывчатки. Под маленький мостик он клал с обеих сторон по ящику тола, отбегал всего на десяток метров и ложился — так, мол, безопаснее.

— И балки, и перила, и доски летят через меня. Даже песок опускается за мной.

— Зачем, Жора, — спрашивали у него, — ты ложишься лицом вверх? По инструкции полагается ложиться ничком. Попадет еще ненароком что-нибудь в глаз или обожжет.

— Мало ли что напишут в инструкции! А мне, может, интересно посмотреть. Все ж таки моя работа! Трусы в карты не играют.

Сначала командование да, признаться, и я сам смотрел на такое лихачество сквозь пальцы. И многие подрывники стали щеголять им не только в боевой обстановке.

На Волыни мы категорически, под страхом серьезного наказания, запретили глушить толовыми шашками рыбу в реках. Но еще на Уборти партизаны часто прибегали к этому варварскому способу рыболовства. И высшим шиком считалось глушить рыбу шашками с коротким шнуром. Таким коротким, чтобы взрыв произошел до того, как шашка достигнет дна, а еще лучше — на самой поверхности воды.

Кончилось это тем, что у одного лихача шашка взорвалась в руке и тяжело его ранила.

Охотились с помощью тола на зайцев и косуль: делали крохотные шашки с приманкой. Во взводе подрывников во время дождя разжигали толлом костры: разотрут, присыпят порохом и сунут в хворост. Костер разгорался не хуже, чем политый бензином.

Бывали случаи и другого рода лихачества подрывников.

Командир взвода Слепков, тенор и большой сердцеед, ухаживал за молодой поварихой Полей. Он долго очаровывал ее своим голосом и, наконец, однажды вечером похвастал в кругу друзей, что этой ночью заберется к ней в палатку. Тогда Миша Глазок, очень изобретательный и ловкий подрывник, решил проучить этого сердцееда... Часа в два ночи весь лагерь был потревожен взрывом, происшедшим где-то неподалеку от штаба. Народ сбежался на поляну. По ней метался из стороны в сторону, потрясая кулаками, и что-то кричал Слепков. Тут же стояла перепуганная Поля. А Миша Глазок с товарищами, держась за животы, хохотали.

Оказывается, Миша подвесил на верхушке сосны

семидесятипятиграммовую шашку, протянул от нее проволоку к корням дерева и дальше, к входу в Полину палатку. Комвзвода, пытаясь проникнуть к Поле, задел ногой за проволоку, дернул ее и вызвал тем самым взрыв.

До приезда в соединение Егорова наши подрывники относились к толу запросто, хранили его как попало, резали, раскладывали, упаковывали в ящики в любых условиях, даже во время движения колонны. Детонаторы носили в карманах. И никого не удивляло, если подрывник ехал на возу с взрывчаткой, а в карманах у него побрякивали — в одном детонаторы, а в другом — пистоны. В этом тоже видели шик.

Егорову, когда он стал вести борьбу с нарушителями правил хранения и перевозки взрывчатых веществ, пришлось выслушать немало насмешливых замечаний:

— Не бойся, начальник, мы народ привычный!

— Ну что ты, товарищ Егоров, шум зря поднимаешь? Повоюешь с наше станешь спокойнее относиться!

Как-то Егоров пожаловался мне на Павлова.

Павлову, к тому времени уже опытному подрывнику, было поручено принять с самолетов груз — взрывчатку и взрыватели, в подмогу ему дали двух подрывников — Мустафу и Губкина. Тол сбрасывали нам тогда в мешках. Между брусками тола накладывали большое количество мятой бумаги. Еще больше бумаги бывало напихано в мешки с детонаторами. И вот Павлов и его помощники сволокли все мешки с толом в одно место, вырыли яму, заложили туда весь тол, а прислали его в тот раз немало — несколько сот килограммов, — детонаторы и капсулы отнесли в сторону, потом собрали всю бумагу в кучу и подожгли. Стоят и отдыхают после тяжелой работы, греются у костра. Прибегает на огонь Егоров:

— Что вы делаете! Тушите немедленно, яма с толом открыта.

— Не беспокойтесь, знаем! Не в первый раз, — с большим апломбом отвечает Павлов. — Что может случиться?

— Мало ли что. А вдруг детонаторы!

— Откуда они здесь!

Только Павлов сказал это, как в костре что-то выстрелило. А потом еще и еще. Тут хлопцы всполошились. Давай скорее засыпать костер землей. Обошлось! А ведь могла произойти страшная катастрофа: недалеко от этой ямы были заложены еще две ямы с толом, в общей сложности около пяти тонн. Взрыв в одной яме вызвал бы по детонации взрывы и в других ямах.

Лихачество, беспечность искоренялись с большим трудом. Надо

признаться, что так до конца мы и не смогли справиться с этими тяжелыми грехами.

Как-то я присутствовал на занятиях Федора Кравченко с новым пополнением подрывников.

— Вот как присоединяется бикфордов шнур к корпусу капсюля-детонатора! — ровным, как всегда, голосом объяснял своим слушателям Кравченко. — Вставляйте шнур, потом зажимаете... — С этими словами он взял в зубы алюминиевую трубку детонатора, сжал и дал посмотреть молодому партизану. — Передайте дальше. Посмотрите, товарищи, внимательно. Но имейте в виду — если вы сожмете на полсантиметра дальше или слишком сильно, детонатор может взорваться. В этом случае оторвется нижняя челюсть...

Я напомнил Кравченко, что существуют специальные обжимки — род плоскогубцев.

— У меня на весь отряд одни, товарищ генерал.

— Да что ты! Я скажу Егорову, надо поискать, чтобы снабдить каждого.

— Не трудитесь, товарищ генерал, все, что было, разобрали подчистую, я уже спрашивал...

— Можно радировать в Москву, с первым самолетом пришлют.

— Можно, конечно, только...

— Ну, говори! Что ж ты не договариваешь?

— Не нужны они, товарищ генерал. Те, что были, ребята давно побросали. Неудобно, лишняя тяжесть в кармане. И, знаете, традиция. Зажимали с самого начала зубами...

— Но ведь совершенно напрасный риск!

— Не скажите, товарищ Федоров. Подрывник с первого дня должен учиться преодолевать страх. Так я считаю.

Я все-таки радировал в Москву с просьбой прислать обжимки, и их нам прислали, но пользоваться ими наши подрывники стали только зимой, с наступлением морозов, когда неприятно было брать металлическую трубку в рот: губы примерзают...

Мы боролись со всеми видами лихачества, даже если оно вызывалось благородными побуждениями.

Большой друг и помощник Федора Кравченко — Владимир Бондаренко, прибывший недавно вместе с ним из Москвы, имел уже немалый опыт минера.

Кравченко поручил ему проводить занятия с молодыми подрывниками. По ходу дела надо было ознакомить их и с новой миной замедленного

действия. Но Бондаренко, хотя и подорвал до вылета в Москву несколько эшелонов, мины этой никогда не видал. В то время, когда он ходил на диверсии с Балицким, об этих минах у нас знали только понаслышке.

Признаться перед молодыми ребятами, что он, опытный партизан, награжденный за подрывную работу, не знает эту мину, Бондаренко не мог. Сославшись на ухудшение болезни и сказав, что для успокоения нервов ему надо побыть некоторое время в одиночестве, Бондаренко поставил свою палатку за полкилометра от лагеря в густом ельнике. Там он действительно пробыл совершенно один четыре дня. И, вернувшись, отрапортовал Кравченко:

— Товарищ командир отряда, боец Бондаренко явился в ваше распоряжение.

— Выздоровел, Володя?

— Так точно, Федя, выздоровел.

— А что это у тебя в узелке?

— Мина замедленного действия, товарищ командир!

— Так вот, значит, где она была. А я ума не приложу, куда она девалась. Зачем ты ее брал?

— Изучал, товарищ командир.

Оказывается, за эти четыре дня Бондаренко без посторонней помощи разобрал мину на составные части, изучил каждую ее деталь, а потом вновь собрал.

— Теперь могу преподавать!

Когда в ночь на 7 июля группа наших подрывников во главе с Егоровым вышла на железную дорогу, чтобы поставить первую автоматическую мину замедленного действия, произошел такой эпизод.

Во втором часу ночи Владимир Павлов и Всеволод Клоков уложили мину под рельсы. Надо было вставить взрыватель. Момент этот и вообще-то опасный для минера, а тут впервые в боевой обстановке да еще в полной темноте, когда действовать можно только наощупь...

Павлов нащупал мину, потянулся к ней с взрывателем.

— Подожди минуту! — прошептал Клоков.

— Что такое?

— Не волнуйся, все в порядке, Володя. Я только голову положу поближе... Гибнуть — так вместе!

И случай с Бондаренко, и эпизод с Павловым и Клоковым стали мне известны только после войны: ни Кравченко, ни Павлов мне об этом в партизанские времена не рассказывали. Почему? Боялись нагоняя?

Да, надо думать, я наказал бы и Бондаренко, и Клокова. Пришлось бы

наказать. Хотя в глубине души я бы, конечно, и гордился ими.

* * *

К августу 1943 года во всех западных областях Украины и Белоруссии создалась весьма своеобразная обстановка. Оккупанты не только не чувствовали себя здесь хозяевами, но и не пытались уже делать вид, что они здесь хозяева. Главной заботой немцев была теперь охрана коммуникаций и в первую очередь железных дорог. Сколько-нибудь регулярная связь с глубинными районными центрами прекратилась вовсе. Гарнизоны небольших городов и местечек сообщались между собой и с командованием по радио и телефону, но и телефонная связь, если кабель проходил через лес, почти никогда не действовала. Почту доставляли самолеты. Автомобили, если и шли по шоссейным дорогам, то лишь в сопровождении сильной охраны и колонной не меньше, чем восемь-десять машин. Не будет преувеличением сказать, что в таких городках, как Любишов, Камень-Каширск и даже Ковель, оккупанты чувствовали себя постоянно осажденными. Гарнизоны этих городов ни на минуту не снимали круговую оборону.

Теперь не оставалось ни одной области в оккупированной части Украины, где бы не действовало большое партизанское соединение. А мы уже знали, что если в области есть хоть одно крупное соединение, оно вызывает к жизни десятки новых отрядов. Так было на Черниговщине, так стало и после нашего прихода на Волынь.

До нашего прибытия тут действовало несколько отрядов, а также и специальные, заброшенные сюда группы. После же того, как наши батальоны разошлись по области, охватив своим влиянием почти всю ее территорию, местные отряды стали рождаться, как грибы; появлялись новые, обрастали людьми старые. Из-за Буга, с польской стороны, перебрались в наши леса группы бежавших из лагерей пленных. Они присоединялись к нам или к местным отрядам, или сами объединялись в отряды. Никогда еще леса не были так населены! Трудно даже определить, где было теперь больше людей — в селах и местечках или в лесах. Сколько возникло лесных поселений! Именно поселений. Ведь, кроме отрядов, в лесах обосновались и крестьяне, ушедшие из сожженных карателями сел. Они сеяли на лесных полянах и лужках хлеб, садили картофель. Были такие своеобразные хутора из землянок и украинские, и польские, и еврейские, и цыганские. Рассказывали мне, что где-то в глубине болот прячется группа немцев: бежали из концлагеря политзаключенные, к партизанам идти не решились, вырыли землянки, добывают всякими правдами и неправдами пропитание и отсиживают, ждут конца войны.

Редко, очень редко оккупанты предпринимали теперь попытки прочесывать леса, вообще вести открытое наступление против партизан. И если пытались, то предпочитали направлять против партизан руководимые немцами ОУНовские, бендеровские и прочие националистические банды.

Гитлеровцы, унаследовавшие политику немецких оккупантов 1918 года, старались вызвать у нас хотя бы подобие гражданской войны. Однажды под Любишом повели наступление против партизанских гарнизонов Фролова и Лысенко весьма организованные части, по внешним признакам бендеровские. В бою они сначала держались стойко — ну, регулярное обученное войско, не иначе! Но когда на них как следует нажали, дали им отведать минометного и пулеметного огня — пошли улепетывать врассыпную. Некоторые попали в руки партизан. Все в фуражках с трезубцами, а один так даже в шароварах. И что же? Оказалось, что и двух слов не знают по-украински — все чистокровные немцы!

Зачем же, спрашивается, они устроили этот маскарад? Все в тех же целях — вызвать у местных жителей ощущение того, что тут происходит гражданская война. Как показали эти пленные, их провели в строю через несколько сел и команду нарочито громко, и без нужды часто, подавал на украинском языке переводчик.

Позднее, к концу 1943 года, когда фронт стал приближаться к этим местам, немецкое командование оттянуло часть отступающих войск, пытаясь взять нас в клещи, чтобы предотвратить массированный партизанский удар по своим тылам. А пока оккупанты не вылезали из своих укрепленных гарнизонов. Давно прошли те времена, когда они на ночь ложились в кровати и переодевались в ночное белье. Теперь они спали в одежде. Ни один сколько-нибудь значительный офицерский чин не желал жить в доме без стальных дверей и ставней. Вероятно, где-нибудь в Германии был построен специальный завод по изготовлению этих дверей и ставней — столько их потребовалось оккупантам.

Железнодорожные станции вместе со складами и управленческими зданиями огораживались двухлинейными укреплениями из бревен и земли толщиной до трех метров. Штаб, комендантское помещение, караульные точки у ворот — все это было соединено подземными ходами. И в уборную, и на кухню ползали траншеями.

По Любишову и Камень-Каширску партизаны нет-нет да и пошлют два-три снаряда. Там гарнизоны оккупантов дошли до того, что понастроили на всех уличных перекрестках дзоты и передвигались только перебежками по несколько человек от дзота к дзоту.

Поняв, наконец, что нас интересуют не столько их гарнизоны, сколько

коммуникации, немцы стали минировать подходы к железным дорогам, лесные тропинки.

Если раньше на пути из одного нашего отряда в другой нам приходилось остерегаться встречи с регулярными частями немцев, то теперь мы опасались только мин, которые противник ставил с помощью своих лазутчиков из националистических банд. Мины стали главным оружием обеих сторон. Но эффективность их действия у нас и у немцев была несравнима. Мы рвали мосты, железные и крупные шоссейные дороги, сбрасывали под откос эшелоны, немцы же и их подручные действовали на тропах.

И все же нашим подрывникам с каждым днем становилось труднее подходить к железной дороге. Раньше надо было только обмануть бдительность охраны, теперь следовало помнить, что за кустами, возможно, притаилась засада, что под мостиком через какой-нибудь ручеек может подстерегать подрывника вражеская мина; иными словами, прежде чем заминировать железную дорогу, надо было разминировать подходы к ней.

Несмотря на возросшие трудности, число эшелонов, сброшенных нами под откос, с каждой неделей увеличивалось. Но нас очень тревожили участившиеся случаи тяжелых ранений на минах противника. В наш центральный госпиталь то и дело прибывали подводы с ранеными от Маркова, Тарасенко, а чаще всего из батальона Балицкого.

При отходе от железной дороги погиб на mine один из лучших наших командиров Илья Авксентьев. Эта тяжелая утрата была следствием того, что после нападения на поезд наши подрывные группы, окрыленные успехом, на обратном пути к лагерю становились уже гораздо менее осторожны. Так же нелепо погиб и командир взвода Белов. Оба они были из батальона Балицкого.

Балицкий продолжал водить на железную дорогу большие группы партизан, ходил с ними сам и требовал, чтобы командиры рот принимали участие в каждой подрывной операции.

К середине августа на счету батальона Балицкого было самое большое число сброшенных под откос составов. За полтора месяца он уничтожил сорок восемь эшелонов. Дорогой ценой пришлось многим партизанам заплатить за это, но авторитет Балицкого был по-прежнему очень высок.

Помню, приехал в штаб соединения командир соседствующего с Балицким отряда — Николай Архипович Прокопюк. Он так же, как и Медведев, прибыл в эти места со специальной целью. Его сравнительно небольшая группа была сброшена на парашютах невдалеке от Ковеля. К

группе присоединились бежавшие из немецких лагерей пленные красноармейцы, местная крестьянская молодежь. За короткое время группа Прокопюка выросла в отряд, насчитывавший двести с лишним бойцов, и Прокопюк, попутно с выполнением своих задач, стал охотиться за вражескими эшелонами.

Приехав к нам, он рассказал, как его отряд ходил вместе с Балицким на «операцию с разгрузкой».

— Представляете, наших человек сто двадцать и Балицкий взял с собой бойцов полтораста. Были такие разведочные данные, что эшелон пойдет с обмундированием. Решили с Балицким: будем разгружать. Залегли цепью метров за сто с лишним от линии, в лесу. Топу Балицкий не пожалел — мину под паровоз заложили килограммов на двадцать пять. Разворотило всю механику: куски колес, осколки рельсов свистели над головами. Потом дали автоматного и пулеметного огонька по составу и первым подымается Балицкий: «За мной!» Он ведь у вас просто черт. Сам бегаёт вдоль состава: «Ребята, разбивай тот вагон, тяни двери!» У каждого бойца пук соломы в руке. Тянет из вагона, что там попадет, а на место тюка или ящика — в вагон солому факелом поджигает... Эшелон горит, охрана побита — пошли назад в лес... Тут вышло небольшое недоразумение. Обмундирование мы кое-какое в том эшелоне раздобыли, но попались большей частью мешки со странным товаром. Потом уже, в лесу, в спокойной обстановке, разглядели. Представляете: противомоскитные сетки. Несколько тысяч сеток... Но это частность. А в целом операция прошла очень удачно, с подъемом. Было чем полюбоваться...

Мой заместитель по минно-подрывной деятельности. Егоров слушал-слушал и не выдержал:

— Зачем же столько шуму? Зачем столько народу на линии? И знаете, если каждый раз сами командиры отрядов будут принимать участие в разгрузке эшелонов, скоро командовать будет некому...

— Нет, это здорово! Балицкий хорош: много темпераменту, голос зычный — так и подхлестывает бойцов!..

У меня возникло двойственное чувство: приятно, даже очень приятно, когда человек со стороны, гость, так искренне хвалит нашего товарища, так восторгается им. Я невольно гордился Балицким, хотя и понимал, что слишком он заносится, слишком самоуверен...

Надо было бы съездить в первый батальон, самому познакомиться с делами на месте. Но в тот момент меня больше беспокоили не те батальоны, на участках которых было шумно, а те, у кого было тихо. А тише всех было на участке батальона Тарасенко. В последней своей

радиограмме он сетовал на то, что подрывники его не могут освоить мину нового образца.

* * *

Неделю спустя, поздно вечером, сидели мы в большой штабной землянке Тарасенко. Уже три дня пробыли мы с Егоровым в расположении седьмого батальона. Егоров провел за это время несколько инструктивных занятий с подрывниками, я познакомился с жизнью лагеря, провел большое собрание, на утро мы собирались выехать обратно, в штаб соединения.

Теперь, как бы подводя итоги, Егоров быстро набрасывал на листе бумаги разные схемы минно-подрывной техники, говорил о капсулях, детонаторах, электрохимических достоинствах последних моделей мин. Потом он перешел к вопросу о том, как лучше всего подползать, как маскироваться самому и маскировать мину. Все, что он говорил, было, безусловно, правильно, нужно, хотя и не очень увлекательно.

— Пренебрежение к минам замедленного действия я считаю результатом недостаточного изучения их...

Тарасенко вдруг прервал его:

— Да знаем, знаем это все, дорогой товарищ Егоров. Тут видишь, как получается. Ведь мина-то замедленного действия, верно?

— Разумеется.

— Тут-то и загвоздка — настолько она бывает замедленна, что подрывнику с ней скучно. Он, когда ползет ее ставить, тоже свободно может богу душу отдать. Верно? — Егоров кивнул. — Также если на патруль нарвется — его подстрелят. Опасность все равно как и при мгновенном действии, а результат когда-то будет... Минер, поймите, горячий человек. Он видеть свой взрыв желает, чувствовать свое живое дело. А тут поставил мины на три дня вперед и ушел. Вроде, как картошку посадил: жди урожая к осени.

— Получается, что вы ищете психологического оправдания...

— Не оправдания! — крикнул Тарасенко. — Я на то назираю, что техника техникой, только надо и до сознания минера добираться!

Михайлов, комиссар батальона, человек спокойный и на первый взгляд даже немного вялый, хорошо дополнял своего вспыльчивого командира. В разговоре он всегда развивал и одновременно смягчал его мысль. Сейчас он вступил в спор весьма своеобразно — предложил Егорову сигарету, а когда тот нервно потянулся к его зажигалке, так долго и безрезультатно крутил колесико, что Егорову надоело ждать. Он вытащил из кармана собственную зажигалку, торопливо высек огонь, затянулся...

Михайлов сказал:

— У меня, простите, товарищ Егоров, зажигалка замедленного действия.

Все рассмеялись. Улыбнулся и Егоров. Михайлов продолжал:

— Вы тоже немножко нервничаете, товарищ Егоров, когда сразу нет огонька. Вот и наши минеры так. Но мы, принимая все ваши указания, их убедим...

В этот момент дежурный доложил, что приехал связной из отряда Кравченко.

У Кравченко рации не было. Он передавал свои донесения через штаб батальона Тарасенко. На счету его отряда в день моего выезда из Лобного было записано 13 подорванных эшелонов. В последнем своем донесении, которое я читал, Кравченко жаловался на недостаток тола, просил, как всегда, выделить ему добавочно оружия, а то мол он, командир, сам вынужден обходиться без автомата...

Занятые оживленным разговором, мы не сразу пригласили связного от Кравченко — что он особенно важного мог сообщить? Наверное, опять жалуется на недостаток оружия.

Связной напомнил о себе: передал через дежурного, что командир велел ему не задерживаться — вручить сводку и сейчас же обратно. Это был хлопчик лет девятнадцати в подпоясанной сыромятным ремешком домотканной свитке, в картузе, точь-в-точь таком, какие носили у нас до революции уличные торговцы фруктами. За ремешок были заткнуты рукавицы, кнут; рядом с ними висели две ручные гранаты. Хлопчик отдал честь, а потом вдруг снял картуз и поклонился в пояс.

— Что, не учил тебя разве командир, как надо рапортовать?

— Так точно, учил.

— А зачем же ты кланяешься?

— Так в хате же...

— Значит, ты командира в хате не видел?

— Ни. В хате я не був с тогу року, як каратель нашу хату спалыв.

— Ну, а где сводка?

Хлопчик полез в сапог и достал измятую бумажку с кодированным донесением. Пока я разбирался в цифровых обозначениях, связной улыбался во весь рот...

— Ого!.. Ошибка, наверное. Посмотрите-ка, товарищ Егоров.

Егоров прочитал вслух:

— С восьмого по четырнадцатое августа подорвано девять эшелонов противника. Из них один ремонтный поезд, который подорвался в ночь на пятнадцатое августа на mine замедленного действия. Всего за тридцать

один день подорвано двадцать два эшелона. Общий перерыв движения в результате действий отряда — сто пятьдесят четыре часа...

— Брехня! — с сердцем воскликнул Тарасенко.

Что тут стало со связным! Он побледнел, весь подобрался, улыбка мгновенно сбежала с его лица. Казалось, он кинется на Тарасенко. Но хлопчик только набрал в грудь воздуха и с шумом его выпустил — сдержался.

— Говори, говори, — подбодрил я его.

— Наш командир никола не бреше! — воскликнул он с жаром.

— А ты что, сам эшелоны считал? — с усмешкой спросил его Тарасенко.

Связной не удостоил его ответом, даже не повернулся в его сторону.

— Надо разобраться, — с сомнением покачивая головой, сказал Егоров...

— А я кажу — вин никола не бреше! — повторил связной.

Чтобы охладить его пыл, я приказал ему выйти. Разобраться действительно следовало. Если б я не знал, что Кравченко хмельного в рот не берет, решил бы, что донесение он писал под влиянием винных паров.

Кто-то из штабных работников батальона проговорил как бы про себя:

— Позавчера Кравченко передали указание о подготовке материалов к награждению...

— Э, бросьте, — сказал я. Сказал, но тут же подумал, что сведения, которые дают большие отряды, тщательно проверяются. И к Балицкому, и к Маркову, и сюда, к Тарасенко, ездили товарищи из штаба соединения. У Кравченко же никого не было. Как ни тяжело подозревать заслуженного командира в очковтирательстве, но проверить его донесение необходимо.

«В сущности, что я знаю о характере Кравченко?» — подумал я.

Он сдержан, хладнокровен, но бывает резок. Аккуратен, исполнительен и, безусловно, храбр. Но ведь Кравченко разведчик с большим стажем. Качества, которые я подметил, могут быть вовсе и не качествами его характера, а всего лишь профессиональными признаками.

— Сколько толу он у нас получил? — спросил я Егорова.

— Я как раз об этом-то и думаю, товарищ Федоров. В последний раз отправили ему сто кило...

— Из них двадцать я взял у него в долг, — сказал Тарасенко.

— Тогда, — продолжал Егоров, — тем более странно. За все время сто восемьдесят кило... Если считать по нормам Балицкого, пятнадцать-двадцать килограммов на эшелон... Никак не получается...

— Ладно, на месте поговорим. Вы тут оставайтесь, товарищ Егоров...

Распрощавшись с товарищами, я вскочил в седло и приказал связному ехать поскорее...

* * *

Приходилось мне бывать и в крупных соединениях, и в небольших отрядах. Все они в чем-то походили друг на друга. Сперва задержат на заставе, проверят, потом протоптанной дорожкой подъезжаешь к лагерю и у штабной палатки или землянки видишь спящий народ. Если ночь, как сейчас, — у костра сидят, полулежат, беседуют дежурные. Командир вскочит, пойдет навстречу.

А тут мы учуяли уже дымок костра, а заставы все нет. Вдруг связной его фамилия Гарбузенко — сказал громким шепотом:

— Почекайте, я натяну, чтоб не гремело... — Слез со своего коняки, уверенно пошел в темноту леса и долго с чем-то там возился. Я пошел за ним. От дерева к дереву, удаляясь вглубь, были натянуты в два ряда парашютные стропы с привешенными к ним пустыми консервными банками. Гарбузенко сообщил мне, что это сооружение подходит к самому штабу. Я дернул. Банки загремели. В ту же секунду Гарбузенко свистнул два раза протяжно и один раз отрывисто.

— Разве можно дергать, товарищ генерал! Тут враз застрелят!

В ответ тоже раздался свист, и тогда мы поехали дальше. Всюду на тропе валялись сухие сучья. Откуда такое множество? Оказалось, что и хворост рассыпан специально, чтобы никто не мог пройти тут бесшумно.

И вот, наконец, в гуще ельника увидел я тусклый огонек, прикрытый со всех сторон поставленными и подвешенными еловыми ветками. Странное дело у костра никого нет. Сопровождавшие меня бойцы стали ругаться, один даже крикнул:

— Стрелять буду!

— Так где ж ваш штаб? — спросил я связного не без раздражения.

Из-за дерева вышел бородатый человек и, мягко ступая валенками, двинулся в мою сторону. Я направил на него свет электрического фонарика.

— Командир отряда, старший лейтенант Кравченко, — четко произнес бородач, поднося руку к фуражке. — Во вверенном мне отряде имени Богуна происшествий никаких нет... — И он продолжал установленные слова рапорта.

Я спешил, подал ему руку, но все еще не мог прийти в себя от изумления. Подошли еще два человека. Начхоз Петро Терещенко и повариха Руденко.

— Что с тобой, Федя, болен? — спросил я наконец. — Почему в валенках, почему борода? Где твои люди?

— Валенки, товарищ генерал-майор, для тепла, борода растет сама, я здоров, люди на задании.

Он отвечал по-военному четко. Но в четкости этой слышалась дерзость.

— В чем дело, товарищ Кравченко? Почему не вооружены лично? Почему не вижу надежной охраны лагеря и штаба? И объясните заодно, что это за... грамота? — я протянул ему донесение, присланное со связным.

— Разрешите отвечать?.. — Я, сдерживая накипающее бешенство, кивнул головой. — Лично у меня есть на вооружении пистолет «вальтер», две гранаты. Автомат отдал вышедшему на дорогу минеру. Командованию известно, что часть людей мне выделили невооруженными. Приходится давать свои автомат.

Не нравился мне, решительно не нравился нарочито официальный тон, которым разговаривал со мною Кравченко... И вдруг слышу — ашу-у-чу, чшу-чу-чу — определенно, паровоз. Далеко, правда, но слышимость достаточно ясная. Потом — глухой взрыв, вспышка зарева на облаках и почти в ту же секунду отчаянная, заливиная пулеметная стрекотня. Судя по частоте и слитности — по крайней мере из четырех стволов...

— Двадцать третий эшелон, товарищ генерал-майор! — сказал Кравченко, и тут я только заметал, что он улыбается.

— Ладно, Федя, давай посидим. Чай у тебя есть?

— Кофе, Алексей Федорович! Я пью черный, для вас, если хотите, найду сухого молока.

Так начался наш разговор, в продолжение которого я все больше убеждался, что передо мной человек сложный и своеобразный.

Раньше, чем передать его разговор, опишу обстановку. Привыкнув к полутьме, я разглядел между деревьями несколько очень низких лежанок-шалашей. В них и сидеть было невозможно, не то что стоять. Увидел три нагруженных возка. Два из них были укрыты брезентом, увязаны: запрягай лошадь и сейчас же в поход, третий тоже накрыт брезентом, но не увязан. Заметив, что я разглядываю этот транспорт, Кравченко тоном опытного терпеливого учителя сказал:

— Один возок с боеприпасами. Они всегда упакованы. Другой возок с «нз», то есть с неприкосновенными продовольственными запасами на случай, если придется мгновенно уходить, третий возок — продовольствие, которым мы пользуемся повседневно...

Что я еще увидел?.. В том-то и дело, что больше я ничего и не увидел. Больше ничего не было. И никого, кроме Кравченко, поварихи и начхоза. Командование отряда, штаб, хозяйственное руководство, складское

хозяйство — все осуществляли в это время они втроем. И комиссар, и начальник штаба, и командиры подрывных групп — все были на задании.

— Какие им даны задания, Федя?

— Нас, Алексей Федорович, всего шестьдесят два человека. В удобную для подрывных действий ночь мы делим их на равные группы по восемь человек. Каждой группе даем мины замедленного действия и мины мгновенного действия. Каждой группе даем задание. В каждой группе есть минер и его помощник, есть боец охраны тыла, по два бойца бокового охранения и одна медицинская сестра. Комиссар, начальник штаба и я поочередно бываем с одной из групп или остаемся на охране лагеря.

— Сколько ты получил толу?

— Сто восемьдесят килограммов.

— Но ты ведь сообщаешь, что подорвал двадцать два эшелона. Как же получается? Средняя норма у Лысенко, у Балицкого...

— Я знаю, Алексей Федорович, можно и по двадцать килограммов тратить на эшелон. Но семи достаточно...

Мы попивали кофе и спокойно рассуждали о том, какие нормы взрывчатки следует установить, сколько человек должно выходить на полотно железной дороги, как чередовать мины замедленного и мины мгновенного действия, в какой обуви лучше подходить к полотну...

— Я, Алексей Федорович, получил инструкцию Егорова, чтобы все сходящие на полотно обували сапоги немецкого образца. Это неверно. Лапти лучше. Они оставляют совершенно неопределенный след даже в сырую погоду. Кроме того, лыко имеет свой девственный запах, совершенно сбивающий с толку собак-ищеек...

Небо над нами светлело от огромного зарева, и пулеметные очереди не стихали, и разбуженные взрывом и светом зарева птицы кружили с отчаянным криком над лесом — все было в тревоге. Но Кравченко был спокоен. Ему, видимо, и в голову не приходило, что с кем-то из вышедших на дорогу подрывников может случиться в эту ночь несчастье. «Естественно ли это спокойствие?» — спрашивал я себя.

— Моя мечта, Алексей Федорович, — говорил Кравченко доверительно, чтобы каждый боец нашего отряда, включая ездовых и медсестер, имел право записать на свое имя хотя бы один эшелон.

— Это что же, ты всех собираешься сделать минерами?

— Не совсем. Но считаем мы эшелоны на количество людей... Поэтому и не прошу у вас пополнения, — сказал он и опять сдержанно улыбнулся.

Один из работников особого отдела, приехавший со мной, с деланным

равнодушием спросил:

— Сколько тут, товарищ Кравченко, до железной дороги?

— Километра три.

— А до того места, где подорвался сейчас эшелон?

— Четыре. Может быть, пять... Недалеко, — с усмешкой продолжал Кравченко. — Хотите, можно подойти ближе, посмотреть.

— Нет, — сказал товарищ из особого отдела с раздражением. — Я бы хотел понять, зачем вы подвергаете риску штаб отряда. Мне известно, что штабы наших больших батальонов располагаются по крайней мере в тридцати километрах от железной дороги.

— Это верно, — отвечал Кравченко. — Мы тоже так делали. Но у нас маленький отряд, мы не можем рисковать людьми. Чем больший путь проходит к месту минирования группа подрывников — тем больше у нее шансов встретить разведывательный или карательный отряд противника, подорваться на mine, попасть в засаду. А сколько времени уходит непроизводительно? Мы выбираем место, где дорога делает поворот, и отправляем во все стороны своих людей. В такую подходящую ночь, как сегодняшняя, наши группы успевают установить мины и вернуться. Им не нужно торопиться, они могут работать аккуратно...

Но товарищ, который задавал вопросы, в данном случае интересовался не столько боеспособностью отряда, сколько безопасностью штаба.

— Ведь охрана с железной дороги, а может и с эшелона — не все же там погибнут — пойдет сейчас в стороны, в лес. А у вас даже пулемета нет. Чем вы ее встретите?

Впервые я услышал, как Кравченко хохочет. Он мог, оказывается, смеяться заливисто и довольно громко.

— Железнодорожная охрана? В лес? Да вы в каком году живете, товарищ?.. Нет, не те времена! Днем еще, может быть, пойдут, да и то не сами, а будут просить местные гарнизоны послать карателей, а те пошлют бендеровцев...

Тут услышали мы треск сучьев и свист. Через минуту в свете костра появилась группа. Впереди всех выступал парень лет двадцати в черной эсэсовской шинели, подпоясанной широким ремнем, на котором висели две гранаты. На правом плече, по партизанским правилам, дулом вниз, висел автомат, на голове новая немецкая каска с рожками. Странно было видеть на ногах этого щеголеватого военного лапти. Но я уже знал, что Кравченко всех выходящих на дорогу заставлял так обуваться.

Глаза парня, может быть потому, что в них попадал свет костра, лихорадочно горели. Вся группа остановилась. Парень сделал два шага

вперед, встал в позу смиренно, отдал честь. Кравченко поднялся навстречу ему.

— Товарищ командир, — восторженно воскликнул парень, — блиснуло!

Я узнал этого парня — Ерохин. Ну, конечно же, это был он. Его отчислили за недисциплинированность из пятого батальона. Никогда я не думал, что увижу его командиром подрывной группы.

— Поздравляю! — начал было Кравченко, но вдруг осекся. — Что это? он показал на стоявшего рядом с Ерохиным бойца. Тот держал подмышкой ящичек с толом. — Товарищ командир группы, отвечайте, почему не поставили мину?

— Не успел...

— Хорошо. Идите отдыхать. Поговорим потом.

Ерохин увел свою группу в гущу леса, там скоро затрещал второй костер.

— Чем ты недоволен, Федя? — спросил я. — Смотри, какой молодец парень! Мы с комиссаром думали, что из него толку не будет.

— А я и сейчас так думаю.

— Но ведь взорвал эшелон... Победителей не судят.

— Надо судить, он второй эшелон так взрывает...

И Кравченко изложил мне свою систему. Группа должна сперва поставить мины замедленного действия, рассчитанные на несколько дней вперед. И только если останется время, — охотиться на проходящие, очень редкие теперь, ночные поезда.

— Он думает только о себе, чтобы ему записали эшелон. Поймал один, а потерял пять. Сам мин не поставил, другим не дал...

Мы беседовали еще довольно долго. Кравченко дал мне точные адреса всех двадцати трех взорванных эшелонов. Товарищи из штаба соединения произвели впоследствии необходимую проверку, хотя в ней особой нужды уже не было.

К рассвету собрались все группы. С одной из них пришел комиссар отряда Накс. Большой, добродушный человек лет тридцати пяти, бывший учитель. Отдав, как бы между прочим, честь, он долго тряс мне руку обеими своими большими, теплыми руками.

— Внушительная теперь у нас, у партизан, получается работа, — сказал он, прихлебывая кофе. — И ребята хорошие, нервничать не приходится. Мы с Федей берем их иногда в работу, но в общем сами стараются: все-таки соревнование и виден результат. Даже в бою нет того впечатления. Эшелон это конкретный предмет! Стараются наши ребята.

Теперь уже почти все работают, можно сказать, по первому классу точности. Совершенно уверен, товарищ Федоров, пройдитесь как специалист утречком по полотну, где мы ночью ставили мины — не обнаружите! Такая работа меня устраивает!

Он, видно, очень любил слово «работа». Сколько помню, и раньше, никогда не говорил «воевать», а всегда — «работать».

— А как у вас, товарищ комиссар, — спросил я его перед отъездом, — с политической работой среди населения?

— А что ж, работаем, товарищ Федоров. Желаете, хоть сегодня поедемте посмотрим. Только на черниговское подполье не похоже. У нас в открытую. Как свободный день — идем всеми нашими силами в села, которые в данный момент рядом, покосим вместе с товарищами-крестьянами траву. А сейчас другие работы — копаем картошку, и стараемся быть поближе к массам. Разговариваем: «Красная Армия мол приближается, надо кулачков оттеснять, а беднякам и середнякам объединяться. В колхозах дело пойдет после войны гораздо крепче...» Вот у нас теперь какая политика, товарищ генерал...

...Той же ночью я выехал в штаб соединения. В пути было о чем подумать.

Отряд Кравченко. В нем всего шестьдесят два человека и пятьдесят пять из них — зеленая молодежь. Мы не верили даже в то, что эти необученные хлопцы сумеют подорвать хоть один эшелон. И вот, меньше чем за полтора месяца, они сделали, считая на каждого партизана, больше, чем все остальные.

То, что я увидел у Кравченко, заставило меня по-новому взглянуть на всю нашу работу. И я, и мои товарищи по обкому и штабу соединения, включая специалистов-подрывников, знали, что применение мин замедленного действия и вообще новой минно-подрывной техники поможет увеличить число крушений. Но до сих пор никто из нас не знал, что значит мало и что значит много.

Исходя из опыта прошлого года, мы считали, что батальон Балицкого добился большого успеха. Но Кравченко, применив своеобразную тактику, сделал такой скачок вперед, что Балицкий остался далеко позади.

Дело не только в том, что Кравченко и комиссар отряда Накс сумели увлечь и обучить молодых крестьянских парней за какой-нибудь месяц, доказав тем самым, что не боги горшки обжигают. Нет, Кравченко показал своим опытом, что нет нужды в нападении на поезда, нет нужды в ежедневных сражениях. Он показал, что умение и организованность могут принести гораздо больший эффект, чем безрассудная смелость.

Познакомившись на месте с действиями Кравченко, я увидел, что батальон Балицкого сделал совсем не так-то уж много. У Кравченко на каждые два человека — эшелон, у Балицкого за то же время — эшелон на десять человек.

...Вечером следующего дня я вернулся в Лобное. Посовещавшись с Дружининым и Лысенко, мы решили собрать в начале сентября подпольный обком и вызвать на заседание всех командиров батальонов.

* * *

9 сентября 1943 года, в день большого заседания обкома, на которое были вызваны все командиры батальонов-отрядов, многие комиссары, секретари парторганизаций и комсорги, — в этот памятный нам день одним из первых приехал в Лобное Григорий Васильевич Балицкий.

Я узнал о его прибытии по радио.

Был в центральном лагере введен обычай: если приезжает кто-либо из командиров наших батальонов или представители соседствующих с нами отрядов, с застав сообщали об этом в радиоцентр, а оттуда Маслаков передавал об этом через репродукторы, висевшие на деревьях у всех перекрестков.

Ко дню приезда Балицкого на счету его батальона было уже 56 сброшенных под откос вражеских эшелонов.

Я выехал навстречу ему.

Не спешившись, мы пожали друг другу руки. Он был небрежно превосходителен. Выражение самоуверенности цвело на его лице, как, пожалуй, никогда раньше. Торжественное объявление по радио, видимо, пришлось ему очень по душе.

— Давай, Гриша, — предложил я ему, — проедемся по лагерю. Ты ведь давно тут не был. Посмотрим хозяйство, а потом — завтракать. Угощу тебя колбаской нашего приготовления. Слышал ты о таких чудесах, чтобы у партизан была своя колбасная?

— Обрастаете? — сказал он с оттенком иронии.

Сидел Балицкий на коне как заправский кавалерист, не то что в первый год войны. На кожаной куртке — погоны майора. На груди — звездочка Героя Советского Союза, орден Ленина... Портупея, маузер в деревянной кобуре. На отличных, до блеска начищенных сапогах — шпоры. Вид настоящего храброго командира.

Подъехали к большой белой палатке госпиталя. Навстречу нам вышел Гнедаш.

— Познакомьтесь...

Балицкий, не слезая с седла, подал руку Тимофею Константиновичу.

— Долго держите наших раненых, товарищ хирург.

— Ваших раненых больше всего и ранения сложные...

— Наше дело такое, товарищ хирург! Нам без раненых никак невозможно... Слыхали, сегодня — пятьдесят шесть эшелонов! И что ни эшелон — бой, штурм. Вот какое дело!

Без видимого интереса глянул Балицкий на сапожников, выстроившихся со своими столиками под большим дубом, на портных, сидевших под другим дубом. Усмехнулся, увидев шубников.

— Это зачем же, Алексей Федорович?

— Готовимся, Гриша, понемногу к зиме. Морозы настанут — тоже, небось, попросишь шубку?

— Я так далеко не заглядываю.

— Это верно, заглядывать вперед ты небольшой любитель... Будем сегодня тебя слушать на обкоме. Подготовился? О том, как вперед заглядывать, тоже поговорим.

— Я буду резко ставить вопрос, товарищ Федоров.

— Это твое право.

— Толу осталось у меня всего десять кило...

— На обкоме поговорим, а сейчас — завтракать!

У штабной палатки Балицкий встретился с Кравченко. Не виделись они с Москвы. Я думал, что встреча будет гораздо сердечнее. Но Балицкий взял тон начальственной снисходительности.

— Не захотел идти ко мне, Федя, смотри, пожалеешь...

Кравченко с уклончивой улыбкой ответил:

— Масштабы не те!

Во время завтрака Балицкий рассказал о замечательном эпизоде. После «операции с разгрузкой», что была с месяц назад, когда партизаны уже заставили замолчать охрану подорванного эшелона, взяли с него все, что можно было унести, подожгли вагоны и стали уходить, с тендера сваленного под откос паровоза раздался истошный крик:

— Камрад, камрад!!!

Какой-то пожилой немец в военно-железнодорожной форме стоял на тендере, задрав как только можно выше руки. Его взяли, нагрузили на него мешок с добытыми в одном из вагонов сапогами, привели в лагерь. Там он рассказал с помощью переводчика, что служит на этой линии машинистом вот уже скоро год. За последние два месяца пережил шестнадцать крушений на партизанских минах. Спасался только тем, что каждый раз, когда подъезжал к опасным местам, оставлял в паровозной будке помощника, а сам прятался в тендер.

— Мне все это надоело. Я не хочу больше воевать за Гитлера и его банду — решил сдаться партизанам.

Он рассказал в штабе Балицкого о несчастной доле железнодорожников, вынужденных водить поезда по партизанским линиям. Передал несколько инструкций: для начальников поездов, проводников и обслуживающего персонала; для паровозных бригад; для солдат и офицеров, едущих через партизанскую зону; для штатских пассажиров и членов семей военнослужащих. Эти инструкции Балицкий привез с собой. Там с немецкой дотошностью было расписано, как следует вести себя в момент возникающей опасности, где сидеть и лежать, куда прятать головы во время обстрела, кому первому выскакивать из вагона после взрыва... Я представил себе, что чувствует пассажир, получивший на руки подобную инструкцию!

Впрочем, в инструкции о том, что чувствует пассажир, было сказано с военной прямоотой. Один из пунктов гласил: «Замечено, что в момент прохождения поездов через партизанскую зону появляется всеобщая физиологическая потребность и стихийно возникают очереди у кабинетов. В результате образуется нежелательное скопление публики у тамбуров и в случае крушения солдаты не могут выйти, чтобы принять участие в боевых действиях против партизан. Старший по званию офицер, находящийся в вагоне, обязан побеспокоиться заранее и установить строгий порядок пользования кабинетами».

— Так как же поживает машинист? — спросил Дружинин.

— Хороший оказался старик. Здоров. Пасет у нас скот.

— Ну, а выводы какие вы сделали из этого случая?

— Какие выводы? Чудной немец!

Таких «чудных» немцев было уже много. В эшелонах, которые шли с фронта, все чаще можно было увидеть вагоны с сделанными наспех решетками тюремных вагонов, видимо, не хватало. Везли в них всяческих нарушителей дисциплины и порядка...

Меня удивило, что Балицкий сам не мог сопоставить случай, о котором он рассказывал, с тем, что происходило на глазах всех нас в лагере противника.

Вот Кравченко, когда был я у него, рассказал, что в ближайшем к нему гарнизоне немцев его называют «хорошим партизанским командиром».

И он правильно оценил эту «похвалу». После разгрома немцев на Курско-Орловской дуге и потери надежды на улучшение дел сидевшие в гарнизонах оккупанты радовались, что партизаны всерьез занялись железными дорогами — по крайней мере их оставляют в покое.

Сохранение собственной жизни — вот что стало для оккупантов главным. «Взрывайте, уничтожайте железную дорогу, эшелоны, склады, только не трогайте нас!»

Если бы Балицкий подумал над случаем с машинистом, он увидел бы в нем признаки больших перемен... Мне очень хотелось, чтобы Балицкий больше думал, замечал перемены, видел новое...

...Не принято за гостевым столом, в час товарищеской беседы вести разговоры на темы, которые должны будут стать предметом официального обсуждения. Но я не удержался, сказал:

— Что ж ты, Гриша, не расскажешь о гибели Авксентьева?

— И Белова, — добавил Дружинин.

Балицкий тяжело вздохнул.

— Что ж говорить. Тяжелое дело! Хорошие были ребята... Но ведь война. Как я еще жив, спросите... Вот пятьдесят шесть эшелонов — пятьдесят шесть боев, из них я не меньше, как в тридцати самолично... Пули счибают меня или как?!

— Ну и зря! — воскликнул Егоров.

— Как это зря?

— А так, что незачем командиру ходить все время на операции. Да и операции ваши больше чем наполовину были не нужны!

— Бросьте вы! — Балицкий начинал горячиться. — Знаю я вашу линию, суете всюду свои эмзедушки... («Эмзедушками» в батальоне Балицкого презрительно называли мины замедленного действия.) — Вы мне ограничений не ставьте, толу дайте побольше!

В это время прибыли Тарасенко и Николенко. Я остановил разгоревшийся было спор между Балицким и Егоровым.

— Поговорим на обкоме, товарищи. А сейчас пойдем встречать людей!

* * *

День был тихий, солнечный, теплый. Все съехавшиеся на заседание командиры и комиссары расположились на лужке. Кто сел на землю, кто прохаживался под руку с другом — не встречались уже больше двух месяцев и теперь обменивались новостями.

Дружинин предложил начать заседание тут же на лужке. Мне это понравилось: в палатке быстро бы накурили. Я приказал поставить несколько человек по сторонам полянки, чтобы не пускать случайных лиц, т. е. партизан, которые не были приглашены и которые пришли бы сюда из любопытства.

На заседании обкома я прежде всего зачитал рапорт, посланный нами первого сентября Никите Сергеевичу Хрущеву:

«Железные дороги Ковель — Сарны, Ковель — Брест, Брест — Пинск полностью парализованы. Дороги Ковель — Хелм, Ковель — Ровно парализованы частично».

А потом я прочитал товарищам и ответ Никиты Сергеевича:

«Ваша телеграмма № 706, - писал Никита Сергеевич, — получена. Поздравляю Вас, командиров, комиссаров, всех партизан и партизанок, которые добились блестящих боевых успехов по выведению из строя вражеских коммуникаций Ковель — Сарны, Ковель — Брест, Брест — Пинск.

Тех, кто отличился, представить к наградам... ЦК КП(б)У уверен, что весь личный состав руководимого Вами соединения в дальнейшем нанесет еще более сильный удар по вражеским коммуникациям!»

Аплодировали, кричали «ура». Потом я дал слово для отчета Балицкому.

Торжественность и парадность, свойственная его характеру, сегодня, казалось, была как нельзя к месту.

Балицкий знал, конечно, что вызвали его на обком не для поздравлений. Но он знал также, что во всем соединении, во всем здешнем партизанском крае пока только он один носит звездочку Героя Советского Союза за минно-подрывную работу. И поэтому вряд ли он предполагал, для чего поставлен его отчет.

Есть на свете немало людей, которые, получив однажды награду, уже боятся нового, повторяют свои старые приемы работы.

Балицкий говорил:

— Знаю, что товарищ Егоров недоволен мною. А я в его поощрении не нуждаюсь. Он меня этими «эмзедушками» просто душит. Зачем это? Зачем меня все время тянуть на осторожность и трусливую мелкую работу, где человек только ползает? Меня правительство наградило за храбрые действия. Теперь товарищи, и Алексей Федорович тоже, упрекают, что я иду на дорогу всегда с боем, что крушу и ломаю, сам участвую в бою и командиров посылаю вперед. Верно, что погиб Авксентьев и Белов тоже. Верно, что могли бы не погибнуть, если б, как на заводе, были всюду щиты и другие оградительные меры в целях техники безопасности. Но ведь война. Я так полагаю, товарищи!

Я сбросил пятьдесят шесть эшелонов. Мог больше? Мог. И сбросил бы больше, когда б не морочили мне голову разными новинками, от которых только руки трясутся: разбирайся там в химии, часах и пружинках. Мы только время убивали, когда ставили эти новые мины. А поезда потом по ним проходили и посвистывали. Нет, поздно мне переучиваться. Меня

товарищи спрашивают: «Зачем вы, Григорий Васильевич, ходите всегда на операции, рискуете жизнью?» Я отвечаю, что люблю это дело, здесь моя душа и вся военная жизнь!..

Когда Балицкий кончил, он был, кажется, удивлен, что ему не аплодируют. Но еще больше удивился он, когда ему стали задавать вопросы:

— Как готовишь резерв для наступающей Красной Армии?

— Какая ведется работа с населением?

— Почему такой большой перерасход тола? Вот у Кравченко на каждый эшелон выходит в среднем семь кило, а у вас до двадцати...

Он пытался отмахиваться от этих вопросов.

— Все мы есть резервы Красной Армии. А подготовка? В бой почаще! Лучше подготовки я не знаю... О работе с населением — надо было вызывать Креницкого. Я сам у себя комиссаром быть не могу. Население — это его дело...

На вопрос о перерасходе тола Балицкий совсем не ответил. Только сердито надулся, как бы желая сказать: «Глупо беспокоить меня такими пустяками».

После него слово взял я. Некоторые товарищи говорят, что я был в тот раз излишне резок.

Очень возможно, что не хватало мне в тот момент сдержанности и говорил я и громче, и грубее, чем следовало. Но иначе тогда не мог. Накипело.

Случается, что руководителя обвиняют в личной неприязни. Но не приходит в голову разобраться, как возникает неприязнь. Был Балицкий прост, не заносился, не кичился и не надувался — я не чувствовал к нему никакой неприязни. В последнее время я увидел, что он потерял чувство меры и контроля над собой. Но пока это не отражалось на деле, я с этим мирился. Напрасно, конечно. Следовало одернуть раньше. Признаюсь, прежнего душевного расположения я к нему уже не чувствовал. Пусть это называется неприязнью, но с такой неприязнью я и бороться не хочу. Она возникает и развивается правильно. Она сигнализирует о неблагополучии и понуждает к действию.

Я ругал Балицкого за спесь и чванство, ругал за лихачество, за излишние потери людей и за перерасход тола. Ругал за пренебрежение к новой технике и нежелание учиться. Ругал за то, что он забросил массовую, воспитательную работу у себя в батальоне.

Я не мог простить Балицкому то, что лихачество в его батальоне стало принципом, что там, где могли бы действовать пять-шесть человек,

действовало сто, и что поэтому убитых и раненых у него было больше, чем у других.

Балицкий искренне верил и внушал всем своим подчиненным, что подвергаться риску — это и есть героизм.

Два месяца назад в батальоне Балицкого радист по недостатку знаний сжег передатчик. Двухсторонняя связь со штабом соединения прекратилась. Балицкий принимал наши радиограммы, но сообщаться с нами мог только через связных. И такое положение его устраивало. Так он чувствовал себя гораздо самостоятельнее.

Ложно понятая гордость привела Балицкого к тому, что он отклонял все советы такого специалиста по минно-подрывной деятельности, как Егоров, пусть он, мол, повоюет с мое, подорвет столько же эшелонов, а потом учит!

Батальон Балицкого подорвал за два месяца пятьдесят шесть эшелонов. Он и его комиссар Креницкий полагали, и справедливо, что это много. Но вот, оказывается, что батальон Лысенко за это же время, с тем же количеством людей подорвал больше семидесяти эшелонов, а батальон Кравченко, в котором людей было в десять раз меньше, — двадцать девять.

Так я закончил свое выступление.

Меня поддержал Дружинин.

— Если следовать твоему примеру, Гриша, учиться нам уже не надо. Искать новые приемы, изучать технику — тоже ни к чему. Так что же — будем всем коллективом гордиться своими успехами и действовать по старинке? Нет, так не выйдет.

Дружинин говорил спокойнее, чем я, упрекал Балицкого главным образом в том, что он переносит всю ответственность за работу с населением на комиссара.

— Массово-политическая работа — обязанность не только комиссара, но и командира, и каждого партизана. Все мы при встрече с народом должны говорить о положении на фронтах, объяснять наши цели, звать к борьбе с врагом... У вас в батальоне много сил растрачивается зря. А сейчас уже не такое время, чтобы можно было с этим мириться.

— А что за время? — подняв голову, спросил Балицкий. — Война как была, так и остается. Фашистов-то еще не выгнали!

— Не выгнали, но власти их лишили! Это тебе понятно? Посмотри кругом на села, много там немцев? Ты, помнишь, ходил в сорок первом и втором годах в черниговские райцентры на разведку. Похожи те немцы, которых ты видел тогда, на этих сегодняшних?

— Да ну, какое!..

— Надо все те села, в которых немцы потеряли власть, взять под свое наблюдение. Надо ввести там наши, партизанские порядки, включить их в наш гарнизон, в каждое большое село послать своего коменданта и группу товарищей ему в помощь. Пусть готовят людей к скорому приходу Красной Армии и возвращению советских порядков... Спрашивают, как разлагать националистические силы? Да прежде всего тем, чтобы стать на защиту интересов бедняков и середняков. Начинайте раздел земли кулаков и помещиков. Передавайте беднякам хаты богатеев...

Лицо Балицкого, которому он придавал выражение недоступное и даже надменное, дрогнуло. Он слушал с повышенным вниманием, он вдумывался в сказанное.

Взял слово член обкома Федор Ильич Лысенко. Неожиданно для всех он заговорил о школах.

— Вот коммунист Балицкий спрашивает, в чем время переменялось? Говорит, что оно такое же и война такая же. А разве он не знает, что немцы бегут и что в этом учебном году мы уже школы здесь откроем? Кто мы? Да Советская власть! «Правда» в передовой статье пишет о начале учебного года. По всему Советскому Союзу уже идет девятый день занятий в школах. А вас, товарищ Балицкий, разве нисколько не волнуют судьбы здешних ребятишек? Зачем же тогда воевать? Если о детях не думать?.. Я знаю, в Любишове, где стоит наш партизанский гарнизон, к коменданту обращались учителя за программами... Скажут — Любишов город, там легче, там можно понемногу и сейчас детей в школах учить. В селах труднее. Но ведь мы все-таки можем подумать с детишками и кое в чем помочь им. Организуем пока занятия на дому у учителей. А насчет программ — попросим у Москвы. Как вы думаете, товарищ Федоров, пришлют?

Вот уж не ожидал я, что этот разговор, начавшийся с обсуждения минно-подрывной работы батальона Балицкого, может соскользнуть на школы. Но вправде ли я был остановить: «Вы, мол, товарищ Лысенко, говорите не по существу».

— Товарищ Рванов! — сказал я. — Будет завтра связь с Москвой запроси насчет школьных программ!

И Рванов не удивился, хотя вряд ли ожидал получить такой приказ.

Затем говорил Гнедаш:

— Товарищи, вот на что я хочу обратить внимание обкома. Мы уже нередко выезжали в села — и врачи, и сестры — оказывали медицинскую помощь крестьянам. Думаю, что пора поставить вопрос о регулярной

помощи. О том, чтобы во всех крупных населенных пунктах открыть амбулаторный прием в определенные дни... Нам надо также, в связи с наступлением холодов, в связи с тем, что народ живет скученно, в землянках, провести все необходимые профилактические меры против сыпняка. Прошлой зимой он здесь свирепствовал...

Гнедаш зачитал подробный план, в котором говорилось и об организации дезинсекционных пунктов в селах, и о профилактическом осмотре большего числа больных.

— В каждом батальоне есть врач, есть сестры, фельдшеры. Надо, чтобы они не чурались народа, выходили в села...

Балицкий уже не хмурился, не кривил лицо, изображая презрительное равнодушие, а как все другие, записывал что-то в своем блокноте.

Член обкома Михайлов говорил:

— Надо внимательно приглядываться к тому, как живет народ. Вот я хочу рассказать... Мы разгрузили один эшелон. Достали несколько швейных машин. Роздали часть населению, но не просто первым попавшимся женщинам, а коллективу крестьянок. Дали им и материи. Сказали: «К зиме сшейте ребятишкам, которые самые оборванные, костюмчики, платья». Вы знаете, какая благодарность? А кроме того — начало коллективизма. Тоже своего рода подполье и подготовка резервов, подготовка к приходу Красной Армии и Советской власти. Может быть, товарищи скажут, что я ухожу от темы. Но я, например, скажу еще о себе. Об озимом севе и главное о весеннем. Мы разгружаем иногда эшелоны с зерном и не знаем, что с ним делать. Почему бы, если обстоятельства позволяют, не позвать крестьян, чтобы они брали себе на семена. Я знаю — придет Советская власть — даст крестьянам семена. Только ведь мы тоже кое-что можем сделать. И научить прятать, и помочь перевезти... Мы уже в отряде Тарасенко давали на время беднякам и безлошадным середнякам наших партизанских коней для их нужд: летом возить сено из лесу, теперь — картошку с лесных огородов. Вот как надо сейчас понимать подпольную и массовую работу...

Говорил Рванов:

— Балицкий просит толу. В последнее время самолеты реже стали прилетать. Начнутся осенние дожди — еще меньше нам будут засылать взрывчатки и вооружения. Надо, товарищ Балицкий, — да это относится, конечно, не только к вам, но и ко всем другим командирам, — надо, товарищи, поднять народ на поиски снарядов. Вчера, например, наш знаменитый минер Вася Кузнецов притащил со своими бойцами прямо в штаб соединения пятисоткилограммовую бомбу. Если по нормам

Кравченко — можно подорвать семьдесят эшелонов Кузнецов не побрезговал, сам искал, своих людей мобилизовал. Но если нам подпольщики помогут, население, ячейки комсомола...

Снова попросил слово Балицкий.

— Подождите. Есть еще желающие высказаться?

Выступили Марков, Николенко. Они говорили о том, как подпольщики помогают бежавшим из немецких лагерей пленным красноармейцам связаться с партизанами, создают из групп пленных небольшие отряды, передают им наши задания; о том, что бежавшие из плена знают теперь куда идти.

— Мы на днях тоже приняли тринадцать узбеков, — сказал Балицкий.

— Ну вот, видите, — сказал Николенко. — А ко мне просится через наших подпольщиков генерал-майор Красной Армии Сысоев. Во время боя был тяжело ранен, потерял сознание. Часть попала в окружение. Бойцы успели переодеть своего генерала в солдатское обмундирование. Он был в плену все эти два года как рядовой. И вместе с группой пленных солдат бежал. Потом его захватила банда. Мы уже нашли способ помочь не только ему самому к нам перебраться, но забрать всех, кто находится в банде по принуждению...[17]

Еще раз получил слово Балицкий. Вот она, сила партийного товарищеского воздействия! Перед нами был другой человек. Он осознал и, как мы позднее по его деятельности увидели, глубоко осознал свои ошибки. Он говорил в своем выступлении, что только сейчас понял, какая огромная, какая благородная программа действий возникает перед батальоном...

— Вот я вижу — все знают, что делать. Я вижу настоящую организованность и деловитость. Мне казалось, что сильный партизан только тот, кто в бою, кто подставляет грудь опасности. А те, которые там, в партизанском тылу — второстепенные партизаны. Должен прямо, по-большевистски, признать: неправильно работал! И даю честное слово — все сделаю, чтобы подняться на высоту во всех делах, а не только в подрывной работе.

Взыскание Балицкий все-таки получил. И принял это без внешних выражений волнения... Комиссаром к нему поехал член обкома Михайлов. Заместителем по минно-подрывной деятельности — один из наших лучших знатоков новых методов — Клоков.

Сразу скажу, что дела у Балицкого стали быстро поправляться, батальон его вскоре занял одно из первых мест...

* * *

После обсуждения отчета Балицкого мы сделали получасовой перерыв. Этот перерыв особенно врезался мне в память.

Люди встали, размялись, походили, продолжая тот же разговор, но уже без оглядки на председателя, перебрасывались шутками, похлопывая друг друга по плечам.

Я чувствовал, что у всех взволнованное и приподнятое настроение. Мне казалось, будто мы находимся на пороге какого-то важного открытия. Произошло что-то очень серьезное, нужно только выразить это словами, сформулировать. Я мысленно сравнивал партизан и подпольщиков первых месяцев войны с этими хорошо одетыми, уверенными в себе, свободно себя чувствующими командирами больших, сильных отрядов... А ведь почти все они прошли примерно такой же путь, как и я. Тоже прятались, тоже дрожали от холода, голода, сырости...

В минуту этих размышлений подошел ко мне работник особого отдела и с тревожным видом стал что-то шептать на ухо. Я не сразу его понял. Он отвел меня в сторону и повторил все, делая большие глаза и оглядываясь по сторонам. А я, выслушав его, невольно рассмеялся.

— Что, что? — спросил Дружинин.

Тогда я громко, так чтобы все собравшиеся могли меня услышать, сказал:

— Тут наша разведка установила страшную вещь! Ковельское гестапо через своих агентов точно узнало, где расположен подпольный обком и штаб соединения... Что будем делать, товарищи?

На полянке раздался громовой хохот. Смеялись все, кроме особиста.

— А може, цеи гестаповцы теж узналы, що правительство Радяньского Союзу находится в Москве! — захлебываясь от смеха, воскликнул Тарасенко. От то сильны сведения!

— Соли они нам на хвост насыпят...

— А что, товарищи, — сказал Дружинин, — смех смехом, а ведь, узнав, что обком заседает в ста пятидесяти километрах от них, эти самые гестаповцы и вся их комендатура завтра, чего доброго, пустятся наутек. Что нам тогда делать, кого бить?..

Товарищи продолжали перешучиваться... Я думал, глядя на них: «Вот, съехались, — стоило только вызвать по радио, и со всех сторон области, за сто, двести километров прибыли точно к сроку. И ведь не пробирались, не ползли, не прятались!»

Да, действительно, почти все вызванные товарищи ехали днем, не скрываясь, с гордым сознанием того, что они партизаны, внушающие ужас оккупантам. Едет группа в пятнадцать-двадцать партизан, и открыто

напасть на нее не решается даже рота. Знают, что у нас теперь великолепная связь в любую минуту на помощь могут выйти большие силы...

Теперь не партизаны пробирались крадучись, а оккупанты и их прислужники.

Не помню, кто первым сказал:

— Товарищи! Да ведь нет у нас уже никакого подполья! И подпольного обкома нет!

— Как это нет? — воскликнуло сразу несколько человек.

Два года назад — 16 сентября 1941 года — в Яблуновке, последнем районном центре Черниговской области, не захваченном еще фашистскими войсками, я объявил, что с этого момента Черниговский обком партии стал подпольным обкомом.

На следующий день Яблуновка была оставлена частями Красной Армии.

И хотя мы, члены тогдашнего Черниговского обкома, знали, что есть у нас в лесах отряды проверенных людей, есть некоторое количество оружия, есть продовольственные базы; хотя мы были предупреждены и подготовлены Центральным Комитетом партии, — переход к нелегальной деятельности был настолько резким, что новое наше положение еще долго не укладывалось в сознании.

А через два года, оставаясь в условиях немецкой оккупации, в глубоком тылу врага, мы тоже так вот вдруг обнаружили, что мы уже не подпольщики, что обком наш уже не подпольный.

В самом деле, слово «подпольный» предполагает, что мы нелегалы, что мы прячемся, действуем тайно. Но со дня прибытия в Лобное, с начала массовой минно-подрывной деятельности мы уже не прятались, не скрывали от врага свое местопребывание. Наша военная сила была уже так велика и организована, что нам не приходилось скрываться.

Мы имели постоянную связь с Центральным Комитетом партии, со штабом партизанского движения, с фронтами Красной Армии. Москва систематически посылала нам самолетами вооружение и боеприпасы, газеты и листовки. Нас включили в общие вооруженные силы страны, мы действовали по плану Верховного Главнокомандования.

Подпольщики сел и местечек, партийные и комсомольские ячейки, организованные обкомом, хотя и соблюдали еще конспирацию, но это была уже конспирация совсем другого рода, без риска попасть в руки врага. В любой момент подпольщики имели возможность уйти к нам, в наш лесной город. Да и задачи перед нами теперь уже стояли не те. Правда, главными

оставались еще военные задачи, но появились уже и новые, радостные, созидательные задачи!..

... - А ведь, пожалуй, так! — сказал я тогда в перерыве заседания. Осталось только название — подпольный обком. Посмотрите на Балицкого, какой он подпольщик! Ходит при орденах. Звезда Героя Советского Союза на груди, погоны. Да где ж это вы видели таких подпольщиков!

Все рассмеялись. Я продолжал:

— Посмотрите кругом, товарищи, здесь хоть формально и оккупированная зона, однако мы заставили оккупантов поджать хвост. Мы еще не завоевали всей полноты власти в области, но мы — партийная организация и партизанские отряды всего этого края — все же отняли у фашистов все главные признаки власти. Да, время подполья в нашем партизанском крае время случайностей, удач и неудач, наскоков и налетов — миновало. Мы имеем теперь все для того, чтобы планировать и выполнять планы. Как военная сила мы уже стали частью Красной Армии, как партийная организация мы должны принять на себя заботу о подготовке недалекого советского будущего области.

* * *

История нашего партизанского соединения на этом не кончается. Мы подорвали еще более двухсот вражеских эшелонов, провели много боев, разгромили десятки карательных частей и задолго до соединения с войсками Красной Армии прорубили через немецкие линии свой коридор, по которому ввозили в партизанский край сотни подвод с продовольствием, вооружением, боеприпасами. Наше партизанское соединение совместно с соединением Маликова в феврале 1944 года вело наступление на Ковель. Город нам взять не удалось, но в бою за него партизаны уничтожили сотни оккупантов, подбили несколько танков и бронемашин...

Много славных дел было совершено после того заседания обкома, но подпольщиками мы уже больше не были, хотя обком наш и назывался еще по-прежнему подпольным.

* * *

В апреле 1944 года, уже после того как Советская Армия освободила те районы, где мы партизанили, Никита Сергеевич Хрущев принимал группу командиров и комиссаров партизанских соединений и отрядов — организаторов партизанского движения на Украине.

— Ваша слава велика, — сказал нам Никита Сергеевич. — Это заслуженная, одобренная партией и народом слава... Но помните, товарищи, партизанская слава, как и партизанский костер: если подбрасывать мокрые сучья или совсем ничего не подбрасывать —

погаснет. Останется только пепел... А если подбрасывать в костер сухой хворост — он еще пуще разгорается, еще ярче, еще красивее.

На следующий день каждый из нас получил назначение на новую работу.

Конец

Примечания

1

Лучшими помощниками т. Капранова были тт. Афанашенко и Баскин.

2

Я встретился с полковником Григорьевым через два с лишним года, при обстоятельствах, о которых расскажу позднее.

3

Комитет незаможников, т. е. комитет бедноты.

4

Немецко-фашистские оккупанты при помощи их слуг — полиции, кулаков, украинских националистов и иной сволочи — грабят украинский народ, наложили на крестьян контрибуцию: хлеб, скот, картофель и другие продукты.

С целью устранения грабительских действий немецко-фашистских захватчиков и их слуг приказываю:

1. Категорически запретить всем гражданам вывоз хлеба, скота, картофеля и других продуктов — контрибуции немецким оккупантам.

2. Лица, которые нарушат этот приказ — повезут хлеб, скот, картофель и иные продукты немецко-фашистским оккупантам, — будут наказаны суровой революционной рукой, как подлые изменники Советской Родины.

3. Командирам партизанских отрядов выставить секретные посты на дорогах подвоза продуктов к пунктам.

4. Старосты, полицейские, которые будут выполнять распоряжения немцев о вывозе контрибуции (хлеба, скота, картофеля и др.), будут немедленно уничтожены с их змеиным гнездом.

Товарищи крестьяне и крестьянки! Не дадим ни одного килограмма хлеба, мяса, картофеля и других продуктов немецко-фашистским грабителям!

5

Фамилия.

6

Батраков.

7

Позднее стало известно, что немцы «вешали» так многих из тех, кого

знал народ. Просто заготовили заранее надписи и прикрепляли их к трупам казненных. Меня, например, «повесили» три раза в Чернигове, два раза в Нежине и, кроме того, «вешали» неоднократно в районных центрах.

8

Скотину.

9

В сейфе этом хранились, кроме всяких секретных дел, еще и немецкие марки, кое-какие драгоценности, выданные областному штабу партизанского движения еще в дни организации. Предполагалось, что они понадобятся для целей разведочной работы. Но оказалось, что нужды в них нет, разведчики обходились без денег.

10

С Яковом Зуссерманом я встретился в Чернушском районе, Полтавской области. Вместе с ним я путешествовал по дорогам Полтавщины, Черниговщины дней восемь. В селе Игнатовка, Среблянского района, я с ним расстался. Он стремился в город Нежин повидать семью.

11

Слепой комсомолец Яша Батюк остался в городе Нежине для работы в подполье. Он руководил группой комсомольцев и в тяжелых условиях подполья со своими комсомольцами проводил большую работу.

12

Родины.

13

Читатель, вероятно, помнит, что фамилия Орленко была моим партизанским прозвищем. Но нам доводилось не раз слышать от населения о существовании двух отрядов — Орленко и Федорова. Не в наших интересах было опровергать этот слух.

14

Я именно так и просил писать. В Ровенском соединении, которое располагалось неподалеку, командиром одного из отрядов тоже был Федоров; его называли Федоров-Ровенский.

15

Георгица Кара-Стоянова — известная болгарская революционерка-коммунистка, соратница Георгия Димитрова, была зверски замучена в застенках гестапо во время гитлеровской оккупации.

16

Письмо.

17

Действительно в скором времени Сысоеву удалось осуществить побег.

Он пришел к нам с группой бульбовцев, работал в штабе соединения до слияния с Красной Армией.